

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





4

Right zealby Google



.



ИВЪ БИБЛЮТЕКИ А. А. МАСЛЕНИКОВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Н. В. ГОГОЛЯ.

СЪ ЕГО БІОГРАФІЕЙ И ПРИМЪЧАНІЯМИ.

ВЪ З~хъ ТОМАХЪ.

подъ редакцией профессора

А. И. Кирпичникова.

СЪ РИСУНКАМИ ХУДОЖНИКОВЪ:

Аванасыва, Иванова, Навозова, Пичунина, Янужинскаю и др.

Томъ III-й.

Изданіе Т-ва 🍎 И. Д. Сытина. МОСКВА.—1902.

0777559M

· •

• • •

•

11-1

. .

X /

:

١.,

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Валовая улица, свой домъ. М О С К В А. — 1902.



ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ А. А. МАСЛЕНИКОВА

PG 3332 A1 1902 V.3 MAIN

выбранныя мъста

ИЗЪ

переписки съ друзьями.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

Digitized by Google

1*

, .

ПРОШУ ПО ПРОЧТЕНИ ИЕПРЕМЕНІЮ ВОЗЗРАЦІАТЬ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я быль тяжело болень; смерть уже была близко. Собравши остатовъ силь своихь и воспользовавшись первою минутой полной трезвости моего ума. я написаль духовное завъщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагаль обязанность на друзей монхъ издать, послѣ моей смерти, нѣкоторыя изъ моихъ пясемъ. Мнъ хотълось хотя симъ искупить безполезность всего, доселъ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанию тъхъ, къ которымъ они были писаны, находится болбе нужнаго для человбка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣль; мнѣ стало легче. Но чувствую, однако, слабость силь моихъ, которая возвѣщаетъ мнѣ ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, и, приготовляясь къ отдаленному путеществію къ Святымъ мъстамъ, необходимому душѣ моей, во время котораго можеть все случиться, я захотѣль оставить при разставаные что-нибудь отъ себя моимъ соотечественникамъ. Выбираю сань изъ моихъ послёднихъ писемъ, которыя мнё удалось получить назадъ, все, что болье относится въ вопросамъ, занимающимъ нынъ общество, отстранивши все, что можеть получить смысль только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имѣть значеніе только для немногихъ. Прибавляю пвѣ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе, съ тѣмъ, чтобы, въ случав моей смерти, если бы она застигла меня на пути моемъ. возымбло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидътельствованное всъми моими читателями.

Сердце мое говорить мнѣ, что книга моя нужна и что она можеть быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобы имълъ высокое о себъ понятіе и надъялся на умънье свое быть полезнымъ, но потому, что никогда еще доселъ. не питалъ такого сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ уже довольно бываеть протянуть руку съ тёмъ, чтобы помочь; помогаемъ же не мы, помогаеть Богь, ниспосылая силу слову безсильному. Итакъ, сколь бы ни быда моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себѣ издать ее въ свѣть и прошу моихъ соотечественниковъ прочитать ее нѣсколько разъ; въ то же время прошу тёхъ изъ нихъ, которые имбють достатокъ, купить нёсколы:о ея экземпляровъ и раздать тъмъ, которые сами купить не могуть, увъдомляя ихъ при этомъ случаѣ, что всѣ деньги, какія перевысять издержки на предстоящее мнъ путешествіе, будутъ обращены, съ одной стороны, въ подкръпленіе тѣмъ, которые, подобно мнѣ, почувствують потребность внутреннюю отправиться въ наступающему Великому посту во Святую землю и не будутъ имъть возможности совершить это одними собственными средствами; съ другой стороны — въ пособіе тѣмъ, которыхъ я встрѣчу на пути уже туда идущихъ и которые всѣ помолятся у Гроба Господня за монхъ читателей, своихъ благотворителей.

Путошествіе мое хотълъ бы я совершить, какъ добрый христіанинъ, и потому испрашиваю здъсь прощенія у всъхъ моихъ соотечественниковъ во

всемъ, чъмъ ни случилось мнъ оскорбить ихъ. Знаю, что моими необдуманными и незрълыми сочиненіями нанесь я огорченіе многимъ, а другихъ даже вооружиль противь себя, вообще же во многихь произвель неудовольствіе. Въ оправданіе могу сказать только то, что намъреніе мое было доброе и что я никого не хотълъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя; но одно мое собственное неразуміе, одна моя поспѣшность и торопливость были причиной тому, что сочиненія мои предстали въ такомъ несовершенномъ видѣ и почти всъхъ привели въ заблуждение насчетъ ихъ настоящаго смысла; за все же. что ни встръчается въ нихъ умышленно-оскорбляющаго, прошу простить меня съ тъмъ великодушіемъ, съ какимъ только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всёхъ тёхъ, съ которыми надолго или на короткое время случилось мнѣ встрѣтиться на дорогь жизни. Знаю, что мнѣ случилось многимъ наносить непріятности, инымъ, быть-можетъ, и умышленно. Вообще въ обхождении моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило оттого, что я избъгалъ встръчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человъку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить мнъ не хотълось), и будучи въ то же время убъжденъ, что по причинъ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнъ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нъкоторомъ отдаления отъ людей. Отчасти же это происходило и оть мелочного самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считають себя въ правъ глядъть спесиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всёхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мнѣ случилось нанести кому-либо, начиная отъ временъ моего дътства до настоящей минуты. Прошу также прощенія у монхъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебрежение или неуважение въ нимъ, оказанное умышленно или неумышленно; кому же изъ нихъ почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что онъ христіанинъ. Какъ говъющій передъ исповъдью, которую готовится отдать Богу, проситъ прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія; и такъ какъ никто въ такую минуту не посмъетъ не простить своего брата, такъ и онъ не долженъ посмъть не простить меня. Наконецъ, прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книгъ встрътится что-нибудь непріятное и кого-нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гнъва сокровеннаго, но вмъсто того выставить благородно всъ недостатки, какіе могуть быть найдены ими въ этой книгѣ, — какъ недостатки писателя, такъ и недостатки человъка: мое неразуміе, недомысліе, самонадъянность, пустую увъренность въ себъ, словомъ – все, что бываетъ у всъхъ людей, хотя они того и не видять, и что, въроятно, еще въ большей мъръ находится во мнѣ.

Въ заключеніе прошу всѣхъ въ Россіи помолиться обо мнѣ, начиная отъ святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы, какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо мнѣ этою самой безсильною и черствою ихъ молитвой. Я же у Гроба Господня буду молиться о всѣхъ моихъ соотечественникахъ, не исключая изъ нихъ ни единаго; моя молитва будетъ такъ же безсильна и черства, если святая небесная милость не превратитъ ее въ то, чѣмъ должна быть наша молитва.

1846, іюль.

6

I.

Завъщаніе.

Находясь въ полномъ присутствіи памяти и здраваго разсудка, излагаю здѣсь мою послѣднюю волю.

1. Завѣщаю тѣла моего не погребать по тѣхъ поръ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой болѣзни находили на меня минуты жизненнаго онѣмѣнія, сердце и пульсъ переставали биться... Будучи въ жизни своей свидѣтелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей неразумной торопливости во всѣхъ дѣлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребеніе, я возвѣщаю это здѣсь въ самомъ началѣ моего завѣщанія, въ надеждѣ, что, можетъ-быть, посмертный голосъ мой напомнитъ вообще объ осмотрительности. Предать же тѣло мое землѣ, не разбирая мѣста, гдѣ лежать ему; ничего пе связывать съ оставшимся прахомъ. Стыдно тому, кто привлечется какимъ-нибудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя: онъ поклонится червямъ, ее грызущимъ. Прошу лучше помолиться покрѣнче о душѣ моей, а вмѣсто всякихъ погребальныхъ почестей, угостить отъ меня простымъ обѣдомъ нѣсколькихъ не имущихъ насущнаго хлѣба.

11. Завъщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ. Кому же изъ близкихъ моихъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мнѣ памятникъ иначе: воздвигнетъ онъ его въ самомъ себѣ своею неколебимою твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, бодреньемъ и освѣженьемъ всѣхъ вокругъ себя. Кто послѣ моей смерти вырастетъ выше духомъ, нежели какъ былъ при жизни моей, тотъ покажетъ, что онъ, точно, любилъ меня и былъ мнѣ другомъ, и симъ только воздвигнетъ мнѣ памятникъ; потому что и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, всегда ободрялъ друзей моихъ, и никто изъ тѣхъ, кто сходился поближе со мною въ послѣднее время, — никто изъ нихъ, въ минуту своей тоски и печали, не видалъ на мнѣ унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственныя минуты, и тосковалъ я не меньше другихъ: пускай же объ этомъ вспомнитъ всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всѣ слова, мной ему сказанныя, и перечтя всѣ письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мнѣ сдѣлать чтонибудь полезнаго и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленнаго не на удовольствіе нѣкоторымъ, но надобнаго всѣмъ, — то и тогда не слѣдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже вмѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ

и не о чернотъ всего міра, но о своей собственной чернотъ. Страшна душевная чернота, и зачъмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоить предъ глазами!

IV. Завъщаю всъмъ моимъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякій писатель долженъ оставить послѣ себя какую-нибудь благую мысль въ наслъдство читателямъ), завъщаю имъ лучшее изъ всего, что произвело перо мое, -- завъщаю имъ мое сочинение, подъ названиемъ: Прощальная повъсть. Оно, какъ увидять, относится къ нимъ. Его носиль я долго въ своемъ сердцъ, какъ лучшее свое сокровище, какъ знакъ небесной милости во мнѣ Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому не зримыхъ, еще отъ временъ дътства моего. Его оставляю имъ въ наслъдство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъ моихъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что-нибудь похожее на поучение. Я писатель, а долгъ писателя — не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочинений его не распространится какая-нибудь польза душъ и не останется оть него ничего въ поучение людямъ. Да вспомнять также мои соотечественники, что, и не бывши писателемъ, всякій отходящій отъ міра братъ нашъ имъетъ право оставитъ намъ что-нибудь въ видъ братскаго поученія, и въ этомъ случат нечего глядъть ни на малость его званія, ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнить только то, что человѣкъ, лежащій на смертномъ одръ, можетъ иное видъть лучше тъхъ, которые кружатся среди міра. Несмотря, однако, на всъ таковыя права мои, я бы все не дерзнуль заговорить о томъ, о чемъ они услышать въ Прощальной повъсти; ибо не мнѣ, худшему всѣхъ душою, страждущему тяжкими болѣзнями соб-ственнаго несовершенства, произносить такія рѣчи. Но меня побуждаеть къ тому другая, важнъйшая причина. Соотечественники! страшно!.. Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ съмена мы свяли въ жизни, не прозръвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся... Можеть-быть, Прощальная повъсть моя подъйствуеть скольконибудь на тъхъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышитъ хотя отчасти строгую тайну ея и сокровеннъйшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники! — не знаю и не умъю какъ васъ назвать въ эту минуту — прочь пустое приличіе! Соотечественники! я васъ любилъ, — любилъ тою любовью, которую не высказывають, которую мнѣ даль Богь, за которую благодарю Его, какъ за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди наитягчайшихъ моихъ страданій. Во имя этой любви прошу васъ выслушать сердцемъ мою Прощальную повъсть. Клянусь, я не сочинять и не выдумывать ея: она выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ Самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ся взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы,

намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всёмъ¹). V. Завёщаю по смерти моей не спёшить ни хвалой, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листкахъ и журналахъ: все будеть такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ моихъ гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживаеть хвалу. Всё нападе-

Digitized by Google

8

^{1) &}quot;Прощальная повъсть не можеть явиться въ свътъ: что могло имъть значение по смерти, то не имъетъ смысла при жизни".

нія на нихъ были въ основаніи болѣе или менѣе справелливы. Передо мною никто не виновать; неблагороденъ и несправедливъ будеть тотъ, кто попрекнеть мною кого-либо въ какомъ бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышание, что, кромъ доселъ напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведений: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болъзненномъ и принужденномъ состоянии. А потому, если бы кто-нибудь сталь выдавать что-либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презръннымъ подлогомъ. Но возлагаю вмъсто того обязанность на друзей монхъ собрать всѣ мон письма, писанныя къ кому-либо, начиная съ конца 1844 года, и, — сдёлавши изъ нихъ строгій выборъ только того, что можеть доставить какую-нибудь пользу душь, а все прочее, служащее для пустого развлеченія, отвергнувши, — издать отдѣльною книгою. Въ этихъ письмахъ было кое-что послужившее въ пользу тъмъ, къ которымъ они были писаны. Богь милостивъ; можеть быть, послужать они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей хотя часть суровой отвътственности за безполезность прежде написаннаго.

VI. По кончинѣ моей, никто изъ моихъ уже не имѣетъ права принадлежать себъ, но — всъмъ тоскующимъ, страдающимъ и претерпъвающимъ какое-нибудь жизненное горе. Чтобы домъ и деревня ихъ походили скоръй на гостиницу и страннопріимный домъ, чёмъ на обиталище пом'єщика; чтобы всякій, кто ни прібхаль, быль ими принять, какъ родпой и близкій сердцу человъкъ, чтобы радушно и родственно разспросили они его обо всъхъ обстоятельствахъ его жизни, дабы узнать, не понадобится ли въ чемъ ему помочь, или же, по крайней мъръ, дабы умъть ободрить и освъжить его, чтобы никто изъ ихъ деревни не утажалъ сколько-нибудь неутъшеннымъ. Если же путникъ простого званія, привыкнуяъ къ нищенской жизни и ему неловко, почему-либо, помъститься въ помъщичьемъ домъ, то чтобы онъ отведенъ быль къ зажиточному и лучшему крестьянину по деревнѣ, который быль бы, притомъ, жизни примърной и умълъ бы помогать собрату умнымъ совътомъ; чтобы онъ разспросилъ своего гостя такъ же радушно обо всъхъ обстоятельствахъ, ободрилъ, освѣжилъ и снабдилъ разумнымъ напутствіемъ, донеся потомъ обо всемъ владъльцамъ, дабы и они могли, съ своей стороны, прибавить къ тому свой совѣть или вспомоществованіе, какъ и что найдуть приличнымъ, чтобъ такимъ образомъ никто изъ ихъ деревни не убзжалъ и не уходиль сколько-нибудь неутъшеннымь]¹).

VII. Завѣщаю... Но я вспомниль, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портреть. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому права на его публичное издапіе и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, если бы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портреть мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ

1) Въ прямыя скобки заключено все, не пропущенное цензурою при издания 1846 г.

9

быль гравировать его. Художникъ этоть уже нъсколько дъть трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всъмъ пожертвовалъ для труда своего, — труда убійственнаго, пожирающаго и годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дъло, подходящее нынъ къ концу, съ какимъ не исполняль еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинъ высокой цъны и малаго числа знатоковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествъ, чтобы вознаградить его за все; мой портреть ему помогь бы. Теперь планъ мой разрушень: разъ опубликованное изображение кого бы то ни было дълается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюрь и литографій. Но если бы случилось такъ, что, послѣ моей смерти, письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидъть и портретъ мой, то я прошу всъхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тъхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется извъстностію, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его туть же, по прочтении сихъ строкъ, тъмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: Гравироваль Гордановь. Симъ будетъ сдълано, по крайней мъръ, справедливое дбло. А еще будеть справедливсе, если ть, которые имбють достатокь, стануть, вытьсто портрета моего, покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанию даже чужеземцевъ, есть вънецъ гравировальнаго дѣла и составляеть славу русскую.

Завъщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всъхъ журналахъ и въдомостяхъ, дабы, по случаю невъдънія его, никто не сдълался передо мною невинно-виноватымъ и тъмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

1845.

II.

Женщина въ свътъ.

письмо къой.

Вы думаете, что никакого вліянія на общество имѣть не можете; я думаю, напротивъ. Вліяніе женщины можетъ быть очень велико, именно теперь, въ нынѣшнемъ порядкѣ или безпорядкѣ общества, въ которомъ, съ одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой, какое-то охлажденіе душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворенія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо содѣйствіе женщины. Эта истина въ видѣ какого-то темнаго предчувствія пронеслась вдругъ по всѣмъ угламъ міра, и все чего-то теперь ждеть отъ женщины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что у насъ такъ часто передъ глазами — на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ, [несправедливостей по службѣ] и тому подобнаго, въ чемъ обвиняють нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всѣхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ большомъ и маломъ и требують на то денегъ отъ мужей, или же отъ пустоты вхъ домашней

жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нѣсколько разъ прекраснѣе и возвышеннѣе всякихъ мечтаній. Мужья не позволили бы себѣ и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько-нибудь исполнили свой долгъ. Душа жены — хранительный талисмань для мужа, оберегающій его оть нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогь, и проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую; и наобороть, душа жены можеть быть его зломъ и погубить его навъки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что всёмъ другимъ женщинамъ предстоять поприща, а вамъ нѣтъ. Вы имъ видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словомъ — всячески помогать, а себъ одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачъмъ я не на ихъ мъстъ!» Знайте, что это общее ослѣцаеніе. Всякому теперь кажется, что онъ могъ бы надѣлать много добра на мъстъ и въ должности другого, и только не можетъ сдѣлать, его въ своей должности. Это причина всѣхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всъмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мъстъ сдълать добро. Повърьте, что Богъ не даромъ повелълъ каждому быть на томъ мѣстѣ, на которомъ онъ теперь стоить. Нужно только хорошенько осмотръться вокругь себя. Вы говорите: зачъмъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачёмъ не разстроено ваше имёніе, чтобы заставить васъ ёхать въ деревню, быть помъщицей и заняться хозяйствомъ; зачъмъ вашъ мужъ не занять какою-нибудь общеподезною трудною должностью, чтобы вамъ хоть здѣсь ему помогать и быть силою, его освѣжающею, и зачѣмъ, вмѣсто всего этого, предстоять вамь одни пустые выбзды въ свъть и пустое, выдохшееся свътское общество, которое теперь вамъ кажется безлюднъе самого безлюдья! Но, тъмъ не менъе, свътъ все же населенъ; въ немъ люди, и притомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и болѣютъ, и страждутъ, и нуждаются, и безъ словъ вопіють о помощи, — и, увы! даже не знають, какъ попросить о ней. Какому же нищему слёдуеть прежде помогать: тому ли, кто еще можеть выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чёмъ вы можете быть кому-нибудь полезны въ свътъ; что для этого нужно имъть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной и всезнающей женщиной. что у васъ уже кружится голова при одномъ помышление обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тёмъ, что вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себѣ, совершенная правда: вы, точно, слишкомъ молоды, не пріобрѣли на познанія людей, на познанія жизни, словомъ — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимь; можеть-быть, даже, вы и никогда этого не пріобрѣтете; но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во - первыхъ, вы имъете уже красоту, во - вторыхъ — неопозоренное, неоклеветанное имя, въ - третьихъ — власть, которой сами въ себѣ не подозрѣваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Богъ не даромъ повелълъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредълено, чтобы всъхъ равно поражала красота, даже и такихъ, которые во всему безчувственны и ни къ чему неспособны. Если уже одинъ безсмысленный капризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемірныхъ и заставлялъ дёлать глупости нанумнёйшихъ людей, что

же было бы тогда, если бы этотъ капризъ былъ осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно съ другими женщинами! Стало-быть, это орудіе сильное. Но вы имъете еще высшую красоту — чистую предесть какой - то особенной, одной вамъ свойственной невинности, которую я не умъю опредблить словомъ, но въ которой такъ и свътится всъмъ ваша голубиная душа. Знаете ли, что мнъ признавались наиразвратныйшіе изъ нашей молодежи, что передъ вами ничто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствіи не только двусмысленнаго слова, которымъ потчевають другихъ избранницъ, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будеть передъ вами какъ - то грубо и отзовется чъмъ - то ухарскимъ и неприличнымъ? Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего вѣдома отъ одного вашего присутствія! Кто не смѣетъ себѣ позволить при васъ дурной мысли, тоть уже ея стыдится: а такое обращение на самого сабя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шагь человѣка къ тому, чтобы быть лучше. Стало-быть, это орудіе также сильное. Въ прибавленіе ко всему, вы имъете уже Самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за человъка благороднаго, умнаго, имъющаго всъ качества, чтобы сдълать счастливою жену свою, какъ уже, намъсто того, чтобы сокрыться въ глубину вашего домашняго счастія, мучитесь мыслію, что вы недостойны такого счастія, что не имѣете права имъ пользоваться въ то время, когда вокругъ вась такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются въсти о бъдствіяхъ всякаго рода: о голодѣ, пожарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ болѣзняхъ ума, которыми заражено текущее поколѣніе. Повѣрьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душѣ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тоть много, много можеть для нихъ сдёлать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убъгайте же свъта, среди котораго вамъ назначено быть, не спорьте съ Провидъніемъ. Въ васъ живеть та невъдомая сила, которая нужна теперь для свъта: самый вашь голось, оть постояннаго устремленія вашей мысли летъть на помощь человъку, пріобръль уже какіе то родные звуки всёмъ, такъ что, если вы заговорите въ сопровождении чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей усть вашихъ, которая однимъ только вамь свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая то небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталь всемогущъ; вы можете повелъвать и быть такимъ деспотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелъвайте же безъ словъ, однимъ присутствіемъ вашимъ: повелъвайте самымъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; повелъвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынъшняго свъта. Съ вашей робкой неопытностію вы теперь въ нъсколько разъ больше сдълаете, нежели женщина умная и все испытавшая съ своей гордой самонадъянностію: ея нанумнъйшія убъжденія, съ которыми она бы захотъла обратить на путь нынбшній свбть, въ видь злыхъ эпиграммъ посыплются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмъетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ, безъ словъ, вы попросите кого-нибудь изъ насъ, чтобы онъ спълался лучшимъ. Отчего вы такъ испугались разсказовъ о свътскомъ разврать? Онъ, точно, есть, и еще даже въ большей мъръ, нежели вы думаете; но вамъ и знать объ этомъ не должно. Вамъ ли бояться жалкихъ соблазновъ свъта? Влетайте въ него смъло, съ тою же сіяющею вашей улыбкою;

Digitized by Google

12

ВЫБРАННЫЯ МЪСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествъ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лъкарства: вамъ не слёдуеть и разсматривать, какими болёзнями кто болень. У вась нёть способности разпознавать и исцълять болъзни, и я вамъ не дамъ такого совъта, какой бы мнъ слъдовало дать всякой другой женщинъ, въ тому способной. Ваше дъло только приносить страждущему вашу улыбку, да тоть голосъ, въ которомъ слышится человъку прилетъвшая, съ небесъ его сестра, -- ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними и спъшите въ другимъ, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всъхъ углахъ міра ждуть и не дождутся ничего другого, какъ только тъхъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у вась уже есть. Не болтайте со свътомъ о томъ, о чемъ онъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ Богъ отъ всякаго педантства и отъ всёхъ тёхъ разговоровъ, которые исходять изъ усть какой-нибудь нын тшней львицы. Вносите въ свъть тъ же самые простодушные ваши разсказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей, когда такъ и сіяеть всякое простое слово вашей рѣчи, а душѣ всякаго, кто васъ ни слушаеть, кажется, вакь будто бы она денечеть съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенчествъ человъка. Эти то именно ръчи вносите и въ свътъ.

1846.

III.

Значеніе болѣзней.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

... Силы мои слабъють ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тълесные недуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составѣ тѣла, что радъ бываешь, какъ Богъ знаетъ чему, когда, наконецъ, оканчивается день и доберешься до постели. Часто, въ душевномъ безсиліи, восклицаешь: «Боже! гдъ же, наконецъ, берегъ всего?» Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себѣ внутрь — ничего уже не издаеть душа, кромѣ однѣхъ слезъ и благодаренія. О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынъ каковъ я ни есть, но я все же сталь лучше, нежели быль прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумаль, что сталь уже такимъ, какимъ слъдуетъ мнъ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваеть русскаго человъка на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надълать уже тысячу глупостей. Притомъ нынъ, въ мои свъжія минуты, которыя даеть мнъ милость небесная и среди самыхъ страданій, иногда приходять ко мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнъе прежняго. Не будь тяжкихъ болъзненныхъ страданій, куда бъ я теперь не занесся! какимъ бы значительнымъ человъкомъ вообразилъ себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, что недугъ можетъ остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принесть душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желанін, а не въ исполненія, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные мнѣ Богомъ таланты, и

13

буду осужденъ, какъ послъдний изъ преступниковъ, — слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеснаго Промыслителя за мою болъзнь. Принимайте же и вы покорно всякій недугь, въря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось передъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла. 1846

IY.

О томъ, что такое слово.

Пушкинъ, когда прочиталъ слъдующіе стихи изъ оды Державина къ Храповицкому:

За слова мен'я пусть гложеть, За дёла сатирнкъ чтитъ —

сказалъ такъ: «Державинъ не совсъмъ правъ: слова поэта суть уже его дъла». Пушкинъ правъ. Поэтъ на поприщъ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякій другой на своемъ поприщѣ. Если писатель станеть оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспѣшной торопливости его слова, тогда и всякій несправедливый судья можеть оправдаться въ томъ, что взяль взятки и торговаль правосудіемь, складывая вину на свои тесныя обстоятельства, на жену, на большое семейство, словомъ – мало ли на что можно сослаться! У человъка вдругъ явятся тъсныя обстоятельства. Потомству нътъ дбла до того, кто быль виною, что писатель сказаль глупость или нельпость, или же выразился вообще необлуманно и незръло. Оно не станетъ разбирать, вто толкаль его подъ руку: близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную дъятельность, журналисть ли, хлопотавший только о выгодъ своего журнала. Потомство не приметъ въ уважение ни кумовства, ни журналистовь, ни собственной его бъдности и затруднительнаго положенія. Оно сдълаеть упрекъ ему, а не имъ. — «Зачъмъ ты не устоялъ противу всего этого? Въдь ты же почувствоваль самъ честность званія своего; въдь ты же умблъ предпочесть его другимъ, выгоднъйшимъ должностямъ и сдълалъ это не вслъдствіе какой-нибудь фантазіи, но нотому, что въ себъ услышаль на то призвание Божие; въдь ты же получилъ въ добавку къ тому умъ, который видблъ подальше, пошире и поглубже дбла, нежели тв, которые тебя подталкивали! Зачъмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что нужно для мужа?» Словомъ, еще какой-нибудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ. Онъ слишкомъ повредилъ себѣ тѣмъ, что не сжегъ, по крайней мърѣ, цѣлой половины одъ своихъ. Эта половина одъ представляетъ явленіе поразительное: никто еще доселѣ такъ не посм'ялся надъ самимъ собою, надъ святынею своихъ лучшихъ върованій и чувствъ, какъ сдълаль это Державинъ въ этой несчастной половинѣ своихъ одъ. Точно, какъ бы онъ силился здѣсь намалевать карикатуру на самого себя: все, что въ другихъ мъстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здѣсь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здъсь повторены тъ же самые обороты, выраженія и даже цъликомъ фразы, которые имъютъ такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ и которые туть просто смъшны и походять на то, какъ бы карликъ надълъ панцырь великана, да еще и не такъ,

какъ слъдуетъ. Сколько людей теперь произносить сужление о Державинъ. основываясь на его пошлыхъ одахъ! Сколько усомнилось въ искренности его чувствъ потому только, что нашли ихъ во многихъ мъстахъ выраженными слабо и бездушно! Какie двусмысленные толки составились о самомь его характерѣ, душевномъ благородствѣ и даже неподкупности того самаго правосудія, за которое онъ стоялъ! И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Пріятель нашъ П*** имбеть обыкновеніе, отрывши, какія ни попало, строки извъстнаго писателя, тоть же часъ ихъ тиснуть въ журналћ, не взвъсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестію его. Онъ скрѣпляеть все дѣло извѣстною оговоркою журналистовь: «Надѣемся, что читатели и потомство останутся благозарны за сообшение сихъ прагонънныхъ строкъ; въ великомъ человъкъ все достойно любопытства», и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкій читатель останется благодаренъ; но иотомство плюнеть на эти драгоцённыя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что уже извъстно, и если не дышить оть нихъ святыня того, что должно быть свято. Чъмъ истины выше, тъмъ нужно быть осторожнъе съ ними: иначе онъ вдругъ обратятся въ общія мъста, а общимъ мъстамь уже не върять. Не столько зда произведи сами безбожники, сколько произведи зла лицембрные или даже, просто, неприготовленные проповбдыватели Бога, дерзавшіе произносить имя Его неосвященными устами. Обрашаться съ сдовомъ нужно честно: оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Бѣда произносить его писателю въ тѣ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гнъва, или какого-нибудь личнаго нерасположенія къ кому бы то ни было, словомъ-въ тъ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа: изъ него такое выйдеть слово, которое всъмъ опротивбеть, и тогда съ самымъ чистъйшимъ желаніемъ добра можно произвести здо. Тотъ же нашъ пріятель П*** тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, спѣша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созръла ли мысль въ его собственной головъ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всъмъ. словомъ — высказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествъ! И что жъ? Замътили ли читатели тъ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняля ли отъ него то, чёмъ онъ хотёлъ съ ними подёлиться? Нёть, они замётили въ немъ одно только неряшество и неопрятность, которыя прежде всего замѣчаеть человѣкъ, и ничего отъ него не приняли. Тридцать лъть работалъ и хлопоталъ, какъ муравей, этотъ человъкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскоръе въ руки всёмъ все, что ни находилось, на пользу просвёщенія и образованія русскаго, — и ни одинъ человъкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрътиль, который бы сказаль, что онъ обязань ему какимъ-нибудь новымъ свътомъ или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намъреній и за искренность словъ его предъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнъ было трудно даже убъдить кого-либо, потому что онъ сумълъ такъ замаскировать себя предъ встми, что ръшительно нъть возможности показать его въ томъ видъ, каковъ онъ дъйствительно есть. [Заговорить ли онъ о патріотизмъ, онъ заговорить о немъ такъ, что патріотизмъ его кажется полкупной; о любви къ царю, которую питаеть онъ искренно и свято въ душѣ своей, изъяснится онъ такъ, что это походить на одно раболъпство и какое-то корыстное угождение. Его испренній, непритворный гнъвъ противу всякаго направленія, вреднаго Россіи

н. в. гогодь.

выразится у него такъ, какъ бы онъ подавалъ доносъ на какихъ-то нъкоторыхъ, ему одному извъстныхъ людей. Словомъ, на всякомъ щагу онъ самъсвой клеветникъ]. Опасно шутить писателю со словомъ. «Слово гнило да неисходить изъ усть вашихъ!» Если это слъдуеть примънить по всъмь намъ безъ изъятія, то во сколько крать болье оно должно быть применено къ тъмъ, у которыхъ поприще - слово, и которымъ опредълено говорить о препрасномъ и возвышенномъ. Бъда, если о предметахъ святыхъ и возвышенныхъ станеть раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ. Всъ великіе воспитатели людей налагали долгое молчаніе именно на тёхъ, которые владёли даромъ слова, именно въ тё поры и въ то время, когна больше всего хотълось имъ пошеголять словомъ и рваласьдуша сказать даже много подезнаго людямъ: они слышали, какъ можно опозорить то, что стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъесть нашъ предатель. «Наложи дверь и заики на уста твои, - говоритъ-Інсусь Сирахь: — растопи золото и серебро, какое имбешь, дабы слъдать изънихъ въсы, которые взвъшивали бы твое слово, и выковать надежную узду. которая бы держала твои уста».

1844.

٧.

Чтеніе русскихъ поэтовъ передъ публикою.

письмо въ л**.

Я радъ, что, наконецъ, начались у насъ публичныя чтенія произведеній нашихъ писателей. Мнъ уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъчитали разныя литературныя современности, а въ томъ числъ и мои повъсти. Я думаль всегда, что публичное чтеніе у нась необходимо. Мы какъ-то охотнъе готовы дъйствовать сообща, даже и читать; поодиночкъ изъ насъ всякълѣнивъ и, пока видить, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди насъ мало ръчистыхъ говоруновъ, способныхъ щеголять въ палатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всякому сочувствовать. Передать, подълиться ощущениемь у вногихъ обращается даже въ страсть, которая становится еще сильнъе по мъръ того, какъ живбе начинаютъ замбчать они, что не умбють изъясниться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованию чтецовъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который какъ бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себѣ всѣ оттѣнки звуковъ и самые смѣлые переходы отъ возвыщеннаго до простого въ одной и той же ръчи. Я даже думаю, что публичныя. чтенія со временемъ замънять у насъ спектакли. Но я бы желаль, чтобы въ вынъшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно стоящее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературъ нъть ничего такого, да и нъть напобности читать современное: публика его прочтеть и безь того, благодаря страсти въ новизнѣ. Всѣ эти новыя повѣсти (въ томъ чисяѣ и мои) не такъ важны, чтобы сдёлать изъ нихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ нашимъ поэтамъ, къ тъмъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обработывались въ головъ, надъ которыми и чтецъ долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти.

выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями.

неизвъстны публикъ. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ что въ глазахъ ся личность каждаго поэта теперь двоится, и никто не можеть представить себѣ опредълительно, что такое изъ нихъ всякъ въ существъ своемъ. Одно только искусное чтение можеть установить о нихъ ясное понятіе. Но, разумбется, нужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неуловимую черту того, что читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагедію, и комедію, и оду, и все, что ни попало. Прочесть, какъ слъдуетъ, произведеніе лирическое — вовсе не бездълица: для этого нужно долго его изучать. Нужно раздѣлить искренно съ поэтомъ высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душою и сердцемъ почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будетъ вовсе не крикливое, не въ жару и горячкъ. Напротивъ, оно можеть быть даже очень спокойное, но въ голось чтеца послышится невъдомая сила, свидътель истинно-растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится всёмь и произведеть чудо: потрясутся и тё, которые не потрясались никогда отъ звуковъ поэзія. Чтеніе нашихъ поэтовъ можеть принести много публичнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совсѣмъ позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикъ въ какомъ-то низвомъ смыслъ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому принадлежить мысль — обратить публичныя чтенія въ пользу бъднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, болъзней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утъшились души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

184**3**.

۴I.

О помощи бѣднымъ.

изъ письма къ а. о. см-рн-вой.

... Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость [петербургской] молодежи, которая затѣяла подносить золотые вѣнки и кубки чужеземнымъ пѣвцамъ и актрисамъ въ то самое время, когда въ Россіи голодаютъ цѣлыя губерніи. Это происходитъ не отъ глупости и не отъ ожесточенія сердецъ, даже и не отъ легкомыслія, — это происходитъ отъ человѣческой, всѣмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія и ужасы, производимые голодомъ, далеки отъ насъ; они совершаются внутри провинцій, они не передъ нашими глазами, — вотъ разгадка и объясненіе всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ, дабы насладиться пѣніемъ Рубини, сто рублей за кресла въ театрѣ, продалъ бы свое послѣднее имущество, если бы довелось ему быть свидѣтелемъ на дѣлѣ хотя одной изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станетъ дѣло: мы всѣ готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бѣдныхъ у насъ дѣлаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякій увѣренъ, дойдетъ ли, какъ слѣдуетъ, до мѣста

Н. В. Гоголь. Томъ III.

3

17

назначенія его пожертвованіе, попадеть ди оно именно въ тѣ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію случается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукъ, вся расхлещется по дорогъ, прежде, нежели донесется, - и нуждающемуся приходится посмотръть только на одну сухую руку, въ которой изть ничего. Воть о какомъ предметъ слъдуетъ подумать прежде, нежели начнутъ собирать пожертвованія. Объ этомъ мы съ вами послѣ потолкуемъ, потому что это дѣло ничуть не маловажное и стоить того. чтобы о немь толково потолковать. А теперь поговоримь о томь, гдъ скоръе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастие внезапное, которое вдругъ, въ одну минуту, лишило его всего за однимъ разомъ: или пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скоть, или смерть, похитившая единственную подпору, словомъ — всякое лишение внезапное, гдъ вдругь является человъку бъдность, къ которой онъ еще не успълъ привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно-христіанскимъ образомъ; если же она будеть состоять въ одной только выдачъ денегъ, она ровно ничего не будетъ значить и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головъ всего положения того человѣка, которому хотите помочь, и не принесли съ собою ему наученія, какъ отнынъ слъдуеть вести ему жизнь, онъ не получить большого добра оть вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цёнё утраты; вообще, она едва составляеть половину того, что человѣкъ потерялъ, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русскій человѣкъ способенъ на всъ врайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощію, которую вы принесли ему; объясните ему истинное значение несчастия, чтобы онъ видълъ, что оно послано ему затъмъ, дабы онъ измънилъ прежнее житіе свое, дабы отнынъ онъ сталъ уже не прежній, но какъ бы другой человъкъ и вещественно, и нравственно. Вы сумъете это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельства. Онъ васъ пойметъ: несчастіе умягчаеть человъка; природа его становится тогда болье чуткой и доступной въ пониманію предметовъ, превосходящихъ понятіе человѣка, находящагося въ обыкновенномъ и вседневномъ положении; онъ какъ бы весь обращается тогда въ разогрътый воскъ, изъ котораго можно лъпить все, что ни захотите. Всего лучше, однакожъ, если бы всякая помощь производилась черезъ руки опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они одни въ сидахъ истолковать человѣку святой и глубокій смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на землъ, обитаетъ ли онъ въ избѣ или палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человъку о перемънъ всей его прежней жизни.

1844.

VII.

Объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ.

Появленіе Одиссеи произведеть эпоху. Одиссея есть рѣшительно соверпеннѣйшее произведеніе всѣхъ вѣковъ. Объемъ ея великъ; Иліада предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашнюю

жизнь, всё поприща тогдашнихъ людей, съ ихъ ремеслами, знаніями, вёрованіями... словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы въ ней было пропущено. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ служила она неизсякаемымъ колодцемъ для древнихъ, а потомъ и для всѣхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчисленнаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему свѣту, сдѣлалось достояніемъ всѣхъ, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна: въ Европѣ ея не оцѣнили. Виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передавалъ художественно великолѣпнѣйшее произведеніе древности, отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всѣ безчисленныя, неуловимыя красоты, какъ самого Гомера, такъ и вообще эллинской рѣи; отчасти же недостатокъ, наконецъ, и самаго народа, въ такой степени одареннаго чистотою дѣвственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первъйшаго поэтическаго творенія производится на языкѣ, полнъйшемъ и богатъйшемъ всѣхъ европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковскаго была какъ бы приготовленіемъ къ этому пълу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переволахъ изъ поэтовъ всъхъ націй и языковъ, чтобы сдълаться потомъ способнымъ передать вѣчный стихъ Гомера, — уху его наслушаться всѣхъ лиръ, дабы саблаться до того чуткимъ, чтобы и оттенокъ эллинскаго звука не пропалъ: нужно было, мало того, что влюбиться ему самому въ Гомера, — получить еще страстное желаніе заставить всѣхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера, на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ такимъ событіямъ, которыя привели въ большую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было, наконець, сдълаться глубже христіаниномъ, дабы пріобръсти тотъ прозирающій, углубленный взглядь на жизнь, котораго никто не можеть им'ть, кромъ христіанина, уже постигнувшаго значеніе жизни. Вотъ сколькимъ условіямъ нужно было выполниться, чтобы переводъ Одиссеи вышелъ не рабская передача, но послышалось бы въ немъ слово живо, и вся Россія приняла бы Гомера, какъ родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скорѣе возсозданіе, возстановленіе, воскресеніе Гомера. Переводъ какъ бы еще болѣе вводитъ въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозъ которое еще опредѣлительнѣе и яснѣе выказываются всѣ безчисленныя его сокровища.

По-моему, всѣ нынѣшнія обстоятельства какъ бы нарочно обстановились такъ, чтобы сдѣлать появленіе Одиссеи почти необходимымъ въ настоящее время: въ литературѣ, какъ и во всемъ, — охлажденіе. Какъ очаровываться, такъ и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя, больныя произведенія вѣка, съ примѣсью всякихъ непереварившихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать; только одни задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще коечго перечитываютъ, не замѣчая въ простодушія, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе произведенія стройнаго во всѣхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостью изумительной, и отъ котораго повѣвало бы спокойствіемъ и простотой, почти младенческой.

2*

Одиссея произведеть у насъ вліяніе, какъ вообще на вспохъ, такъ и отдпольно на каждаго.

Разсмотримъ то вліяніе, которое она можеть у насъ произвести вообще на встахъ. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключились всё нужныя условія, дабы сдёлать ее чтеніемъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяеть всю увлекательность сказки и всю простую правду человёческаго похожденія, имѣющаго равную заманчивость для всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ. Дворянинъ, мѣщанинъ, купецъ, грамотей и неграмотей, рядовой солдатъ, лакей, дѣти обоего пола, начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаеть любить сказку. — ее прочитаютъ и выслушаютъ безъ скуки обстоятельство слишкомъ важное, особенно, если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое нравственное произведеніе, и что единственно затѣмъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ живыхъ образахъ начертать законы дѣйствій тогдашнему человѣку.

Греческое многобожіе не соблазнить нашего народа. Народъ нашъ умень: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что приводитъ втупикъ умниковъ. Онъ здъсь увидить только доказательство того, какъ трудно человъку самому, безъ пророковъ и безъ откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога въ истинномъ видъ, и въ какихъ нелъпыхъ видахъ станетъ онъ представлять себѣ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Онъ даже не посмъется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ невиноватыми: пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, апостоловъ не было. Нътъ, народъ нашъ скоръе почешеть у себя въ затылкъ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его истинномъ видъ. имъя въ рукахъ уже письменный законъ Его, имъя даже истолкователей закона въ отцахъ духовныхъ, молится лёнивёе и выполняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смекнеть, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то, что онъ, по невъжеству, взываль къ ней въ образъ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Гефестовъ, Геліосовъ, Кипридъ и всей вереницы, которую наплело играющее воображеніе грековъ. Словомъ, многобожіе отложитъ онъ въ сторону, а извлечетъ изъ Одиссеи то, что ему слёдуетъ изъ нея извлечь, — то, что ощутительно въ ней видимо всъмъ, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, то-есть, что человъку вездъ, на всякомъ поприщѣ, предстоитъ много бѣдъ, что нужно съ ними бороться, — для того и жизнь дана человѣку. — что ни въ какомъ случаѣ не слъдуетъ унывать. какъ не унывалъ и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался въ своему сердцу, не подозръвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращениемъ къ самому себъ онъ уже творилъ ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бъдствій совершаетъ всякій человъкъ, даже не имъющій никакого понятія о Богъ. Вотъ то общее, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведетъ на всъхъ впечатлъніе Одиссея, прежде, нежели одни восхитятся ея поэтическими достоинствами, вбрностью картинъ и живостью описаній; прежде, нежели другіе поразятся раскрытіемъ сокровищъ древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ея ни ваяніе, ни живопись, ни вообще всъ древніе памятники; прежде, нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всёхъ изгибовъ души человѣческой, которые всѣ были вѣдомы всевидѣвшему слѣпцу; прежде, нежели четвертые будуть поражены глубокимъ въдъніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чёмъ обладалъ также божественный старець, законодатель и своего, и грядущихъ поколѣній, словомъ — прежде,

пежели кто-либо завлечется чёмъ-нибудь отдёльно въ Одиссеё сообразпо своему ремеслу, занятіямъ, наклонностямъ и своей личной особенности. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущность его, что ни въ одномъ твореніи не проступаетъ она такъ сильно наружу, проникая все и преобладая надъ всёмъ, особенно, когда разсмотримъ еще, какъ ярки всё эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застёнитъ главное.

Отчего жъ такъ сильно это слышится всёмъ? Оттого, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотѣлъ онъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіи то, что хотѣлъ бы утвердить навѣки въ людяхъ, какъ стремился укрѣпить въ народныхъ обычаяхъ то, что въ нихъ похвально, напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что есть въ немъ, и что онъ способенъ позабыть всякую минуту, оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ вообще оставить въ своемъ неутомимомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитаніе обычаевъ, это благоговѣйное уваженіе власти и начальниковъ, несмотря на ограниченные предѣлы самой власти, эта дѣвственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгнѣвіе старцевъ, это радушное гостепріимство, это уваженіе и почти благоговѣніе къ человѣку, какъ представителю образа Божія, это вѣрованіе, что ни одна благая мысль не зарождается въ головѣ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа, и что ничего не можеть онъ сдѣлать своими собственными силами, словомъ все, всякая малѣйшая черта въ Одиссеѣ говорить о внутреннемъ желаніи поэта всѣхъ поэтовъ оставить древнему человѣку живую и полную книгу законодательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленіями не были опредѣлены отношенія людей, когда люди еще многаго не вѣдали и даже не предчувствовали, и когда одинъ только божественный старецъ все видѣлъ, слышалъ, соображалъ и предчувствовалъ, — слѣпецъ, лишенный зрѣнія, общаго всѣмъ людямъ, и веоруженный тѣмъ внутреннимъ окомъ, котораго не имѣють людя!

И какъ искусно сокрыть весь трудъ многолѣтнихъ обдумываній подъ простотой самаго простодушнѣйшаго повѣствованія! Кажется, какъ бы собравъ весь людъ въ одну семью и усѣвшись среди нихъ самъ, какъ дѣдъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться, ведетъ онъ добродушный разсказъ свой и только заботится о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумѣстною длиннотой поученія, но развѣять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы, играя, набрались всѣ того, что дано не на игрушку человѣку, и незамѣтно бы надышались тѣмъ, что зналъ онъ и видѣлъ лучшаго на своемъ вѣку и въ своемъ вѣкѣ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, если бы, по внимательномъ разсмотрѣніи, уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цѣлаго и порознь каждой пѣсни. Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ миеъ, а всѣ творенія его — народныя пѣсни и рапсодіи!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвесть у насъ Одиссея отдъльно на каждаго. Во-первыхъ, она подъйствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратитъ многихъ къ свъту, проведя ихъ, какъ искусный лоцманъ, сквозъ сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнитъ намъ всъмъ, въ какой безхитростной простотъ нужно возсоздавать природу, какъ

уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, въ какомъ уравновѣшанномъ спокойствіи должна изливаться рѣчь наша. Она вновь дасть почувствовать всѣмъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую вѣкъ мы должны помнить и которую всегда позабываемъ, а именно: по тѣхъ поръ не приниматься за перо, пока все въ головѣ не установится въ такой ясности и порядкѣ, что даже ребенокъ въ силахъ будетъ понять и удержать все въ памяти. Еще болѣе, нежели на самихъ писателей, Одиссея подѣйствуетъ на тѣхъ, которые еще готовятся въ писатели и, находясь въ гимназіяхъ и упиверситетахъ, видятъ передъ собою еще туманно и неясно свое будущее поприще: ихъ она можетъ навести съ самаго начала на прямой путь, избавивъ отъ лишнято шатанія по кривымъ закоулкамъ, по которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во-вторыхъ, Одиссея подъйствуетъ на вкусъ и на развитіе эстетическаго чувства. Она освъжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новъйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ появиться много истинно дъльныхъ критикъ, тъмъ болѣе, что врядъ ли есть на свътъ другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увъренъ, что толки, разборы, разсужденія, Замъчанія и мысли, ею возбужденныя, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткѣ: критики не будутъ ничтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянутъ вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что и сказать объ Одиссеъ.

Въ-третьихъ, Одиссея своею русскою одеждой, въ которую облекъ ее Жуковскій, можеть подъйствовать значительно на очищеніе языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что ни пи-салъ онъ доселъ, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнъе его на слова и выраженія, не достигала до такой полноты русская ръчь. Туть заключились всѣ ея извороты и обороты во всѣхъ видоизмѣненіяхъ. Безконечно-огромные періоды, которые у всякаго другого были бы вялы, темны, и періоды сжатые, краткіе, которые у другого были бы черствы, обру-блены, ожесточили бы ръчь, у него такъ братски улегаются другъ возлѣ друга, всѣ переходы и встрѣчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучіи, все такъ сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего цълаго, что, кажется, какъ бы пропалъ вовсе всякій слогъ и складъ рѣчи: ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ и самого переводчика. Намѣсто его стоитъ предъ глазами, во всемъ величін, старецъ Гомеръ, и слышатся ть величавыя, въчныя рѣчи, которыя не принадлежатъ устамъ какого-нибудь человѣка, но которыхъ удблъ — вбчно раздаваться въ мірб. Здбсь-то увидятъ наши писатели, съ какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умѣньемъ помѣстить его въ надлежащемъ мѣстѣ, и какъ много значить для такого сочиненія, которое назначается на всеобщее употребленіе и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внѣшняя обработка всего: туть малъйшая соринка замътна и всъмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваеть весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великолъпно убранной комнатъ, гдъ все сіяетъ ясностью зеркала, начиная оть потолка до паркета: всякій вошедшій прежде всего увидить эти бумажки, именно по тому же самому, почему бы онь ихъ вовсе не примѣтилъ въ неприбранной, нечистой комнать.

Въ-четвертыхъ, Одиссея подъйствуетъ въ любознательномъ отношени, какъ на занимающихся науками, такъ и на не учившихся никакой наукъ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторіи не начитаешь того, что отыщешь въ ней: отъ нея такъ и дышитъ временемъ минувшимъ; древній человъкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ будто ты еще вчера его видълъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всъхъ его дъйствіяхъ, во всъ часы дня: какъ приготовляется онъ благоговъйно къ жертвоприношенію, какъ бесъдуетъ чинно съ гостемъ за пировою кратерой, какъ поучаетъ юношу; его домъ, его колесница, его спальня, малъйшая мебель въ домъ, отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей, — все передъ глазами, еще свъжъе, пежели въ отрытой изъ земли Помпеъ.

Наконець, я даже думаю, что появленіе Одиссеи произведеть впечатлъніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно въ нынъшнее время, когда таинственною волей Провильнія сталь слышаться повсюлу бользненный ропоть неудовлетворенія, голось неудовольствія челов'вческаго на все, что ни есть на свътъ: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всёмъ, наконецъ, начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, въ которое возвели насъ наша новъйшая гражданственность и просвъщение; когда слышна у всякаго какая-то безотчетная жажда быть не тёмъ, чёмъ онъ есть, можетъ-быть, происшедшая отъ прекраснаго источника — быть лучше; когда сквозь нелъщье крики и опрометчивыя проповъдыванія новыхъ. еще темно услышанныхъ идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе въ какой-то желанной серединъ, найти настоящій законъ дъйствій, какъ въ массахъ, такъ и отдъльно взятыхъ особахъ, — словомъ, въ это именно время Одиссея поразить величавою патріархальностію древняго быта, простою несложностью общественныхъ пружниъ, свъжестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человъка. Въ Одиссев услышить сильный упрекъ себѣ нашъ девятнадцатый вѣкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мъръ того, какъ станеть онъ поболъе всматриваться въ нее и вчитываться.

Что можеть быть, напримъръ, уже сильнъе того упрека, который раздается въ душъ, когда разглядишь, какъ древній человъкъ, съ своими небольшими орудіями, со встять несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, истить и прибъгать къ коварству для истребленія врага, съ своей непокорною, жесткою, несклонною къ повиновенію природою, съ своими ничтожными законами, умбязь, однакоже, однимъ только простымъ исполненіемъ обычаевъ старины и обрядовъ, — которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповѣданы передаваться въ видѣ святыни отъ отца къ сыну, - однимъ только простымъ исполнепіемъ этихъ обычаевъ дойти до того, что пріобрѣль какую-то стройность и даже красоту поступковъ, такъ что все въ немъ сдъдалось величаво съ ногъ до головы, оть рычи до простого движенія и даже до складки платья, и, кажется, какъ бы действительно слышишь въ немъ богоподобное происхождение челобъка? А мы, со встыи нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами встхъ втвовъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана намъ на то, чтобы сдѣлать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей, — со всъми этими орудіями, умъли дойти до какого-то неряшества и неустройства, какъ внъшняго, такъ и внутренняго, умбли сдблаться лоскутными, мелкими, отъ головы до самаго платья нашего, и, ко всему еще въ прибавку, опротивъли до того другъ другу, что не уважаеть никто никого, даже не выключая и гъхъ, которые толкують объ уважении ко всъмъ.

Словомъ, на страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства Одиссея подъйствуетъ. Много напомнитъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратитъ себъ человъчество, какъ свое законное наслъдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тъмъ, многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми естъ такое сродство въ русской природъ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзіи навъвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію.

YIII.

Нъсколько словъ о нашей Церкви и духовенствъ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу Церковь въ Европъ. Обвинять въ равнодушіи духовенство наше будетъ также несправедливость. Зачёмъ хотите вы, чтобы наше духовенство, досель отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды европейскихъ крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дъйствовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаемъ плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездъйствуетъ. Я очень знаю, что въ глубинъ монастырей и въ тишинъ келій готовятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дъла свои они дълають лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требуеть такой предметь, совершають свой трудь въ глубокомъ спокойствія, молясь, воспитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное, похожее на неумъстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которой ей слѣдуеть пребывать, дабы быть въ сидахъ заговорить о такомъ предметъ. Но и эти защиты еще не послужать къ полному убъжденію западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвъстить ея правду. Они говорять, что Церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ: мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу трупомъ. Какъ намъ защищать пашу Церковь, и какой отвътъ мы можемъ дать имъ, если они намъ зададуть такіе вопросы: «А сдълала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняеть ли всякъ у васъ, какъ слъдуеть, свой долгь?» Что мы тогда станемъ отвѣчать имъ, почувствовавши вдругъ въ душъ и совъсти своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь? Владбемъ сокровищемъ, которому цбны нътъ, и не только не заботимся о томъ, чтобы это почувствовать, но не знаемъ даже, гдѣ положили его. У хозяина спрашивають показать лучшую вещь въ его домъ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдъ лежитъ она. Эта Церковь, которая, какъ цъломудренная дъва, сохранилась одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной первоначальной чистотъ своей, эта Церковь, которая

ВЫБРАННЫЯ МВСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

вся, съ своими глубокими догматами и малъйшими обрядами наружными, какъ бы снесена прямо съ неба для русскаго народа, которая одна въ силахъ разръшить всъ узлы недоумънія и вопросы наши, которая можетъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у насъ всякое сословіе, званіе и должность войти въ ихъ законныя границы и предълы и, не измънивъ ничего въ государствъ, дать силу Россіи, изумить весь міръ согласною стройностью того же самаго организма, которымъ она доселъ путала, — и эта Церковъ нами незнаема! И эту Церковъ, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нъть, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значить уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвъстить ея истину. Пусть миссіонеръ католичества западнаго бьеть себя въ грудь, размахиваеть руками и красноръчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проповъдникъ же католичества восточнаго долженъ выступить такъ передъ народъ, чтобы уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всѣ желанія міра, все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ бы самое дѣло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: «Не произноси словъ: слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви!»

IX.

О томъ же.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т....У.

Замѣчаніе, будто власть Церкви оттого у насъ слаба, что наше духовенство мало имъетъ свътскости и довкости обращения въ обществъ, есть такая нельпость, какъ и утверждение, будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнію уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дъйствіяхъ правительствомъ. Духовенству нашему указаны законныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свѣтомъ и людьми. Повѣрьте, что если бы стали они встрвчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежепновныхъ собраніяхъ и гульбищахъ или входя въ семейныя дъла, это было бы нехорошо. Духовному предстоить много искушений, гораздо болье даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы тъ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняють римско-католическихъ поповъ. Римско-католические попы именно оттого сдълались дурными, что черезчуръ сдълались свътскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встръчаются: исповъдь и проповъдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываеть только разь или два въ годъ, а второе можеть быть всякое воскресенье, можно сдълать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умълъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ себѣ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповъди и пропов'яди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами беседахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди свъта человъку съ какого то возвышеннаго мъста, чтобы не его присутствіе слышаль въ это время человъкъ, но присутствие Самого Бога, внимающаго равно имъ обонмъ, и слышался

25

бы обоюдный страхъ оть Его незримаго присутствія. Нъть, это даже хорошо, что духовенство наше находится въ нъкоторомъ отдалении отъ насъ. Хорошо. что даже самой одеждой своей, не подвластной никакимъ измѣненіямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они отдѣдились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не безсмысленное, оставшееся отъ осъмнашатаго въка рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежна римско-католическихъ священниковъ. Она имъетъ смыслъ: она по образу и подобію той одежды, которую носиль Самь Спаситель. Нужно, чтобы и въ самой одеждъ своей они носили себъ въчное напоминание о Томъ, Чей образъ они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлеченій и ничтожныхъ нуждъ свъта; ибо съ нихъ тысячу кратъ болье взыщется, нежели съ каждаго изъ насъ; чтобы слышали безпрестанно. что они — какъ бы другіе и высшіе люди. Нѣть, нокамъсть священникъ еще молодъ, и жизнь ему неизвъстна, онъ не долженъ даже и встръчаться съ людьми иначе, какъ на исповъди и проповъди. Если же и можно ему входить въ бесёду, то развё только съ мудрейшими и опытнейшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердиемъ человъка, изобразить ему жизнь въ ся истинномъ видѣ и свѣтѣ, а не въ томъ, въ какомъ она является неопытному человъку. Священнику нужно время также и для себя :-ему нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ со Спасителя брать примъръ, Который долгое время провелъ въ пустынъ и не прежде, какъ послѣ сорокадневнаго предуготовительнаго поста, вышелъ къ людямъ учить ихъ. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свъта для того, чтобы узнать его. Это просто вздоръ. Опровержениемъ такого мнёнія служать всё свётскіе люди, которые толкаются вёчно среди свёта и при всемъ томъ бывають всёхъ пустёе. Воспитываются для свёта не посреди свъта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцании, въ изслёдовании собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключь къ своей собственной душъ; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключомъ отопрешь души всёхъ.

X.

О лиризмѣ нашихъ поэтовъ.

письмо къ в. А. жуковскому.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертный приговоръ, т.-е. о статьѣ подъ названіемъ: О лиризмю нашихъ поэтовъ. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о, мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ «Современникъ» мон сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько глупостей успѣлъ бы я уже надѣлать, если бы только послушался другихъ моихъ пріятелей! Итакъ, вотъ тебѣ прежде всего моя благодарственная пѣснь; а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда помыслю, какъ до сихъ поръ еще я глупъ и какъ не умѣю заговорить ни о чемъ, что поумнѣе. Всего нелѣпѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную

мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать или написать ничего не умъю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тъмъ, объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противоръчіе. Вновь повторю то же самое: въ лиризмѣ нашихъ поэтовъ есть что-то такое, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй, именно — что-то близкое къ библейскому, — то высшее состояніе лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый возлеть въ свѣтѣ разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовѣ и Державинѣ, даже у Пушкина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдѣ ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомни только стихотворенія его: къ пастырю церкви, «Пророкъ» и, наконецъ, этотъ таинственный побѣть изъ города, напечатанный уже послѣ его смерти. Перебери стихи Языкова, и увидищь, что онъ всякій разъ становится какъ-то неизмѣримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется къ чему-нибудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ «Геній»; оно же не длинно:

> Когла, гремя и цламенбя. Пророкъ на небо улеталъ, Огонь могучій проникаль Живую душу Елисея. Святыми чувствами полна, Мужала, кръпла, возвышалась И вдохновеньемъ озарялась, И Вога слышала она. Такъ геній радостно трепещеть, Свое величье познаеть, Когда предъ нниъ гремитъ и блещетъ Иного генія полеть; Его воскреснувшая сила Мгновенно зрветь для чудесь. И міру новыя свётная -Двла избранника небесъ.

Какой свъть и какая строгость величія! Я изъясняль это тъмъ, что наши поэты видьли всякій высокій предметь въ его законномъ соприкосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма — Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что русская душа, вслёдствіе своей русской природы, уже слышить это какъ-то сама собой, неизвъстно почему. Я сказалъ, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Первый изъ нихъ — Россія. При одномъ этомъ имени какъ то вдругъ просвѣтляется взглядъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ бы облекается величіемъ, становясь превыше обывновеннаго человъка. Это что-то болье, нежели обывновенная любовь въ отечеству. Любовь въ отечеству отозвалась бы притворнымъ хвастаньемъ. Доказательствомъ тому наши такъ-называемые квасные патріоты. Посять ихъ похвалъ, впрочемъ, довольно чистосердечныхъ, только плюнешь на Россію]. Между тъмъ, заговорить Державинъ о Россіи — слышишь въ себъ неестественную силу и какъ бы самъ дышишь величіемъ Россіи. Одна простая любовь въ отечеству не дала бы силъ не только Державину, но даже и Языкову, выражаться такъ широко и торжественно всякий разь, гдѣ ни коснется онъ Россіи. Напримъръ, хотъ бы въ стихахъ, гдъ онъ изображаетъ, какъ наступиль было на нее Баторій:

> . . . Повелительный Стефанъ Въ одинъ могущественный станъ

Уже сбираль толны густыя, Да ниспровергиеть псковитань, Да уничтожится Россія! Но ты, кь отечеству любовь, Ты, чёмь гордились наши дёды, Ты ополчилась: кровь за кровь — И онь не праздноваль побёды!

Эта богатырски трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, рождается отъ невольнаго прикосновенія мысли къ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбъ нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ здъсь сокровенный ужасъ при видъ тъхъ событій, которымъ повелълъ Богъ совершиться въ земль, назначенной быть нашимь отечествомь, прозръніе прекраснаго новаго зданія, которое покамъсть не для всёхь видимо зиждется и которое можеть слышать всеслышащить ухоть поэзія поэть, или же такой духов'ясць, который уже можеть въ *зерит*о прозръвать его плодъ. Теперь начинають это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Тебъ напрасно кажется, что нынъшняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, следуеть какому-то модному повѣтрію. Они не умѣють вынашивать въ головѣ мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не зам'тчая того, что ихъ мысли еще — глупые ребята, вотъ и все. И въ еврейскомъ народъ четыреста пророковъ пророчествовали вдругь: изъ нихъ одинъ только бывалъ избранникъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу еврейскаго народа; всъ же прочіе, въроятно, наговаривали много лишняго, но, тёмъ не менёе, они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умъли сказать здраво и ясно; иначе народъ побилъ бы ихъ камнями. Зачъть же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повътріемъ и не пророчествують о себъ, а пророчествуеть только одна Россія? Затъмъ, что она сильнъе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что ни сбывается въ ней, и чуетъ приближение иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не можетъ бытъ у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну и какъ бы ни жарко умъли выражать такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, преврасный другь мой!

Но перейдемъ въ другому предмету, гдъ также слышится у нашихъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идеть ръчь, то-есть, нобен къ царю. Отъ множества гимновъ и одъ царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выраженіе. Что чувства въ ней искренни — объ этомъ нечего и говорить. Только тоть, кто надъленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на одни мгновенныя, легкія соображенія, увидить здъсь лесть и желаніе получить чточнибудь, и такое соображение оснуеть на какихъ-нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тъхъ же поэтовъ. Но тотъ, кто болъе нежели остроуменъ, кто мудръ, тотъ остановится передъ тъми одами Державина, гдъ онъ очертываетъ властелину шировій кругь его благотворныхъ дъйствій, гдъ, самъ со слезою на глазахъ, говорить ему о тёхъ слезахъ, которыя готовы заструиться изъ глазъ не только русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперіи, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можеть показать народу одна полномощная власть. Туть многое такъ сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабыль бы на время долгь свой, то, прочитавши сіи строки, вспомнить онь

вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Екатеринѣ; но, кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тѣхъ замѣчательныхъ строфъ, гдѣ поэтъ говорить, если и перейдетъ его мраморный истуканъ въ потомство, такъ это потому только,

> Что пѣлъ а россовъ ту царицу, Какой другой намъ не найти Ни здъсь, ни впредь въ пространномъ мірѣ... Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

Не прочтеть онъ также безъ непритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предсмертныхъ стиховъ:

Холодна старость духъ, у лиры гласъ отъежлетъ: Екатерины муза дрежлетъ. . . . Пъть Ужъ не могу. Другимъ пвидамъ гремъть Мон оставлю ветки струны, Да черплютъ вновь изъ инхъ перуны Тъхъ чистыхъ пламенныхъ огней, за Какъ пълъ я трохъ царей.

Старикъ у дверей гроба не будетъ лгать. При жизни своей носилъ онъ, какъ святыню, эту любовь, унесъ и за гробъ ее, какъ святыню. Но не объ этомъ ръчь. Откуда взядась эта любовь? вотъ вопросъ. Что весь народъ слышить ее какимъ-то сердечнымъ чутьемъ, а потому и поэтъ, какъ чистъйшее отраженіе того же народа, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени — это объяснить только одну половину дъла. Полный и совершенный поэть ничему не предается безотчетливо, не провърнвъ его мудростію полнаго своего разума. Имъя ухо слышать впередъ, заключа въ себъ стремление возсоздавать въ полноть ту же вещь, которую другіе видять отрывочно, съ одной или двухъ сторонъ, а не со всъхъ четырехъ, онъ не могъ не прозръвать развитія полнъйшаго этой власти. Какъ умно опредълялъ Пушкинъ значеніе полномощнаго монарха! и какъ онъ вообще былъ уменъ во всемъ, что ни говориль въ послёднее время своей жизни! «Зачёмь нужно, -- говориль онъ,-чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всёхъ и даже выше самого закона? Затёмь, что законъ — дерево; въ законъ слышить человъкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь; нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законь, которая можеть явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха - автомать: много-много, если оно достигнеть того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человъвъ въ нихъ вывътрился до того, что и выъденнаго яйца не стоить. Государство безъ полномощнаго монарха то же, что оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всѣ музыканты, но, если нѣтъ среди нихъ одного такого, который бы движеніемъ палочки всему подавалъ знакъ, никуда не пойдеть концерть. [А, кажется, онъ самъ ничего не дълаеть, не играетъ ни на какомъ инструментъ, только слегка помахиваетъ палочкой да поглядываеть на встахь, и уже одинь взглядь его достаточень на то, чтобы умятчить, въ томъ и другомъ мѣстѣ, какой-нибудь шерщавый звукъ, который испустилъ бы иной дуракъ-барабанъ или неуклюжій тулумбасъ]. При немъ и мастерская скрипка не смѣетъ слишкомъ разгуляться на счетъ другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодець верховнаго согласія!» Какъ шѣтко выражался Пушкинъ! Какъ понималъ онъ значение великихъ истинъ! [Это внутреннее существо ---- силу самодержавнаго монарха онъ даже отчасти выразиль въ одномъ своемъ стихотвореніи, которое, между прочимъ, ты самъ напечаталь въ посмертномъ собрания его сочинений, выправиль даже въ немъ стихъ, а смыслъ не угадалъ. Тайну его теперь открою. Я говорю объ одъ императору Николаю, появившейся въ печати подъ скромнымъ именемъ: Къ H***. Воть ея происхождение. Быль вечерь въ Аничковомъ дворцъ, одинъ изъ тъхъ вечеровъ, въ которымъ, какъ извъстно, приглашались одни избранные изъ нашего общества. Между ними былъ тогда и Пушкинъ. Все въ залахъ уже собралося; но государь долго не выходилъ. Отдалившись отъ всъхъ въ другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей отъ дъль минутой, онь развернуль Иліаду и увлекся нечувствительно ся чтеніемъ во все то время, когда въ залахъ давно уже гремъла музыка и кипъли танцы. Сошель онь на баль уже нъсколько поздно, принеся на лицъ своемъ сабды иныхъ впечатабній. Сближеніе этихъ двухъ противоположностей скользнуло незамѣченнымъ для всѣхъ, но въ душѣ Пушкина оно оставило сильное впечатлёніе, и плодомъ ся была слёдующая величественная ода, которую повторю здъсь всю, она же вся въ одной строфъ:

> Съ Гомеронъ долго ты бесёдовалъ одинъ. Тебя ны долго ожидали. И світель ты сошель съ таинственныхъ вершинъ И вынесъ намъ свои скрижали. И что жъ? Ты насъ обрваъ въ пустынв подъ шатронъ Въ безуиствъ сустнаго пира -Поющихъ буйну пъснь и скачущихъ кругомъ Отъ насъ созданнаго кумира. Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей; Въ порывъ гиъва и печали, Ты прокляль нась, безспысленныхь детей, Разбивъ листы своей скрижали. Нать, ты не прокляль нась. Ты любишь съ высоты Сходить подъ твиь долины малой, Ты любишь гроих небесь и также внеилешь ты Журчанью пчель надъ розой алой.

Оставимъ личность императора Николая, и] разберемъ, что такое монархъ вообще, какъ Божій помазанникъ, обязанный стремить ввѣренный ему народъ къ тому свъту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правъ ли былъ Пушкинъ уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тотъ изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвётственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвётственности предъ людьми, кто болѣетъ ужасомъ этой отвѣтственности и льеть, можеть-быть, незримо такія слезы и страждеть такими страданіями, о которыхъ и помыслить не умъетъ стоящій внизу человъкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышить вѣчный, неумолкаемо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо въ нему вопіющій, — тоть можеть быть уподобленъ древнему Боговидцу, можетъ, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши вътрено-кружащееся племя, которое, намъсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на землѣ, суетно скачетъ около своихъ же, отъ себя самихъ созданныхъ кумировъ. Но Пупкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человѣчества, вымолило ее крикомъ не о правосудіи небесномъ, передъ которымъ не устояль бы ни одинъ человъкъ на землъ, но

прикомъ о небесной любви Божіей, которая бы все умѣла простить намъ: и забвеніе долга нашего, и самый ропотъ нашъ, — все, что не прощаетъ на землѣ человѣкъ, чтобы одинъ затѣмъ только собралъ всю властъ въ себя самого и отдѣлился бы отъ всѣхъ насъ и сталъ выше всего на землѣ, чтобы чрезъ то стать ближе, равно ко всѣмъ, снисходить съ вышины ко всему и вниматъ всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамѣтныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ бы въ этомъ стихотворени Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что такое эта власть, самъ же упалъ въ прахъ предъ величіемъ возникнувшаго въ душѣ его отвѣта. Не мѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, который былъ слишкомъ гордъ и независимостию своихъ мнѣній, и своимъ личнымъ достоинствомъ. Никто не сказалъ такъ о себѣ, какъ онъ:

> Я памятникъ себъ воздвигъ нерукотворный, Къ нему не зарастетъ народная тропа: Вознесся выше онъ главою непокорной Наполеонова столпа.

Хотя въ Наполеоновожъ столять виновать, конечно, ты: но положимъ, если бы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видѣ, онъ все-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще большимъ, какъ Пушкинъ, чувствуя свое личное превмущество, какъ человѣка, передъ многими изъ вѣнценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость званія своего передъ званіемъ вѣнценосца и умѣлъ благоговѣйно поклониться предъ тѣми изъ нихъ, которые показали міру величество своего званія.

Поэты наши прозръвали значение высшее монарха, слыша, что онъ неминуемо долженъ, наконецъ, сдълаться весь одна .нобовь, и такимъ образомъ станетъ видно всъмъ, почему государь есть образъ Божій, какъ это признаеть, повуда чутьемь, вся земля наша. Значение государя въ Европъ неминуемо приблизится къ тому же выражению. Все къ тому ведеть, чтобы вызвать въ государяхъ высшую, Божескую любовь къ народамь. Уже раздаются вопли страданій душевныхъ всего человѣчества, которыми заболѣлъ почти каждый изъ нынъшнихъ европейскихъ народовъ, и мечется, бъдный, ис зная самъ, какъ и чъмъ себъ помочь: всякое постороннее прикосновение жество разболъвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приноситъ цъленія. Эти врики усилятся, наконець, до того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и «ила еще досель небывалаго состраданія вызоветь силу другой, еще досеять небывалой любви. Загорится человъкъ любовію ко всему человъчеству, — такою, какою никогда еще не загорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымъть такую любовь во всей силъ никто не возможеть; она останется въ идеяхъ и въ мысляхъ, а не въ дълъ; могутъ проникнуться ею вполнъ одни только тъ, которымъ уже постановлено въ непремънный законъ полюбить встахъ, какъ одного человъка. Все полюбивши въ своемъ государствѣ, до единаго человѣка всякаго сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ, какъ бы въ собственное тъло свое, возболъвъ духомъ о встахь, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущемъ народъ своемъ, государь пріобрѣтеть тоть всемогущій голось любви, который одинъ только можеть быть доступенъ разболѣвшемуся человѣчеству, и котораго прикосновеніе будеть не жестко его ранамъ, который одннъ можеть только внести примирение во всъ сословия и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцёлится вполнё народъ, гдъ постигнетъ монархъ высшее значеніе свое — быть образомъ Того на земль, Который Самь есть любовь. Въ Европъ не приходнао никому въ умъ опредълять высшее значение монарха. Государственные люди, законоискусники и правовъдцы смотръли на одну его сторону, именно, какъ на высшаго чиновника въ государствъ, [поставленнаго отъ людей), а потому не знаютъ даже, какъ быть съ этой властію, (какъ ей указать настоящія границы], когда, вслідствіе ежедневно изміняющихся обстоятельствъ, бываеть нужно то расширить ея предълы, то ограничить ее; а черезъ это и государь, и народъ поставлены тамъ между собою въ странное положение: они глядять другь на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другого. Высшее значеніе монархія прозр'яли у насъ поэты, а не законовъдцы – услышали съ трепетомъ волю Бого создать ее въ Россіи въ ея законномъ видъ; оттого и звуки ихъ становятся библейскими всякій разъ какъ только излетаетъ изъ усть ихъ слово царь. Это слышатъ у насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторіи слишкомъ явно говорять о волъ Промысла: да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видъ. Всъ событія въ нашемъ отечествъ, начиная отъ порабощенія татарскаго, видимо влонятся въ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ былъ въ силахъ произвесть этотъ знаменитый переворотъ всего въ государствъ, все потрясти и, всъхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ тъмъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человъку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себъ самомъ ту же брань всему невъжественному и темному, какую воздвигнулъ царь въ своемъ государствъ; чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и все придетъ въ сознание силъ своихъ, могъ бы также одинъ, всёхъ впереди, съ свётильникомъ въ рукѣ, устремить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному свъту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымъ средствомъ, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти, какъ самому государю, такъ и его подданнымъ, уже брошены были съмена взаимной любви въ сердца! Ни одинъ царскій домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ начался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ любви. Послёдній и низшій подданный въ государствъ принесъ и положилъ свою жизнь, для того, чтобы дать намъ царя, и сею чистою жертвою связаль уже неразрывно государя съ подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всъхъ кровное родство съ царемъ. И такъ слидся и сталъ одно-едино съ подвластнымъ поведитель, что намъ всъмъ теперь видится всеобщая бъда – государь ли позабудетъ своего подданнаго и отръшится отъ него, или подданный позабудетъ своего государя и отъ него отрѣшится]. Какъ явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведеніе на престоль никому неизвъстнаго отрока! Туть же рядомъ стояли древ. нъйшіе родомъ, и притомъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконець, князья, по прямой линіи происходившіе отъ Рюрика. Всѣхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ: никто не посмълъ предъявлять правъ своихъ! И случилось это въ то смутное время, когда всякий могъ вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцевъ. И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линіи родственникомъ царю, отъ котораго недавній ужасъ ходилъ по всей землѣ, [такъ что не только имъ притъсняемые и казнимые бояре, но даже и самый народъ, который почти ничего не потерпъль отъ него, долго повторяль поговорку: «добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала»].

И при всемъ томъ все единогласно, отъ бояръ до послъдняго бобыля, положнао, чтобъ онъ былъ на престоят. Вотъ какія у насъ дълаются дъла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное опредъление царя въ книгахъ Ветхаго Завъта и которые въ то же время такъ близко вилъди волю Бога на всъхъ событіяхъ въ нашемъ отечестве, ---какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не былъ исполненъ библейскихъ отголосковъ? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью ихъ звуки; для этого потребно полное и твердое убъждение разума, а не одно безотчетное чувство любви; иначе звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежнихъ твоихъ молодыхъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нътъ, есть что-то крѣпкое, слишкомъ крѣпкое у нашихъ поэтовъ, чего нѣть у поэтовъ другихъ націй. Если тебъ этого не видится, то еще не доказываеть, чтобы его вовсе не было. Вспомни самъ, что въ тебъ не всъ стороны русской природы; напротивъ, нъкоторыя изъ нихъ взощли въ тебъ на такую высокую степень и такъ развились просторно, что чрезъ это не дали итста другимъ, и ты уже сталъ исключеніемъ изъ обще-русскихъ характеровъ. Въ тебъ заключились вполнъ всъ мягкія и нъжныя струны нашей славянской природы; но ть густыя и крыпкія ся струны, оть воторыхъ проходить тайный ужась и содрогание по всему составу человъка, тебъ не такъ извъстны. А онб-то и есть родники того лиризма, о которомъ идеть рбчь. Этоть лиризмъ уже ни къчему не можеть возноситься, какътолько къ одному верховному источнику своему — Богу. Онъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любитъ многословія; ему приторно все, что ни есть на земль, если только онъ не видить на немъ напечатлѣнія Божьяго. Въ комъ хотя одна крупица этого лиризма, тоть, несмотря на всѣ несовершенства и недостатки, заключаеть въ себѣ суровое, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожитъ самъ и которое заставляеть его бъжать оть всего, похожаго на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучший его подвигь ему вдругь опротивъетъ, если за него послъдуетъ ему какая-нибудь награда: онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно быть выше награды. [Только по смерти Пушкина обнаружились его истинныя отношенія къ государю и тайны двухъ его лучшихъ сочиненій. Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послѣ того, какъ вслѣдствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, неопрятно-запальчивыхъ выходокъ, производимыхъ всякими квасными и неквасными патріотами, перестали вѣрить у насъ на Руси искревности всъхъ печатныхъ изліяній, — Пушкину было опасно выходить: его бы какъ разъ назвали подкупнымъ или чего - то ищущимъ человѣкомъ. Но теперь, когда появились только послѣ его смерти эти сочиненія, върно, не отыщется во всей Россіи такой человъкъ, который посмълъ бы назвать Пушкина льстецомъ или угодливымъ кому бы то ни было. Чрезъ то святыня высокаго чувства сохранена. И теперь всякъ, кто даже и не въ силахъ постигнуть дёло собственнымъ умомъ, приметъ его на вёру, сказавши: «если самъ Пушкинъ думалъ такъ, то уже, върно, это сущая истина»]. Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мицкевичъ сказалъ объ этомъ на лекціяхъ Парижу, и сказалъ въ такое время, когда и самъ онъ былъ раздраженъ противу насъ, и все въ Парижѣ на насъ негодовало. Несмотря, однакожъ, на то, онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ ничего нѣтъ рабскаго или низкаго, но, напротивъ, что-то

Н. В. Гоголь. Томъ III.

3

свободно величественное; и туть же, хотя это не понравилось никому изь земляковъ его, отдаль честь благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичъ правъ. Наши писатели, точно, заключили въ себъ черты какой-то высшей природы. Въ минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому подкръпленіемъ. Воть что говорить о себъ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбъ своей:

> И долго буду твиъ народу я любезенъ, Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ, Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ И инлость въ падшинъ призывалъ.

Стонть только вспомнить Пушкина, чтобы видёть, какъ въренъ этотъ портреть. Какъ онъ весь оживлялся и вспыхиваль, когда дъло шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Какъ выжидалъ онъ первой минуты царскаго благоволенія къ нему, чтобы занкнуться не о себъ, а о другомъ несчастномъ, упадшемъ! Черта истинно русская]. Вспомни только то умилительное зрѣлище, какое представляеть посъщение всъмъ народомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несеть оть себя - кто пищу, кто деньги, кто христіански-утъшительное слово. Ненависти изть къ преступнику, изть также донвишотскаго порыва сдъ- лать изъ него героя, собирать его факсимиле, портреты, или смотръть на него изъ любопытства, какъ дълается въ просвъщенной Европъ. Здъсь что то болѣе: не желаніе оправдать его или вырвать изъ рукъ правосудія, но воздвигнуть упадшій духъ его, утѣшить, какъ брать утѣшаеть брата, какъ повелёль Христось намь утёшать другь друга. Нушкинь высоко слишкомь цёниль всякое стремление воздвигнуть падшаго. Воть отчего такъ гордо затрепетало его сердце, когда услышаль онь о прівздь государя въ Москву во время ужасовъ холеры, - черта, которую едва ли показалъ кто-либо изъ вънценосцевъ, и которая вызвала у него эти замбчательные стихи:

> Небесани Клянусь, кто жизнію своей Играль предъ сумрачнымъ недугомъ, Чтобъ ободрить угасшій взоръ, Клянусь, тотъ будетъ Небу другомъ, Какой бы ни быль приговоръ Земли слёдой.

Онъ] умълъ также оцънить и другую черту въ жизни другого вънценосца, Петра. Вспомни стихотвореніе « Ширъ на Невъ», въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ о причинъ необыкновеннаго торжества въ царскомъ домъ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невъ, потрясенной пальбой пушекъ. Онъ перебираетъ всъ случаи радостные царю, которые могли бытъ причиною такого пированія: родился ли государю наслъдникъ его престола, именинница ль жена его, побъжденъ ли непобъдимый врагъ, прибылъ ли флотъ, составлявшій любимую страсть государя, и на все это отвѣчаетъ:

> Нётъ, онъ съ подданнымъ мирится, Виноватому вину Забывая, веселится, Чарку пёнитъ съ нимъ одну. Оттого-то пиръ веселый, Рёчь гостей хмельна, шумна, И Нева пальбой тяжелой Далеко потрясена.



Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать всю красоту такого поступка. Умъть не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощеніе, какъ поб'єду надъ врагомъ, — это истинно божеская черта. Только на небесахъ умъють поступать такъ. Тамъ только радуются обращеню гръшника еще болье, нежели самому праведнику, и всъ сонмы невидимыхъ силь участвують въ небесномъ пиршествъ Бога. Пушкинъ быль знатокъ и оцънщикъ върный всего великаго въ человъкъ. Да и какъ могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всъхъ нашихъ писателей? Замъчательно, что во всёхъ другихъ земляхъ писатель находится въ какомъ-то неуважении отъ общества, относительно своего личнаго харавтера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ, вто просто вропатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, но даже временами и вовсе подленевъ, во глубинъ Россіи отнюдь не почитается такимъ. Напротивъ, у встахъ вообще, даже и у ттахъ, которые едва слышатъ о писателяхъ, живетъ уже какое-то убъждение, что писатель есть что-то высшее, что онъ непремънно долженъ быть благороденъ, что ему многое неприлично, что онъ не долженъ и позволить себъ того, что прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянскихъ выборовъ, одинъ дворянинъ, который съ тъмъ выбстъ былъ и литераторъ, подалъ было свой голосъ въ пользу человъка совъсти нъсколько запятнанной — всъ дворяне обратились къ нему туть же и его попрекнули, сказавши съ укоризною: «А еще и писатель!» 1846.

XI.

Споры.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ Д**.

Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показывають только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполнъ проснулись; а потому не мудрено, что съ объихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всъ эти славянисты и европисты, — или же старовъры и нововъры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дълъ, не умъю сказать, потому что покамъсть они инъ кажутся только карикатурами на то, чъмъ хотять быть, - всѣ они говорять о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не перечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко въ строению, такъ что видить одну часть его; другой отошель оть него слишкомъ далеко, такъ что видить весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумъется, правды больше на сторонъ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ весь фасадъ и, стало-быть, все-таки говорять о главномь, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стънъ, которая стоить передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то-есть, глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посовѣтовать обоимъ — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увъренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что

3*

другой окончательно и положительно яжеть. Кичливости больше на сторонъ сдавянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаеть о себъ, что онъ открыль Америку, и найденное имъ зернышко раздуваеть въ ръпу. Разумбется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болъе противу себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинають слышать многое, прежде неслышанное, но упорствують, не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человёку. Всѣ эти споры еще ничего, если бы только они оставались въ гостиныхъ да въ журналахъ. Но дурно то, что два противоположныя мнѣнія, находясь въ такомъ незрѣломъ и неопредѣленномъ видѣ, переходять уже въ головы многихъ должностныхъ людей. Миб сказывали, что случается (особенно въ тъхъ мѣстахъ, гдѣ должность и власть раздѣлена въ рукахъ двухъ) такимъ образомъ, что въ одно и то же время одинъ дъйствуетъ совершенно въ европейскомъ духѣ, а другой старается подвизаться рѣшительно въ древне-русскомъ, укрѣпляя всѣ прежніе порядки, противоположные твиъ, которые замышляетъ собрать его. И оттого, какъ дъламъ, такъ и самимъ подчиненнымъ чиновникамъ приходитъ бъда: они не знаютъ, кого слушаться. А такъ какъ оба мнѣнія, несмотря на всю свою ръзкость, окончательно всъмь не опредълились, то, говорять, этимъ пользуются всякаго рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, подъ маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное мъсто и производить на немъ плутни въ качествъ какъ поборника старины, такъ и поборника новизны]. Вообще, споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамъсть не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ся дёло. Повёрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затёмъ именно, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вибшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь заняться, очень умна, и я даже увъренъ, что ты исполнишь это дъло лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ минуты, сколько возможно, хладнокровныя и спокойныя. Храни тебя Богь оть запальчивости и горячки, хотя бы даже въ малъйшемъ выраженіи. Гнъвъ вездъ неумъстенъ, а больше всего въ дълъ правомъ, потому что затемняетъ и мутитъ его. Вспомни, что ты человѣкъ не только немолодой, но даже и весьма въ лѣтахъ. Молодому человъку еще какъ-нибудь присталь гнъвъ; по крайней мъръ, въ глазахъ нѣкоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ горячиться, онъ дълается, просто, гадокъ; молодежь какъ разъ подыметь его на зубки и выставить смъшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебь: «Экъ, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не дѣлая, а теперь выступиль укорять другихь, зачёмь они не такъ дѣлають!» Изъ устъ старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чиствищаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя ръчи старца, такъ, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему въ возражение, почувствовавъ, что неприличны будуть ея ръчи, и что съдина есть уже СВЯТЫНЯ.

1844.

36

Христіанинъ идетъ впередъ.

нисьмо къ щ.....ву.

Другъ мой! считай себя не иначе, какъ школьникомъ и ученикомъ. Не думай, чтобы ты уже быль старь для того, чтобы учиться, чтобы силы твои достигнули настоящей зрелости и развитія, и что характерь и душа твоя получили уже настоящую форму и не могуть быть лучшими. Для христіанина нътъ оконченнаго курса: онъ въчно ученикъ и до самаго гроба ученикъ. По обывновенному, естественному ходу, человъкъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать ятъть. Отъ тридцати до сорока еще кое-какъ идутъ внереять его силы; дальше же этого срока въ немъ ничто не полвигается. И все имъ производимое не только не лучше прежнято, но даже слабъе и холоднъе прежняго. Но для христіанина этого не существуеть, и гдѣ для другихъ предвлъ совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, перевалясь за сорокальтній возрасть, тупъють, устають и слабъють. Перебери всъхъ философовъ и первъйшихъ и всесвътныхъ геніевъ: лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомни о Кантъ, который въ послъдніе годы обезнамятьль вовсе и умерь, какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всёхъ святыхъ: ты увидишь, что они крепли въ разуме и силахъ духовныхъ по мъръ того, какъ приближались къ дряхлости и смерти. Даже и тъ изъ нихъ, которые отъ природы не получили никакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ ръчей своихъ. Отчего жъ это? Оттого, что у нихъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бываеть у всякаго человъка только въ лъта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплесканіе, когда ему мерещится радужная даль, имъющая такую заманку для юноши. Угаснула, предъ нимъ даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но передъ христіаниномь сіяеть вѣчно даль, и видятся вѣчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чёмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взглядь его на самого себя. безпрестанно просвътляющійся, открываеть ему новые недостатки въ себъ самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Оттого и всё его силы не только не могуть въ немъ заснуть или ослабъть, но еще возбуждаются безпрестанно; а желаніе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ придаеть ему такія шпоры, какихъ не можеть дать наисильнёйшему честолюбцу его ненасытимъйшее честолюбіе. Воть причина, почему христіанинъ тогда идеть впередъ, когда другіе назадъ, и отчего становится онъ, чёмъ дальше, умнѣе.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ полицейская: онъ можеть только привести въ порядокъ и разставить но мѣстамъ все то, что у насъ уже есть. Онъ самъ не двигнется впередъ, покуда не двигнутся въ насъ двѣ другія способности, отъ которыхъ онъ умнѣетъ. Отвлеченными чтеніями, размышленіями и безпрестанными слушаніями всѣхъ курсовъ наукъ его заставищь только слишкомъ немного уйти впередъ; иногда это даже подавляетъ его, мѣшая его самобытному развитю.

Онъ несравненно въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ только забушуеть страсть, онъ уже вдругь поступаеть слівпо и глупо; если же покойна душа и не кипить никакая страсть, онъ и самъ проясняется и постудаеть умно. Разумъ есть несравненно высшая способность; но она пріобрътается не иначе, какъ побъдою надъ страстьми. Его имъли въ себъ только тъ люди, которые не пренебрегли своимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Но и разумъ не даетъ полной возможности человъку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее можеть дать намъ одинъ Христосъ. Она не надъляется никому изъ насъ при рожденіи, никому изъ насъ не есть природная, но есть дъло высшей благодати небесной. Тоть, кто уже имъеть и умъ, и разумъ, можеть не иначе получить мудрость, какъ молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможнъйшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая путается жилищь, гдѣ не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и нътъ полнаго согласія во всемъ. Если же она вступить въ домъ, тогда начинается для человъка небесная жизнь, и онъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ; весь міръ для него учитель: ничтожнёйшій изъ дюдей можеть быть для него учитель. Изъ совёта самаго простого извлечеть онь мудрость совѣта; глупѣйшій предметь станеть къ нему своею мудрою стороною, и вся вселенная передъ нимъ станетъ, какъ одна открытая книга ученія : больше всъхъ будеть онъ черпать изъ нея сопровищъ, потому что больше всъхъ будетъ слышать, что онъ ученикъ. Но если только возмнить онъ хотя на мигь, что учение его кончено, и онъ уже не ученикъ, и оскорбится онъ чьимъ бы то ни было урокомъ или поучениемъ, мудрость вдругъ отъ него отнимется, и останется онъ впотьмахъ, какъ царь Соломонъ въ свои послъдние дни.

1846.

XIII.

Карамзинъ.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ Н. М. ЯЗЫКОВУ.

Я прочель съ большимъ удоводьствіемъ похвальное слово Карамзину, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочинений Погодина въ отношения въ благопристойности, какъ внутренней, такъ и внъшней: въ немъ нътъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здъсь, напротивъ того, стройно, обдумано и расположено въ большомъ порядвъ. Всъ мъста изъ Карамзина прибраны такъ ушно, что Карамзинъ какъ бы весь очертывается самимъ собою и, своими же словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Карамзинъ представляетъ, точно, явленіе необыкновенное. Воть о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполниль долгь, ничего не зарыль въ землю и на данные ему пять талантовъ истинно принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показаль, что писатель можеть быть у насъ независимъ и почтенъ всъми равно, какъ именитъйшій гражданинъ въ государствъ. Онъ первый возвъстиль торжественно, что писателя не можеть ственить цензура, и если уже онъ исполнился чиствишимъ желаніемъ блага въ такой мізрії, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никаная цензура для него не строга, и ему вездъ просторно.

Онъ это сказалъ и доказалъ. Никто, кромъ Карамзина, не говорилъ такъ сибло и благородно, не скрывая никакихъ своихъ мибній и мыслей, хотя они и не соотвѣтствовали во всемъ тогдашнему правительству, и слышишь не-водьно, что онъ одинъ имѣлъ на то право. Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россін нельзя сказать полной правды, и что она у насъ колетъ глаза! Самъ же выразится такъ нелъпо и грубо, что болье, нежели самою правдою, уколеть тъми заносчивыми слевами, которыми скажеть свою правду, словами запальчивыми, выназывающими неряшество растрепанной души своей, и потомъ самъ и изумяяется, и негодуеть, что отъ него нивто не принялъ и не выслушаль правды! Нёть, имъй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имћиъ Карамзинъ, и тогда возвћщай свою правду: все тебя выслушаеть, начиная оть царя до послёдняго нищаго вь государстве, и выслушаеть съ такою любовію, съ какою не выслунивается ни въ какой земль ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругь себя верхушку моднаго общества; и съ такою любовію иожеть выслушать только одна чудная наша Россія, [о которой идеть слухъ, будто она вовсе не любить правлы].

1846.

XIY. ·

О театръ, объ одностороннемъ взглядъ на театръ и вообще объ односторонности.

ПИСЬМО КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Вы очень односторонии, и стали недавно такъ односторонни; и отгого стали односторонии, что, находясь на той точкъ состояния душевнаго, на которой тенерь стоите вы, нельзя не сиблаться одностороннимъ всякому человбку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасени вашемъ и, не найдя еще той именно дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть въ мірѣ, соблазномъ и препятствіемъ въ спасенію. Монахъ не строже вась. Такъ и ваши нападенія на театръ односторонни и несправедливы. Вы подкръщяете себя тъмъ, что нъкоторыя вамъ извъстныя духовныя лица возстають противь театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучне: точно ли они возстають противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ онъ намъ теперь является. Церковь начала возставать противу театра въ первые въки всеобщаго водворения христіанства, когда театры одни оставались прибъжищемъ уже повсюду изгнаннаго язычества и притономъ безчинныхъ его вакханалій. Вотъ почему такъ сильно гремълъ противу нихъ Здатоусть. Но времена измѣнились. Мірь весь перечистился сызнова поколъніями свъжнихь народовъ Европы, которыхъ образованіе начадось уже на христіанскомъ грунть, и тогда сами святители начали первые вводить театрь: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Димитрій Ростовскій, справедянво поставляемый въ рядъ св. отцовъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представления въ лицахъ. Стало быть, не театръ виновать. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысль, человъкъ же на это способенъ. Но надобно смотръть на вещь въ ея основания и на то, чъмъ она должна быть, а не судить о ней по карикатур'в, которую на нее сдълали. Театръ ничуть не бездълица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ

39

соображение то, что въ немъ можетъ помъститься вдругь толна изъ няти, шести тысячь человыкь, и что вся эта толиа, ни въ чемь не сходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можеть вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однёми слезами и засмёнться однимь всеобщимь смёхомь. Это такая каеедра, съ которой можно много сказать міру добра. Отділите только собственно называемый высшій театръ отъ всякихъ балотныхъ скаканій, водевилей, мелодрамъ и тъхъ мишурно-великолъпныхъ зрълнить для глазъ. угождающихъ разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театръ. Театръ, на которомъ представляются высокая трагедія и комедіи, должень быть въ совершенной независимости оть всего. Странно соединить Шекспира съ плясуньями или плясунами въ лайковыхъ штанахъ. Что за сближеніе? Ноги — ногами, а голова — головой. Въ нъкоторыхъ мъстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ отпъленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поняли это въ отношении порядка визшияго. Слёдовало подумать не шутя о томъ, какъ поставить всё лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлеклась въ нимъ вниманіемъ, в открылось бы ихъ нравственное благотворное вліяніе, которое есть у всёхъ великихъ писателей. Шевспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Бомарше, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе изъ второстепенныхъ писателей прошедшаго въка ничего не произвели такого, что бы отвлекало отъ уважения къ высокнить предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипъло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившихъ неуважение въ святынъ. У нихъ, если и попадаются насмъшки, то надъ лицемъріемъ, надъ кощунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ праваго, а никогда надъ тъмъ, что составляетъ корень человъческихъ доблестей; напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдъ брызжуть эпигранны. Часто повторение высоко-драматическихъ сочинений, т.-е. тъхъ истинно-влассическихъ пьесъ, гдъ обращено внимание на природу и душу человъка, станеть необходимо укръщять общество въ правилахъ болъе недвижныхъ, заставитъ нечувствительно характеры болье устоиваться въ самихъ себъ, тогда какъ все это наводнение пустыхъ и легкихъ пьесъ, начиная съ водевилой и недодуманныхъ драмъ до блестящихъ балетовъ и даже оперъ, ихъ только разбрасываетъ, разсвеваеть, становить общество дегкимъ и вътренымъ. Развлеченный миллонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на вст стороны, свътъ не въ силахъ встрътиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ христіанства. Онъ ихъ испугается, какъ мрачнаго монастыря, если не подставншь ему незримыя ступени въ христіанству, если не возведешь его на нъкоторое высшее мъсто, откуда ему станетъ виднъе весь необъятный кругозоръ христіанства, и понятнъе то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди свъта есть много такого, что для всъхъ, отдалившихся отъ христіанства, служить незримою ступенью въ христіанству. Въ томъ числѣ можеть быть и театръ, если будетъ обращенъ къ своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всемъ блескъ всъ совершеннъйшія драматическія произведения всёхъ вёковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя безпрерывно одну и ту же піесу. И это можно сдълать. Можно всь піесы сдълать вновь свъжими, новыми, любопытными для всъхъ отъ мала до велика, если только сумъешь ихъ поставить, какъ слёдуеть, на сцену. Это вздоръ, будто онъ устаръли, и публика потеряла къ нимъ вкусъ. Публика не имъетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ес. Не попотчевай ес сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала бы къ

40

нимъ вкуса и не потребовала бы ихъ. Возьми самую заиграннъйшую пьесу и поставь ее, какъ нужно, та же публика повалитъ толпою. Мольеръ ей булетъ въ новость. Шекспиръ станетъ заманчивъе наисовременнъйшаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была дъйствительно и вполнъ художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется въ труппъ. И не мъшать уже сюда никакого прикленша сбоку, секретаря-чиновника; нусть тоть одинъ распоряжается во всемъ. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвётственность легла на него одного, чтобы онъ рёшился публично, передъ глазами всей публики сыграть самь по порядку одну за другою всё второстепенныя ролн, дабы оставить живые образцы второстепеннымъ актерамъ, которые заучивають свои роли по мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому-то темному преданію, которые образовались книжнымъ наученіемъ и не видять себь никакого живого интереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполненіє первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечь публику видіть двадцать разъ сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видіть, какъ Шепкинь или Баратыгинь стануть играть тв роли, которыхъ никогда дотоль не играли! Потоиъ же, когда первоклассный актерь, разыгравши всё роли, возвратится вновь на свою прежнюю, онь получить взглядь еще полнъйшій, какъ на собственную свою роль, такъ и на всю пьесу; а пьеса получитъ вновь еще сильнъйшую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія, — вещію, досель неслыханною! Нъть выше того потрясенія, которое произволить на человъка совершенно согласованное согласіе всъхъ частей между собою, которое досель могь только слышать онь въ одномъ музыкальномь оркестрь, и которое въ силахъ сдълать то, что драматическое произведение можеть быть дано болье разовь сряду, нежели наилюбимъйшая опера. Что ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ нѣсколько разъ разнообразнъе музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случав, когда двло будеть сделано истинно такъ, какъ слёдуеть, и полная отвётственность всего, по части репертуарной, возляжеть на первоклассного актера, то-есть, трагедіею будеть зав'ядывать первый трагическій актеръ, а комедіею — первый комическій актеръ, когда одни они будуть исключительные хоровожди такого дъла. Поворю исключительно, потому что знаю, какъ много у насъ есть охотниковъ прикомандироваться сбоку во всякомъ дёлё. Чуть только явится какое мёсто и при немъ какія-нибудь денежныя выгоды, какъ уже вмигь пристегнется сбоку секретарь. Откуда онъ возьмется, Богъ въсть: точно какъ изъ воды выйдеть; докажетъ туть же свою необходимость ясно, какъ дважды два; заведеть вначалъ бумажную пропотню только по экономическимъ дъламъ, потомъ станеть понемногу впутываться во все, и дъло пойдеть изъ рукъ вонъ. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточным всѣ должности, сбили и спутали отношенія подчиненныхъ къ начальникамъ и обратно-начальниковъ къ подчиненнымъ. Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о всъхъ должностяхъ, какія ни есть въ нашемъ государствѣ. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предвлахъ, мы находили, что онъ именно то, что имъ слъдуетъ быть, всъ до единой какъ бы свыше созданы для насъ съ твиъ, чтобы отввчать на всъ потребности нашего государственнаго быта, а всъ сдълались не тъмъ оттого, что всякъ, какъ бы наперерывъ, старался или разрушить предълы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ся предъловъ. Всякій, даже честный и умный человъкъ, старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнъй и выше своего мъста, подагая, что онъ этимъ-то именно облагородить и

себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всъхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но севретарей позабыли, а они-то именно больше всъхъ стремятся выступить изъ предбловъ своей должности. Гдъ секретарь заведенъ только въ качествъ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гав же онъ поставленъ дъйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать: корчить передъ этимъ подчиненнымъ родь его начальника, заведетъ у себя переднюю, заставить ждать себя по пълымъ часамъ, словомъ, вмъсто того, чтобы облегчить доступъ подчиненнаго къ начальнику, только затруднитъ его. И все это иногда дблается не съ другимъ какимъ умысломъ, какъ только затъмъ, чтобы облагородить свое секретарское мъсто. Я зналь даже нъкоторыхъ совствиъ недурныхъ и неглупыхъ людей, которые передъ монии же глазами такъ поступали съ подчиненными своего начальника, что я краснъль за нихъ же. Мой Хлестаковъ былъ въ эту минуту ничто передъ ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы оть этого не происходило слишкомъ много печальныхъ слъдствій. Много истинно-полезныхъ и нужныхъ людей иногда бросали службу единственно изъ-за скотинства секретаря, требовавшаго въ себъ того же самаго уваженія, которымъ они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того истившаго имъ оговорами, внушениями о нихъ дурного инънія, словомъ — всѣми тѣми мерзостями, на которыя способенъ только безчестный человъкъ. Конечно, въ управленіяхъ по части искусствъ, художествъ и тому подобнаго, править или комитеть, или одинъ непосредственный начальникъ, и не бываетъ мъста секретарю-посреднику: тамъ онъ опредъленъ только записывать опредъления другихъ или вести хозяйственную часть; но иногда случается и тамъ, отъ лёности членовъ или чего другого, что онъ, мало-помалу втираясь, становится посредникомъ и даже вершителемъ въ дълъ искусства. И тогда выходить просто чорть знаеть что: пирожникъ принимается за сапоги, а къ сапожнику поступаетъ печенье пироговъ. Выходитъ инструкція для художника, писанная вовсе не художникомъ; является преднисание, котораго даже и понять нельзя, зачъмъ оно предписано. Часто удивляются, какъ такой-то человъкъ, будучи всегда умнымъ человъкомъ, могъ выпустить преглупую бумагу, а въ ной онъ и душой не виновать: бумага вышла изъ такого угла, откуда и подозръвать никто не могъ, по пословицъ: «писалъ писачка. а имя ему собачка»].

Нужно, чтобы въ дълъ какого бы то ни было мастерства полное его производство униралось на главномъ мастеръ того мастерства, (а отнюдь не на какомъ-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновникъ, который можетъ быть только употребленъ для однихъ хозяйственныхъ разсчетовъ да для письменнаго дъла]. Только самъ мастеръ можеть учить своей наукъ, слыша вполнъ ея потребности, и никто другой. Одинъ только первоклассный актеръ-художникъ можетъ сдълатъ хорошій выборъ піесъ, дать имъ строгую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиція, понимаетъ, какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенія піесы. Онъ даже не позволить актеру выучить роль на дому, но сделаеть такъ, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ, чтобы всякій, окруженный туть же обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновения съ ними слышалъ върный тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго: покуда актеры еще не заучили наизусть своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Туть всякий, не зная даже самъ какимь образомь, набирается правды и естественности, какъ въ ръчахъ, такъ

и въ тълодвиженіяхъ. Тонъ вопроса даеть тонъ отвъту. Сдълай вопросъ напыщенный, получишь и отвёть напыщенный; сдёлай простой вопрось, простой и отвъть получишь. Всякій наипростьйшій человъкь уже способень отвъчать въ такть. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою роль, отъ него изойдеть напыщенный, заученный отвъть, и этоть отвъть уже останется въ немъ навъкъ: его ничъмъ не передомищь; ни одного сдова не перейметъ онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окружение обстоятельствь и характеровь, обступающихь его роль, такъ же, какъ и вся піеса станеть ему глуха и чужда, и онъ, какъ мертвецъ, будеть двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ-художникъ можеть слышать жизнь, заключенную въ песъ, и сабдать такъ, что жизнь эта слъдается видною и живою для всёхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную мбру рецетицій — какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того, дабы возмогла ніеса явиться въ полномъ совершенствъ своемъ передъ публикою. Умъй только заставить актера-художника взяться за это дбло, какъ за его собственное, родное дбло, докажн ему, что это его долгь и что честь его же искусства того требуеть оть него - и онь это сделаеть, онь это исполнить, потому что любить свое искусство. Онь сделаеть даже больше, позаботясь, чтобы и послъдній изъ актеровъ сыгралъ хорошо, сдълавъ строгое исполнение всего цълаго какъ бы своею собственною родею. Онъ не допустить на сцену никакой пошлой и ничтожной пјесы. какую допустиль бы иной чиновникь, заботящійся только о приращеній сборной денежной кассы], — потому не допустить, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнеть ее. Ему невозможно также, если бы онъ лаже и вздумаль оказать какіе-нибудь притьснительные поступки или прижимки относительно ввъренныхъ ему актеровъ, [какія дълаются людьми чиновными]; его не допустить къ тому его собственная извъстность, [Какой-инбудь чиновникъ-секретарь производить отважно свою пакость въ увъренности, что какъ онъ ни напакости, о томъ никто не узнаетъ, потому что и самъ онъ незамътная пъшка. Но сдъдай что-нибудь несправедливое Щепкинъ или Баратыгинъ, о томъ заговорить вдругь весь городъ. Воть почему особенно важно, чтобы главная отвѣтственность во всякомъ дѣлѣ падала на человѣка, уже извъстнаго всъмъ до единаго въ обществъ]. Наконенъ, живя весь въ своемъ искусствѣ, которое стало уже его высшею жизнію, котораго чистоту блюдеть онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не попустить никогда, чтобы театръ сталъ проповъдникомъ разврата. Итакъ, не театръ виноватъ. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ уже разбирайте и судите, что такое театрь. Я заговориль здёсь о театрь не потому, чтобы хотыть говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театръ можно примънить цочти ко всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страждутъ изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ; а такъ какъ вообще на свъть есть много охотниковъ льйствовать сгоряча, по пословиць: «разсердясь на вши, да шубу въ печь». то чрезъ это уничтожается много того, что послужило бы всъмъ на пользу. Одностороније люди и притомъ фанатики — язва для общества; бъда той земль и государству, гдъ въ рукахъ такихъ людей очутится какая-либо власть. У нихъ нътъ никакого смиренія христіанскаго и сомнѣнія въ себѣ; они увърены, что весь свътъ вретъ и одни они только говорятъ правду. Другь мой, смотрите за собою покрѣпче: вы теперь именно находитесь въ этомъ опасномъ состояния. Хорошо, что покуда вы внѣ всякой должности, и вамъ не ввърено никакого управленія; иначе вы, котораго я знаю, какъ наиспособнъйшаго въ отправленію самыхъ трудныхъ и сложныхъ должностей,

могли бы напълать больше зда и безпорядковъ, нежели самый неспособный нать неспособнайшихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденияхъ своихъ обо всемъ! Не будьте похожи на тъхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что ни есть въ свътъ, видя во всемъ одно бъсовское. Ихъ удълъ -впадать въ самыя грубыя ошибки. Нъчто тому подобное случилось недавно въ литературъ. Нъкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ деисть, а не христіанинь; точно какъ будто бы они побывали въ душъ Пушкина: точно какъ будто бы Пушкинъ непремънно обязанъ былъ въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ христіанскихъ, за которые и самъ святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготовя себя въ тому глубочайшею святостію своей жизни. По ихъ понятіямъ, следовало бы все высшее въ христіанстве облекать въ риомы и спелать изъ того какія-то стихотворныя игрушки. Пушкинъ слишкомъ разумно поступаль, что, не дерзая переносить въ стихи того, чёмъ еще не проникалась вся насквозь его душа, предпочиталь лучше остаться нечувствительною СТУПЕНЬЮ ВЪ ВЫСШЕМУ ДЛЯ ВСБХЪ ТБХЪ, КОТОРЫЕ СЛИШКОМЪ ОТЛАЛИЛИСЬ ОТЪ Христа, нежели оттолкнуть ихъ вовсе отъ христіанства такими же бездушными стихотвореніями, какія пишутся тёми, которые выставляють себя христіанами. Я не могу даже понять, какъ могло прійти въ умъ критику, печатно, въ виду всѣхъ, взводить на Пушкина такое обвиненіе, что сочиненія его служать къ развращенію свѣта, тогда какъ самой цензурѣ предцисано, въ случав, если бы смыслъ какого сочиненія не быль вполнѣ ясенъ, толковать его въ прямую и выгодную для автора сторону, а не въ кривую и вредящую ему. Если это постановлено въ законъ цензуръ, безмолвной и безгласной, не имѣющей даже возможности оговориться передь публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себт въ законъ критика, которая можеть изъясниться и оговориться въ мальйшемъ действіи своемь! Публично выставлять нехристіаниномъ человѣка и даже противникомъ Христа, основываясь на нѣкоторыхъ несовершенствахъ его души и на томъ, что онъ увлекался свётомъ такъ же, какъ и всякъ изъ насъ имъ увлекался, - развё это христіанское дѣло? Да и вто же изъ насъ христіанинъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его нехристіанствъ. Я могу сказать, что христіанинъ не возымбеть такой увбренности въ умб своемъ, чтобы рбшить такое темное дъло, которое извъстно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполнъ проясняется и можеть обнимать со встхъ сторонъ предметь только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ, можетъ-быть, свята. Христіанинъ передъ тъмъ, чтобы обвинить какого-либо въ такомъ уголовномъ преступлении. каково есть непризнание Бога въ томъ видъ, въ какомъ повелълъ признавать Его Самъ Божій Сынъ, сходившій на землю, задумается, потому что дъло это страшное. Онъ скажетъ и то: въ поэзіи многое есть еще тайна, да и вся ноэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человъкомъ произнести судъ свой, произнести же судъ окончательный и полный надъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себъ самомъ поэтическое существо и еслъ самъ уже почти равный ему поэтъ, — какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствѣ понемногу можеть судить всякъ, но вполнѣ судить можеть только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, христіанинъ покажетъ прежде всего смиреніе, свое первое знамя, по которому можно узнать, что онъ христіанинъ. Христіанинъ, намъсто того, чтобы говорить о тъхъ мъстахъ въ Пушкинъ, которыхъ смыслъ еще теменъ и можетъ быть истолкованъ на двъ стороны. станеръ говорить о томъ, что ясно, что было имъ произведено въ лъта разумнаго мужества, а не увлекающейся юности. Онъ приведеть его

величественные стихи пастырю Церкви, гдѣ Пушкинъ самъ говоритъ о себѣ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увлекался суетою и прелестію свѣта, его поражалъ даже одинъ видъ служителя Христова.

> Но и тогда струны лукавой Мгновенно звонъ я прерывалъ, Когда твой голосъ величавый Меня внезапно поражалъ. Я лиль потови слезь нежданныхь. И ранамъ совъсти моей Твоихъ речей благоуханныхъ Отраденъ чнотый быль елей. И нынъ съ высоты духовной Мив руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Сипряешь буйныя мечты. Твониъ огнемъ душа палима, Отвергла прахъ земныхъ суетъ, И внемлетъ арфъ серафина Въ священномъ ужасв поэтъ.

Воть на какое стихотворение Пушкина укажеть вритикъ-христіанинъ! Тогда критика его получить смысль и сдълаеть добро: она еще сильнъй укрѣнить самое дѣло, показавши, какъ даже и тоть человѣкъ, который заключаль въ себѣ всѣ разнородныя върованія и вопросы своего времени, такъ сбивчивые, такъ отдаляющие насъ отъ Христа, - какъ даже и тотъ человъкъ, въ лучшія и свътлейшія минуты своего поэтическаго ясновиденія, исповедаль выше всего высоту христіанскую. Но какой теперь смысль критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши въ нихъ сомнѣніе и полозовніе въ Пушкинъ? Бездълица — выставить напумнъйшаго человъка своего времени не признающимъ христіанства, - человѣка, на котораго уиственное покольніе смотрить, какъ на вождя и на передового, сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ былъ безталантливъ и не могь пустить въ ходъ подобную ложь, и что самъ Пушкинъ оставниъ тому опровержение въ своихъ же стихахъ; [но будь иначе, что другое, кромъ безвърья, намъсто въры, могъ бы распростанить онъ?] Воть что можно сдълать, будучи одностороннимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторонности: съ нею всюду человъкъ произведеть зло: въ литературъ, на службъ, въ семьв, въ свътъ, словомъ — вездъ! Односторонній человъкъ самоувъренъ; односторонній человѣкъ дерзокъ; односторонній человѣкъ всѣхъ вооружить противъ себя. Односторонній человѣкъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Односторонній челов'ять не можеть быть истиннымь христіаниномь: онь можеть быть только фанатикомъ. Односторонность въ мысляхъ показываеть только то, что человъкъ еще на дорогъ къ христіанству, но не достигнуль его, потому что христіанство даеть уже многосторонность уму. Словомъ — храни васъ Богъ отъ односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что въ ней могуть быть двъ совершенно противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ двъ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дъло восторгъ отъ того, когда какая-нибудь балетная танцовщица подыметь ногу повыше, и опять иное дело восторгь оть того, когда могущественный лицедъй потрясающимъ словомъ подыметъ выше всъ высокія чувства въ человъкъ. Иное дъло — слезы отъ того, что какой-нибудь заъзжій пъвець расщекотить музыкальное ухо человъка, — слезы, которыя, какъ я слышу, проливають теперь въ Петербургѣ и немузыканты; и опять иное

дёло — слезы отъ того, когда живымъ представленіемъ высокаго подвига человѣка весь насквозь просвѣжается зритель и по выходѣ изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполненіи. Другъ мой, мы призваны въ міръ не за тѣмъ, чтобы истреблять и разрушать, но, [подобно Самому Богу], все направлять къ добру, — даже и то, что уже испортилъ человѣкъ и обратилъ во зло. Нѣтъ такого орудія въ мірѣ, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тѣ же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними царемъ Давидомъ нобѣды, обратились на восхваленіе истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тѣхъ инструментахъ, на которыхъ она дотолѣ не раздавалась.

1845.

X۴.

Предметы для лирическаго поэта въ ңынвшнее время

два письма къ н. м. языкову.

1.

Твое стихотвореніе «Землетрясеніе» меня восхитило. Жуковскій также быль оть него въ восторгѣ. Это, по его мнѣнію, лучшее не только изъ твоихъ, но даже изъ всѣхъ русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго и обратить его къ настоящему — какая умная и богатая мысль! А нримѣненіе къ поэту, довершающее оду, таково, что его слѣдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, нримѣнить къ самому себѣ въ эту тяжелую годину всемірнаго землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ, передъ тобою разверзается живоносный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

> И приноси дрожащимъ людямъ Молитвы съ горней вышины —

заключаются слова тебѣ самому. Тайна твоей музы тебѣ открывается. Нынъщнее время есть именно поприще для лирическаго поэта. Сатирою ничего не возьмешь; простою картиною действительности, оглянутой глазомь современнаго свътскаго человъка, никого не разбудишь: богатырски задремалъ нынъшній въкъ. Нътъ, отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его въ виду встхъ, какъ поражено было оно гнѣвомъ Божіимъ въ свое время; бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово: живъе черезъ то выступить прошедшее, и крикомъ закричитъ настоящее. Разогни книгу Ветхаго Завъта: ты найдешь тамъ каждое изъ нынъшнихъ событій, увидишь яснъе дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудія и средства: въ стихѣ твоемъ есть сила и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тъхъ, которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тъхъ, которые въ святыя минуты небеснаго гнъва и страданій повсюдныхъ дерзають предаваться буйству всякихъ скаканій и позорнаго ликованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всёхъ, какъ начертанныя на воздухё буквы, явившіяся на пиру Валтасара, оть которыхь все пришло въ ужасъ, еще прежде, нежели могло проникнуть самый ихъ смыслъ. А если хочешь быть еще понятнъе всъмъ, то, набравшись духа библейскаго, опустись съ нимъ, какъ со свѣточемъ, во глубину русской старины и въ ней порази позоръ нынъшнято времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чъмъ еще позорнъе станетъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будеть вяль, не бойся; старина дасть тебѣ краски и уже одною собою влохновить тебя! Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лътописяхъ. На дняхъ попалась мнъ книга: «Царскіе выходы». Туть уже одни слова и названія царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивишься драгоцённости нашего языка: что ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и, право, иное название еще драгопъннъе самой вещи. Да если только уберешь такими словами стихъ свой — пъликомъ унесещь читателя въ минувшее. Мнъ, посяъ прочтенія трехъ страниць изъ этой книги, такъ и видблся вездѣ царь старинныхъ, прежнихъ времень, благоговъйно идущій къ вечернъ въ старинномъ дарскомъ своемъ убранствѣ.

1844.

2.

Нищу въ тебъ подъ вліяніемъ того жъ стихотворенія твоего: «Землетрясеніе». Ради Бога, не оставляй начатаго дѣла! Перечитывай строго Библію, набирайся русской старины и, при свътъ ихъ, приглядывайся въ нынъшнему времени. Много, много предстоить тебъ предметовъ, и грѣхъ тебъ ихъ не видѣть. Жуковскій недаромъ доселъ называлъ твою поэзію восторгомъ, никуда не обращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видѣ холостыхъ выстрѣловъ на воздухъ, тогда какъ она дана тебъ на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта; всявъ человъвъ требуетъ лирическаго воззванія въ нему; куда ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освѣжить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего, сильнымъ лирическимъ упрекомъ, умныхъ, но унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то-есть, что человѣкъ, предавшійся унынію, есть дрянь во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины унынія, потому что уныніе проклято Богомъ. Истинно-русскаго человѣка поведешь на брань даже и противъ унынія, поднимещь его превыше страха и колебаній земли, какъ поднялъ поэта въ своемъ «Землетрясеніи».

Воззови, въ видѣ лирическаго сильнаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человѣку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бѣдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несеть и несеть его ничтожная верхушка свѣта, несуть обѣды, ноги плясавицъ, ежедневно сонное опьянѣніе; нечувствительно облекается онъ плотію и сталь уже весь плоть, и уже почти нѣть въ немъ души. Завопи воплемъ и выставь ему вѣдьму-старость, къ нему идущую, которая вся изъ желѣза, предъ которою желѣзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О, если бъ ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома «Мертвыхъ душъ»! Опозорь, въ гнѣвномъ диоирамбѣ, новѣйшаго лихоимца нынѣшнихъ временъ и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяніями и тряпками и себя, и мужа, и презрѣнный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышатъ, чтобы, какъ отъ чумы, отъ нихъ побѣжало все бѣгомъ и безъ оглядки.

Возвеличь, въ торжественномъ гимнъ, незамътнаго труженика, какой, къ чести высокой породы русской, находится посреди отважнъйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотъла носить старомодный чепецъ и стать предметомъ насмъшекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдълать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бъдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всъхъ въ глазахъ и каждому изъ насъ захотълось бы самому быть бъднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинно-русской душѣ; но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ русская природа и чтобы все, даже въ грубомъ и низшемъ сословіи, вскрикнуло: «Эхъ, молодецъ!» почувствовавши, что и для него самого возможно такое дѣло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта — въ книгѣ не вмѣстишь, не только въ письмѣ. Всякое истинное русское чувство глохнеть, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимостъ и отвага на дѣло, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни, которую привили къ намъ, подъ именемъ просвѣщенія, пустыя и мелкія нововведенія. Стряхни же сонъ съ очей своихъ и порази сонъ другихъ. На колѣна предъ Богомъ, и проси у Него гнѣва и любви! Гнѣва — противу того, что губитъ человѣка, любви — къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ, и которую губитъ онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; отни, а не слова, излетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сдѣлаешь это дѣло роднымъ и кровнымъ своимъ дѣломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пеиломъ главу, раздравши ризы, рыданіемъ вымолишь себѣ у Бога на то силу, и такъ возлюбищь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе богоизбраннаго своего народа.

1844.

XVI.

Совѣты.

письмо въ с. п. шевыреву.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего болѣзненнаго и труднаго времени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я долженъ былъ вести такую дѣятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолѣ. Какъ нарочно, почти со всѣми близкими моей душѣ случились въ это время внутреннія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя помощи и совѣта. Тутъ только узналъ я близкое родство человѣческихъ душъ между собою. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся тебѣ понятны и

почти знаешь, что нужно сказать имъ. Этого мало; самый умъ проясняется: дотодъ сокрытыя положенія и поприща людей становятся тебъ извъстны, и дълается видно, что кому изъ нихъ потребно. Въ послъднее время мнъ случалось даже получать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвёты такіе, какихъ бы я не сумълъ дать прежде. А между прочимъ я ничуть не умнъе никого. Я знаю дюдей, которые въ нъскодько разъ умнъе и образованите меня, и могли бы дать совъты въ нъсколько разъ полезнъйшіе моихъ; но они этого не дълають и даже не знають, какъ это сдълать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! И чъмъ же умудряющій? тъмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бъжимъ и хотимъ сокрыться. Страданіями и горемъ опредълено намъ добывать крупицы мудрости, не пріобрътаемой въ книгахъ. Но кто уже пріобръль одну изъ этихъ крупицъ, тотъ уже не имъеть права скрывать ее въ себъ отъ другихъ. Она не твое, но Божіе достояніе. Богъ ее выработаль въ тебъ; всъ же дары Божін даются намъ затъмъ, чтобы мы служили ими собратіямъ нашимъ: Онъ повельль, чтобы ежеминутно учили мы другь друга. Итакъ, не останавливайся, учи и давай совъты! Но, если хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебъ самому пользу, дълай такъ, какъ думаю я и какъ положилъ себъ отнынъ дълать всегда. Всякій совъть и наставленіе, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человъку, стоящему на самой низкой степени образованія, съ которымъ у тебя ничего не можетъ быть общаго, обрати въ то же время къ самому себъ, и то же самое, что посовътовалъ другому, посовътуй себѣ самому; тотъ же самый упрекъ, который сдълалъ другому, сдълай тутъ же себъ самому. Повърь, все придется въ тебъ самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Дъйствуй оружіемъ обоюдуострымъ. Если даже тебъ случится разсердиться на кого бы то ни было, разсердись въ то же время и на себя самого, хотя за то, что сумъль разсердиться на другого. И это дълай непремънно! Ни въ какомъ случаъ не своди глазъ съ самого себя. Имъй всегда въ предметъ себя прежде всъхъ. Будь эгоисть въ этомъ случав. Эгонзмъ тоже не дурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основаніе эгонзма легла сущая правда. Позаботься прежде о себъ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище.

1846.

XVII.

Просвъщеніе.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Еще разъ пишу къ тебѣ съ дороги. Брать, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможеть мнѣ отдать тебѣ хотя часть того умнаго добра, которымъ надѣлилъ меня ты. Вѣруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты пріѣдешь, какъ въ родную свою семью. Она предстанеть тебѣ желанною пристанью, и въ ней покойнѣе будеть тебѣ, нежели здѣсь. Ни пустой шумъ суеты, ни громъ экипажа не смутить тебя: объѣдуть бережно и улицу, въ которой ты будешь жить. Если кто и пріѣдетъ тебя навѣстить, старый ли другъ твой, или же дотолѣ незнакомый человѣкъ, онъ станетъ вцередъ просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута

Н. В. Гоголь. Томъ III.

4

твоего времени не пропада. У насъ умъють и даже знають, какъ почтить того, кто сделаль целикомъ свое дело. Кто такъ безукоризненно, такъ честно употребляль всъ дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лънясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранилъ свъжею старость свою, какъ бы молодость, въ то время, какъ всъ вокругъ истратили ее на пустые соблазны, и какъ молодые превратились въ хилыхъ стариковъ, тотъ имъетъ право на вниманіе благоговъйное. Какъ патріархъ ты булешь въ Москвъ, и на въсъ золота примутъ отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесеть много общаго добра: это тебъ предрекаю. Она возвратить къ свъжести современнаго человъка, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обновить въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратить его къ простоть. Но не меньше добра, если еще не больше, принесуть тв труды, на которые навель тебя Самь Богъ, и которые ты держишь покуда разумно подъ спудомъ. Въ нихъ окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди впередъ! Да не испугаеть тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встрътиль. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всъми видимъ — наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіять свътомъ на всю землю. Въ ней заключено все, что нужно для жизни истинно - русской, во всъхъ ся отношеніяхъ, начиная оть государственнаго до простого семейственнаго, всему настрой, всему направление, всему законная и върная дорога. По мнъ, безумна и мысль ввестн какое нибудь нововведение въ Россію, минуя нашу Церковь, не испросивъ у нея на то благословенія. Неліпо даже и въ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было европейскія идеи, покуда не окрестить ихъ она свътомъ Христовымъ. Увидищь, какъ это вдругь и въ твоихъ же глазахъ будетъ признано всёми въ Россіи, какъ вёрующими, такъ и невёрующими, какъ вдругъ выступитъ всёми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слъпота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздъленію Церквей, повельвшую одной стоять неподвижно и какъ бы вдали оть людей, а другой - волноваться вытьсть съ людьми; одной - не принимать въ себя никакихъ нововведеній, кромѣ тѣхъ, которыя были внесены святыми людьми лучшихъ временъ христіанства и первоначальными Отцами Церкви, другой — мѣняясь и примѣняясь ко всѣмъ обстоятельствамъ времени, духу и привычекъ людей, вносить всѣ нововведенія, сдѣланныя даже порочными и несвятыми епископами; одной — на время какъ бы умереть для міра, другой — на время какъ бы овладъть всъмъ міромъ; одной подобно скромной Маріи, отложивши всѣ попеченія о земномъ, помѣститься у ногъ Самого Господа, затъмъ, чтобы лучше наслушаться словъ Его, прежде, нежели примѣнять и передавать ихъ людямъ, другой же — подобно заботливой хозяйкъ Мароъ, гостепріимно хлопотать около людей, передавая имъ еще не взвѣшенныя всѣмъ разумомъ слова Господни. Благую часть избрала первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмълидась назвать ее мертеваль трупомь и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примѣнить слово Христово къ людямъ, и слѣдовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. Зато въ нашей Церкви сохранилось все, что нужно для просыпающагося нынь общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чтмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тъмъ больше изумляюсь чудной возможности

примиренія тъхъ противоръчій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла кое-какъ управлять міромъ и мирить его со Христомъ во имя односторонняго и неполнаго развитія человѣчества. Теперь же, когда человѣчество стало достигать развитія полнъйшаго во всѣхъ своихъ силахъ, во всёхъ свойствахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваеть отъ Христа: чъмъ больше хлопочеть о примирении. тъмъ больше вноситъ раздоръ, будучи не въ силахъ освътить узвимъ свътомъ своимъ всякій нынёшній предметь со всёхъ его сторонъ. Всё сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества постановленій человъческихъ, сдъланныхъ такими епископами, которые еще не достигнули святостію жизни своей до полной и многосторонней христіанской мудрости, она сузила взглидъ свой на жизнь и міръ и не можеть обхватить ихъ. Полный и всесторонній взглядь на жизнь остался на ея восточной половинь, видимо, сбереженной для позднъйшаго и полнъйшаго образованія человъка. Въ ней просторъ не только душть и сердцу человъка, но и разуму, во всъхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человъкъ вь одинъ согласный гимнъ верховному Существу. Другъ, не смущайся ничъмъ! Если бы седмерицею крать были запутаннъе нынъшнія обстоятельства — все примирить и распутаеть наша Церковь. Уже какимъ-то невъдомымъ чутьемъ даже наши свътскіе люди, толкающіеся среди насъ, начинаютъ слышать, что есть какое - то сокровище, отъ котораго спасеніе, — которое среди насъ, и котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвътится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово «просвъщение». Даже и не задумались надъ тъмъ, откуда пришло это слово, и что оно значить. Слова этого нъть ни на какомъ языкв; оно только у насъ. Просвътить не значить научить, или наставить, или образовать, или даже освътить, но всего насквозь высвътлить человъка во встхъ его силахъ, а не въ одномъ умъ, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лёть его произносить, несмотря на всё мраки и невёжественныя тымы, отвсюду ее окружавшіе, и знаеть, зачёмъ произносить. Недаромъ архіерей, въ торжественномъ служеніи своемъ, подъемля въ обѣихъ рукахъ и троесвъщникъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвъщникъ, знаменующій Его сходившее на землю Слово въ двойномъ естествъ Его, и Божескомъ, и человѣческомъ, всѣхъ ими освѣщаетъ, произнося: «Свѣтъ Христовъ освѣшаеть всвхъ!» Недаромъ также въ другомъ мъсть служенія гремять отрывочно. какъ бы съ неба, вслухъ всъмъ слова: «Свътъ просвъщенія!» и ничего въ нимь не прибавляется больше.

1846.

XVIII.

Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу "Мертвыхъ Душъ".

1.

Вы напрасно негодуете на неумъренный тонъ нъкоторыхъ нападеній на «Мертвыя Души»: это имъетъ свою хорошую сторону. Иногда нужно имътъ противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ

51

Digitized by Google

4•

насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что поневолѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ен можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, если бы я не торопился печатаніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было явиться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мною были мнѣ нужны, несмотря на то, что съ перваго раза пришлось очень не по сердцу. О, какъ намъ нужны безпрестанные щелчки и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, пронимающія насквозь насмѣшки! На днѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желаль, однавожь, побольше критикь, не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дъломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бъду, вромъ литераторовъ, не отозвался никто. А между тъмъ «Мертвыя Души» произвели много шума, много ропота; задбли за живое многихъ и насмбшкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у всёхъ ежедневно передъ глазами, хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ; мъстами даже съ умысломъ помъщено обидное и задъвающее — авось, кто-нибудь меня выбранить хорошенько, и въ брани, въ гнъвъ выскажеть мнъ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могь всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновнякъ могъ бы мнъ явно доказать, въ виду всъхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дъйствительно случившихся дълъ, и тъмъ бы опровергь меня лучше всявихъ словъ, или тъмъ же самымъ образомъ могь бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведениемъ события случившагося лучше доказывается двло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могь бы то же сділать и купець, и поміщикъ, словомъ — всякій грамотей, сидить ли онъ сиднемъ на мъстъ, или рыскаеть вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій челов'якь, съ того м'еста или ступеньки въ обществъ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, имъетъ случай видъть тоть же предметь съ такой стороны, съ которой кромъ его ниято другой не можеть видъть. По поводу «Мертвыхъ Душъ» могла бы написаться всею толною читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвыхъ Душъ», которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что — нечего таить грѣха — всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то «мертвыя души». И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непремѣнно силою Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея, — безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? Какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ этому литераторы и журналисты, которые сами

затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвътъ Богу за то, что не исполниять, какъ слъдуетъ, своего дъла; но знаю, что дадутъ за меня отвътъ и другіе. И говорю это недаромъ; видитъ Богъ, говорю недаромъ!

18**43**.

2.

Я предчувствоваять, что всъ лирическія отступленія въ поэмъ будуть приняты въ превратномъ смыслъ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими предъ глазами читателя, такъ невпоналъ свладу и замашит всего сочинения, что ввели въ равное заблуждение какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всъ мъста, гдъ ни заикнудся я неопредъленно о нисатель, были отнесены на мой счеть; я краснъль даже отъ изъяснений ихъ въ мою пользу. И подбломъ мнб! Ни въ какомъ случав не следовало выдавать сочиненія, которое, хотя выкроено было не дурно, но сшито коекакъ бълыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примърки. Дивлюсь только тому, что мало было сдълано упрековъ въ отношени въ искусству и творческой наукъ. Этому помъшало какъ гнъвное расположение моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слёдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношеніи въ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замътиль даже, что послъдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаеть внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ можно было много сдълать нападеній несравненно дъльнъйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранять, и выбранить за дъло. Но ръчь не о томъ. Ръчь о лирическомъ отступления, на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ признаки самонадъянности, самохвальства и гордости, доселѣ еще не слыханной ни въ одномъ писателѣ. Разумѣю то мѣсто въ послъдней главъ, когда, изобразивъ вытадъ Чичикова изъ города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его мъсто и, пораженный скучнымъ однообразіемъ предметовъ, пустынною безпріютностію пространствъ и грустною пъснію, несущеюся по всему лицу земли Русской оть моря до моря, обращается въ лирическомъ воззвания въ самой России, спрашивая у нея самой объяснения непонятнаго чувства, его объявшаго, то-есть: зачёмъ и почему ему кажется, что будто все, что ни есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него глаза свои и чего-то ждеть оть него. Слова эти были приняты за гордость и доселё неслыханное хвастовство, между тёмъ какъ они ни то, ни другов. Это, просто, нескладное выражение истиннаго чувства. Мнъ и донынь кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тъхъ заунывныхъ, раздирающихъ звуковъ нашей пъсни, которая стремится по всъмъ безпредъльнымъ русскимъ пространствамъ. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаеть въ себъ того же. Бому, при взглядь на эти пустынныя, досель незаселенныя и безпріютныя пространства, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пъсни не слышатся болъзненные упреки ему самому, именно ему самому, тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ слъдуетъ, или же онъ не русскій въ душъ.

Разберемъ дело, какъ оно есть. Вотъ уже почти полтораста летъ протекло съ тъхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвъщенія европейскаго, даль въ руки намъ всъ средства и орудія для дъла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны. Грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругь насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдъ-то остановились безпріютно на протзжей дорогъ, и дышить намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною выюгой почтовою станцією, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «Нѣть лошадей!» Отчего это? Кто виновать? Мы [или правительство? Но] правительство во все время дъйствовало безъ устали. Свидътеленъ тому цълые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенныхъ домовъ, множество изданныхъ книгъ, множество заведенныхъ заведеній всякаго рода: учебныхъ, человъколюбивыхъ, богоугодныхъ и, словожъ, даже такихъ, какихъ нигдѣ въ другихъ государствахъ не заводятъ правительства. Сверху раздаются вопросы, отвѣты снизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свидътельствують о рыцарски великодушномъ движени многихъ государей, дъйствовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это все отвътствовано снизу? Дъло въдь въ примънения, въ умъньи приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась в поселилась въ насъ. Указъ, какъ бы онъ обдуманъ и опредълителенъ ни быль, есть не болье, какъ бланковый листь, если не будеть снизу такого же чистаго желанія прим'єнить его къ д'блу тою именно стороною, какой нужно, какой следуеть и какую можеть прозреть только тоть, кто просветденъ понятіемъ о справедливости Божеской, а не человъческой. Безъ того все обратится во зло. Доказательство тому всѣ наши тонкіе плуты и взяточники, которые умъють обойти всякій указь, для которыхъ новый указь есть только новая пожива, новое средство загромоздить большею сложностию всякое отправление дълъ, бросить новое бревно подъ ноги человъку. Словомъ вездѣ, куда ни обращусь, вижу, что виновать примънитель, стало-быть. нашъ же брать: или виновать тъмъ, что поторопился, желая слишкомъ скоро прославиться [и схватить орденишку]; или виновать тёмъ, что слишкомъ сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованіе; не спросясь разума, не разсмотрѣвь въ жару самаго дѣла, сталь имъ ворочать, какъ знатокъ, и потомъ вдругь, также по русскому обычаю, простыль, увидъвши неудачу; или же виновать, наконець, тъмъ, что, изъ-за какого-нибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все броснять к то мѣсто, на которомъ было началь такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту — [пусть пограбить людей]. Словомь — у ръдкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобы онъ ръшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и самолюбіемъ, и всъми мелочами легко раздражающагося своего эгоизма и положилъ самому себъ въ непремънный законъ — служить землѣ своей, а не себѣ, помня ежеминутно, что взялъ онъ мѣсто для счастія другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ послѣднее время, какъ бы еще нарочно, старался русскій человѣкъ выставить всѣмъ на видъ свою щекотливость во всѣхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на всѣхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ, которые сдълали все, что имъ слёдовало сдёлать, и которые могуть сказать открыто передь цёлымъ свётомъ, что ихъ не можеть попрекнуть ни въ чемъ Россія, что не глядитъ на нихъ укоризненно всякій бездушный предметь ея пустынныхъ пространствъ,

что все ими довольно и ничего оть нихъ не ждеть. Знаю только то, что я слышаль себъ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприщъ писателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что сдълать на пользу болъе прочную. Что изъ того, что въ моемъ сердцъ обитало всегда желаніе добра. и что елинственно изъ-за него я взялся за перо? Какъ исполнилъ его? Ну, хоть бы и это мое сочинение, которое теперь вышло, и которому название «Мертвыя Души», — произвело ли оно то впечатлѣніе, какое должно было произвести, если бы только было написано такъ, какъ слъдуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не сумълъ передать, и самь же подаль поводь кь истолкованию ихъ въ превратную и скорће вредную, нежели полезную, сторону. Кто виновать? Неужели мнъ говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей или нетерпъливыя желанія любителей изящнаго, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мнъ говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я должень быль поторопиться безвременнымъ выпускомъ моей книги? Нъть, вто ръшился исполнить свое дъло честно, того не могуть поколебать никакія обстоятельства, тоть протянеть руку и попросить милостыню, если ужь до того дойдеть дёло, тоть не посмотрить ни на какія временныя, нареканія, ниже пустыя приличія свъта. Бто изъ пустыхъ приличій свъта портить дъло, нужное своей земль, тоть ея не любить. Я почувствоваль презр'внную слабость моего характера, мое подлое малодушіе, безсиліе любви моей, а потому и услышаль бользненный упрекъ себъ во всемъ, что ни есть въ Россіи. Но высшая сила меня подняла: проступковъ нътъ неисправимыхъ, и тъ же пустынныя пространства, нанесшія тоску мнѣ на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для дълъ. Отъ души было произнесено это обращение къ России: «Въ тебъ ли не быть богатырю, когда есть мъсто, гдъ развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствоваль; я это чувствую и теперь. Въ Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдълаться богатыремъ. Всякое званіе и мъсто требуеть богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святыню своего званія и мъста (всъ мъста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышаль то великое поприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что передъ нимъ только такой просторъ, и только его душъ знакомо богатырство — вотъ отчего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадъянность! 1843.

3.

Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе! Цоловина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ? Одинъ только запросъ уменъ и достойнъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, сумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно, именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній и въ особенности «Мертвыхъ Душъ», будучи далеки отъ того, чтобы быть иортретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему, близки душѣ, точно какъ бы въ сочинени ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо

55

скажу все: герои мои потому близки душё, что они изъ души; всё мои послёднія сочиненія — исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредёлю тебъ себя самого, какъ писателя. Обо мнё много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнё говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара — выставлять такъ ярко пошлость жизни, умёть очертить въ такой силё пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнё принадлежащее и котораго, точно, нѣтъ у другихъ писателей. Оно впослѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ большей силою въ «Мертвыхъ Душахъ». «Мертвыя Души» не потому такъ испугали Россію и произвели такой шумъ внутри ея, чтобы онъ раскрыли какія-нибудь ея раны или внутреннія бользни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодъи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всёми. Но поплость всего вмёстё испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слёдуютъ у меня герои одинъ пошлёе другого, что нѣть ни одного утъшительнаго явленія, что негдъ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бъдному читателю, и что, по прочтеніи всей книги, кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свъть. Мић бы скорће простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили миб. Русскаго человбка испугала его ничтожность болъе, нежели всъ его пороки и недостатки. Явленіе замъчательное! Испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращение отъ ничтожнаго, въ томъ, върно, завлючено все то, что противоположно ничтожному. Итакъ, вотъ въ чемъ мое главное достоянство; но достоянство это, говорю вновь, не развидось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей монхъ не зналъ того, что, смъясь надъ моими героями, онъ смъялся надо мною.

Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся виднёе всёхъ моихъ прочихъ пороковъ, все равно, какъ не было также никакой картинной добродътели, которая могла бы придать мнѣ какую-нибудь картинную наружность; но зато, вмѣсто того, во мнѣ заключилось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человъкъ. Богь далъ мнъ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнъ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нъсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умъю, какъ возблагодарить Его, было желание быть лучшимъ. Я не любилъ нивогда моихъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная. любовь Божія не распорядила такъ, чтобы они открывались передо мною постепению и понемногу, намъсто того, чтобы открыться вдругъ и разомъ передъ моими глазами, въ то время, какъ я не имълъ еще никакого понятія о всей неизмъримости Его безконечнаго милосердія, — я бы повъсился. По мъръ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушениемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я быль наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какого рода было это событіе, знать тебѣ не слѣдуеть: если бы я видѣлъ

въ этомъ пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталь надълять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей. моею собственною дрянью. Воть какь это дълалось: взявши дурное свойство мое, я преслъдоваль его въ другомъ званія и на другомъ поприщъ, старался себъ изобразить его въ видъ смертельнаго врага, нанесшаго мнъ самое чувствительное оскорбление, преслъдовалъ его злобою, насмъшкою и всъмъ, чъмъ ни попало. Если бы вто видълъ тъ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно ска-зать тебѣ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ «Мертвыхъ Душъ», въ томъ видъ, какъ онъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же быль охотнивъ до смѣха), началь понемногу становиться все сумрачные, сумрачные, а наконець, сдылался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесь голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замътилъ, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Туть-то я увидълъ, что значить дъло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человъка видъ можеть быть ему представлена тьма и путающее отсутствие свъта. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвыя Души». Я увидель, что многія изъ гадостей не стоять злобы; лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навъки ихъ удъломъ. Притомъ мнъ хотълось попробовать, что скажеть вообще русский человъкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостію. Вслёдствіе уже давно принятаго плана «Мертвыхъ Душъ», для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти / ничтожные люди, однакожъ, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тёхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои. Я тебъ это поважу посль, когда будеть тебъ нужно; до времени это моя тайна. Мнъ потребно было отобрать отъ всъхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить законнымъ ихъ владъльцамъ. Не спрашивай, зачъмъ первая часть должна быть вся пошлость, и зачёмъ въ ней всё лица до единаго должны быть пошлы: на это дадуть тебъ отвъть другіе томы. Воть н все! Первая часть, несмотря на всъ свои несовершенства, главное дъло сдълала: она поселила во всъхъ отвращение отъ моихъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла нъкоторую мнъ нужную тоску и собственное наше неудовольствіе на самихъ насъ. Покамъсть для меня этого довольно; за другимъ я и не гонюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительнъе, если бы я, не торопясь выдачею въ свъть, обработаль книгу получше. Герои мон еще не отдълились вполнъ отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселиль я ихъ твердо на той землъ, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въ кругъ нашихъ обычаевъ, обставясь встми обстоятельствами дъйствительно русской жизни. Еще вся книга не болье, какъ недоносокъ; но духъ ея разнесся уже отъ нея незримо, и самое ея раннее появление можеть быть полезно мнѣ тѣмъ, что подвигнетъ моихъ читателей указать всъ промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіи. Вотъ, если бы ты, вмъсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкаль половину письма своего, и которые ни въ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какого-то празднаго

любопытства), собраль вст дъльныя замъчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебъ, жизнію опытною и изльною, да присоединиль бы въ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околоткъ вашемъ и во всей губернія, въ подтвержденіе или въ опровержение всякаго дъла въ моей книгъ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу, тогда бы ты сдълалъ доброе дъло. и я бы сказаль тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какь бы оть этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освъжилась моя голова, и вакъ бы успъшнъе пошло мое дъло! Но того, о чемъ я прошу, пикто не исполняетъ; моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуеть. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая, ни къ чему не ведущая торопливость, которою, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природъ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ, и какъ все разумно исходить одно изъ другого! Одни мы, Богъ въсть, изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какойто горячкъ. Ну, взвъсиль ли ты хорошенько слова свои: «Второй томъ нуженъ теперь необходимо»? Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталь торопиться вторымь томомь, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ. Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствій человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажеть. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залѣзъ ты развѣ въ мою голову? почувствовалъ существо второго тома? По-твоему, онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображение попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидить въ головѣ, или тоть, кто даже и не знаеть, изъ чего состоить второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человъкъ лежитъ на боку, къ дълу настоящему лънивъ, а другого торонитъ, точно какъ будто непремънно другой долженъ изо всъхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежить на боку. Чуть замѣтять, что хотя одинъ человъкъ занялся сурьезно какимъ нибудь-дъломъ, ужъ его торопятъ со всъхъ сторонъ, и потомъ его же выбранять, если сдълаеть глупо, — скажуть: «зачтыть поторопился?» Но оканчиваю тебть поучение. На твой умный вопросъ я отвѣчаль и даже сказаль тебѣ то, чего доселѣ не говориль еще никому. Не думай, однакоже, послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нътъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герон; я не люблю тёхъ низостей монхъ, которыя отдаляють меня отъ добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнъ въ этомъ поможеть Богь. И это вздорь, что выпустили глупые свётскіе умники, будто человъку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школъ, а послъ ужь и черты нельзя измънить въ себъ: только въ глупой свътской башкъ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже оть многихъ своихъ гадостей избавился тёмъ, что передаль ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставиль другихь также надь ними посмъяться. Я оторвался уже оть многаго тъмъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою выбэжаеть козыремъ всякая мерзость наша, поставиль ее рядомъ съ той гадостію, которая всѣмъ видна. И, когда повѣряю себя на исповѣди передъ Тёмъ, Кто повелълъ мнъ быть въ міръ и освобождаться отъ моихъ недостатковъ, вижу много въ себъ пороковъ; но они уже не тъ, которые были въ

58

прошломъ году: святая сила помогла мнё отъ тёхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ и, отъ всего отдѣлясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣть и на другіе запросы, если попристальнѣе вглядишься. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлять я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить, пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ, — мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ — я также не выдумывалъ, кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея вышло.

1848.

4.

Затбиъ сожженъ второй томъ «Мертвыхъ Душъ», что такъ было нужно. "Не оживеть, аще не умреть", говорить апостоль. Нужно прежде умереть. для того, чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятильтній трудь, производимый съ такими болъзненными напряженіями, гдъ всякая строка достадась потрясеніемь, гдъ было много такого, что составляло мои дучшія помышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мнѣ очень хотѣлось оставить послѣ себя хоть что-нибудь, обо мнъ лучше напоминающее. Благодарю Бога, что даль мнъ силу это сдъдать. Какъ только пламя унесло послъдние листы моей книги, ея содержание вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свътломъ видъ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидълъ, въ какомъ еще безпорядкв было то, что я считаль уже порядочнымь и стройнымь. Появление вгорого тома въ томъ видъ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скоръе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображение не наслаждение какихъ-нибудь любителей искусствъ и литературы, но всъхъ читателей, для которыхъ писались «Мертвыя Души». Вывести нъсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни въ чему не поведеть. Оно возбудить только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мъру русскими доблестями, и думають вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себъ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европъ: «Смотрите, нѣмцы: мы лучше вась!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаеть другихъ и наносить вредъ самому хвастуну. Наилучшее дъло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаещь. А у насъ, еще не сдълавши дъла, имъ хвастаются, — хвастаются будущимъ! Изть, по миз, уже лучше временное уныние и тоска оть самого себя, нежели самонадъянность въ себъ. Въ первомъ случат, человъкъ, по крайней мъръ, увидить свою презрънность, подлое ничтожество свое и вспомнить невольно о Богѣ, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины ничтожества; въ последнемъ же случат онъ убъжить оть самого себя прямо въ руки къ чорту. отцу самонадъянности, дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человћиа. Нътъ, бываетъ время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколѣніе въ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываеть время, что даже вовсе не слъдуеть говорить о

59

высокомъ и прекрасномъ, не показавши туть же ясно, какъ день, путей и дорогъ къ нему для всякаго. Послъднее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь подобно тъмъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеаль писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писатель, начали было оть меня требовать, чтобы я отвѣчаль ими же созданному идеалу. Создаль меня Богь и не скрыль оть меня назначения моего. Рождень я вовсе не затьмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Цбло мое проще и ближе: дбло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дъло мое – душа и прочное дпло жизни. А потому н образъ дъйствій монхъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ не за чѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе! Жгу, когда нужно жечь, и, върно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши насчеть хилаго моего здоровья, которое, можетъ-быть, не позволить мнѣ написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываеть мнѣ такъ тяжело, что безъ Бога и не перенесь бы. Къ изнуренію силь прибавилась еще и зябкость въ такой мъръ, что не знаю, какъ и чъмъ согръться: нужно дълать движеніе, а дълать движение — нътъ силъ. Едва часъ въ день выберется для труда, и тоть не всегда свъжій. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тоть, Кто горемъ, недугами и препятствіями ускориль развитіе силь и мыслей моихъ, безъ которыхъ я бы и не замыслилъ своего труда, Кто выработалъ большую половину его въ головѣ моей, Тотъ дасть силу совернить и остальную --положить на бумагу. Дряхлѣю тѣломъ, но не духомъ. Въ духѣ, напротивъ, все връщнеть и становится тверже; будеть връщость и въ тълъ. Върю, что, если придеть урочное время, въ нъсколько непъль совершится то, напъ чъмъ провель пять бользненныхъ льть.

1846.

XIX.

Нужно любить Россію.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т....МУ.

Безъ любви къ Богу никому не спастись, а любви къ Богу у васъ нѣтъ. Въ монастырѣ ея не найдется; въ монастырь идутъ одни тѣ, которыхъ уже позвалъ туда Самъ Богъ. Безъ воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и какъ полюбитъ Того, Котораго никто не видалъ? Какими молитвами и усиліями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько естъ теперь на свѣтѣ добрыхъ и прекрасныхъ людей, которые добиваются жарко этой любви и слышатъ одну только черствость да холодную пустоту въ душахъ. Трудно полюбить Того, Кого никто не видалъ. Одинъ Христосъ принесъ и возвѣстилъ намъ тайну, что въ любви къ братьямъ получаемъ любовь къ Богу. Стоитъ только полюбить ихъ такъ, какъ приказалъ Христосъ, и сама собой выйдетъ въ итогѣ любовь къ Богу Самому. Идите же въ міръ и пріобрѣтите прежде любовь къ братьямъ.

Но какъ полюбить братьевъ? Какъ полюбить людей? Душа хочеть любить одно прекрасное, а бъдные люди такъ несовершенны, и такъ въ нихъ мало прекраснаго! Какъ же сдълать это? Поблагодарите Бога прежде всего за

то, что вы русскій. Для русскаго теперь открывается этотъ путь, и этотъ путь — есть сама Россія. Если только возлюбить русскій Россію, возлюбить и все, что ни есть въ Россіи. Къ этой любви насъ ведетъ теперь Самъ Богъ. Безъ болѣзней и страданій, которыя въ такомъ множествѣ накопились внутри ея, и которыхъ виною мы сами, не почувствовалъ бы никто изъ насъ къ ней состраданія. А состраданіе есть уже начало любви. Уже крики на безчинства, неправды и взятки не просто негодование благородныхъ на безчестныхъ, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнуцись въ безчисленномъ множествъ, разсыпались по домамъ и наложили тяжелое ярмо на каждаго человъка; уже и тъ, которые приняли добровольно къ себъ въ домы этихъ враговъ душевныхъ, хотятъ отъ нихъ освободиться сами, и не знають, какь это сдёлать, и все сливается въ онинь потрясающій вопль; уже и безчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни въ комъ, — ея нътъ-таки и у васъ. Вы еще не любите Россію: вы умъете только печалиться да раздражаться слухами обо всемъ дурномъ, что въ ней ни пълается; въ васъ все это произволить только одну черствую досаду да уныние. Нътъ, это еще не любовь, далеко вамъ до любви, это развъ только одно слишкомь отдаленное еще ся предвъстіе. Нъть, если вы дъйствительно полюбите Россію, у васъ пропадетъ тогда сама собою та бливорукая мысль, которая зародилась теперь у многихъ честныхъ и даже умныхъ людей, то-есть, будто въ теперешнее время они уже ничего не могуть сдълать для Россіи, и будто они ей уже не нужны совсъмъ; напротивъ, тогда только во всей силъ вы почувствуете, что любовь всемогуща, и что съ нею можно все сдълать. Нѣтъ, если вы дѣйствительно полюбите Россію, вы будете рваться служить ей; не въ губернаторы, но въ капитанъ-исправники пойдете, послъднее мъсто, какое ни отыщется въ ней, возьмете, предпочитая одну крупицу дъятельности на немъ всей вашей нынъшней бездъйственной и праздной жизни. Нътъ, вы еще не любите Россіи. А не полюбивши Россіи, не полюбить вамъ своихъ братьевъ, а не полюбивши своихъ братьевъ, не возгоръться вамъ любовью въ Богу, а не возгоръвшись любовью въ Богу, не спастись вамъ.

1844.

XX.

Нужно проъздиться по Россіи.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.,...МУ.

Нѣть выше званія, какъ монашеское, и да сподобить насъ Богь когданибудь надѣть простую рясу чернеца, такъ желанную душѣ моей, о которой уже и помышленіе мнѣ въ радость. Но безъ зова Божія этого не сдѣлать. Чтобы имѣть право удалиться отъ міра, нужно умѣть распроститься съ міромъ. «Раздай все имущество свое нищимъ и тогда ступай въ монастырь», такъ говорится всѣмъ туда идущимъ. У васъ есть богатство, вы его можете раздать нищимъ; но что же мнѣ раздать? Имущество мое не въ деньгахъ. Богъ мнѣ помоѓъ накопить нѣсколько умнаго и душевнаго добра и далъ нѣкоторыя способности, полезныя и нужныя другимъ, — стало-быть, я долженъ раздать это имущество неимущимъ его, а потомъ уже идти въ монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны къ вашему богатству, и вамъ было бы тяжело съ нимъ разстаться, тогда другое дѣло; но вы къ нему охладѣли, для васъ оно теперь ничто — гдѣ жъ вашъ подвигъ и ваше пожертвованіе? Или,

61

выбросивши за окошко ненужную вещь, значить сдълать добро своему брату, разумъя добро въ высокомъ смыслъ христіанскомъ? Нътъ, для васъ такъ же, какъ и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь вашъ -- Россія! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нея, ступайте подвизаться въ ней. Она теперь зоветь сыновъ своихъ еще кръпче, нежели когда-либо прежде. Уже душа въ ней болить, и раздается крикъ ся душевной болѣзни. Другь мой! или у васъ безчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русскаго Россія. Вспомните, что, когда приходила бъда ей, тогда изъ монастырей выходили монахи и становились въ ряды съ другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвътъ, съ благословения самого настоятеля, взяли въ руки мечъ, противный христіанину, и легли на кровавомъ полъ битвы, а вы не хотите взять поприще мирнаго гражданина, и гдѣ же? — въ самомъ сердпѣ Россіи. Не отговаривайтесь вашею неспособностью, у васъ есть много того, что теперь для Россіи потребно и нужно. Бывши губернаторомъ въ двухъ совершенно противоположныхъ губерніяхъ, исполнивши это дѣло, несмотря на всѣ ваши тогдашние недостатки, получше многихъ, вы набрались прямыхъ и положительныхъ свъдъній о дълахъ, внутри происходящихъ, и узнали въ истинномъ видъ Россію. Но не это главное, и я бы васъ не-склонялъ такъ служить, несмотря на всъ свъдънія ваши, если бы не видъль въ вась одно то свойство, которое, по моему мнѣнію, значительнѣе всѣхъ другихъ прочихъ, — свойство, не хлопотавъ ничего, не работая самому, почти лѣнясь, умъть заставить всъхъ другихъ работать. У васъ все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у васъ самихъ: «отчего это?» вы отвѣчали: «Все отъ чиновниковъ, попались хорошіе чиновники, которые не дають ничего мнѣ дѣлать самому»; и когда шло дѣло до представленія къ наградамъ, вы всегда выводили впередъ вашихъ чиновниковъ, приписывая все имъ, а себѣ ничего. Вотъ ваше главное достоинство, не говоря уже объ умѣньи выбрать самихъ чиновниковъ. Не мудрено, что у васъ чиновники рвались изо всѣхъ силъ, и одинъ записался до того, что нажилъ чахотку и умеръ, какъ ни старались вы оттащить его отъ дъла. Чего не сдълаетъ русскій человѣкъ, если станетъ такимъ образомъ поступать съ нимъ начальникъ! Это ваше свойство слишкомъ теперь нужно, именно теперь, въ это время себялюбія, когда всякъ начальникъ думаеть о томъ, какъ бы выставить впередъ себя и приписать все одному себъ. Говорю вамъ, что съ этимъ вашимъ свойствомъ вы теперь слишкомъ нужны Россіи... и гръхъ вамъ, что вы даже не слышите этого! Грёхъ было бы и мнё, если бъ я не выставиль вамъ этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его отъ васъ просять неимущіе, а вы, какъ скряга, заперли его подъ замокъ и еще прикидываетесь глухимъ. Положимъ, вамъ теперь неприлачно занять то же самое мъсто, какое занимали назадъ тому десять лътъ, не потому, чтобы оно было нужно для васъ, — слава Богу, честолюбія вы не имъете, и въ вашихъ глазахъ никакая служба не низка; - но потому, что ваши способности, развившись, требують уже для собственной пищи другого, просторнъйшаго попри-Что жъ? развъ мало мъсть и поприщь въ Россіи? Оглянитесь и щa. осмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вамъ нужно проъздиться по Россіи Вы знали ее назадъ тому десять лътъ: это теперь недостаточно. Въ десять лъть внутри Россіи столько совершается событій, сколько въ другомъ государствъ не совершается въ полвъка. Вы сами замътили, живя здъсь за границей, что въ послѣдніе два - три года даже начали выходить изъ нея и люди совершенно другіе, не похожіе ни въ чемъ съ тъми, которыхъ вы

знали еще такъ давно. Чтобы узнать, что такое Россія нынишняя, нужно непремѣнно по ней проѣздиться самому. Слухамъ не вѣрьте никакимъ. Вѣрно только то, что еще никогда не бывало въ Россіи такого необыкновеннаго разнообразія и несходства въ мнѣніяхъ и втрованіяхъ всъхъ людей, никогда еще различіе образованій и воспитанія не оттолкнуло такъ другь отъ друга всъхъ и не произвело такого разлада во всемъ. Сквозь все это пронесся духъ сплетней, пустыхъ новозаносныхъ выводовъ, глупъйшихъ слуховъ, одностороннихъ и ничтожныхъ заключений. Все это сбило и опутало до того у каждаго его мибнія о Россіи, что ръшительно нельзя върить никому: нужно самому узнавать, нужно протздиться по Россіи. Это особенно ходошо для того, кто побыль нъкоторое время отъ нея вдали и прихаль съ неотуманенной и свъжей головою. Онъ увидить много того, чего не увидить человъкъ. находящійся въ самомъ омуть, раздражительный и чувствительный къ животрепешущимъ интересамъ минуты. Сдълайте ваше путешествіс воть какимъ образомъ: прежде всего выбросьте изъ вашей головы всъ до одного ваши мнънія о Россіи, какія у вась ни есть, откажитесь оть собственныхъ своихъ выводовъ, какіе уже успѣли сдълать, представьте себя довно не знающимъ ничего и поъзжайте какъ въ новую, дотолъ вамъ неизвъстную землю. Такимъ же самымъ образомъ, какъ русскій путешественникъ, пріъзжая въ каждый значительный европейскій городь, спѣшить увидѣть всѣ его древности и примѣчательности, такимъ же точно образомъ и еще ск большимъ любопытствомъ, пріѣхавши въ первый уѣздный или губернскій городъ, старайтесь узнать его достопримъчательности. Онъ не въ архитектурныхъ строеніяхъ и древностяхъ, но въ людяхъ. Клянусь, человъкъ стоять того, чтобъ его разсматривали съ большимъ любопытствомъ, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно-братской любви къ нему, и вы отъ него уже не оторветесь — такъ онъ станетъ для васъ занимателенъ. Познакомьтесь прежде всего съ тъми изъ нихъ, которые составляють соль каждаго города или округа; такихъ бываеть человъка два или три въ каждомъ городѣ. Они вамъ въ немногихъ чертахъ очертятъ весь городъ, такъ что вамъ будетъ видно уже самому, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ производить наиболье наблюдение надъ нынъшними вещами. Въ разговоръ съ человѣкомъ передовымъ изъ каждаго сословія (съ вами же всѣ такъ охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы отъ него узнаете, что такое всякое сословіе въ нынъшнемъ его видъ. Расторопный и бойкій купець вдругь вамь объяснить, что такое въ ихъ городѣ купечество; порядочный и трезвый мъщанинъ дастъ понятіе о мъщанствъ. Отъ чиновникадъльца узнаете должностное производство, а общій цвътъ и духъ общества услышите сами. На передовыхъ людей, однакожъ, не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь разспросить двухъ или трехъ человъкъ изъ каждаго сословія. Не позабывайте того, что теперь всъ между собою въ ссоръ, и всякъ другъ на друга лжетъ и клевещетъ безпощадно. Съ духовенствомъ вы сойдетесь вдругъ, потому что съ нимъ вообще вы знакомитесь скоро; отъ нихъ узнаете остальное. И если вы такимъ образомъ протвяните только по главнымъ городамъ и пунктамъ Россіи, то уже увидите ясно, какъ день, гдѣ и на какомъ мъстъ вы можете быть полезны, и о какой должности слъдуетъ вамъ просить. А покуда вы уже одной поъздкой вашей можете спъдать много добра, если только захотите. Въ самомъ путешествіи этомъ предстануть вамъ такіе христіанскіе подвиги, какихъ въ самомъ монастырѣ не встрѣтите. Во-первыхъ, будучи пріятны въ разговоръ, нравясь каждому, вы можете, какъ посторонній и свъжій человъкъ, стать третьимъ, примиряющимъ лицомъ.

Знаете ли, какъ это важно, какъ это теперь нужно Россіи, и какой въ этомъ высокій подвигь. Спаситель оцёниль его едва ли не выше всёхъ другихъ: Онъ прямо называетъ миротворцевъ сынами Божінми. А миротворцу у насъ поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у насъ между собою какъ кошки съ собаками; купцы между собою, какъ кошки съ собаками; мъщане между собою, какъ кошки съ собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающею силою на дружескую работу, между собою, какъ кошки съ собаками: даже честные и добрые люди между собою въ разладъ; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение, въ то время, когда кого-нибудь изъ нихъ сильно стануть преслъдовать. Вездъ поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людямъ трудно самимъ умириться между собою, но, какъ только станеть между ними третій, онъ ихъ вдругъ примиритъ. Оттого-то у насъ всегда имълъ такую силу третейскій судъ, истое произведение земли нашей, успъвавший досель болье всъхъ другихъ судовъ. Въ природъ человъка, а особенно русскаго, есть чудное свойство: какъ только замътитъ онъ, что другой сколько - нибудь къ нему наклоняется или показываеть снисхожденіе, онь самь уже готовь чуть не просить прощенія. Уступить нивто не хочеть первый, но какъ только одинъ ръшился на великодушное дъло, другой уже рвется, какъ бы перещеголять его великодушіемъ. Вотъ почему у насъ скоръй, чъмъ гдъ либо, могутъ быть прекращены самыя застарблыя ссоры и тяжбы, если только станеть среди тяжущихся человъвъ истинно-благородный, уважаемый встми и притомъ еще знатовъ человъческаго сердца. А примиреніе, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только нъсколько частныхъ людей, которые изъ-за несогласія во мнѣніи насчеть одного какого-нибудь предмета, перечащихъ другъ другу въ дъйствіяхъ, согласились подать другь другу руку, илутамъ было бы уже худо! Итакъ, воть вамъ одна часть подвиговъ, какіе вамъ могуть представиться на каждомъ шагу вашей потздки по Россіи. Есть и другая не меньше вашихъ. Вы можете оказать большую услугу духовенству тахъ городовъ, черезъ которые будете пробажать, познакомивъ ихъ лучше съ обществомъ, среди котораго они живуть, введя ихъ въ познание тъхъ вещей и продълокъ, о которыхъ не говорить вовсе на исповёди нынёшній человёкь, считая ихъ долженствующими быть внъ христіанской жизни. Это очень нужно, потому что многіе изъ духовныхъ, какъ я знаю, уныли отъ множества безчинствъ, возникнувшихъ въ послъдное время, почти увърились, что ихъ никто теперь не слушаетъ, что слова и проповѣдь роняются на воздухъ, и здо пустило такъ глубоко свои корни, что нельзя уже и думать объ его искоренении. Это несправедливо. Гръшить нынъшній человъкъ, точно, несравненно больше, нежели когдалибо прежде. Но грѣшить не отъ преизобилья своего собственнаго разврата, не отъ безчувственности и не отъ того, чтобы хотълъ гръшить, но отъ того, что не видить гръховъ своихъ. Еще не ясно и не всъмъ открылась страшная истина нынъшняго въка, что теперь всъ гръшать до единаго, но грѣшать не прямо, а косвенно. Этого еще не услышаль хорошо и самъ проповѣдникъ; оттого и проповѣдь его роняется на воздухъ, и люди глухи къ словамъ его. Сказать: «не крадьте, не роскошничайте, не берите взятокъ, молитесь и давайте милостыню неимущимъ» — теперь ничто, и ничего не сдълаеть. Кромъ того, что всякій скажеть: «да въдь уже это извъстно», но еще оправдается передъ самимъ собой и найдетъ себя чуть не святымъ. Онъ скажеть: «красть я не краду: положи передо мною часы, червонцы, какую хочешь вещь, я ея не трону; я даже прогналь за воровство своего собственнаго человъка; живу я, конечно роскошно, но у меня нътъ ни дътей, ни

родственниковъ, мнѣ не для кого копить, роскошью я доставляю зато пользу, хлѣбъ мастеровымъ, ремесленникамъ, купцамъ, фабрикантамъ; взятку я беру только съ богатаго, который самъ проситъ объ этомъ, которому это не въ разореніе, молиться я молюсь, вотъ и теперь стою въ церкви, крещусь и бъю поклоны; помогать — помогаю; ни одинъ нищій не уходитъ отъ меня безъ мѣднаго гроша, ни отъ одного пожертвованія на какое-нибудь благотворительное заведеніе еще не отказывался». Словомъ — онъ увидитъ себя не только правымъ, послѣ такой проповѣди, но еще возгордится своей безгрѣшностью.

Но, если поднять передь нимъ завъсу и показать ему хотя часть тъхъ ужасовъ, которые онъ производитъ косвенно, а не прямо, тогда онъ заговорить другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что онъ, убирая свой домъ и заводя у себя все на барскую ногу, вредять соблазномъ, поселяя въ другомъ, менъе богатомъ, такое же желаніе, который изъ-за того, чтобы не отстать оть него, разоряеть не только собственное, но и чужое имущество, грабить и пускаеть по міру людей; да вслёдъ за этимь и представить ему одну изъ тъхъ ужасныхъ картинъ голода внутри Россіи, отъ которыхъ дыбомъ поднимется у него волосъ, и которыхъ, можетъ быть, не случилось бы. если бы не сталь онъ жить на барскую ногу, да задавать тонъ обществу и кружить головы другимъ. Показать такимъ же самымъ образомъ всъмъ модницамъ, которыя не любятъ никуда появляться въ однихъ и тъхъ же платьяхъ и, не донашивая ничего, нашивають кучи новаго, слёдуя за малёйшимъ уклоненіемъ моды, — показать имъ, что онѣ вовсе не тѣмъ грѣшатъ, что занимаются этой суетностью и тратять деньги, но тёмь, что сдёлали такой образъ жизни необходимостью для другихъ, что мужъ иной жены схватиль уже изъ-за этого взятку съ своего же брата - чиновника (положимъ, этотъ чиновникъ былъ богатъ; но, чтобы доставить взятку, онъ долженъ былъ насъсть на менъе богатаго, а тоть, съ своей стороны, насъль на какого-нибудь засъдателя или станового пристава, а становой приставъ уже невольно былъ принужденъ грабить нищихъ и неимущихъ); да всябдъ за этимъ и выставить встви модницамъ картину голода. Тогда имъ не пойдетъ на умъ какая-нибудь шляшка или модное платье: увидять онъ, что не спасеть ихъ отъ страшнаго отвъта передъ Богомъ и деньга, выброшенная нищему, даже и тъ человъколюбивыя заведенія, которыя заводять онъ въ городахъ на счеть ограбленныхъ провинцій. Нъть, человъкъ не безчувственъ, человъкъ подвигнется, если только ему покажешь дёло, какъ есть. Онъ теперь подвигнется еще болёе, чъмъ когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина гръховъ его оть невъдънья, а не отъ разврата. Онъ, какъ спасителя, облобызаеть того, который заставить его обратить взглядь на самого себя. Только слогка приподыми пропов'ядникъ завъсу и укажи ому хотя одно изъ тъхъ ежеминутныхъ преступленій, которыя онъ совершаеть, у него уже отнимается духъ хвастать безгрѣшностью своей; не станеть онъ оправдывать свою роскошь подлыми, жалкими софизмами, будто бы нужна она затъмъ, чтобы доставить хлъбъ мастеровымъ; онъ и самъ тогда смекнетъ, что разорить полъдеревни или полъ-утада затъмъ, чтобы доставить хлъбъ столяру Гамбсу, есть выводъ, который могъ бы образоваться только въ пустой головъ эконома XIX въка, а не въ здоровой головъ умнаго человъка. А что же, если проповъдникъ подниметъ всю цъпь того множества косвенныхъ преступленій, которыя совершаеть человъкъ своею неосмотрительностью, гордостію и самоувъренностію въ себъ, и покажеть всю опасность нынъшняго времени, среди котораго всякъ можеть погубить разомъ нѣсколько душъ, не только одну свою,

н. В. Гоголь. Томъ III.

среди которой, даже не будучи безчестнымъ, можно заставить другихъ быть безчестными и подлецами одною только своею неосмотрительностью, словомъ если только сколько нибудь покажетъ, какъ всѣ опасно ходитъ? Нѣтъ, люди не будутъ глухи къ словамъ его, не уронится на воздухъ ни одно слово его проповѣди. А вы можете на это навести многихъ священниковъ, сообщая свѣдѣнія о всѣхъ продѣлкахъ нынѣшняго люда, которыя вы наберете въ дорогѣ. Но не однимъ священникамъ, вы можете и другимъ людямъ сдѣлать этимъ пользу. Всѣмъ теперь нужны эти свѣдѣнія.

Жизнь нужно показать человъку, – жизнь, взятую подъ угломъ ея нынъшнихъ запутанностей, а не прежнихъ, — жизнь, оглянутую не поверхностнымъ взглядомъ свътскаго человъка, но взвъшенную и опъненную такимъ оцьнщикомъ, который взглянуль на нее высшимъ взглядомъ христіанина. Велико незнание России посреди России. Все живеть въ иностранныхъ журналахъ и газетахъ, а не въ землъ своей. Городъ не знаеть города, человъкъчеловѣка, люди, живущіе за одной стѣной, кажется, какъ бы живутъ за морями. Вы можете во время вашей потздки ихъ познакомить между собою и произвести взаниный благодътельный размънъ, какъ расторопный купецъ: забравши свъдънія въ одномъ городъ, продать ихъ съ барышомъ въ другомъ, встать обогатить и въ то же время разбогатъть самому больше встать. Подобный подвигь предстоить вамь на всякомь шагу — и вы того не видите! Очнитесь! Буриная слъпота на глазахъ вашихъ! не залучить вамъ любви къ себъ въ душу. Не полюбить вамъ людей по тъхъ поръ, пока не послужите имъ. Какой слуга можеть привязаться къ своему господину, который оть него вдали и на вотораго еще не поработалъ онъ лично? Потому и любимо такъ сильно дитя матерью, что она долго его носила въ себъ, все употребила на него, и вся изъ-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь вашъ – Россія.

1845.

XXI.

Что такое губернаторша.

письмо къ А. О. С....Ой.

Я радъ, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но въ сторону наши здоровья: мы должны позабыть о нихъ такъ же, какъ и о себъ. Итакъ, вы возвращаетесь вновь въ вашъ губернскій городъ. Вы должны съ новыми силами возлюбить его: онъ вашъ, онъ ввъренъ вамъ, онъ долженъ быть вашимъ роднымъ. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствіе относительно діятельности общественной въ немъ совершенно безполезно, что общество испорчено въ корнъ. Вы просто устали — вотъ и все! Дъятельность губернаторшъ предстоить всюду, на всякомъ шагу. Она даже и тогда производить вліяніе, когда ничего не дълаеть. Вы сами уже знаете. что дъло не въ сустахъ и въ опрометчивыхъ бросаньяхъ на все. Передъ вами два живые примъра, которыхъ вы сами назвали. Предшественница ваша **Ж***** завела кучу благотворительныхъ заведеній, а съ ними вмъстъ — и кучу бумажной переписки и возни, экономовъ, секретарей, кражу, безтолковщину, и прославилась благотворительностью въ Петербургъ, и надълала кутерьму въ К***. Княгиня же 0***, бывшая до нея губернаторшей въ томъ же вашемъ городъ К***, не завела никакихъ заведений, ни пріютовъ, не прошумъла нигдъ дальше своего города, не имъла даже никакого вліянія на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и офиціальное; а между

темъ, донынѣ никто въ городѣ не можетъ о ней вспомнить безъ слезъ, и всякъ, начиная отъ купца до послёдняго бобыля, до сихъ поръ еще повторяеть: «Нъть, не будеть другой никогда княгини 0***!» А кто это повторяеть! Тоть же самый городь, для котораго, вы полагаете, ничего невозможно сдблать, то же самое общество, которое вы считаете испорченнымъ навбки. Итакъ, будто бы ужъ ничего нельзя сдълать? Вы устали-вотъ и все! Устали оттого, что принялись слишкомъ сгоряча, слишкомъ понадъялись на собственныя свлы: женская прыть васъ увлекла... Повторяю вамъ вновь то же самое, что прежде: ваше вліяніе сильно. Вы первое якцо въ городь, съ васъ будуть перенимать все до послъдней бездълушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всемъ. Если вы только собственныя ваши дела станете обделывать хорошо, то и симъ уже сдълаете вліяніе, потому что заставите другихъ заняться получше собственными дълами. Гоните роскошь (покамъсть нъть другого дъла), уже и это благородное дёло, оно же притомъ не требуетъ ни суеты, ни издержекъ; не пропусвайте ни одного собранія и бала, прітвжайте именно заттик, чтобы показаться въ одномъ и томъ же платьт; три, четыре, пять, шесть разъ налъвайте одно и то же платье. Хвалите на всъхъ только то, что дешево и просто. Словомъ, гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву Россіи, источницу взятокъ, несправедливостей и мерзостей, какія у насъ есть. Если вамъ только одно это удастся сдълать, то вы уже болѣе принесете существенной пользы, чъмъ сама княгиня 0***. А это, какъ вы сами видите, даже не требуеть никакихъ пожертвованій, даже и времени не отнимаеть. Другь мой, вы устали. Изъ вашихъ же прежнихъ писемъ я вижу, что для начала вы уже успёли сдёлать много хорошаго (если бы не слишкомъ торопились, вышло бы еще больше): о васъ уже распространились слухи внъ К***; кое-что изъ нихъ дошло и до меня. Но вы еще очень поспъшны, вы еще слишкомъ увлекаетесь, васъ еще слишкомъ шевелитъ и сражаетъ всякая непріятность и гадость. Другъ мой, вспомните вновь мои слова, въ справедливости которыхъ, говорите, что сами убъдились; глядъть на весь городъ, какъ лъкарь глядитъ на дазареть. Глядите же такъ, но прибавьте къ этому еще кое-что, а именно: увърьте самоё себя, что всъ больные, находящіеся въ лазаретахъ, суть ваши родные и близкіе къ сердцу вашему люди, тогда все передъ вами измѣнится: вы съ людьми примиритесь и будете враждовать только съ ихъ болъзнями. Кто вамъ сказалъ, что болѣзни эти неизлъчимы? Это вы сами себъ сказали, потому что не нашли въ рукахъ у себя средства. Что жъ, развъ вы всезнающій докторь? А зачёмъ вы не обратились съ просьбой о помощи къ другимъ? Развѣ я даромъ просиль васъ сообщить все, что ни есть въ вашемъ городъ, ввести меня въ познание вашего города, чтобы я имълъ полное понятие о вашемъ городъ. Зачъмъ же вы этого не сдълали, тъмъ болъе, что сами увърены, будто я могу на многое произвести больше вліянія, чъмъ вы; тъмъ болђе, что сами же приписываете мић иђкоторое не всђиљ общее познаніе людей; тёмъ болёе, наконецъ, что сами говорите, будто я вамъ помогъ въ вашемъ душевномъ дълъ болъе, чъмъ вто-либо другой? Неужели вы думаете. что я не сумбль бы такъ же помочь и вашимъ неизлъчимымъ больнымъ? Въдь вы позабыли, что я могу помолиться, молитва моя можеть достигнуть и до Бога, Богь можеть послать уму моему вразумленіе, а умъ, вразумленный Богомъ, можеть сдёлать кое-что получше того ума, который не вразумленъ Ижь.

До сихъ поръ въ вашихъ письмахъ вы мнъ давали только общія понятія о вашемъ городъ, въ чертахъ общихъ, которыя могутъ принадлежать

5*

всякому губернскому городу; но и общія ваши не полны. Вы понадѣялись на то, что я знаю Россію, какъ пять моихъ пальцевъ; а я въ ней ровно не знаю ничего. Если я и зналъ кое-что, то и это со времени моего отъѣзда уже измѣнилось. Въ самомъ составѣ управленія губерній произопіли значительныя перемѣны: многія мѣста и чиновники отошли отъ зависимости губернатора и поступили въ вѣдомство и управленіе другихъ министерствъ; завелись новые чиновники и мѣста, словомъ — губернія и губернскій городъ являются относительно многихъ сторонъ въ другомъ видѣ, а я просилъ васъ ввести меня совершенно въ ваще положеніе, не какое-нибудь идеальное, но существенное, чтобы я видѣлъ отъ мала до велика все, что васъ окружаетъ.

Вы сами говорите, что въ небольшое время пребыванія вашего въ К*** узнали Россію болѣе, чѣмъ во всю свою прежнюю жизнь. Зачѣмъ же вы не подѣлились со мною вашими знаніями? Говорите, что не знаете даже, съ котораго конца начать, что куча свѣдѣній, вами набранныхъ въ голову, еще въ безпорядкѣ (NB. причина неудачъ). Я вамъ помогу ихъ привести въ порядокъ, но только выполните слѣдующую за симъ просьбу добросовѣстно, какъ только можно, — не такъ, какъ привыкли исполнять вашъ брать страстная женщина, которая изъ десяти словъ восемь пропустить и отвѣтитъ только на два, затѣмъ, что они пришлись ей какъ-нибудь по сердцу, но такъ, какъ нашъ брать — холодный, безстрастный мужчина, или, лучше, какъ дѣловой толковый чиновникъ, который, ничего не принимая особенно къ своему сердцу, отвѣчаетъ ровно на всѣ пункты.

Вы должны ради меня начать. вновь разсмотръніе вашего губернскаго города. Во-первыхъ, вы мнѣ должны назвать всѣ главныя лица въ городѣ по именамъ, отчествамъ и фамиліямъ, всѣхъ чиновниковъ до единаго. Мнѣ это нужно. Я долженъ быть имъ такъ же другомъ, какъ вы сами должны быть другомъ имъ всъмъ безъ исключения. Во-вторыхъ, вы должны мнъ написать, въ чемъ именно должность каждаго. Все это вы должны узнать лично отънихъ самихъ, а не отъ кого-либо другого. Разговорившись со всякимъ, вы должны спросить его, въ чемъ состоить его должность, чтобы онъ назваль вамъ всъ ея предметы и означилъ ея предъзы. Это будетъ первый вопросъ. Потомъ попросите его, чтобы онъ изъяснилъ вамъ, чъмъ именно и сколько въ этой должности, подъ условіемъ нынъшнихъ обстоятельствъ, можно сдълать добра. Это будеть второй вопросъ. Потомъ, чѣмъ именно и сколько въ этой же самой должности можно надълать зла. Это будеть третій вопрось. Узнавши, отправляйтесь въ себѣ въ комнату и тотъ же часъ все это на бумагу для меня. Вы уже симъ два дъла сдълаете разомъ: кромъ того, что дадите мнъ средство впослёдствій вамъ пригодиться, вы узнаете сами изъ собственныхъ отвѣтовъ чиновника, какъ понимаетъ онъ свою должность, чего ему недостаеть, словомъ — своимъ отвѣтомъ онъ обрисуетъ самого себя. Онъ васъ можеть даже навести на кое-что сдъдать теперь же... Но не въ этомъ дъло: до времени лучше не торопитесь; не дълайте ничего даже и тогда, если бы вамъ показалось, что можете кой-что сдълать, и что въ силахъ чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальнъй всмотръться; довольствуйтесь покамъсть тъмъ, чтобы передать мнъ. Потомъ на той же страничкъ, насупротивъ того же мъста или на другомъ лоскуткъ бумаги: ваши собственныя замъчанія — что вы замътнии о каждомъ господинъ въ особенности, что говорятъ о немъ другіе, словомъ — все, что можно прибавить о немъ со стороны.

Потомъ такія же свъдънія доставьте мнъ обо всей женской половинъ вашего города. Вы же были такъ умны, что сдълали имъ всъмъ визиты и почти ихъ всъхъ узнали. Впрочемъ, узнали несовершенно, я въ этомъ увъренъ. Относительно женщинъ вы руководствуетесь первыми впечатлъніями: которая вамъ не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранныхъ и лучшихъ. Другъ мой, за это я вамъ дълаю упрекъ. Вы должны всъхъ любить, особенно тъхъ, въ которыхъ побольше дрянца, — по крайней мъръ, побольше узнать ихъ, потому что оть этого зависитъ многое, и онъ могутъ имъть большое вліяніе на мужей. Не торопитесь, не спъшите ихъ наставлять, но просто только разспрашивайте; вы же имъете даръ выспрашивать. Узнайте не только дъла и занятія каждой, но даже образъ мыслей, вкусы: что кто любить, что кому изъ нихъ нравится, въ чемъ конекъ каждой. Мнъ все это нужно.

По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а безъ того я даже не понимаю, какъ можно кому-либо дать какой-либо совъть: всякій совъть, какой ему ни дашь, будеть обращенъ къ нему своей трудпой стороной, будеть не легокъ, неудобоисполнимъ. Словомъ, женщинъ всъхъ насквозь, чтобы я имълъ совершенное понятіе о вашемъ городъ!

Сверхъ характеровъ и лицъ обоего пола, запишите всякое случившееся происшествіе, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще духъ губерніи, запишите безхитростно, въ такомъ видѣ, какъ было, или какъ его передали вамъ вѣрные люди. Запишите также двѣ, три сплетни на выдержку, какія первыя вамъ попадутся, чтобы я зналъ, какого рода сплетни у васъ плетутся. Сдѣлайте, чтобы это записыванье сдѣлалось постояннымъ вашимъ занятіемъ, чтобы на это былъ опредѣленъ положенный часъ въ днѣ. Представляйте себѣ въ мысляхъ, систематически и во всей полнотѣ, весь объемъ города, чтобы видѣть вдругъ, не пропустили ли вы мнѣ чего-либо записать, чтобы я получилъ, наконецъ, полное понятіе о вашемъ городѣ.

И если вы меня такимъ образомъ познакомите со всёми лицами, съ ихъ должностями, и какъ онё ими понимаются, и, наконецъ, даже съ характеромъ самыхъ событій, у васъ случающихся, тогда я вамъ кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тъхъ же поръ ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мнѣ бы этого не хотѣлось. Мнѣ бы хотѣлось говорить такія слова, которыя попали бы прямо, куда слѣдуетъ, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совѣтъ, чтобы вы въ ту же минуту сказали: «онъ легокъ, его можно привести въ исполненіе».

Воть, однакоже, кое-что впередъ и то не для васъ, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы совътники губерискаго правленія были честные люди. Это главное. Какъ только будуть честные совѣтники, тотъ же часъ будуть честные капитанъ-исправники, засѣдатели, словомъ — все станетъ честно. Надобно вамъ знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользаеть отъ всякаго преслёдованія, есть та, которую чиновникъ береть съ чиновника по командъ сверху внизъ; это идетъ иногда безконечной лъстницей. Капитанъисправникъ и засъдатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что съ нихъ беруть, и что имъ нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое мъсто. Эта купля и продажа можетъ производиться передъ глазами и въ то же время нивъмъ не быть замъчена. Храни васъ Богъ даже и преслъдовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно: снизу будеть все честно само собою. До времени, пока не вызрѣло зло, не преслѣдуйте никого; лучше дъйствуйте тъмъ временемъ нравственно. Мысль ваша, ЧТО губернаторъ всегда имъетъ возможность сдълать много зла и мало добра, и что на поприщѣ добра онъ обрѣзанъ въ дѣйствіяхъ, не совсѣмъ справедлива.

Губернаторъ можетъ всегда имъть вліяніе нравственное, даже очень большое, подобно какъ и вы можете имъть большое нравственное вліяніе, хотя и не имъете власти, установленной закономъ. Повърьте, что не сдълай онъ визита какому-нибудь господину, объ этомъ будеть весь городъ говорить: станутъ разспрашивать, за что и почему, и этоть самый господинь изъ-за этой единственной боязни струсить сдѣлать подлость, которую онъ не струсиль бы совершить предъ лицомъ власти и закона. Вашъ поступокъ, т.-е. вашъ и вашего супруга, съ уъзднымъ судьей N** уъзда, вотораго вы нарочно вызвали въ городъ съ тъмъ, чтобы примирить его съ прокуроромъ, почтить его радушнымъ угощеніемъ и дружескимъ пріемомъ за прямоту, благородство и честность, повбрьте, сдблаль уже свое дбйствіе. Мнѣ нравится при этомъ случаь то, что судья (который, какъ оказалось, былъ просвъщеннъйшій человъкъ) одъть быль такимъ образомъ, что его, какъ вы говорите, не приняли бы въ переднюю петербургскихъ гостиныхъ. Хотълъ бы я въ эту минуту поцъловать полу его заношеннаго фрака. Повърьте, что наилучшій образъ дъйствій въ нын вшнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточниковь и дурныхъ людей и не пресладовать ихъ, но стараться, визсто того, выставлять на видъ всякую честную черту, дружески, въ виду всъхъ, пожимать руку прямого, честнаго человѣка. Повѣрьте, какъ только будетъ узнано во всей губерніи, что губернаторъ поступаеть дъйствительно такъ, все дворянство уже будеть на его сторонѣ. Въ дворянствѣ нашемъ есть удивительная черта, которая меня всегда изумляда, это — чувство благородства, — не того благородства, которымъ заражено дворянство другихъ земель, то-есть, не благородства рожденія или происхожденія, и не европейскаго point d'honneur, но настоящаго, правственного благородства. Даже въ такихъ губерніяхъ и такихъ мъстахъ, гдъ, если разобрать порознь иного дворянина, выйдетъ просто дрянь, а вызови только на какой нибудь дъйствительно благородный подвигь - все вдругь подымется точно какимъ-то электричествомъ, и люди, которые дѣлають пакости, сдѣлають вдругь благороднѣйшее дѣло. И потому всякій благородный поступокъ губернатора прежде всего найдеть откликъ въ дворянствъ, а это важно. Губернаторъ долженъ непремънно имъть нравственное вліяніе на дворянъ; только симъ однимъ онъ можетъ подвитнуть ихъ на поднятіе невидныхъ должностей и не приманчивыхъ мъстъ. А это нужно, потому что, если дворянинъ изъ той же губерни возьметъ какое-нибудь мъсто съ тъмъ, чтобы показать, какъ надобно служить, то, каковъ бы онъ ни былъ самъ, хотя и лѣнтяй и многимъ нехорошъ, но исполнить такъ свое дѣло, какъ никогда не исполнитъ присланный чиновникъ, хотя бы онъ исшатался, въкъ въ канцеляріяхъ. Словомъ, ни въ какомъ случат не должно упускать изъ виду того, что это тъ же самые дворяне, которые въ двёнадцатомъ году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой. Когда случится, по причинѣ совершонныхъ гадостей, предать иного

Когда случится, по причинѣ совершонныхъ гадостей, предать иногочиновника суду, то въ такомъ случаѣ нужно, чтобы онъ преданъ былъ съ отръшениемъ отъ дълъ. Это очень важно. Ибо, если онъ будетъ преданъ суду безъ отрѣшенія отъ дѣлъ, то все служащее будетъ еще долго держать его сторону, онъ еще долго станетъ юлить и найдетъ средства такъ все запутать, что никогда не добраться до истины. Но какъ только онъ будетъ преданъ суду съ отръшениемъ отъ дълъ, онъ повѣситъ вдругъ носъ, сдѣлается никому не страшенъ, на него пойдутъ со всѣхъ сторонъ улики, все выйдетъ на чистую воду и вдругъ узнается дѣло. Но, другъ, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутаго съ мѣста чиновника, какъ бы онъ дуренъ ни былъ: онъ несчастенъ. Онъ долженъ съ рукъ вашего мужа перейти на ваши руки,

не объясняйтесь съ нимъ сами и не принимайте его, но слъдуйте за нимъ издали. Вы хорошо сдѣлали, что выгнали надзирательницу при домѣ умалишенныхъ за то, что она вздумала продавать булки, назначенныя этимъ несчастнымъ, — преступленье вдвойнъ гадкое, пріемля въ соображенье то, что сумасшедшие не могуть даже и пожаловаться! А потому изгнанье ся нужно было сдълать публично и гласно. Но не бросайте никакого человъка, не отръзывайте возврата никому, слъдуйте за отръшеннымъ: иногда съ горя, съ отчаянія, со стыда впадаеть онъ еще въ большія преступленія. Дъйствуйте или чрезъ вашего духовника, или вообще чрезъ какого-нибудь умнаго священника, который бы навъщалъ его и давалъ бы вамъ отчетъ о немъ безпрестанно, а главное, старайтесь, чтобы онъ не оставался безъ какого-пибудь труда и дъла. Не подобътесь въ этомъ случат мертвому закону, но живому Богу, Который встин бичами несчастій поражаеть человъка, но не оставляеть его до самаго вонца его жизни. Каковъ бы ни былъ преступникъ, но если земля его еще носить, и громъ Божій не поразиль его — это значить. что онъ держится на свътъ для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помогъ ему и спасъ его. Если же васъ, во время ли описаний, которыя вы станете дълать для меня, или же во время вашихъ собственныхъ изслёдованій всякихъ недуговъ, будуть слишкомъ поражать наши печальныя стороны и возмутится ваше сердце, — въ такомъ случат совътую вамъ бестдовать объ этомъ почаще съ архіереемъ; онъ же, какъ видно изъ словъ вашихъ, умный человъкъ и добрый пастырь. Покажите ему весь лазаретъ вашъ и обнаружьте предъ нимъ всѣ болѣзни больныхъ вашихъ. Хотя бы даже онъ быль небольшой знатовъ въ наукъ лъчить, то и тогда вы должны ввести его непремѣнно во всѣ припадки, признаки и явленія болѣзней. Старайтесь ему очертить все до послъдняго такъ живо, чтобы оно такъ и носилось у него передъ главами, чтобы городъ вашъ, какъ живой пребывалъ бы безпрестанно въ мысляхъ его, какъ онъ долженъ безпрестанно пребывать въ вашихъ мысляхъ, чтобы чрезъ то самое его мысли стремились сами собой на безпрестанную о немъ молнтву. Повёрьте, что отъ этого самая проповёдь его съ каждымъ воскресеньемъ будетъ направляться болье и болье въ сердцамъ слушателей, и онъ сумбетъ потомъ выставить многое на чистоту и, не указывая лично ни на кого, сумбеть поставить каждаго лицомъ въ лицу въ его собственной мерзости такъ, что самъ хозяинъ плюнетъ на свое же добро. Обратите также внимание на городскихъ священниковъ, узнайте ихъ всъхъ непремънно; отъ нихъ зависить все, и дъло улучшенія нашего въ ихъ рукахъ, а не въ рукахъ кого-либо другого. Не пренебрегайте никъмъ изъ нихъ, несмотря на простоту и невъжество многихъ. Ихъ скоръе можно возвратить къ своему долгу, чёмъ кого-либо изъ насъ; у насъ, свътскихъ, есть гордость, честолюбіе, самолюбіе, самоувъренность въ своемъ совершенствъ, вслъдствіе которыхъ никто у пасъ не послушается словъ и увъщаній своего брата, какъ бы справедливы они ни были... Духовный же, каковъ бы онъ ни быль, онь все-таки болье или менье чувствуеть, что ему дожно быть встахъ смиреннъе и встахъ ниже; притомъ уже въ самомъ ежедневно отправляемомъ вмъ служения онъ слышить себъ напоминание, словомъ — онъ ближе всёхъ насъ въ возврату на путь свой, а, возвратясь на него самъ, можетъ возвратить и всъхъ насъ. И потому, хотя бы вы встрътили изъ нихъ вовсе неспособнаго, не пренебрегайте, но поговорите съ нимъ хорошенько. Разспросите у каждаго, что такое его приходъ, чтобы онъ далъ вамъ полное понятіе, каковы у него въ приходъ люди, и какъ онъ самъ понймаетъ и знаетъ ихъ. Не позабудьте, что я до сихъ поръ не знаю, что такое въ вашемъ городѣ

и цанство и купечество; что они также начинають молничать и курить сигарки, это дбло повсюдное; мнб нужно взять изъ среды ихъ живьемъ котораго-нибудь, чтобы я видълъ его съ ногъ до головы во всъхъ подробностяхъ. Итакъ, узнайте объ нихъ обо всъхъ въ подробности... Одну сторону этого дъла вы узнаете отъ священниковъ, другую отъ полицмейстера, если потрудитесь съ нимъ хорошенько разговориться объ этомъ предметъ, третью сторону узнаете оть нихъ самихъ, если не побрезгуете разговориться съ которымъ-нибудь изъ нихъ, хотя при выходъ изъ церкви въ воскресный день. Всъ забранныя свъдънія послужать къ тому, что очертять передъ вами примърный образъ мъщанина и купца, чъмъ онъ долженъ быть на самомъ пълъ: въ уродѣ вы почувствуете идеалъ того, чего карикатурой сталь уродъ. Если жъ вы это почувствуете, тогда призывайте священниковь и толкуйте съ ними: вы имъ скажете именно то, что имъ нужно — самое существо всякаго званія, то-есть, чёмъ должно быть оно у насъ, и карикатуру на это званіе, то-есть, чъмъ оно стало вслъдствіе здоупотребленія нашего. Больше не прибавляйте ничего. Онъ будетъ самъ наведенъ на умъ, если только станетъ исправлять свою собственную жизнь. Священникамъ нашимъ особенно нужна бесъда съ такими уже готовыми людьми, которые умбли бы въ немногихъ, но яркихъ и мъткихъ чертахъ очертить имъ предълы и обязанности всякаго званія и должности. Часто, единственно изъ-за этого, иной изъ нихъ не знаетъ, какъ ему быть съ прихожанами и слушателями, изъясняется общими мъстами, не обращенными никакой стороной непосредственно въ предмету. Войдите также въ его собственное положение, помогите его женъ и дътямъ, если приходъ у него бѣденъ. Кто погрубѣй и позадористѣй, погрозите тому архиереемъ; но вообще старайтесь лучше дъйствовать правственно. Напоминайте имъ, что обязанность ихъ слишкомъ страшна, что отвъть они дадутъ больше, чъмъ кто-нибудь изъ людей всякаго другого званія, что теперь и синодъ, и самъ государь обращають особенное вниманіе на жизнь священника, что всёмъ готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже всѣ до единаго въ государствѣ частные люди начинаютъ замѣчать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте имъ почаще тъ страшныя истины, отъ которыхъ поневолѣ содрогнется ихъ душа. Словомъ – не пренебрегайте никакъ городскими священниками: съ помощію ихъ губернаторша можеть произвести много нравственнаго вліянія на купечество, мѣщанство и всякое простое сословіе, обитающее въ городъ, – такъ много вліянія, какъ даже вы представить себъ не можете. Я назову вамъ только немного изъ того, что она можетъ сдълать, и укажу на средства, какъ она можетъ это сдѣлать: во-первыхъ... но я вспомнилъ, что я совершенно не имъю никакого понятія о томъ, какого рода въ вашемъ городъ мъщанство и купечество: слова мои могуть прійтись не совстмъ кстати, лучше не произносить ихъ вовсе; скажу вамъ только то, что вы изумитесь потомъ, когда увидите, сколько на этомъ поприщѣ предстоить вамъ такихъ подвиговъ, отъ которыхъ въ нъсколько разъ больше пользы, чёмъ отъ пріютовъ и всякихъ благотворительныхъ заведеній, которые не только не сопряжены ни съ какими пожертвованіями и трудами, но обратятся въ удовольствіе, въ отдохновеніе и развлеченье духа.

Старайтесь всѣхъ избранныхъ и лучшихъ въ городѣ подвигнуть также на дѣительность общественную: всякій изъ нихъ можетъ сдѣлать много почти подобнаго вамъ. Ихъ можно подвигнуть. Если вы мнѣ дадите только полное понятіе объ ихъ характерахъ, образѣ жизни и занятіяхъ, я вамъ скажу, чѣмъ и какъ ихъ можно подстрекнуть: есть въ русскомъ человѣкѣ сокровенныя

струны, которыхъ онъ самъ не знаетъ, по которымъ можно такъ ударить, что онъ весь встрепенется. Вы мнѣ уже назвали нѣкоторыхъ въ вашемъ городъ какъ людей умныхъ и благородныхъ; я увъренъ, что ихъ отыщется даже и болье. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на непріятныя замашки, грубость, черствость, неловкость обращенія, ни даже на фанфаронство, щелкоперность поступковъ и всякія черезчуръ ловкія развязности. Мы вст въ послтанее время обзавелись чтыть-то заносчиво-непріятнымъ въ обращении, но при всемъ томъ въ глубинъ душъ нашихъ пребываеть и болье, чыть когда-либо, добрыхъ чувствъ, несмотря на то, что мы загромоздили ихъ всякимъ хламомъ и даже просто заплевали ихъ сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нась, мужчинь: въ нихъ больше великодушія, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что онъ закружились въ вихръ моды и пустоты. Если только-сумбете заговорить съ ними языкомъ самой души, если только сколько-нибудь вы умъете очертить передъ женщиной ея высокое поприще, котораго ждеть теперь отъ нея міръ, - ея небесное поприще быть воздвижницей насъ на все прямое, благородное и честное, кливнуть кличъ человъку на благородное стремленіе, — то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнеть вся вдругь, взглянеть на самоё себя, на свои брошенныя обязанности, подвигнеть себя самоё на все честное, подвигнеть своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко въ сторону свои тряшки, всёхъ поворотить въ дёлу. Клянусь, женщины у насъ очнутся прежде мужчинъ, благородно попрекнутъ насъ, благородно хлеснуть и погонять насъ бичомъ стыда и совъсти, какъ глупое стадо барановъ, прежде чёмъ каждый изъ насъ успъеть очнуться и почувствовать, что ему слъдовало давно побъжать самому, не дожидаясь бича. Васъ полюбять, и полюбять сильно, да нельзя имъ не полюбить вась, если узнають вашу душу; но до того времени вы встахъ ихъ любите до единаго, никакъ не взирая на то, если бы кто-нибуль васъ и не любиль...

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, можеть-быть, не совстмъ приходящіяся встати ни вашему городу, ни вамъ въ настоящую минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мнъ подробныхъ свъдъній ни о чемъ. До сихъ поръ я точно какъ въ лъсу. Слышу только о какихъ-то неизлёчимыхъ болёзняхъ и не знаю, чёмъ кто боленъ. А у меня обычай не върить по слухамъ никакимъ неизлъчимостямъ, и никогда не назову я никакую бользнь неизлачимой по тахъ поръ, пока не пощупаю ее моей собственной рукою. Итакъ, разсмотрите же вновь, ради меня, весь городъ, опишите все и всёхъ, не избавляя никого отъ трехъ неизбёжныхъ вопросовъ: въ чемъ состоитъ его должность, сколько на ней можно сдблать добра и сколько зла. Поступите какъ прилежная ученица: сдълайте для этого тетрадку и не забывайте быть въ вашихъ объясненіяхъ со мной какъ можно обстоятельнъй, не позабывайте, что я глупъ, ръшительно глупъ, по тъхъ поръ, пока не введутъ меня въ самое подробнъйшее познаніе. Лучше воображайте, что передъ вами стоить ребеновъ или такой невъжда, которому до послѣдней бездѣлушки нужно все истолковать: тогда только письмо ваше будеть такъ, какъ слъдуеть. Я не знаю, отчего вы меня почитаете какимъ-то всезнайкой. Что мнѣ случилось вамъ кой-что предсказать, и предсказанное сбылось, — это произошло единственно оть того, что вы меня ввели въ тогдашнее положение души вашей. Велика важность этакъ угадать! Стоитъ только попристальные вглядыться въ настоящее, будущее вдругь выступить само собою. Дуракъ тоть, кто думаетъ о будущемъ мимо настоящаго. Онъ

или совретъ, или скажетъ загадку. Я васъ, между прочниъ, еще побраню за слѣдующія ваши строки, которыя здѣсь выставлю вамъ передъ глаза: Грустно и даже горестно видътъ вблизи состояние России, но, впрочемь, не слъдуеть объ этомь говорить. Мы должны съ надеждой и свътмымь взоромъ смотръть въ будущее, которое въ рукахъ милосердаго Бога. Въ рукахъ милосердаго Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся бъда наша, что мы не глядимъ въ настоящее, а глядимъ въ будущее. Оттого и бъда вся, что иное въ немъ горестно и грустно, другое просто гадко: если же дълается не такъ, какъ бы намъ хотълось, мы махнемъ на все рукой и давай пялить глаза въ будущее. Оттого Богъ и ума намъ не даеть; оттого и будущее висить у нась у всёхъ точно на воздухё: слышать нёкоторые, что оно хорошо, благодаря нёкоторымъ передовымъ людямъ, которые тоже услышали его чутьемъ и еще не провърили законнымъ ариометическимъ выводомъ; но какъ достигнуть до этого будущаго, никто не знаеть. Оно точно кислый виноградь. Бездълицу позабыли: позабыли, что пути и дороги къ этому свътлому будущему сокрыты именно въ этомъ темномъ и запутанномъ настоящемъ, котораго никто не хочетъ узнавать; всякъ считаетъ его низкимъ и недостойнымъ своего вниманія и даже сердится, если выставляють его на видь всёмь. Введите же хотя меня въ познаніе настоящаго. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мнъ всякую мерзость. Для меня мерзости не въ диковинку: я самъ довольно мерзокъ. Пока я еще мало входиль въ мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходиль отъ многаго въ уныніе, и миб становидось страшно за Россію; съ тбхъ же поръ, какъ я стадъ побольше всматриваться въ мерзости, я просвътлълъ духомъ: передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговълъ еще болъе предъ Провидъньемъ. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобиль Онь меня, хотя отчасти, узнать мерзости, какъ мон собственныя, такъ и бѣдныхъ моихъ собратьевъ. И если есть во инъ какаянибудь капля ума, свойственнаго не встмъ людямъ, такъ это оттото, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если мнъ удалось оказать помощь душевную нѣкоторымъ близкимъ моему сердцу, а въ томъ числѣ и вамъ, такъ это оттого, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если я пріобр'вль, наконець, любовь къ людямь не мечтательную, но существенную, такъ это все же, наконецъ, отъ того же самаго, что всматривался я побольше во всякія мерзости.

Не пугайтесь же мерзостію, и особенно не отвращайтесь оть тѣхъ людей, которые вамъ кажутся почему-либо мерзки. Увѣряю васъ, что придетъ время, когда многіе у насъ на Руси изъ чистенькихъ горько заплачутъ, закрывъ руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишкомъ чистыми, что хвалились чистотой своей и всякимъ возвышеннымъ стремленіемъ куда-то, считая себя чрезъ это лучшими другихъ. Помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дѣла бодрѣй, свѣжѣй, чѣмъ когда-либо прежде. Перечтите разъ пять, шесть мое письмо, именно изъ-за того, что въ немъ все разбросано и нѣтъ строгаго логическаго порядка, чему, впрочемъ, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все въ васъ, вопросы мои сдѣлались бы вашими вопросами, и желанье мое вашимъ желаньемъ, чтобы всякое слово и буква преслѣдовали васъ и мучили по тѣхъ поръ, пока не исполните моей просьбы такимъ именно образомъ, какъ я хочу.

1846.

XXII.

Русскій пом'вщикъ.

письмо къ б. и. б....у.

Главное то, что ты уже прітхаль въ деревню и положиль себть непремънно быть помъщикомъ, прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія пом'єщика съ крестьянами, исчезнули навъки. [Что онъ исчезли, это правда; что виноваты тому сами помъщики, это тоже правда; но] чтобы навсегда или навъки онъ исчезнули, --плюнь ты на такія слова: сказать ихъ можеть только тоть, кто далье своего носа ничего не видить. Русскаго ди человъка, который такъ умъетъ быть благодарнымъ за всякое добро, какому его ни надоумишь, русскаго ли человъка трудно привязать къ себъ? Такъ можно привязать, что послъ будень думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что теперь тебт скажу, то къ концу же года увидншь, что я правъ. Возьмись за дъло помъщика, какъ слъдуеть за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслѣ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты, и что такое они: что помъщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебъ хотълось повелъвать и быть помъщикомъ, но потому, что ты уже есть пом'ящивъ, что ты родился пом'ящивомъ, что взыщеть съ тебя Богъ, если бъ ты промъняль это званіе на другое, потому что всякій должень служить Богу на своемь мъсть, а не на чужомь, равно какъ и они также, родясь подъ властью, должны покоряться той самой власти. подъ которою родились, потому что нътъ власти, которая бы не была отъ Бога. И покажи это имъ тутъ же въ Евангеліи, чтобы они всѣ это видѣли до единаго. Потомъ скажи имъ, что заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были теб' деньги на твои удовольствія. (и въ доказательство туть же сожги передь ними ассигнаціи], и сділай такъ, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль; но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелёно человёку трудомъ и потомъ снискивать себ' хлібов, и прочти имъ туть же это въ св. Писаніи, чтобы они это видѣли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за послёдняго негодяя въ селё, и что по этому самому ты еще болёе будешь смотръть за тъмъ, чтобы они работали честно не только тебъ, но и себъ самимъ; ибо знаешь, да и они знаютъ, что, залънившись, муживъ на все способенъ — сдъдается и воръ, и пьяница, погубитъ свою душу, да и тебя поставить въ отвъть передъ Богомъ. И все, что имъ ни скажешь, подкръпи туть же словами св. Писанія; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это написано; заставь каждаго передъ тъмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцъловать самую внигу, въ которой это написано. Словомъ чтобы они видбли ясно, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуеться съ волею Божіею, а не съ своими какими-нибудь европейскими или иными затвями. Мужикъ это пойметь; ему не нужно много словъ. Объяви имъ всю правду: что душа человъка дороже всего на свътъ, и что прежде всего ты будешь глядъть за тъмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто-нибудь своей души и не предаль бы ее на възную муку. Во всъхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дълать уличенному въ воровствъ, лъности или ньянствѣ, ставь его передъ янцомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ; покажи ему, чёмъ онъ грёшить противъ Бога, а не противъ тебя. И не упрекай его

одного, но призови его бабу, его семью, собери сосъдей. Попрекни бабу, зачъмъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божіимъ; попрекни сосъдей, зачъмъ допустили, что ихъ же брать, среди ихъ же, зажиль собакою и губить ни про-что свою душу; докажи имъ, что дадуть за то всѣ отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всѣхъ легла отвѣтственность и чтобы все, что ни окружаеть человъка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отвътственность на головы примърныхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Растолкуй имъ ясно, что они не затьмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошему житію, что пьяница не можеть учить пьяницу и что это ихъ долгъ. Негодяять же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали побрыть муживамъ такое же уважение, какъ бы старостъ, приказчику, попу или даже самому тебъ; чтобы, когда еще они завидять издали примърнаго мужива и хозяина, детёли бы шапки съ головы у всёхъ мужиковъ и все бы ему давало дорогу; а который посмъль бы оказать ему какое-нибудь неуважение или не послушаться умныхъ словъ его, то распеки тутъ же при всъхъ; скажи ему: — «Ахъ, ты, невымытое рыло! Самъ весь зажилъ въ сажъ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ — собакой пропадешь». А примърныхъ мужиковъ, призвавши въ себъ и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повельль намъ Богъ. Такъ поступи только въ течение одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдеть на ладъ; даже и хозяйство отъ этого сдълается лучше. О главномъ только позаботься, прочее все приползетъ само собою. Христосъ не даромъ сказалъ: сія вся вамъ приложится. Въ крестьянскомъ быту эта истина еще виднѣе, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяинъ и хорошій человъкъ — синонимы. И въ которую деревню заглянула только христіанская жизнь, тамъ мужнки лопатами гребуть сеpeópo.

Но воть, однакоже, тебѣ совѣть и въ хозяйствѣ. Только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладъ. Два человъка уже благодарятъ меня: одинъ изъ нихъ тебъ знакомый К**. Собственно о томъ, какими отраслями хозяйства слёдуеть заниматься и какъ заниматься, я тебѣ не скажу: это знаешь ты лучше меня; притомъ и деревня твоя мнъ не извъстна такъ, какъ моя собственная ладонь; а относительно всякихъ нововведеній ты уменъ н смекнулъ самъ, что не только слъдуетъ придерживаться всего стараго, но всмотръться въ него насквозь, чтобы изъ него же извлечь для него улучшеніе. Но я тебѣ дамъ совѣтъ насчетъ соприкосновенія помѣщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ дълахъ и работахъ, что покамъсть нужнъе всего прочаго. Припомни отношения прежнихъ помѣщиковъ-хозяевъ въ ихъ мужикамъ: будь патріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всёхъ дёлахъ. Заведи, чтобы при началъ всякаго общаго дъла, какъ-то: посъва, покосовъ и уборки хлѣба, былъ пиръ на всю деревню, чтобы въ эти дни былъ общій столъ для всѣхъ мужиковъ на твоемъ дворѣ, какъ бы въ день самаго Свѣтлаго Воскресенія, и объдаль бы ты самъ вмъстъ съ ними, и вмъстъ съ ними вышель бы на работу, и въ работъ быль бы передовымъ, подстрекая всъхъ работать молодцами, похваливая туть же удальца и укоряя туть же лёнивца. Когда же наступить осень и кончатся полевыя работы, воспразднуй такимъ же образомъ и еще большимъ пиршествомъ окончание работъ, въ сопровождения торжественнаго и благодарственнаго молебна. Мужика не бей : съвздить его

въ рожу еще не большое искусство; это сумъеть сдълать и становой, и засъдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только что почешеть слегка у себя въ затылкъ. Но умъй пронять его хорошенько словомъ: ты же на мъткія слова мастерь. Ругни его при всемъ народъ, но такъ, чтобы тутъ же осмъялъ его весь народъ; это будетъ для него въ нъсколько разъ подезнъе всякихъ подзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запасъ всъ синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и всъ синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словомъ — назови всёмъ, чёмъ только не хочетъ быть русскій человёкъ. Въ комнать не засиживайся, но появляйся почаше на крестьянскихъ работахъ. и, гдѣ ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глядъло все живъе и веселъе, изворачиваясь полодцомъ и щеголемъ въ работъ. Подай и оть себя силы словами: -- «Подхватимъ-ка разомъ, ребята, всѣ вмѣстѣ!» Возьми самъ въ руки топоръ или косу; это будетъ тебъ въ добро и полезнъе для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ мощіоновъ и вялыхъ прогудокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотъ затемъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя внижонки, которыя издають для народа европейскіе челов'яколюбцы, есть дъйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нътъ вовсе для этого времени. Послъ столькихъ работъ никакая книжонка не полъзеть въ голову, и, пришедши домой, онъ заснеть, вакъ убитый, богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь дълать то же, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истинно нужнаго для мужика, нежели всё эти книжонки. Если въ комъ истинно уже зародится охота къ грамоть, и притомъ вовсе не затъмъ, чтобы сдъдаться плутомъ-конторщикомъ, но затъмъ, чтобы прочесть ть книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человѣку, — тогда другое дъло. Воспитай его какъ сына и на него одного употреби все, что употребиль бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бѣжить, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаеть, что тамъ притонъ всей человъческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. По-настоящему, ему не слѣдуеть и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кромъ святыхъ.

[Кстати о священникъ. Ты напрасно хлопочешь объ его перемънъ и затвваешь просить архіерся, чтобы онь даль тебь болье знающаго и опытнаго: такого священника онъ тебъ не дасть, потому что такой священникъ повсюду нужень. Выбрось даже изъ головы, чтобы могь отыскаться священникъ, вполнѣ отвѣчающій твоему идеалу. Никакая семинарія и никакая школа не можеть такъ воспитать священника. Въ семинаріи онъ получаеть только начальное основание своего воспитания, образуется же вполнъ въ дълъ жизнью. Будь самъ ему наставникомъ, ты же понялъ такъ хорошо обязанности сельскаго священника. Если священникъ дуренъ, то этому почти всегда виноваты сами помѣщики. Они, намѣсто того, чтобы призрѣть его у себя въ домъ какъ родного, поселить въ немъ желаніе бестады лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросять его среди мужиковъ, молодого и неопытнаго, вогда онъ еще и не знаеть, что такое мужикъ; поставять его въ такое положение, что онъ еще долженъ потворствовать и угождать имъ, намъсто того, чтобы уже съ самаго начала имъть надъ ними нъкоторую власть, и послѣ этого вопіють, что у нихъ священники дурные, что они пріобрѣли мужицкія ухватки и ничтыть не отличаются оть простыхъ мужиковъ. Да я

77

спрашиваю: вто не огрубъетъ даже изъ приготовленныхъ и воспитанныхъ? А ты сдълай вотъ какъ. Заведи, чтобы священникъ объдалъ съ тобою всякій день. Читай съ нимъ вмъстъ духовныя книги: тебя же это чтеніе теперь занимаеть и питаеть болье всего. А самое главное, — бери сь собою священника повсюду, гдѣ ни бываешь на работахъ, чтобы сначала онъ быль при тебѣ въ качествѣ помощника, чтобы онъ видѣлъ самолично всю продълку твою съ мужиками. Туть онъ увидить ясно, что такое помъщикъ, что такое мужикъ, и каковы должны быть ихъ отношенія между собою. А между тъмъ, и къ нему будетъ больше уваженія со стороны мужиковъ, когда они увидять, что онъ идеть съ тобою объ-руку. Сдълай такъ, чтобы онъ не нуждался въ домъ своемъ, чтобы былъ обезпеченъ относительно собственнаго своего хозяйства, и черезъ то имълъ бы возможность быть съ тобою безпрестанно. Повърь, что онъ такъ привыкнетъ къ тебъ, что ему будетъ скучно безъ тебя. А привыкнувши къ тебъ, онъ отъ тебя нечувствительно наберется и познанія вещей, и познанія человъка, и много всякаго добра. потому что въ тебъ, слава Богу, всего этого довольно, и ты умъешь такъ ясно и хорошо выражаться, что всякъ невольно усвояеть себъ не только твои мысли, но даже и образъ ихъ выраженія — и самыя слова твои.

Что же до проповёди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебѣ скажу вотъ что. Я скорѣе того мнѣнія, что священнику, не вполнѣ наставленному въ своемъ дѣлѣ и не ознакомленному съ людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповёди. Подумаль ли ты о томъ, какое трудное дёло сказать умную проповёдь и особенно мужнкамъ? Нёть, лучше немного потерпи, по крайней мъръ, до тъхъ поръ, пока и священникъ побольше осмотрится, да и ты также; а до того времени посовътую тебъ то, что одному уже посовътоваль, и что, кажется, пошло ему въ прокъ. Возьми Святыхъ Отцовъ и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоусть, имъя дъло съ народомъ-невъжею, принявшимъ только наружное христіанство, но въ сердцахъ остававшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступнымъ къ понятіямъ человъка простого и грубаго, и говорилъ такимъ живымъ языкомъ о прелметахъ нужныхъ, а даже часто очень высокихъ, что цъликомъ можно обратить мъста изъ проповъдей его къ нашему мужику, и онъ пойметь. Возьми Златоуста и читай его вмъстъ съ твоимъ священникомъ, и притомъ съ карандашомъ въ рукъ, чтобы отмъчать тутъ же всѣ такія мѣста, а такихъ мѣсть у Златоуста десятками во всякой проповѣин. И эти самыя мъста пусть онъ скажеть народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чтмъ меньше, тъмъ лучше. Но нужно, чтобы передъ тъмъ, какъ произносить ихъ народу, священникъ прочиталъ ихъ нъсколько разъ съ тобою виъстъ, затънъ, чтобы умъть ихъ произнести ему не только съ одушевлениемъ, но такимъ убъдительнымъ голосомъ, какъ бы онъ хлопоталъ о какой-нибудь собственной выгодѣ своей, отъ которой зависить благополучіе его жизни. Увидишь, что это будеть дъйствительнъе, нежели его собственная проповъдь. Народу нужно мало говорить, но мътко, -- не то онъ можетъ привыкнуть къ проповъди такъ же, какъ привыкнуль въ ней высшій кругь, который іздить слушать знаменитыхъ европейскихъ проповѣдниковъ такимъ же самымъ образомъ, какъ ѣздитъ въ оперу или въ спектакль. У К. К* священникъ не говоритъ никакой проповъди, но, зная насквозь всёхъ мужиковъ, поджидаеть только исповёди. И на исповёди такъ пройметь изъ нихъ всякаго, что онъ, какъ изъ бани, выходить изъ церкви. З** послаль къ нему нарочно исповъдывать 30 человъкъ рабочихъ съ своей фабрики, пьяницъ и мошенниковъ первъйшаго разбора, а самъ стаяъ

на паперти церковной, чтобы посмотръть имъ въ лица въ то время, какъ они будутъ выходить изъ церкви. Всъ вышли красные, какъ раки. А, кажется, немного и держалъ ихъ на исповъди; по 4 и по 5 человъкъ исповъдывалъ вдругъ. И послъ того, по сказанию самого 3**, въ продолжение двухъ мъсяцевъ не показывался ни одинъ изъ нихъ въ кабакъ, такъ что окружные цъловальники не могли приложить ума, отчего это случилось].

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдеть работаться такъ, что не нужно будеть тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатѣешь ты какъ Крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды номѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ, и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ христіанина на свою обязанность, то не только онъ можеть укръпить старыя связи, о которыхъ толкуютъ, будто онъ исчезнули навѣки, но связать ихъ новыми, еще сильнѣйшими связями, связями во Христѣ, которыхъ уже ничто не можетъ быть сильнѣе. И ты, не служа доселѣ ревностно ни на какомъ поприщѣ, сослужишь такую службу государю въ званіи помѣщика, какой не сослужить яной великочиновный человѣкъ. Что ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всѣ какъ одинъ и могутъ быть примѣромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно-примѣрною жизнію, — это дѣло не бездѣльное и служба истинно-законная и великая. 1846.

XXIII.

Историческій живописецъ Ивановъ.

письмо къ м. ю. ведигурскому.

Пишу въ вамъ объ Ивановъ. Что за непостижимая судьба этого человъка! Ужъ дъло его стало, наконецъ, всъмъ объясняться; всъ увърились, что картина, которую онъ работаеть, — явленіе небывалое, приняли участіе въ художнивъ, хлопочутъ со всъхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее, [чтобы не умерь надъ ней съ голоду художникъ, - говорю буквально: не умерь съ голоду] - и до сихъ порь ни слуху, ни духу изъ Петербурга. ГРади Христа, разберите, что это все значить. Сюда принеслись неятные слухи, будто художники и всть профессора нашей Академіи Художествъ, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было досель произведено нашимъ художествомъ, изъ зависти стараются о томъ, чтобъ ему не были даны средства на окончание. Это ложь, я въ этомъ увъренъ. Художники наши благородны и если бы они узнали все то, что вытеритыть бъдный Ивановъ изъ-за своего безпримърнаго самоотверженія и любви въ труду, рискуя дъйствительно, умереть съ голоду, они бы съ нимъ подълились братски своими собственными деньгами, а не то, чтобы внушать другимъ такое жестокое дъло. Да и чего имъ опасаться Иванова? Онъ идетъ своею собственною дорогою и никому не помъха. Онъ] не только не ищетъ профессорскаго мъста и житейскихъ выгодъ, но даже просто ничего не ищеть, потому что уже давно умерь для всего въ мірѣ, кромѣ своей работы. Онъ молить [о нищенскомъ содержания,] о томъ содержания, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слёдуеть ему, какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затъвалъ доселъ никто; и этого [нищенскаго] содержанія, о которомъ всв стараются и хлопочуть, не можеть онъ допроситься, несмотря на хлопоты всъхъ.

Воля ваша, я вижу во всемъ этомъ волю Провидѣнія, уже такъ опредѣлившую, чтобы Ивановъ вытерпѣлъ, выстрадалъ и вынесъ все: другому ничему не могу приписать.

Доселѣ раздавался ему упревъ въ медленности. Говорили всѣ: «Кавъ! восемь лёть сидёль надъ картиною, и до сихъ поръ картинѣ нёть конца!» Но теперь этоть упрекъ затихнуль, когда увидъли, что и капля времени у художника не пропала даромъ, что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цёлый заль и можеть составить отдёльную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени пля работы, особенно при тъхъ малыхъ денежныхъ средствахъ, которыя не давали ему возможности имъть нъсколько моделей вдругь, и притомъ такихъ, какихъ бы онъ хотълъ. Словомъ — теперь всъ чувствуютъ нелёпость упрека въ медленности и лёни такому художнику, который, какъ труженикъ, сидълъ всю жизнь свою надъ работою и позабылъ даже, существуеть ли на свътъ какое-нибудь наслаждение, кромъ работы. Еще болъе будеть стыдно тёмъ, которые упрекади его въ медленности, когда узнають и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное душевное дёло художника, — явленіе слишкомъ рёдкое въ мірѣ, явленіе, въ которомъ вовсе не участвуеть произволь человѣка, но воля Того, Кто выше человъка. Такъ уже было опредълено, чтобы надъ этою картиною совершилось воспитание собственно художника, какъ въ рукотворномъ дълъ искусства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искусство къ законному и высшему назначенію. Предметь картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ евангельскихъ мъстъ взято самое труднъйшее для исполненія, доселѣ еще небранное никъмъ изъ художниковъ даже прежбогомольно-художественныхъ въковъ, а именно — первое появленіе нихъ Христа народу. Картина изображаеть пустыню на берегу Іордана. Всъхъ виднъе Іоаннъ Креститель, проповъдающій и крестящій во имя Того, Котораго еще никто не видаль изъ народа. Его обступаеть толпа нагихъ и раздъвающихся, одъвающихся и одътыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толпъ этой стоять и будущіе ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различныя тёлесныя движенія, устремляется внутреннимъ ухомъ къ ръчамъ пророка, какъ бы схватывая изъ устъ его каждое слово и выражая на лицахъ различныя чувства: на однихъ уже полная въра; на другихъ еще сомнъніе; третьи уже колеблются; четвертые понурили головы въ сокрушении и покаянии: есть и такie, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается вдали Тотъ Самый, во имя Котораго уже совершилось крещеніе, — и здъсь настоящая минута картины. Предтеча взять именно въ тоть мигь, когда, указавши на Сиасителя перстомъ, произносить: Се Агнецъ, вземляй пръхи міра! И вся толпа, не оставляя выраженія лицъ своихъ, устремляется или глазомъ, или мыслью къ Тому, на Котораго указалъ пророкъ. Сверхъ прежнихъ, не успъвшихъ сбъжать съ лицъ впечатлѣній, пробѣгають по всѣмъ лицамъ новыя впечатлѣнія. Чуднымъ свътомъ освътились лица передовыхъ избранныхъ, тогда какъ другіе стараются еще войти въ смысль непонятныхъ словъ, недоумъвая, какъ можетъ одинъ взять на себя грѣхи всего міра, а третьи сомнительно колеблють головой, говоря: «оть Назарета пророкъ не приходитъ». А Онъ, въ небесномъ спокойствія и чудномъ отдаленіи, тихою и твердою стопою уже приближается къ людямъ.

Безаблица — изобразить на лицахъ весь этоть холь обращения человока къ Христу! Есть люди, которые увърены, что великому художнику все доступно: земля, море, человъкъ; (лягушка, драка и пирушка людей, игра въ карты] и моленіе Богу, словомъ — все можеть достаться ему легко, будь только онъ талантливый художникъ, да поучись въ академіи. Художникъ можеть изобразить только то, что онъ почувствоваль, и о чемъ въ головъ его составилась уже полная идея; иначе картина будеть мертвая, академическая картина. Ивановъ сдълалъ все, что другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріальная часть, все, что относится до умнаго и строгаго размъщения группы въ картинъ, исполнено въ совершенствѣ. Самыя лица получили свое типическое, согласно Евангелію, сходство и съ тъмъ вмъстъ сходство еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ какой землѣ происходить дѣло. Ивановъ повсюду ѣздиль нарочно изучать для того еврейскія лица. Все, что ни касается до гармоническаго размѣщенія цвътовъ, одежды человъка и до обдуманной ея наброски на тъло, изучено вь такой степени, что всякая складка привлекаеть внимание знатока. Наконецъ, вся дандшафтная часть, на которую, обыкновенно, не много смотрять историческій живописець, видь всей живописной пустыни, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущіе въ Римѣ. Ивановъ для этого просиживалъ по нѣсколькимъ мѣсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мъстахъ Италіи, перенесъ въ свои этюды всѣ дикія захолустья, находящіяся вокругь Рима, изучиль всякій камушекъ и древесный листокъ, словомъ — сдълаль все, что могь сдъдать, все изобразилъ, чему только нашелъ образецъ. Но какъ изобразить то, чему еще не пашель художникь образца? Гдъ могь найти онь образень для того. чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, представить въ лицахъ весь ходъ человъческаго обращения по Христу? Откуда могь онъ взять его? Изъ головы? Создать воображеніемь? Постигнуть мыслью? Нётъ, пустяви! Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Ивановъ напрягалъ воображеніе, елико могь, старался на лицахъ всъхъ людей, съ какими ни встръчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слёдить за молитвою человъка — и видълъ, что все безсильно и недостаточно и не утверждаеть въ его душѣ полной идеи о томъ. что нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и виною того, что картина такъ долго затянулась. Нътъ, пока въ самомъ художникъ не произошло истиннаго обращенія къ Христу, не изобразить ему того на полотнъ! Ивановъ молилъ Бога о ниспосдани ему такого полнаго обращенія, лиль слезы въ тишинъ, прося у Него же силь исполнить Имъ же внушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности и торопили ero! Ивановъ просилъ у Бога, чтобы огнемъ благодати испепелилъ въ немъ ту холодную черствость, которою теперь страждуть многіе наилучшіе и наидебръйшіе люди, и вдохновиль бы его такъ изобразить это обращеніе, чтобы умилился и нехристіанинь, взглянувши на его картину; а его вь это время уворяли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что онъ просто лънится, и помышляли серьезно о томъ, нельзя ли голодомъ и отнятiемъ всѣхъ средствъ заставить его кончить картину. Сострадательнъйшіе изъ нихъ говорили: «Самъ же виновать: пусть бы большая картина шла своимъ черепомъ, въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не умереть съ голода», — говорили, не въдая того, что художнику, воторому трудъ его, по волъ Бога, обратился въ его душевное дъло, уже невозможно заняться никакимъ другимъ трудомъ и нъть у него промежутковъ;

Н. В. Гоголь. Томъ III.

Digitized by Google

6

не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ онъ ее ни принуждай и ни насилуй. Такъ върная жена, полюбившая пстинно своего мужа, не полюбить уже никого другого, никому не продасть за деньги своихъ ласкъ, хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бълности и себя, и мужа. Воть каковы были обстоятельства лушевныя Иванова! Вы скажете: «Ла зачёмъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагь? зачёмъ не описалъ ясно своего дъйствительнаго положенія? тогда бы ему вдругь были высланы деньги». Да, какъ бы не такъ! Попробуй кто-нибудь изъ насъ, еще не доказавшій силь. еще не умъющій самому себъ высказать себя, объясняться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, которые не могутъ, весьма естественно, даже постигнуть, что можеть существовать въ искусствъ его высшая степень, свыше той, на которой оно стоить въ нынёшнемъ модномъ въкъ! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дѣло, которое васъ потомъ изумить, но котораго вамь не могу теперь разсказать, потому что многое, покуда, и мнѣ самому еще не совсѣмъ понятно, а вы, во все то время, какъ и буду сидъть надъ работою, ждите терпъливо и давайте мнъ деньги на содержаніе»? Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорять такимъ же образомъ; да имъ развѣ безуменъ дастъ деньги. Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: «Миѣ внушена кѣмъ-то свыше преслѣдующая меня мысль изобразить кистью обращение человъка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сдълать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите, покуда во мнъ самомъ не произойдетъ этого обращенія, и давайте до того времени мнъ деньги на мое содержаніе и на мою работу». Да ему тогда въ одинъ голосъ закричимъ мы всъ: «Что ты, брать, за нескладицу городишь? за дураковъ, что ли, насъ принялъ? Что за связь у души съ картиною? Душа сама по себѣ, а картина сама по себѣ. [Что намъ ждать твоего обращенія? Ты долженъ быть и безъ того христіанинъ; въдь воть мы же всъ истинные христіане»]. Воть что мы скажемъ всѣ Иванову, и каждый изъ насъ почти правъ. Не будь этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ въ Богу и дали ему способность въ Нему прибъгать и жить въ Немъ такъ, какъ не живеть въ Немъ нынъшній свътскій художникъ, и выплакать слезами тъ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинаеть онъ уже изображать теперь на полотить, и онъ дъйствительно бы обмануль и себя, и другихъ, несмотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходнаго состоянія душевнаго, когда, по волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природѣ человѣка. Я это знаю и отчасти даже испыталъ самъ. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Въ продолженіе болѣе шести лѣтъ я ничего не могъ работать для свѣта. Вся работа производилась во мнѣ и собственно для меня. А существовалъ я дотолѣ, — не позабудьте, — единственно доходами съ моихъ сочиненій. Всѣ почти знали, что я нуждался; но были увѣрены, что это происходитъ отъ собственнаго моего упрямства, что мнѣ стоитъ только присѣсть да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги; а я не въ силахъ былъ произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совѣта одного неразумнаго человѣка, вздумалъ было заставить себя насильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мнѣ въ такой степени трудно, что ныла моя голова, болѣли всѣ чувства, я

маралъ и раздиралъ страницы, и послъ двухъ, трехъ мъсяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здоровье, которое и безъ того было плохо, что слегъ въ постель, а присоединившиеся къ тому недуги нервические и, наконецъ, недуги оть неумѣнья никому въ свѣтѣ изъяснить состояніе своего положенія до того меня изнурили, что былъ я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Одинъ разъ, въ прибавление ко всему этому, я очутился въ городь, гдь не было почти ни души мнь близкой, безъ всякихъ средствъ, рискуя умереть, не только отъ болъзни и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. [Спасенъ я былъ государемъ: нежданно ко мнѣ пришла отъ него помощь. Услышалъ ли онъ сердцемъ, что бѣдный подданный его на своемъ неслужащемъ и незамътномъ поприщъ помышлялъ сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другіе на своихъ служащихъ и замътныхъ поприщахъ, или это было просто обычное движение милости его; но эта помощь меня подняла вдругъ. Мнъ было пріятно въ эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. Къ причинамъ, побудившимъ взяться съ новою силою за трудъ, присоединилась еще и мысль, — если удостонть меня Богь сделаться точно человекомъ близкимъ для многихъ людей и достойнымъ точно любви всъхъ тъхъ, которыхъ люблю, — сказать имъ: «не забывайте же, меня бы не было, можетъ-быть, на свътъ, если бъ не государь»]. Вотъ каковы бываютъ положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я долженъ быль слышать обвиненія въ эгонзмъ: многіе не могли мнъ простить моего неучастія въ разныхъ дълахъ, которыя они затъвали, по ихъ мнънію, для блага общаго. Слова мон, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вель въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться врасотами Италіи. Я не могь даже изъяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромъ нездоровья, мнъ нужно было временное отдаление отъ нихъ самихъ, затъмъ именно, чтобы не попасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей,—я даже этого не могъ объяснить! Я слышалъ самъ, что мое душевное состояніе до того сдѣлалось странно, что ни одному человѣку въ мірѣ не могъ бы я разсказать его понятно. Силясь открыть хотя одну часть себя, я видёль туть же передъ монми глазами, какъ моими же словами туманилъ и вружилъ голову слушавшему меня человѣку, и горько раскаивался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь, бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положенію того человѣка, который находится въ летаргическомъ снѣ, который видить самъ, какъ его погребають живого, и не можеть даже пошевельнуть пальцемъ и подать знака, что онъ еще живъ. Нѣтъ, храни Богъ въ эти минуты переходнаго состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какому-нибудь человъку; нужно бъжать къ одному Богу, и ни къ кому болъс. Противъ меня стали несправедливы мноrie, даже близкie мнѣ люди, и были въ то же время совсѣмъ невиноваты: я бы самъ сдѣлалъ то же, находясь на ихъ мѣстѣ.

То же самое и въ дѣлѣ Иванова: если бы случилось, чтобы онъ умерь отъ бѣдности и недостатка средствъ, вдругъ бы все исполнилось негодованія противу тѣхъ, которые допустили это; пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій поэтъ составилъ бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигнулъ бы гнѣвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не былъ бы истинно виновенъ въ его смерти.

6*

Digitized by Google

83

Олинъ только человъйъ былъ бы безчестенъ и виновать, и этотъ человъяъ быль бы — я: я испробоваль почти то же состояние, испробоваль его на собственномъ тълъ, и не объясниль того другимъ! И вотъ почему я теперь пишу въ вамъ. Устройте же это дъло; не то – гръхъ будетъ на вашей собственной душѣ; съ моей души я уже сняль его этимъ самымъ письмомъ; теперь онъ повиснулъ на васъ. [Сдълайте такъ, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое онъ проситъ, но еще сверхъ того единовременная награда, именно за то самое, что онъ работалъ долго надъ своею картиною и не хотълъ въ это время ничего работать посторонняго, какъ ни заставляли его другіе люди, и какъ ни заставляла его собственная нужда]. Не скупитесь: деньги всъ вознаградятся. Достоинство картины уже начинаеть обнаруживаться всёмь. Весь Римь начинаеть говорить гласно, - судя даже по нынъшнему ся виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, — что подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будетъ окончена картина [— бъднъйшій дворъ въ Европъ заплатить за нее охотно ть деньги, какія теперь платять за вновь находимыя картины прежнихъ великихъ мастеровъ]. Такимъ картинамъ не бываетъ цъна меньше ста или двухсоть тысячъ. Устройте такъ, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и безпримърную любовь въ искусству, чтобы это послужило въ уровъ художникамъ. Урокъ этотъ нуженъ, чтобы видъли всъ другіе, какъ нужно любить искусство, — что нужно, какъ Ивановъ, умереть для всъхъ приманокъ жизни; какъ Ивановъ, учиться и считать себя въкъ ученикомъ; какъ Ивановъ, отказывать себь во всемъ, даже и въ лпшнемъ блюдъ въ праздничный день; какъ Ивановъ, надъть простую плисовую куртку, когда оборвались всъ средства, и пренебречь пустыми приличіями; какъ Ивановъ, вытерпѣть все и при высокомъ и нъжномъ образовании душевномъ, при большой чувствительности ко всему, вынести всъ колкія пораженія и даже то, когда угодно было нѣкоторымъ провозгласить его сумасшедшимъ и распустить этотъ слухъ такимъ образомъ, чтобы онъ собственными своими ушами, на всякомъ шагу, могъ его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художниковъ молодыхъ и выступающихъ на поприще художества, чтобы не думали они о томъ, какъ заводить галстучки да сюртучки, да дълать долги для поддержанія какого-то въса въ обществъ; чтобы знали впередъ, что подкръпленіе и помощь со стороны правительства ожидають только тёхъ, которые уже не помышляють о сюртучкахъ да о пирушкахъ съ товарищами, но отдались своему дълу, какъ монахъ монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишкомъ велика, чтобы невольно почесали у себя въ затылкъ всъ другіе. Не бойтесь, эту сумму онъ не возьметь себъ; можеть-быть, изъ нея и копейки не возьметь для себя: эта сумма будеть вся употреблена на вспомоществование истиннымъ труженикамъ искусства, которыхъ знаетъ художникъ лучше, нежели какой-либо чиновникъ, и распоряжения по этому дѣлу будутъ произведены лучше чиновническихъ. За чиновникомъ мало ли что можетъ водиться: у него можетъ случиться и жена-модница, и пріятели-вдоки, которыхъ нужно угощать обвдомъ; чиновникъ заведетъ и штатъ, и блескъ; станетъ даже утверждать, что для поддержанія чести русской націи нужно задать пыли иностранцамъ, и потребуеть на это деньги. Но тоть, кто самъ подвизался на томъ поприщѣ, которому потомъ долженъ помочь, кто слышалъ вопль потребности и нужды истинной, а не поддѣльной, кто терпѣль самъ и видѣлъ, какъ терпять другіе, и соскорбълъ имъ, и дълился послъдней рубашкой съ неимущимъ труженикомъ

въ то время, когда и самому нечего было тоть и не во что одтъся, какъ дълалъ это Ивановъ, тотъ – другое дъло. Тому можно смъло повърить милліонь и спать спокойно: не пропадеть даромь копейки изъ этого милліона]. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите другимъ, какъ монмъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, и особенно такимъ, которыхъ управленію ввърена какая нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могуть случиться на всёхъ поприщахъ, и все-таки не нужно допускать, чтобы они умерли съ голоду. Если случится, что одинъ, отдёлившись отъ всёхъ другихъ, займется крѣпче всѣхъ своимъ дѣломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажетъ, что это повидимому собственное его дъло будетъ нужно для всъхъ, считайте его какъ бы на службъ у людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостовъриться, нътъ ли здъсь какого обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться лѣнивый и ничего не дълающій человъкъ, слъдите за его собственною жизнію; его собственная жизнь скажеть все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, плюнуль на всъ приличія и условія свътскія, надълъ простую куртку и, отогнавши оть себя мысль не только объ удовольствіяхъ и пирушкахъ, но даже мысль завестись когда-либо женою и семействомъ или какимъ-либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно-монашескую, корпя день и ночь надъ своею работою и молясь ежеминутно, - тогда нечего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; не зачъмъ также торопить и подталкивать его -- оставьте его въ покоъ; подтолянеть его Богъ безъ васъ: ваше дъло только смотръть за тъмъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большого содержанія; давайте ему бъдное в нищенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свъта. Есть люди, которые должны въкъ остаться нищими. Нищенство

есть блаженство, котораго еще не раскусиль свёть; но кого Богь удостоиль отвёдать его сладость, и кто уже возлюбиль истинно свою нищенскую сумку, тоть не продасть ея ни за какія сокровища здёшняго міра.

1846.

XXIV.

Чѣмъ можетъ быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту, при нынѣшнемъ порядкѣ вещей въ Россіи.

Долго думалъ я, на кого изъ васъ напасть: на васъ, или на вашего мужа? Наконецъ, рѣшаюсь напасть на васъ: женщина скорѣе способна очнуться и двинуться. Положеніе васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мнѣ, не только не блаженно, но даже хуже положенія тѣхъ, которые считаютъ себя въ горѣ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъ качествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нѣтъ только того, безъ чего все это ни къ чему не послужить: нѣтъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себѣ. Въ васъ нѣтъ характера, признавая характеромъ крюпость воли. Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себѣ, женился нарочно затѣмъ, чтобы найти въ женѣ себѣ возбужденіе на всякое дѣло и подвигъ. Вы за него вышли замужъ затѣмъ, чтобы онъ былъ вашимъ возбудителемъ во всякомъ дѣлѣ жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего нѣтъ у обоихъ. Говорю вамъ: положеніе ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь

среди жизни, какъ мыло въ водъ. Всъ ваши достоинства и добрыя качества исчезнуть въ безпорядкъ дъйствій, который одинъ сдълается вашимъ харавтеромъ, и будете вы оба — олицетворенное безсиліе. Молите Бога о крппости. У Бога можно все вымолить, даже крепость, которую, какъ извъстно, никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человъкъ. Поступите только умно. Молись и къ береги гребись, говорить пословица. Произносите въ себѣ и поутру, и въ полдень, и ввечеру, и во всѣ часы дня: «Боже, собери меня всю въ самое меня и укрѣни!» и дъйствуйте въ продолжение цълаго года такъ, какъ я вамъ сейчасъ скажу, не разсуждая покуда, зачёмъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя: приходъ и расходъ чтобы былъ въ вашихъ рукахъ. Не ведите общей расходной книги, но съ самаго начала года сдълайте смъту всему впередъ, обнимите всѣ нужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ, сообразно вашему достатку, и все приведете въ круглыя суммы. Раздёлите ваши деньги на семь почти равныхъ кучъ. Въ первой кучъ будутъ деньги на квартиру, съ отопкою, водою, дооважи и всбмъ, что ни относится до ствнъ дома и чистоты двора; во второй кучъ деньги на столь и на все събстное съ жалованьемъ повару и продовольствіемъ всего, что ни живетъ въ вашемъ домѣ; въ третьей кучѣ — экипажъ: карета, кучеръ, лошади, сѣно, овесъ, словомъ — все, что относится къ этой части; въ четвертой кучъ – деньги на гардеробъ, то - есть все, что нужно для вась обонхъ затёмъ, чтобы показаться въ свъть или сидъть дома; въ пятой кучъ будуть ваши карманныя деньги; въ шестой кучъ — деньги на чрезвычайныя издержки, какія могуть встрътиться: перемъна мебели, покупка новаго экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь изъ вашихъ родственниковъ, если бы онъ возымѣлъ внезапную надобность; седьмая куча — Богу, то-есть деньги на церковь и на бъдныхъ. Сдълайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмъшанными, какъ бы семь отдъльныхъ министерствъ. Ведите расходъ каждый особо, и ни подъ какимъ предлогомъ не занимайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки и какъ бы ни соблазняли онъ васъ своею дешевизною, — не покупайте. На это можете отважиться послѣ, когда побольше укрѣпитесь; а теперь не позабывайте ни на мигь, что все это вами дблается для покупки твердаго характера, а эта покупка покамъстъ для васъ нужнѣе всякой другой покупки. И потому будьте въ этомъ случаѣ упрямы, просите Бога объ упрямствъ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бъдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредъленной на то кучъ. Если бы даже вы были свидътельницею картины несчастія, раздирающаго сердце, и видѣли бы сами, что денежная помощь можеть помочь, не смѣйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ, но потэжайте по всему городу, по встмъ вашимъ знакомымъ и старайтесь превлонить ихъ на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вамъ въ урокъ, чтобы вы помнили въчно. какъ вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному. какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться униженію и даже осмѣянію публичному, чтобы это не выходило у васъ изъ ума, чтобы вы черезъ это пріучились обръзывать себя въ расходахъ по каждой кучъ и заранъе помышлять о томъ, чтобы въ концу года оставался отъ каждой остатовъ для бъдныхъ, а не сходплись бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ годовъ своей безпрестанно, то вы никогда не заъдете безъ надобности сильной въ магазинъ и не купите себъ неожиданно какое-нибудь украшеніе

86

для камина или стола, на что такъ падки у насъ какъ дамы такъ и мужчины (послъдніе еще больше, и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будуть невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдеть, наконець, до того, что вы почувствуете сами, что вамъ не нужно имъть больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ; что званый объдъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизъ, съ прибавкою одного лишняго блюда да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сгорите отъ стыда, если пойдеть по городу слухъ, что у васъ не comme il faut, но еще посмъетесь тому сами, увърившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, какого требуеть отъ человъка Тотъ Самый, Который создалъ его, а не тотъ, который приводитъ въ систему объды, даже и не тотъ, который сочиняеть всякий день мъняюшеся этикеты, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итогъ всякой кучъ каждый мъсяпъ и пересчитывайте въ послъдній день мъсяца все вмъстъ, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобы умѣть узнавать, во сколько разъ одна нужнѣе другой, чтобы видѣть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться, въ случаѣ необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что изъ нужнаго есть самое нужнѣйшее.

Держитесь этого строго въ продолжение цълаго года, кръпитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрѣпилъ васъ, — и вы окрѣпнете непремѣнно. Важно то, чтобы въ человѣкѣ хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольно установится порядовъ и во всемъ прочемъ. Укрѣпясь въ дѣкѣ вещественнаго порядка, вы укрѣпитесь нечувствительно въ дѣлѣ душевнаго порядка. Распредѣлите ваше время; положите всему непремѣнные часы. Не оставайтесь поутру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его департаменть, ежеминутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дълу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вась, а не на немъ), что онъ женился именно затъмъ, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизиъ, и жена дана ему не на помъху службъ, а въ укръпление его на службъ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщѣ, и черезъ то встрѣтились бы весело передъ объдомъ и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ бы итсколько лъть не видались, чтобы вамъ было что пересказать другъ другу и не попотчеваль бы одинь другого зъвотою: разскажите ему все, что вы дъдали въ вашемъ домъ и домашнемъ хозяйствъ, и пусть онъ разскажеть вамъ все, что производных въ департаментъ своемъ для общаго хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и въ чемъ состоить его часть, и какія дёла случилось ему вершить въ тоть день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и помните, что жена должна быть помощницею мужа. Если только въ течение одного года вы будете внимательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совъть, будете знать, какъ ободрить его при встръчъ съ какою-нибудь непріятностію по службѣ, будете знать, какъ заставить его перенести и вытерпъть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что я вамъ теперь сказалъ. Крѣпитесь, молитесь и просите Бога безпрерывно, да поможетъ вамъ собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все у насъ теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ; обратилъ самъ себя въ подлое подножіе всего и въ раба самыхъ пустъйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нътъ теперь нигдъ свободы въ ея истинномъ смыслъ. Эту свободу одинъ мой пріятель, который съ вами лично не знакомъ, но котораго, однакоже, знаетъ вся Россія, опредъляетъ такъ: «Свобода не въ томъ, чтобы говорить произволу своихъ желаній: да, но въ томъ, чтобы умъть сказать имъ: июто». Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь въ Россія не умъетъ сказать самому себъ этого твердаго иютъ. Нигдъ я не вижу мужа. Пусть же безсильная женщина ему о томъ напомнитъ! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повелъть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель.

1845.

XXV.

Сельскій судъ и расправа.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ М.

Никаќъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревнѣ: эта часть важнѣе самаго хозяйства. Судите сами. Этимъ однимъ вы укрѣпите связь помѣщика съ крестьянами. Судь Божье дѣло, и я не знаю, что можетъ быть этого выше. Недаромъ такъ чествуется въ народѣ тотъ, кто умѣетъ произносить правый судъ: Къ вамъ повалитъ не только ваша деревня, но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что вы умѣете давать расправу. Не пренебрегайте никѣмъ изъ приходящихъ и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ или дракѣ. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдетъ въ добро его душѣ, и чего бы вы никакъ не нашлись сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицѣпиться.

Судите всякаго человъка двойнымъ судомъ и всякому дълу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человъческій: на немъ оправдайте праваго и осудите виновнаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидътеляхъ, чтобы туть стояли и другіе мужики, чтобы всѣ видѣли ясно, какъ день, чъмъ одинъ правъ и чъмъ другой виновать. Другой же судъ сдъдайте Божескій: и на немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидълъ, а второму-какъ онъ вдвойнъ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачъмъ не простилъ своему брату, какъ повелълъ Христосъ; а другого попрекните, зачъмъ онъ обидълъ Самого Христа въ своемъ братъ; а обонмъ вмъстъ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповъдаться непремънно попу на исповъди во всемъ. [Если такой судъ вы будете произносить, вы будете сами полномочны, какъ Богъ, потому что Богъ васъ уполномочитъ]. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямыхъ и правыхъ познаній. Если бы многіе изъ государственныхъ людей начинали свое поприще не бумажными занятіями, а умной расправой дёль между простыми людьми, они бы лучше узнали духъ земли, свойство народа и вообще душу человѣка, и не заимствовали бы потомъ изъ чужеземныхъ земель намъ неприличныхъ нововведеній). Правосудіе у насъ могло бы исполняться лучше. нежели во всёхъ другихъ государствахъ, потому что изъ всёхъ народовъ только въ одномъ русскомъ заронилась эта върная мысль, что нътъ человъка праваго, и что правъ одинъ только Богь. Эта мысль, какъ непреложное

88

върованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народъ Вооруженный ею, даже простой и неумный человъкъ получаетъ въ народъ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдъ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дълъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то-есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повъсти Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика разсудить городового солдата съ бабою, подравшихся въ банъ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: «Разбери, кто правъ, кто виновать, да обоихъ и накажи».

1845.

XXVI.

Страхи и ужасы Россіи.

письмо къ графинъой.

На ваше длинное письмо, которое вы писали съ такимъ страхомъ, которое просили сей же часъ истребить послъ прочтения и на которое отвъчать просили не иначе, какъ чрезъ върныя руки, и отнюдь не по почтъ, я отвъчаю не только не по секрету, но, какъ вы видите, въ печатной книгъ, которую, можеть-быть, прочтеть половина грамотной Россіи. Побудило меня въ тому то, что, можеть-быть, мое письмо послужить въ то же время отвётомъ и прочимъ, которые, подобно вамъ, смущаются тъми же страхами. То, что вы мнъ объявляете по секрету, есть еще не болье, какъ одна часть всего дъла; а вотъ если бы я вамъ разсказадъ то, что я знаю (а знаю я, безъ всякаго сомнѣнія, далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, какъ бы убъжать изъ Россіи. Но куда бъжать? воть вопросъ. Европъ пришлось еще труднъе, нежели Россіи. Разница въ томъ, что тамъ ниято еще этого вполнъ не видитъ. Все, не выключая даже государственныхъ людей, пребываеть покуда на верхушкъ верхнихъ свъдъній, то-есть пребываеть въ томъ заколдованномъ кругъ познаній, который нанесенъ журналами въ видъ скороспълыхъ выводовъ, опрометчивыхъ показаній, выставленныхъ, сквозь лживыя призмы всякихъ партій, вовсе не въ томъ свътъ, въ какомъ они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такіе крики, именно въ тъхъ съ виду благоустроенныхъ государствахъ, которыхъ наружнымъ блескомъ мы такъ восхищаемся, стремясь отъ нихъ все перенимать и приспособлять въ себъ, что завружится голова у самыхъ тъхъ знаменитыхъ государственныхъ людей, которыми вы такъ любовались въ палатахъ и камерахъ. Въ Европъ завариваются теперь повсюду такія сумятицы, что не поможетъ никакое человъческое средство, когда онъ вскроются, и передъ ними будетъ ничтожная вещь тъ страхи, которые вамъ видятся теперь въ Россіи. Въ Россіи еще брежжеть свъть, есть еще пути и дороги къ спасенью, и слава. Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «всъ падають духомъ, какъ бы въ ожидании чего-то неизбъжнаго», равно какъ и слова: «каждый думаеть только о спасения личныхъ выгодъ, о сохранении собственной пользы, точно, какъ на полѣ сражения послѣ потерянной битвы всякій думаеть только о спасеніи жизни: sauve qui peut», дъйствительно справедливы; такъ оно теперь дъйствительно есть; такъ быть должно: такъ повелълъ Богъ, чтобъ оно было. Всякъ долженъ подумать теперь о себѣ, именно о своемъ собственномъ спасеніи. Но насталъ другой

ропъ спасенья. Не бъжать на кораблъ изъ земли своей, спасая свое презрънное земное имущество; но, спасая свою душу, не выходя вонъ изъ государства, долженъ всякъ изъ насъ спасать себя самого въ самомъ сердцъ государства. На кораблѣ своей должности, службы долженъ теперь всякъ изъ насъ выноситься изъ омута, глядя на Кормщика Небеснаго. Кто даже и не въ службъ, тотъ долженъ теперь вступить на службу и ухватиться за свою должность, какъ утопающій хватается за доску, безъ чего не спастись никому. Служить же теперь долженъ изъ насъ всякъ не такъ, какъ бы служилъ онъ въ прежней Россія, но въ другомъ небесномъ государствъ, главой котораго уже Самъ Христосъ, а потому и всъ свои отношенія ко власти ли, высшей надъ нами, къ людямъ ли, равнымъ и кружащимся вокругъ насъ, къ тъмъ ли, которые насъ ниже и находятся подъ нами, должны мы выполнить такъ, какъ повелълъ Христосъ, а не кто другой. И ужъ нечего теперь глядъть на какіе-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься, отъ кого бы то ни было, пашему честолюбію или самолюбію, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому и должна быть выполнена такъ, какъ повелълъ Христосъ, а не кто другой. Только однимъ этимъ средствомъ и можеть всякь изъ насъ теперь спастись. И плохо будеть тому, кто объ этомъ не помыслить теперь же. Помутится умъ его, омрачатся мысли, и не найдеть онъ угла, куда скрыться оть своихъ страховъ. Вспомните Египетскія темы, которыя съ такой силой передаль царь Соломонь, когда Господь, желая наказать однихъ, наслалъ на нихъ невъдомые, непонятные страхи и тьмы. Слёпая ночь обняла ихъ вдругь среди бѣла дня; со всёхъ сторонъ уставились на нихъ ужасающіе образы; дряхлыя страшилища съ печальными лицами стали неотразимо въ глазахъ ихъ; безъ желѣзныхъ цѣпей сковала ихъ всъхъ боязнь и лишила всего: всъ чувства, всъ побужденія, всъ силы въ нихъ ногибнули, кромѣ одного страха. И произошло это только въ тѣхъ, которыхъ наказалъ Господь; другіе въ то же время не видали никакихъ ужасовъ: для нихъ былъ день и свътъ.

Смотрите же, чтобы не случилось съ вами чего-нибудь подобнаго. Лучше молитесь и просите Бога о томъ, чтобы вразумилъ васъ, какъ быть вамъ на вашемъ собственномъ мъстъ и на немъ исполнить все, сообразно съ закономъ Христа. Дѣло идеть теперь не на шутку. Прежде чѣмъ приходить въ смущенье отъ окружающихъ безпорядковъ, не дурно заглянуть всякому изъ насъ въ свою собственную душу. Загляните также и вы въ свою. Богъ въсть, можеть быть, тамъ увидите такой же безпорядовъ, за который браните другихъ, можетъ-быть, тамъ обятаетъ растрепанный, неопрятный гнъвъ, способный всякую минуту овладъть вашею душою, на радость врагу Христа; можеть-быть, тамъ поселилась малодушная способность падать на всякомъ шагу въ уныніе — жалкая дочь безвърья въ Бога; можетъ-быть, тамъ еще таится тщеславное желанье гоняться за тымь, что блестить и пользуется извъстностью свътской; можеть-быть, тамъ обитаетъ гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить въ ничто все добро, какое имъемъ. Богъ въсть, что можетъ быть въ душъ нашей. Лучше въ нъсколько разъ больше смутиться оттого, что внутри насъ самихъ, нежели оттого, что внъ и вокругъ насъ. Что же касается до страховъ и ужасовъ въ Россіи, то они не безъ пользы: посреди ихъ многіе воспитались такимъ воспитаньемъ, котораго не дадутъ никакія школы. Самая затруднительность обстоятельствъ, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшія способности многихъ, и въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрывають преферансь, уже незримо образовываются на разныхъ

выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями.

поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дъла. Еще пройдетъ десятокъ лътъ. и вы увидите, что Европа прібдеть къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продають больше на европейскихъ рынкахъ. Я бы вамъ назвалъ многихъ такихъ, которые составятъ когда-нибудь красоту земли Русской и принесуть ей въковъчное добро; но къ чести вашего пола я долженъ сказать, что женщинъ еще больше. Цълое жемчужное ожерелье ихъ хранитъ моя память. Всъ онъ, начиная съ вашихъ дочерей, которыя такъ живо напомнили мнѣ, во сколько разъ родство по душѣ выше всякаго вровнаго родства (дай Богъ, чтобъ наилучшая сестра съ такой готовностью исполняла просьбу своего брата, съ какою онъ исполняли малъйшее желаніе души моей), — начиная съ нихъ и продолжая тёми. О которыхъ вы даже едва слышали, и оканчивая тёми, о которыхъ вы, можетъ-быть, и не услышите никогда, но которыя совершените встать ттать, о коихъ вы слышали. Всъ онъ не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себъ явленье необыкновенное. Только одна Россія могла произвести подобное разнообразіе характеровь, и только въ нынъшнее время трупныхъ обстоятельствъ. разслабленья и развращенья общаго, повсемъстной ничтожности общества могли онъ образоваться. Но всъхъ перевысила одна, которую я и въ глаза не знаю, и о которой до меня достигнулъ одинъ только темный разсказъ. Не думаль я, чтобы могло существовать на земль подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дбло и произвести его такъ, какъ умбла сдълать она, --- сдълать такъ, чтобы отклонить отъ себя и подозрънье въ ея собственномъ участіи и разложить весь подвигь на другихъ такимъ образомъ, что эти другіе стали хвастаться ею сдѣланнымъ дѣломъ, какъ бы собственнымъ своимъ, въ полной увъренности, что они его сдълали; такъ умно обдумать уже впередь, какъ убъжать отъ извъстности, тогда какъ само дъло уже необходимо должно бы кричать о себт и обнаружить ее, успъть въ этомъ и остаться въ неизвъстности — нътъ, подобной мудрости еще не встръчалъ я ни въ комъ изъ нашей братьи мужеска пола! И передо мною показались въ ту минуту блёдными всё женскіе идеалы, создаваемые поэтами: они то же передъ этой истиной, что бредъ воображенья передъ полнымъ разумомъ. Жалки мнъ также показались въ эту минуту всъ тъ женщины, которыя гонятся за блистающей извъстностью. И гдъ же явилось такое чудо? Въ незамътномъ захолустъъ Россіи, въ то время именно, когда стало труднъй изворачиваться человъку, когда запутались обстоятельства всяхъ, и наступили пугающие васъ страхи и ужасы России.

1846.

XXVII.

Близорукому пріятелю.

Вооружился взглядомъ современной близорукости и думаешь, что върно судишь о событіяхъ! Выводы твои—гниль: они сдѣланы безъ Бога. Что ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва — только закрытая книга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъ выводовъ; выведешь одни только ничтожные и мелкіе. [Россія не Франція; элементы французскіе — не русскіе]. Ты позабылъ даже своеобразность каждаго народа и думаешь, что одни и тѣ же событія могутъ дѣйствовать одинакимъ образомъ на каждый народъ. Тотъ же самый молотъ, когда упадаетъ на стекло, раздробляетъ его вдребезги, а когда упадаеть на желѣзо, куетъ его. Мысли твои [о финансахъ]

91

основаны на чтеніи иностранныхъ книгъ да на англійскихъ журналахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебъ, будучи умнымъ человъкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могъ бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проектахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, несмотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствовалъ въ твоихъ пысляхъ въ то время, когда ты писалъ его; не вижу я на твоей мысли освященія небеснаго. Нізть, не сділаешь ты добра (на своей должности), хотя и желаешь того; не принесуть твои дъла того плода, котораго ждешь. Съ прекрасными намбреніями можно слъдать здо, какъ уже многіе и слъдади его. Въ послъднее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадъялись на свои силы да на умъ свой. Ты гордь, и чёмъ же гордъ? хоть бы уже своимъ умомъ; нётъ, ты загромоздиль соромь свой умь, действительно замечательный и великій, и сделаль его чужестранцемъ самому себъ. Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ и выдаешь его за свой. Смотри за собою: ты ходишь опасно. Ты изтишь въ государственные люди, и будешь человъкомъ государственнымъ, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тъмъ строже теперь смотри за собою. Не заводи этихъ улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова [еще прежде, чъмъ ты вступилъ въ свою должность], и помни, что всякимъ малъйщимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно произвести теперь большое зло. Уже и въ твоихъ нынъшнихъ проектахъ видна скоръе боязнь, нежели предусмотрительность. Всъ мысли твои направлены къ тому, чтобы избъгнуть чего-то угрожающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велить намъ заботиться Богь. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, оръ того, значить, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядитъ свътло впередъ и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ: ты и теперь уже ничего не хочешь видъть; ты самоувъренъ: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всъ обстоятельства [Россіи] тебѣ открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не можеть; ты стремишься изо всъхъ силъ быть похожимъ на тъхъ [государственныхъ] людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имћан въ себћ все для того, чтобы сдћлать множества добра, которые даже пламенъли желаніемъ сдълать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послѣ нихъ никакого слѣда. и самая память о нихъ позабыта: какъ исчезнувшій кругъ на водѣ, исчезнула жизнь ихъ посреди Россіи. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указывають намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умнъе бывають у насъ иногда и невеликіе люди; но ть хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи дѣлъ — и всѣ, какъ пыль, сметаются они съ земли вытесть съ нами. «Ты гордъ» - говорю тебъ, и вновь повторяю тебъ: «ты гордъ»; сторожи нать собою и спасай себя отъ гордости заранъе. Начни съ того, что увърь самого себя, что ты всъхъ глупће и что съ этихъ только поръ слъдуетъ серьезно поумнъть тебъ, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякаго дъльца, какъ бы ровно ничего не зналь и всему отъ него хотълъ поучиться. Но тебъ еще загадка слова мон; они на тебя не подъйствуютъ. Тебъ нужно или какое-нибудь несчастіе, или потрясение. Моли Бога о томъ, чтобы случилось это потрясение, чтобы встрътилась тебъ какая нибудь невыносимъйшая непріятность (на службъ), чтобы нашелся такой человъкъ, который сильно оскорбилъ бы тебя и опозорилъ такъ въ виду всѣхъ, что отъ стыда не зналъ бы ты, куда сокрыться,

выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями.

разорваль бы однимь разомь всё чувствительнёйшія струны твоего самолюбія. Онь будеть твой истинный брать и избавитель. О, какь намь бываеть нужна публичная, данная въ виду всёхъ, оплеуха!

1844.

XXVIII.

Занимающему важное мѣсто.

Во имя Бога берите всякую должность, какая бъ ни была вамъ предложена, и не смущайтесь ничъмъ. Придется ди вамъ ъхать въ черкесамъ на Кавказъ или попрежнему занять мѣсто генералъ-губернатора — вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которыхъ вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; вездѣ много работы. Чѣмъ больше вхожу умомъ въ существо нынъшнихъ вещей, тъмъ менъе могу ръшить, какая должность теперь труднъй и какая дегче. Пля того, кто нехристіанинъ, все стало теперь трудно; для того же, кто внесъ Христа во всъ дъла и во всъ дъйствія своей жизни, все легко. Не скажу вань, чтобы вы сдълались вполнъ христіаниномъ, но вы близки къ тому. Васъ не шевелить уже честолюбіе, вась не завлекають впередь уже ни чины, ни награды; вы уже вовсе не думаете о томъ, чтобы порисоваться передъ Европой и сдълать изъ себя историческое лицо. Словомъ — вы взошли именно на ту степень состоянья душевнаго, на которой нужно быть тому, кто захотъль бы сдълать теперь пользу Россіи. Чего жъ вамъ бояться? Я даже не понимаю, какъ можетъ чего-либо бояться тоть, кто уже постигнуль, что нужно дъйствовать повсюду, какъ христіанинъ. Онъ на всякомъ мъстъ мудрецъ, вездъ знатель дъла. Поъдете вы на Кавказъ — вы прежде всего пристально осмотритесь. Христіанское смиреніе васъ не допустить ни къ какой быстрой поспѣшности. Вы, какъ ученикъ, сначала будете узнаватъ. Вы не пропустите ни одного стараго офицера, не разспросивъ о его собственноличныхъ схваткахъ съ непріятелемъ, зная, что только изъ знанія подробностей выводится знаніе цълаго. Вы заставите всбхъ разсказать себъ порознь всъ подвиги бранной и бивачной жизни; разспросите и циціановцевъ, и ермоловцевъ, и офицеровъ нынъшней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете всъ частности, соедините всъ отдъльныя цифры и подведете имъ итогъ – выйдетъ въ итогъ самъ собою планъ полководцу: не нужно будеть и головы ломать, ясно будеть все, какъ день, что вамъ нужно дълать. И когда весь планъ будетъ уже въ головъ вашей, вы и тогда не будете торопиться, христіанское смиреніе вась къ тому не допуститъ. Не объявляя его никому, вы разспросите всякаго замъчательнаго офицера, какъ бы онъ поступилъ на вашемъ мъстъ; вы не оставите неуслышаннымъ ни одного мнёнія, ни даже совъта оть кого бы то ни было, хотя бы отъ стоящаго на низкомъ мъстъ, зная, что иногда Богъ можетъ внушить и простому человъку умное мнѣніе. Для этого вы не станете собирать военныхъ совѣтовъ, зная, что не въ преньяхъ и спорахъ дѣло, но поодиночкъ выслушаете каждаго, кто бы ни захотълъ съ вами говорить. Словомъ, вы всѣхъ выслушаете, но сдѣлаете такъ, какъ повелить вамъ ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелить вамъ разумно, потому что всѣхъ выслушаетъ. Вы будете даже не въ состояніи сдѣлать неразумное дбло, потому что неразумныя дбла дблаются отъ гордости и увъренности въ себъ. Но христіанское смиреніе спасеть васъ повсюду и отгонить то самоослъпленіе, которое находить на многихъ даже очень умныхъ людей,

которые, узнавши только одну половину дъла, уже думають, что узнали все, и летять опрометью дъйствовать; тогда какъ, увы, даже и въ томъ дълъ, которое, повидимому, насквозь намъ извъстно, можетъ скрываться цълая половина неизвъстная. Нътъ, Богъ отъ васъ отгонить это грубое ослъпление. Чего жъ вамъ бояться Кавказа?

Придется ли вамъ попрежнему быть генераль-губернаторомъ гдъ-нибудь внутри Россіи — та же христіанская мудрость осѣнить васъ. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри Россіи, — гораздо труднѣе, чѣмъ когдалибо прежде и, можетъ-быть, труднъе, чъмъ на Кавказъ: много злоупотребленій; завелись такія лихоимства, которыхъ истребить нѣтъ никакихъ средствъ человъческихъ. Знаю и то, что образовался пругой незаконный ходъ дъйствій мимо законовъ государства, и уже обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально въ то самое, на что другіе глядять поверхностно, не подозръвая ничего, то закружится голова у наиумнъйшаго человъка. Но вы и тутъ поступите умно. Христіанское смиреніе заставить вась и здъсь не предаваться покуда выводамъ гордаго ума, но терпъливо обсмотръться. Зная, подъ какимъ множествомъ постороннихъ вліяній находится теперь всякъ человѣкъ, и какъ всѣ они имѣють соприкосновеніе съ отправленіемъ его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждаго изъ занимающихъ главныя должности, узнать его со встхъ сторонъ, съ его домашней и семейной жизнью, съ его образомъ мыслей, наплонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпіоновъ. Нѣтъ, вы разспросите его самого. Онъ вамъ скажетъ все и съ вами разговорится, потому что въ лицѣ вашемъ есть уже что-то такое, что внушаеть къ вамъ довърчивость во всъхъ; съ помощью этого вы узнаете то, чего не узнаеть никогда крикунъ-нахрапъ, или такъ-называемый распекатель. Вы не будете преслъдовать за несправедливость никого отдъльно до тъхъ поръ, покуда не выступитъ передъ вами ясно вся цъпь, необходимымъ звеномъ которой есть вами замъченный чиновникъ. Вы уже знаете, что вина такъ теперь разложилась на всёхъ, что никакимъ образомъ нельзя сказать вначаль, кто виновать болье другихь: есть безвинно-виноватые и виновноневинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожнъй и осмотрительнъй, чъмъ когда либо прежде. Вы станете покръпче всматриваться въ душу человъка, зная, что въ ней ключъ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а безъ того не сдѣлать ничего. А узнавать душу можеть одинъ только тоть, кто началь уже работать надъ собственной душой своей, какъ начали это пълать теперь вы. Если вы узнаете плута не только какъ плута, но и какъ человъка виъстъ, если вы узнаете всъ душевныя его силы, данныя ему на добро и которыя онъ поворотилъ во зло или вовсе не употребилъ, тогда вы сумѣете такъ попрекнуть его имъ же самимъ, что онъ не найдетъ себѣ мъста, куда ему укрыться оть самого же себя. Дъло вдругь приметь другой обороть, если покажешь человъку, чъмъ онъ виновать передъ самимъ собой, а не передъ другимъ. Тутъ потрясешь такъ его всего, что въ немъ явится вдругъ отвага быть другимъ, и тогда только вы почувствуете, какъ благородна наша русская порода, даже и въ плутъ. Ваше нынъшнее генералъ-губернаторство будеть совсѣмъ другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежняго управленія (которое, однакожъ, принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите) состояла, по моему мнѣнію, именно въ томъ, что вы не вполнъ върно опредълили себъ существо этой должности. Вы приняли генераль-губернатора за постояннаго начальника и хозяйственнаго правителя губерніи, котораго благодѣтельное вліяніе можеть быть ощутительно

въ губернія только оть долговременнаго его пребыванія на одномъ мъстъ. Опинъ государственный нашъ мужъ опредълилъ такъ эту должность: «генераль-губернаторь есть министрь внутреннихъ дёль, остановившійся на дорогѣ». Опредъленье это точнъй и болъе согласно съ тъмъ, чего требуеть само правительство отъ этой должности. Должность эта болбе временная, чъмъ постоянная. Генераль-губернаторь посылается затёмь, чтобы ускорить біеніе государственнаго пульса внутри губерніи, привести въ быстръйшее движеніе все правительственное производство въ губернскихъ мъстахъ, какъ связанныхъ между собою, такъ и независимыхъ, состоящихъ подъ управлениемъ отдѣльныхъ министерствъ, дать толчокъ всему, своимъ полномочіемъ облегчить затруднительность многихъ мѣсть въ ихъ сношеніяхъ съ отдаленными министерствами, не внося никакихъ новыхъ элементовъ и ничего не заводя отъ себя, все заставить обращаться быстръй въ законахъ и границахъ, уже указанныхъ и опредъленныхъ. Власть эту, состоящую въ верховномъ блюдения надъ тѣмъ, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который самъ долженъ изворачиваться въ хозяйствѣ и принять на себя всъ мелочные расходы; вы захватили себъ часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генераль-губернатору, и этимъ самымъ уменьшили значение высшей вашей полжности. Вы сочли ваше мъсто пожизненнымъ, вы захотъли вашими собственными учрежденіями оставить по себъ памятникъ вашего пребыванія, — стремленіе прекрасное, но если бъ вы уже тогда были тъмъ, чъмъ вы есть теперь, то-есть болье христіаниномъ, вы позаботились бы о другомъ памятникъ. Устроить дороги, мосты и всякія сообщенія, и устроить ихъ такъ умно, какъ устроили ихъ вы, есть дѣло истинно нужное; но угладить многія внутреннія дороги, которыя до -сихъ поръ задерживають русскаго человъка въ стремленьи въ полному развитію силь его и которыя мъшають ему пользоваться какъ дорогами, такъ и всявими другими внъшностями образованія, о которыхъ мы такъ усердно хлопочемъ, есть дъло еще нужнъйшее. Пушкинъ, когда видълъ заботу не о главномъ, но о томъ, что уже исходитъ изъ главнаго, обыкновенно выражался пословицей: «было бы ворыто, а свиньи будуть». Мосты, дороги и всъ эти сообщения суть свиньи, а не что-либо другое: были бы города, а они сами собой прибъгутъ. Въ Европъ о нихъ не много хлопотали, но какъ только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели ихъ безъ всякаго пособія правительствъ, и теперь развилось ихъ такое множество, что стали уже серьезно задавать другь другу вопросы: — «Зачъмъ эта скорость сообщений? Что выиграло человъчество чрезъ эти желъзныя и всякія дороги, что пріобрѣло оно во всѣхъ родахъ своего развитія, и что пользы въ томъ, что одинъ городъ теперь объднълъ, а другой сдълался толкучимъ рынкомъ, да увеличилось число праздношатающихся по всему міру?» Въ Россіи давно бы уже завелась вся эта дрянь сама собою, съ такими удобствами, какихъ и въ Европъ нъть, если бы только многіе изъ насъ позаботились прежде о дълъ внутреннемъ такъ, какъ слъдуетъ. «О семъ помыслите прежде, — сказалъ Спаситель, — а сія вся вамъ приложится». Ваши подвиги въ отношении нравственномъ были гораздо значительнъй. Кого я ни слышаль, всё отзываются съ уваженьемъ о вашихъ распоряженіяхъ; всё говорять, что вы искоренили многія неправды, что постановили многихъ истинно-благородныхъ и прекрасныхъ чиновниковъ. Я это узналъ, хотя вы по скромности мит не сказали. Но вы бы сдълали еще болте, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время, и что не о томъ слъдовало заботиться, чтобъ только при васъ все было хорошо, но именно о томъ, чтобы послъ

95

васъ все было хорошо. Вы должны были безпрестанно представлять себѣ, что послѣ васъ приметъ эту должность слабый и бездарный послѣдователь, который не только не поддержить вами заведеннаго порядка, но еще испортить его, а потому уже съ самаго начала вы должны были помышлять о томъ, чтобы дѣйствовать такъ прочно и закалить сдѣланное такъ крѣпко, чтобы послѣ васъ никто уже не могъ своротить того, что разъ направлено. Вы должны были рубить здо въ корнѣ, а не въ вѣтвяхъ, и дать такой толчокъ всеобщему движенью всего, чтобы послѣ васъ пошла сама собой работать машина, такъ, чтобы не зачѣмъ было надъ ней стоять и надсмотрщику, и симъ только воздвигнули бы памятникъ вѣчный вашего генералъ-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсѣмъ поступите иначе, а потому не пренебрегайте никакъ этой должности, если бъ она была вамъ вновь предложена. Никогда не былъ еще такъ важенъ и нуженъ генералъ-губернаторъ, какъ въ нынѣшнее время. Я вамъ назову уже нѣсколько подвиговъ такихъ, которыхъ никто теперь не можетъ сдѣлать, кромѣ генералъ-губернатора.

Во-первыхъ, ввести всякую должность въ ея законныя границы и всякаго чиновника губернии въ полное познание его должности. Это дъдо очень не бездъльное. Въ послъднее время всъ почти губернскія должности нечувствительнымъ образомъ выступили изъ предъловъ и границь, указанныхъ закономъ. Однѣ слишкомъ стали обрѣзаны и стѣснены, другія раздвинулись въ дъйствіяхъ въ ущербъ прочимъ: прямыя мъста обезсильли и ослабъли отъ введенія множества косвенныхъ и временныхъ. Въ послѣднее время стали особенно чувствоваться полномочіе и развязанныя руки тамъ, гдѣ нужно препятствовать въ дъйствіяхъ, и связанныя руки тамъ, гдъ нужно споспъшествовать имъ. Возвратить всякую должность въ ся законный кругъ тъмъ болѣе стало теперь трудно, что сами чиновники сбились въ своихъ понятіяхъ о ней. Нолучая ее по насябдству отъ предшественника въ томъ видъ, какой даль ей послъдній, они всъ соображаются болье или менье съ этимъ видомъ. а не съ первообразомъ ея, который уже почти вышель у всъхъ изъ головы. Оть этого многіе благонамъренные и даже весьма умные начальники хотъли уже уничтожить или вовсе преобразовать ть должности, которыя слъдовало только просто возвратить себъ. Дъло это можетъ произвести только высшій и полномочный начальникъ, если онъ не пренебрежетъ вникнуть самъ въ существо всякой должности. Всъ наши должности въ ихъ первообразъ прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Разсмотримъ нарочно организмъ губерни.

Первое лицо — губернаторъ; онъ является въ нѣсколькихъ видахъ своей власти. Онъ начальникъ и правитель полномочный во всемъ, что ни относится до хозяйственнаго и полицейскаго управленія по всей губерніи, какъ городового (разумъя здъсь все, что ни относится ко внутреннему устройству городовъ и содержанью среди ихъ порядка), такъ и земскаго, включая сюда все, что производится въ земляхъ внъ городовъ: взъемъ податей, распредъленье повинностей, устройство дорогь, постройки и поправки всѣхъ родовъ. Въ первомъ случаѣ въ его полномъ и непосредственномъ распоряжении губернский полицмейстерь и городничие всъхъ городовъ; во второмъ случаъ — капитанъ-исправники и земскіе засъдатели, которые относятся къ нему посредствомъ губернскаго правленія, образованнаго въ духѣ коллегіальныхъ правленій съ совътниками, а не въ видъ собственной канцеляріи съ секретаремъ, такъ что отвѣтственность во всякомъ важномъ злоупотребленьи, если бы его сдълалъ губернаторъ, падаетъ непремънно на совътниковъ и чиновниковъ, и при всемъ подномочьи своемъ онъ уже ограниченъ. Онъ болѣе нежели присутственный членъ и свидѣтель дѣловыхъ производствъ

ВЪ другихъ присутственныхъ мъстахъ, отъ него вовсе не зависящихъ и состоящихъ подъ управлениемъ своихъ особыхъ министерствъ; если только эти мъста совершаютъ какія-нибудъ сдѣлки и условія, относительно ли отдачи внаймы или на откупа казенныхъ земель, озеръ, или вообще относительно всякихъ продажъ, закупокъ и совершенія на нихъ условій, онъ долженъ быть уже тамъ. Никакіе казенные подряды и сдѣлки не могутъ быть произведены безъ его личнаго присутствія. Такимъ образомъ, мѣста, вовсе отъ него не зависящія относительно внутреннихъ своихъ производствъ, уже обрѣзаны его присутствіемъ на всѣхъ путяхъ въ злоупотребленіямъ.

Весь снарядь юстицій, какъ-то: всё суды уёздные, такъ и высшая ихъ инстанція — гражданская палата, находясь въ полномъ завёдываніи своего министерства, кажется, въ независимости отъ губернатора, но на всёхъ путяхъ несправедливостей они ограничены на всякомъ шагу губернаторомъ, который во время объёздовъ своихъ по всей губерніи, случающихся не менте двухъ разъ въ годъ, имъетъ право, заглянувши въ судъ, потребовать на выдержку два-три рёшенныя дёла, провёрить ихъ у себя на дому, вмъстъ съ секретаремъ своимъ, и такимъ образомъ держать въ страхъ ихъ всѣхъ. Словомъ — не имъя никакого начальства надъ мъстами, зависящими отъ другихъ начальниковъ, онъ имъетъ право остановить злоупотребленье повсюду, гдѣ бы оно ни было.

На дворянъ онъ можетъ имъть только вліяніе нравственное. Въ обрядъ же полжностныхъ его соприкосновений съ дворянствомъ устроено такъ, чтобы онъ имълъ съ ними дъло въ лицъ ихъ же представителя, губерискаго предводителя, и такимъ образомъ посредствомъ его одного подадить съ ними со встми: и здъсь видна особешно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься съ ними со встями и дадить, принимая въ соображение то различие воспитаний, правовъ, образовъ мыслей и то безчисленное разнообразие характеровъ, какого не представляетъ ни одно изъ европейскихъ дворянствъ и которое заключилось только въ нашемъ. Званіе предводителя дворянства, будучи почти равное чиномъ званію губернатора, имъя право на первое мъсто послъ него въ губернии, уже симъ самымъ указываеть имъ на необходимость быть друзьями, иначе имъ обоимъ быдо бы неловко въ отношеніяхъ свътскихъ и непросторно на поприцѣ должностномъ. Самыя мъста капитанъ-исправника и засъдателей, которые, будучи избираемы дворянствомъ, находятся потомъ въ полной зависимости отъ губернатора, указывають на необходимость взаимнаго подкръпленья одного въ другомъ. Грозя именемъ губернатора, предводитель можеть много сдълать тамъ, гдъ не хватить собственной власти; равно, какъ и губернаторъ посредствомъ предводителя можеть успѣшнѣе и сильнѣе дѣйствовать на дворянъ.

Всюду могуть случиться просмотры, неправда можеть проскользнуть вездѣ; за самимъ губернаторомъ могуть завестись грѣхи. И это предусмотрѣно: есть отдѣльное лицо, отъ всѣхъ независимое, долженствующее держать себя отъ всѣхъ въ сторонѣ, даже и отъ самого губернатора, — это прокуроръ, который есть око закона, безъ котораго ни одна бумага не можетъ выйти изъ губерніи. Ни одно производство дѣлъ по всѣмъ губернскимъ мѣстамъ не можетъ его миноватъ. Оно не рѣшено, если онъ не помѣтилъ на всѣхъ его страницахъ свое слово: «читалъ». Никому не подлежитъ онъ самъ во всей губерніи: никому не даетъ отчета, кромѣ министра юстиціи, съ которымъ однимъ только въ прямомъ сношеніи, и всегда можетъ подать протестъ на все, что ни вершится въ губерніи.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

7

Словомъ — все полно и вездѣ слышна законодательная муность, какъ въ установлении самихъ властей, такъ и въ соприкосновеньяхъ ихъ между собою. Я уже и не говорю о тъхъ учрежденіяхъ, гдъ еще далъе простерлось правительственное предвидёнье, упомяну только о Совёстномъ Суде, подобнаго которому не знаю въ другихъ государствахъ. По моему мнѣнію, это верхъ человъколюбія, мудрости и познанія душевнаго. Всъ тъ случан, гдъ тяжело и жестоко прикосновение закона; всъ дъла, относящияся до малолътнихъ, умалишенныхъ; все, что можеть рышить одна только совъсть человъка, и гат можеть быть несправедливь справедливъйший законъ; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво въ высокомъ христіанскомъ смыслѣ. безь проволочекь по высшимъ инстанціямъ, — есть уже его предметь. И какъ умно, что выборь совъстнаго судьи зависить оть дворянства, которое избираеть обыкновенно на это мъсто того, на кого падаеть всеобщій годось, какъ на человъколюбиваго и безкорыстиъйшаго человъка. Какъ хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никакихъ наградъ, и что нътъ здъсь никакой мірской приманки человъку. Одно время мнѣ очень желалось занять это мёсто. Какъ много можно ръшить на немъ запутаннъйшихъ спорныхъ дълъ! Сами тяжущіеся мимо собственныхъ выгодъ своихъ перенесуть дело въ Совестный Судъ, какъ только пронесется слухъ, что судья судить истинно по совъсти и уже прославился мудростью своего божескаго суда. Кому изъ насъ не хочется примириться?

Однимъ словомъ, чъмъ больше всматриваешься въ организмъ управленія губернія, тёмь болёе изумляешься мудрости учредителей: слышно, что самь Богъ строилъ незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно такъ, чтобы споспъшествовать въ добрыхъ дъйствіяхъ, подавая руку другъ другу, и останавливать только на пути къ злоупотребленіямъ. Я даже и придумать не могу, для чего туть нуженъ какой-нибудь прибавочный чиновникъ; всякое новое лицо тутъ не у мъста, всякое нововведение --- ненужная вставка; а межну тъмъ, нашаись же такіе правители губерній, какъ вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разныхъ чиновниковъ по особынъ порученіянъ, множество всякихъ временныхъ и слёдственныхъ комитетовъ, разложили и раздробили дъйствія всякой должности и сбили чиновниковъ такъ, что они потеряли и послъднія понятія о предълахъ точныхъ своего поприща. Хорошо, что вы этого не сдълали, потому что вы и тогда понимали это дёло лучше другихъ. Вы очень хорошо знаете, что приставить новаго чиновника для того, чтобы ограничить прежняго въ его воровствѣ, значитъ сдѣлать двухъ воровъ намѣсто одного. Да и вообще система ограниченія самая мелочная система. Человъка нельзя ограничить человъкомь; на слёдующій годъ окажется надобность ограничнть и того, который приставленъ для ограниченья, и тогда ограниченьямъ не будетъ конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всёмъ другимъ системамъ отрицательнымъ, могла образоваться только въ государствахъ колоніальныхъ, которыя составились язъ народа всякаго сброда, не имъющаго національной цълязны и духа народнаго, гдъ неизвъстны ни самоотверженіе, ни благородство, а только однѣ корыстныя личныя выгоды. Нужно оказать довѣріе къ благородству человъка, а безъ того не будеть вовсе благородства. Кто знаетъ, что на него глядять подозрительно, какъ на мошенника, и приставляють къ нему со всѣхъ сторонъ надсмотрщиковъ, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать ихъ: нужно напирать на то, чтобы каждый держаль самь себя въ рукахь, а не на то, чтобы его держали друrie; чтобы онъ былъ строже къ себѣ въ нѣсколько разъ самого закона,

выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями.

чтобы онъ видълъ самъ, чъмъ онъ подлець перелъ своей должностью: словомъ — чтобы онъ былъ введенъ въ значенье высшей своей полжности. А это можеть сдълать только одинь генераль - губернаторъ, если онъ не пренебрежеть постигнуть самъ всякую должность въ ся истинномъ существъ и мысленно прослужить самъ на мъстъ того чиновника, котораго бы захотълъ онь ввести въ полное значенье полжности. Вслъдствіе этого всъ ваши сношенія съ чиновниками будуть самоличны, безъ всякихъ секретарей и мертвой бумажной переписки, а отъ этого и ваша собственная канцелярія спълается маленькой и вовсе не будеть походить на тъ чудовищныя, огромныя канцеляріи, какія заводять другіє начальники. Эти же громадныя канцеляріи, какъ вы уже сами знаете, наносять много вреда тёмъ, что отберуть у всёхъ чиновниковъ ихъ дъла, образуютъ собою вдругъ новую инстанцію и, сталобыть, новыя затрудненія, дадуть нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримому, въ видъ нростого секретаря, но чрезъ руки котораю стануть проходить всё дёла; у секретаря явится какая-нибудь любовница, изъ-за нея интриги, ссоры, а съ ними вмъсть и самъ чортъ путаницы, который какъ туть во всякое время; и дело кончится темъ, что, сверхъ нанесенья новыхъ безпорядковъ и сложностей, пожрется несмътное количество казенныхъ суммъ. Храни васъ Богъ оть заведенья канцеляріи. Иначе и не объясняйтесь ни съ въмъ, какъ лично. Канъ можно пренебречь разговоромъ съ человъкомъ, особенно, если разговоръ близовъ въ нему самому, въ исполненью его обязанностей и долга. стало-быть, близокъ къ самой душъ его? Какъ можно промънять такой разговодь на пустые газетные толки и медтвыя дбуи о всякомъ враньб. набидаемомъ изъ лживыхъ европейскихъ журналовъ? О долгъ человъка можно такъ разговориться, что обоныть покажется, какъ бы они бестачноть съ ангелани въ присутствји самаго Бога. Говорите же такъ съ вашнить подчиненнымъ. то-есть — наставительно и питательно его душь! Не забудьте, что — на русскомъ языкъ. Я разумъю не тотъ языкъ, который изворачивается теперь въ житейскомъ обяходъ, и не книжный языкъ, и не языкъ, образовавшійся во время всякихъ злоупотребленій нашихъ, но тоть истинно-русскій язывъ, который незримо носится по всей Русской земль, несмотря на чужеземствованье наше въ землъ своей, который еще не прикасается въ дълу жизни нашей, но, однавожъ, всъ слышать, что онъ истинно-русскій языкъ. На этомъ языкъ начальникъ называется отцомъ. Будьте же съ ними, какъ отецъ съ дътъми; а отецъ съ дътъми не заводитъ бумажныхъ переписокъ и напрямикъ изъясняется съ каждымъ изъ нихъ. Такъ поступая, введете каждаго вы въ познанье его должности и сдълаете истинно-великий-подвигь.

А воть вамъ другой подвигь, котораго никто не можеть совершить кромѣ генераль - губернатора, и который въ нынѣшнее время есть дѣло даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство въ познанье истинное своего званія. Сословіе это въ своемъ истинно - русскомъ ядрѣ прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышить. Многіе едва только догадываются, другіе пребывають въ совершенномъ объ этомъ невѣжествѣ, третьи берутъ себѣ въ идеалъ дворянства государствъ иностранныхъ, четвертые даже не задають себѣ вопроса: нужно ли на свѣтѣ дворянство? Если же и находятся между ними такіе, которые имѣю́тъ объ этомъ какія-нибудь свѣтлыя мысли, то мысли эти еще не раздаются въ массахъ, и масса ихъ не слышитъ. Въ послѣднее время, кромѣ всего прочаго, возстановился даже въ дворянствѣ нѣкоторый духъ недовѣрія къ правительству. Во время послѣднихъ европейскихъ возмущеній и всякаго

99

Digitized by Google

7*

рода смуть нёкоторые изъ злоумышленниковъ старались особенно распустить въ нашемъ дворянствъ слухъ, будто правительство ищетъ обезсилить ихъ значепье и довести ихъ до ничтожества. Бъглецы, выходцы за границу и всякаго рода недоброжелатели Россіи писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранныхъ газетъ, съ тъмъ именно умысломъ, чтобы заронить вражду между дворянствомъ и правительствомъ: съ одной стороны показать государю Россія партію какихъ-то фантастическихъ бояръ, оспаривающихъ самую власть; а съ другой стороны показать дворянству, что государь не благоволить къ нимъ и вообще не любить этого званія, то-есть, имъ хотблось заварить въ Россія какую - то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самииъ сытрать какую-нибудь роль. Разсчетъ былъ на то, что взаимное опасенье и подозрительность есть страшная вещь и можеть со временемъ произвести дъйствительно разрывъ самыхъ священнъйшихъ связей. Но. слава Богу, уже прошан тъ времена, чтобы нъсколько сорванцовъ могли возмутить пълое государство. Проектъ такъ и остался фантастическимъ проектомъ, тъмъ не менъе, однакожъ, искры недоразумъній и взаимнаго недовърія заронились, н я знаю многихъ дворянъ, которые увърены серьезно, что государь не любитъ ихъ сословія, и отъ этого даже тоскують. Дъло это имъ разръшите и объавите всю правду, не скрывая ничего. Скажите. что государь любить это сословіе больше встахь другихь, но любить его вь его истинно-русскомъ значенія, въ томъ прекрасномъ видѣ, въ какомъ оно должно быть по духу самой зеили нашей. Да и не можетъ быть иначе. Ему ли не любить цвътъ своего народа? а у насъ дворянство есть цвътъ нашего же народа, а не кокое-нибудь пришлое чужеземное сословіе. Но слъдуеть, чтобы дворянство само себя повазало и опредѣлило значенье своего званія, потому что въ томъ видь, въ какомъ оно теперь, при этомъ отсутствіи единства въ общемъ духѣ, при этомъ разнообразьи мыслей, воспитанья, жизни, привычекъ, при такомъ сбивчивомъ образъ понятій о самихъ себъ, никому не могутъ они подать дъйствительной и полной идеи о томъ, что такое въ нашей землъ дворянство. А оттого никакой мудрець не можеть теперь знать, какъ ему съ ними быть. Сатдуеть, чтобы дворянство само вступило въ свое истинное и полное значенье. И здъсь-то вы можете истинно имъ всъмъ помочь, потому что, будучи сами русскій дворянинъ и уже понимая высшее значенье нашего дворянства, вы лучше всъхъ будете въ силахъ это объяснить. Не нужно для этого много словъ, потому что начало всего того, что вы имъ объявите, у нихъ въ груди. Дворянство наше представляеть явленье, точно, необыкновенное. Оно обравовалось у насъ совстять иначе, нежели въ другихъ земляхъ. Началось оно не насильственнымъ приходомъ, въ качествъ вассаловъ съ войсками, всегдашнихъ оспаривателей верховной власти и въчныхъ угнетателей сословія низшаго; началось оно у насъ личными выслугами предъ царемъ, народомъ и всей землей, — выслугами, основанными на достоинствахъ нравственныхъ, а не на силь. Въ нашемъ дворянствъ нътъ гордости какими нибудь преимуществами своего сословія, какъ въ другихъ земляхъ; нѣтъ спеси нѣмецкаго дворянства: никто не хвастается у насъ родомъ или древностью происхожденія, хотя наши дворяне всѣхъ древнѣе, — хвастаются развѣ только какіе-нибудь англоманы, которые заразились этимъ на время, во время проъзда чрезъ Англію; можеть-быть, только изръдка похвастается кто-нибудь своимъ предкомъ и то такимъ, который сослужилъ истинно-върную службу царю и землъ своей; а похвастайся онъ плохимъ предкомъ, на него выпустять туть же эпиграмму его же собратья дворяне. Однимъ только позволяетъ себъ всякъ изъ нихъ похвастаться — это чувствомъ своего нравственнаго благородства,

которое уже Богь имъ вложилъ въ грудь. И если дойдеть дъло до того, чтобы выказать какимъ-нибудь поступкомъ это внутреннее высшее благородство, у нась ни одинь не отстанеть оть другого, хотя бы самь быль всёхь хуже и весь зажиль въ грязи и сажъ. Дворянство у насъ есть какъ бы сосудъ, въ которомъ заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли затъмъ, чтобы подать понятіе всъмъ прочимъ сословіямъ, почему сословіе высшее называется цвътомъ народа. И если вы только имъ скажете почти это самое, что я теперь говорю, и что есть истинная правда, да развернете передъ ними то поприще, которое теперь всъмъ предстоитъ имъ на передачу и увъковъченье именъ своихъ въ потомствѣ; если ясно покажете имъ, что вся Русская земля взываетъ о помощи, и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства слёдуеть показать тёмь, которые уже оть рожденія получили благородство, то увидите, что сердца ихъ чокнутся съ вашимъ сердцемъ, какъ рюмки во время пирушки. Не скрывайте отъ нихъ дъла, объясните имъ всю правду. Зачёмъ заставлять ихъ узнавать то же самое изъ дживыхъ иностранныхъ газетъ и давать сорванцамъ пружить имъ головы? Обнаружьте имъ всю правду начисто. Скажите имъ, что Россія, точно, несчастна, что несчастна оть грабительствъ и неправды, которыя до такой наглости еще не возносили рогъ свой; что болить сердце у государя такъ, какъ никто изъ нихъ не внаеть, не слышить и не можеть знать. Да можеть ли быть иначе при видъ отого вихря возникнувшихъ запутанностей, которыя заствнили всъхъ другь оть друга и отняли почти у каждаго просторъ делать добро и пользу истинную своей земль, при виль повсемъстнаго помраченья и всеобщаго уклоненья всёхъ отъ духа земли своей, при видъ, наконецъ, этихъ безчестныхъ взяточниковъ и плутовъ, продавцовъ правосудья и грабителей, которые, какъ вороны, налетыли со всъхъ сторонъ клевать еще живое наше тъло и въ мутной вод'я ловить свою презр'янную выгоду. Когда вы это имъ скажете, да всл'язъ за этимъ покажете, что теперь имъ всёмъ предстоитъ сослужить истинноблагородную и высокую службу царю, а именно: такъ же великодушно, какъ нъкогда становились въ рядъ противу непріятеля, такъ же великодушно стать теперь на неприманчивыя мъста и должности, опозоренныя низкими разночинцами, тогда увидите, какъ встрепенется наше дворянство. Отбою не будеть оть желающихъ вступить въ службу и занять самыя невидныя мъста. И, отслуживши, не потребують они себъ за это ни наградъ, ни отличій, ни даже привилегій и преимуществь, довольные твмъ, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словомъ — только покажите имъ высоту ихъ званія, и вы увидите, какъ благородна ихъ природа. Вы можете указать имъ также то второе великое дбло, которое они могуть сдблать, воспитавши ввъренныхъ имъ крестьянъ такимъ образомъ, чтобы они стали образцомъ этого сословія для всей Европы, потому что теперь не ва шутку задумались многіе въ Европъ надъ древнимъ патріархальнымъ бытомъ, котораго стихіи исчезнули повсюду, кромъ Россіи, и начинають гласно говорить о преимуществахъ нашего врестьянскаго быта, испытавши безсиліе встахъ установленій и учрежденій нынъщнихъ, для ихъ улучшенія. А потому вамъ слъдуетъ склонить дворянъ, чтобы они разсмотръли попристальнъй истинно-русскія отношенія пом'єщика къ крестьянамъ, а не ті фальшивыя и ложныя, которыя образовались во время ихъ позорной беззаботности о своихъ собственныхъ помъстьяхъ, преданныхъ въ руки наемниковъ и управителей; чтобы позаботились о нихъ истинно, какъ о своихъ кровныхъ и родныхъ, а не какъ о чужихъ людяхъ, и такъ бы взглянули на нихъ, какъ отцы на дътей своихъ.

Симъ только однимъ могутъ возвесть они это сословіе въ то состояніе, въ какомъ слѣдуетъ ему пребыть, которое, какъ нарочно, не носитъ у насъ названья ни вольныхъ, ни рабовъ, но называется крестьянами отъ имени самого Христа. Все это можетъ вполнѣ объяснить дворянству генералъ-губернаторъ, если о томъ помыслитъ заблаговременно и войдетъ самъ въ полное значенье нашего дворянства. И это будетъ вашъ второй великій подвигъ.

А воть вамъ третій подвигъ, котораго тоже никто не можетъ сдълать, промѣ генераль-губернатора. Всѣ европейскія государства теперь болѣють необыкновенной сложностью всякихъ законовъ и постановлений. Повсюду замътно одно замъчательное явленье, а именно: законы собственно гражданские выступили изъ предъловъ и ворвались въ области, имъ не принадлежащія. Съ одной стороны они вторгнулись въ область, состоявшую долго подъ управленіемъ народныхъ обычаевъ; съ другой стороны они вторгнулись въ область, долженствующую оставаться вѣчно подъ управленіемъ Церкви. Случилось это не насильственно: разливъ гражданскихъ законовъ произошелъ самъ собою, встрътивши повсюду пустыя, себя не ограждавшія мъста. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства отъ прямой жизни во Христъ оставило на произволь всё частныя отношенія кажлаго человѣка въ его частномъ быту. Законы гражданские взяли то и другое, какъ оставленныхъ сиротъ, подъ свою опеку и оттого только стали такъ сложны. Сами же по себъ они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законнымъ образомъ должно принадлежать обычаямъ, и то, что должно поступить въ въчное владънье Перкви, тогда ихъ можеть заплючить только одна книга, которая обниметь одни крупныя уклоненья отъ общественнаго порядка и отношенія собственногосударственныя. Всъ до единаго теперь видять, что множество дъль, злоупотребленій и всякихъ вляузъ произошло именно оттого, что европейскіе философы-законодатели стали заранъе опредълять всъ возможные случан уклоненій, до малбишихъ подробностей, и тымъ открыли всякому, даже благородному и доброму, пути въ безконечнымъ и несправедливъйшимъ тяжбамъ, которыя затьвать прежде почель бы онь безчестнъйшимъ дъломъ, но которыя онъ затъваеть теперь смъло, увидя въ какомъ-нибудь пунктъ постановленій возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владёнье другого. Онъ уже идеть горой, какъ герой на приступъ, и не глядитъ вовсе на своего супротивника, хотя бы тоть лишился черезь это послёдней своей рубашки, хотя бы онъ пошелъ по-міру со всей семьей своей. Человѣколюбивый производить теперь безстыднъйшныть образомъ въ виду всёхъ жестокое дёло и даже ныт хвастается, тогда какъ онъ устыдился бы и самой мысли о томъ, если бы служитель Церкви поставиль ихъ обоихъ лицомъ ко Христу, а не презръннымъ выгодамъ личнымъ, и если бы завелось такъ, какъ и быть должно, чтобы во всёхъ дёлахъ запутанныхъ, казусныхъ, темныхъ, словомъ — во всёхъ тёхъ дълахъ, гдъ угрожаетъ проволочка по инстанціямъ, мирила человъка съ человѣкомъ Церковь, а не гражданскій законъ. Но воть вопросъ: какъ это сдълать? Какъ сдълать, чтобы гражданскому закону отдано было дъйствительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаямъ возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаевь, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно въчно принадлежать Церкви? Словомъ, какъ возвратить все на свое мъсто? Въ Европъ сдълать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможеть въ напрасныхъ бореньяхъ и ничего не успъеть. Въ Россіи есть возможность; въ Россіи можеть это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведеніями, переворотами

и реформами и даже не засъданьями, не комитетами, не преньями и не журнальными толками и болтовней; въ Россіи можеть этому дать начало всякій генералъ-губернаторъ ввъренной его управлению области, и какъ просто! ничемъ другимъ, какъ только собственной жизнью своей. Патріархальностью жизни своей и простымъ образомъ обращенья со всёми онъ можетъ вывести вонъ моду съ ея пустыми этикетами и укръпить тъ русскіе обычан, которые въ самомъ дълъ хороши и могуть быть примънены съ польвой въ нынъшнему быту. Онъ можетъ сильно подъйствовать на то, что отношенья между собою какъ жителей городовъ, такъ и помъщиковъ стануть проще; а уничтоженье этой сложности свътскихъ отношений, какая нынъ, уменьшитъ непреизнно ссоры и неудовольствія, которыя возникнули, какъ вихри, между обитателями городовъ. Такъ же, какъ на водворенье обычаевъ, можеть подъйствовать генераль-губернаторъ и на законное водворенье Церкви въ пынъшнюю жизнь русскаго человѣка: во-первыхъ, примѣромъ собственной жизни, а во-вторыхъ, и самими мърами — не принудительными и насильственными, но въ нъсколько разъ сильнъйшими всякихъ насильственныхъ. Объ этомъ когда нибудь мы съ вами поговорнить послев, когда вы действительно возьмете должность; а до того времени скажу вамь только воть что: если уже простой обычай сильнъе всякаго письменнаго закона, а между прочимъ, что такое обычай, если разсмотръть его строго? Иногда онъ просто не имъетъ никакого значенья въ нынтшнее время, установленъ неизвтстно зачтыть, пришелъ неизвъстно откуда, не слышно даже авторитета, его утвердившаго; иногда онъ тянется еще отъ временъ язычества, противоположенъ христіанству и всёмъ элементамъ новой жизни. И если при всемъ этомъ обычай такъ силенъ, что его трудно бываеть изгладить въ продолжение многихъ лътъ, -- что же, если введется такой обычай, который основань на разумь, единоустно и единодушно будеть признанъ встами и освященъ свыше самимъ Христомъ и его Церковью? Такой обычай пойдеть во въки въковъ и не сокрушить его никакая сила, какія бы ни наступили всемірныя колебанья. Но этоть предметь великъ; о немъ нужно поговорить умно, а я для того глупъ. Послѣ, когда Богъ поможетъ и вразумитъ меня, можетъ быть, что нибудь скажу. Работъ ванъ будетъ много. Кръпитесь и берите твердо должность генераль-губернатора, если только она будеть вамъ предложена. Вы исполните ее теперь именно такъ, какъ слъдуетъ, и сообразно тому, чего требуетъ само правительство, то-есть — бодрящею, освъжающею силою пронестись по всей области, всёхъ воздвигнуть, всёхъ освёжить, всёхъ настроить, всему дать толчовъ и обратиться потомъ въ другую губернію затёмъ, чтобы и тамъ произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непремѣнно должна быть временная, иначе она не имъла бы смысла, потому что внутренній организыть губерніи достаточенъ и полонъ, и нъть надобности въ другомъ управитель, промь гражданскаго губернатора. Съ Богомъ же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вамъ занять и другую должность, руководствуйтесь тыми же правидами. Не забывайте нигдъ, что вы на время. Устройте такъ дъла, чтобы они не только при васъ шли хорошо, но и послъ вась; чтобы не могь ничего сдвинуть вашь преемникь, но вступиль бы невольно уже самъ въ утвержденныя вами границы, держась вами даннаго законнаго направленія. Христосъ научить васъ, какъ закалять дёло накрёпко и навъки. Будьте отецъ истинный всъмъ вамъ подвластнымъ чиновникамъ н каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться оть его собственныхъ пороковъ и недостатковъ. Имъйте на всъхъ вліяніе, но вліяніе единственно затъмъ, чтобы

заставить каждаго имъть на самого себя вліяніе. Смотрите также, чтобы никто не опирался черезчуръ и слишкомъ на васъ, какъ на собственный посохъ свой, подобно тому, какъ римско-католическія дамы опираются на духовниковъ своихъ, безъ воли которыхъ онъ не смъютъ переступить въ пругую комнату, и ждуть для этого исповъди; но чтобы помниль человъкь, что нянька ему дается на время, а не навсегда, и что какъ только отступаетъ оть него наставникъ, тутъ-то ему и слъдуетъ блюсти за собой осторожнъй, чъмъ когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотръть за нимъ, и содержа, какъ святыню, въ своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при разставаные съ вами, если бы случилось вамъ оставлять вашу должность, но чтобы бодръй и свъжьй еще глядълъ каждый впередъ, а потому ко дню разставанья копите все, что хотъли бы вы сказать въ наставленье каждому: въ этотъ день будутъ для нихъ святы всъ слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примуть и послъ васъ исполнять. Для меня наилучшая минута — время разставанья съ моими друзьями; всякъ изъ друзей моихъ, кто теперь ни разстается со мной, разстается весело и свътлъетъ духомъ. Вамъ подтвердять это всѣ тѣ, которые разставались со мной въ послъднее время. Я даже увъренъ, что когда буду умирать, со мной простятся весело всё меня любившие: никто изъ нихъ не заплачетъ и будетъ гораздо свътлте духомъ послъ моей смерти, чъмъ при жизни моей. Еще скажу вамъ слово насчеть любви и всеобщаго расположенія къ себѣ, за которыми многіе такъ гоняются. Заискивать любви къ себъ есть незаконное дъло и не должно занимать человъка. Смотрите на то — любите ли вы другихъ, но не на то любять и вась другіе. Кто требуеть платежа за любовь свою, тоть подль и далеко не христіанинъ. О, какъ я благодаренъ за то, что еще отъ дътства вселиль въ меня Богь непонятное мнѣ самому чувство бѣжать отъ всякихъ неумъстныхъ изліяній, даже родственныхъ и дружескихъ, какъ отъ чего-то приторнаго и непріятнаго! Какъ это върно, что полная любовь не должна принадлежать никому на землъ! Она должна быть передаваема по начальству, и всякій начальникъ, какъ только замътить ся устремленье въ себъ, долженъ въ ту же минуту обращать ее къ постановленному надъ нимъ высшему начальству, чтобы такимъ образомъ добралась она до своего законнаго источника, и передаль бы ее торжественно въ виду всъхъ всъми любимый царь camomy Bory.

1845.

XXIX.

Чей удълъ на землъ выше.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ У..... МУ.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удѣлъ на землѣ выше, и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда былъ поглупѣе, я предпочиталъ одно званіе другому; теперь же вижу, что участь всѣхъ равно завидна. Всѣ получать равное воздаяніе — какъ тотъ, которому ввѣренъ былъ одинъ талантъ, и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно оттого, что онъ не пользовался на землѣ извѣстностію и не вкушалъ очаровательнаго напитка земной славы, подобно послѣднему. Чудна милость Божія, опредѣлившая равное воздаяніе всякому,

исполнившему честно долгь свой, царь ли онъ, или послѣдній ницій. Всѣ они тамъ уравняются, потому что всѣ внидуть въ радость Господа своего и будуть пребывать разно въ Богѣ. Конечно, Самъ Христосъ сказаль въ другомъ мѣстѣ: Въ дому Отца Моего обители многи суть; но какъ помыслю объ этихъ обителяхъ, какъ помыслю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себѣ, если бы только дѣйствительно былъ удостоенъ небеснаго царствія и вопрошенъ: «какую изъ нихъ хочешь?» Знаю только то, что сказалъ бы: «Послѣднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ!» Кажется, ничего бы не желалось больше, какъ только служить тѣмъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величіи Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цѣловать святыя ихъ ноги!

1845.

XXX.

Напутствіе.

На письмо твое теперь не буду отвѣчать; отвѣть будеть послѣ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою нёжною душою терпёть такія грубыя обвиненія; съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное, топорное прикосновение въ силахъ разбить, даже безъ ихъ въдома, лучшую драгоцънность сердечную, медвъжьею лапою ударить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ, --даннымъ на то, чтобы выпъть небесные звуки, — разстроить и разорвать ихъ, видъть, въ прибавление ко всему этому, ежедневно переходящия мерзости и терпъть презръние отъ презрънныхъ — все это тяжело, знаю. Твои страданія телесныя тяжелы не меньше. Твои нервичоскіе недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агоніи, которою ты одержимъ теперь, -- все это тяжело, тяжело, в ничего больше не могу сказать тебъ, какъ только: тяжело! Но воть тебъ утъшение. Это еще начало; оскорблений тебъ будеть еще больше: предстануть тебъ еще сильнъйшія борьбы съ [взяточниками,] подлецами встять сортовъ и безстыднъйшими людьми, для которыхъ ничего нътъ святого, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дъло, о которомъ ты пишешь [т.-е. подписаться подъ чужую руку], -- дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видъть своими глазами кару, постигшую оклеветаннаго, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дѣло, но еще въ нѣсколько разъ гнуснѣйшія, о которыхъ одинъ разсказъ можеть лишить навъки сна человъка сердобольнаго. (0, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ! весь сонмъ небесныхъ силъ содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія, ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавить). Встрътятся тебѣ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твоемъ почти беззащитномъ поприщѣ и незамътной должности все можетъ случиться. Твои нервические припадки и недуги будуть также еще сильнъе, тоска будеть убійственнѣе и печали будуть сокрушительнѣе. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій— на битву мы сюда призваны; праздновать же побъду будемъ тамъ. А потому мы ни на мигъ не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдъ поменьше онасностей: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдъ пожарче битва. Всъхъ насъ озираетъ свыше небесный Полководецъ, и ни

Н. В. ГОГОЛЬ.

малѣйшее на́ше дѣло не ускользаеть 'оть Его взора. Не уклоняйся же оть поля сраженія, а выступивши на сраженіе, не ищи непріятеля безсильнаго, но сильнаго. За сраженіе съ небольшимъ горемъ и мелкими бѣдами не много получишь славы. [Не велика слава для русскаго сразиться съ миролюбивымъ нѣмцемъ, когда знаешь впередъ, что онъ побѣжитъ; нѣтъ, съ черкесомъ, котораго все дрожитъ, считая непобѣдимымъ, съ черкесомъ схватиться и побѣдить его — вотъ слава, которою можно похвалиться!] Впередъ же, прекрасный мой воинъ! Съ Богомъ, добрый товарищъ! Съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

1846.

XXXI.

Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность.

Несмотря на визшніе признаки подраженія, въ нашей поэзіи есть очень много своего. Самородный влючъ ея уже билъ въ груди народа тогда, когда самое имя еще не было ни на чьихъ устахъ. Струи его пробиваются въ нашихъ пъсняхъ, въ которыхъ мало привязанности къ жизни и ся предметамъ, но много привязанности въ какому-то безграничному разгулу, въ стремленію, какъ бы унестись куда-то вмъстъ съ звуками. Струн его пробиваются въ пословицахъ нашихъ, въ которыхъ видна необыкновенная полнота народнаго ума, ум'ввшаго сделать все своимъ орудіемъ: иронію, насм'вшку, наглядность, мътвость живописнаго соображенія, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимаетъ насквозь природу русскаго человъка, задирая за все ея живое. Струи его пробиваются, наконець, въ самомъ словъ церковныхъ пастырей, -- словѣ простомъ, некраснорѣчивомъ, но замѣчательномъ по стремленію стать на высоту того святого безстрастія, на которую опредълено взойти христіанину, по стремленію направить человѣка не къ увлеченіямъ сердечнымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзіи какое-то другимъ народамъ невѣдомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавшихъ, ведеть начало наша сладкозвучная поэзія, нынѣ насъ услаждающая; такъ же, какъ и строеніе нынѣшняго нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началь, уже пребывавшихь прежде въ земль нашей. Гражданское строеніе наше произошло также не правильнымъ, постепеннымъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ европейскихъ обычаевъ, — которое было бы уже невозможно по той причинъ, что уже слишкомъ вызръло европейское просвъщение, слишкомъ великъ былъ наплывъ его, чтобы не ворваться рано или поздно со встхъ сторонъ въ Россію и не произвести безъ такого вождя, каковъ былъ Петръ, гораздо большаго разладу во всемъ, нежели какой дъйствительно потомъ наступилъ, — гражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего государства, которое произвель царь - преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народъ свой въ кругъ европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со встять, что ни добыла себт Европа долгими годами вровавыхъ бореній и страданій. Крутой поворотъ былъ нуженъ русскому народу, и европейское просвъщение было огниво, которымъ слъдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массъ. Огниво не сообщаеть огня кремню, но, покамъсть имъ не ударишь, не издасть кремень огня. Огонь излетблъ вдругъ

۱

изъ народа. Огонь этоть быль восторгь, — восторгь оть пробужденія, восторгь вначаль безотчетный: никто еще не услышаль, что онъ пробудился затъмъ, чтобы, съ помощію европейскаго свъта, разсмотръть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что онъ пробудился. Уже самый этоть крутой повороть всего государства, произведенный однимъ человъкомъ, — и притомъ самимъ царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, ръшился извъдать самъ всякое ремесло и съ топоромъ въ рукъ стать передовымъ во всякомъ дълъ, дабы не произошло никагихъ безпорядковъ, слёдующихъ при малёйшемъ измёненіи государственныхъ формъ, — былъ дѣломъ, достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на нъсколько лъть обливаеть кровью потрясенное государство, если производится бореніями внутреннихъ партій, былъ произведенъ, въ виду всей Европы, въ такомъ порядкъ, какъ блистательный маневръ хорошо выученнаго войска. Россія вдругь облеклась вь государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствъ пришло въ восторгъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издаеть дикарь при видѣ навезенныхъ блестящихъ сокровищъ. Восторгъ этотъ отразился въ нашей поэзіи, или лучше — онъ создаль ее. Воть почему поэзія съ перваго стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выражение, стремясь высказать въ одно и то же время восхищение отъ свъта, внесеннаго въ Россію, изумленіе отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность царямъ, того виновникамъ. Съ этихъ поръ стремленіе въ світу стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человъка, и оно-то дало ходъ нашей нынъшней поэзіи, внеся новое, свътоносное начало, котораго не видно было ни въ одномъ изъ тъхъ трехъ источниковъ ся, о которыхъ упомянуто въ началъ.

Что такое Ломоносовъ, если разсмотръть его строго? Восторженный юноша, котораго манить свъть наукъ да поприще, ожидающее впереди. Случаемъ попалъ онъ въ поэты: восторгъ оть нашей новой побъды заставилъ его набросать первую оду. Впопыхахъ занялъ онъ у сосъдей нъщевъ размѣръ и форму, какіе у нихъ на ту пору случились, не разсмотрѣвъ, приличны ли они русской рѣчи. Нѣть и слѣдовъ творчества въ его реторически составленныхъ одахъ; но восторгъ уже слышенъ въ нихъ повсюду, гдѣ ни прикоснется онъ къ чему-нибудь, близкому науколюбивой его душт. Коснулся онъ съвернаго сіянія, бывшаго предметомъ его ученыхъ изслъдованій, — и плодомъ этого прикосновенія была ода: «Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ», вся величественная отъ начала до конца, какой никому не написать, кромъ Ломоносова. Тъ же причины породили извъстное посланіе въ Шувалову «о пользъ стекла». Всякое прикосновение въ любезной сердцу его Россіи, на которую глядить онъ подъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняеть его силы чудотворной. Среди холодныхъ строфъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдѣ ты находишься: Точно, какъ бы, выражаясь его же словами:

> Вожественный пророкъ Давидъ Священными шумитъ струнами. И Бога полными устами Исайя восхищенъ гремитъ.

Всю русскую землю озираеть онъ оть края до края съ какой-то свътлой вышины, любуясь и не налюбуясь ея безпредъльностію и дъвственною природою. Въ описаніяхъ слышенъ взглядъ скоръе ученаго натуралиста, нежели

поэта: но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста въ поэта. Изумительнѣе всего то, что, заключа стихотворную рѣчь свою въ узкія строфы нѣмецкаго ямба, онъ ничуть не стѣсниль языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная рѣка въ нестѣсненныхъ берегахъ. Онъ у него свободнѣе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозѣ, и не даромъ Ломоносова называють отцомъ нашей стихотворной рѣчи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія — начинающійся разсвѣтъ. Она у него, подобно вспыхивающей зарницѣ, освѣщаетъ не все, но только нѣкоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ бы заботится только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намѣтить точками и линіями его границы, пророческій набросокъ того, что впереди.

Съ руки Ломоносова оды вошли въ обычай. Торжество, побъда, тезоименитство, даже иллюминація и фейерверкъ стали предметомъ одъ. Слагатели ихъ выразили только бездарную прыть намъсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, не чуждаго силы и стихотворнаго огня: онъ былъ дъйствительно поэтъ, несмотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всъ прочіе напомнили только реторически-холодный складъ ломоносовскихъ одъ и ноказали, намъсто благозвучія ломоносовскаго языка, трескотню и безпорядокъ словъ, терзающій ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзія уже вспыхнула: еще не успълъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пъсни Державинъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствованіе можно назвать блестяшею выставкою первыхъ русскихъ произведеній, когда на всбхъ поприщахъ стали выказываться русскіе таланты, — съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственные дільцы, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые, — появился и поэтъ Державинъ, съ тою же картинно-величавою наружностію, какъ и всъ люди временъ Екаткрины, развернувшиеся въ какой то еще дикой своболь, со множествомъ нелоконченнаго и не вполнъ отдъланнаго въ частяхъ, какъ случается съ тъми произведеніями, которыя выставляются нёсколько торопливо на показъ. Мысль о сходствъ Ломоносова съ Державинымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядѣ на нихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только всмотришься покръ́нче въ Державина. Всъ́мъ, даже самымъ воспитаніемъ, послъ́дній представляеть совершенную противоположность первому. Какъ первый весь предался наукамъ, считая стихотворство свое только развлечениемъ и дъломъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишнимъ и ненужнымъ. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: Выступають люди и жизнь. Не отвлеченныя науки, но наука жизни его занимаеть. Оды его обращаются уже къ людямъ всѣхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ дъйствій человъка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще болье исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумъваетъ умъ ръщить, откуда взялся въ немъ этоть гиперболическій размахъ его ръчи. Остатокъ ли это нашего сказочнаго русскаго богатырства, которое, въ видъ какого-то темнаго пророчества, носится до сихъ поръ надъ нашею землею,

ВЫБРАННЫЯ МЪСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее, или же это навъялось на него отдаленнымъ татарскимъ его происхождениемъ, степями, гдъ бродятъ бъдные останки ордъ, распаляющие свое воображение разсказами о богатыряхъ въ нъсколько версть вышиною, живущихъ по тысячъ лъть на свътъ, – что бы то ни было, но это свойство въ Державинъ изумительно. Иногда, Богъ въсть, какъ издалека забираетъ онъ слова и выраженія затъмъ именно, чтобы стать ближе въ своему предмету. Дико, громадно все; но, гдъ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этоть громоздъ служить на то, чтобы неестественною силою оживить прелметь, такъ что кажется, какъ бы тысячью главами глядить онъ. Стоить пробъжать ero «Водопадъ», гдъ кажется, какъ бы пълая эпопея слидась въ одну стремящуюся оду. Въ «Водопалѣ» перелъ нимъ пигмен другіе поэты. Природа тамъ какъ бы высшая нами зримой природы, люди могучъе нами знаемыхъ людей, а наша обывновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдъ то далеко копышется вдали. О Державинъ можно сказать, что онъ — пѣвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осьми моряхъ своихъ; его полководцы --- орлы; словомъ --- все у него величаво. Замътно, однакоже, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болбе всего его занимавшимъ. было -начертить образъ какого-то кръпкаго мужа, закаленнаго въ дълъ жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ-нибудь временемъ, но со встыи втками; изобразить его такимъ, какимъ онъ дояженъ былъ изникнуть, по его мытнію, изъ кръпкихъ началъ нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемомъ камнъ нашей Церкви. Часто, бросивши въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставить на его мъсто того же своего непреклоннаго, правдивато мужа. Тогда глубокія истины изглашаются у него голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго: возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими мъстами, и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаешь въчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядить исполиномь: его поэтические образы, не имъя полной окончательности пластической, какъ бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи и оттого пріемлють еще болье величія. Напримъръ: поэть изображаетъ старца Каспія въ то время, когда онъ, разсерженный бурею,

> Встаеть въ упоръ ся волнамъ: То скачеть въ твердь, то, въ адъ стремяся, Трезубценъ бьетъ по кораблянъ; Столбонъ власы сваме выются, И гласъ его гремить въ горахъ.

101

ľŤ

ть, казалось, хотълъ создаться зримо образъ старца Каспія, но повъ какомъ-то духовномъ, незримомъ очертания: ухо слышить одинъ мящаго моря, и, вмъстъ съ съдыми власами старца, подъемлется а головѣ чтателя, пораженнаго суровымъ величіемъ картины. го крупн него такъ крупенъ, какъ ни у кого изъ нашихъ Разъявт скимъ ножомъ, увидищь, что это происходить ія самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими не отважился, кромъ Державина. Кто бы потакъ, какъ выразился онъ въ одномъ мъстъ номъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже JT.

> гостью ожидаетъ, зшись, усы.

109

Кто, вромѣ Державина, осмѣлился бы соединить такое дѣло, каково ожидание смерти, съ такимъ ничтожнымъ 'дъйствиемъ, каково кручение усовъ? Но какъ черезъ это ощутительнѣе видимость самого мужа, и какое меланхолически глубокое чувство остается въ душъ! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всѣ другія исполинскія свойства Державина, дающія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляеть его одушевленіе. Тогда все въ безпорядкъ: ръчь, языкъ, слогъ, — всо скрипитъ, какъ телъга съ невымазанными колесами, и стихотворение — точно трупъ, оставленный душою. Слъды собственнаго неконченнаго образованія, какъ въ уиственномъ, такъ и въ нравственномъ смысль, отразились очень замътно на его твореніяхъ. Мужъ, проповъдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умълъ управить себя, далеко не сталь саминь собою и должень быль напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ. что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитание такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онъ, какъ невоздъланная громадная скала, передъ которою никто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застаивается никто, спѣша въ другимъ мѣстамъ, болѣе плѣнительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него изыбнилось: въкъ Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь н вельможная жизнь унеслись, какъ сновидение. Наступилъ векъ Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, какъ бы почувствовавь, что уже раскинулось черезчуръ нараспашку, стало наперерывъ пріобрътать наружное благоприличіе и стройность поступковъ. Французы стали вполнъ образцы всему, и такъ же, какъ щеголи Парижа завладъли надолго нашимъ обществомъ, ловкіе французскіе поэты завладѣли было на время нашими поэтами. Къ чести, однакожъ, върнаго поэтическаго чутъя нашего нужно сказать то, что въ образецъ пошелъ одинъ Лафонтенъ, затъмъ именно, что быль ближе въ природъ: Дмитріевъ, Хемницеръ и Богдановичъ стали производить подобныя ему, въ простотъ, творенія, обработывая тъ же предметы. Русскій языкъ вдругъ получилъ свободу и легкость перелетать оть предмета къ предмету, --- легкость, незнакомую Державину. Намъсто оды стали пробовать всѣ роды и формы поэзіи. Дмитріевъ показалъ много таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убиль напыщенность и высокопарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзія: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свътскаго человъка, когда онъ сидить въ гостиной и ведеть разговоръ совсъмъ не затёмъ, чтобы повёдать душевную исповёдь свою или подвинуть другихъ на вакое-нибудь важное дело, но затемъ, чтобы просто повести разговоръ и пошегодять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ. Послѣдніе звуки Державина умолкнули, какъ умолкають послъдние звуки церковнаго органа. и поэзія наша, по выходѣ изъ церкви, очутилась вдругъ на балѣ. Отъ одного только Капниста послышался аромать истинно душевнаго чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотолѣ незнакомая. Воть его «Деревенскій домикъ въ Обуховкъ»:

> Цріютный домъ мой подъ соломой, По мнъ, ни низокъ, ни высокъ; Для дружбы есть въ немъ уголокъ, А къ двери, нищему знакомой, Забыла лънь прибить замокъ.

Но не могда оставаться долго наша поэзія на этой поверхностной свътской верхушкъ. Уже пробуждена была сильно ея чуткость отъ петровскаго удара европейскимъ огнивомъ. Вдругъ примѣтила она, что отъ французовъ, кромъ довкости, ничего не перейметь въ свое воспитаніе, и обратилась къ нъмцамъ. Въ нъмецкой литературъ происходило въ это время явление странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя происшествія, темные призраки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дітство человіка, стали предметомъ німецкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостію школьника, если бы въ ней не слышался тоть младенческий лепеть, которымъ подаеть о себъ въсть безсмертный духъ человъка, требующій себъ живой пищи. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явденіемъ. Ея собственныя славянскія начала напомнили ей вдругь о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при всемь томъ мы сами никакъ бы не столкнулись съ нъмцами, если бы не явился среди насъ такой поэть, который показалъ намъ весь этоть новый. необыкновенный міръ сквозь ясное стекдо своей собственной природы, намъ болѣе доступной, нежели нъмецкая. Этотъ поэтъ — Жуковскій, наша замѣчательнъйшая оригинальность! Чудною, высшею волею вложено было ему въ душу, оть дней младенчества, непостижимое ему самому стремление къ незримому и таинственному. Въ душъ его, точно какъ въ героъ его балдалы Вадимъ, раздавался небесный звоновъ, зовущій вдаль. Изъ-за этого зова бросался онъ на все неизъяснимое и таинственное повсюду, гдъ оно ни встръчалось ему, и сталъ обдекать его въ звуки, близкіе нашей душъ. Все въ этомъ родв у него взято у чужихъ, и больше у нъмцевъ — почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремление, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами нъмцы, выучившіеся по-русски, признаются, что передъ нимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, какъ назвать его переводчикомъ или оригинальнымъ поэтомъ. Переводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковскій показаль ее больше всёхъ нашихъ поэтовъ. Пробежавъ оглавление стихотворений его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтерь Скотта, четвертое у Байрона, и все — върнъйшій сколокъ, слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдъ было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь нѣсколько стихотвореній вдругь и спросишь себя: чьи стихотворенія читаль? — не предстанеть передъ глаза твои ни Шиллеръ, ни Уландъ, ни Вальтеръ Скотть, но поэть, оть нихъ всёхъ отдёльный, достойный пом'ёститься не у ногь ихъ, но състь съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозь личности встахъ поэтовъ пронеслась его собственная личность - это загадка, но она такъ и видится всёмъ. Нётъ русскаго, который бы не составилъ себѣ изъ самихъ же произведений Жуковскаго върнаго портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремление уноситься въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ комъ также изъ нихъ не видится это твердое признание незримыхъ силъ, хранящихъ повсюду человъка, такъ что, читая его, чувствуешь на всякомъ шагу, какъ бы самъ, выражаясь стихами Державина:

> Подъ нядвираніе ты преданъ Невидимыхъ, безсмертныхъ силь, И легіонамъ заповъданъ Всёхъ ангеловъ, чтобъ цёлъ ты быль.

Переводя, производиль онь переводами такое дъйствіе, какъ самобытный и самоцвътный поэть. Внеся это новое, дотодъ незнакомое нашей поэзіи стремленіе въ область незримаго и тайнаго, онъ отрѣшилъ ее самоё отъ матеріализма не только въ мысляхъ и образѣ ихъ выраженія, но и въ самомъ стихъ, который сталь легокъ и безтълесенъ, какъ вилъніе. Переволя, онъ оставиль переводами початки всему оригинальному, внесь новые формы и размъры, которые стали потомъ употреблять всъ другіе наши поэты. Лънь ума помѣпіала ему сдѣлаться преимущественно поэтомъ-изобрѣтателемъ. лънь выдумывать, а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показалъ онъ въ себѣ уже съ самаго начала своего поприща: «Свѣтлана» и «Людмила» разнесли въ первый разъ грѣющіе звуки нашей славянской природы, болѣе близкіе нашей душѣ, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели впечатлъвіе сильное на всъхъ въ то время, погда поэтическое чутье у насъ было еще слабо развито. Элегическій родъ нашей поэзіи созданъ имъ. Есть еще первоначальнъйшая причина, отъ которой произошла и самая лёнь ума: это - свойство оцънивать, которое, поселившись властительно въ его умъ, заставляло его останавливаться съ любовью надъ всякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое такъ изумляло Пушкина. Пушкинъ сильно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мнѣнію, никто, кромъ Жуковскаго, не могъ такъ разъять и опредълить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оцънивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя всъ его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его плѣнившую, онъ не оставляеть ся до тѣхъ поръ, покуда не исчерпаетъ всей, разъявъ какъ бы анатомическимъ ножомъ ея неуловимъйшую подробность. Кто уже могь написать стихотворение о солнцѣ, гдѣ подстережены всъ видоизмъненія солнечныхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дня, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ «Отчетв о лунв» волшебство лунныхъ лучей, съ цълымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимыхъ, — тотъ, разумъется, должень быль заключить въ себъ въ большой степени свойство оцинивать. Его «Славянка» съ видами Павловска — точная живопись. Благоговъйная задумчивость, которая проносится сквозь всё его картины, исполняеть ихъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводить необыкновенное усповоеніе на читателя. Становишься тише во всёхъ своихъ порывахъ, и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ послѣднее время въ Жуковскомъ сталъ замѣчаться передомъ ноэтическаго направленія. По мѣрѣ того, какъ стала передъ нимъ проясняться чище та незримо-свѣтлая даль, которую онъ видѣлъ дотолѣ въ неясно-поэтическомъ отдаленія, пропадала страстъ и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мѣсто свѣтлости душевной. Плодомъ этого была «Ундина», твореніе, принадлежащее вполнѣ Жуковскому: нѣмецкий пересказчикъ того же самаго преданія въ прозѣ не могъ служить его образцомъ. Полный создатель свѣтлости этого поэтическаго созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добылъ какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще виднѣе, нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредѣленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крѣпче и тверже; все пріуготовлялось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачѣ совершеннѣйшаго поэтическаго произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоеніи всего себя духомъ древности и при такомъ

Digitized by Google

1

просвътленномъ, высшемъ взглядѣ на жизнь, покажетъ непремѣнно первоначальный, патріархальный бытъ древняго міра въ свъть родномъ и близкомъ всему человъчеству, — подвигъ, далеко высшій всякаго собственнаго созданія, который доставитъ Жуковскому значеніе всемірное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что ювелиръ передъ прочими мастерами, то есть, мастеръ, занимающійся послѣднею отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добытъ въ горахъ алмазъ. — его дѣло оправитъ этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только среди русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ-быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стояль еще въ первой поръ своего поэтическаго развитія, отръшая нашу поэзію отъ земли и существенности и унося ее въ область безтълесныхъ видъній, другой поэть, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикръплять ее къ землъ и тълу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ спльно чувствоваль. Все прекрасное во встхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нъгу наслажденія. Онъ слышаль, выражаясь его же выраженіемъ, «стиховъ и мыслей сладострастье». Казалось, какъ бы какая-то внутренняя сила, пребывающая въ лонъ поэзія нашей, храня ее отъ крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затёмъ, чтобы въ то время, когда одинъ станетъ приносить звуки стверныхъ птвцовъ Европы, другой обвъялъ бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парни и нъжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать возлушную неопредъленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древнихъ, и той звучащей нъги, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ пашу поэзію; изъ двухъ началъ вмигъ образовалось третье: явился Пушкинъ. Въ немъ середина. Ни отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладострастной роскоши второго. Все уравновѣшено, сжато, сосредоточено, какъ въ русскомъ человѣкѣ, который немногоглаголивъ на передачу ощущенія, но хранитъ и совокупляетъ его долго въ себѣ, такъ что отъ этого долговременнаго ношенія оно имѣетъ уже силу взрыва, если выступитъ наружу. Приведу примѣръ. Поэта поразилъ видъ Казбека, одной изъ высочайшихъ Кавказскихъ горъ, на верхушкѣ которой увидѣлъ онъ монастырь, показавшійся ему рѣющимъ въ небесахъ ковчегомъ. У другого поэта полились бы пылкіе стихи на нѣсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваетъ онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ:

> Далекій, вожделѣнный брегъ! Туда бъ. сказавъ: "прости" ущелью, Подняться въ горной вышинѣ! Туда бъ. въ заоблачную келью, Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!

Именно одно это могъ бы сказать русскій человѣкъ, въ то время, какъ и французъ, и англичанинъ, и нѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и

Н. В. Гоголь. Томъ III.

8

выраженія, какъ Пушкинъ, такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сказать) неумѣреннаго и лишняго, пугаясь приторности того и другого.

Что жъ было предметомъ его поэзіи? Все стало ея предметомъ, и ннуто въ особенности. Нъмъетъ мысль предъ безчисленностію его предметовъ. Чъмъ онъ не поразился и предъ чёмъ онъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго черкеса до бъдной съверной деревушки съ бададайкою и трепакомъ у кабака, — вездъ, всюду: на модномъ балъ, въ избъ, въ степи, въ дорожной кибитвъ — все становится его предметомъ. На все, что ни есть во внутреннемъ человѣкѣ, начиная отъ его высокой и великой черты до малъйшаго вздоха его сдабости и ничтожной прим'яты, его смутившей, онъ отвликнулся такъ же, какъ отвликнулся на все, что ни есть въ природъ видимой и внъшней. Все становится у него отдъльною картиною; все предметь его; изо всего, какъ ничтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтическаго огня, который присутствуеть во всякомъ творении Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не дълая изъ нея никакого примѣненія къ жизни въ потребность человѣку, не обнаруживая никому, зачёмъ исторгнута эта искра, не подставляя къ ней лёстницы ни для кого изъ тѣхъ, которые глухи къ поэзіи. Ему ни до кого не было дѣла. Онъ заботнися только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: «смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!» и, не прибавляя ничего больше, перелетать къ другому предмету затёмъ, чтобы сказать также: «смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!» Оть этого сочиненія его представляють явленіе изумительное противор'ячіемъ т'яхъ впечатлізній, какія они порождають въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но не имъющихъ поэтическаго чутья, они — отрывки недосказанные, дегкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, они - полныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себѣ, что имъ нужно.

На Пушкинъ оборвались всъ вопросы, которые дотолъ не задавались никому изъ нашихъ поэтовъ, и въ которыхъ виденъ духъ просыпающагося времени. Зачъмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направленіе мысленному міру даль Пушкинь? Что сказаль онь нужное своему въку? Подъйствовалъ ли на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвелъ ли вліяніе на другихъ хотя личностію собственнаго характера, геніальными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ даже многіе второстепенные и низшіе поэты? Зачёмъ онъ данъ былъ міру и что доказалъ собою? Пушкинъ данъ быль міру на то, чтобы доказать собою, что такое самъ поэть, и ничего больше, — что такое поэть, взятый не подъ вліяніемъ какого нибудь времени или обстоятельствъ и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего; чтобы, если захочетъ потомъ какой-нибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себъ, что такое въ существъ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірѣ и себѣ одному не имѣющее отклика, то чтобы онъ удовлетворенъ былъ, увидъвъ это въ Пушкинъ. Одному Пушкину опредълено было показать въ себѣ это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всявій отдъльный звукъ, порождаемый въ воздухъ. При мыслъ о всявомъ поэтъ представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллеръ не предстанетъ вдругъ эта свътлая, младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершеннъйшихъ идеалахъ, создавшая изъ нихъ себъ міръ и довольная тъмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ мірѣ? Кому, читающему Байрона, не предстанеть самъ Байронъ, этоть гордый

человѣкъ, облагодѣтельствованный всѣми дарами Неба и не могшій простить ему своего незначительнаго тѣлеснаго недостатка, отъ котораго ропотъ перенесся и въ поэзію его? Самъ Гёте, этотъ Протей изъ поэтовъ, стремившійся обнять все, какъ въ мірѣ природы, такъ и въ мірѣ наукъ, показалъ уже симъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-нѣмецкаго притязанія подладиться ко всѣмъ временамъ и вѣкамъ. Всѣ наши русскіе поэты: Державинъ, Жуковскій, Батюшковъ удержали свою личность. У одного Пушкина ея нѣтъ. Что схватишь изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка! Намѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только не находящій отклика. Всѣ сочиненія его — полный арсеналъ орудій поэта. Ступай туда, выбирай себѣ всякъ по рукѣ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачѣмъ^{*} не вышелъ? — это другой вопросъ. Онъ самъ на него отвѣчаетъ стихами:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значение свое лучше тъхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовію исполняль его. Даже и въ ть поры, когда метался онь самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня, -- точно какой-то храмъ. Не входилъ онъ туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносилъ онъ туда необдуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизни своей; не вошла туда нагишомъ растрепанная дъйствительность. А между тъмъ, все тамъ — исторія его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышаль одно только благоуханіе; но какія вещества перегорбли въ груди поэта затёмъ, чтобы издать это благоуханіе, того никто не можеть услышать. И какъ онъ лелбяль ихъ въ себъ! какъ вынашиваль ихъ! Ни одинь италіанскій поэть не отдѣлывалъ такъ сонстовъ своихъ, какъ обработывалъ онъ эти легкія, повидимому, мгновенныя созданія. Какая точность во всякомъ словъ! Какая значительность всякаго выраженія! Какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всѣ онѣ точно перлы; трудно и рѣшить, которая элегія лучше — словно сверкающіе зубы красавицы, которые уподобляеть царь Соломонъ овцамъюницамъ, только-что вышедшимъ изъ купели, когда онъ всъ какъ одна и всѣ равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ - нибудь потребномъ современному обществу въ его современную минуту, когда хотълось откликнуться на все, что ни есть въ мірѣ, и когда всякій предметь равно звалъ его? Онъ хотълъ обыло изобразить въ «Онѣгинѣ» современнаго человѣка и разрѣшить какую-то современную задачу — и не могъ. Столкнувши съ мѣста своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мѣстѣ и, въ лицѣ ихъ, поразился тѣмъ, чѣмъ поражается поэтъ. Поэма вышла собраніе разрозненныхъ ощущеній, нѣжныхъ элегій, колкихъ эпиграммъ, картинныхъ идиллій, и, но прочтеніи ея, намѣсто всего, выступаетъ тотъ же чудный образъ на все откликнувшагося поэта. Его совершеннѣйшія произведенія: «Борисъ Годуновъ» и «Полтава» — тотъ же вѣрный откликъ минувшему. Ничего не хотѣлъ онъ ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникамъ не замышлялъ онъ выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; не видно также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ кому - нибудь изъ выведенныхъ здѣсь героевъ и предпринялъ бы изъ-за того эти двѣ поэмы, такъ мастерски и художественно отработанныя.

115

Онъ изумился только необычайности двухъ историческихъ событій и хотълъ, чтобы, подобно ему, изумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всёхъ народовъ и въковъ порождало въ немъ тотъ же откликъ. Герой испанский Донъ - Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисденнаго множества драматическихъ поэмъ, далъ ему вдругъ идею сосредоточить все двло въ небольшой собственной драматической картинъ, гдъ еще съ большимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышнъе сама Испанія. Гётевъ «Фаусть» навель его вдругь на идею сжать въ двухътрехъ страничкахъ главную мысль германскаго поэта -- и дивишься, какъ она мътко понята и какъ сосредоточена въ одно кръпкое ядро, несмотря на всю ея неопредъленную разбросанность у Гёте. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духѣ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Селъ, олицетворить науку въ видъ строгой жены, собирающей въ школу дътей, и себя въ видъ школьника, вырвавшагося изъ класса въ садъ, затъмъ, чтобы остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулярами въ рукахъ, говорившими ему живъе науки, гдъ видно, какъ уже рано пробуждалась въ немъ эта чуткость на все откликаться.

И какъ въренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвътъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ испанецъ, съ грекомъ грекъ, на Кавказъ — вольный горецъ, въ полномъ смыслъ этого слова; съ отжившимъ человъкомъ онъ дышитъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу — онъ русскій весь съ головы до ногъ: всъ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мътко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разросталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цёликомъ на всю русскую жизнь, такъ же, какъ откликался на всякую отдъльную ея черту. Мысль о романћ, который бы повъдалъ простую, безыскусственную повъсть прямо русской жизни, занимала его въ послъднее время неотступно. Онъ бросиль стихи единственно затъмъ, чтобы не увлечься ничъмъ по сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростиль онъ до того, что даже не нашли никакого достоинства въ первыхъ повѣстяхъ его. Пушкинъ былъ этому радъ и написалъ «Капитанскую дочку», ръшительно лучшее русское произведение въ повъствовательномъ родъ. Сравнительно съ «Капитанскою дочкою», всѣ наши романы и повѣсти кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскусственность взошли въ ней на такую высокую степень, что сама дъйствительность кажется передъ нею искусственною и карикатурною. Въ первый разъ выступили истинно-русские характеры: простой комендантъ кръпости, капитанша, поручикъ; сама кръпость съ единственною пушкою, безтолковщина времени и простое величіе простыхъ людей, все не только самая правда, но еще какъ бы лучше ея. Такъ оно и быть должно: на то и призваніе поэта, чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видъ. Все показывало въ Пушкинъ, что онъ на то былъ рожденъ и къ тому стремился. Почти въ одно время съ «Капитанскою дочкою» оставиль онъ мастерскія пробы романовъ: «Рукопись села Горохина», «Царскій арапъ» и сдѣланный карандашомъ набросокъ большого романа: «Дубровскій». Въ послёднее время набрался онъ много русской жизни и говориль обо всемь такъ мътко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучшихъ стиховъ; но еще замъчательнъе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освътить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ

уже по смерти его стихотворении. Въ которомъ звуками, почти апокалипсическими, изображенъ побъгъ изъ города, обреченнаго гибели, и часть его собственнаго душевнаго состоянія]. Много готовилось Россіи добра въ этомъ человъкъ... Но, становясь мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ большими пълами, не полумаль онъ о томъ, какъ управиться съ ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ и все въ государствъ услышало вдругъ, что лишилось великаго человъка. Вліяніе Пушкина, какъ поэта, на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только въ началѣ его поэтическаго поприща, когда онъ первыми молодыми стихами своими напомниль было лиру Байрона; когда же пришель онъ въ себя и сталь, наконець, не Байронь, а Пушкинь, общество отъ него отвернулось. Но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сдълаль того Карамзинъ въ прозъ, что онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою карикатурою на него самого и довели какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то онъ быль для всъхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтическій огонь, оть котораго, какъ свъчки, зажглись другіе самоцвътные поэты. Вокругъ него образовалось ихъ цълое созвъздіе: Дельвигь, поэть сибарить, который нъжился всякимъ звукомъ своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпомъ всего напитка поэзіи, глоталъ его по каплъ, какъ знатокъ винъ, присматриваясь къ цвъту и обоняя самый запахъ; Козловъ, гармоническій поэтъ, оть котораго раздались какіе - то дотол'в неслыханные, музыкально - сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэть, который показаль такъ рано самобытное стремление мыслей къ міру внутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отдѣлкѣ ихъ, тогда какъ онѣ еще не вызрѣли въ немъ самомъ; темный и неразвившійся, сталь себя выказывать людямь и сдълался чрезъ то для всёхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всёхъ этихъ поэтовъ возбудиль на дъятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумъю здёсь нашихъ такъ-называемыхъ антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу; но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвътковъ сдъдать выборъ, то выйдетъ книга, подъ которою подпишетъ свое имя лучшій поэтъ. Стоить назвать обоихъ Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и нъкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственнаго поэтическаго огня и благоуханныхъ движеній душевныхъ, если бы не были зажжены огнемъ поэзіи Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестраивать ладъ лиръ своихъ. Извѣстный переводчикъ Иліады Гнѣдичъ, прелагатель псалмовъ Ө. Глинка, партизанъ-поэтъ Давыдовъ, наконецъ, самъ Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искусствъ стихотворномъ, сталъ потомъ учиться самъ у своего ученика. Сдълались поэтами даже тъ, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менъе высокое, судя, по тъмъ духовнымъ силамъ, какія они показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ-то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для вакого-то свътлаго будущаго, покуда еще ему самому не разоблачившагося. Сила возбудительнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о которомъ будетъ рбчь ниже, — повредила именно тбмъ, что они стали передавать невызрбвиня движенія души своей, тогда какъ самая душа не набралась еще поэзіи, доступной и близкой другимъ, и когда опредълено было имъ совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всъхъ соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворныхъ созданий, которую показаль Пушкинь. Позабывь и общество, и всякія современныя связи съ

нимъ человъка, и всякія требованія земли своей, все жило въ какой то поэтической Элладъ, повторяя стихи Пушкина:

> Но для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болѣе всѣхъ отдѣлился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ его всѣмъ послышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удаль всякаго выраженія, свѣтъ молодого восторга и языкъ, который въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности господину еще не являлся дотолѣ ни въ комъ. Имя Языковъ пришлось ему не даромъ: владѣетъ онъ языкомъ, какъ арабъ дикимъ конемъ своимъ, и еще какъ бы хвастается своею властію. Откуда ни начнетъ періодъ, съ головы ли, съ хвоста, онъ выведетъ его картинно, заключитъ и замкнетъ такъ, что остановишься пораженный. Все, что выражаетъ силу молодости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его. Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть отъ всего, къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье въ рѣкѣ:

> Покровы прочь! Передъ челомъ Протянемъ руки удалыя И — букъ! Влистательнымъ дождемъ Взлетаютъ брызги водяные. Какая сильная волна! Какая свъжесть и прохлада! Какъ сладострастия, какъ нъжна Меня обнявшая наяда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ назвалъ прямо-русскою игрою. Юноши-молодцы стали въ кружокъ:

Тяжкій гвоздь стойкомъ и плотно Вьеть въ кольцо — кольцо бренчить. Вешній вечерь беззаботно И невидимо летить.

Все, что вызываеть въ юношть отвагу, — море, волны, буря, пиры п сдвинутыя чаши, братскій союзъ на дѣло, твердая, какъ кремень, вѣра въ будущее, готовность ратовать за отчизну — выражается у него съ силою неестественною. Когда появились его стихи отдѣльною книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: «Зачѣмъ онъ назвалъ ихъ: «Стихотворенія Языкова!» ихъ бы слѣдовало назвать просто: «хмель!» Человѣкъ съ обыкновенными силами ничего не сдѣлаетъ подобнаго; тутъ потребно буйство силъ». Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналѣ. Въ первый разъ увидѣлъ я тогда слезы на лицѣ Пушкина (Пушкинъ никогда не плакалъ; онъ самъ себѣ сказалъ въ посланіи къ Овидію: «Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ, но понимаю ихъ»). Я помню тѣ строфы, которыя произвели у него слезы: первая, гдѣ поэть, обращаясь къ Россіи, которую уже было признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

> Чу! труба продребезжала! Русь! тебѣ надменный зовъ! Вспомяни жъ, какъ ты встрѣчала Всѣ нашествія враговъ!

118

Сововн отъ странъ далекихъ Ты свонхъ богатырей, Со степей, съ равнинъ широкихъ, Съ ръкъ великихъ, съ горъ высокихъ, Отъ осьми твонхъ морей.

И потомъ строфа, гдѣ описывается неслыханное самопожертвованіе предать огню собственную столицу со всѣмъ, что ни есть въ ней священнаго для всей земли:

> Планень въ небе упирая, Лють пожарь Москвы реветь. Златоглавая, святая, Ты ли гибнешь? Русь, впередъ! Гроиче буря истребленья! Кръпче смълый ей отпорь! Это жертвенникъ спасенья, Это планя очищенья, Это фениксовъ костеръ.

У кого не брызнуть слезы послё такихъ строфъ? Стихи его точно разымчивый хмель; но въ хмелѣ слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентскія пирушки не изъ бражничества и пьянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукѣ и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье Во славу чести и добра.

Бѣда только, что хмель перешелъ мъру, и что самъ поэтъ загулялся черезчуръ на радости отъ своего будущаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дѣло только въ одномъ могучемъ порывъ.

Всёхъ глаза устремились на Языкова. Всё ждали чего-то необыкновеннаго отъ новаго поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое то могучее дѣло. Но дѣла не дождались. Вышло еще нѣсколько стихотвореній, повторившихъ слабѣе то же самое; потомъ тяжелая болѣзнь посѣтила поэта и отразилась на его духѣ. Въ послѣднихъ стихахъ его уже не было ничего, шевелившаго русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди нѣмецкихъ городовъ, безучастныя записки разъѣздовъ, перечень однообразно-страдальческаго дня. Все это было мертво русскому духу. Не примѣтили даже необыкновенной отработки позднѣйшихъ стиховъ его. Его языкъ, еще болѣе окрѣпнувшій, ему же послужилъ въ улику: онъ былъ на тощихъ мысляхъ и блѣдномъ содержанія, что панцырь богатыря на хиломъ тѣлѣ карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нѣтъ вовсе мыслей, а одни пустозвонкіе стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противъ него въ ропотъ. Оттолоски этого ропота раздались нелѣпо въ журналахъ, но въ основаніи ихъ была правда. Языковъ не сказалъ же, говоря о поэтѣ, сновами Пушкина:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что говорить поэть:

Когда тебё на подвить все готово, Въ чемъ на землё небесный веденъ даръ, Могучей мысли свётъ и жаръ И огнедышащее слово — Иди ты въ міръ, да слышитъ онъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтъ; но идеалъ свой онъ взялъ изъ своей же природы. Если бы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могь бы и представить онъ себъ такого поэта. Нътъ, не силы его оставили, не бѣдность таланта и мыслей виною пустоты содержанія послѣднихъ стиховъ его, какъ самоувъренно возгласили критики, и даже не болёзнь (болёзнь дается только въ ускоренію дёла, если человёкъ проникнеть смысль ея) — нёть, другое его обезсилило: свёть любви погаснуль въ душь его-воть почему примеркнуль и свъть поэзіи. Полюби потребное и нужное душѣ съ такою силою, какъ полюбиль ты прежде хмель юности своей, — и вдругъ подымутся твои мысли наравнѣ со стихомъ, раздастся огнедышащее слово: изобразишь намъ ту же пошлость болъзненной жизни своей, но изобразишь такъ, что содрогнется человъкъ отъ проснувшихся желъзныхъ силъ своихъ и возблагодаритъ Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній, но для диопрамба и гимна родился онъ; это услышали всв. И уже скорбе оть Державина, нежели оть Пушкина, долженъ быль онъ засвътить свътильникъ свой. Стихъ его только тогда и входить въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свъту: предметъ у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучитъ, или сіяетъ, а не тогда, когда пребываеть въ покоћ. Удћам поэтовъ не равны. Одному опредблено быть вбрнымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни – на то и данъ ему многосторонній, описательный таланть. Другому повельно быть передовою, возбуждающею силою общества во всёхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ-и на то данъ ему лирическій таланть. Не попадеть таланть на свою дорогу, потому что не устремляеть глазь высшихь на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человъкъ. Бъдою, зломъ и болъзнію насильно приводить онъ его къ тому, къ чему онъ не пришель бы самъ. Уже и въ лиръ Языкова замътно стремленіе къ повороту на его законную дорогу. Отъ него услышали недавно стихотвореніе «Землетрясеніе», которое, по мнѣнію Жувовскаго, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдълился князь Вяземскій. Хотя онъ началь писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здъсь. Въ князъ Вяземскомъ — противоположность Языкову: сколько въ томъ поражаетъ нищета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него, какъ первое попавшееся орудіє: никакой наружной отдѣлки его, никакого также сосредоточенія и округленія мысли, затёмъ, чтобы выставить ее читателю, какъ драгоцённость: онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизацій, хотя для такихъ импровизацій нужно имъть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собрадось обиліе необыкновенное всъхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ, чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его-пестрый фараонъ всего вытсть. Онъ не поэтъ по призванію: судьба, надъливши его всъми дарами, дала ему какъ бы въ придачу таланть поэта, затъмъ, чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгѣ «Біографія Фонвизина» обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ да-ровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ, въ одно и то же время, политикъ, философъ, тонкій оцънщикъ и критикъ, положительный государственный человъкъ и даже опытный въдатель практической стороны жизни. словомъ — всъ тъ качества, которыя долженъ заключать въ себъ глубокій историкъ въ значении высшемъ. И если бы такимъ же перомъ, какимъ

начертана біографія Фонвизина, написано было все нарствованіе Екатерины. которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обялія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоянству историческаго сочинения не представила бы намъ Европа. Но отсутствие большого и полнаго труда есть болѣзнь князя Вяземскаго, и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замѣтно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ, возлѣ крѣнкаго и твердаго стиха, какого нѣтъ ни у одного поэта, помъщается другой, ничъмъ на него не похожій; то варугъ защемить онъ чёмъ-то вырваннымъ живьемъ изъ самаго сердца, то вдругь оттолкнеть отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершенно не въ тактъ съ предметомъ; слышна несобранность въ себя, неполная жизнь своими силами; слышится на диъ всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человъка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дъла, которое бы заняло всъ до единой его способности. тяжелъе участи послъдняго бъдняка. Только тотъ трудъ, который заставляеть ціликомь всего человіка обратиться вь себі и уйти въ себя. есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говоритъ поэтъ,

Душа прямится, връпнетъ воля, И наша собственная доля Опредъляется виднъй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобразный ходъ свой, воспитываясь поэтами всъхъ въковъ и націй, обвъваясь звуками всъхъ поэтическихъ странъ, пробуя всъ тоны и аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонѣ. Выбравши себѣ самую незамѣтную и узкую тропу, шелъ онъ по ней почти безъ шуму, пока не переросъ другихъ, какъ крѣпкій дубъ. перерастаеть всю рощу, вначаль его скрывавшую. Этоть поэть — Крыловъ. Выбраль онь себь форму басни, всеми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и почти дътскую игрушку, — и въ сей баснъ умълъ спълаться народнымъ поэтомъ. Это наша кръпкая русская голова, тоть самый умъ, который сродни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ. Пословица не есть какое нибудь впередъ поданное мнѣніе или предположение о дълъ, но уже подведенный итогъ дълу, отсъдъ, отстой уже перебродившихъ и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дбла изъ всбхъ сторонъ его, а не изъ одной. Это выражается и въ поговоркъ: одна ръчь не пословица. Вслъдствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, которымъ преимущественно надъленъ передъ другими русскій человъкъ, наши пословицы значительнъе пословицъ всъхъ другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образъ выражения въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть: издъвка, насмъшка, попрекъ, словомъ – все шевелящее и задирающее за живое: какъ стоглазый Аргусъ, глядить изъ нихъ каждая на человъка. Всъ великіе люди, отъ Пушкина до Суворова и Петра, благоговѣли передъ нашими пословицами. Уважение къ нимъ выразилось многими поговорками: пословица не даромъ молвится, или вовъкъ не сломится. Извѣстно, что если сумѣешь замкнуть рѣчь ловко прибранною пословицей, то симъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себѣ ни была она свыше его понятія.

Отсюда-то ведеть свое происхождение Крыловь. Его басни отнюдь не для детей. Тоть ошибется грубо, кто назоветь его баснописцемъ въ такомъ смысль, въ какомъ были баснописцы Лафонтенъ, Динтріевъ, Хемницеръ, и, наконецъ, Измайловъ. Его притчи — достояніе народное и составляютъ книгу мудрости самого народа. Звъри у него мыслять и поступають слишкомъ порусски: въ ихъ продълкахъ между собою слышны продълки и обряды производствъ внутри Россіи. Кромъ върнаго звъринаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвъдь, волкъ, но даже самъ горшокъ поворачивается какъ живой, они показали въ себъ еще и русскую природу. Даже осель, который у него до того опредълился въ характеръ своемъ, что стоитъ ему высунуть только уши изъ какой-нибудь басни, какъ уже читатель вскрикиваеть впередъ: «это осель Крылова!» даже осель, несмотря на свою принадлежность влимату другихъ земель, явился у него русскимъ человѣкомъ. Нѣсколько лѣтъ производя кражу по чужимъ огородамъ, онъ возгорълся вдругъ честолюбіемъ, захотъль ордена и заважничаль страхъ, когда хозяинъ повѣсилъ ему на шею звонокъ, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будуть видны всёмъ и привлекуть отовсюду побои на его бока. Словомъ — всюду у него Русь и пахнеть Русью. Всякая басня его имбеть, сверхъ того, историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, повидниому, равнодушие въ событиямъ современнымъ, поэтъ, однакоже, слъдиль всякое событіе внутри государства: на все подавалъ свой голосъ и въ голосъ этомъ слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаеть до своего полнаго совершенства. Строго взвъшеннымъ и кръпкимъ словомъ такъ разомъ онъ и опредблитъ дбло, такъ и означить, въ чемъ его истинное существо. Когда нѣкоторые черезчуръ военные люди стали было уже утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силь и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ встять, что ни есть военнаго, изъ-за того только, что нъкоторые обратили военное дъло въ одни погончики да петлички, онъ написаль знаменитый спорь пушекь съ парусами, въ которомъ вводить объ стороны въ ихъ законныя границы симъ замъчательнымъ четверостишіемъ:

> Держава всякая сильна, Когда устрозны въ ней мудро части: Оружіемъ-врагамъ она грозна, А паруса-гражданскія въ ней власти.

Какая мъткость опредъленія! Безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у нъкоторыхъ доброжелательныхъ, но недальнозоркихъ начальниковъ утвердилось было странное мнъніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ должностяхъ изъ-за того единственно, что нъкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замъшались въ безразсудное дъло, онъ написалъ не меньше замъчательную басню: «Двъ бритвы», и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

> Людей съ умомъ боятся И держать при себѣ охотный дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездъ держитъ сторону ума, какъ проситъ не пренебрегать умнаго человъка, но умъть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ баснъ «Музыканты», которую заключилъ онъ словами: «По мнъ, ужъ лучше пей, да дъло разумъй!» Не потому онъ это сказалъ, чтобы

122

хотѣлъ похвалить пьянство, но потому, что заболѣла его душа при видѣ, какъ нѣкоторые, набравши къ себѣ, намѣсто мастеровъ дѣла, людей Богъ вѣсть какихъ, еще и хвастаются тѣмъ, говоря, что хоть мастерства они и не смыслятъ, но зато отличнѣйшаго поведенія. Онъ зналъ, что съ умнымъ человѣкомъ все можно сдѣлать и не трудно обратить его къ хорошему поведенію, если сумѣешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сдѣлать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. Въ ворть — что въ морть, а въ дурактъ — что въ присиомъ молоктъ, говоритъ наша пословица. Но и умному дѣлаетъ онъ также крѣпкія замѣтки, сильно попрекнувши его въ баснѣ «Прудъ и Рѣка», за то, что далъ задрематъ своимъ способностямъ, и строго укоривши въ баснѣ «Сочинитель и Разбойникъ» за развратное и злое ихъ направленіе. Вообще его занимали вопросы важные. Въ книгѣ его всѣмъ есть уроки, всѣмъ степенямъ въ государствѣ, начиная отъ главы, которому говорить онъ:

Властитель хочеть ли народы удержать? Держи бразды не вкруть, но мощною рукою,---

и до послёдняго труженика, работающаго въ низшихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удёлъ въ видё пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тотъ почтенъ, кто, въ инзости сокрытый, За всъ труды, за весь потерянный покой, Ни славою, ни почестьми не льстится И мыслью оживленъ одной, Что къ пользъ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ вѣчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умълъ сдълать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всёмъ, какъ Крыловъ. Поэть и мудрець слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плёнительной, грозной и даже грязной, до передачи малёйшихъ оттънковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мътко, такъ найдено върно и такъ усвоены кръпко вещи, что даже и опредълить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметь, какъ бы не имъя словесной оболочки, выступаеть самъ собою, натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредълишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучить онъ тамъ, гдъ предметъ у него звучитъ; движется, гдъ предметъ движется; кръпчаеть, гдъ кръпнеть мысль, и становится вдругь легкимъ, гдъ уступаеть легковъсной болтовнъ дурака. Его ръчь покорна и послушна мысли и летаеть, какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ, шестистопномъ стихъ, то въ быстромъ, одностопномъ; разсчитаннымъ числомъ слоговъ выдаеть она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стоитъ вспомнить величественное заключение басни «Пвѣ бочки»:

> Великій человъкъ лишь виденъ на дълахъ, И думаетъ свою онъ кръцку думу Безъ шуму.

Туть оть самаго размъщенія словъ какъ бы слышится величіе ушедшаго въ себя человъка.

Оть Крылова вдругъ можно перейти къ другой сторонъ нашей поэзіи сатирической. У насъ у всъхъ много ироніи. Она видна въ нашихъ пословнцахъ и пъсняхъ, и, что всего изумительнъе, часто тамъ, гдъ видимо страждетъ

душа и не расположена вовсе въ веселости. Глубина этой самобытной ироніи еще предъ нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всёми европейскими воспитаніями, мы и туть отдалились оть родного корня. Наклонность въ ироніи, однакожъ, удержадась, хотя и не въ той формъ. Трудно найти русскаго человъка, въ которомъ бы не соединялось, вмъстъ съ умъньемъ предъ чёмъ-нибудь истинно возблагоговёть, свойство — надъ чёмъ-нибудь истинно посмъяться. Всъ наши поэты заключали въ себъ это свойство. Державинъ крупною солью разсыпаль его у себя въ большей половинъ одъ своихъ. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземскаго; оно слышно даже у такихъ поэтовъ, которые въ характеръ своемъ имъли нъжное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у князя Долгорукаго; оно есть что-то сродное намъ всёмъ. Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирическіе. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настраивалъ свою лиру на высокій лирическій ладъ, князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры и хлесталъ ею глупости едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмѣшливыхъ перелицовокъ наизнанку извѣстнѣйшихъ произведеній и всякаго рода пародій тдкихъ, злыхъ, которыя останутся, втроятно, всегда въ рукописяхъ, и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стоитъ вспомнить пародіи князя Горчакова, сатиру на литераторовъ Воейкова: «Домъ сумасшедшихъ», и талантливыя пародіи Михайла Дмитріева, гдѣ желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ славянскимъ добродушіемъ. Но сатира скоро попросила себъ поприща общирнъйшаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и повсюду, сначала подражаніями; потомъ стали пробиваться черты оригинальныя. Въ трагедіи явились нравственная сила и незнаніе человъга подъ условіемъ взятой эпохи и въка; въ комедія — легкія насмъшки надъ смъшными сторонами общества, безъ взгляда на душу человѣка. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмѣльницкаго, Загоскина, А. Писарева помнятся съ уваженіемъ; но все это поблёднёло передъ двумя яркими произведеніями: передъ комедіями: Фонвизина «Недоросль» и Грибобдова «Горе оть ума», которыя весьма остроумно назвалъ князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ нихъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но рацы и болѣзни нашего общества, тяжелыя злоупотребленія внутреннія, которыя безпощадною силою проніи выставлены въ очевидности потрясающей. Объ комедіи взяли пвъ разныя, эпохи. Одна поразила болъзни отъ непросвъщенія, другая — отъ дурно-понятаго просвѣщенія.

Комедія Фонвизина поражаеть огрубѣлое звѣрство человѣка, происшедшее оть долгаго безчувственнаго, непотрясаемаго застоя въ отдаленныхъ углахъ и захолустьяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубѣнія, что въ ней почти не узнаешь русскаго человѣка. Кто можетъ узнать что-нибудь русское въ этомъ злобномъ существѣ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромѣ своего сына? А между тѣмъ, чувствуешь, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіп не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дѣтищу есть наша сильная русская любовь, которая въ человѣкѣ, потерявшемъ свое достоинство, выразилась въ такомъ извращенномъ видѣ, въ такомъ чудномъ соединеніи съ тиранствомъ, такъ что, чѣмъ болѣе она любитъ свое дитя, тѣмъ болѣе ненавидитъ все, что не есть ея дитя. Потомъ характеръ Скотинина — другой типъ огрубѣнія. Его неуклюжая природа, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то

бодѣе спокойную, въ своемъ родѣ художественную любовь къ скотинѣ, намъсто человъка: свиньи сдълались для него то же, что для любителя искусствъ картинная галлерея. Потомъ супругъ Простаковой — несчастное, убитое существо, въ которомъ и тъ слабыя силы, какія держались, забиты понуканіями жены, — полное притупленіе всего! Наконець, самъ Митрофанъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природъ, не имъя желанія наносить кому-либо несчастие, становится нечувствительно, съ помощью угожденій и баловства, тираномъ всѣхъ, и всего болѣе тѣхъ, которые его сильнъе любятъ, то есть матери и няньки, такъ что наносить имъ оскорбленіе сдълалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ — лица эти какъ бы уже не русскія; трудно даже и узнать въ нихъ русскія качества, исключая только развѣ одну Еремѣевну да отставного солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на нихъ не подъйствуещь ни вліяніемъ Церкви, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ нихъ одно пошлое, и только одному жельзному закону здѣсь мѣсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною карикатурою на русское, а между тъмъ, нътъ ничего въ ней карикатурнаго: все взято живьемъ съ природы и провърено знаніемъ души. Это ть неотразимо-страшные идеалы огрубънія, до которыхъ можетъ достигнуть только одинъ человъкъ Русской земли, а не другого народа.

Комедія Гриботдова взяла другое время общества — выставила болтзни отъ дурно понятаго просвъщенія, отъ принятія глупыхъ свътскихъ мелочей намъсто главнаго, словомъ — взяла донкишотскую сторону нашего европейскаго образованія, несвязавшуюся смѣсь обычаевъ, сдѣлавшую русскихъ не русскими, но иностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнутъ, какъ и Простаковой. Такъ же наивно, какъ хвастается Простакова своимъ невъжествоять, онъ хвастается полупросвъщеніемъ, какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежить: хвастается тъмъ, что московскія дъвицы верхнія выводять нотки, словечка два не скажуть, все съ ужимкой; что дверь у него отперта для всъхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита ничего не дълающею роднею. Онъ и благопристойный степенный человъкъ, и волокита, и читаетъ мораль, и мастеръ такъ пообъдать, что въ три дня не сварится. Онъ даже вольнодумець, если соберется съ подобными себъ стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрѣлъ къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честитъ всѣхъ, кто не подчинился принятымъ свътскимъ обычаямъ ихъ общества. Въ существъ своемъ это одно изъ тъхъ вывътрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свътскомъ comme il faut, не осталось ровно ничего, которыя своимъ пребываніемъ въ столицъ и службою такъ же вредны обществу, какъ другіе ему вредны своею неслужбою и огрубълымъ пребываніемъ въ деревнъ. Вредны, во первыхъ, собственнымъ имбніямъ своимъ — тъмъ, что, предавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя отъ нихъ только денегъ для своихъ баловъ и объдовъ, званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія помъщиковъ съ крестьянами; вредны, во-вторыхъ, на служащемъ поприщѣ — тѣмъ, что, доставляя мыста однимь только ничего не дълающимь родственникамь своимь, отняли у государства истинныхъ дъльцовъ и отвадили охоту служить у честнаго человъка; вредны, наконецъ, въ-третьихъ, духу правительства своею двусмысленною жизнію — тъмъ, что, подъ личиною усердія [къ царю] и благонамъренности, требуя поддъльной нравственности отъ молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили негодованіе молодежи, неуваженіе къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству дъйствительному

 125^{-1}

у тёхъ, которые имѣютъ некрѣпкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замъчателенъ другой типъ: отъявленный мерзавецъ Загоръцкій, вездъ ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый, лгунъ, плуть, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставлениемъ ему того, къ чему онъ грѣховно цалокъ, готовый, въ случат надобности, спълаться патріотомъ и ратоборцемъ нравственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени всѣ книги, какія ни есть на свътъ, а въ томъ числъ и сочинителей даже самыхъ басенъ за ихъ въчныя насмъшки надъ львами и орлами] и симъ обнаружившій, что, не боясь ничего, даже самой позорныйшей брани, боится, однакожь, насмышки, какъ чортъ вреста. Не меньше замъчателенъ третій типъ: глупый либералъ Репетиловъ, рыцарь пустоты во всъхъ ся отношеніяхъ, рыскающій по ночнымъ собраніямъ, радующійся, какъ Богъ въсть какой находкъ, когда удается ему пристегнуться въ какому-нибудь обществу, которое шумитъ о томъ, чего онъ не понимаеть, чего и разсказать даже не умбеть, но котораго бредни слушаеть онь съ чувствомъ, въ увъренности, что попаль, наконець, на настоящую дорогу, и что туть кроется дъйствительно какое-то общественное дбло, которое, хотя еще не созрбло, но какъ разъ созрбеть, если только о немъ пошумятъ побольше, станутъ почаще собираться по ночамъ да позадористве между собою спорить. Не меньше замвчателенъ четвертый типъ: глупый [фрунтовикъ] Скалозубъ, понявшій службу единственно въ умѣньи различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій [либеральный] взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы попасть въ генералы, а тамъ ему хоть трава не расти; всъ прочія тревоги ему ни по чемъ, а обстоятельства времени и въка для него не головоломная наука: онъ искренно увъренъ, что весь міръ можно успокоить, давши ему въ Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замъчательный также типъ и старуха Хлёстова, жалкая смѣсь пошлости двухъ вѣковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколѣнія, съ требованіями почтенія къ себъ отъ тъхъ самыхъ людей, которыхъ сама презираеть, готовая выбранить вслухъ и встръчнаго, и поперечнаго за то только, что не такъ къ ней сълъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему не питающая никакой любви и никакого уваженія, но покровительница арапченокъ, мосекъ и людей вродъ Молчалина, словомъ — старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ — тоже замѣчательный типъ. Мѣтко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамѣсть тихомолкомъ пробирающееся въ люди, но въ которомъ, по словамъ Чацкаго, готовится будущій Загоръцкий. Такое скопище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окарикатурилъ какое-цибудь мнѣніе, правило, мысль, извративши по-своему законный смысль ихъ, должно было вызвать въ отпоръ ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досадъ и въ справедливомъ негодовании противу ихъ всъхъ, Чацкий переходитъ также въ излишество, не замбчая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержный языкъ свой онъ дълается самъ нестерпимъ и даже смъщонъ. Всъ лица комедіи Грибоъдова суть такія же дъти полупросвъщенія, какъ Фонвизиновы — дъти непросвъщенія, русскіе уроды, временныя, преходящія лица, образовавшіяся среди броженія новой закваски. Прямо-русскаго типа нъть ни въ комъ изъ нихъ: не слышно русскаго гражданина. Зритель остается въ недоумъніи насчетъ того, чёмъ долженъ быть русскій человёкъ. Даже то лицо, которое взято, повидимому, въ образецъ, то-есть, самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе

чѣмъ-то сдѣлаться, выражаеть только негодованіе противу того, что презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но не даеть въ себѣ образца обществу.

Объ комедіи исполняють плохо сценическія условія; въ семъ отношеніи ничтожная французская пьеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о немъ немного заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая съ нимъ выходы и уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измърена также не въ отношеніи къ герою пьесы, но въ отношения въ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сценъ, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. Въ противномъ же случат, то-есть, если бы они выполнили и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мътко схваченныхъ и постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ дъйствіи, а не въ разговоръ — это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно-общественными комедіями, и подобнаго выраженія, сколько инъ кажется, не принимала еще комедія ни у одного изъ народовъ. Есть слъды общественной комедіи у древнихъ грековъ; но Аристофанъ руководился болье личнымъ расподоженіемъ, нападалъ на злоупотребленія одного какогонибудь человѣка и не всегда имѣлъ въ виду истину: доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмъять Сократа. Наши комики двигнулись общественною причиною, а не собственною, возстали не противъ одного лица, но противъ цълаго иножества злоупотреблений, противъ уклонения всего общества оть прямой дороги. Общество сдълали они какъ бы собственнымъ своимъ. твломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ наситьшки. Это — продолжение той же брани свъта со тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго русскаго дълаетъ уже невольно ратникомъ свъта. Объ комедіи ничуть не созданія художественныя и не приналлежать фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились онъ почти сами собою, въ видъ какого-то грознаго очищенія. Вотъ почему по слъдамъ ихъ не появлялось въ нашей литературъ ничего имъ подобнаго и, въроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе поэзіи нашей впередъ. Это, однакоже, не значить, чтобы духъ ея угаснуль; напротивь, онъ, какъ гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота въ воздухѣ возвѣщають его приближение. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можеть вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очертаннаго вруга и показать собственныя силы. Еще даже не слышить никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихіи новой жизни и раздаются вопросы, которые дотолѣ не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще нътъ самоцвътности. Ихъ даже не слъдуетъ называть по именамъ. кромѣ одного Лермонтова, который себя выставилъ вцередъ больше другихъ и котораго уже нъть на свъть. Въ немъ слышатся признаки таданта первостепеннаго; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звъзда, которой управление захотълось ему надъ собою признать. Попавши съ самаго начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переходнымъ, которое, какъ бъдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степянъ, слыша само, что не прирасти ему ни къ какой другой почвъ. и его жребій — завянуть и пропасть, — онъ уже съ раннихъ поръ сталъ

выражать то раздирающее сердце равнодушие по всему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встръчи, безпечальныя разставанія, странныя, безсмысленныя любовныя узы, неизвъстно зачъмъ заключаемыя и неизвъстно зачъмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма върно опредълить существо этой поэзіи словомъ безочарование. Съ помощію таланта Лермонтова, оно сдѣлалось было на время моднымъ. Какъ нъкогда съ легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свъту очарование и стало моднымъ, какъ потомъ съ тяжелой руки Байрона пошло въ ходъ разочарование, порожденное, можетъбыть, излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время моднымъ, такъ, наконецъ, пришла очередь и безочарованию, родному дътищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумбется, было кратковременные всёхь прочихъ, потому что въ безочаровани ровно нътъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какого-то обольстительнаго демона, поэтъ покушался не разъ изобразить его образъ, какъ бы желая стихами отъ него отделаться. Образъ этоть не вызначень определительно, даже не получиль того обольстительнаго могущества надь человъкомъ, которое онъ хотъль ему придать. Видно, что выросъ онъ не оть собственной силы, но оть усталости и лѣни человѣка сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотворении, названномъ: «Сказка для дътей», образъ этотъ получаетъ больше опредълительности и больше смысла. Можеть быть, съ окончаніемъ этой повъсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отдълался бы онъ отъ самаго духа и вибстъ съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (примъты тому уже сіяють въ стихотвореніяхъ «Ангель», «Молитва» и нъкоторыхъ другихъ), если бы только сохранилось въ немъ самомъ побольше уважения и любви къ своему таланту. Но никто еще не игралъ такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Незамѣтно въ немъ никакой любви къ дѣтямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, не возлелъялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себѣ самомъ; самый стихъ не получиль еще своей собственной твердой личности и блёдно напоминаеть то стихъ Жуковскаго, то Пушкина; повсюду излишество и многорѣчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Туть видно больше углубленія въ дъйствительность жизни — готовился будущій великій живописець русскаго быта... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбѣ нашихъ поэтовь. Какъ только кто-нибудь изъ нихъ, упустивь изъ виду свое главное поприще и назначение, брался за другое или же опускался въ тоть омуть свътскихъ отношеній, гдъ не слъдуеть ему быть, и гдъ нъть мъста для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдругъ изъ нашей среды. Три первостепенныхъ поэта: Пушкинъ, Грибоъдовь, Лермонговъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ, были похищены насильственною смертію, въ теченіе одного десятильтія, въ поръ самаго цвътущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ — и никого это не поразило: даже не содрогнулось вътреное племя!

Но пора, однакоже, сказать въ заключеніе, что такое наша поэзія вообще, зачѣмъ она была, къ чему служила и что сдѣлала для всей Русской земли нашей. Имѣла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, воспитавши и облагородивши каждаго, сообразно его мѣсту, и возвысивши ионятія всѣхъ вообще, сообразно духу земли и кореннымь силамъ народа,

которыми должно двигаться государство? Или же она была, просто, върною картиною нашего общества, — картиною полною и подробною, яснымъ зерка ломъ всего нашего быта! Не была она ни тъмъ, ни другимъ; ни того, ни другого она не сдълала. Она была почти незнаема и невъдома нашимъ обществомъ, которое въ то время воспитывалось другимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ французскихъ, нъмецкихъ, англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изо встхъ странъ, встхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правиль и направленій. Общество наше, — чего не случалось еще доселѣ ни съ однимъ народомъ, — воспитывалось въ невѣдѣніи земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ позабытъ, такъ что поэзіи нашей были даже отръзаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносияа въ гостиную какое-нибудь стихотворное произведение, или же плодъ незрълой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведеніе, но отв'язавшее какимънибудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о существованіи среди него поэта. Словомъ — поэзія наша ни поучала общество, ни выражала его. Какъ бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время свыше общества; если жъ и опускалась къ нему, то развѣ затѣмъ только, чтобы хлеснуть его бичомъ сатиры, а не передавать его жизнь въ образецъ потомству. Дъло странное: предметомъ нашей поэзіи все же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наши лучшія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не върить тому, что говорить намъ о насъ же Державинъ. Когда же выставляеть писатель наши низкія стороны, мы опять не втримъ, и намъ это кажется карикатурою. Есть, точно, въ томъ и другомъ какъ бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ дълъ преувеличенія нътъ. Причиною перваго то, что наши лирические поэты, владбя тайною прозрбвать въ зернб, почти непримътномъ для простыхъ глазъ, будущій великолъпный плодъ его, выставляли очищените всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирическіе наши писатели, нося въ душѣ своей, хотя еще и неясно, идеаль уже лучшаго русскаго человъка, видъли яснъе все дурное и низкое дъйствительно-руссваго человъка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можеть увидѣть обыкновенный человъкъ. Вотъ отчего въ послъднее время, сильнъе всъхъ прочихъ свойствъ нашихъ, развилась у насъ насмъщливость. Все смъется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смъющееся надъ встыть равно, надъ стариною и надъ новизною, и благоговъющее только предъ однимъ нестаръющимъ и въчнымъ. Итакъ, поэзія наша не выразила нать нигдъ русскаго человъка вполнъ, ни въ томъ идеаль, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той дъйствительности, въ какой онъ и нынъ есть. Она собрада только въ кучу безчисленные оттънки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только въ одно казнохранилище отдёльно взятыя стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспъло еще время живописать себя цъликомъ и хвастаться собою, что еще нужно намъ самимъ прежде организоваться, стать собою и сдълаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа кь тому, чтобы принять сй принадлежащую форму; еще не успѣли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, напесенныхъ отовсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встръча чужеземнаго съ своимъ и не-

Н. В. Гоголь. Томъ ІП.

Digitized by Google

9

разумное извлечение того самаго вывода, для котораго повелѣна Богомъ эта встръча. Слыша это, поэты какъ бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбѣ лучшее изъ нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, гдъ находили, и спъшили его выносить на свъть, не заботясь о томъ, гдѣ и какъ его поставить. Такъ бѣдный хозяинъ изъ обхваченнаго пламенемь дома старается выхватить только то, что есть въ немъ драгоцённъйшаго, не заботясь о прочемъ. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы, — если настанеть, наконець, то благодатное время, когда мысль о внутреннемъ построеніи человъка въ такомъ образъ, въ какомъ повелблъ ему состроиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сдълается, наконецъ, у насъ общею по всей Россіи, и равно желанною встиъ, — то чтобы увидъли мы, что есть дъйствительно въ насъ лучшаго собственно нашего, и не позабыли бы его вмъстить въ свое построение. Наши собственныя совровища стануть намъ отврываться больше и больше, по мъръ того, какъ мы станемъ внимательнъе вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мъръ большаго и лучшаго ихъ узнанія, намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, доселѣ почти никѣмъ не замѣчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ, но отчасти даже и строителями нашими, или дъйствительно имъя о томъ мысль, или ея не имъя, но показавши своею высшею оть насъ природою которое-нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось виднѣе, затъмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей врасъ своей. Это стремленіе Державина начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполинскомъ величія, не было стремленіемъ произвольнымъ: начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народъ. Широкія черты человъка величаваго носятся и слышатся по всей Русской землѣ такь сильно, что даже чужеземцы, заглянувшіе во внутрь Россія, ими поражаются еще прежде, нежели успѣвають узнать нравы и обычан земли нашей. Еще недавно одинъ изъ нихъ, издавшій свои записки съ тъ́мъ именно, чтобы показать Европъ съ другой стороны Россію 1), не могъ скрыть изумленія своего при видъ простыхъ обитателей деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, останавливался онъ передъ нашими маститыми, бъловласыми старцами, сидящими у пороговъ избъ своихъ, которые казались ему величавами патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Не одинъ разъ сознался онъ, что нигдъ въ другихъ земляхъ Европы, гдъ ни путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человѣка въ такомъ величіи, близкомъ къ патріархально-библейскому. И эту мысль повторилъ онъ нѣсколько разъ на страницахъ своей растворенной ненавистію къ намъ книги. Это свойство чуткости, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинъ, есть наше народное свойство. Вспомнимъ только одни названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себѣ это свойство, напримъръ: название ухо, которое дается такому человѣку, въ которомъ всѣ жилки горять и говорять, который мигь не постоить безь дела; удача — всюду спеющій и везде успьвающій, и множество есть у насъ другихъ названій, опредъляющихъ различные оттънки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: не полонъ и суровъ выйдетъ русскій мужъ, начертанный Державинымъ, если не будетъ въ немъ чутья откликаться живо на всякій предметь въ природъ, изумляясь на всякомъ шагу красотъ Божьяго творенія. Этотъ умъ, умъющій найти законную середину всякой вещи, который обнаружился въ Крыловъ, есть нашъ истинно-русский уль. Только въ Крыловъ отразился тотъ върный тактъ русскаго

^{1) &}quot;Маркизъ Кюстинъ."

ума, который, умъя выразить истинное существо всякаго дъла, умъетъ выразить его такъ, что никого не оскорбить выраженіемъ и не возстановить ни противъ себя, ни противъ мысли своей даже несходныхъ съ нимъ людей, однимъ словомъ – тотъ върный тактъ, который мы потеряли среди нашего свътскаго образованія и который сохранился досель у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умъеть говорить со всъми себя высшими, [даже съ царемъ, такъ свободно, какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажеть неприличія, тогда какъ мы часто не умбемъ поговорить даже съ равнымъ себъ такимъ образомъ, чтобы не оскорбить его какимъ-нибудь выраженіемъ. Зато уже, въ комъ изъ насъ пъйствительпо образовался этотъ сосредоточенный, върный, истинно русскій такть ума — онъ у нась пользуется уваженіемъ всёхъ; ему всё позволять сказать то, чего никому другому не позволять; на него никто ужъ и не сердится. У всъхъ нашихъ писателей бывали враги. лаже у самыхъ незлобнъйшихъ и прекраснъйшихъ душою (стоитъ вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая идаль и отвага рвануться на дъло добра, которая такъ и буйствуеть въ стихахъ Языкова, есть удаль нашего русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даеть у насъ вдругъ молодость и старцу, и юношѣ, если только предстанетъ случай рвануться всѣмъ на дѣло, невозможное ни для какого другого народа, - которое вдругь сливаеть у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ одно чувство, такъ что п ссоры и личныя выгоды каждаго — все позабыто, и вся Россія — одинъ человъкъ. Всъ эти свойства, обнаруженныя нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только виднъе развившіяся; поэты берутся не откуда же нибудь изъ-за моря, но исходять изъ своего народа. Это — огни, изъ него же излетъвшие, передовые въстники силь его. Сверхъ того поэты наши сдвлали добро уже тъмъ, что разнесли благозвучіе, дотолъ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературъ показали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттънковъ звука, чему отчасти, разумъется, способствовалъ самъ поотический языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, котораго до сихъ поръ не можеть еще позабыть наше ухо; этоть густой, какъ смола или струя столътняго токая, стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова, ваетающій, какъ лучъ, въ душу, весь сотканный изъ свѣта; этотъ облитый ароматами полудня стихъ Батюшкова, сладостный, какъ медъ изъ горнаго ущелья; этоть легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ золовой арфы; этоть тяжелый, какъ бы влачащійся по вемль стихъ Ваземскаго, проникнутый подчасъ ѣдкою, щемящею русскою грустью, всъ они, точно разнозвонные колокола или безчисленные клавиши одного великолѣпнаго органа, разнесли благозвучіе по Русской землѣ. Благозвучіе ве такъ пустое дбло, какъ думаютъ тъ, которые незнакомы съ поэзіею. Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную, прекрасную пъсню матери, убаюкивается народъ-младенецъ еще прежде, нежели можеть входить въ значеніе словъ самой пъсни, и нечувствительно сами собою стихають и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываеть нужно, какъ во храмъ куреніе кадильное, которое уже невидимо настрояеть душу къ слышанію чего-то лучшаго еще прежде, нежели началось самое служеніе. Поэзія наша пробовала всъ аккорды, воспитывалась литературами всёхъ народовъ, прислушивалась въ лирамъ встахъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ затъмъ, чтобы приготовить встахъ къ служению болте значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тёхъ пустякахъ, о которыхъ еще продолжаетъ вътрено лепетать молодое,

не павшее себъ отчета нынъшнее покольніе поэтовъ; нельзя служить и самому искусству, — какъ не прекрасно это служеніе, — не уразумъвъ его цѣли высшей и не опредѣливъ себѣ, зачѣмъ дано намъ искусство; нельзя повторять Пушкина. Нѣтъ, не Пушкинъ или кто другой долженъ стать теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничъмъ не возьмешь — ни своеобразіемъ ума своего, ни картинною личностію характера, ни гордостію движеній своихъ: христіанскимъ, высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь поэть. Другія дѣла наступають для поэзіи. Какъ во время младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ браннолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человъка — на битву уже не за временную нашу свободу, [права и привилегіи,] но за нашу душу, которую Самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ перломъ своихъ созданій. Много предстоить теперь для поэзіи --- возвращать въ общество то, что есть истинно-прекраснаго, и что изгнано изъ него нынъшнею безсмысленною жизнію. Нътъ, не напомнять они уже никого изъ нашихъ прежнихъ поэтовъ. Самая дъчь ихъ будеть другая: она будеть ближе и родственные нашей русской душь: еще въ ней слышнъе выступятъ наши народныя начала. Еще не бьетъ всею силою кверху тоть самородный ключь нашей поэзіи, который уже кипьль и билъ въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово поэзія не было ни на чьихъ устахъ. Еще никто не черпалъ изъ самой глубины тъхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомянуто въ началъ этой статьи. Еще доселъ загадка — этотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ нашихъ пъсняхъ, несется куда-то мимо жизни и самой пъсни, какъ бы сгорая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуеть со дня созданія своего челов'якь. Еще ни въ комъ не отразилась вполнъ та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умъвшихъ сдълать такіе великіе выводы изъ бъднаго, ничтожнаго своего времени, гдё въ такихъ тёсныхъ предълахъ и въ такой мутной лужт изворачивался. русскій человѣкъ, и которыя говорять только о томъ, какіе огромные выводы можеть сдълать нынъшній русскій человъкъ изъ нынъшняго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всъхъ въковъ и, какъ не разобранный товаръ, сброшены въ одну безпорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ, — рожденіе верховной трезвости ума, — который исходить оть нашихъ церковныхъ пъсней и каноновъ и покуда такъ же безотчетно возносить духъ поэта, какъ безотчетно подмывають его сердце родные звуки нашей пъсни. Наконецъ, самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна. Въ немъ всъ тоны и оттънки, всъ переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нъжныхъ и мягкихъ; онъ безпредъленъ и можеть, живой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съ другой стороны выбирая на выборъ мъткія названія изъ безчисленныхъ своихъ наръчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имъя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рѣчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанію непонятливъйшаго человъка, — языкъ, который самъ по себъ уже поэтъ и который недаромъ быль на время позабыть нашимъ лучшимъ обществомъ: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземныхъ наръчіяхъ всю дрянь, какая ни пристала къ намъ вмъстъ съ чужеземнымъ образованіемъ, чтобы всъ тъ неясные звуки, неточныя названія вещей, — дёти мыслей невыяснившихся и сбивчивыхъ, которыя потемняють языки, — не посмъли помрачить младенческой ясности

нашего языка и возвратились бы къ нему, уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудѣ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная, сильнѣйшая рѣчь. Цройдетъ эта рѣчь уже насквозь всю душу и не упадетъ на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всѣмъ струнамъ, какія ни есть въ русскомъ человѣкѣ, внесетъ въ самыя огрубѣлыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могутъ утвердить въ человѣкѣ; вызоветъ намъ нашу Россію, — нашу русскую Россію, не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе-нибудь квасные патріоты, и не ту, которую вызываютъ къ намъ изъ-за моря очужеземившіеся русскіе, но ту, которую извлечетъ она изъ насъ же, и покажетъ такимъ образомъ, что всѣ до единаго, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и мнѣній, скажутъ въ одинъ голосъ: «Это наша Россія; намъ въ ней пріютно и тепло, и мы теперь дѣйствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбинѣ!»

XXXII.

Свътлое Воскресеніе.

Въ русскомъ человъкъ есть особенное участіе въ празднику Свътлаго Воскресенія. Онь это чувствуеть живье, если ему случится быть въ чужой землѣ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличень оть другихь дней, — ть же всегдашнія занятія, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицахъ, — онъ чувствуетъ грусть и обращается невольно въ Россін. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день, и самъ человъкъ радостнъе и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдругъ представятся — эта торжественная полночь, этоть повсемъстный колокольный звонъ, который какъ бы всю землю сливаеть въ одинъ гулъ, это восклицаніе «Христосъ воскресь!» которое замъняеть въ этоть день всъ другія привътствія, этоть поцѣлуй, который только раздается у насъ, — и онъ готовъ почти воскликнуть: «Только въ одной Россіи празднуется этоть день такъ, какъ ему слёдуеть праздноваться!» Разумбется, это мечта; она исчезнеть вдругь, какъ только онъ перенесется на самомъ дълъ въ Россію, или даже только припомнить, что день этоть есть день какой то полусонной бъготни и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга, намѣсто радостныхъ встрѣчъ, - если жъ и встрѣчъ, то основанныхъ на самыхъ корыстныхъ разсчетахъ; что честолюбіе кипитъ у насъ въ этоть день еще больше, нежели во всѣ другіе, и говорять не о воскресеніи Христа, но о томъ, кому какая награда выйдеть, и кто что получить; что даже и самь народь, о которомъ идеть слава, будто онъ больше всъхъ радуется, уже пьяный попадается на улицахъ, едва только успѣла кончиться торжественная обѣдня, и не успѣла еще заря освътить земли. Вздохнеть бъдный русскій человъкъ, если только все это припомнить себѣ и увидить, что это развѣ только карикатура и посытание надъ праздникомъ, а самаго праздника нътъ]. Для проформы только какой-нибудь начальникъ чмокнетъ въ щеку инвалида, желая показать подчиненнымъ чиновникамъ, какъ нужно любить своего брата, да какой нибудь [отсталый] патріоть, въ досадѣ на молодежь, которая бранить старинные русскіе наши обычан, утверждая, что у насъ ничего нътъ, прокричитъ

гнѣвно: «У насъ все есть — и семейная жизнь, и семейныя добродѣтели, и обычаи у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдѣ въ Европѣ; и мы — народъ на удивленіе всѣмъ».

Нѣть, не въ видимыхъ знакахъ дѣло, не въ патріотическихъ возгласахъ [и не въ поцѣлуяхъ, данныхъ инвалиду], но въ томъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ взглянуть въ этотъ день на человѣка, какъ на лучшую свою драгоцѣнность, — такъ обнять и прижать его къ себѣ, какъ на лучшую свою своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ бы своему наилучшему другу, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видались, и который вдругъ неожиданно къ намъ пріѣхалъ. Еще сильнѣе! еще больше! потому что узы, насъ съ нимъ связывающія, сильнѣе земного кровнаго нашего родства, и породнились мы съ нимъ по нашему прекрасному небесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земного отца, и день этотъ мы — въ своей истинной семьѣ, у Него Самого въ дому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который празднуетъ святое, небесное свое братство все человѣчество до единаго, не исключивъ изъ него ни одного человѣка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому вѣку, когда мысли о счастіи человъчества сдълались почти любимыми мыслями всѣхъ; когда обнять все человѣчество, какъ братьевъ, сдѣдалось любимою мечтою молодого человѣка; когда многіе только и грезять о томъ, какъ преобразовать все человѣчество, какъ возвысить внутреннее достоинство человѣка; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христіанство въ силахъ это произвесть; когда стали утверждать, что слёдуеть ближе ввести Христовъ законъ, какъ въ семейственный, такъ и въ государственный быть; [когда стали даже поговаривать о томъ, чтобы все было общее — и дома, и земли;] когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ стали разговоромъ даже модныхъ гостиныхъ; когда, наконецъ, стало тъсно отъ всякихъ человъколюбивыхъ заведеній, [страннопріимныхъ домовъ и пріютовъ]. Какъ бы, казалось, девятнадцатый въкъ долженъ былъ радостно воспраздновать этотъ день, который такъ по сердцу встмъ великодушнымъ и человѣколюбивымъ его движеніямъ! Но на этомъ-то самомъ инъ, какъ на пробномъ камнъ, видишь, какъ блъдны всъ его христіанскія стремленія и какъ всѣ они въ однѣхъ только [мечтахъ и] мысляхъ, а не на дълѣ. И если, въ самомъ дълъ, придется ему обнять въ этотъ день своего брата, какъ брата, — онъ его не обниметъ. Все человъчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обниметъ. Отдълись отъ этого человъчества, которому онъ готовить такое великодушное объятіе, одинь человъкъ, его оскорбившій, которому повелѣваетъ Христосъ въ ту же минуту простить, -- онъ уже не обниметъ его. Отдълись отъ этого человъчества одинъ, несогласный съ нимъ въ какихъ-нибудь ничтожныхъ человъческихъ мнъніяхъ, -- онъ уже не обниметь его. Отдѣлись оть этого человѣчества одинъ, страждущій виднѣе другихъ тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всъхъ другихъ требующій состраданія къ себъ, — онъ оттолкнетъ его и не обниметъ. И достанется его объятіе только тімь, которые ничіть еще не оскорбили его, съ которыми не имълъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какого рода объятія всему человъчеству даетъ человъкъ нынъшнято въка, и часто именно тотъ самый, который думаеть о себѣ, что онъ истинный человѣколюбецъ и совершенный христіанинъ! [Христіанинъ! Выгнали на улицу Христа, въ дазареты и больницы, намъсто того, чтобы призвать Его къ себъ въ домы, подъ родную крышу свою, и думають, что они христіане!

Нѣть, не воспраздновать нынѣшнему вѣку Свѣтлаго праздника такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться. Есть страшное препятствіе, есть непреоборимое препятствіе, имя ему — гордость. Она была извѣстна и въ прежніе вѣки, но то была гордость болѣе ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родомъ и званіемъ, но не доходила она до того страшнаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ея — гордость чистотою своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человъчество нынъшняго въка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею и считать себя лучшимъ другихъ. Стоитъ только приглядъться, какимъ рыцаремъ благородства выступаеть изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и ръзко судить о другомъ. Стонтъ только прислушаться къ тъмъ оправданіямъ, какими онъ оправдываеть себя въ томъ, что не обнялъ своего брата даже въ день Свѣтлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ душою, говоритъ онъ: «Я не могу обнять этого человѣка: онъ мервокъ, онъ подлъ душою, онъ запятналъ себя безчестнъйшимъ поступкомъ; я не пущу этого человъка даже въ перелнюю свою; я даже не хочу дышать однимъ воздухомъ съ нимъ; я сдълаю кругъ для того, чтобы обътхать его и не встръчаться съ нимъ. Я не могу жить съ подлыми и презрънными людьми — неужели мнъ обнять дакого человъка, какъ брата?» Увы! позабылъ бъдный человъкъ девятнадцатаго въка, что въ этотъ день нътъ ни подлыхъ, ни презрънныхъ людей, но всъ люди --братья той же семьи, и всякому человѣку имя братъ, а не какое-либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ-быть, затъмъ именно окружили его презрънные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянулъ онъ на себя и поискалъ бы въ себъ того же самаго. чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можеть на всякомъ шагу, даже не примътивъ того самъ, сдълать то же подлое дъло, хотя въ другомъ только видъ, - въ видъ, не пораженномъ публичнымъ позоромъ, но которое, однакоже, выражансь пословицею, есть тоть же блинь, только на дригомь блюдь. Все позабыто! Позабыто имъ то, что, можеть-быть, оттого развелось такъ много подлыхъ и презрънныхъ людей, что сурово и безчеловѣчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекраснѣйшіе люди и тѣмъ заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить къ себъ презръніе! Богъ въсть, можеть-быть, иной совстмъ былъ не рожденъ безчестнымъ человъкомъ; можетъ-быть, бъдная душа его, безсильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о помощи, и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостію душевною, поддержаль бы ее на краю пропасти; можетьбыть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогою любви было трудно достигнуть къ его сердцу! Будто уже до того окаменъла въ немъ природа, что никакое чувство не могло въ немъ пошевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звърь помнитъ ласкавшую его руку! Но все позабыто человъкомъ девятнадцатаго въка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богать отталкиваеть покрытаго гноемъ нищаго оть великолѣпнаго крылыца своего. Ему нътъ дъла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповъди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смраднымъ дыханиемъ устъ несчастнаго, гордый благоуханіемъ чистоты своей. Такому ли человѣку воспраздновать праздникъ небесной любви?

Есть другой видъ гордости, еще сильнѣйшій перваго, — гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, какъ въ девятнациатомъ въкъ. Она слышится въ самой боязни каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесеть человъкъ въка: вынесетъ названіе плута, подлеца; какое хочешь, дай ему названіе, онъ снесеть его — и только не снесеть названія дурака. Надъ всёмъ онъ позволить посмёяться — и только не позволить посмёяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него святыня. Изъ-за мадъйшей насмъшки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ добъ. Ничему и ни во что онъ не въритъ; только въритъ въ одинъ умъ свой: чего не видить его умъ, того для него нътъ. Онъ позабылъ даже, что умъ идеть вперейъ, когда идутъ впередъ всё правственныя силы въ человёкё, и стоитъ безъ движенія и даже идеть назадь, когда не возвышаются нравственныя силы. Онъ позабылъ и то, что нътъ всъхъ сторонъ ума ни въ одномъ человъкъ; что другой человъкъ можетъ видъть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видъть, и, стало-быть, знать то, чего онъ не можетъ знать. Не върить онъ этому, и все, чего не видить онъ самъ, то для него ложь. И тень христіанскаго смиренія не можеть къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердиъ человъка, котораго нъсколько лътъ зналъ, въ правдъ, въ Богъ усомнится, но не усомнится въ своемъ умъ. Уже ссоры в брани начались не за какія-нибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей — нътъ, не чувственныя страсти, но страсти ума уже начались: уже враждують лично изъ несходства мнёній,изъ-за противоръчій въ міръ мысленномъ. Уже образовались цълыя партіи, другъ друга не видъвшія, никакихъ личныхъ сношеній еще не имъвшія — и уже другъ друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было начали думать люди, что образованіемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другого конца входить въ міръ, -- дорогою ума, и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всепогубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самаго ума почти не слышно. Уже и умные люди начинаютъ говорить, хоть противу собственнаго своего убъжденія, изъза того только, чтобы не уступить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяеть сознаться передъ всёми въ ошибкъ, — уже одна чистая злоба воцарилась на мъсто ума.

И человѣку ли такого вѣка умѣть полюбить и почувствовать христіанскую любовь въ человъку? Ему ли исполниться того свътлаго простодущія и ангельскаго младенчества, которое собираеть всёхъ людей въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспраздновать этоть день? Исчезнуло даже и то наружно-добродушное выражение прежнихъ простыхъ въковъ, которое давало видъ, какъ будто бы человъкъ быль ближе къ человѣку. Гордый умъ девятнадцатаго вѣка истребиль его. Діаволь выступиль уже безь маски вь мірь. Духь гордости пересталь уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевърныхъ людей: онъ явился въ собственномъ своемъ видъ. Почуя, что признаютъ его господство, онъ пересталь уже и чиниться съ людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смъется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупъйшіе законы даеть міру, какіе досель еще никогда не давались, и міръ это видить и не смѣетъ ослушаться! Что значить эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустиль вначаль человъкъ, какъ мелочь, какъ невинное дъло, и которая теперь, какъ полная хозяйка, уже стала распоряжаться въ домахъ напихъ, выгоняя все, что есть главнъйшаго и лучшаго въ человъкъ? Никто не боится преступать нъсколько

разъ въ день первъйшіе и священнъйшіе законы Христа, и между тъмъ, боится не исполнить ея малъйшаго приказанія, дрожа передь нею, какъ робкій мальчишка. Что значить, что даже и ть, которые и сами надъ нею сибются, пляшуть, какъ легкіе вътреники, подъ ся дудку? Что значать эти такъ - называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильнѣе всякихъ коренныхъ постановленій? Что значать эти странныя власти, образовавшіяся иимо завонныхъ — постороннія, побочныя вліянія? Что значить, что уже правятъ міромъ швен, портные и ремесленники всякаго рода, а Божіи помазанники остались въ сторонъ? Люди темные, никому неизвъстные, не имъющіе мыслей и чистосердечныхъ убъжденій, правять мнѣніями и мыслями унныхъ людей, и газетный листокъ, признаваемый лживымъ всёми, становится нечувствительнымъ законодателемъ его неуважающаго человъка! Что звачать всѣ незаконные эти законы, которые видимо, въ виду всѣхъ, чертить исходящая снизу нечистая сила. — и міръ это видить весь, и, какъ очарованный, не смеветь шевельнуться? Что за страшная насмешка надъ человъчествомъ! (И въ чему при такомъ ходъ вещей сохранять еще наружные святые обычая Церкви, небесный Хозяинъ которой не имъетъ надъ нами власти? Или это еще новая насибшка духа тьмы?] Но зачёмъ этоть [утратившій значеніе] праздникъ? Зачёмъ онъ [вновь] приходить (глуше и глуше] скликать въ одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувщи всъхъ, уходить какъ незнакомый и чужой всъмъ? Всъмъ ли точно онъ незнакомъ и чуждъ? Но] зачёмъ же уцёлёли (кое-гдё) люди, которымъ кажется, какъ бы они свътлъютъ въ этотъ день и празднуютъ свое младенчество, то младенчество, отъ котораго небесное лобзание, какъ бы лобзание въчной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратиль гордый нынъшній человъкъ? Зачъмъ еще не позабылъ человъкъ навъки это младенчество, и, какъ бы видънное въ какомъ-то отделенномъ сиъ, оно еще шевелить нашу душу? Зачёмъ все это, и въ чему это? Будто неизвёстно, зачъкъ? Будто не видно, къ чему? Затъкъ, чтобы хотя нъкоторымъ, еще сиышащимъ весеннее дыхание этого праздника, сдълалось вдругь такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небъ, и, завопивъ раздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они въ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинъ этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго въка, но въ обычаяхъ въчнаго въка, въ одниъ бы день только обнять и обхватить человъка, какъ виноватый другь обнимаеть великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только затёмъ, чтобы завтра же оттолкнуть его отъ себя и сказать ему, что овъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы тольно насильно заставить себя это сдёлать, ухватиться бы за это, какъ утопающій хватается за доску! Богь въсть, можеть-быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ небесь нань лістница и протянуться рука, помогающая возлетьть по ней.

Но и одного дня не хочеть провести такъ человѣкъ девятнадцатаго вѣка! И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мельчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется, какъ слѣдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землѣ? Мечта ли это? Но зачѣмъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кромъ

русскаго? Что значить въ самомъ дълъ, что самый праздникъ исчезъ, а видимые призраки его такъ ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: Христосъ Воскресъ! и поцѣлуй, и всякій разъ также торжественно выступаеть святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гудять и гудять по всей земль, точно какъ бы будять насъ. Гдъ носятся такъ очевидно призраки, тамъ недаромъ носятся; гдъ будять, тамъ разбудять. Не умирають ть обычаи, которымъ опредълено быть въчными. Умирають въ буквъ, но оживають въ духб. Померкають временно, умирають въ пустыхъ и вывътрившихся тодпахъ, но воскресаютъ съ новою сидою въ избранныхъ, затѣмъ, чтобы въ сильнѣйшемъ свѣтѣ оть нихъ разлиться по всему міру. Не умреть изъ нашей старины ни зерно того, что есть въ ней истинно-русскаго и что освящено Самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поэтовъ. развозвъстится благоухающими устами святителей, вспыхнетъ померкнувшее и праздникъ Свътлаго Воскресенія воспразднуется, какъ слъдуеть, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ опираясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ народовъ? [Ближе ли жизнію ко Христу, чёмъ они? Никого мы не лучше, а жизни еще неустроеннъй и безпорядочнъй всъхъ нхъ. «Хуже мы всъхъ прочихъ» — вотъ что мы должны всегда говорить о себѣ]. Но есть въ нашей природѣ то, что намъ пророчить это. Уже самое неустройство наше намъ это пророчить. Мы еще растопленный металлъ, не отлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное и внести въ себя все, что уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалившимся въ ней. Что есть много въ коренной природъ нашей, нами позабытой, близваго закону Христа — доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ, и приготовленная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово, что есть уже начало братства Христова въ самой нашей славянсвой природѣ, и побратаніе людей было у насъ роднѣе дома и кровнаго братства, что еще нътъ у насъ непримиримой ненависти сословія противу сословія и тёхъ озлобленныхъ партій, какія видатся въ Европъ и которыя поставляють препятствіе непреоборимое къ соединенію людей и братской любви между ними, что есть, наконець, у насъ отвага, никому несродная, и если предстанетъ намъ всѣмъ какое-нибудь дѣло, рѣшительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, напримъръ, сбросить съ себн вдругъ и разомъ всѣ недостатки наши, все позорящее высокую природу человъка, то съ болію собственнаго тъла, не пожалъвъ самихъ себя, какъ въ двънадцатомъ году, не пожалъвъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки, такъ рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такія минуты всякія ссоры, ненависти, вражды — все бываетъ позабыто, братъ повиснетъ на груди у брата, и вся Россія — одинъ человъкъ. Вотъ на чемъ основываясь, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова воспразднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говоритъ мнъ это душа моя; и это не мысль, выдуманная въ головъ. Такія мысли не выдумываются. Внушеніемъ Божіимъ порождаются онъ разомъ въ сердцахъ многихъ людей, другъ друга не видавшихъ, живущихъ на разныхъ концахъ земли, и въ одно время, какъ бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что не одинъ человъкъ въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо въритъ тому и говоритъ: «У насъ прежде, нежели во всякой другой земль, воспразднуется Свътлое Воскресеніе Христово ! »

138

О СОВРЕМЕННИКЪ.

(письмо къ п. А. плетневу).

Наконецъ, поговорю съ тобой о «Современникъ». «Современникъ» вышель плохимь журналомь, несмотря на прекрасную цёль, которую ты имёль въ виду. Даже эта самая прекрасная цёль, во имя которой ты предпринялъ его, не обнаружилась никому очевидно и ясно изъ самаго журнала; напротивъ, всякъ спрашивалъ въ недоумъніи другъ у друга: — «Объясните мнъ, зачъмъ и для чего издаетъ Плетневъ свой журналъ? что хочетъ онъ сказать имъ? что значатъ эти общія мъста въ его программъ, эти повторенія о безпристрастіи, о безкорыстной любви въ искусству, о стремленіи въ истинъ и т. п., которыя объщаеть всякій журналисть, и которыхъ не исполняеть никто?» Тощее содержание его тоненькихъ книжекъ, неживой, безучастный, вялый и неопредъленный слогь его суждений обо всемъ современномъ задавалъ только загалку общать: зачёмъ онъ названъ «Современникомъ»? Будемъ говорить откровенно. У тебя нѣть качествъ журналиста: ни юношескаго живого участія ко всёмъ волненіямъ современнымъ, ни того трепета любопытства къ вопросамъ, раздающимся въ массъ общества, ни, наконецъ, энциклопедическаго науколюбиваго стремленія обнимать съ равной охотой все, что ни относится къ развитію познаній человъческихъ во всъхъ родахъ. Твоя антологическая душа получила только на долю себъ одинъ возвышенный даръ услаждаться благоуханіемъ прекрасныхъ цвѣтовъ поэзіи и обонять аромать высшихъ движеній души человъческой. Не пъвду «Миниха» и нъкоторыхъ другихъ прекрасныхъ элегій, свидътельствующихъ о чистотъ вкуса и скромной тишинъ души самого пъвца, выступать было на поприще полемическое. «Современникъ» даже и при Пушкинъ не былъ тъмъ, чъмъ долженъ быть журналь, несмотря на то, что Пушкинъ задаль себъ цъль болъе положительную и близкую къ исполнению. Онъ хотълъ сдълать четвертное обозръние вродъ англійскихъ, въ которомъ могли бы помъщаться статьи болъе обдуманныя и полныя, чъмъ какія могуть быть въ еженедъльникахъ и ежемъсячникахъ, гдъ сотрудники, обязанные торопиться, не имѣютъ даже времени пересмотрѣть то, что написали сами. Впрочемъ, сильнаго желанія издавать этотъ журналъ въ немъ не было, и онъ самъ не ожидалъ отъ него большой пользы. Получивши разрътеніе на изданіе его, онъ уже хотълъ было отказаться. Гръхъ лежитъ на моей душѣ: я умолилъ его. Я объщался быть върнымъ сотрудникомъ. Въ статьяхъ монхъ онъ находилъ много того, что можетъ сообщить журнальную живость изданію, какой онъ въ себѣ не признавалъ. Онъ, дѣйствительно, въ то время слишкомъ высоко созрѣлъ для того, чтобы заключать въ себѣ это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я могъ принимать живъй къ сердцу то, для чего онъ уже простылъ. Моя настойчивая ръчь и объщание дъйствовать его убъдили; но слова моего я бы не могъ исполнить даже и тогда, если бы онъ былъ живъ. Не знадъ я, какими путями поведетъ меня Провидъніе, какъ отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной, и какъ умру я надолго для всего того, что шевелитъ

современнаго человъка. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всѣхъ утратой, а для тебя еще скорбнъйшей, чъмъ для всъхъ, пораженный сиротствомъ современнаго общества, очутившагося безь поэзін, какъ безъ свъта, — осужденнаго выслушивать пустые и черствые пренія и споры объ искусствѣ намѣсто дѣдъ самого искусства, — пораженный этимъ сиротствомъ, которое, впрочемъ, началось уже и при Пушкинъ, ты взялся горячо за изданіе журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой въ началь поприща Пушкина. Въ пылу великодушнаго увлеченія своего ты даже позабыль то, что не мы управляемь ділами и событіями, но чертится свыше всему чередь свой. Ты даже не прим'втиль того, что имѣлъ такую цѣль, которой ни въ какомъ случаѣ нельзя было достигнуть листками періодическаго ежемъсячнаго изданія. «Современникъ», какъ журналъ, не удался бы даже и тогда, если бы ты заключалъ въ себъ всь качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себь, чыхъ можетъ быть нужно нынъшнему времени появленье новаго журнала. Это энциклопедическое образованіе публики посредствомъ журналовъ уже не такъ теперь потребно, какъ было прежде. Публика уже болье приготовлена. Уже все воветь нынь человька къ занятіямъ болье сосредоточеннымъ, не только значительность современныхъ вопросовъ, но даже самая пустота современнаго общества и легковъсная вътреность дълъ его приглашають нынь человъка взглянуть строго на самого себя, вопросить съ большей отчетливостью свои силы и опредвлить себв трудь не временный, минутный, но тоть живительный и полный, который отвътствуеть однъмъ тъмъ способностямъ, которыми своеобразно надъленъ изъ насъ каждый уже огъ самаго рожденья своего. Никакой новый журналь не можеть дать теперь обществу пищи питательной и существенной. «Современникъ» долженъ отбросить отъ себя названье журнала; онъ долженъ сжаться попрежнему въ книги намъсто листовъ и болъе еще, чёмъ при Пушкинё, походить на альманахъ: онъ долженъ скорёй напомнить собой «Свверные Цвъты» барона Дельвига, съ которымъ было у тебя такъ млого сходства въ умъньи наслаждаться и нъжиться благоуханными звуками поэзіи. Пусть лучше будеть выходить онъ три раза всякій годъ въ урочныя времена: первый разъ ко дню Свътлаго Воскресенья, какъ свътлый подарокъ на праздникъ, во второй разъ къ 1 окгября, т.-е. ко времени, когда всъ събзжаются у насъ изъ дачъ и деревень въ города, въ третій разъ — къ новому году; словомъ — пусть онъ будеть современенъ тъмъ эпохамъ, когда съ большей жадностью встречается новая книга. Все собственно журнальное въ немъ не должно имъть мъста: ни возвъщенья о новостяхъ ежедневныхъ, ни политическія извъстія, ни поименованія всёхъ выходящихъ книгь, развъ только одинъ строгій отчеть о зам'ячательн'я шихъ изъ нихъ за всю треть въ такомъ видъ, чтобъ онъ самъ собой могъ уже составить замъчательную литературную статью. Нужно, чтобы здъсь ничто не поминало читателю о томъ, что есть какія-нибудь распри въ литературъ и существуетъ журнальная полемика. Самыя статьи должны быть допущены сосредоточенныя, полныя, которыя ничъмъ не походили бы на торопливыя, отрывочныя статьи журналовъ. Нужно, чтобы здъсь были одни лучшіе цвъты современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только такимъ изданіемъ, которое будетъ выходить не болѣе трехъ разъ въ годъ: въ три мѣсяца можно набрать книжку. Современное намъ время, слава Богу, не безъ талантовъ. Часть прозаическая альманаха можеть быть теперь гораздо значительный и богаче, чёмъ когда-либо прежде. Поименуемъ нарочно тъхъ современныхъ писателей, статьями которыхъ можетъ украситься «Современникъ». Прежде всего слъдуетъ.

назвать графа Соллогуба, который безспорно есть, нынъшній нашъ лучшій повъствователь. Никто не щегодяетъ такимъ правильнымъ, довкимъ и свътскимъ языкомъ. Слогъ его точенъ и приличенъ во всёхъ выраженьяхъ и оборотахъ. Остроты, наблюдательности, познаній всего того, чѣмъ занято наше высшее модное общество, у него много. Одинъ только недостатовъ: не набралась еще собственная пуша автора содержанья болье строгаго и не доведенъ еще онъ своими внутренними событіями къ тому, чтобы строже и отчетливъй взглануть вообще на жизнь. Но, если и это въ немъ совершится, онъ будетъ вполнъ върный живописецъ лучшаго общества; значительность творений его выиграеть больше, чъмъ сто на сто. Непосредственно за нимъ слёдуеть назвать другого писателя, который скрыль свое имя подъ выдуманнымъ: козакъ Луганскій. Онъ не поэтъ, не владбетъ вскусствомъ вымысла, не имбеть даже стремленья производить творческія созданія; онъ видить всюду дёло и глядить на всякую вещь съ ея дёльной стороны. Умъ твердый и дъльный виденъ во всякомъ его словъ, а наблюдательность и природная острота вооружаютъ живостью его слово. Все у него правда и взято такъ, какъ есть въ природѣ. Ему стоитъ, не прибѣгая ни къ завязкѣ, ни къ развязкѣ, надъ которыми такъ ломаетъ голову романистъ, взять любой случай, случившійся въ Русской землѣ, первое дѣло, котораго производству онъ былъ свидътеленъ и очевидцемъ, чтобы вышла сана собой наизанимательнъйшая повъсть. По мнъ, онъ значительнъй всъхъ повъствователей-изобрътателей. Можетъ-быть, я сужу здёсь пристрастно, потому что писатель этотъ боле другихъ угодилъ личности моего собственнаго вкуса и своеобразью моихъ собственныхъ требованій: каждая его строчка меня учить и вразумляеть, првдвигая ближе къ познанью русскаго быта и нашей народной жизни; но зато всякъ согласится со мной, что этотъ писатель полезенъ и нуженъ всъмъ намъ въ нынъшнее время. Его сочиненія — живая и върная статистика Россіи. Все, что ни достанеть онъ изъ своей многовмъщающей памяти и что ни разскажеть достовёрнымъ языкомъ своимъ, будеть драгоцённымъ подаркомъ для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчалъ Н. Павловъ, писатель, который первыми тремя повъстями своими получиль съ перваго раза право на почетное мъсто между нашими прозаическими писателями и который повредилъ себъ только тъмъ, что, не захотъвши быть самимъ собой, вздумалъ копировать (въ трехъ новыхъ повъстяхъ своихъ) тъхъ модныхъ новеллистовъ, которые гораздо его ниже. Онъ могъ бы всегда, не прибъгая ни къ напряженнымъ вымысламъ поэтическимъ, ни къ мозанчнымъ искусственнымъ украшеніямъ ръчи, такъ изуродовавшимъ благородный и ясный слогъ его, взять на выдержку первое психологическое явленье нашего общества и разсказать его такъ отчетливо и умно, что повъсть его имъла бы всъ принадлежности тъхъ строгихъ влассическихъ произведеній, которыя остаются навсегда образцами въ литературъ. Я вижу тоже много достоинствъ въ писателъ, который подписываеть подъ своими сочиненіями имя: Кулишъ. Цвътистый слогъ и большое познание правовъ и обычаевъ Малой России говорять о томъ, что онъ могъ бы прекрасно написать исторію этой земли. Онъ могъ бы еще съ большимъ успъхомъ составить живыя статьи для альманаха и въ нихъ разсказать просто о нравахъ и обычаяхъ прежнихъ временъ, не вставляя этого въ повъсть или драматическій разсказъ, подобно тому, какъ некогда разсказываль Корниловичъ о временахъ до Петра и при Петръ. Романъ же его, довольно любопытный по частямъ, вялъ и скученъ въ цъломъ: эти драгоцънные перлы свъдъній историческихъ, которые разсыпаны на страницахъ его, погибаютъ тамъ совершенно безплодно. Мнѣ сказывали, что вообще въ послѣднее время повъсть сдѣлала

у насъ успъхъ, и нъсколько молодыхъ писателей показали особенное стремленье къ наблюденью жизни дъйствительной. Изъ того, что удалось прочесть мнъ самому, я зам'тилъ также тому признаки, хотя постройка самихъ повъстей мнъ показалась особенно неискусна и неловка; въ разсказъ замътилъ я излишество и многословіе, а въ слогъ отсутствіе простоты. Но я увъренъ, что если въ каждомъ изъ этихъ писателей прежде сформируется человъкъ, чъмъ писатель, — все прочее придетъ само собою, и каждый изъ нихъ, обнаружа еще сильнъй особенности пера своего, не покажеть ни одного изъ этихъ недостатковъ. Не могу не упомянуть о писатель, выступившемъ на литературное поприще драмою Смерть Ляпунова. Не имъя въ себъ полной зрълости строенья драматическаго, которое доступно однимъ только опытнымъ драматургамъ, драма эта имъетъ въ себъ много тъхъ достоинствъ, которыя пророчатъ въ творцѣ ея писателя замѣчательнаго. Слышать живость минувшаго и умѣть заговорить о немъ такимъ живымъ языкомъ — это свойство великое! Я бы на его мъстъ такъ и впился въ русскія лътописи и ни на мигъ не оторвался бы отъ этого чтенія. Онъ можетъ много извлечь оттуда прекрасныхъ предметовъ. Почему знать, можетъ-быть, отъ такого чтенія родилась бы въ немъ благословенная мысль написать правдивую исторію времени, его преимущественно поразившаго. Вполнъ историческое произведение, исполненное писателемъ, умъющимъ такъ живо чувствовать исторические характеры, и написанное тавимъ живымъ перомъ, будетъ въ нъсколько разъ значительнъй историческихъ драмъ. Кстати о молодыхъ и начинающихъ писателяхъ. Мнъ бы очень хотёлось, чтобы ты отыскаль Прокоповича и умёль склонить его взяться за перо повъствователя. Изъ всъхъ тъхъ, которые воспитывались со мною вмъстѣ въ школѣ и начали писать въ одно время со мной, у него раньше, чѣмъ у всёхъ другихъ, показадась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива; все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило въ немъ плодовитъйшаго романиста. Онъ задремалъ теперь, я это знаю; онъ далъ заснуть въ себѣ желанію дѣйствовать на поприщѣ просторномъ, самый кругъ его сталъ тъсенъ и передъ нимъ мало жизненнаго поля для наблюденій. Но жизнь вездѣ жизнь и, чѣмъ меньше ея просторъ и тьснѣе ея кругъ, тѣмъ основательнъй и глубже онъ можеть быть нами изслъдуемъ и проникнуть. Уже самая своя собственная душевная повъсть, предметомъ которой будетъ взято собственное пробуждение отъ мертвеннаго застоя, заставляющее съ ужасомъ взглянуть человѣка на животно-истраченную жизнь свою, можетъ быть высокимъ предметомъ для романа... Какой бы праздникъ былъ душъ моей, если бы я встрътилъ въ «Современникъ» повъсть, подъ которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я попрежнему не могу быть работящимъ и ревностнымъ вкладчикомъ въ твой «Современникъ». Ты уже самъ почувствовалъ, что меня нельзя назвать писателемъ въ строгомъ классическомъ смыслѣ. Изъ всѣхъ тѣхъ, которые начали писать со мною вмъстъ, еще въ дъта моего школьнаго юношества, у меня менъе, чъмъ у всёхъ другихъ, замёчались тё свойства, которыя составляють необходимыя условія писателя. Скажу тебѣ, что даже въ самыхъ раннихъ помышленіяхъ моихъ о будущемъ поприщѣ моемъ, никогда не представлялось мнѣ поприще писателя. Столкнулся я съ нимъ почти нечаянно. Нъкоторыя мон наблюдения надъ нъкоторыми сторонами жизни, мнъ нужными для дъла душевнаго, издавна меня занимавшаго, были виной того, что я взялся за перо и вздумаль преждевременно подблиться съ читателемъ твмъ, чбмъ мнѣ слѣдовало подблиться уже потомъ, по совершения моего собственнаго воспитания. Мнъ доставалось

трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сихъ поръ. какъ ни быюсь, не могу обработать слогъ и языкъ свой, первыя необходимыя орудія всякаго писателя: они у меня до сихъ поръ въ такомъ неряшествъ. какъ ни у кого даже изъ дурныхъ писателей, такъ что надо мной имъеть право посмѣяться едва начинающій школьникъ. Все мною написанное замѣчательно только въ психологическомъ значеніи, но оно никакъ не можетъ быть образцомъ словесности, и тотъ наставникъ поступитъ неосторожно, кто посовътуеть своимъ ученикамъ учиться у меня искусству писать или, подобно мнѣ, живописать природу: онъ заставить ихъ производить карикатуры. Доказательство этому можешь видёть на нёкоторыхъ молодыхъ и неопытныхъ подражателяхъ моихъ, которые именно черезъ это самое подражание стали несравненно ниже самихъ себя, лишивъ себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоскомъ всего и отражать въ себѣ дѣйствительность, какъ она есть вокругъ насъ, -- стремленья, которое тревожить поэта во все продолженье его жизни и умираеть въ немъ только съ его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чемъ, кромъ того, что близко моей собственной душъ. Итакъ, если я почувствую, что чистосердечный голось мой будеть истинно нужень кому-нибудь, и слово мое можеть принести какое-нибудь внутреннее примиренье человъку, тогда у тебя въ «Современникъ» будетъ моя статья; если жъ нътъ — ея не будетъ, и ты на меня за это никакъ не гнъвайся. Я здъсь не упомянуль также ни объ одномъ изъ тъхъ современныхъ прозаическихъ писателей нашихъ, которые, будучи заняты собственными изданіями или же сидя надъ трудами болье отвлеченными, требующими полнаго вниманія, не им'єють ни возможности, ни досуга поработать для твоего «Современника», — ихъ не слъдуеть и безпокоить. Здъсь кстати я долженъ тебя побранить. Ты былъ несправедливъ, приписывая безучастное невнимание многихъ литераторовъ къ твоему журналу ихъ равнодушію въ общему дѣлу, нелюбви къ искусству, деньголюбію и т. п. У всякаго есть свое внутреннее дело; у всякаго совершается въ душе свое собственное событіе, на время его отвлекающее отъ участія въ дълъ общемъ; и никакъ нельзя требовать, чтобы другой жертвоваль собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цъли, къ которой мы предположили себъ стремиться. Каждому опредъляеть Богь дорогу, не похожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всёхть однимъ и тъмъ же аршиномъ. А потому уважай и самый отказъ другого даже и тогда, если бы онъ не захотълъ объявить причины, почему не можетъ дать статьи въ «Современникъ». Довольствуйся тъмъ, что дадутъ. Если только одни поименованные мною писатели дадуть статьи свои, то и этого уже будеть достаточно. Но я знаю, что дадуть еще и другіе, которыхъ я не назвалъ. Вопреви людямъ, жалующимся на недостатовъ талантовъ въ нынъшнее время, я вижу ихъ теперь гораздо больше, чъмъ когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто изъ нихъ не умълъ стать самимъ собой, и это причина ихъ непримѣтности; но многіе изъ нихъ уже болѣютъ этимъ желаніемъ, хотя и не знаютъ, какъ удовлетворить ему. Стремленье узнать назначеные свое есть теперь страданые многихъ людей, одаренныхъ способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездъйственности на поприщѣ литературномъ.

Стихотворная часть «Современника» можеть быть также весьма богата, не взирая на то, что, повидимому, въ современномъ обществъ угаснуло расположение къ поэзии. Слава Богу, еще здравствуеть самъ патріархъ нашей поэзіи: еще небо хранить намъ Жуковскаго. Въ награду за безукоризненную,

чистую жизнь ему одному изъ всбхъ насъ дано почувствовать свъжесть молодости въ старческія лёта и силу юноши для дёла поэтическаго. Его нынъшніе труды далеко полновъснъй и значительнъй прежнихъ. Не нужно судить о немъ по тъмъ стихотворнымъ сказкамъ и повъстямъ, которыя были помъщены въ послъднее время въ «Современникъ». Онъ не могли и не должны были произвесть никакого впечатлёнія на общество, и нечего удавляться, что общество, оцѣнивая всякое новое произведеніе относительно своихъ собственныхъ потребностей душевныхъ, ища въ немъ отвъта на тревожныя исканія свои, назвало эти стихотворенія ребячествомъ Жуковскаго. Они были, точно, назначены для малолётнихъ дётей. Повёсти и сказки эти должны были выйти особой книжкой подъ названіемъ: Подарокъ дътямъ отъ Жуковскаго. Онъ сдѣлалъ ошибку, пославши ихъ въ журналъ. Я говорилъ это ему тогда же, совътуя или ничего ни посылать, или послать то, что пришлось бы по душть взрослому человъку. Но теперь я знаю, что онъ пришлетъ тебъ въ альманахъ который - нибудь изъ тъхъ перловъ, которые выработались въ глубинъ его собственной души, гдъ въ послъднее время такъ много произошло прекраснаго. Еще, слава Богу, здравствують два другіе первоклассные наши поэты: князь Вяземскій и Языковъ, и могуть подарить «Современникъ» новыми, дотолѣ не раздававшимися отъ нихъ звуками, — звуками, исторгнутыми изъ выстрадавшагося сердца, пъснями самой души, уже набравшейся строгаго содержанія высшей поэзіи. Самые наши молодые, недавно показавшіеся поэты, которыхъ я здѣсь не называю по именамъ, которые показали покуда одно благозвучіе, легкость и щегольство стихосложенья, но еще не показали истинныхъ и върныхъ ошущеній своихъ, могутъ заговорить струнами поэзіи, болъе намъ близкой. Поэзія есть чистая исповъдь души, а не порожденіе искусства или хотънія человъческаго; поэзія есть правда души, а потому и всъмъ равно можетъ быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишкомъ высокая способность и дается однимъ только всемірнымъ геніямъ, которыхъ появленье слишкомъ ръдко на землъ; опасно и вступать на этоть путь другому. Многіе даже изъ первоклассні йшихъ талантовъ становились ниже себя, зашедши въ область вымысла, но высоко возвышались даже и небольше таланты, когда событіями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспѣваеть время, когда жажда исповъди душевной становится сильнъе и сильнъе. Много поэтическихъ звуковъ издадуть даже и ть, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасныхъ цвътковъ, много драгоцънныхъ вкладовъ нанесутъ въ тебъ со всъхъ сторонъ въ твой «Современникъ». Ты самъ, хотя уже давно не пробовалъ звуковъ оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, вбрно, испыталъ въ это время тоже не мало скорбныхъ минутъ и никъмъ не услышаннаго горя; твоя душа, върно, томилась также желаніемъ передать п объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ея, и, не найдя его нигдъ, обратилась, наконецъ, къ Тому родному всемъ намъ Существу, Которое одно умъетъ принимать любовно на грудь къ Себъ тоскующаго и скорбящаго, и къ Которому, наконецъ, все живущее обратится. Припомни же всё эти минуты, какъ минуты скорбей, такъ и минуты высшихъ утъшеній, тебъ ниспосланныхъ; передай ихъ, изобрази въ той правдѣ, въ какой онѣ были. Тебѣ помогуть слезы умиленья и растроганныя чувства признательной души твоей; они помогуть тебь передать съ такой силой, съ какой не сумбеть передать ихъ великій, владбющій чародбиствомъ вымысла, но еще не выстрадавшійся поэть. «Современникъ» тогда оправдаетъ данное ему названіе, но оправдаеть его въ другомъ — высшемъ смыслъ:

онъ будетъ современенъ всёмъ высшимъ минутамъ русскаго писателя и человъка. Онъ тогда ближе приблизится къ той цъли, которая доселъ такъ отдаленно и неясно представлялась въ твоихъ мысляхъ: онъ соединить эстетическимъ союзомъ прекраснаго братства всъхъ пишущихъ. Одинъ только ты въ Россіи можешь предпринять и выполнить такое изданіе, потому что одинъ только ты питаль о немъ постоянную мысль; одинъ только ты не имблъ въ виду денежныхъ интересовъ и вознаграждений за труды; одинъ ты безотчетно питаль чистую, младенческую любовь къ искусству, сдълавшую тебя другомъ лучшихъ поэтовъ нашихъ и превратившую для тебя самое искусство въ твое собственное какъ бы родное и семейственное дъло. Стало-быть, одному только тебѣ можеть быть ввърено такое изданіе. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всъхъ отношеніяхъ драгоцъннымъ подаркомъ: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какія могуть только быть произведены у нась въ Россіи (граверовъ выбери русскихъ, иностранцевъ сюда не визшивай). Мъру книганъ дай небольшую, немного чёмъ побольше «Сверныхъ Цвътовъ», словомъ — чтобы и по достоинству, и по виду изданье походило на драгоцънность. Все это можешь исполнить одинъ только ты, потому что, не имбя въ виду пользоваться доходами съ него для своего собственнаго содержанья и прокормленья, ты можешь все употребить на врасоту самаго изданія и такимъ образомъ доставить хлъбъ бъднымъ художнивамъ нашимъ, котсрымъ приходится иногда претерпъвать горькую чашу.

Итакъ, если все это, что я теперь сказалъ, пришлось тебъ по сердиу, то, благословясь, приступай съ Богомъ къ составленію первой книжки «Современника» ко времени наступающаго праздника Свътлаго Воскресенія 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей въ видъ программы или вступленія въ самую книгу. До того же времени дай его прочесть всъмъ тъмъ, отъ которыхъ ты пожелалъ бы имъть статью. Какъ ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я увъренъ, что по прочтеніи его всякъ согласится вмъстъ съ тобой и со мной въ необходимости такого изданія въ Россіи и върно дастъ тебъ наилучшее изъ своихъ произведеній. Въ газетныхъ листахъ ты можешь объявить о немъ только немногими словами — именно, что «Современникъ» будетъ выходить въ трехъ книгахъ въ означенные сроки; прибавь къ этому одни только имена тъхъ, которыхъ статьи будутъ помъщены, — этого достаточно. Пусть лучше все остальное, какъ достоинство статей, такъ и роскошь самаго изданія, будетъ пріятной неожиданностью для каждаго читателя.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

Digitized by Google

145

АВТОРСКАЯ ИСПОВЪДЬ.

Всѣ согласны въ томъ, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразныхъ толковъ, какъ «Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями». И — что всего замѣчательнѣй, чего не случилось, можетъ-быть, доселѣ еще ни въ какой литературѣ — предметомъ толковъ и критикъ стала но книга, но авторъ. Подозрительно и недовърчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаеть въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ кръпкимъ сложеньемъ. Какъ, однакоже, ни были потрясающи и обидны для чедовъка благороднаго и честнаго многіе заключенія и выводы, но, скръпясь, сколько достало небольшихъ силъ моихъ, я ръшился стерпъть все и воспользоваться этимъ случаемъ, какъ указаньемъ свыше – разсмотръть построже самого себя. Плиогда и прежде я не пренебрегаль совътами, мнъньями, осужденьями и упрекачи, увъряясь, чъмъ далъе, болъе, что если только истребишь въ себъ тъ щекотливыя струны, которыя способны раздражаться и гнъваться, и приведешь себя въ состояние все выслушивать спокойно. тогда услышишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогъ тогда, когда сложишь всъ голоса и сообразишь крайности объихъ сторонъ, словомътоть встми искомый средній голось, который недаромъ называють «гласомъ народа и гласомъ Божіимъ». Но на этотъ разъ, несмотря на то, что многіе упреви были истинно полезны душь моей, я не услышаль этого средняго голоса и не могу сказать, чёмъ рёшилось дёло, и чёмъ опредблено считать мою книгу. Въ итогъ инъ послышались три разныя инънія: *первое*, что книга есть произведеніе неслыхапной гордости человъка, возинившаго, что онъ сталъ выше всъхъ своихъ читателей, имъетъ право на вниманье всей Россіи и можеть преобразовывать цѣяое общество; второе, что книга эта есть творение добраго, но впавшаго въ прелесть и въ обольщенье человъка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ самоуслажденія своими достоинствами, который вслёдствіе этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведеніе христіанина, глядящаго съ върной точки на вещи и ставящаго всякую рещь на ея законное мъсто. На сторонъ каждаго изъ этихъ мнѣній находятся равно просвѣщенные и умные люди, а также и равно върующіе христіане. Стало-быть, ни одно изз. этихъ мнъній, будучи справедливо отчасти, никакъ не можетъ быть справедливо вполит. Справедливъе всего слъдовало бы назвать эту книгу върнымъ зеркаломъ человъка. Въ ней находится то же, что во всякомъ человъкъ: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живетъ у всякаго человъка, если только онъ почувствовалъ, что такое добро; сознанье искреннее своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнънье о своихъ достоинствахъ; желанье искреннее учиться самому и рядомъ съ нимъ увъренность, что можешь научить многому и другихъ; смиренье и рядомъ съ нимъ гордость, и, можетъ быть,

гордость въ самомъ смиреніи; упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за что достоинъ еще большихъ упрековъ. Словомъ, то же, что въ каждомъ человъкъ, съ той только разницей, что здъсь слетъли всъ условія и приличія и все, что таитъ внутри человъкъ, выступило наружу; съ той еще разницей, что завопило это крикливъй и гроиче, какъ въ писателъ, у котораго все, что ни есть въ душъ, просится на свътъ; ударилось ярче всъмъ въ глаза, какъ въ человъкъ, получившемъ на долю больше способностей сравнительно съ другимъ человъкъмъ. Словомъ, книга можетъ послужить только доказательствомъ великой истины словъ апостола Павла, сказавшаго, что весь человъкъ есть ложь.

Но въ этому заключенію, можетъ-быть, болье всёхъ прочихъ справедливому, никто не пришелъ, потому что торжественный тонъ самой книги и необыкновенный слогь ея сбиль болье или менье вскух и не поставиль никого на надлежащую точку воззрънія. Издавая ее подъ вліяньемъ страха смерти своей, который преслѣдовалъ меня во все время болѣзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда я уже быль внѣ опасности, я нечувствительно перешелъ въ тонъ, мнъ несвойственный и ужъ вовсе неприличный еще живущему человъку. Изъ боязни, что мнъ не удастся окончить того сочиненія моего, которымъ занята была постоянно мысль моя въ теченіе десяти лътъ, я имълъ неосторожность заговорить впередъ кое-о-чемъ изъ того, что должно было мнѣ доказать въ лицѣ выведенныхъ героевъ повѣствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неумъстную проповъдь, странную въ устахъ автора, въ какія-то мистическія непонятныя мѣста, не вяжущіяся съ остальными письмами. Наконецъ — разнообразный тонъ самихъ писемъ, писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, писанныхъ въ разныя времена моего душевнаго состоянья. Одни были писаны въ то время, когда я, воспитываясь самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ въ то же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; другія были писаны въ то время, когда я сталъ чувствовать, что упреки слъдуетъ приберечь для самого себя, въ ръчахъ же съ другими слъдуетъ употреблять одну только братскую любовь: оть этого и мягкость, и ръзкость встрътились почти вмъсть. Наконець, непомъщение многихъ тъхъ статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связывавшіяся и объясняющія многое. Наконецъ, моя собственная темнота и неумънье выражаться, — принадлежности не вполнъ организовавшагося писателя, --- все это споспѣшествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести безчисленное множество выводовъ и заключеній невпопадъ. Гордость отыскали въ тъхъ словахъ, которыя подвигнуты были, можеть-быть, совершенно противоположною причиною; гдъ же была дъйствительно гордость, тамъ ся не замътили; назвали уничиженьемъ то, что было вовсе не уничиженьемъ. А что главнъе всего: не было двухъ человъвъ, совершенно сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило дъло до разбора книги по частямъ, что весьма справедливо дало замътить нъкоторымъ, что въ сужденьяхъ своихъ о моей книгъ всякій выражалъ болъе самого себя, чъмъ меня или мою книгу. Разумъется, всему виною — я. А потому во всѣхъ нападеніяхъ на мои личныя нравственныя качества, какъ ни оскорбительны они для человъка, въ комъ еще не умерло благородство, я не имѣю права обвинять никсго.

Сдѣлаю вскользь замѣчанья два на то, что не относится до моихъ нравственныхъ качествъ. Меня изумило, когда люди умные стали дѣлать придирки къ словамъ, совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумятремя мѣстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя

10*

духу всего сочинения. Изъ двухъ трехъ словъ, сказанныхъ такому помѣщику, у котораго всъ крестьяне земледъльцы, озабоченные круглый годъ работой. вывести заключение, что я воюю противъ просвъщенья народнаго, — это показалось мнѣ очень странно, тъмъ болѣе, что я полжизни думалъ самъ о томъ, какъ бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нътъ такихъ умныхъ книгъ, мнъ казалось, что слово устное пастырей Церкви полезнъй и нужнъй для мужиковъ всего того, что можетъ сказать ему нашъ братъ-писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стояль за просвѣщенье народное; но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщенье самого народа, полезнъй просвъщенье тъхъ, которые имъютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, оть которыхъ часто терпить народъ. Мнъ казалось, наконецъ, гораздо болье требовавшимъ вниманья къ себъ не сословіе земледъльцевъ, но то мелкое сословіе, нынѣ увеличивающееся, которое вышло изъ земледѣльцевъ, которое занимаеть разныя мелкія міста и, не имітя никакой правственности, несмотря на небольшую грамотность, вредить всъмъ, затъмъ, чтобы жить на счетъ бъдныхъ. Для этого-то сословія мнѣ казались наиболѣе необходимыми книги умныхъ писателей, которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, умъли бы имъ ихъ объяснить. А землепашецъ нашъ мнъ всегда казался нравственнъе всъхъ другихъ и менъе другихъ нуждающимся въ наставленіяхъ писателя. Тоже не менђе страннымъ показалось мнђ, когда изъ одного мђста моей книги, гдђ я говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть много справедливаго, вывеля заключенія, что я отвергаю всѣ достоинства моихъ сочиненій и не согласенъ съ тъми критиками, которые говорили въ мою пользу¹). Я очень помню и совстви не позабыль, что по поводу небольшихъ моихъ достоинствъ явились у насъ очень замъчательныя критики, которыя навсегда останутся. памятниками любви къ искусству, которыя возвысили въ глазахъ общества значенье поэтическихъ созданій. Но недовко же мнѣ говорить самому о своихъ достоинствахъ, да и съ какой стати? О недостаткахъ моихъ литературныхъ я заговорилъ, потому что пришлось кстати, по поводу психологическаго вопроса, который есть главный предметь всей моей книги. Какъ же не соображать этихъ вещей! Не менъе странно также, — изъ того, что я выставиль ярко на видъ наши русскіе элементы, дълать выводъ, будто я отвергаю потребность просвъщенія европейскаго и считаю ненужнымъ для русскаго знать весь трудный путь совершенствованья человъческаго. И прежде, и теперь мнѣ казалось, что русскій гражданинъ долженъ знать дѣла Европы. Но я быль убъждень всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустищь изъ виду свои русскія начала, то знанія эти не принесуть добра, собьють, спутають и разбросають мысли, намъсто того, чтобы сосредоточить и собрать ихъ. И прежде, и теперь я быль увъренъ въ томъ, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только съ помощью этого знанья можно почувствовать, что именно слъдуетъ намъ брать и заимствовать изъ Европы, которая сама этого не говорить. Мнъ казалось всегда, что прежде, чъмъ вводить что-либо новое, нужно, не какъ-нибудь, но въ корнѣ узнать старое; иначе примѣненье самаго благодътельнъйшаго въ наукъ открытія не будеть успъшно. Съ этою цълью я н заговорилъ преимущественно о старомъ.

^{1) &}quot;На завъщаніе не слёдовало упираться: въ немъ судишь себя строго, потому что готовишься предстать на судъ предъ Того, предь Которымъ ни одинъ человъвъ не бываетъ правъ".

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односторонними, всѣ эти придирки къ словамъ, а не въ смыслу и духу сочиненія, показываютъ мнѣ то, что никто не быль въ покойномъ расположеньи, когда читалъ мою книгу; что уже впередъ установилось какое-то предубъжденье, прежде чъмъ она явилась въ свътъ, и всявій глядълъ на нее вслъдствіе уже заготовленнаго впередъ взгляда, останавливаясь только надъ тъмъ, что укръпляло его въ предубъждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубъжденья, а самого читателя успоконть. Сила этого страннаго раздраженья была такъ велика, что даже разрушила всё тё приличія, которыя доселъ еще сохранялись относительно писателя. Почти въ глаза автору стали говорить, что онъ сошель съ ума, и прописывали ему рецепты отъ умственнаго разстройства. Не могу сврыть, что меня еще болье опечалило, когда люди также умные, и притомъ не раздраженные, провозгласили печатно, что въ моей книгь ничего нътъ новаго, что же и ново въ ней, то ложь, а не истина. Это показалось миз жестоко. Какъ бы то ни было, но въ ней есть моя собственная исповъдь; въ ней есть изліянье и души, и сердца моего. Я еще не признанъ публично безчестнымъ человъкомъ, которому бы никакого повъдія нельзя было овазывать. Я могу ошибаться, могу попасть въ заблужденье, какъ и всякій человёкъ, могу сказать дожь въ томъ смыслё, какъ и весь человѣкъ есть ложь; но назвать все, что излилось изъ души и сердца моего. ложью — это жестоко. Это несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ книгъ моей ничего нътъ новаго. Исповъль человъка, который провель нёсколько лёть внутри себя, который воспитываль себя, какь уче никъ, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное въ юности, и который притомъ не во всемъ похожъ на другихъ, и имъетъ нъкоторыя свойства, ему одному принадлежащія, — исповъдь такого человъка не можеть не представить чего-нибудь новаго. Какъ бы то ни было, но въ такомъ делъ, гдъ замъшалось дъло души, нельзя такъ ръшительно возвъщать приговоръ. Туть наиглубокомысленнъйшій душевъдець призадумается. Въ душевномъ дълъ трудно и надъ человъкомъ обыкновеннымъ произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не подвластны холодному разсуждению, вакъ бы уменъ ни быль разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тёхъ душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша расположена къ исповъди, къ обращенію на себя, въ охужденью себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой ръшительности, съ какою былъ произнесенъ этотъ приговоръ, мнѣ показалась большая собственная самоувъренность судившаго — въ умъ своемъ и въ верховности своей точки воззрънія. Не съ тъиъ я здъсь говорю это, чтобы когонибудь попрекнуть, но съ темъ, чтобы показать только, какъ на всякомъ шагу мы близки въ тому, чтобы впасть въ тотъ цоровъ, въ которомъ толькочто попрекнули своего брата; какъ, укоривши въ самоувъренности другого, мы тутъ же въ собственныхъ словахъ показываемъ свою собственную самоувъренность; какъ, укоривши въ неснисходительности другого, мы туть же бываемъ неснисходительны и придирчивы сами. Благороденъ, по крайней мъръ, тотъ, кто имветъ духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ глазахъ всего свъта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. Вовсе не затъмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ сторонъ моихъ, я подаю теперь голосъ. Нътъ, я считаю обязанностью отвъчать только на тотъ запросъ, который сдъланъ инъ почти единоустно отъ лица читателей всъхъ моихъ прежнихъ сочиненій, --запросъ: зачёмъ я оставилъ тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвердиять, гдё быль почти господинь, и принялся за другое, мнё чуждое?

Чтобы отвѣчать на этоть запросъ, я рѣшаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повѣсть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливѣе обсудить меня, чтобы увидаль читатель, перемћнялъ ли я поприще свое, умничалъ ли самъ отъ себя, желая дать себѣ другое направленіе, или и въ моей судьбѣ такъ же, какъ и во всемъ, слѣдуетъ признать участіе Того, Кто располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ хочется, и съ Которымъ трудно бороться человѣку. Можетъбыть, эта чистосердечная повѣсть моя послужить объясненьемъ хотя нѣкоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многихъ въ недавно вышедшей моей книгѣ. Если бы случилось такъ, я былъ бы этому истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня утомила сильно, и мнѣ не легко самому отъ этого вихря недоразумѣній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ ть годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тъ поры, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человъкомъ извъстнымъ, что меня ожидаеть просторный кругъ дъйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думаль, просто, что я выслужусь и все это доставить служба государственная. Оть этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головъ впереди всъхъ моихъ дълъ и занятій. Первые мои опыты, первыя упражненья въ сочиненьяхъ, къ которымъ я получилъ навыкъ въ послъднее время пребыванья моего въ школь, были почти всъ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мон, упражнявшіеся также вмѣстѣ со мной въ сочипеніяхъ, не думали, что мнъ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой меланхолический отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надобдать другимъ моими шутками; хотя въ самихъ раннихъ сужденьяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя ускользають отъ вниманья другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но угадать человъка, то есть, угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаньемъ самаго склада и образа его мыслей и ръчей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думаль о томъ, что сдълаю современемъ изъ этого употребление.

Причина той веселости, которую замътили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нъкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ-быть, отъ моего болъзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумываль себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цёликомъ смёшные дица и характеры, поставлялъ пхъ мысленно въ самыя смъшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачъмъ это, для чего и кому отъ этого выйдеть какая польза. Молодость, во время которой не приходять на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тіхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смізяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумъніе ръшить, какъ могли человъку умному приходить въ голову такія глупости. Можеть-быть, съ льтами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а съ нею витьсть и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дъло сурьезно. Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое сочинение и, наконецъ, одинъ разъ, послѣ того,

какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде читаннаго, онъ мнъ сказаль: «Какъ съ этой способностью угадывать человъка и нъсколькими чертами выставлять его вдругь всего, какъ живого, съ этой способностью не приняться за большое сочинение! Это, просто, гръхъ!» Вслёдъ за этимъ началь онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могуть прекратить мою жизнь рано; привель мнѣ въ примѣръ Сервантеса, который, хотя и написаль въсколько очень замъчательныхъ и хорошихъ повъстей, но если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаеть теперь между писателями, и, въ заключеніе всего, отдалъ мнѣ свой собственный сюжеть, изъ котораго онъ хотѣлъ сдълать самъ что-то вродъ поэмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ «Метвыхъ Душъ». (Мысль «Ревизора» принадлежить также ему). На этоть разъ и я самь уже задумался сурьезно, — тёмъ болёе, что стали приближаться такіе года, когда самъ собой приходить запросъ всякому поступку: зачёмъ и для чего его дёлаешь? Я увидълъ, что въ сочиненияхъ монхъ смъюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачёмъ. Если смѣяться, такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дъйствительно достойно осмъянья всеобщаго. Въ «Ревизоръ» я ръшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всъ несправедливости, какія дёлаются въ тёхъ мёстахъ и въ тёхъ случаяхъ, гдъ больше всего требуется отъ человъка справедливости, и за однимъ разомъ посмъяться надъ всъмъ. Но это, какъ извъстно, произвело потрясающее дъйствіе. Сквозь смъхъ, который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силь, читатель услышаль грусть. Я самь почувствоваль, что уже смъхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тъмъ, чъмъ былъ дотолъ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончидась вмёстё съ модолыми моими детами. Послѣ «Ревизора», я почувствоваль, болѣе нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полнаго, гдъ было бы уже не одно то, надъ чъмъ слъдуеть смъяться. Пушкинъ находилъ, что сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» хорошъ для меня темъ, что даетъ полную свободу изъбздить вмёсте съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ было писать, пе опредъливши себъ обстоятельнаго плана, не давши себъ отчета, что такое именно долженъ быть самь герой. Я думалъ просто, что смъщной проевтъ, исполненьемъ котораго занятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мнъ самомъ охота ситяться создаеть сама собою множество смъшныхъ явленій, которыя я намъренъ былъ перемъшать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачъмъ? къ чему это? что долженъ сказать собою такой то характерь? что должено выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно дълать, когда приходять такие вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности въ томъ и другомъ героъ, я не могъ почувствовать и любви въ дълу изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то вродъ отвращенія: все у меня выходило натянуто, насильно и даже то, надъ чёмъ я смѣялся, становилось печально.

Я увидѣлъ ясно, что больше не могу писать безъ плана, вполнъ опредѣлительнаго и яснаго, что слѣдуетъ хорошо объяснить прежде самому себѣ цѣль сочиненія своего, его существенную полезность и необходимость, вслѣдствіе чего самъ авторъ возгорѣлся бы любовью истинной и сильной къ труду

своему, которая животворить все и безъ которой нейдеть работа, — словомъ, чтобы почувствоваль и убъдился самъ авторъ, что, творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, онъ служить въ то же самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ дъйствительно находился въ государственной службъ. Мысль о службъ у меня никогда не процадала. Прежде чёмъ вступить на поприще писателя, я перемѣнилъ множество разныхъ мѣстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тъми, которые надо мной были постановлены. Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мнъ недоставало затъмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотълъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побъдить въ себъ всъ щекотливыя струны самолюбья личнаго и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взялъ мъсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тъхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человъкъ броситъ свое мъсто, что позабыть нужно обо всъхъ огорченіяхъ собственныхъ. Я не зналь еще тогда, что тому, вто пожелаеть истинно-честно служить Россіи, нужно имъть очень много любви въ ней, которая бы поглотила уже всъ другія чувства, — нужно имъть много любви къ человъку вообще и сдълаться истиннымъ христіаниномъ, во всемъ смыслѣ этого слова. А потому и немудрено, что, не имъя этого въ себъ, я не могъ служить такъ, какъ хотълъ, несмотря на то, что сгораль дъйствительно желаніемъ служить честно. Но какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросиль все: и прежнія свои должности, и Петербургъ, и общества близкихъ душъ моей людей, и самую Россію, затъмъ, чтобы вдали и въ уединеньи отъ всъхъ обсудить, какъ это сдълать. какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотълъ служить ей. Чъмъ болъе обдумывалъ я свое сочинение, темъ более чувствовалъ, что оно можетъ действительно принести пользу. Чёмъ болёе я обдумываль мое сочиненіе, тёмъ болёе вндблъ, что не случайно слъдуетъ мнъ взять характеры, какіе попадутся, но избрать одни тѣ, на которыхъ замѣтнѣй и глубже отпечатлѣлись истиннорусскія коренныя свойства наши. Мнъ хотълось въ сочиненіи моемъ выставить преимущественно тъ высшія свойства русской природы, которыя еще не встми цтнятся справедливо, и преимущественно тъ низкія, которыя еще недостаточно всъми осмъяны и поражены. Мнъ хотълось сюда собрать одни аркія психологическія явленія, помъстить ть наблюденія, которыя я дълаль издавна сокровенно надъ человѣкомъ, которыхъ не довѣрялъ дотолѣ перу, чувствуя самъ незрѣлость его, которыя, бывъ изображены вѣрно, послужили бы разгадкой многаго въ нашей жизни, словомъ — чтобы, по прочтеньи моего сочиненья, предсталъ какъ бы невольно весь русскій человѣкъ, со всѣмъ разнообразіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всъмъ множествомъ тъхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, также преимущественно передъ всѣми другими народами. Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможеть мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что въ нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сила смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможеть мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидить читатель, если бы даже нашель ихъ въ себъ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будеть сдъдать мнъ только въ такомъ случать, когда узнаешь очень хорошо самъ, что дъйствительно въ нашей

природъ есть достоинства и что въ ней дъйствительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвъсить и оцёнить то и другое и объяснить себъ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинство того, что есть гръхъ нашъ, и не поразить смёхомъ вмёстё съ недостатками нашими и того, что есть въ насъ достоинство. Мнё не хотблось даромт тратить силу. Съ тёхъ поръ, какъ мнё начали говорить, что я сметюсь не только надь недостаткомъ, но даже цёликомъ и надъ самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ вствиъ человъкомъ, но и надъ мъстомъ, надъ самою должностью, которую онъ занимаетъ (чего я никогда даже не имълъ и въ мысляхъ), я увидаль, что нужно со смѣхомъ быть очень осторожнымъ, -- тѣмъ болѣе, что онъ заразителенъ и стоитъ только тому, кто поостроумнъй, посмъяться надъ одной стороной дъла, какъ уже, вослъдъ за нимъ, тотъ, кто потупъе и поглупѣй, будеть смѣяться надъ всѣми сторонами дѣла. Словомъ, я видѣлъ ясно, какъ дважды два четыре, что, прежде, покамъстъ не опредълю себъ самому, опредълительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мнъ нельзя приступить; а чтобы опредълить себѣ русскую природу, слѣдуетъ узнать получше природу человѣка вообще и душу человъка вообще: безъ этого не станешь на ту точку воззрънія, съ которой видятся ясно недостатки и достоинства всякаго народа.

Съ этихъ поръ человъкъ и душа человъка сдълались больше, чъмъ когда-либо, предметомъ наблюдений. Я оставилъ на время все современное: я обратилъ внимание на узнанье тъхъ въчныхъ законовъ, которыми движется человъкъ и человъчество вообще. Книги законодателей, душевъдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познанье людей и души человъка, оть исповъди свътскаго человъка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не въдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидъвши, что въ Немъ влючъ въ душѣ человѣка, и что еще нивто изъ душезнателей не всходиль на ту высоту познанья душевнаго, на которой стояль Онъ. Повъркой разума повърилъ я то, что другіе понимають ясной върой, и чему я върилъ дотолъ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой: я увидълъ тоже математически ясно, что говорить и писать о высшихъ чувствахъ и движеньяхъ человъка нельзя по воображенью: нужно заключить въ себъ самомъ хотя небольшую крупицу этого, словомъ — нужно сдълаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно страннымъ, особенно для тъхъ, которые получили въ юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получилъ въ школѣ воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ учения пришла во мит въ зръдомъ возрасть. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ свои занятія. Я наблюдаль надъ собой, какъ учитель надъ ученикомъ, не въ книжномъ ученын, но и въ простомъ нравственномъ, глядя на себя самого, какъ на школьника. Я помъстилъ кое-что изъ этихъ продълокъ надъ самимъ собою въ книгв моихъ писемъ, вовсе не затвмъ, чтобы пощегодять чвмъ-нибудь (да и не знаю, чъмъ туть щеголять), но изъ желанья добра: авось, кому - нибудь принесеть это пользу: я быль увърень, что много, подобно мнъ, воспитались въ школъ плохо и потомъ, подобно мнъ, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышаль, какъ многіе жаловались, что не могуть отстать отъ дурныхъ привычекъ, при всемъ желаньи своемъ отстать отъ нихъ. Я и помъстиль это, кое - какъ приспособивши къ другому, и помъстилъ это я не иначе, какъ увидъвши на опытъ, что многое изъ этого уже пришло въ

пользу нёкоторымъ людямъ, которыхъ я зналъ. Въ отвётъ же тёмъ, которые попрекають мнь, зачьмь я выставиль свою внутреннюю кльть, могу сказать то, что все-таки я еще не монахъ, а писатель. Я поступилъ въ этомъ случаъ такъ, какъ всъ тъ писатели, которые говорили, что было на душъ. Если бы и съ Карамзинымъ случилась эта внутренняя исторія во время его писательства, онъ бы ее также выразилъ. Но Карамзинъ воспитался въ юношествъ. Онъ образовался уже, какъ человъкъ и гражданинъ, прежде чъмъ выступилъ на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считаль ни пля кого соблазнительнымъ отврыть публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чъмъ я есть. Я не нахожу соблазнительнымъ томиться и сгорать явно, въ виду всѣхъ, желаньемъ совершенства, если сходилъ затъмъ Самъ Сынъ Божій, чтобы сказать намъ всъмъ: «Будьте совершенны такъ, какъ совершененъ Отецъ вашъ небесный». Что же касается до обвиненій, будто я, изъ желанья похвастаться смиреньемъ, въ книгъ моей показалъ уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренія, ни уничиженья здѣсь нѣтъ. Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ признаковъ. Противнымъ дъйствительно я казался себъ самому вовсе не отъ смиренья, но потому, что въ мысляхъ моихъ, чъмъ далъе, тъмъ яснъе представлялся идеалъ прекраснаго человѣка, тотъ благостный образъ, какимъ долженъ быть на землѣ человѣкъ, и мнъ становилось всякій разъ послъ этого противно глядъть на себя. Это не смиреніе, но скорѣе то чувство, которое бываеть у завистливаго человѣка, который, увидъвши въ чужихъ рукахъ вещь лучшую, бросаетъ свою и не хочеть уже глядъть на нее. Притомъ мнъ посчастливилось встрътить на въку своемъ, и особенно въ послъднее время, нъсколько такихъ людей, передъ душевными качествами которыхъ показались мнъ мелкими мои качества, и всякій разъ я негодоваль на себя за то, что не имѣю того, что имѣють другіе. Тутъ нужно обвинять развѣ завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторія. Итакъ, на нъкоторое время занятіемъ моимъ сталъ не русскій человѣкъ и Россія, но человѣкъ и душа человѣка вообще. Все меня приводило въ это время къ изслъдованию общихъ законовъ души нашей: мои собственныя душевныя обстоятельства, наконець, обстоятельства внѣшнія, надъ которыми мы пе властны и которыя всякій разъ обращали меня противовольно вновь къ тому же предмету, какъ только я отъ него отдалялся. Нъсколько разъ, упрекаемый въ недъятельности, я принимался за перо, хотълъ насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вродъ небольшой повъсти или какого нибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести ничего. Усилія мои оканчивались почти всегда болѣзнію, страданіями, и, наконецъ, такими припадками, вслёдствіе которыхъ нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мнъ было дълать? Виновать я развъ былъ въ томъ, что не въ силахъ былъ повторять то же, что говорилъ или писаль въ мои юношеские годы? Какъ будто двъ весны бывають въ возрастъ человъческомъ! И если всякъ человъкъ подверженъ этимъ необходимымъ перемънамъ при переходъ изъ возраста въ возрастъ, почему же одинъ писатель долженъ быть исключеньемъ? Развъ писатель также не человъкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ тою же дорогою. Предметъ у меня былъ всегда одинъ и тотъ же: предметъ у меня былъ — жизнь, а не что другое. Жизнь я преслѣдовалъ въ ея дъйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лътъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеньяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманья людьми, -и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный въдатель души и отъ Кого

одного я могъ только узнать полнёе душу. Я не успокоился по тёхъ поръ, покуда не разрёшились мнё нёкоторые собственные мои вопросы относительно меня самого, и только тогда, когда нашелъ удовлетворенье въ нёкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ моему сочиненю, первая часть котораго составляетъ еще понынё загадку, потому что заключаетъ въ себѣ нёкоторую часть переходнаго состоянья моей собственной души, тогда какъ еще не вполнё отдёлилось во мнё то, чему слёдовало отдёлиться.

Какъ только кончилось во мнѣ это состояніе, и жажда знать человъка вообще удовлетворилась, во мнѣ родилось желаніе сильное знать Россію. Я сталь знакомиться съ людьми, отъ которыхъ могъ чему-нибудь поучиться и разузнать, что дълается на Руси; старался наиболье знакомиться съ такими опытными практическими людьми всъхъ сословій, которые обращены были лицомъ ко всякимъ продълкамъ внутри Россіи. Мнѣ хотѣлось сойтись съ людьми всъхъ сословій и отъ каждаго что нибудь узнать. Всякій должностный и чёмъ-нибудь занятый человёкъ сталъ въ глазахъ моихъ интересенъ. Прежде всего я хотъль опредълить себъ всякую должность, всякое сословіе, всякое мъсто и всякое званіе въ государствъ. Мнъ казалось это необходимымъ для писателя, который беретъ людей на разныхъ поприщахъ. Не содержа въ собственной головъ своей весь долгъ и всю обязанность того человъка, котораго описываешь, не выставишь его, какъ слёдуетъ, вёрно и притомъ тавъ, чтобы онъ дъйствительно былъ въ урокъ и въ поученье живущему. Изъ-за этого я старался завести переписку съ такими людьми, которые могли мнѣ что-нибудь сообщать. Прочихъ я просилъ набрасывать легкіе портреты и характеры, первые, какіе имъ попадутся. Все это было мнѣ нужно не затъмъ, чтобы въ головъ моей не было ни характеровъ, ни героевъ: ихъ было у меня уже много; они выработались изъ познанія природы человѣческой гораздо полнъйшаго, чъмъ какое было во мнъ прежде; но свъдънія эти мнъ, просто, нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственнаго сочинения. Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ къ себѣ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ, затъмъ, чтобы держать передъ собою неотлучно, чтобы не погръшить ни въ чемъ противъ дъйствительности, противъ времени или эпохи, какая имъ взята. Я никогда ничего не создавалъ въ воображении и не имълъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дъйствительности, изъ данныхъ, мнъ извъстныхъ. Угадывать человъка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внъшности. Я нивогда не писалъ портрета въ смыслъ простой копін. Я создаваль портреть, но создаваль его вслёдствіе соображенья, а не воображенья. Чъмъ болъе вещей принималъ я въ соображенье, тъмъ у меня върнъй выходило созданье. Мит нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ, потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никакъ не могъ объяснить никому, а потому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ я желалъ. Всѣ только удивлялись тому, какъ могь я требовать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имбю такое воображеніе, которое можеть само творить и производить. Но воображеные мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замъчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдъ-нибудь не подмътиль мой взглядъ въ натуръ. Я помъстиль въ книгъ моей: «Переписка съ друзьями» нѣсколько писемъ къ помѣщикамъ и къ разнымъ должностнымъ лицамъ (изъ нихъ большая часть не папечатана) вовсе не

затъмъ, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ. Возраженья такого рода отъ людей практическихъ и опытныхъ для меня важны тъмъ, что поставляютъ меня ближе къ дълу, раскрывая миъ глубже внутренность Россіи. Но вмъсто дълъ, интересныхъ для всякаго русскаго человъка, и нашихъ русскихъ вопросовъ, занялись моей собственной личностью и исписали цёлые листы о томъ, имъю ли я право мътаться въ подобныя дъла. Я сдълалъ въ то же время воззванье ко всъмъ читателямъ «Мертвыхъ Душъ», -- воззванье нъсколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ многіе посмъются; но я готовъ былъ выдержать всявое осмъяние, лишь бы тольво добиться своего. Я думаль, что, можеть, хоть пять, шесть человъкъ захотять исполнить мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ собственно поправокъ на «Мертвыя Души»: мнѣ хотѣлось, подъ этимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспоминаний о тъхъ характерахъ и лицахъ, съ которыми случилось кому встрётиться на вёку, изображеній тёхъ случаевъ, гдъ пахнеть Русью. Зная, что у всъхъ насъ есть какая-то лънь на подъемъ, на работу, всяблствіе которыхъ почти всякому изъ насъ трудно что-нибудь доставать изъ своей памяти, я думаль, что чтенье «Мертвыхъ Душъ» можетъ расшевелить, особенно, если и карандашъ, и бумага будетъ при этомъ подъ рукой. Я выставилъ свой адресъ и просилъ прислать мнъ въ письмъ только тъхъ, которые не захотъли бы печатать, но вообще я считалъ гораздо полезнѣе сдѣлать ихъ всеобщею извѣстностью. Мнѣ казалось даже необходимымъ и въ нынъшнее время это распространеніе извъстій о Россія посредствомъ живыхъ фактовъ, потому что въ это время, которое недаромъ называють переходнымъ, почти у всякаго человъка, на всъхъ поприщахъ, замѣтно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противъ всякаго зла. Я думалъ, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, нужно намъ обнаружить наружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разнородныхъ началъ состоить наша почва, на которой мы вст стремимся стять, и лучше бы осмотрелись прежде, чемъ произносить что-либо такъ решительно, какъ нынъ всъ произносятъ. Я питалъ втайнъ надежду, что чтенье «Мертвыхъ Душъ» наведеть нъкоторыхъ на мысль писать свои собственныя записки, что многіе почувствують даже нёкоторое обращенье на самихъ себя, потому что и въ самомъ авторъ, въ то время, когда писаны были «Мертвыя Души», произощло нъкоторое обращенье на самого себя. Я думалъ, что тотъ, кто уже находится на склонъ дней своихъ и тревожимъ мыслью, что жизнь его протекла безъ пользы, и онъ сдълалъ мало для общаго добра земли своей, почувствуеть сильнье, что онъ върнымъ и живымъ изображеньемъ людей, характеровъ и случаевъ своего времени можетъ познакомить съ Русью людей молодыхъ и начинающихъ дъйствовать, и такимъ образомъ больше чъмъ вознаградить прекрасно за свою недъятельность. Молодой же, тоть, кто вступаеть еще на поприще, кто еще ни къ чему не охладълъ и потому имъетъ живость взгляда, кого любопытно занимаетъ все, можетъ изобразить эпоху современную, какъ она представляется молодымъ глазамъ юноши. Словомъ, я думаль, какъ дитя; я обманулся нъкоторыми: я думаль, что въ нъкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналь еще тогда, что мое имя въ ходу только затёмъ, чтобы попрекнуть другъ друга и посмёяться другъ напъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смѣядась вовсе не изъ здобнаго жеданья. Но на мое приглашенье я не получилъ записокъ; въ журналахъ мнъ отвъчали насмъшками.

Привожу все это затѣмъ, чтобы показать, какъ я употреблялъ всъ силы держаться на своемъ поприщѣ и придумывалъ всѣ средства, которыя могли двинуть мою работу, не имъя и въ мысляхъ оставлять званіе писателя. Не могу не замѣтить при этомъ случаѣ, что многіе изъявили изумленіе тому, что я такъ желаю извъстій о Россіи и въ то же время самъ остаюсь внъ Россіи, не соображая того, что, кром'ь бользненнаго состоянія моего здоровья, потребовавшаго теплаго климата, инъ нужно было это удаленіе отъ Россіи затьмъ, чтобы пребывать живъе мыслью въ Россіи. Для тъхъ, которые не могутъ этого почувствовать, объяснюсь, хотя мнъ нъсколько трудно объясняться во всемъ томъ, что составляетъ свойства, собственно мнъ принадлежащія. Почти у всъхъ писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньемъ, - способность представлять предметы отсутствующіе такъ живо, какъ бы они были предъ нашими глазами. Способность эта дъйствуеть въ насъ только тогда, когда мы отдалимся отъ предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты большею частію избирали эпоху, оть насъ отдалившуюся, и погружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ всего, что ни есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья къ прошедшему. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынъшнемъ быту, можетъ-быть, оттого, что умъ мой былъ всегда наклоненъ къ существенности и къ пользъ, болъе осязательной. Чъмъ далье, тъмъ болѣе усиливалось во мнѣ желанье быть писателемъ современнымъ. Но я видълъ въ то же времи, что, изображая современность, нельзя находиться въ томъ высоко настроенномъ и спокойномъ состоянии, какое необходимо для произведенія большого и стройнаго труда. Настоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамътно переходить въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду другихъ и болье или менье дъйствуя съ ними, видишь передъ собою только тъхъ людей, которые стоять близко отъ тебя: всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я сталь думать о томъ, какъ бы выбраться изъ ряду другихъ и стать на такое мъсто, откуда бы я могъ увидать всю массу, а не людей только, возлѣ меня стоящихъ, — какъ бы, отдалившись отъ настоящаго, обратить его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое разстроившееся здоровье и вмъстъ съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но которыхъ тогда не умълъ еще переносить, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имълъ влеченья и страсти къ чужимъ краямъ. Я не имълъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снъдаемъ юноша, жадный впечатлъній. Но, странное дъло! даже въ дътствъ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышляль только объ одной службь, а не о писательствь, мнь всегда казалось, что въ жизни моей мнъ предстоить какое-то большое самопожертвованье и что, именно для службы моей отчизнь, я долженъ буду воспитаться гдё-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ, но видълъ самого себя такъ живо, въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей отчизнѣ, картина эта такъ часто меня преслъдовала, что я чувствоваль отъ нея грусть. Можетьбыть, это было, просто, то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, бхать въ чужіе края единственно затбиъ, чтобы, по выраженью его,

> Подъ небомъ Африки моей Вздыхать о сумрачной Россіи.

Какъ бы то ни было, но это противувольное мнъ самому влечение было такъ сильно, что не прошло пяти мъсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургь, какъ я сълъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнъ самому непонятному. Проекть и цъль моего путешествія были очень неясны. Я зналь только то, что бду вовсе не затёмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скоръй, чтобы натерпъться, точно какъ бы предчувствоваль, что узнаю цёну Россіи только внё Россіи, и добуду любовь къ ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ англійскій, и на немъ ни души русской), мнѣ стало грустно; мнъ сдълалось такъ жалко друзей и товарищей моего дътства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже подумалъ о возвратъ. Три дня только я пробылъ въ чужихъ краяхъ и, несмотря на то, что новость предметовъ начала меня завлекать, я поспъшиль на томъ же самомъ пароходъ возвратиться, боясь, что иначе мнъ не удастся возвратиться. Съ тъхъ поръ я далъ себъ слово не питать и мысли о чужихъ краяхъ — и точно, во все время пребыванья моего въ Петербургъ, въ продолжение цълыхъ семи лътъ, не приходили мнъ никогда на мысли чужіе края, покамъстъ обстоятельства моего здоровья, нъкоторыя огорченья и, наконецъ, потребность большаго уединенія не заставили меня оставить Россію.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ даже съ тъмъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думаль, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я въ силахъ буду узнать многое. Но, странное дбло! среди Россіи я почти не увидаль Россіи. Всѣ люди, съ которыми я встрѣчался, большею частію любили поговорить о томъ, что дѣлается въ Европъ, а не вь Россіи. Я узнаваль только то, что дълается въ англійскомъ клуб'ь, да кое-что изъ того, что я и самъ уже зналъ. Изв'естно, что всякій изъ насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знакомыхъ, изъ за котораго трудно ему увидать людей постороннихъ; во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей такъ уже самъ по себѣ пріятенъ, что нужно имѣть слишкомъ много самоотверженья, чтобы изъ него вырваться. Всъ, съ которыми мнъ случилось познакомиться, надъляли меня уже готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, которыхъ я искалъ. Я замътилъ вообще нъкоторую перемъну въ мысляхъ и умахъ. Всякъ глядълъ на вещи взглядомъ болъе философическимъ, чъмъ когда-либо прежде, во всякой вещи хотълъ увидать ся глубокій смыслъ и сильнъйшее значение: движенье, вообще показывающее большой шагъ общества впередъ. Но съ другой стороны, отъ этого произошла торопливость дблать выводы и заключенья изъ двухътрехъ фактовъ о всемъ цбломъ и безпрестанная позабывчивость того, что не всѣ вещи и не всѣ стороны соображены и взвѣшены. Я замѣтилъ, что почти у всякаго образовывалась въ головъ своя собственная Россія, и отгого безконечные споры. Миъ нужно было не того: мнъ нужно было, просто, такихъ бесъдъ, какъ бывали въ старину, когда всякъ разсказывалъ только то, что видълъ, слышаль на своемъ вѣку, и разговоръ казался собраньемъ анекдотовъ, а не разсужденьемъ. Это мив нужно было уже и потому, что я и самъ начиналъ невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщимъ повътріемъ нынъшняго времени.

Провинціи наши меня еще болѣе изумили. Тамъ даже имя Россія не раздается на устахъ. Раздавалось, какъ мнѣ показалось, на устахъ только то, что было прочитано въ новѣйшихъ романахъ, переведенныхъ съ

французскаго. Словомъ, — во все пребыванье мое въ Россіи, Россія у меня въ годовъ разсъивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цълое; духъ мой упадаль, и самое желанье знать ее ослабъвало. Но какъ только я выбажаль изь нея, она совокуплялась вновь въ монхъ мысляхъ цалой, желанье знать ее пробуждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться со всякимъ свъжимъ человъкомъ, недавно вытхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже умѣнье выспрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнаваль то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе недьли. Всякій энаеть, что за границей знакомства ділаются гораздо дегче, что на водахъ въ Германіи и на зимовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ-быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы въкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребыванье внъ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи. Я очень долго думаль о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дълающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разътздами по государству не много возьмешь: останутся въ головъ только станции да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для разъбъжающаго не по казенной надобности: могуть принять за какого-нибудь шпіона, и пріобрѣтешь развѣ только сюжеть для комедін, которой имя безтолковщина. Если жъ узнають, что разъбзжающий есть и писатель выбств, тогда положенье еще смѣшнѣе: половина читающей Россіи увѣрена сурьезно, что я живу единственно для осмѣянья всего, что ни есть въ человѣкѣ, отъ головы до ногь. А между тымъ, никогда еще до сихъ поръ не чувствовалъ я такъ сильно потребности знать современное состояние нынышняго русскаго человъка, тъмъ болъе, что теперь такъ разошлись всъ въ образахъ мыслей, такъ вихорь недоразумѣній обуялъ всѣхъ, что никто не въ силахъ судить вѣрно другъ друга, и нужно какъ бы щупать собственною рукою всякую вещь, не довъряя никому. Я не могъ быть безъ этихъ свъдъній. Нынъ избранные характеры и лица моего сочиненія крупнъй прежнихъ. Чёмъ выше достоинство взятаго лица, тёмъ ощутительнёй, тёмъ осязательнёй нужно выставить его передъ читателемъ. Для этого нужны всъ тъ безчисленныя мелочи и подробности, которыя говорять, что взятое лицо дъйствительно жило на свъть; иначе оно станеть идеальнымъ, будетъ блъдно и, сколько ни навяжи ему добродътелей, будеть все ничтожно. Нужно, чтобы русскій читатель дъйствительно почувствоваль, что выведенное лицо взято именно изъ того самаго тбла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и его собственное тьло. Тогда только сливается онъ самъ съ своимъ героемъ и нечувствительно принимаеть отъ него тъ внушения, которыхъ никакимъ разсужденьемъ и никакою проповёдью не внушишь. Это полное воплощенье въ плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умъ своемъ весь этотъ прозаическій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ то же время вокругь его все тряпье до малъйшей будавки, которое кружится ежедневно вокругъ человѣка, словомъ — когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношении умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, то-есть способный больше выводить, чъмъ выдумывать. Мнѣ всегда нужно было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образовалось во мнѣ собственное мое мнѣніе, и тогда только мое мнѣніе находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не всъхъ выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только ръзко и необыкновенно. Даже въ нынъшней моей книгь: «Переписка съ друзьями», въ которой многое походить на одни

предположенія, собственно предположеній нѣтъ. Въ ней все выводы; но дѣло въ томъ, что одни выводы взяты изъ всѣхъ сторонъ дѣла и потому всѣмъ ясны, другіе изъ нѣкоторыхъ, не всѣмъ извѣстныхъ, и потому темны, а для многихъ кажутся даже и вовсе нелѣпицей. Вотъ отчего въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается рядомъ и зрѣлость, и не зрѣлость, и мужъ, и ребенокъ, и учитель, и ученикъ.

Итакъ, всего того, что мнѣ нужно, я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдълался требователенъ къ самому себъ? Какъ полетъть воображеньемъ, -- если бъ оно и было, — если разсудовъ на всякомъ шагу задаетъ вопросъ: «зачёмъ?» Зачёмъ случились многія такія обстоятельства, которыхъ я не призываль? Зачёмъ мнё опредёлено было не иначе пріобрёсти познанье души человъка, какъ произведя строгій анализъ надъ собственной душою? Зачъмъ желаньемъ изобразить русскаго человъка я возгорълся не прежде, какъ узнавши получше общіе законы дъйствій человъческихъ, а узналъ ихъ не прежде, какъ пришедши къ Тому, Кто одинъ въдатель и дъйствій человъческихъ, н всёхъ мальйшихъ нашихъ душевныхъ тайнъ?.. Зачёмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня? Зачѣмъ, наконецъ, были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человъка? Зачъмъ вънцомъ встхъ эстетическихъ наслажденій во мнъ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томида меня постоянно отъ дней моей юности? Опредъдите мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло, и тогда спрашивайте: зачѣмъ я не могу писать того, что писаль? Я старался дъйствовать наперекорь обстоятельствамъ и этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробовалъ нъсколько разъ писать попрежнему, какъ писалось въ молодости, то-есть, какъ попало, куда ни поведетъ перо мое, — но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-какъ въ письмахъ къ моимъ знако: мымъ и друзьямъ, я захотблъ тотчасъ же изъ этого сдблать употребленье, и едва только оправился отъ тяжкой болбзни моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать ей кое-какой порядокъ и послъдовательность, чтобы она походила на дъльную книгу, не размысливши того, что многое обращенное въ нъкоторымъ общество приметъ на свой счетъ, особенно послъ завъщанья, обращеннаго въ лицу всъхъ соотечественниковъ. Я боялся самъ разсматривать ея недостатки, а почти закрылъ глаза на нее, зная, что если разсмотрю я построже мою книгу, можеть, она будеть такъ же уничтожена, какъ я уничтожалъ «Мертвыя Души» и какъ уничтожалъ все, что ни писалъ въ послъднее время. Я думалъ, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, обращу вниманіе на практическое и на дъло жизни. Я думалъ вслъдъ ея заговорить о томъ, что раскроетъ предо мною побольше Русь, освѣжить, оживить меня и заставить меня взяться за перо. Не туть-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышаль только толки о томъ, что не ръшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, мнѣ показалось, началъ было во мнѣ пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно самъ собой пришелъ теперь къ тому вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать въ себъ: долженъ ли я въ самомъ пълъ писать? долженъ ли я оставаться на этомъ поприщъ, отъ котораго въ послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, если бы даже я въ силахъ былъ какъ-нибудь побъдить себя, перо мое получило бы

обглость, и страницы полились непринужденно одна за другою — таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были дъйствительно въ это время полезны и нужны нынъшнему обществу? Бросимъ взглядъ, на нынъшнее состояніе общества: благопріятно ли нынъшнее время для писателя вообще и, вслъдъ за тъмъ, для такого писателя, какъ я?

Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее время переходнымъ. Всъ, болъе чъмъ когда-либо прежде, нынъ чувствуютъ, что міръ въ дорогь, а не у пристани, даже и не на ночлегь, не на временной станціи, или отдыхѣ. Все чего-то ищетъ, ищетъ уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевъсъ и надъ политическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими вопросами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждеть какого-то болье стройньйшаго порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дълается общею. Со встми замтятельными, стоящими впереди другихъ людьми случились какіе-нибудь душевные внутренніе перевороты, съ иными даже въ такіе годы, въ какіе никогда невозможны были доселѣ перемѣны въ человѣкѣ и улучшенія. Всякъ болѣе или менѣе чувствуеть, что онъ не находится въ томъ именно состоянии своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всъми; уши всъхъ чутво обращены въ ту сторону, гдъ думають услышать хоть что-нибудь о вопросахъ, всвхъ занимающихъ. Нивто не хочетъ читать другой вниги, кромѣ той, гдѣ можеть содержаться хотя намекъ на эти вопросы. Надобны ди въ это время сочиненія такого писателя, который одаренъ способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь въ томъ видъ, какъ она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Опредблимъ себб прежде, что такое тоть писатель, котораго главный талантъ состоять въ творчествъ.

Всѣ болѣе и менѣе согласны въ томъ, что писатель-творецъ творитъ творенье свое въ поученье людей. Требованья отъ него слишкомъ велики — и справедливо: для того, чтобы передавать одну върную копію съ того, что видншь передъ глазами, есть также другіе писатели, одаренные иногда въ высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но вто создаеть, вто трудится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его создание, тоть должень уже потрудиться не даромъ. Нужно, чтобы въ созданыи его жизнь сдълала какой-нибудь шагъ впередъ, и чтобы онъ, постигнувши современность, ставши въ уровень съ въкомъ, умълъ обратно воздать ему за наученые себя наученыемъ его. Такъ, по крайней мъръ, опредъляють поэтовъ и вообще писателей, надъленныхъ творчествомъ, эстетики какъ нынъшняго времени, такъ и прежнихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видѣ, въ какомъ и взялъ, для писателя-творца даже невозможно: это дѣло сдълаеть лучше его тоть, кто, владъя бъглою кистью, можеть рисовать всякую минуту все, что проходить предъ его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничъмъ.

Стало-быть, въ нынѣшнее время, когда всѣ такъ заняты вопросомъ жизни, такой писатель можеть, болѣе чѣмъ кто-либо другой, быть разрѣшителемъ современныхъ вопросовъ; но когда и въ какомъ случаѣ? Въ такомъ случаѣ и тогда, когда ужъ онъ все разрѣшилъ себѣ, что ни тревожить его самого. Если онъ, при всѣхъ великихъ дарахъ, при картинной живописи въ словѣ, при орлиной силѣ взгляда, при возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма, и пріобрѣтаетъ полное познанье земли своей и своего

Н. В. Гоголь. Томъ III.

11

народа въ корнѣ и въ вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человъчества, и, какъ кремень, станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повельно быть връпкой скалой человъку, — тогда онъ выступай на поприще. Владъя такими средствами, орудіями, станеть подавать онъ обществу людей, потребныхъ ему въ нынъшнее время, въ современную эпоху, и оденеть ихъ портретною живостью, которая делаеть то, что изображенный образъ преслѣдуетъ насъ повсюду тавъ, что нельзя и оторваться. Разумѣется, что съ такими средствами ему ничего не будетъ стоить выгнать изъ головъ всёхъ тёхъ героевъ, которыхъ напустили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, намъсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей, — и двери сердець растворятся сами навстрѣчу къ принятію ихъ, если только почувствують, хоть каплю почувствують, что они взяты изъ нашей природы. изъ того же тъла. Тогда, разумъется, кто можеть подъйствовать нынъ сильнъй такого писателя, и кто можетъ быть болъе его нужнымъ нынъшнему времени и нынѣшней эпохѣ? Но, если онъ, имѣя, дъйствительно, нѣкоторыя изъ тъхъ орудій, самъ еще не воспитался такъ, какъ гражданинъ земли своей и гражданинъ всемірный, если онъ, покорный общему нынѣшнему влеченію всбуь, самь еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его вліяніе можеть быть скорте вредно, чти полезно. Это строенье себя самого непремънно обнаружится во всемъ, что ни будетъ выходить изъ-подъ пера его. Чтить онъ самъ менте похожъ на другихъ людей, чёмъ онъ необыкновеннёе, чёмъ отличнёе отъ другихъ, чёмъ своеобразнѣе, тѣмъ больше можетъ произвести всеобщихъ заблужденій и недоразумѣній. То, что въ немъ есть не болье, какъ естественное явленье, законный холь его необыкновеннаго организма, состояные временное духа, можеть показаться другимъ людямъ верховною точкою, до которой слъдуеть всъмъ дойти. Чъмъ больше одушевится онъ любовью въ героямъ и лицамъ своимъ, чты больше отделаеть, чемъ съ большею живостью выставить ихъ, темъ больше вреда. Примѣръ тому въ глазахъ нашихъ. Извѣстная французская писательница, больше всъхъ другихъ надъленная талантами, въ немного лёть произвела сильнёйшее измёненье въ нравахъ, чёмъ всё писатели, заботившіеся о развращеніи людей. Она, можетъ-быть, и въ помышленьи не имъла проповъдывать разврать, а обнаружила только временное заблужденье свое, отъ котораго потомъ, можетъ-быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состоянія душевнаго; а слово уже брошено. Слово какъ воробей, говоритъ наша пословица: выпустивши его, не схватишъ потомъ.

Я самъ писатель, не лишенный творчества; я владъю также нъкоторыми изъ тъхъ даровъ, которые способны увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ насъ, но совершается по волъ Того..., я помышляю о своемъ собственномъ строеньи, какъ помышляють и другіе, и чувствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышедшая книга: «Переписка съ друзьями» служить тому доказательствомъ. Если и эта книга, которая не болъе, какъ разсужденіе, говорятъ, неопредѣлительностью своею производитъ заблужденія, распространяетъ даже ложныя мысли, если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головѣ, какъ живыя картины, пѣликомъ фразы и страницы, — что же бы было, если бы я выступилъ съ живыми образами повѣствовательнаго сочиненія намѣсто этихъ писемъ? Я самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнѣй, чѣмъ въ разсужденіяхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, а

162

тогла врялъ ди бы въ сидахъ былъ меня кто опровергнуть. Образы мои быди соблазнительны и такъ застряли бы кръпко въ головы, что критикамъ бы вхъ оттуда не вытащить. Не нужно упускать того изъ виду, что всъ выставленные липа и характеры должны были доказать истину моихъ собственныхъ убъжденій, а мои убъжденія... Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными. мною «Мертвыми Душами», не могу не возблагодарить за насланное мнѣ внушеніе ихъ уничтожить. Въ книгъ моихъ писемъ я все-таки стою на высшей точкъ, нежели въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ». Темнота выраженія во иногнать мъстахъ сбиваетъ только читателя, но если бы пояснъе выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ» гораздо больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая опредблительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательнъй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ — какъ честный человъкъ, я долженъ бы оставить перо, даже и тогда, если бы дъйствительно почувствоваль позывь къ нему. На это пъло слъдуеть взглянуть благоразумно. Всъ тъ, которые легкомысленно требують оть меня продолженія писать и въ то же время бранять мою нынѣшнюю книгу, должны, по крайней мѣрѣ, разсмотрѣть поближе все это дѣло и не пропустить всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыхъ не пропускаеть никакой судья, если только произносить надъ къмъ-либо судъ свой. Мнъ кажется, что теперь не только тотъ, кто пишетъ, но всякій умъ вообще, если только наплоненъ въ тому, чтобы дълать выводы и заплюченья, а самъ въ то же время еще..., долженъ удержаться отъ дъятельности. Изъ людей умпыхъ должны выступать на поприще только тв, которые кончили свое воспитанье и создались, какъ граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, которые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который даль себѣ названье Луганскаго козака, умѣють по слѣдамъ его живописать природу, какъ она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошаго въ русскомъ и руководствуясь единственно желоньемъ ввести всбхъ въ дъйствительное положение русскаго человъка.

Мић, върно, потяжелъй, чъмъ кому-либо другому, отказаться отъ писательства, когда это составлядо единственный предметъ всъхъ моихъ помышленій, когда я все прочее оставилъ, всъ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всъмъ тъмъ, что мило человъку на землъ, затъмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, вромъ труда своего. Мић не легко отказаться отъ писательства: однъ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тъ, когда я, наконецъ, клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увъренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденье творить. Но, повторяю вновь, какъ честный человъкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, если бы чувствовалъ позывъ къ нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдѣлать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, скажу откровенно, жизнь иотеряла бы для меня тогда вдругь всю цѣну, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нѣть лишеній, вослѣдъ которымъ намъ не посылается замѣна, въ свидѣтельство того, что ни на малое время не оставляетъ человѣка Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не можетъ быть безъ какого-инбудь желанья. Какъ земля, на время освобожденная отъ пашни, износитъ другія травы, покуда вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удобренная ими, такъ и во мнѣ, какъ только способность писать меня оставила, мысли какъ бы сами вновь возвратились

къ тому, о чемъ я помышлядъ въ самомъ дътствъ. Мнъ захотълось служить, въ какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незамътной должности, но служить земль своей, такъ служить, какъ я хотълъ нъкогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотель. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствоваль, что на этомъ поприщѣ могу также служить землѣ своей. Но и тогда, однакоже, я помышляль, какъ только кончу большое сочинение, вступить, по примъру другихъ, въ сдужбу и взять мъсто. Планы мои п виды были только горды и заносчивы. Мив казалось, что если только доказать, что я, точно, знаю русскаго человъка въ корнъ и въ существенныхъ его началахъ, вакъ въ тъхъ, которыя обнаружены всъмъ, такъ равно и въ тъхъ, которыя въ немъ покуда скрыты и видны не для всъхъ, что знаю душу человъка не по книгамъ и разсказамъ, но по опыту, влекомый отъ младенчества желаньемъ знать человъка, то мнъ дадуть такое мъсто, гдъ я буду въ соприкосновеніи съ людьми разныхъ сословій, съ многими людьми въ соприкосновенія личномъ, а не посредствомъ бумагь и канцелярій, — гдъ я могу употребить съ дъйствительною пользой мое знанье человъка, и гдъ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя самого пріобръсти ещо большее познаніе человѣка. Мнѣ казалось, что больше всего страждеть все на Руси отъ взаимныхъ недоразумѣній, и что больше намъ нуженъ всякій такой человѣкъ, который бы, при нъкоторомъ познаньи души и сердца и при нъкоторомъ. знаньи вообще, проникнуть быль желаніемь истиннымь мирить. Я видъль и уже испыталь, какъ личнымъ переговоромъ и объясненьемъ прекращать можно было много такихъ дълъ, которыя никогда не оканчиваются на бумагъ. Я думаль, что хоть теперь и нъть такихъ мъсть, но что я получу посль того, какъ выйдетъ вполнъ мое сочиненіе, и приготовлялъ уже въ мысляхъ и самый проекть, въ которомъ намъревался изъяснять, какъ, вслъдствіе тъхъ способностей, какія у меня есть, я могу быть нужень и полезень Россіи. Замыслы мои были горды, но такъ какъ они были основаны только на успѣхѣ моего сочиненія, то и упали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оставила меня способность производить созданья поэтическія. Теперь въ глазахъ моихъ всё должности равны, всё мёста равно значительны, отъ малаго до великаго, если только на нихъ взглянешь значительно, и мнъ кажется, что если только хотя сколько-нибудь умфешь цфнить человфка и понимать его достоинство, которое въ немъ бываетъ даже и среди множества недостатковъ, и если только при этомъ хоть сколько-нибудь имъешь истинно - христіанской любви къ человъку и, въ заключенье, проникнутъ точно любовью къ Россія, — то, мнѣ кажется, на всякомъ мѣстѣ можно сдѣлать много добра. Сила вліянія нравственнаго выше всякихъ силъ. Мѣсто и должность сдѣлались для меня, какъ для плывущаго по морю пристань и твердая земля. Я убъжденъ, что теперь всякому, кто пламенъетъ желаньемъ добра, кто русскій, и кому дорога честь земли Русской, должно..... также брать многія мъста и должности въ государствъ, съ такой же ревностью, какъ становился нікогда изъ насъ всякъ въ ряды противу непріятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой стороны, я убъ-. жденъ, что мѣсто и должность нужны для самого себя, для..... Какъ ни бурно нынъшнее время, какъ ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ ни возмущаетъ тебя собственный умъ твой, но можно остаться среди всего этого въ тишинѣ, если съ тѣмъ именно возьмешь свое мѣсто, чтобы на немъ исполнить долгь такимъ образомъ, чтобы не стыдно было дать, и за который дашь отвётъ Небу. Какъ бы то ни было, но жизнь для насъ уже не

загадка. Она была тогда загадка, когда умнѣйшіе изъ людей, отъ мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумывались и бриходили только къ сознанью, что не знаютъ, что такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ наиумнѣйшій, сказалъ твердо, не колеблясь никакимъ сомнѣніемъ, что Онъ знаетъ, что такое жизнь; когда этотъ Одинъ признанъ всѣми за величайшаго человѣка изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ, даже и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его божественности, тогда слѣдуетъ повѣрить Ему на слово, даже и въ такомъ случаѣ, если бы Онъ былъ просто человѣкъ. Стало-быть, вопросъ рѣшенъ: что такое жизнь?

Этого мало. Намъ данъ полнъйшій законъ всъхъ дъйствій нашихъ, тоть законь, котораго не можеть стёснить или остановить никакая власть, который можно внести даже въ тюремныя стъны, но котораго, однакожъ, нельзя исполнять на воздухъ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь земномъ грунть. Находясь въ должности и на мъстъ, все-таки идешь по дорогь; не имъя опредъленнаго мъста и должности, идешь черезъ кусты и овраги, какъ попало, хотя и та же цъль. По дорогъ идти легче, нежели безъ пороги. Если взглянеть на мъсто и полжность, какъ на средство къ достиженью не цбли земной, но цбли небесной, во спасенье своей души, - увидишь, что законъ, данный Христомъ, данъ какъ бы для тебя самого, какъ бы устремленъ лично въ тебъ самому, затъмъ, чтобы ясно показать тебъ, кавъ быть на своемъ мъсть во взятой тобою должности. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ высшими, такъ что если хотя немного онъ изъ того исполнить, всъ высшіе его полюбять. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ тѣми, которые его пониже, такъ что если хотя отчасти онъ это исполнить, всъ низшіе ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемірность человъколюбиваго закона Христова, все это отношенье человъка къ человъчеству можеть изъ насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Стоитъ только встахъ тъхъ людей, съ которыми происходятъ у насъ частыя непріятности наищекотливъйшія, обратить именно въ тъхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелъваетъ больше всего прощать и любить Христосъ. Стоить только не смотръть на то, какъ другіе съ тобою постунають, а смотръть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Стоитъ только не смотръть на то, какъ тебя любятъ другіе, а смотръть только на то, любишь ли самъ ихъ. Стоитъ только, не оскорблять ничъмъ, подавать первому руку на примиренье. Стоить поступать такъ въ продолжение небольшого времени, и увидишь, что и тебъ легче съ другими, и другимъ легче съ тобою, и въ силахъ будень точно произвести много подезныхъ дъдъ почти на незамътномъ мъстъ. Труднъй всего на свътъ тому, кто не прикръпилъ себя къ мъсту, не опредълиль себъ, въ чемъ его должность: ему труднъй всего примънить къ себъ законъ Христовъ, который на то, чтобы исполняться на землъ, а не на воздухъ; а потому и жизнь должна быть для него въчной загадкой. Предъ нимъ узникъ въ тюрьмѣ имѣетъ преимущество: онъ знаетъ, что онъ узникъ, а потому и знаеть, что брать изъ закона. Предъ нимъ нищій имѣеть преимущество: онъ тоже при должности, онъ нищій, а потому и знаеть, что брать изъ закона Христова. Но человъкъ, не знающій, въ чемъ его должность, гдъ его мъсто, не опредъливший себъ ничего и не остановившийся ни на чемъ, пребываетъ ни въ мірѣ, ни внѣ міра, не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать (весь міръ не полюбишь, если не начнешь прежде любить тъхъ, которые стоять поближе къ тебъ и имъють случай огорчить тебя): онъ ближе всъхъ къ холодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ кѣ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначенье человѣка — служить, и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю Небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: государю, и народу, и землѣ своей.

Увърившись въ этомъ, я уже готовъ былъ жадно взять всякую должность, хотя, соображаясь съ своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить съ русскимъ человъкомъ. чтобы, если возвратится мнѣ способность писать, набрались у меня матеріалы. Одною изъ главныхъ причинъ моего путешествія въ Святымъ Мъстамъ было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполненье должности, на вступленье въ жизнь у Самого Того, Кто открылъ намъ тайну жизни, на томъ самомъ мъстъ, гдъ нъкогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что ни случилось въ моей жизни; испросить дъятельности и напутственнаго освъженія на дъло, для котораго я себя воспитываль и къ которому приготовлялъ себя. Туть я не нахожу ничего страннаго, если и ученияъ, по окончании своего ученья, спѣшитъ сказать благодарственное слово учителю. Если сынъ спъщить на могилу отца передъ тъмъ, какъ предстоить ему поприще, почему же и мнѣ не поклониться той могилѣ, которой повлоняются всё, на которой всё получають себѣ какое-нибудь напутствіе, гдъ вдохновляются всъ, даже и не поэты? Странно, можетъ-быть, то, что я объ этомъ сказалъ въ печатной книгъ; но я въ то время только-что оправился отъ тяжкой болѣзни. Я былъ слабъ; я не думалъ, что я буду въ силахъ совершить это путешествіе. Мнѣ хотѣлось, чтобы помолились обо мнѣ тѣ, которыхъ вся жизнь стала одною молитвой. Я не зналъ, какъ сдѣлать, чтобы голосъ мой достигнулъ въ глубину келій и стънъ затворниковъ, въ мысли, что, авось, кто-либо изъ прочитавшихъ донесетъ имъ мое слобо. Я просилъ обо мнѣ и другихъ молиться, потому что не зналь, чья молитва изъ насъ угоднѣй Тому, Кому мы всъ молимся. Знаю только то, что наипрезръннъйший изъ насъ можетъ завтра же сдълаться лучше всъхъ насъ, и его молитва будетъ всъхъ ближе въ Богу. За это не слядовало бы меня много осуждать, з выполнить, помня слова: просящему дай.

Кавъ случилось, что я долженъ обо всемъ входить въ объясненія зъ читателемъ, этого я самъ не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже съ наимскреннъйшими пріятелями, я не хотълъ изъясняться насчетъ сокровеннъйшихъ моихъ помышленій. Я ръшился твердо не открывать ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія заключенія о себ'я, какія бы ни раздавались, въ увъренности, что, когда выйдетъ второй и третій томъ «Мертвыхъ Душъ», все будеть объяснено ими, и никто не будеть дълать запроса: что такое самъ авторъ? хотя авторъ и долженъ былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши нъкоторыя объясненія по поводу моихъ сочиненій, я долженъ былъ неминуемо заговорить о себѣ самомъ, потому чтосочиненья связаны тесно съ деломъ моей души. Богъ весть, можетъ-быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ воли Котораго ничто не дълается на свътъ; можетъ-быть, произощло это именно затъмъ, чтобы дать мнъ возможность взглянуть на себя самого. Мнъ дегко было почувствовать нъкоторую гордость, особенно послѣ того, какъ удалось мнѣ дѣйствительно избавиться отъ многихъ недостатковъ. Эта гордость во мнъ бы жила безпрестанно, и ея бы мнѣ никто не указалъ. Извѣстно, что достаточно пріобрѣсти въ обраще-

ньяхъ съ людьми нѣкоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить ихъ уже не замѣчать въ насъ нашихъ недостатковъ. Но, когда выставишься передъ лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свъта, и разберуть по ниткъ всякое твое дъйствіе, всякій поступокъ, и люди всъхъ возможныхъ убъжденій, предубъжденій, образовъ мыслей взглянуть на тебя каждый по-своему, и посыплются со всёхъ сторонъ упреки впопадъ и невпопадъ, ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по всъмъ чувствительнымъ струнамъ твоимъ — туть поневолъ взглянешь на себя съ такихъ сторонъ. съ какихъ бы никогда на себя не взглянулъ; станешь въ себѣ отыскивать тѣхъ недостатковъ, которыхъ никогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это та страшная школа, отъ которой или точно свихнешь съ ума, или поумнѣещь больше, чѣмъ когда-либо. Не безъ стыда и краски въ лицѣ я перечитываю самъ многое въ моей книгъ, но при всемъ томъ благодарю Бога. давшаго мнъ силы издать ее въ свътъ. Мнъ нужно было имътъ зеркало, въ которое бы я могъ глядъться и видъть получше себя, а безъ этой книги врядъ ли бы я имблъ это зеркало. Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести пользу другимъ книга моя принесла прежде всего пользу мнѣ camony.

Но да позволено мнѣ будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ относительно полезности ея другимъ. Точно ли безполезна моя книга другимъ и особенно обществу въ его нынѣшнемъ, современномъ видѣ? Мнѣ кажется, всѣ судившіе ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, какъ-то уже слишкомъ сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнѣе. Вмѣсто того, чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на судъ передъ всю Россію, нужно было разсмотрѣть дѣло проще, разсмотрѣть книгу, что такое она въ своемъ основаніи, а не останавливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ объяснился вполнѣ внутренній смыслъ ея. Отъ этого вышли пустыя придирки къ словамъ и приписанье многому такого смысла, который мнѣ никогда и въ умъ не могъ прійдти.

Начать съ того, что я всегда имблъ право сказать о томъ, о чемъ говориль въ моей книгъ, если бы только выразился попроще и поприличнъе. Учить общество въ томъ смыслѣ, какой нѣкоторые мнѣ приписали, я вовсе не думаль. Учить я принималь въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ повелѣваеть намъ Церковь учить другь друга и безпрестанно, умъя съ такой же охотой принимать и отъ другихъ совъты, съ какой подавать ихъ самому. А я быль готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совѣты. Я не представляль себь общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителемъ. Я не всходилъ съ моей книгой на каеедру, требуя, чтобы всъ по ней учились. Я пришель въ своимъ собратьямъ, соученикамъ, кавъ равный имъ соученикъ; принесъ нъсколько тетрадей, которыя успълъ записать со словъ Того же Учителя, у Котораго мы всъ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякій взялъ, что кому придется. Туть были письма, писанныя къ людямъ разныхъ характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находившихся на разныхъ степеняхъ своего собственнаго душевнаго состоянія, которыя никакъ не могли прійтиться равно всёмъ. Я думаль, что каждый схватить только, что нужно ему, а на другое не обратить вниманія. Я не думаль, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будетъ кричать: «Это мнъ не нужно!» и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповъдать. Какъ ученикъ, кое въ чемъ успѣвшій больше другого, я хотѣлъ только открыть другимъ, какъ полегче выучивать уроки, которые даются намъ найлучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по прочтении книги, будетъ мнъ сказано:

«Благодарю тебя, собрать», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не «Завѣщаніе», которое я помѣстилъ довольно неосторожно, въ которомъ намекалъ о поученіи, которое обязанъ дать всякій авторъ поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумалъ мнѣ приписывать этого апостольства, несмотря даже на рѣшительный слогъ и нѣкоторую лирическую торжественность рѣчи. Но въ книгѣ моей отыщетъ много себѣ полезнаго всякъ, кто уже глядитъ въ собственную душу свою.

Что же касается до мнѣнья, будто книга моя должна произвести вредъ, съ этимъ не могу согласиться ни въ какомъ случаѣ. Въ книгѣ, несмотря на всѣ ея недостатки, слишкомъ явно выступило желанье добра. Несмотря на мно гія неопредѣлительныя и темныя мѣста, главное видно въ ней ясно, и послѣ чтенія ея приходишь къ тому же заключенью, что верховная инстанція всего есть Церковь, и разрѣшенье вопросовъ жизни — въ ней. Стало-быть, во всякомъ случаѣ, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые укажуть, что слѣдуеть ему взять изъ моей книги для себя, а можетъ-быть, дадуть ему, намѣсто моей книги, другія позначительнѣе, полезнѣе, и для которыхъ онъ оставить мою книгу, какъ ученикъ бросаеть склады, когда выучится читать по верхамъ.

Въ заключение всего я долженъ замътить: сужденья большею частию были слишкомъ ужъ ръшительны, слишкомъ ръзки, и всякъ, укорявшій меня въ недостаткъ смиренья истиннаго, не показалъ смиренья относительно меня самого. Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ достоинствахъ, мнѣ приписанныхъ всѣми, могъ подумать, что я стою выше всѣхъ и имъю право произносить судъ надъ другимъ. Но, на чемъ основываясь, могъ судить меня рышительно тоть. кто не почувствоваль, что онъ стоить выше меня? Какъ бы то ни было, но, чтобы произнести полный судъ надъ чъмъ бы то ни было, нужно быть выше того, котораго судишь. Можно дълать замъчанья по частямъ на то и на другое, можно давать и мнѣнья, и совѣты; но выводить, основываясь на этихъ митньяхъ, обо всемъ человткъ, объявлять его рѣшительно помѣшавшимся, сошедшимъ съ ума, называть лжецомъ и обманщикомъ, надъвшимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цъли — это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца, который заклейменъ клеймомъ всеобщаго презрънія. Мнъ кажется, что, прежде чъмъ произносить такія обвиненія, слѣдовало бы хоть сколько нибудь содрогнуться душою и подумать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы такія обвиненія обрушились на насъ публично, въ виду всего свъта. Не мъшало бы подумать, прежде чъмъ произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я самъ? Въдь я тоже человъкъ. Дѣло здѣсь душевное. Душа человѣка — кладязь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствъ нъкоторыхъ признаковъ нельзя основываться. Часто и нанискуснъйшіе врачи принимали одну болъзнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разръзывали уже мертвый трупъ». Нътъ, въ книгѣ: «Переписка съ друзьями», какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть также въ ней много того, что не скоро можетъ быть доступно всъмъ. Нечего утверждаться на томъ, что прочелъ два или три раза книгу: иной и десять разъ прочтетъ, и ничего изъ этого не выйдетъ. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имъть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человъкомъ. который, при умъ, обнимающемъ со всъхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій таланть и душу, умѣющую любить полною и глубовою любовью.

АВТОРСКАЯ ИСПОВЪДЬ.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумѣніе были для меня очень тяжелы, тѣмъ болѣе, что я думалъ, что въ книгѣ моей скорѣй зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ Богь никому получать! Не могу не изъявить также и благодарности тѣмъ, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже слишкомъ много для немощной натуры человѣка, рукой скорбящаго брата приподымали меня, повелѣвая ободриться. Богъ да вознаградитъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнемогшему духомъ.

169

ИСКУССТВО ЕСТЬ ПРИМИРЕНІЕ СЪ ЖИЗНЬЮ.

(ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ).

Неаполь. 1848 генваря 10 1847 декабря 29

Виновать передъ тобой, душа моя! Всякій день собираюсь писать — и непостижимая неохота удерживаеть. Передо мной опять Неаполь, Везувій и море! Дни бъгуть въ занятіяхъ; время летить такъ, что не знаешь, откуда взять лишній часъ. Учусь, какъ школьникъ, всему тому, чему пренебрегъ выучиться въ школъ. Но что разсказывать объ отомъ! Хотелось бы поговорить о томъ, о чемъ съ однимъ тобой могу говорить: о нашемъ миломъ искусстви, для котораго живу и для котораго учусь теперь, какъ школьникъ. Такъ какъ теперь предстоитъ мнѣ путешествіе въ Іерусалимъ, то хочу тебѣ исповъдаться; кому же, какъ не тебъ? Въдь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грѣхи — здѣсь. Вотъ уже скоро двадцать дѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступавшій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый. разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцъ. Комнаты этой уже нътъ; но я ее вижу какъ теперь, всю, до малъйшей мебели и вещицы. Ты подаль мнъ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!... Что насъ свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнъйшее обыкновеннаго родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дбло ръшить, въ какой степени я поэть; знаю только то, что, прежде чёмъ понимать значеніе и цёль искусства, я уже чувствоваль чутьемъ всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого перваго свиданья нашего оно уже стало главнымь и первымь въ моей жизни, а все прочее вторымо. Мнъ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землъ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давалъ себъ отчета (да и могъ ли тогда его дать?), что должно быть предметомъ моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственныя обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось какъ бы независимо отъ моего собственнаго (свободнаго) произволенія. Никогда, напримъръ, я не думалъ, что мнъ придется быть сатирическимъ писателемъ и смъшить моихъ читателей. Правда, что, еще бывши въ школъ, чувствовалъ я временами расположение въ веселости и надобдаль товарищамъ неумъстными шутками. Но это были временные припадки: вообще же я быль характера скоръй меланхолическаго и склоннаго къ размышлению. Впослъдстви присоединилась въ этому болъзнь и хандра. И эти-то самыя болъзнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась въ моихъ первыхъ произведеніяхъ. Чтобъ развлекать самого себя, я выдумываль безъ дальнъйшей цъли и плана

героевъ, становилъ ихъ въ сибшныя положенія — вотъ происхожденіе моихъ повъстей! Страсть наблюдать за человъкомъ, питаемая мною еще сызмала, придала имъ нъкоторую естественность; ихъ даже стали называть върными снимками съ натуры. Еще одно обстоятельство: мой смъхъ вначалъ былъ добродушенъ, я совсъмъ не думалъ осмъивать что-либо съ какой-нибудь цълью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышаль, что обижаются и даже сердятся на меня цъликомъ сословія и классы общества, что я, наконецъ, задумался. «Если сила смѣха такъ велика, что ея боятся, стало-быть, ее не слёдуеть тратить по-пустому». Я рёшился собрать все дурное, какое только я зналь, и за однимъ разомъ надъ нимъ посмъяться — вотъ происхожденіе «Ревизора!» Это было первое мое произведеніе, замышленное съ цёлью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось: въ комедіи стали видъть желанье осмъять узаконенный порядокъ вещей и правительственныя формы, тогда какъ у меня было намъреніе осмъять только самоуправное отступленье нѣкоторыхъ лицъ отъ форменнаго и узаконеннаго порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлёніе. Я быль сердить и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго виной тому, что меня не поняли. Мнъ хотълось убъжать отъ всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшаго своего дъла. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, въ которомъ бы предстало все, что ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человъкъ, и обнаружилось бы предъ нами виднъй свойство нашей русской природы. Я видълъ и обнималъ порознь много частей, но планъ цълаго нивакъ не могъ предо мной выясниться и опредълиться въ такой силѣ, чтобы я могъ уже приняться и начать писать. На всякомъ шагу я чувствовалъ, ято мнѣ многаго недостаеть, что я не умѣю еще ни завязывать, ни развязывать событій и что мнѣ нужно выучиться постройкъ большихъ твореній у великихъ мастеровъ. Я принялся за нихъ, начиная съ нашего любезнаго Гомера. Уже мнъ показалось было, что я начинаю кое-что понимать и пріобрѣтать даже ихъ-пріемы и замашки, — а способность творить все не возвращалась. Оть напряженья больда голова. Съ большими усиліями удалось мнѣ кое-какъ выпустить въ свѣть первую часть «Мертвыхъ Душъ», какъ бы затъмъ, чтобы увидъть на ней, какъ я былъ еще далекъ оть того, къ чему стремился. Послъ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думаль, что уже способность писать просто отнялась оть меня. И вдругъ болъзни и тяжкія душевныя состоянія оторвали меня разомъ отъ всего и даже отъ самой мысли объ искусствъ, обратили въ тому, въ чему прежде, чъмъ сдълался писатель, уже имълъ я охоту — къ наблюденію внутреннему надъ человъкомъ и надъ душой человъческой. О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе, когда начнешь дѣло съ собственной своей души! На этомъ-то пути поневолъ встрътишься ближе съ Тъмъ, Ко-. торый одинъ изъ всёхъ, доселё бывшихъ на землё, показалъ въ Себѣ полное познанье души человъческой; божественность Котораго если бы даже и отвергнуль мірь, то ужъ этого послѣдняго свойства никакъ не въ силахъ отвергнуть, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда сдѣлается уже не слюлъ, а просто мулъ. Этимъ крутымъ поворотомъ, происшедшимъ не отъ моей воли, наведенъ я былъ заглянуть глубже въ душу вообще и узнать, что существуютъ ея высшія степени и явленія. Съ этихъ поръ способность творить стада пробуждаться; живые образы начинають выходить ясно изъ мглы; чувствую, что работа пойдетъ, что даже и языкъ будетъ правиленъ и звученъ, а слогъ окрѣпнеть. И, можеть-быть, будущій увздный учитель словесности прочтеть

171

ученикамъ своимъ страницу будущей моей прозы непосредственно вослъдъ за твоей, примолвивши: «оба писателя правильно писали, хотя и не похожи другь на друга». Выпускъ книги «Переписка съ друзьями», съ которою (оть радости, что расписалось перо) я такъ поспѣшилъ, не подумавши, что прежде, чѣмъ принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею съ толку многихъ, пришелся въ пользу мнъ самому. На этой книгъ я увилълъ, глъ и въ чемъ я перешелъ въ то излишество, въ которое, въ эпоху нынъшнято переходнаго состоянья общества, попадеть почти всякій идущій впередь человькь. Несмотря на пристрастье сужденій объ этой книгь и разномысліе ихъ, въ итогь послышался общій голось, указавшій мнѣ мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не полженъ преступать. Въ самомъ пълъ, не мое пъло поучать проповълью. Искусство и безъ того уже поученье. Мое дёло говорить живыми образами, а не разсужденьями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не травтовать о жизни. Истина очевилная. Но вопросъ: могъ ли бы я безъ этого большого крюку сдълаться достойнымъ производителемъ искусства? могъ ли бы я выставить жизнь въ ея глубинъ такъ, чтобы она пошла въ поученье? Какъ изображать людей, если не узналь прежде, что такое душа человтческая? Писатель, если только онъ одаренъ творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, какъ человъкъ и гражданинъ земли своей, а потомъ уже принимайся за перо! Иначе все будеть невпопадъ. Что пользы поразить позорнаго и порочнаго, выставя его на видъ всъмъ, если не ясенъ въ тебъ самомъ идеалъ ему противуположнаго прекраснаго человъка? Какъ выставлять недостатки и недостоинство человъческое, если не задалъ самому себъ запроса: въ чемъ же достоинство человъка? и не далъ на это себъ сколько-нибудь удовлетворительнаго отвъта. Какъ осмъивать исключенья, если еще не узналъ хорошо ть правила, изъ которыхъ выставляешь на видъ исключенья? Это будеть значить разрушить старый домъ прежде, чёмъ имѣешь возможность выстроить на мъсто его новый. Но искусство не разрушенье. Въ искусствъ таятся съмена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и въ тъ времена, когда все было невъжественно. Подъ звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сихъ поръ понятіе общества объ искусствъ, всъ, однакоже, говорятъ: «искусство есть примиренье съ жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имбеть въ себъ что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройнаго согласія, а по прочтеніи удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается въ сердцъ движенье негодованія противъ брата, но скоръе въ немъ струится едей всепрощающей любви къ брату; и вообще не устремляещься на порицаные дъйствій другого, но на созерцаные самого себя. Если же создањье поэта не имђетъ въ себѣ этого свойства, то оно есть одинъ только благородный, горячій порывъ, плодъ временного состоянья автора. • Оно останется, какъ примъчательное явленье, но не назовется созданьемъ искусства. Подъломъ. Искусство есть примиренье съ жизнью!

Искусство есть водворенье въ душу стройности и порядка, а не смущенья и разстройства. Искусство должно изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, чтобы каждый изъ насъ почувствовалъ, что это жизые люди, созданные и взятые изъ того же тѣла, изъ котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всё доблестныя народныя наши качества и свойства, не выключая даже и тѣхъ, которыя, не имъя простора свободно развиться, не всѣми замѣчены и оцѣнены такъ вѣрно, чтобы каждый почувствовалъ ихъ и въ себѣ самомъ и загорѣлся бы желаньемъ развить и возлелѣять въ себѣ самомъ то, что имъ заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ

всё дурныя наши народныя качества и свойства такимъ образомъ, чтобы слёды ихъ каждый изъ насъ отыскалъ прежде въ себѣ самомъ и подумалъ бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дъйствуя, искусство исполнитъ свое назначенье и внесетъ порядокъ и стройность въ общество!

Итакъ, благословясь и помолясь, обратимся же сильнъй, чъмъ когдалибо прежде, къ нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда Ботъ удостоитъ быть достойнымъ сколько-нибудь того), хочу заняться кръпко «Мертвыми Душами». Съѣзжу въ lepycалимъ (чего стало даже и совъстно не сдълать); поблагодарю, какъ сумъю, за все бывшее; помолюсь, да укръпится душа и соберутся силы, и съ Богомъ за дѣло. Очень, очень бы хотѣлось, чтобы привелъ Богъ насъ опятъ пожить вмъстѣ, въ Москвѣ, вблизи другъ отъ друга. Перечитывать написанное и быть судьей другъ другу теперь будетъ еще больше нужно, чъмъ прежде. Затѣмъ отъ всей души поздравляю тебя съ новымъ годомъ. Дай Богъ, чтобъ былъ онъ намъ обоимъ очень, очень плодотворенъ, плодотворнѣе всѣхъ прошедшихъ. Прощай, мой родной! Цѣлую тебя и обнимаю крѣпко. Пиши ко мнѣ. Твое письмо еще застанетъ меня въ Неаполѣ. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вмъстъ съ Рейтернами.

Твой Г.



РАЗМЫШЛЕНІЯ

0

БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГІИ.





ПРЕДИСЛОВІЕ.

Фланков, чтобы утвердился въ головъ читателя порядокъ всего. Онъ увъренъ, что всякому, со вниманьемъ слъдующему за литургіею, повторля всякое слово, глубокое внутреннее значеніе ея раскрываться будетъ само собою.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

¹⁾ Вев прочіе, которые бы захотвли узнать болве таниственныя и глубокія объясненія, могуть найти ихъ въ сочиненіяхъ патріарха Германа, Геремін, Николая Кавасила, Симеона Солунскаго, въ Старой и Новой Скрижали, въ объясненіяхъ Дмитріева и, ваконецъ, въ нъкоторыхъ......



ВСТУПЛЕНІЕ.

Божественная литургія есть вѣчное повтореніе великаго подвига любви, для насъ совершившагося. Скорбя отъ неустроеній своихъ, человѣчество отовсюду, со всѣхъ концовъ міра взывало къ Творцу своему — и пребывавшіе во тьмѣ язычества и лишенные боговѣдѣнія, — слыша, что порядокъ и стройность могуть быть водворены въ мірѣ только Тѣмъ, Который въ стройномъ чинѣ повелѣлъ двигаться мірамъ, отъ Него созданнымъ. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца. Воплями взывало все къ Виновнику своего бытія, и вопли эти слышнѣй слышались въ устахъ избранныхъ и пророковъ. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающійся въ созданіяхъ, предстанетъ Самъ лицомъ къ человѣкамъ, предстанетъ не иначе, какъ въ образѣ того созданія своего, созданнаго по Его образу и подобію. Вочеловѣченіе Бога на землѣ представлялось всѣмъ, по мѣрѣ того, какъ сколько-нибудь очищались понятія о божествѣ. Но нигдѣ такъ ясно не говорилось объ этомъ, какъ у пророковъ богоизбраннаго народа. И самое чистое воплощеніе Его отъ чистой Дѣвы было предслышиваемо даже и язычниками; но нигдѣ въ такой ощутительно видной ясности, какъ у пророковъ.

Вопли услышались: явился въ міръ, Имъ же міръ бысть; среди насъ явился въ образъ человъка, какъ предчувствовали, какъ предслышали и въ темной тьмъ язычества, но не въ томъ только, въ какомъ представляли Его неочищенныя понятія — не въ гордомъ блескъ и величіи, не какъ каратель преступленій, не какъ судія, приходящій истребить однихъ и наградить другихъ. Нъть! послышалось кроткое лобзаніе брата. Совершилось его появленіе образомъ, только одному Богу свойственнымъ, какъ прообразовали его божественно пророки, получившіе повелѣніе отъ Бога...

Digitized by Google

 12^{*}

Проскомидія.

Священникъ, которому предстоитъ совершать литургію, долженъ еще съ вечера трезвиться тёдомъ и духомъ, долженъ быть примиренъ со всёми, полженъ опасаться питать какое-нибудь неудовольствіе на кого бы то ни было. Когда же наступить время, идеть онъ въ церковь; вмъсть съ діакономъ поклоняются они оба предъ царскими вратами, цълуютъ образъ Спасителя, цълуютъ образъ Богородицы, поклоняются ликамъ святыхъ всъхъ, поклоняются всъмъ предстоящимъ направо и налъво, испрашивая симъ поклономъ себъ прощенія у всёхъ, и входять въ алтарь, произнося въ себе псаломъ: «Вниду въ домъ Твой, поклонюся храму Твоему во страсъ Твоемъ». И, приступивъ къ престолу (лицомъ въ востоку), повергаютъ предъ нимъ три наземные поклона и цълують на немъ пребывающее Евангеліе, какъ бы Самого Господа, сидящаго на престоль; цълують потомъ и самую трапезу и приступають къ облаченію себя въ священныя одежды, чтобы отдѣлиться не только оть другихъ людей, — и отъ самихъ себя, ничего не напомнить въ себъ другимъ похожаго на человъка, занимающагося ежедневными житейскими дълами. И произнося въ себъ: «Боже! очисти меня гръшнаго п помилуй меня!» священникъ и діаконъ берутъ въ руки одежды. Сначала одъвается діаконъ; испросивъ благословеніе у іерея, надъваеть стихарь, подризникъ блистающаго цвѣта, во знаменованіе свѣтоносной ангельской одежды и въ напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть неразлучна съ саномъ священства, почему и произносить при воздъвании его: «Возрадуется душа моя о Господъ, облече бо мя въ ризу спасенія и одеждою веселія одъя мя; яко жениху, возложи ми вѣнецъ и, яко невѣсту, украси мя красотою». — Затѣмъ береть, поцѣловавъ, орарь, узкое длинное лентіе, принадлежность діаконскаго званія, которымъ подаетъ онъ знакъ къ начинанью всякаго дъйствія церковнаго, воздвигая народъ къ моленію, пъвцовъ къ пънію, священника къ священнодъйствію, себя въ ангельской быстроть и готовности во служеніи. Ибо званье діакона, что званье ангела на небесахъ, и самымъ симъ на него воздътымъ тонкимъ лентіемъ, развъвающимся какъ бы въ подобіе воздушнаго крыла, и быстрымъ хожденіемъ своимъ по церкви изобразуетъ онъ, по слову Златоуста, ангельское летаніе. Лентіе это, поцъловавъ, онъ набрасываетъ себѣ на плечо. Потомъ надъваетъ онъ поручи или нарукавницы, которыя стягиваются у самой кисти его руки для сообщенья имъ большей свободы и ловкости въ отправлении предстоящихъ священнодъйствій. Надъвая ихъ, помышляеть о всетворящей, содъйствующей повсюду силь Божіей и, воздъвая на правую, произносить онъ: «Десница Твоя, Господи, прославилася въ кръности; десная рука Твоя, Господи, сокрушила враговъ и множествомъ славы Своей Ты истребилъ супостатовъ». Воздъвая на лъвую руку, помышляетъ о самомъ себъ, какъ о твореніи рукъ Божінхъ и молить у Него æe, его же сотворившаго, да руководить его верховнымъ, свышнимъ Своимъ

руководствомъ, говоря такъ: «Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся Твоимъ заповъдямъ».

Священникъ облачается такимъ же самымъ образомъ. Вначалъ благословляеть и надъваеть стихарь, сопровождая сіе твми же словами, какими сопровождаль и діаконь; но вслёдь за стихаремь надъваеть уже не простой одноплечный орарь, но двухплечный, который, покрывъ оба плеча и обнявъ шею, соединяется обоими концами на груди его вытесть и сходить въ соединенномъ видъ до самаго низу его одежды, знаменуя симъ соединение въ его должности двухъ должностей — јерейской и діаконской. И называется онъ уже не ораремъ, но эпитрахилью, и самимъ воздъваньемъ своимъ знаменуетъ изліяніе благодати свыше на священниковъ, почему и сопровождается это величественными словами Писанія: «Благословенъ Богъ, изливающій благодать Свою на священники Своя, яко миро на главѣ, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежды его». Затъмъ надъваетъ поручи на объ руки свои, сопровождая тъми же словами, какъ и діаконъ, и препоясуетъ себя поясомъ сверхъ подризника и эпитрахили, дабы не препятствовала ширина одежды въ отправлении священнодъйствий и дабы симъ препоясаниемъ выразить готовность свою, ибо препоясуется человёкъ, готовясь въ дорогу, приступая въ дълу и подвигу: препоясуется и священнивъ, собираясь въ дорогу небеснаго служенія, и взираеть на поясь свой, какь на крѣпость силы Божіей, его укръпляющей, почему и произносить: «Благословень Богь, препоясующій мя силою, содблавшій путь мой непорочнымь, быстр'йшими еленей мон ноги и поставляющий меня на высовихъ», то - есть, въ дому Господнемъ. Если же онъ облеченъ при этомъ званіемъ высшимъ іерейства, то привъшиваеть къ бедру своему четыреугольный набедренникъ однимъ изъ четырехъ концовъ его, который знаменуетъ духовный мечъ, всепобъждающую силу слова Божія, въ возвѣщеніе вѣчнаго ратоборства, предстоящаго въ мірѣ человъку, — ту побъду надъ смертію, которую одержалъ въ виду всего міра Христосъ, да ратоборствуетъ бодро безсмертный духъ человъка противу тлънія своего. Потому и видъ имъетъ сильнаго оружія брани сей набедреннивъ; привѣшивается на поясѣ у чресла, гдѣ сила у человѣка, потому и сопровождается воззваніемъ къ Самому Господу: «Препояпии мечъ Твой по бедръ Твоей. Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успъвай, и царствуй истины ради, и вротости, и правды, и наставить ия дивно десница Твоя». Наконецъ, надъваетъ ісрей фелонь, верхнюю всепокрывающую одежду, въ знаменование верховной всепокрывающей правды Божией и сопровождаетъ сими словами: «Священники Твои, Господи, облекутся въ правду и преподобніи Твои радостію возрадуются». И одътый такимъ образомъ въ орудія Божія, священникъ предстоить уже инымъ человѣкомъ: каковъ онъ ни есть самъ по себѣ, какъ бы ни мало былъ достоинъ своего званія, но глядять на него всъ стоящіе во храмъ какъ на орудіе Божіе, которымъ наляцаетъ Духъ Святый. Какъ священникъ, такъ и діаконъ омываютъ оба руки, сопровождая чтеньемъ псалма: «Умыю въ неповинныхъ руки мои и обыду жертвенникъ Твой». Повергая по три поклона въ сопровождении словъ: «Боже! очисти мя грѣшнаго и помилуй», возстають омытые, усвѣтленные, подобно сіяющей одеждѣ своей, ничего не напоминая въ себѣ подобнаго другимъ людямъ, но подобяся скорѣе сіяющимъ видѣніямъ, чѣмъ людямъ.

Діаконъ напоминаетъ о началъ священнодъйствія словами: «Благослови, владыко!» И священникъ начинаетъ словами: «Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынъ, и присно, и во въки въковъ», и приступаетъ къ боковому жертвеннику. Вся эта часть служенія состоитъ въ приготовленіи нужнаго къ

служенію, то-есть въ отдѣленіи отъ приношеній или хлѣбовъ-просфоръ того хлѣба, который долженъ вначалѣ образовать тѣло Христово, а потоиъ пресуществиться въ него.

Такъ какъ вся проскомидія есть не что иное, какъ только приготовленіе къ самой литургія, то и соединила съ нею Церковь воспоминаніе о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьемъ къ его подвигамъ въ мірћ. Она совершается вся въ алтаръ при затворенныхъ дверяхъ, при задернутомъ занавъсѣ, незримо отъ народа, какъ и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо отъ народа. Для молящихся же читаются въ это время часы — собранье псалмовъ и молитвъ, которые читались христіанами въ четыре важныя для христіанъ времена дня: часъ первый, когда начиналось для христіанъ утро, часъ третій, когда было сошествіе Духа Святаго, часъ шестой, когда Спаситель міра пригвожденъ былъ къ кресту, часъ девятый, когда Онъ испустилъ Духъ Свой. Такъ какъ нынѣшнему христіанину, по недостатку времени и безпрестаннымъ развлеченіямъ, не бываетъ возможно совершать эти моленія въ означенные часы, для того они соединены и читаются теперь.

Приступивъ въ боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся въ углублении стъны, знаменующему древнюю боковую комору храма, iepeй береть изъ нихъ одну изъ просфоръ съ тъмъ, чтобы изъять ту часть, которая станеть потомъ тѣломъ Христовымъ, — средину съ печатью, ознаменованной именемъ Іисуса Христа. Такъ онъ симъ изъятіемъ хлѣба оть хлѣба знаменуеть изъятіе плоти Христа оть плоти Дъвы — рожденіе Безплотнаго во плоти. И помышляя, что раждается Принесшій въ жертву Себя за весь мірь, соединяеть неминуемо мысль о самой жертвь и принесеніи и глядить на хлъбъ, какъ на агнца, приносимаго въ жертву, на ножъ, которымъ долженъ изъять, какъ на жертвенный, который имбетъ видъ копья, въ напоминаніе копья, которымъ было прободено на крестъ тъло Спасителя. Не сопровождаеть онъ теперь своего дъйствія ни словами Спасителя, ни словами свидътелей, современныхъ случившемуся, не переноситъ себя въ минувшее, въ то время, когда совершилось сіе принесеніе въ жертву: то предстоитъ впереди, въ послъдней части литургии; и въ сему предстоящему онъ обращается издали прозръвающею мыслію, почему и сопровождаеть все священнодъйствіе словами пророка Исаін, издали, изъ тьмы въковъ прозръвавшаго будущее чудное рожденіе, жертвоприношеніе и смерть и возвѣстившаго о томъ съ ясностью непостижимою. Водружая копье въ правую сторону печати, произносить слова Исаіи: «Какъ овечка ведется на заколоніе»; водрузивъ копье потомъ въ лъвую сторону, произносить: «И какъ непорочный ягненокъ, безгласный передъ стригущими его, не отверзаеть усть своихъ»; водружая потомъ копье въ верхнюю сторону печати: «Былъ осужденъ за Свое смиренье (въ смиреньи Его судъ Его взятся)». Водрузивъ потомъ въ нижнюю, произносить слова пророка, задумавшагося надъ дивнымъ происхождениемъ осужденнаго Агнца, — слова: «Родъ же Его вто исновъсть?» И приподъемлетъ потомъ копьемъ выръзанную средину хлъба, произнося: «яко вземлется отъ земли животь Его»; и начертываеть крестовидно, во знамение крестной смерти Его, на немъ знакъ жертвоприношенья, по которому онъ потомъ раздробится во время предстоящаго священнодъйствія, произнося: «Жертвоприносится Агнецъ Божій, вземлющій гр'ёхъ міра сего, за мірской животь и спасеніе». И, обративъ потомъ хлъбъ печатью внизъ, а вынутой частью вверхъ, въ подобье агнца, приносимаго въ жертву, водружаетъ копье въ правый бокъ, напоминая, вмъстъ съ заколеньемъ жертвы, прободение ребра

Спасителева, совершенное копьемъ стоявшаго у креста воина; и произносить: «Единъ отъ воинъ копіемъ ребра Его прободе, и абіе изыде кровь и вода: и видѣвый свидѣтельствова, и истинно есть свидѣтельство его». И слова сіи служать вмѣстѣ съ тѣмъ знакомъ діакону ко влитію въ святую чашу вина и воды. Діаконъ, доселѣ взиравшій благоговѣйно на все совершаемое іереемъ, то напоминая ему о начинаніи священнодѣйствія, то произнося внутри самого себя: «Господу помолимся!» при всякомъ его дѣйствіи, наконецъ, вливаетъ вина и воды въ чащу, соединивъ ихъ вмѣстѣ и испросивъ благословенья у іерея. Такимъ образомъ приготовлены и вино, и хлѣбъ, да обратятся потомъ во время возвышеннаго священнодѣйствія предстоящаго.

И во исполненье обряда первенствующей Церкви и святыхъ первыхъ христіанъ, воспоминавшихъ всегда, при помышленіи о Христь, о всѣхъ тѣхъ, которые были ближе въ Его сердцу исполненіемъ Его заповѣдей и святостью жизни ссоей, приступаеть священникъ къ другимъ просфорамъ, дабы, изъявъ отъ нихъ части въ воспоминаніе ихъ, положить на томъ же дискосъ возлѣ того же святаго хлѣба, образующаго Самого Господа, такъ какъ и сами они пламентан желаніемъ быть повсюду съ своимъ Господомъ. Взявши въ руки вторую просфору, изъемлеть онъ изъ нея частицу въ воспоминание Пресвятыя Богородицы и кладеть ее по правую сторону святаго хлъба, произнося изъ псалма Давида: «Предста Царица одесную Тебя, въ ризы позлащенны одбяна, преукрашенна». Потомъ беретъ третью просфору, въ воспоминанье святыхъ, и тъмъ же копьемъ изъемлеть изъ нея девять частицъ въ три ряда, по три въ каждомъ. Изъемлеть первую частицу во имя Іоанна Крестителя, вторую во имя пророковъ, третью во имя апостоловъ и симъ завершаетъ первый рядъ и чинъ святыхъ. Затъмъ изъемлетъ четвертую частицу во имя святыхъ отцовъ, пятую во имя мучениковъ, шестую во имя преподобныхъ и богоносныхъ отцовъ и матерей и запершаетъ симъ второй рядъ и чинъ святыхъ. Потомъ изъемлетъ седьмую частицу во имя чудотворцевъ и безсребренниковъ, восьмую во имя Богоотецъ Іоакима и Анны и святого, егоже день; девятую во имя Іоанна Златоуста или Василія Великаго, смотря по тому, кого изъ нихъ правится въ тотъ день служба, и завершаеть симъ третій рядъ и чинъ святыхъ, и полагаеть всъ девять изъятыхъ частицъ на святой дискосъ возлъ святаго хлъба, по лъвую его сторону. И Христосъ является среди своихъ ближайшихъ, во святыхъ Обитающій зрится видимо среди святыхъ своихъ — Богъ среди боговъ, человъкъ посреди человъковъ. И принимая въ руки священникъ четвертую просфору въ поминовенье встать живыхъ, изъемлеть изъ нея частицы во имя императора, во имя синода и патріарховь, во имя всёхъ живущихъ повсюду православныхъ христіанъ и, наконецъ, во имя каждаго изъ нихъ поименно, кого захочетъ помянуть, о комъ просили его помянуть. Затъмъ береть іерей послъднюю просфору, изъемлеть изъ нея частицы въ поминовение всъхъ умершихъ, прося въ то же время объ отпущении имъ гръховъ ихъ, начиная отъ патріарховъ, царей, создателей храма, архіерея, его рукоположившаго, если онъ уже находится въ числѣ усопшихъ, и до послѣдняго изъ христіанъ, изъемля отдѣльно во имя каждаго, о которомъ его просили, или во имя котораго онъ самъ восхочетъ изъять. Въ заключение же всего испрапиваеть и себь отпущения во всемъ и также изъемлеть частицу за себя самого, и всѣ ихъ полагаеть на дискосъ возлѣ того же святаго хлѣба, внизу его. Такимъ образомъ, вокругъ сего хлъба, сего агица, изобразующаго Самого Христа, собрана вся Церковь Его, и торжествующая на небесахъ, и воинствующая здъсь. Сынъ Человъческій является среди человъковъ, ради которыхъ Онъ воплотился и сталъ человъкомъ. Взявъ губку, священникъ бережно

собираеть ею и самыя крупицы на дискось, дабы ничто не пропало изъ святаго хлъба, и все бы пошло въ утверждение.

И отошедши отъ жертвенника, поклоняется іерей, какъ бы онъ поклонялся самому воплощенію Христову, и привѣтствуетъ въ семъ видѣ хлѣба, лежащаго на дискосѣ, появленіе Небеснаго Хлѣба на землѣ, и привѣтствуетъ его кажденіемъ еиміама, благословивъ прежде кадило и читая надъ нимъ молитву: «Кадило Тебѣ приносимъ, Христе Боже нашъ, въ воню благоуханія духовнаго, которое принявши во превышенебесный Твой жертвенникъ, возниспосли намъ благодатъ Пресвятаго Твоего Духа».

И весь переносится мыслію іерей во время, когда совершилось рождество Христово, возвращая прошедшее въ настоящее, и глядить на этотъ боковой жертвенникъ, какъ на таинственный вертепъ, въ который переносилось на то время небо на землю: небо стало вертепомъ, и вертепъ — небомъ. Обкадивъ звъздицу (двъ золотыя дуги съ звъздою наверху) и постановивъ ее на дискосѣ, глядить на нее, какъ на звѣзду, свѣтившую надъ Младенцемъ, сопровождая словами: «И, пришедши, звъзда стала вверху, идъ же бъ Отроча»; на святой хлъбъ, отдъленный на жертвоприношение, - какъ на Новородившагося Младенца; на дискосъ — какъ на ясли, въ которыхъ лежалъ Младенецъ; на покровы — какъ на пелены, покрывавшія Младенца. И обкадивъ первый покровъ. покрываеть имъ святый хлъбъ съ дискосомъ, произнося псаломъ: «Господь воцарися, въ лёпоту облечеся...» и проч., -- псаломъ, въ которомъ воспёвается цивная высота Господня. И обкадивъ второй покровъ, покрываетъ имъ святую чашу, произнося: «Покрыла небеса, Христосъ, Твоя добродътель, и хвалы Твоей исполнилась земля». И взявъ потомъ большой покровъ, называемый святымъ воздухомъ, погрываетъ имъ и дискосъ, и чащу вмѣстѣ, взывая къ Богу, да покроеть насъ кровомъ крыла Своего. И, отошедъ отъ предложения, поклоняются оба святому хлёбу, какъ поклонялись пастыри-цари Новорожденному Младенцу, и кадитъ предъ вертепомъ, изобразуя въ семъ кажденіи то благоуханіе ладана и смирны, которые были принесены вмёстё съ златомъ мудрецами.

Діаконъ же попрежнему соприсутствуеть внимательно іерею, то произнося при всякомъ дъйствіи: «Господу помолимся», то напоминая ему о начинанія самого дъйствія. Наконець, принимаеть изъ рукъ его кадильницу и напоминаеть ему о молитвѣ, которую слѣдуеть вознести ко Господу о сихъ для Него пріуготовленныхъ дарахъ, словами: «О предложенныхъ честныхъ дарахъ Господу помолимся!» И священникъ приступаетъ къ молитвѣ. Хотя дары эти не болѣе какъ пріуготовлены только къ самому приношенію, но такъ какъ отнынѣ ни на что другое уже не могутъ быть употреблены, то и читаеть священникъ для себя одного молитву, предваряющую о принятіи сихъ предложенныхъ къ предстоящему приношению даровъ. И въ такихъ словахъ его молитва: «Боже, Боже нашъ, пославшій намъ Небесный Хлъ́бъ, пищу всего міра, нашего Господа и Бога Іисуса Христа, Спасителя, Искупителя и Благодътеля, благословляющаго и освящающаго насъ, Самъ благослови предложение сие и прими во свыше-небесный Твой жертвенникъ: помяни, вакъ благой и человъколюбецъ, тъхъ, которые принесли, тъхъ, ради которыхъ принесли, и насъ самихъ сохранивъ неосужденными во священнодъйствіи божественныхъ тайнъ Твоихъ». И творить, вслъдъ за молитвой, отпускъ проскомидіи; а діаконъ кадить предложеніе и потомъ крестовидно святую трапезу. Помышляя о земномъ рожденіи Того, Кто родился прежде всёхъ вёковъ, присутствуя всегда повсюду и повсемъстно, произносить въ самомъ себъ: «Во гробѣ плотски, во адѣ же съ душою, яко Богъ, въ раю же съ разбойникомъ и на престолъ былъ еси, Христе, со Отцемъ и Духомъ, вся исполняяй

Неописанный». И выходить изъ алтаря, съ кадильницей въ рукъ, чтобы наполнить благоуханіемъ всю церковь и привѣтствовать всѣхъ, собравшихся на святую трапезу любви. Каждение это совершается всегда въ началъ службы. какъ и въ жизни домашней всёхъ древнихъ восточныхъ народовъ предлагались всякому гостю при входъ омовенія и благовонія. Обычай этоть перешель цъликомъ на это пиршество небесное — на тайную вечерю, носящую имя литургін, въ которой такъ чудно соединилось служение Богу виъстъ съ дружескимъ угощениемъ всёхъ, поторому примёръ показалъ Самъ Спаситель, всёмъ услужившій и умывшій ноги. Каля и поклоняясь всёмъ равно, и богатому, и нищему, діаконъ, какъ слуга Божій, привътствуетъ ихъ всъхъ, какъ наилюбезныхъ гостей Небесному Хозяину, кадить и поклоняется въ то же время и образамъ святыхъ, ибо и они суть гости, пришедшіе на тайную вечерю: во Христь всъ живы и неразлучны. Пріуготовивъ, наполнивъ благоуханіемъ храмъ и, возвратившись потомъ въ алтарь и вновь обкадивъ его, полагаетъ наконець, кадильницу въ сторону, подходить къ јерею, и оба витесте становятся передъ святымъ престоломъ.

Ставъ передъ святымъ престоломъ, священникъ и діаконъ три раза поклоняются долу и, готовясь начинать настоящее священнодъйствіе литургін. призывають Духа Святаго, ибо все служение ихъ должно быть духовно. Духъучитель и наставникъ молитвы: «о чесомъ бо помолимся, не вѣмы», гово-рить апостолъ Павелъ: «но Самъ Духъ ходатайствуетъ о насъ воздыханьи неизглаголанными». Моля Святаго Духа, дабы вселился въ нихъ и, вселившись, очистиль ихъ для служенія, и священникъ, и діаконъ дважды произносять пъснь, которою привътствовали ангелы рождество Іисуса Христа: «Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человъцъхъ благоволение». И вослёдь за сей пёснью отдергивается церковная занавёсь, которая отдергивается только тогда, когда слёдуеть подъять мысль молящихся къ высшимъ горнимъ предметамъ. Здъсь отъятье горнихъ дверей знаменуетъ, вослъдъ за пъсней ангеловъ, что не всъмъ было открыто рождество Христово, что узнали о немъ только ангелы на небесахъ, Марія съ Іосифомъ, волхвы, пришедшіе повлониться, да издалека прозръвали о немъ пророки. Священникъ и діаконъ произносять въ себѣ: «Господи! отверзи уста мои — и уста мои возвѣстятъ хвалу Твою». Священникъ цълуетъ Евангеліе, діаконъ цълуетъ святую трапезу и, подклонивъ главу свою, напоминаетъ такъ о начинаніи литургіи: тремя перстами руки подъемлеть орарь свой и произносить: «Время сотворить Господу: благослови, владыко!» И благословляеть его священникъ словами: «Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынъ, и присно, и во въки въковъ». И помышляя діаконъ о предстоящемъ ему служенін, въ которомъ должно подобиться ангельскому детанію, — отъ престола къ народу и отъ народа къ престолу, собирая всъхъ въ едину душу, и быть, такъ сказать, святой возбуждающею силою, и чувствуя недостоинство свое къ такому служенію, — молить смиренно iepeя: «Помолись обо мнѣ, владыко!» — «Да исправить Господь стопы твоя!» ему отвътствуетъ на то јерей. «Помяни меня, владыко святый!» — «Да помянеть тебя Господь во царствіи Своемь, всегда, и нынѣ, и присно, и во въки въковъ». Тихо и ободреннымъ гласомъ діаконъ произносить: «аминь», и выходить изъ алтаря стверной дверью въ народу. И, взошедъ на амвонъ, находящійся противу царскихъ врать, повторяеть еще разъ въ самомъ себъ: «Господи, отверзи уста моя — и уста моя возвъстять хвалу Тебѣ»; и, обратившись къ алтарю, взываеть еще разъ къ іерею: «Благослови, владыко!» Изъ глубины святилища возглашаеть на то јерей: «Благословенно царство...», и литургія начинается.

Литургія оглашенныхъ.

Вторая часть литургіи называется литургіей оглашенныхь. Какъ первая часть, проскомидія, соотвѣтствовала первоначальной жизни Христа, Его рожденію, открытому только ангеламъ да немногимъ людямъ, Его младенчеству и пребыванію въ сокровенной пеизвѣстности до времени появленія въ міръ, такъ вторая соотвѣтствуетъ Его жизни въ мірѣ посреди людей, которыхъ огласилъ Онъ словомъ истины. Называется она литургіей оглашенныхъ еще потому, что въ первоначальныя времена христіанъ къ ней допускались и тѣ, которые только готовились быть христіанами, еще не приняли св. крещенія и находились въ числѣ оглашенныхъ. Притомъ самый образъ ея священнодѣйствій, состоя изъ чтеній пророковъ, Апостола и св. Евангелія, есть уже преимущественно огласительный.

Іерей начинаеть литургію возглашеніемъ изъ глубины алтаря: «Благословенно царство Отца, и Сына, и Святаго Духа.....» Такъ какъ чрезъ воплощеніе Сына стало міру очевидно ясно таинство Троицы, то по этому самому троичное возглашеніе предшествуетъ и предсіяетъ начинанію всякихъ дъйствій, и молящійся, отръшившись отъ всего, долженъ съ перваго разу поставить себя въ царствъ Троицы.

Стоя на амвонѣ, лицомъ къ царскимъ вратамъ, изобразуя въ себѣ ангела, побудителя людей къ моленіямъ, поднявъ тремя перстами десныя руки узкое лентіе, — подобіе ангельскаго крыла, — діаконъ призываеть молиться весь собравшійся народъ тѣми же самыми молитвами, которыми неизмѣнно отъ апостольскихъ временъ молится Церковь, начиная съ моленія о мирѣ, безъ котораго нельзя молиться. Собраніе молящихся, знаменуясь крестомъ, стремясь обратить свои сердца въ согласно настроенныя струны органа, по которымъ должно ударять всякое воззваніе діакона, восклицаетъ мысленно вмѣстѣ съ хоромъ поющихъ: «Господи, помилуй!»

Стоя на амвонѣ, держа молитвенный орарь, изобразующій поднятое крыло ангела, стремящаго людей къ молитвѣ, призываетъ діаконъ молиться: о свышнемъ мірѣ и спасеніи душъ нашихъ, о мирѣ всего міра, благосостояніи святыхъ Божіихъ церквей и соединеніи всѣхъ; о святомъ храмѣ и о входящихъ въ него съ вѣрой, благоговѣніемъ и страхомъ; о государѣ, синодѣ, начальствахъ духовныхъ и гражданскихъ, палатахъ, воинствѣ, о градѣ, объ обители, въ которой служится литургія, о благораствореніи воздуховъ, объ обиліи плодовъ земныхъ, о временахъ мирныхъ; о плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ, плѣненныхъ и о спасеніи ихъ; о избавленіи насъ отъ всякія скорби, гнѣва и нужды. И, собирая все сею всеобъемлющею цѣпью моленій, называемою великой эктеніей, на всякое ея отдѣльное призваніе собраніе молящихся восклицаетъ вмѣстѣ съ хоромъ поющихъ: «Господи, помилуй!»

Въ знаменованіе безсилія нашихъ моленій, которымъ недостаетъ душевной чистоты и небесной жизни, призываетъ діаконъ, — вспомня о тѣхъ, которые умѣли лучше нашего молиться, — предать самихъ себя, и другъ друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. Въ желаніи искреннемъ предать самихъ себя, и другъ друга, и всю жизнь нашу Христу Богу, какъ умѣли это сдѣлать вмѣстѣ съ Богоматерью святые и лучшіе насъ, ввываетъ вся Церковь совокупно съ ликомъ: «Тебѣ, Господи!» Цѣпь моленій завершаетъ діаконъ троичнымъ славословіемъ, которое, какъ вседержащая нить, проходитъ сквозь

всю литургію, начиная и оканчивая всякое ея дъйствіе. Собраніе молящихся отвътствуеть утвердительнымъ: «Аминь»: буди! да будеть! Діаконъ сходить съ амвона; начинается пъніе антифоновъ.

Антифоны, — противугласники, пъсни, выбранныя изъ псалмовъ, пророчески изобразующія пришествіе въ міръ Сына Божія, — поются поперемънно обоими ликами на обоихъ крылосахъ; они замънили сокращенно прежнія псаломскія, болъе продолжительныя.

Пока продолжается пѣніе перваго антифона, священникъ молится въ алтаръ внутренней молитвой; а діаконъ стоитъ въ молитвенномъ положеніи предъ иконою Спасителя, поднявъ орарь тремя перстами руки. Когда же окончится пѣнье перваго антифона, восходитъ онъ снова на амвонъ призывать собраніе молящихся словами: «Вновь и вновь Господу помолимся!» Собраніе молящихся восклицаетъ: «Господи, помилуй!» Обративъ взоры къ ликамъ святыхъ, діаконъ напоминаетъ вспомнитъ вновь Богоматеръ и всъхъ святыхъ, предать самихъ себя, и другъ друга, и всю жизнь Христу Богу. Собраніе восклицаетъ: «Тебъ, Господи!» Троичнымъ славословіемъ заключаетъ онъ. Утвердительный «аминь» изглашаетъ вся церковь. Слъдуетъ пѣніе второго антифона.

Въ продолжение второго антифона священникъ въ алтаръ молится внутреннею молитвою. Діаконъ становится опять въ молитвенномъ положенія предъ иконой Спасителя, держа молитвенный орарь тремя перстами руки; по окончания же пънья, восходить онъ снова на амвонъ и обращается къ ликамъ святыхъ, призывая, какъ прежде, словами: «Въ миръ Господу помолимся!» Собранье восклицаеть: «Господи, помилуй!» Діаконъ взываеть: «Заступи, помилуй, спаси и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатию». Собранье восклицаеть: «Господи, помилуй!» Возведя глаза къ ликамъ святыхъ, діаконъ продолжаетъ: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычниу нашу Богородицу со встыми святыми помянувше, сами себя, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ». Собранье восклицаеть: «Тебь, Господи!» Троичнымъ славословіемъ оканчивается моленье; утвердительнымъ «аминь» ответствуетъ вся церковь; діаконъ сходить съ амвона. А священникъ въ закрытомъ алтаръ молится внутренней молитвой; она — въ сихъ словахъ: «Ты, даровавшій намъ сіи общія и согласныя молитвы! Ты, объщавшій двумъ и тремъ, собравшимся во имя Твое, подать прошенья! исполни же теперь къ колезному прошенья рабовъ Твоихъ: подай въ настоящемъ въкъ познанье Твоей истины, а въ будущемъ даруй въчную жизнь!»

Съ крылоса громко возглашаются во всеуслышанье блаженства, возвъстившія въ настоящемъ въкъ познанье истины, а въ будущемъ вѣчную жизнь. Собранье молящихся, взывая воззваньемъ благоразумнаго разбойника, возопившаго къ Христу на крестъ: «Во царствіи Твоемъ помяни насъ, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ», повторяетъ вослѣдъ за чтецомъ сіи слова Спасителя:

Блаженны нищіе духомъ, яко тъхъ есть царствіе небесное — не гордящіеся, не возносящіеся умомъ.

Блаженны плачущіе, яко тіи утьшатся — плачущіе еще больше о собственныхъ несовершенствахъ и прегръщеніяхъ, чъмъ отъ оскорбленій н обидъ, имъ наносимыхъ.

Блаженны кроткіе, яко тіи наслъдять землю — не питающіе гнѣва ни противу кого, всепрощающіе, любящіе, которыхъ оружіе — всепобѣждающая кротость. Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, яко тіи насытятся — алчущіе небесной правды, жаждущіе возстановить ее прежде въ самихъ себъ.

Блаженны милостивые, яко тіи помилованы будуть — состраждущіе о каждомъ брать, въ каждомъ просящемъ видящіе Самого Христа, за него просящаго.

Блаженны чистые сердиемь, яко тіи Бога узрять — какъ въ чистомъ зеркалѣ успокоенныхъ водъ, не возмущаемыхъ ни пескомъ, ни тиной, отражается чисто небесный сводъ, такъ и въ зеркалѣ чистаго сердца, не возмущаемаго страстями, уже нѣтъ ничего человѣческаго, и образъ Божій въ немъ отражается одинъ.

Блаженны миротворцы, яко тіи сынове Божіи нарекутся — подобно Самому Сыну Божію, сходившему на землю затёмъ, чтобы внести мирь въ наши души: такъ и вносящіе миръ и примиренье въ домы — истинные Божьи сыны.

Блаженны изгнанные правды ради, яко техъ есть царстви небесное — изгнанные за возвъщенье правды не одними устами, но благоуханьемъ всей своей жизни.

Блаженны есте, егда поносять вась и изженуть и рекуть всякь золь глаголь на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесахъ — многа, ибо заслуга ихъ троекратна: первая — что уже сами по себѣ они были невинны и чисты; вторая — что, бывъ чисты, были оклеветаны; третья — что, бывъ оклеветаны, радовались, что потерпѣли за Христа.

Собранье молящихся слезно повторяеть вослѣдъ за чтецомъ сіи слова Спасителя, возвѣстившія, кому можно ждать и надѣяться на вѣчную жизнь въ будущемъ вѣкѣ, которые суть истинные цари міра, сонаслѣдники и соучастники небеснаго царства.

Эдѣсь торжественно открываются царскія врата, какъ бы врата самого царствія небеснаго, и глазамъ всѣхъ собравшихся предстаетъ сіяющій престолъ, какъ селенье Божіей славы и верховное училище, отколѣ исходитъ къ намъ познанье истины и возвѣщается отчная жизнъ. Приступивъ къ престолу, священникъ и діаконъ снимаютъ съ него Евангеліе и несутъ его къ народу не царскими вратами, но позади алтаря боковой дверью, напоминающею дверь въ той боковой комнатѣ, изъ которой въ первыя времена выносились книги на середину храма для чтенія.

Собранье молящихся взираеть на Евангеліе, несомое въ рукахъ смиренныхъ служителей Перкви, какъ бы на Самого Спасителя, исходящаго въ первый разъ на дъло божественной проповъди: исходитъ Онъ тъсной съверной дверью, какъ бы неузнанный, на середину храма, дабы, показавшись встыть, возвратиться во святилище царскими вратами. Служители Божіи посреди храма останавливаются; оба преклоняють главы. Іерей молится внутреннею молитвой, чтобы Установившій на небесахъ воинства ангеловъ и чины небесные въ служение славы Своей повелълъ теперь симъ самымъ силамъ и ангеламъ небеснымъ, сослужащимъ намъ, совершить вмъстъ съ ними вшестве во святилище. А діаконъ, указывая молитвеннымъ ораремъ на царскія двери, говорить ему: «Благослови, владыко, святый входь!» — «Благословенъ входъ святыхъ Твоихъ, всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ!» возглашаетъ на это іерей. Давъ поцъловать ему святое Евангеліе, діаконъ несеть его въ алтарь; но въ царскихъ вратахъ останавливается и, возвысивъ его въ рукахъ своихъ, возглашаетъ: «Премудрость!» знаменуя симъ, что Слово Божіе, Его Сынъ, Его Въчная Премудрость благовъстилась міру чрезъ Евангеліе, которое

онъ теперь возвысилъ въ своихъ рукахъ. И вслъдъ затътъ возглашаетъ: «Прости!» т.-е. воспряньте, воздвигнитесь отъ лъни, отъ небрежнаго стоянія. Собраніе молящихся, воздвигаясь духомъ, вмъстъ съ хоромъ взываетъ: «Пріидите, поклонимся и припадемъ ко Христу! Спаси насъ, Сыне Божій, Тебъ поющихъ: Аллилуія!» Въ еврейскомъ словъ алмилуія выражается: «Господь идетъ, хвалите Господа»; но такъ какъ, по существу священнаго языка, въ словъ: идетъ сокрыто и настоящее и будущее, то-естъ: идетъ пришедшій и вновь грядущій, то, знаменуя въчное хожденіе Божіе, это слово алмилуія сопутствуетъ всякій разъ тътъ священнодъйствіямъ, когда Самъ Господь исходитъ къ народу въ образъ Евангелія или Даровъ Святыхъ.

Евангеліе, возвѣстившее слово жизни, поставляется на престолѣ. На крылосахъ раздаются или пѣсни въ честь праздника того дни, или же хвалебные тропари и гимны въ честь святому, котораго день празднуетъ Церковь за то, что онъ уподобился тѣмъ, которыхъ поименовалъ Христосъ въ прочитанныхѣ блаженствахъ, и что живымъ примѣромъ Собственной жизни показалъ, какъ возлетать вослѣдъ за Нимъ въ жизнь вѣчную.

По окончанія тропарей наступаеть время трисвятаго пінія. Испросивъ на него у јерея благословенія, діаконъ показывается въ царскихъ дверяхъ и, поводя ораремъ, подаетъ знакъ пъвцамъ. Торжественно-громогласно оглашаетъ всю церковь трисвятое пѣніе, состоящее въ семъ тройномъ воззваніи къ Бо-гу: «Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Безсмертный, помилуй насъ!» Воззваніемъ: «Святый Боже» возвѣщаеть трисвятая пѣснь Бога Отца; воззваніемъ: «Святый Крѣпкій» — Бога Сына: Его крѣпость, Его создающее Слово; воззваніемъ: «Святый Безсмертный»—Его безсмертную мысль, вѣчно живущую волю Бога Духа Святаго. Троекратно пъвцы подъемлють сіе пъніе, чтобы звучало вслухъ всёмъ, что съ въчнымъ пребываньемъ Бога пребывало въ Немъ вѣчное пребыванье Троицы, и не было времени, чтобы у Бога не было Слова, и чтобы Слову Его оскудъвалъ Духъ Святый. «Словомъ Божьимъ небеса создащася и духомъ устъ Его вся сила ихъ», говоритъ пророкъ Давидъ. Каждый изъ собранія, сознавая, что и въ немъ, какъ въ подобіи Божіемъ, есть та же троинственность, есть Онъ Самъ, Его Слово и Его Духъ, или мысль, движущая словомъ, но что человѣческое его слово безсильно, изливается праздно и не творить ничего, а духъ его принадлежить не ему, завися отъ всёхъ постороннихъ впечатлёній, и только по возвышеніи его самого въ Богу то и другое приходить въ немъ въ силу: въ словъ отражается Божіе Слово, въ духъ – Духъ Божій, и образъ Троицы Создавшаго отпечатлъвается въ создания, и создание становится подобнымъ Создателю, сознавая все сіе, каждый, внемлющій трисвятому пѣнію, молится внутренно въ себъ, чтобы Богъ Святый, Кръпкій и Безсмертный, очистивъ его всего, избралъ его Своимъ храмомъ и пребываньемъ, и три раза повторяеть въ себѣ: «Святый Боже, Святый Кръпкій, Святый Безсмертный, помилуй нась!» Священникъ въ алгаръ, молясь внутренней молитвой о принятія сего трисвятаго пѣнія, три раза повергается передъ престодомъ и три раза повторяеть въ себъ: «Святый Боже, Святый Кръпкій, Святый Безсмертный!» И. подобно ему, повторивъ въ себъ три раза ту же трисвятую пъснь, діаконъ три раза повергается вибств съ нимъ передъ святымъ престоломъ.

И сотворивъ поклоненіе, отходитъ іерей на горнее мѣсто, какъ бы во глубину Боговѣдѣнія, отколѣ истекла намъ тайна Всесвятыя Троицы, какъ бы въ то возвышеннѣйшее, всюду носящее мѣсто, гдѣ Сынъ пребываетъ въ лонѣ Отчемъ единствомъ Духа Святаго. И восхожденьемъ своимъ изобразуетъ іерей восхожденье Самого Христа вмѣстѣ съ плотью въ лоно Отчее, призывающее

человѣка вослѣдъ стремиться въ доно Отчее, возрожденье, прозрѣтое издали пророкомъ Даніиломъ, который видѣлъ въ высокомъ видѣньи своемъ, какъ Сынъ Человѣческій дошелъ даже до Ветхаго деньми. Іерей идетъ нетрепетной стопой, произнося: «Благословенъ грядый во имя Господне», и на призванье діакона: «Благословенъ еси на престолѣ славы царствія Твоего, сѣдяй на херувимѣхъ, всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ». И садится на горнемъ мѣстѣ возлѣ сѣдалища, назначеннаго для архіерея. Отселѣ, кавъ Божій апостолъ и его намѣстникъ, обратясь лицемъ къ народу, приготовляетъ онъ вниманье къ слушанью наступающаго чтенія апостольскихъ посланій, — сидящій, изобразуя самимъ сидѣньемъ своимъ свое равенство апостоламъ.

Чтецъ, съ Апостоломъ въ рукѣ, выходитъ на середину храма. Воззваньемъ: вонмемъ! призываетъ діаконъ всѣхъ предстоящихъ ко вниманію. Священникъ посылаетъ изъ глубины алтаря и чтецу, и предстоящимъ желаніе мира; собранье молящихся отвѣтствуетъ священнику тѣмъ же. Но такъ какъ служеніе его должно быть духовно, подобно служенію апостоловъ, которые глаголали не свои слова, но Самъ Духъ Святый двигалъ ихъ устами, то не говорятъ: «миръ тебѣ», но: «духови твоему». Діаконъ возглашаетъ: «Премудрость!» Громко, выразительно, чтобы всякое слово было слышно всѣмъ, начинаетъ чтецъ: прилежно, сердемъ пріемлющимъ, душею ищущею, разумомъ, испытующимъ внутренній смыслъ читаемаго, внемлетъ собраніе, нбо чтеніе апостола служитъ ступенью и лѣствицей къ лучшему уразумленью чтенія евангельскаго. Когда чтецъ окончитъ чтеніе, іерей возглашаетъ ему изъ алтаря: «миръ тебѣ». Ликъ отвѣтствуетъ: «и духови твоему». Діаконъ возглашаетъ: «Премудрость!» Ликъ гремитъ: «алилујя», возвѣщающее приближеніе Господа, идущаго говорить народу устами Евангедія.

Съ кадильницей въ рукъ идеть діаконъ исполнить благоуханьемъ храмъ, навстръчу идущаго Господа, напоминая кажденьемъ о духовномъ очищении душъ нашихъ, съ какимъ должны мы внимать благоуханнымъ словамъ Евангелія. Священникъ въ алтаръ молится внутренней молитвой, чтобы возсіялъ въ сердцахъ нашихъ свъть божественнаго благоразумія, и отверзлись бы наши мысленныя очи въ уразумъніе евангельскихъ проповъданій. О возсіянія того же свъта въ сердцахъ своихъ молится внутренно собранье, приготовляясь къ слушанію. Испросивъ благословенія отъ іерея, получа отъ него въ напутствіе: «Богъ молитвами всесъятаго, всехвальнаго апостода и евангелиста (именуется его имя), да дасть тебъ глаголь благовъствующему силою многою. во исполненіе евангелія, возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Інсуса Христа», діаконъ восходить на амвонъ, предшествуемый несомымъ свѣтильникомъ, знаменующимъ всепросвъщающій свъть Христовъ. Священникъ въ алтаръ возглашаетъ въ собранію: «Премудрость! Прости, услышимъ святаго Евангелія! Миръ всъмъ!» Ликъ отвътствуетъ: «и духови твоему». Діаконъ начинаетъ чтеніе.

Благоговѣйно преклонивъ главы, какъ бы внимая Самому Христу, говорящему съ амвона, всѣ стараются принять сердцами сѣмя святаго слова, которое устами служителя сѣетъ Самъ Сѣятель Небесный, — не тѣми сердцами, которыхъ уподобляетъ Спаситель землѣ при пути, на которую хоть и упадаютъ сѣмена, но тутъ же бываютъ расхищены птицами — налетающими злыми помышленіями; — не тѣми также сердцами, которыхъ уподобляетъ Онъ каменистой почвѣ, только сверху прикрытой землею, которыя хоть и охотно пріемлютъ слово, но слово не водружаетъ глубоко корня, ибо нѣтъ глубины сердечной; — и не тѣми также сердцами, которыя уподобляетъ Онъ неочищен-

ной земять, глушимой терніемъ, на которой хоть и даеть съмя всходы, но быстро вырастающіе туть же вибсть сь ними тернія, — тернія трудовь и заботъ въка, тернія обольщеній, безчисленныя обаянія свътской умерщвляющей жизни, съ ея обманчивыми удобствами, — заглушають едва поднявшиеся всходы, и съмя остается безъ плода; -- но тъми пріемлющими сердцами, которыхъ уподобляетъ Онъ доброй почвъ, дающей плодъ – ово сто, ово шестьдесять, ово тридесять, - которыя все, принятое въ себя, по выходъ изъ церкви, возращаютъ въ домахъ, въ семьъ, въ службъ, въ трудъ, въ отдохновеньяхъ, въ увессленьяхъ, съ людьми въ бесъдахъ и наединъ съ самимъ собою. Словомъ, всякь върный стремится быть тъмъ, и слушающимъ и творящимъ выъстъ, котораго объщаетъ Спаситель уподобить мужу мудру. строящему храмину не на пескѣ, но на камени, такъ что, если бы тутъ же, по выходъ изъ церкви, набъжали на него дожди, ръки и вихри всъхъ бъдствій, его духовная храмина осталась бы неподвижная, какь твердыня на камени. По окончании чтения, священникъ въ алтаръ возвъщаетъ діакону: «Миръ тебѣ благовѣствующему». Приподымая главы, всѣ предстоящіе въ чувствования благодарности восклицають вмъстъ съ дикомъ: «Сдава Тебъ. Боже нашъ! Слава Тебъ!» Стоящій въ царскихъ дверяхъ священникъ пріемлеть оть діакона Евангеліе и поставляеть его на престоль какъ Слово, исшедшее отъ Бога и въ Нему же возвратившееся. Алтарь, изобразующій высшія горнія селенья, скрывается оть глазъ — врата царскія затворяются, горняя дверь задергивается, знаменуя, что нъть другихъ дверей въ царство небесное, кромъ отверстыхъ Христомъ, что съ Нимъ только можно войти въ нихъ: «Азъ есмь дверь».

Туть обыкновенно въ первоначальное время христіанъ было мъсто проповъди; слъдовали изъясненіе и толкованіе прочитанныхъ Евангелій. Но такъ какъ проповъдь въ нынъшнее время говорится большею частію на другіе тексты и, стало-быть, не служитъ изъясненіемъ прочитанпаго Евангелія, то, чтобы не разрушать стройнаго порядка и связи священной литургіи, она отнесена къ концу.

Изобразуя ангела, побудителя людей къ моленьямъ, діаконъ идетъ на амвонъ воздвигнуть собранье къ моденьямъ еще сильнъйшимъ и придежнъйшимъ. «Рцёмъ вси отъ всея души, и отъ всего помышленія нашего рцёмъ!» взываеть онъ, подъемля тремя перстами молитвенный орарь; и, стремя моленья отъ всъхъ помышлений, всъ восклицають: «Господи, помилуй!» Усугубляя моленья троекратнымъ воззваніемъ о помилованіи, діаконъ призываетъ сызнова молиться о встхъ людяхъ, находящихся на встхъ ступеняхъ званій и должностей, начиная съ высшихъ, гдъ труднъй человъку, гдъ ему больше претвновений, и гдъ ему нужнъй помощь отъ Бога. Каждый изъ собранья, зная, какъ много благоденствіе многихъ зависить оттого, когда высшія власти исполняють честно свои обязанности, молится сильно о томъ, чтобы Богъ ихъ вразумиль и наставилъ исполнять честно свое званье и всякому подаль бы силы пройти честно свое земное поприще. О семъ молятся всъ прилежно, произнеся уже не одинъ разъ: «Господи, помилуй!» но три раза. Вся цъпь этихъ моленій называется сугубой эктеніей, или эктеніей прилежнаго моленья, и священникъ въ алтарѣ передъ престоломъ молится прилежно о принятіи всеобщихъ усугубленныхъ моленій, и самая молитва его называется молитвой прилежнаго моленья.

И если въ тотъ день случится какое-либо приношеніе объ усопшихъ, тогда вослѣдъ за сугубой эктеніей возглашается эктенія объ усопшихъ. Держа орарь тремя перстами руки, призываетъ діаконъ молиться объ успокоеніи

душъ Божінхъ рабовъ, — которыхъ всёхъ называеть по именамъ, — чтобы Богъ простиль имь всякое прегръшение, вольное и невольное, чтобы водвориль ихъ души тамъ, гдъ праведные успокояются. Тутъ всякій изъ предстоящихъ припоминаеть встать близкихъ своему сердцу усопщихъ и произносить въ себѣ три раза на всякое воззваніе діакона: «Господи, помилуй!» молясь прилежно и о своихъ, и о всъхъ почившихъ христіанахъ. «Милости Божіей». восклицаеть діаконь: «небеснаго царствія и оставленія гръховь ихъ у Христа, Безсмертнаго Царя и Бога нашего, просимъ!» Собраніе взываеть съ хоромъ поющихъ: «Подай, Господи!» А священникъ молится въ алтаръ, чтобы Поправший смерть и Даровавший жизнь успокоиль Самъ души усопшихъ рабовъ Своихъ въ мъстъ злачномъ, въ мъстъ покойномъ, откуда отбъжали болъзнь, печаль и воздыханіе, и, прося имъ въ сердцъ своемъ отпущенія встахъ согръщений, возглашаетъ громко: «Яко Ты еси воскресение, и жизнь, и покой усопшихъ рабовъ Твоихъ, Христе, Боже нашъ, и Тебъ славу возсылаемъ со Безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, и Пресвятымъ, и Благимъ, и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынъ, и присно, и во въки въковъ». Утвердиинтельнымъ «аминь» отвётствуеть ликъ. Діаконъ начинаетъ эктенію объ оглашенныхъ.

Хотя и рѣдко бываютъ теперь непринявшіе святаго крещенія и находящіеся въ числѣ оглашенныхъ, но всякій присутствующій, помышляя, какъ далеко онъ отстоитъ и вѣрой, и дѣлами отъ вѣрныхъ, удостоивавшихся соприсутствовать трапезѣ любви въ первые вѣки христіанъ, видя, какъ онъ, можно сказать, только огласился Христомъ, но не внесъ Его въ самую жизнь, только что слышитъ разумъ словъ Его, но не приводитъ ихъ въ исполненіе, и еще холодно его вѣрованье, и нѣтъ огня всепрощающей любви къ брату, поядающей душевную черствостъ, и что крещенный водой во имя Христа, онъ не достигнулъ того возрожденья въ духѣ, безъ котораго ничтожно его христіанство, по слову Самого Спасителя: «Кто не родится свыше, не внидетъ въ царствіе небесное», — соображая все сіе, всякій изъ присутствующихъ сокрушенно поставляетъ себя въ число оглашенныхъ и на призванье діакона: «Помолитеся, оглашенные, Господу!» отъ глубины сердца взываетъ: «Господи, помилуй!»

«Върные! — взываетъ діаконъ: — помолимся объ оглашенныхъ, чтобы Господъ ихъ помиловалъ, чтобы огласилъ ихъ словомъ истины, чтобы открылъ имъ евангеліе правды, чтобы соединилъ ихъ Своей святой соборной и апостольской Церкви, чтобы спасъ, помиловалъ, заступилъ и сохранилъ ихъ Своею благодатью!»

И върные, чувствующіе, какъ мало они стоятъ названія върныхъ, молясь объ оглашенныхъ, молятся о самихъ себъ, и на всякое отдъльное призваніе діакона восклицаютъ внутренно вослъдъ за поющимъ ликомъ: «Господи, помилуй!» Діаконъ взываетъ: «Оглашенные, главы ваши Господу преклоните!» Всъ преклоняютъ свои главы, восклицая внутренно въ сердцахъ: «Тебъ, Господи!»

Священникъ втайнъ молится объ оглашенныхъ и о тъхъ, которыхъ смиренье души поставило себя въ ряды оглашенныхъ. Молитва его въ сихъ словахъ: «Господи Боже нашъ, живущій на высокихъ, взирающій на смиренныхъ, ниспославшій спасенье человъческому роду — Своего Сына, Бога и Господа нашего Іисуса Христа! воззри на оглашенныхъ рабовъ Твоихъ, подклонившихъ Тебъ свои выи! Пріобщи ихъ Церкви Твоей и сопричисли Твоему избранному стаду, чтобы и они славили вмъстъ съ нами пречестное и великольпное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынъ, и присно, и во вѣки вѣковъ». Ликъ гремитъ «аминь». А въ напоминанье, что наступила минута, въ которую древле выводились изъ церкви оглашенные, діаконъ возглашаетъ громко: «Оглашенные, изыдите!» И вслѣдъ затѣмъ, возвысивъ голосъ, возглашаетъ въ другой разъ: «Оглашенные, изыдите!» И потомъ въ третій разъ: «Оглашенные, изыдите! да никто отъ оглашенныхъ, одни только вѣрные, вновь и вновь Господу помолимся!»

Оть словь этихь содрогаются всё, чувствующіе свое недостоинство. Взывая мысленно къ Самому Христу, изгнавшему изъ храма Божія продавцовь и безстыдныхъ торгашей, обратившихъ въ торжище Его святыню, каждый, предстоящій, старается изгнать изъ храма души своей оглашеннаго, не готоваго присутствовать при святынѣ, и взываетъ къ Самому Христу, чтобы воздвигнулъ въ немъ върнаго, причисленнаго къ избранному стаду, о которомъ сказалъ апостолъ: «Языкъ святъ, люди обновленія, каменіе, зиждущееся въ храмъ духовенъ», — причисленнаго къ тѣмъ истинно вѣрнымъ, которые присутствовали при литургіи въ первые вѣки христіанъ, которыхъ лики глядятъ теперь на него съ иконостаса. И объемля ихъ всѣхъ взорами, призываетъ ихъ на помощь, какъ братьевъ, молящихся теперь на небесахъ, ибо предстоятъ священнѣйшія дѣйствія — начинается литиргія върныхъ.

Литургія вѣрныхъ.

Въ закрытомъ алтаръ јерей распростираетъ на святомъ престолъ антиминсъ, виъстопрестоліе, — платъ съ изображеньемъ тъла Спасителя, на который должны быть постановлены пріуготовленные имъ на проскомидіи святой хлъбъ и чаша, исполненная вина и воды, и которые съ бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно въ виду всёхъ вёрныхъ. Распростерши антиминсь, напоминающій время гоненія христіань, когда Церковь не имѣла постояннаго пребыванія и, не могши переносить съ собою престола, стала употреблять сей плать съ частицами мощей, и который остался какъ бы въ возвъщенье, что и нынъ не прикръпляется она ни къ какому исключительному зданью, городу или мѣсту, но, какъ корабаь, носится поверхъ волнъ сего міра, не водружая нигдъ своего якоря: ея якорь на небесахъ, — распростерши сей антиминсъ, онъ приступаетъ къ престолу такъ, какъ бы приступалъ къ нему въ первый разъ и какъ бы только теперь готовился начинать настоящее служение: ибо въ первоначальное время у христіанъ только теперь открывался престоль, досель остававшийся закрытымь и занавышеннымъ по причинѣ присутствія оглашенныхъ, и только теперь начинались настоящія моленья върныхъ. Еще въ закрытомъ алтаръ припадаетъ онъ къ престолу, и двумя молитвами върныхъ молится онъ объ очищении своемъ, о неосужденномъ предстояныи святому жертвеннику, объ удостоении его приносить жертвы въ чистомъ свидътельствъ совъсти. А діаконъ, стоя на амвонъ посреди церкви, изобразуя ангела, побудителя къ молитвамъ, держа орарь тремя перстами, призываеть всъхъ върныхъ къ тъмъ же моленіямъ, какими начиналась литургія оглашенныхъ.

И также стараясь о приведеныи своихъ сердецъ въ согласное настроеніе мира, теперь еще необходимъйшаго, всъ върные взываютъ: «Господи, помилуй!» и еще сильнъе молятся о свышнемъ миръ и о спасеныи душъ нашихъ, о миръ всего міра, благосостояныя Божіихъ церквей и соединеныя всъхъ, о святомъ храмъ семъ и о входящихъ въ него съ върою.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

13

благоговѣньемъ и страхомъ Божіимъ, о томъ, чтобы избавиться отъ всякія скорби, гнѣва и нужды. И взывають еще сильнѣе въ сердцахъ своихъ: «Господи, помилуй!»

Iерей изъ глубины алтаря возглашаеть: «Премулдость!» знаменуя симъ. что Та же Самая Премудрость, Тотъ же Въчный Сынъ, исходившій въ видъ Евангелія съять слово, учившее жить, перенесется теперь въ видъ святаго хатьба принестись въ жертву за весь міръ. Воздвигнутые симъ напоминаніемъ. вся предстоящие устремляють мысли, приготовляются къ предстанущимъ свяшенныйшимъ священнодыйствіямъ и служеніямъ. Іерей литургисающій втайнь молится, припадая въ престолу, сею возвышенной молитвой: «Никто изъ связавшихся чувственными пожеданьями и наслажденьями непостоинъ приступать къ Тебѣ, или приближаться, или служить Тебѣ, Царю Славы: ибо служенье Тебъ велико и страшно и самимъ силамъ небеснымъ. Но такъ какъ, по безытрному Своему человтколюбію, Ты непреложно и неизмтно быль человъвъ, Самъ былъ архіерей и Самъ передалъ намъ священнолъйство сея служебныя и безкровныя жертвы, какъ Владыка всъхъ. — ибо Ты опинъ. Боже, владычествуешь и небесными, и земными, — носимый херувимски на престоль, Господь серафимовъ и Царь Израилевъ, Единый Святъ и во святыхъ почивающий, то молю Тебя, Единаго Благого, воззри на меня, гръшнаго и непотребнаго раба Твоего, очисти мою душу и сердце отъ совъсти лукавыя и удовли меня, облеченнаго благодатью священства, удовли меня силою Твоего Святаго Духа предстать святой Твоей транезъ и священнодъйствовать святое и пречистое Твое тело и честную вровь! Къ Тебъ же прихожу, преклоняя мою выю, и молюсь Тебъ: да не отвратишь лица Твоего отъ меня, ниже отринешь меня отъ отроковъ Твоихъ; но сподоби принестись Тебѣ, посредствомъ меня недостойнаго, симъ дарамъ Твоимъ: ибо Ты еси и приносящій, и приносимый, и пріемлющій, и раздаваемый, Христе Боже нашъ, и Тебъ славу возсылаемъ, со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ и Пресвятымъ, Благимъ и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынъ, и присно, и во въки ВВЕОВЪ».

Царскія врата разверзаются на срединѣ молитвы, такъ что іерей зрится еще молящійся съ распростертыми руками. Діаконъ съ кадильницею въ рукѣ исходить уготовить путь Царю всѣхъ и, обильно распространяемымъ куреньемъ подъемля облака кадильныхъ благоуханій, посреди которыхъ перенесется Носимый херувимами, напоминаетъ всѣмъ о томъ, чтобы исправилась ихъ молитва, яко кадило предъ Господомъ, — напоминаетъ о томъ, чтобы всѣ, будучи благоуханьемъ Христовымъ, по слову апостола, они вспомнили о томъ, что нужно имъ быть чистыми херувимами для поднятія Господа. А лики на обоихъ клиросахъ подъемлють отъ лица всей церкви сію херувимскую пѣснь: «Мы, тайно изобразующіе херувимовъ и воспѣвающіе трисвятую пѣснь Животворящей Троицѣ, отложимъ нынѣ всякое попеченье, да Царя всѣхъ подымемъ, невидимо копьеносимаго ангельскими чиньми».

Быль у древнихъ римлянъ обычай новоизбраннаго императора выносить къ народу въ сопровожденьи легіоновъ войскъ на щитъ подъ осѣненьемъ множества наклоненныхъ надъ нимъ копій. Пѣсню эту сложилъ самъ императоръ, упавшій въ прахъ со всѣмъ своимъ земнымъ величіемъ предъ величіемъ Царя всѣхъ, копьеносимаго херувимами и легіонами небесныхъ силъ: въ первоначальныя времена сами императоры смиренно становились въ ряды служителей при выносѣ святаго хлѣба.

Пѣнье сей пѣсни устраивается ангельскимъ, подобное тому, какъ въ вышинѣ пѣли незримыя силы. Іерей и діаконъ, повторяя внутренно въ себъ

ту же херувимскую пѣснь, приступаютъ къ боковому жертвеннику, гдѣ совершалась проскомидія. Приступивши къ дарамъ, накрытымъ воздухомъ, діаконъ говорить: «Возьми, владыко!» Іерей снимаетъ воздухъ и возлагаетъ ему на лѣвое плечо, и глаголетъ: «Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа». Потомъ беретъ дискосъ съ агнцемъ и возлагаетъ его на главу діакону; а самъ беретъ святую чашу и, предходящему свѣтильнику или лампадѣ, выходитъ боковой или сѣверной дверью къ народу. Если же служенье совершается соборомъ, при множествѣ іереевъ и діаконовъ, то одинъ несетъ дискосъ, другой — чашу, третій — святую ложку, которою пріобщаются, четвертый копье, прободшее св. тѣло. Всѣ принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупицы святаго хлѣба на дискосъ, и которая образуетъ ту губу, омоченную въ уксусъ и желчь, еюже напоили люди Творца своего. При пѣньи херувимской пѣсни, подобясь небеснымъ силамъ, выступаетъ сей торжественный ходъ, называемый великимъ выходомъ.

При видѣ Царя всѣхъ, несомаго въ смиренномъ видѣ агица, лежащаго на дискосъ, какъ бы на щитъ, окруженнаго орудіями земныхъ страданій, какъ бы копьями несчетныхъ невидимыхъ воинствъ и чиноначалій, всѣ долу преклоняють свои главы и молятся словами разбойника, завопившаго въ Нему на кресть: «Помяни мя, Господи, егда пріндеши во царствін Своемъ». Посреди храма останавливается весь ходъ. Священникъ пользуется сей великой минутой, чтобы въ присутстви несущихъ дары помянуть предъ Господомъ имена всёхъ христіанъ, начиная съ тёхъ, кому труднёй и священнёй достаобязанности, отъ исполнения которыхъ зависить счастье всъхъ и ЛИСЬ собственное спасеніе душъ ихъ, — заключая словами : «Васъ и всъхъ православныхъ христіанъ да помянетъ Господь Богъ во царствія Своемъ всегда, нынъ, и присно, и во въги въковъ». Пъвцы оканчивають херувимскую пъснь троекратнымъ пъньемъ: «Аллилуія», возвъщающимъ въчное хожденіе Господне. Ходъ вступаеть въ царскія врата. Впереди всёхъ вшедшій въ алтарь діаконъ, остановившись по правую сторону дверей, встрѣчаетъ священника словами: «Да помянетъ Господь Богъ священство твое во царствіи Своемъ». Священникъ отвътствуеть ему: «Да помянеть Господь Богъ свяшеннодіаконство твое во царствіи Своемъ, всегда, нынѣ, и присно, и во въки въковъ!» И поставляетъ святую чашу и хлъбъ, представляющій тело Христово, на престолъ, какъ бы на гробъ. Врата царскія затворяются, какъ бы двери гроба Господня; занавъсъ надъ ними задергивается, какъ кустодія, поставленная на стражъ. Іерей снимаеть съ главы діакона святый дискосъ, какъ бы онъ снимаетъ тъло Спасителя со креста, поставляетъ его на разстланный антиминсь, какъ бы на плащаницу, и сопровождаеть сіе дъйствіе сдовами: «Благообразный Іосифъ, съ древа снемъ пречистое Твое тело, плашаницею чистою обвивъ и благоуханьми во гробъ новъ закрывъ, положи». И вспоминая вездѣсущность Того, Кто теперь лежить предъ нимъ во гробѣ, говоритъ въ себѣ: «Во гробѣ Ты былъ плотски, во адѣ съ душою, какъ Богъ, въ раю съ разбойникомъ и въ то же время на престолъ съ Отнемъ и Духомъ, Христось, все Собой исполняяй, неописанный!» И, вспоминая славу. въ которую облекся сей гробъ, говорить: «Какъ живоносецъ, какъ воистину краснъйшій рая и вакъ свътлъйшій всякаго царскаго чертога, явился намъ Твой гробъ, Христе, источникъ всякаго воскресенья». И, снявши покровъ отъ дискоса и отъ чащи и воздухъ съ плеча діакона, изобразующій теперь уже не педены, въ которыя повить быль Інсусъ Младенецъ, но сударь и гробовые покровы, въ которые повито было Его мертвое тело, обкадивъ ихъ енміамомъ, покрываеть онъ ими снова дискосъ и чашу, произнося: «Благообразный

Digitized by Google

195

Іосифъ, снявъ со древа пречистое Твое тъло, плащаницею чистою обвивъ и благоуханьми во гробъ новъ закрывъ, положи». Потомъ, взявши отъ пјакона капильнипу, капить святые пары, поклоняясь предъ ними три раза, и готовясь къ предстоящему жертвоприношенью, говорить въ себъ словами продока Цавида: «Ублажи, Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сіона, и да созиждутся стѣны јерусалимскія: тогда благоволиши жертву правды, возношеніе и всесожигаемыя, тогда возложать на алтарь Твой тельцы»: ибо, пока Самъ Богъ не воздвигнеть, не оградить душъ нашихъ јерусалимскими стѣнами отъ вся-**RUXЪ ПЛОТСКИХЪ ВТОРЖЕНІЙ, МЫ НЕ ВЪ СИЛАХЪ ВОЗНЕСТИ ЕМУ НИ ЖЕРТВЪ, НИ** всесожженій, и не подымется кверху пламень духовнаго моленья, разносимый посторонними помышленіями, набъгомъ страстей и вьюгой возмущенья душевнаго. Молясь объ очищеныи своемъ для предстоящаго жертвоприношенія, отдавая кадильницу діакону, онустивъ фелонь и преклонивъ главу, говорить онъ ему: «Помяни меня, брать и сослужитель!» — «Да помянеть Господь Богъ твое священство во царствін Своемъ!» отвѣтствуетъ діаконъ и въ свою очередь, помышляя о недостоинствѣ своемъ, преклоняетъ главу и, держа орарь въ рукъ, говорить ему: «Помолись о мнъ, владыко святый!» Священникъ ему отвѣтствуеть: «Духъ Святый найдеть на тя и сила Вышняго осѣнить тя». — «Той же Духъ содъйствуеть намъ вся дни живота нашего». И полный сознанья своего недостоинства діаконъ присовокупляеть: «Помяни мя, владыко святый!» Священникъ ему: «Да помянеть тебя Господь Богъ во царствіи Своемъ, всегда, нынъ, и присно, и во въки въковъ». Діаконъ, произнесши: «аминь» и поцѣдовавъ ему руку, исходитъ боковой сѣверной дверью призвать всбхъ предстоящихъ къ молитвамъ о перенесенныхъ и постановденныхъ на престолъ святыхъ дарахъ.

Взощедъ на амвонъ, лицомъ къ царскимъ дверямъ, поднявъ орарь тремя перстами руки, на подобье поднятаго крыла ангела, побудителя къ молитвѣ, возносить онъ цѣпь моленій, уже непохожихъ на прежнія. Начинаясь призваніемъ къ моленью о перенесенныхъ на престолъ дарахъ, они скоро переходятъ въ тѣ прошенья, какія только одни вѣрные, живущіе во Христѣ, возносятъ къ Господу.

«Дня всего совершенна, свята, мирна и безгръшна у Господа просимъ», взываеть діаконъ.

Собранье молящихся, соединяясь съ хоромъ поющихъ, взываетъ отъ сердецъ: «Подай, Господи!»

«Ангела мирна, върна наставника, хранителя душъ и тълесъ нашихъ, у Господа просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»

«Прощенья и оставленья грѣховъ и прегрѣшеній нашихъ у Господа просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»

«Добрыхъ и полезныхъ душамъ нашимъ и мира мірови у Господа просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»

«Прочее время живота нашего въ миръ и покаяніи скончати у Господа просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»

« Христіанскія кончины живота нашего, безболѣзненной, непостыдной, мирной и добраго отвѣта на страшномъ судищѣ Христовѣ просимъ».

Собранье: «Подай, Господи!»

«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу со всъми святыми помянувше, сами себе, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ».

И въ истинномъ желаньи подобно предать самихъ себя и другъ друга Христу Богу, всѣ восклицаютъ: «Тебѣ, Господи!»

Эктенія завершается возглашеньемъ: «Щедротами Единороднаго Сына Твоего, съ Нимъ же благословенъ еси со Пресвятымъ, Благимъ и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ».

Ликъ гремить: «Аминь».

Алтарь все еще закрыть. Священникъ все еще не приступаетъ къ жертвоприношению: еще много долженствующаго предшествовать тайной вечери. Изъ глубины алтаря посылаеть онъ привътствіе Самого Спасителя: «Миръ всъмъ!» Ему отвътъ: «И духу твоему». Стоя на амвонъ, діаконъ, какъ было у первыхъ христіанъ, призываеть всъхъ ко взаимной любви словами: «Возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ исповѣдаемъ...» Окончанье призванья подхватываеть ликъ поющихъ: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздъльную», возвъщая, что, не полюбивши другъ друга, нельзя полюбить Того, Кто весь одна любовь, полная, совер-шенная, содержащая въ своей Троицъ и любящаго, и любимаго, и самое дъйствіе любви, которою любящій любить любимаго: любящій — Богъ Отецъ. любимый — Богъ Сынъ, и сама любовь, ихъ связующая, — Богъ Духъ Святый. Три раза поклоняется священникъ въ алтаръ, произнося въ себъ тайно: «Возлюблю Тебя, Господи, крѣпость моя, Господь утвержденье мое и прибъжище мое», и цѣлуетъ покрытые покровами святый дискосъ и святую чашу, цълуетъ край святыя трапезы и, сколько бы ни случилось священниковъ, съ нимъ сослужащихъ, каждый дълаетъ то же, и потомъ всъ цълуютъ другъ друга. Главный говорить: «Христосъ посреди насъ». Ему отвътствують: «И есть, и будеть». Діавоны также, сколько бы ихъ ни случилось, цълуютъ каждый вначалъ свой орарь въ томъ мъстъ, гдъ на немъ изображенье креста, потомъ другъ друга, произнося тѣ же слова.

Прежде всё предстоящіе въ церкви лобызали также другь друга, мужи — мужей, жены — женъ, произнося: «Христось посреди насъ», и туть же отвётствуя: «и есть, и будетъ»; а потому и теперь всякій предстоящій, собирая мысленно предъ собою всёхъ христіанъ, не только присутствующихъ во храмѣ, но и отсутствующихъ, не только близкихъ къ сердцу, но и далекихъ отъ сердца, спѣша примириться съ тѣми, противъ которыхъ питалъ какую - нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствіе, — всѣмъ имъ спѣшитъ дать мысленно лобзанье, говоря внутренно: «Христосъ посреди насъ» и отвѣтствуя за нихъ: «И есть, и будетъ»; нбо безъ этого онъ будетъ мертвъ для всѣхъ слѣдующихъ священнодѣйствій, по слову Самого Христа: «Остави даръ свой и шедъ прежде примирись съ своимъ братомъ и тогда принеси жертву Богу»; и въ другомъ мѣстѣ: «Аще кто речетъ: люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть: ибо нелюбяй брата своего, егоже видѣ, како можетъ любить Бога, егоже не видѣ?»

Стоя на амвонѣ лицомъ ко всѣмъ предстоящимъ, держа орарь тремя нерстами, произноситъ діаконъ древнее возглашеніе: «Двери! Двери!» древле обращаемое къ привратникамъ, стоявшимъ у входа дверей, чтобы никто изъ язычниковъ, имѣвшихъ обыкновеніе нарушать христіанскія богослуженія, не ворвался бы нагло и святотатственно въ церковь, нынѣ же обращаемое къ самимъ предстоящимъ, чтобы берегли двери сердецъ своихъ, гдѣ уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда врагъ любви, а двери устъ и ушесъ

отверзли бы въ слышанію Символа Въры, во знаменованіе чего и отдергивается завъса надъ царскими дверями, или горнія двери, отверзающіяся только тогда, когда слъдуетъ устремить внимание ума къ таинствамъ высшимъ. А діаконъ призываеть въ слушанію словами: «Премудростію вонмемъ». Пъвцы твердымъ, мужественнымъ пъніемъ, больше похожимъ на выговариваніе, читаютъ выразительно и громко: «Върую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимымъ же всъмъ и невидимымъ». И, сохранивъ мигъ отдохновенія, чтобы отдѣлилось въ мысляхъ у всѣхъ первое лицо Св. Троицы — Богъ Отецъ, продолжаютъ, возвышая голосъ: «И во Единаго Господа Інсуса Христа, Сына Божія, Единороднаго, иже оть Отца рожденнаго прежде всъхъ въкъ; Свъта отъ Свъта, Бога истинна отъ Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имъже вся быша; насъ ради человъкъ и нашего ради спасенія сшедшаго съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Дъвы, и вочеловъчьшася; распятаго же за ны при Понтійствиъ Пидатв, и страдавша, и погребенна, и воскресшаго въ третій день по писаніемъ, и восшедшаго на небеса, и съдяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судити живымъ и мертвымъ, Егоже царствію не будеть конца. И въ Духа Святаго, Господа Животворящаго, иже оть Отца исходящаго, иже со Отцемъ и Сыномъ, споклоняема и сславима, глагодавшаго пророви». И, сохранивъ мигъ отдохновенія, чтобы отдѣлидось въ мысляхъ у всёхъ третіе лицо Св. Троицы — Богъ Духъ Святый, продолжають. «Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. Исповъдую едино крещение во оставление гръховъ. Чаю воскресения мертвыхъ и жизни будущаго въка. Аминь».

Твердымъ, мужественнымъ пѣніемъ, водружая въ сердце всякое слово исповѣданія, поютъ пѣвцы; твердо повторяетъ каждый вослѣдъ за ними слова символа. Мужествуя сердцемъ и духомъ, іерей передъ святымъ престоломъ, долженствующимъ изобразить святую трапезу, повторяетъ въ себѣ Символъ Вѣры, и всѣ ему сослужащіе повторяютъ его въ самихъ себѣ, колебля святый воздухъ надъ св. дарами.

И твердой стопой исходить діаконъ и возглашаеть: «Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, вонмемъ, святое возношеніе въ мирѣ приносити», т.-е. станемъ, какъ прилично человѣку предстать передъ Бога, съ трепетомъ, съ страхомъ и въ то же время съ мужественнымъ дерзновеніемъ духа, славословящаго Бога, съ возстановившимся согласіемъ мира въ сердцахъ, безъ котораго нельзя вознестись къ Богу. И въ отвѣтъ на призывъ вся церковь, принося въ жертву хваленіе устъ и умятченное состояніе сердецъ, повторяетъ вослѣдъ за хоромъ пѣвцовъ: «Милость мира, жертву хваленія». Въ первоначальной Церкви было въ обычаѣ приносить въ это время елей, знаменующій всякое умягченіе. Елей и милость въ греческомъ языкѣ тождественны.

Священникъ въ алтаръ снимаетъ, между тъмъ, воздухъ со святыхъ даровъ, цълуетъ его и кладетъ на сторону, произнося: «Благодать Господа...» А діаконъ, взошедши въ алтарь и взявши въ руки въяло, или рипиду, въетъ ею благоговъйно надъ дарами.

Приступая къ совершенію тайной вечери, іерей посылаетъ изъ алтаря къ народу сіе благовъствующее возглашеніе: «Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастіе Святаго Духа, буди со всъми вами!» И отвътствуютъ ему на то всъ: «И со духомъ твоимъ!» И алтарь, изображавшій вертепъ, теперь уже горница, въ которой была уготована вечеря. Престолъ, представлявшій гробъ, теперь уже трапеза, а не гробъ. Напоминая о Спасителъ, возведшемъ очи горъ передъ тъмъ, какъ

РАЗМЫШЛЕНІЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГІИ.

преподать божественную пищу ученикамъ, священникъ возглашаетъ: «Горъ имъемъ сердца!» И каждый изъ стоящихъ во храмъ помышляетъ о томъ, что имъетъ совершиться, — что въ эту минуту Божественный Агнецъ идетъ за него заклаться, Божественная кровь Самого Господа вливается въ чашу, въ его очищеніе, и всъ небесныя силы, соединяясь съ іереемъ, о немъ молятся, — помышляя о томъ, стремя свое сердце отъ земли къ небу, отъ тъмы къ свъту, восклицаетъ вослъдъ за всъми: «Имамы ко Господу».

Напоминая о Спаситель благодарившемъ, по возведение очей горъ возглашаеть іерей: «Благодаримъ Господа». Ликъ отвътствуеть: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троицъ единосущной и нераздъльной». А священникъ молится втайнъ: «Достойно и праведно есть Тебя воспъвать, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить. Тебѣ поклоняться на всякомъ мѣстѣ владычествія Твоего, нбо Ты еси Богъ неизречененъ, недовъдомъ, невидимъ, непостижимъ, присно сый, такожде сый Ты, и Единородный Твой Сынъ, и Духъ Твой Святый. Ты отъ небытія въ бытіе насъ привель еси и отпадшія вновь возстановиль насъ и не отступилъ еси вся творя, дондеже на небо насъ возвелъ еси, и даровалъ намъ Твое будущее царство. О сихъ всёхъ благодаримъ Тебя, и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всъхъ, которыя знаемъ и которыхъ не знаемъ, о явленныхъ и неявленныхъ благодъяніяхъ, бывшихъ на насъ. Благодаримъ Тебя и о службъ сей, которую изъ рукъ нашихъ пріяти изволиль еси, хотя и предстоять Тебѣ тысящи архангедовь, и тиы ангеловь, херувими, и серафими шестокрылатые, многоочитые возвышающіеся пернатые, побъдную пъснь поюще, вопіюще, взывающе и глаголюще: Свять, Свять, Свять Господь Саваооъ, исполнь небо и земля славы Твоея!»

Эту побъдную серафимскую пъснь, которую слышали въ святыхъ виденияхъ своихъ пророки, подхватываетъ весь ликъ пъвцовъ, унося мысли молящихся въ незримымъ небесамъ и заставляя ихъ вмъстъ съ серафимами повторять: «Свять, Свять, Свять Господь Саваооъ» и облетая вмъстъ съ серафимами престоль божественной славы. И такъ какъ въ то же время вся церковь ожидаеть въ эти минуты сошествія Самого Бога, грядущаго принестись въ жертву за встахъ, то къ серафимской пъснъ, раздающейся въ небесахъ, присоединяется пъснь еврейскихъ отроковъ, которою они встрътили вшествіе Его во Іерусалимъ, подстилая вътви по пути: «Осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне, осанна въ вышнихъ!» Ибо Господь взойти готовится во храмъ, какъ въ таинственный Іерусалимъ. Діаконъ продолжаетъ въять въяломъ надъ святыми дарами, чтобы не могло упасть туда какое насъкомое, изобразуя въяніемъ движеніе благодати; а священникъ продолжаетъ молиться втайнъ: «Съ сими блаженными силами, Владыко Человъколюбче, и мы вопіемъ и глаголемъ: Свять еси и Пресвять, Ты и Единородный Твой Сынъ, и Духъ Твой Святый. Свять еси и Пресвять, и великолъциа слава Твоя, иже міръ Твой тако возлюбилъ еси, якоже Сына Твоего Единороднаго дати, да всякъ, въруяй въ Него, не погибнетъ, но имать животъ въчный, Который, пришедъ и все смотръніе о насъ исполнивъ, въ ночь, въ которую былъ преданъ, или, лучше, Самъ Себя предалъ за жизнь міра, взявши хлъбъ въ святыя Свои, пречистыя, непорочныя руки, благодаривъ, благословивъ, освятивъ, преломивъ и давши святымъ своимъ ученикамъ и апостодамъ, сказадъ...» и громко возглашаетъ јерей сдова Спасителя: «Пріимите, ядите, сіе есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ». И вся церковь вослъдъ за ликомъ возглашаетъ: «аминь». А діаконъ, держа орарь, указываетъ священнику на святый дискосъ, на которомъ

199

положенъ хлѣбъ. Священникъ продолжаетъ втайнѣ: «Подобно и чашу по вечерѣ, глаголя...» и также, по указанію діакона на чашу, возглашаетъ громко: «Пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя новаго завѣта, яже за вы и за многія изливаемая, во оставленіе грѣховъ». И также громко возглашаетъ вся церковь: «аминь».

Священникъ продолжаетъ молиться втайнъ: «И такъ воспоминая сію спасительную заповъдь и все о насъ бывшее: крестъ, гробъ, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидъние, второе и славное пришествіе вновь» — и, произнесши это въ себъ, возглашаеть громко: «Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще, о всѣхъ и за вся». Отложивъ рипиду, діаконъ приподымаеть святый дискось и святый потирь — алтарь уже не горница Тайныя Вечери, престоль не трапеза: онъ уже теперь жертвенникъ, на которомъ приносится страшная жертва за весь міръ, ---Голгова, на которой совершилось заколение Божественной Жертвы. Эта минута есть минута и жертвоприношенія, и напоминанія всякому о жертвъ Творцу. Поплоненіе отдается нами и земнымъ властямъ; обожаніе, уваженіе, покорность мы воздаемъ и людямъ, но жертву — единому Творцу. Она не прекращалась отъ самаго созданья міра и въ какомъ бы видъ ни приносилась, требовалась не самая жертва, но духъ сокрушенъ, съ которымъ она приносилась. Поэтому, всякій изъ предстоящихъ, вспомни, что въ эту минуту священникъ, презръвъ все дольнее, оставивши всё помыслы, всё мысли о земномъ, подобно какъ Авраамъ, который, когда восходиль на горы принести жертву, оставивь внизу и жену, и раба, и осла своего, взявши съ собой только дрова горькаго исповедания прегръщений своихъ и сжегши ихъ огнемъ раскаяния душевнаго, огнемъ и мечомъ духа заколовши въ себѣ всякое желаніе земныхъ стяжаній и блага земного. Но что предъ Богомъ всѣ наши жертвы, когда Онъ гласить устами пророка: «яко портъ нечисть вся дъда ваша?» Въ глубокомъ сознании, что нътъ Богу на землъ ничего достойнаго жертвы, каждый изъ предстоящихъ обращается мысленно къ той же чашъ, которую въ алтаръ подъемлетъ служитель алтаря, и восклицаеть во глубинъ сердца своего: «Твоя отъ Твоихъ. Тебъ приносяще, о всъхъ и за вся». Ликъ поетъ: «Тебе поемъ, Тебе бла гословимъ, Тебе благодаримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ!»

И наступаетъ верховнѣйшая минута всей литургія: пресуществленіе. Въ алтарѣ происходитъ троекратное призваніе Святаго Духа на святые дары, — Того Самаго Святаго Духа, которымъ совершилось воплощенье Христово отъ Дѣвы, Его смерть, Его воскресенье, и безъ Котораго не можетъ пресуществиться хлѣбъ и вино въ тѣло и кровь Христову.

Упавъ ницъ предъ св. престоломъ, священникъ и діаконъ творятъ троекратно земные поклоны, произнося въ себъ: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихтися». И каждый вослѣдъ за симъ призваньемъ произносить въ себѣ стихъ: «Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ обнови во утробѣ моей». И во второй разъ то же призваніе: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихтися»; вслѣдъ затѣмъ стихъ: «Не отвержи мене отъ лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми отъ мене». И въ третій разъ призваніе: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій разъ призваніе: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій разъ призваніе: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихтися»; вслѣдъ затѣмъ стихъ: «Не отвержи мене отъ лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми отъ мене». И въ третій разъ призваніе: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа въ третій часъ апостоломъ Твоимъ ниспославый, Того, Благій, не отыми отъ насъ, но обнови насъ молящихтися». Подклонивъ главу, діаконъ указываетъ ораремъ на святый хлѣбъ, произнося въ себѣ: «Благослови, владыко, святый хлѣбъ; и знаменуетъ его

трижды іерей, глаголя: «И сотвори убо хлъбъ сей честное тъло Христа Твоего». Діаконъ произносить: «аминь». И хлъбъ уже есть самое тъло Христа. И такъ же безмолвно указываетъ діаконъ ораремъ на святую чашу, произнося въ себъ: «Благослови, владыко, святую чашу». И, благословляя, глаголеть священникъ: «А еже въ чаши сей, честную кровь Христа Твоего». Діаконъ произноситъ: «аминь» и, указавъ на обоя святая, глаголетъ: «Благослови, владыко, обоя ». Благословивъ, произносить священникъ: «Предоживъ Духомъ Твоимъ Святымъ»; троекратно произносить діаконъ: «аминь» — и на престолѣ уже тѣло и кровь: пресуществленіе совершилось! Словомъ вызвано Въчно Слово. Іерей, имъя глаголъ намъсто меча, совершилъ закланье. Кто бы онъ ни былъ самъ, — Петръ или Иванъ, — но въ его лицъ Самъ Въчный Архіерей совершиль сіе закланіе и вѣчно совершаеть Онъ его въ лицѣ своихъ іереевъ, какъ по слову: «да будеть свъть», — свъть сіяеть въчно; какъ по слову: «да произрастить земля быліе травное», — произращаеть его къчно земля. На престолъ — не образъ, не видъ, но самое тъло Господне, то самое тѣло, которое страдало на землѣ, терпѣло заушенья, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вмёстё съ Господомъ и сидить одесную Отца. Видъ хлёба сохраняеть оно только затёмъ, чтобы быть снъдью человъку, и что Самъ Господь сказалъ: «Азъ есмь хлъбъ».

Церковный звонъ подъемлется съ колокольней возвѣстить всѣмъ о великой минутѣ, чтобы человѣкъ, гдѣ бы онъ въ это время ни находился, въ пути ли, въ дорогѣ, обрабатываетъ ли землю полей своихъ, сидить ли въ дому своемъ, или занятъ другимъ дѣломъ, или томится на одрѣ болѣзни, или въ тюремныхъ стѣнахъ, словомъ, — гдѣ бы онъ ни былъ, чтобы могъ отовсюду вознести моленье и отъ себя въ эту страшную минуту. Все повергается ницъ въ виду тѣла и крови Господней, взывая ко Господу словами разбойника: «Помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ».

Подклонивъ главу священнику, діаконъ произносить: «Помяни мя, святый владыко!» Ему отвётствуетъ священникъ: «Помянетъ тебя Богъ во царствія Своемъ, всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ». И приступаеть священникъ къ поминанью всъхъ предъ лицемъ Господа, собирая всю Церковь, и торжествующую, и воинствующую, въ томъ видъ и порядкъ, какъ вспоминались всъ на проскомидіи, начиная съ Богопресвятой, Пречистой Матери Господа, Которую туть же вся церковь ублажаеть, вмёсть съ ли-комъ, хвалебною пёсныю, какъ Предстательницу за весь родъ человъческий, какъ единственную удостоявшуюся, за высокое смиреніе свое, понести въ себъ Бога, — чтобы каждый въ эту минуту слышалъ, что высшая добродътель — смиреніе, и въ сердцѣ смиреннаго воплощается Богъ. И вослѣдъ за Божією Матерію вспоминаются пророки, апостолы, отцы Церкви, въ томъ же порядкъ, какъ изнимались за нихъ части на проскомидіи; потомъ — всъ усопшіе, воторыхъ помянникъ читаетъ діаконъ, потомъ живущіе, начиная съ тъхъ, на которыхъ возложены важнъйшія обязанности и высшія, — съ право правящихъ слово истины духовныхъ и свътскихъ чиновъ, отъ государя: да пособить ему Господь на трудномъ его поприщъ во всякомъ дълъ общаго добра, и да въ союзномъ стремлени ко благу отвътствуетъ ему весь государственный корабль управленья, палата власти, воинства, исполняя честно долгъ, «да и мы, въ тишинъ ихъ, тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотъ». И о всъхъ предстоящихъ христіанахъ до единаго молится въ это время јерей, чтобы Милостивый на всъхъ излилъ Свои милости, сокровища ихъ исполнилъ блага, супружества ихъ соблюлъ бы въ единомыслии и миръ, младенцевъ воспиталъ бы, юность наставилъ, старость

поддержалъ, малодушныхъ утъщилъ, расточенныхъ собралъ, прельщенныхъ обратилъ и совокупилъ святой Своей соборной и апостольской Церкви. И обо всѣхъ до послѣдняго христіанина въ это время молится смиренно іерей, габ бы такой христіанинъ ни находился — въ пути ли онъ, въ дорогь, въ плавания, путешествия, страдаетъ ли въ недугь, томится ли въ заточеныя, въ рудахъ и пропастяхъ земли. Обо всъхъ до едина молится въ это время вся церковь, и каждый изъ предстоящихъ, сверхъ этого общаго моленья обо встхъ, молится еще о встхъ своихъ, близкихъ своему серацу. всъхъ ихъ поименовывая предъ лицемъ тъла и крови Господней. И возглащаеть громко священникъ изъ алтаря: «И даждь намъ едиными усты и единымъ сердцемъ славити и воспъвати пречестное и великолъпное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынъ, и присно, и во въки въковъ». Утвердительнымъ «аминь» отвътствуеть Церковь. Священникъ возглашаеть: «И да будуть милости Великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа со всъми вами!» Ему отвётствують: «и со духомъ твоимъ». И симъ оканчиваются моденія о всёхъ, составляющихъ Церковь Христову, совершаемыя передъ лицомъ самаго тъла и самой врови Христовой.

Діаконъ восходить на амвонъ воздвигнуть моденія о самыхъ дарахъ. уже принесенныхъ Богу и пресуществленныхъ, да не въ судъ и въ осужденье обратятся. Попъявъ орарь тремя перстами десныя руки своей, такъ восперяетъ онъ всёхъ къ модитев: «Вся святыя помянувше, вновь и вновь миромъ Господу помолимся!» И воспъваетъ ликъ: «Господи, помилуй!» — «О принесенныхъ и освященныхъ честныхъ дарахъ Господу помолимся». И воспъваетъ ликъ: «Господи, помилуй!» -- «Яко да Человъколюбецъ Богъ нашъ, -- взываетъ ліаконь: — пріявь ихъ во святый превышенебесный и мысленный свой жертвенникъ, въ воню благоуханія духовнаго, возниспослеть намъ божественную благодать и даръ Духа Святаго, помолимся». И воспѣваетъ ликъ: «Господи, помидуй!» — «О избавлении насъ отъ всякия скорби, гитва и нужды Господу помолимся». И воспъваетъ ликъ: «Господи, помилуй!» — «Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатію!» И взываеть ликъ: «Господи, помилуй!» — «Дня всего совершеннаго, всего святаго, мирнаго, без-гръщнаго у Господа просимъ». И воспъваетъ дикъ: «Подай, Господи!» — «Ангела мирнаго, върнаго наставника, хранителя душъ и тълесъ нашихъ у Господа просимъ». И воспъваетъ ликъ: «Подай, Господи!» — «Прощенія и оставленія гръховъ и прегръшеній нашихъ у Господа просимъ». И воспъваетъ ликъ: «Подай, Господи!» — «Добрыхъ и полезныхъ душамъ нашимъ и мира міру у Господа просимъ». И воспъваеть ликъ: «Подай, Господи!» «Прочее время живота нашего въ миръ и покаяніи скончати у Господа просимъ». И воспъваетъ ликъ: «Подай, Господи !» — «Христіанскія кончины живота нашего безболѣзненной, непостыдной, мирной и добраго отвѣта на страшномъ судилищъ Христовомъ просимъ». И воспъваетъ ликъ: «Подай, Господи!» И произносить діаконъ, уже не призывая въ помощь святыхъ, но обращая всъхъ прямо ко Господу: «Соединение въры и причастие Святаго Духа испросивши, сами себя, и другъ друга, и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ». И воспъвають всъ въ полной и совершенной преданности: «Тебъ, Госполи!»

Священникъ же намъсто троичнаго славословія возглашаеть: «И сподоби насъ, Владыко, со дерзновеніемъ, неосужденно смъть призывать Тебя, небеснаго Бога Отца, и глаголати». И всъ върные въ эту минуту не какъ рабы, исполненные страха, но какъ дъти, какъ чистые младенцы, доведенные самими моленьями и всею службою и постепеннымъ ходомъ ея святыхъ обрядовъ до

того небесно-умиленнаго, ангельскаго состоянія души, въ которомъ можетъ прямо говорить человѣкъ съ Богомъ, какъ съ нѣжнѣйшимъ отцомъ, произносятъ сію молитву Господню: «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ! да святится имя Твое, да пріидетъ царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, и остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ, и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго».

Все обняда собою сія молитва, и въ ней все заключилось, что намъ нужно. Прошеньемъ: «да святится имя Твое» просится первое, о чемъ прежде всего мы должны просить: гдъ святится Божіе имя, тамъ всъмъ хорошо, тамъ, значить, всъ въ любви живуть, ибо любовью только святится имя Божіе. Словами: «да пріндеть царствіе Твое» вызывается царство правлы на землю. нбо безъ прихода Божія не быть правдѣ: ибо Богъ есть правда. Къ слованъ: «да будеть воля Твоя», приводить человъка и въра, и разумъ: чья же воля можеть быть прекрасный Божіей воли? Кто же лучше Самого Творца знаеть, что нужно Его творенію? Кому же ввёриться, какъ не Тому, Который весь есть благотворящее благо и совершенство? Словомъ: «дажль намъ хлъбъ нашъ насущный» просимъ мы всего, что нужно для дневного существованья нашего, хлъбъ же нашъ есть Божія Премудрость, есть Самъ Христосъ. Онъ Самъ сказаль: «Азъ есмь хлъбъ, и ядый Меня не умреть». Словомъ: «остави намъ долги наша» мы просимъ о снятіи съ насъ всёхъ тяжкихъ грёховь нашихъ, на насъ тяготъющихъ, - просимъ прощенія намъ всего того, чъмъ задолжали мы Самому Творцу въ лицъ братій нашихъ. Который ежедневно и ежеминутно въ образѣ ихъ протягиваетъ намъ руку Свою, надрывающимъ всю душу воплемъ умоляя о милости и милосердіи. Словомъ: «не введи насъ во искушение» мы просимъ о избавлении насъ отъ всего, смущающаго духъ нашъ и отъемлющаго у насъ душевное спокойствіе. Словомъ: «но избави насъ отъ лукаваго» мы просимъ о небесной радости: ибо какъ только отступаеть оть нась лукавый, радость уже вдругь входить въ нашу душу, и мы уже на землѣ, какъ на небесахъ.

Такъ все заключаетъ въ себѣ и все объемлетъ собою сія молитва, которою молиться научила насъ Сама Премудрость Божія, и кому же молиться? молиться Отцу Премудрости, породившему Премудрость Свою прежде въковъ. Такъ какъ всѣ предстоящіе должны повторять въ себѣ молитву сію не устами, но самой чистой невинностью младенческаго сердца, то и самое пѣнье ея на ликахъ должно быть младенческое: не мужественными и суровыми звуками, но звуками младенческими, какъ бы лобзающими самую душу, должна воспѣваться сія молитва, да весеннее дыханіе самихъ небесъ въ ней слышится, да лобзаніе самихъ ангеловъ въ ней носится, ибо въ молитвѣ этой уже не называемъ мы и Богомъ Того, Кто сотворилъ насъ, а говоримъ Ему просто: «Отче нашъ!»

Іерей привѣтствуетъ изъ глубины алтаря какъ бы привѣтствіемъ Спасителя: «Миръ всѣмъ!» Ему отвѣтствуютъ: «И духови твоему!» Напоминая о сердечномъ внутреннемъ исповѣданіи, которое долженъ всякій совершить внутри самого себя въ сію минуту, діаконъ взываеть: «Главы ваши Господеви преклоните!» И, преклонивъ главы свои, всѣ до единаго изъ предстоящихъ произносятъ въ себѣ почти такую молитву: «Тебѣ, Господи Боже мой, преклоняю главу и во исповѣданіи сердечномъ вопію: грѣшенъ, Господи, и недостоинъ просить у Тебя прощенія, но Ты, какъ Человѣколюбецъ, такъ же ни за что, какъ блуднаго сына, меня помилуй, какъ мытаря, меня оправдай и удостой меня, какъ разбойника Твоего небеснаго царства». И когда всѣ

такимъ образомъ, преклонивъ главы свои, пребывають въ внутреннемъ сокрушеніи сердечномъ, іерей молится у алтаря за встхъ такими внутри самого себя произносимыми словами: «Благодаримъ Тебя, Царю невидимый, иже неисчетною Твею силою вся содътельствоваль еси, и иножествомъ милости Твоея отъ небытія въ бытіе вся привель еси, Самъ, Владыко, съ небесъ призри на преклонившихъ Тебъ главы своя, ибо подклонили они ихъ не плоти и крови, но Тебъ, страшному Богу. Ты же, Владыко, все, что предлежить намъ, изравняй во благо намъ, каждому по потребности его: плавающимъ сплавай, путешествующимъ спутешествуй, недугующія исцыи, Врачу душъ и твлесъ!» И возглашаеть вслбдъ затбыть великолбиное троичное славословіе, обращенное къ небесной милости Божіей: «Благодатію и щедротами, и человѣколюбіемъ Единороднаго Сына Твоего, съ Нимъже благословенъ еси, со Пресвятымъ, Благимъ и Животворящимъ Твоимъ Духомъ, нынѣ, и присно, и во въки въковъ!» Ликъ возглашаеть: «аминь». А священникъ, пріуготовляя къ пріобщенію себя самого и всѣхъ потомъ тѣла и крови Христовой, молится такою тайною молитвою: «Вонми, Господи, Іисусе Христе, Боже нашъ, отъ святаго жилища Твоего и отъ престола славы царствія Твоего! Прінди освятить насъ, горъ съ Отцомъ сидящій и здъсь невидимо намъ спребывающій, и сподоби державной рукой Твоей преподать намъ (священникамъ) пречистое тъло Твое и честную кровь Твою, а нами всъмъ Твоимъ люлямъ».

Во время глаголанія сей молитвы, діаконъ готовится къ причащенію: становится передъ царскими вратами, опоясуя себя ораремъ и складывая его крестовидно на себъ въ подобіе ангеловъ, крестовидно складывающихъ на себѣ крылья и закрывающихъ ими лица свои передъ неприступнымъ свѣтомъ божества. Поклоняясь три раза, такъ же какъ и священникъ, произноситъ онъ три раза въ себъ: «Боже, очисти меня гръшнаго и помилуй меня!» Когда же священникъ простретъ руки свои къ святому дискосу, воздвигающимъ словомъ «вонмемъ» напоминаетъ онъ встять во храмъ къ устремлению мысли на происходящее. Алтарь сокрывается оть глазъ народа, завъса задергивается, да совершится прежде пріобщеніе самихъ івреевъ. Одинъ только голось іерея, подъемлющаго святой дискосъ, «Святая Святымъ», раздается изъ алтаря. Содрогаясь отъ сего возвѣщенія, говорящаго, что нужно быть святымъ для принятія святыни, весь молящійся храмъ отвътствуетъ ему: «Единъ Свять, единъ Господь, Іисусъ Христосъ, во славу Бога Отца», и воспъвается вслъдъ за тёмъ хвалебный гимнъ святому, егоже день, въ возвѣщенье, что можно быть святу человъку, такъ же, какъ сталъ святъ святой, которому гимнъ поется: сталъ святъ онъ не своей святостью, но святостью Самого Христа. Пребываньемъ во Христъ святится человъкъ и въ такія минуты пребыванья свять, какъ Самъ Христосъ, подобно какъ желѣзо, когда пребываеть въ огнѣ, становится и само огонь и потухаеть вмигь, какъ только изъемлется изъ огня, и становится вновь темнымъ желѣзомъ.

Священникъ раздробляетъ теперь святый хлѣбъ, сначала по знаку, начертанному на проскомидія, на четыре части, съ благоговѣніемъ произнося: «раздробляется и раздѣляется Агнецъ Божій, раздробляемый и нераздѣляемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый, но освящаяй причащающіяся». И сохранивъ одну изъ сихъ частей для нріобщенія себя и діакона святаго тѣла въ видѣ, несоединенномъ еще съ кровію, дробитъ потомъ части хлѣба по числу пріобщающихся, но не дробится въ семъ дробленіи самое тѣло Христово, котораго и кость не сокрушилась, и въ малѣйшей частицѣ сохраняется тотъ же всецѣлый Христосъ, какъ въ каждомъ членѣ нашего тѣла присутствуетъ

та же человъческая душа нераздъльная и всецълая, какъ въ зеркалъ, хотя бы оно и сокрушилось на сотни кусковъ, сохраняется отражение тъхъ же предметовъ даже въ самомъ малъйшемъ кускъ. Какъ въ звукъ, насъ огласившемъ, сохраняется то же единство его, и остается онъ тотъ же самый единый всецблый звукъ, хотя и тысячи ушей его слышали. Но въ чашу не погружаются всъ тъ части, которыя были вынуты на проскомидіи во имя святыхъ, во имя усопшихъ и во имя нёкоторыхъ живущихъ. Онъ остаются до времени еще на дискосъ; только частями, составляющими тъло и кровь Господню, пріобщается Церковь. Въ первоначальныя времена Церкви причащались ими въ видъ несоединенномъ, какъ нынъ пріобщаются у насъ одви іерен, и каждый, пріемля въ руки тіло Господа, испиваль потомъ самъ изъ чаши. Но когда, — безчинствомъ невъжественныхъ новообращенныхъ христіанъ, ставшихъ только по имени христіанами, — начали уносить святые дары въ нома свои, употребляя ихъ въ суевърія и колповства, или же безчинно обращаться съ ними туть же во храмъ, толкая другъ друга, производя шумъ и даже проливая святые дары, когда нашлись въ необходимости отцы многихъ Церквей отмѣнить вовсе пріобщеніе крови для всего народа, замѣнивъ его хлъбнымъ знакомъ облатки, какъ сдълала то у себя католическая западная Церковь, — тогда святый Іоаннъ Златоусть, чтобы не случилось и въ Церкви восточной того, установиль преподавать народу кровь и тыо не порознь, но въ соединенномъ видъ, и не давать ему ни того, ни другого въ собственныя руки, но преподавать святой ложкой, имъющей образъ тъхъ клещей, которыми огненный серафимъ прикоснулся устамъ пророка Исаіи, дабы напомнить встыть, какого рода то прикосновение, которое готово прикоснуться устамъ, дабы увидълъ ясно всякъ, что сей святой ложкой держить јерей тотъ горящій угль, который схватиль таинственными клещами серафимь оть самаго жертвенника Божія, дабы единымъ только прикосновеніемъ его къ устамъ пророка отъять отъ него всъ гръхи его. Тотъ же самый Златоусть, чтобы удалить съ тъмъ вмъстъ всякую мысль о томъ, что сіе соединеніе тъла и крови воедино и визств дблается произвольно јереемъ, ввелъ въ минуту самаго соединенія ихъ витстъ влитіе теплой воды въ сосудъ, знаменующее теплотворную благодать Духа Святаго, изливаемую въ разръшение такого соединения, почему и произносится при этомъ діакономъ: «Теплота въры, исполнь Духа Святаго». А на самое влитіе теплоты призывается благословеніе Того же Духа Святаго, чтобы ничто не совершилось при этомъ безъ благословенія Самого Господа, чтобы въ то же время и теплота послужила подобіемъ теплотъ крови, давая самимъ вкушеніемъ ед чувствовать всякому, что не отъ мертваго тъла, изъ котораго не истекаеть теплая кровь, но оть живого, животворящаго и животворнаго тъла Господня онъ ее пріемлеть, чтобы и здъсь онъ слышаль возвѣщенье того, что и отъ мертваго тѣла Господня не отступила божественная душа и было дъйствъ Духа оно полно, и божество съ нимъ не разлучалось.

Пріобща вначалѣ себя, потомъ діакона, служитель Христовъ предстоитъ новымъ человѣкомъ, какъ очищенный святынею пріобщенія отъ всѣхъ своихъ прегрѣшеній, какъ святый истинно въ эту минуту и какъ достойный пріобщать другихъ.

Врата царскія разверзаются, діаконъ возносить торжественный гласъ: «со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите». И всѣмъ предстоитъ преображенный серафимъ съ святой чашей въ рукахъ — іерей, во святыхъ вратахъ стоящій.

Горя желаніемъ Бога, сгорая любовнымъ пламенемъ къ Нему, сложивъ руки крестомъ на груди своей, одинъ за другимъ подступаютъ къ нему пріобщающіеся я, преклоня главу, повторяетъ всякъ въ себъ сіе исповъданіе Распятаго:

«Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси воистинну Христосъ, Сынъ Бога Живаго, пришедый въ міръ грѣшныя спасти, отъ нихъ же первый есмь азъ. Еще вѣрую, яко сіе самое есть пречистое тѣло Твое, и сія есть самая честная кровь Твоя, молюся убо Тебѣ: помилуй мя и прости ми прегрѣшенія моя вольная и невольная, яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣдѣніемъ и невѣдѣніемъ, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистыхъ Твоихъ таинствъ во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную». И, остановившись на одно мгновеніе, дабы объять мыслію значеніе того, къ чему приступаетъ, продолжаетъ глубиной сердца своего повторять послѣдующія слова:

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божій, причастника меня пріими: не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ, яко Іюда, но, яко разбойникъ, исповѣдую Тя: помяни меня, Господи, во царствіи Твоемъ». И совершивъ одинъ мигъ благоговѣйнаго молчанія въ себѣ, продолжаетъ: «Да не въ судъ или во осужденіе будетъ мнѣ причащеніе святыхъ Твоихъ таинъ, Господи, но во исцѣленіе души и тѣла».

И, прочитавъ сіе исповъданіе, уже не такъ, какъ къ іерею, но какъ къ самому огненному серафиму, приступаеть каждый, готовясь раскрытыми устами принять съ святыя ложки тоть огнепальный угль святаго тъла и крови Господа, который долженствуеть въ немъ попалить, какъ тлѣнный хворость, весь черный дрязгъ его прегръщеній, изгнавъ въчную ночь изъ души его, превративъ его самого въ просвътленнаго серафима. И когда, подъявъ святую ложку надъ устами его и упомянувши его, произнесеть јерей: «Причащается рабъ Божій честныя и святыя крови Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа во оставление гръховъ своихъ и въ жизнь въчную», приемлетъ онъ тъло и кровь Господа, и въ нихъ пріемлетъ минуту свиданья съ Богомъ, становясь лицомъ къ лицу къ Нему Самому. Въ минутъ этой нътъ времени, и ничъмъ не отличается она оть самой въчности, ибо въ ней пребываеть Тотъ, Кто есть начадо вѣчности. Пріявъ въ тѣдѣ и крови сію ведикую минуту, исполненный святаго ужаса стоить пріобщившійся: святымъ воздухомъ осушаются уста его при повторении серафимскихъ словъ пророку Ісаіи: «Со прикоснуся устнамъ твоимъ и отыметъ беззаконія твоя, и грѣхи твоя очистигъ». Самъ святой, возвращается онъ отъ святыя чаши, поклоняясь святымъ, ихъ привътствуя, и поклоняясь всъмъ предстоящимъ, какъ ближайшимъ въ нъсколько разъ своему сердцу, чёмъ дотолё, какъ связавшимся теперь съ нимъ узами святаго небеснаго родства, и становится потомъ на свое мъсто, исполненный той мысли, что приняль въ себя Самого Христа и что Христосъ въ немъ, что Христосъ сошелъ Своею плотью, какъ во гробъ, къ нему въ утробу, дабы, проникнувъ потомъ въ тайное хранилище сердца, воскреснуть въ духѣ его, совершая въ немъ самомъ и погребенье, и воскресенье Свое. Сіяетъ свътомъ сего духовнаго воскресенья вся церковь, и воспъваютъ пъвцы сіи ликующія пъсни:

«Воскресеніе Христово видъвше, поклонимся Святому Господу Інсусу, Единому Безгръшному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресеніе Твое поемъ и славимъ: Ты бо еси Богъ нашъ, развъ Тебе иного не знаемъ, имя Твое именуемъ. Пріидите вси върніи, поклонимся святому Христову воскресенію: се бо пріиде крестомъ радость всему міру. Всегда благословяще Господа, поемъ воскресеніе Его: распятіе бо претерпъвъ, смертію смерть разруши». И подобно ангеламъ, соединяющимся въ это время:

Digitized by Google

i,

«Свътися, свътися, новый Іерусалиме, слава бо Господня на тебъ возсія. Ликуй нынъ и веселися, Сіоне; Ты же Чистая красуйся Богородице о возстаніи рождества Твоего. О, пасха велія и священнъйшая Христе! О, мудросте и слове Божій и сило! подавай намъ истъе Тебе причащатися, въ невечернъмъ дни царствія Твоего!

Въ продолжение же того, какъ воскресными пѣснями оглашается ликующая церковь, священникъ въ закрытомъ алтарѣ, постановивъ святую чашу на святую трапезу, которая, такъ же какъ и дискосъ, покрывается вновь покровами, произноситъ благодарственную молитву Самому благодѣтелю душъ Господу за удостоение пріобщиться небесныхъ и безсмертныхъ Его таинствъ и заключаетъ ее прошеніемъ, да исправитъ путь нашъ, утвердитъ насъ всѣхъ въ священномъ страхѣ къ нему, соблюдетъ житіе напе и содѣлаетъ твердыми стопы наши.

И разверзаются затъмъ въ послъдній разъ царскія врата, возвъщая разверзаньемъ своимъ разверзанье самого царствія небеснаго, которое доставилъ Христосъ всёмъ принесеньемъ Самого Себя въ духовную снёдь всему міру. Въ видъ святой чаши, износимой діавономъ въ сопровождении словъ «со страхомъ Божіимъ и върою приступите», и въ ея отнесеніи изобразуется исхолъ Самого Господа въ народу, дабы возвести ихъ всъхъ съ Собою въ домъ Отца Своего. Громомъ торжественнаго пъснопънья гремитъ весь ликъ въ отвътъ: «Благословенъ грядый во имя Господне, Богъ Господь и явися намъ!» И громомъ пъснопънья духовнаго, исходящаго изъ глубины возрастающаго духа, совоспъваетъ ему вся церковь. Священникъ же, благословивъ предстоящихъ словами: «Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое», — ибо предполагаеть, что вст по чистоть въ эту минуту обратились въ собственное достояніе Божіе, — устремляется мыслью къ вознесенію Господню, которымъ завершилось Его пребыванье на земль: становится виссть съ діакономъ предъ святымъ престоломъ и, поклоняясь, кадитъ онъ въ послъдній разъ, и кадя произносить въ себъ: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя», между тёмъ какъ ликъ восторгающимъ пёснопёніемъ и звуками, сіяющими весельемъ духовнымъ, стремить просвътленныя души всъхъ предстоящихъ къ произнесенію вослёдъ за нимъ сихъ словъ самой радости духовной: «Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ духа небеснаго, обрѣтохомъ вѣру истинную, Нераздбльной Троиць повлоняемся, Та бо насъ спасла есть».

Діаконъ показывается въ святыхъ дверяхъ съ святымъ дискосомъ на главѣ, не произнося ни одного слова: безмолвнымъ воззрѣньемъ своимъ на все собранье и уходомъ знаменуетъ удаленье отъ насъ и вознесенье Господне. Вослѣдъ за діакономъ показывается въ святыхъ дверяхъ іерей съ святою чашею и возвѣщаетъ пребыраніе съ нами до скончанія вѣковъ вознесшагося Господа словами: «Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ», послѣ чего и чаша, и дискосъ относятся вновь на боковой жертвенникъ, на которомъ совершалась проскомидія, который изобразуетъ теперь уже не вертепъ, видѣвшій рожденіе Христово, но то верховное мѣсто славы, гдѣ совершился возврать Сына въ лоно Отчее.

Здѣсь вся церковь, предводимая поющимъ ликомъ, соединяется въ одно торжественно-благодарное пѣніе душъ своихъ; и сіи суть слова ея восхваленія: «Да исполнятся уста наша хваленія Твоего, Господи, яко да поемъ славу Твою, яко сподобилъ еси насъ причаститися святымъ Твоимъ, божественнымъ, безсмертнымъ и животворящимъ тайнамъ, соблюди насъ во Твоей святыни, весь день поучатися правдѣ Твоей!» И воспѣваетъ троекратно вослѣдъ за тѣмъ хоръ пѣвцовъ воздвигающее слово «аллилујя», говорящее имъ непрестающее

хождение и всюду пребывание Божие. Діаконъ же восходить на амвонъ воздвигнуть въ послѣдній разъ предстоящихъ къ моленьямъ благодарственнымъ. Подъявъ орарь тремя перстами руки своей, говоритъ онъ: «Прости, пріимше божественныхъ, святыхъ, пречистыхъ, безсмертныхъ, небесныхъ и животворящихъ, страшныхъ Христовыхъ таинъ, достойно благодаримъ Господа». И благодаря сердцами, воспъвають всъ тихо: «Господи, помилуй!» — «Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатію!» взываетъ въ последний разъ діаконъ. И воспевають все: «Господи, помилуй!» — «День весь совершенъ святъ, миренъ и безгръшенъ испросивши, сами себя и другъ друга и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ». И съ покорностію кроткой младенца, въ небесной довъренности къ Богу, всъ восклицають: «Тебъ, Господи!» А священникъ, складывая въ это время антиминсъ и съ Евангеліемъ въ рукахъ, ознаменовавъ....., возглашаетъ троичное сдавословіе, которое, озарявъ доселѣ, подобно всеозаряющему маяку, весь путь богослуженія. и теперь вспыхиваеть еще сильнъйшимъ свътомъ въ просвътившихся душахъ; и такое на сей разъ обращение троичнаго славословія: «Яко Ты еси освященіе наше, и Тебъ славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынъ и присно, и во въки въковъ».

Затъмъ священникъ приступаетъ къ боковому жертвеннику, на которомъ постановлены чаша и дискосъ. Всъ тъ частицы, которыя оставались доселъ на дискосъ и были вынуты на проскомидія въ воспоминаніе святыхъ, въ упокой усопшихъ и въ душевное здравіе живущихъ, теперь погружены во святую чашу и въ семъ дъйствіи ихъ погруженія пріобщается тълу и крови Христовой вся Церковь Его — и та, которая еще странствуетъ и воинствуетъ на земль, и та, которая уже торжествуеть на небесахь: Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, всъ гръшные, за которыхъ были вынуты части, на землъ живущіе и отошедшіе, пріобщаются въ эту минуту тълу и крови Христовой. И священникъ, предстоя въ такую минуту предъ Богомъ, какъ представитель всей его Церкви, испиваеть изъ чаши сіе причащеніе всёхъ и, пріемля въ себя пріобщеніе всёхъ. молится о всёхъ, да омыются грёхи ихъ, ибо за искупленье всёхъ принесена жертва Христомъ, какъ за тъхъ, которые жили до Его пришествія, такъ и за тъхъ, которые жили по пришествіи Его. И какъ бы ни была гръшна молитва его, но священникъ возносить ее за всѣхъ, даже за самихъ святьйшихъ, ибо, какъ сказалъ Златоустъ, общее предлежитъ очищение вселенныя.

Церковь повелѣваеть о всѣхъ возносить всеобщую молитву; высокое значение такой молитвы и ся строгая надобность узнались не мудрецами міра и не совопросниками въка, но тъми верховными людьми, которые высокимъ духовнымъ совершенствомъ и небесно-ангельской жизнью дошли до познанія глубочайшихъ душевныхъ тайнъ и видъли уже ясно, что разлуки нътъ между живущими въ Богъ, что минутной тлънностью нашего тъла не прекращаются. сношенія, и что любовь, завязанная на землѣ, приходить въ большую мѣру на небесахъ, какъ на родинъ своей, и братъ, отшедшій отъ насъ, становится еще ближе въ намъ отъ силы любви. И все, что ни истекаетъ изъ Христа. то вѣчио какъ вѣченъ Самъ Источникъ, изъ Котораго оно истекаетъ. Слышали также они высшими органами чувствъ своихъ, что и на небесахъ торжествующая Церковь долженствуеть молиться и молится также о странствующихъ на землѣ братьяхъ своихъ; слышали они, что Богъ предоставилъ, какъ лучшее изъ наслажденій, наслажденье молиться, ибо ничего не совершаеть Богъ и ничему не благодътельствуетъ, не дълая участникомъ въ самомъ совершенін и въ самомъ благодѣяніи своемъ свое твореніе, да насладится оно высокимъ

блаженствомъ благотворенія: несеть ангель Его повелѣніе и утопаеть въ блаженствъ уже оттого, что несеть Его повельніе. Молится на небесахъ святой о братьяхъ своихъ на землъ и утопаетъ въ блаженствъ уже оттого, что молится. И все соучаствуеть съ Богомъ во всёхъ высочайшихъ Его наслажденіяхь и блаженствахь: индліоны совершеннъйшихь твореній исходять изь рукъ Божихъ, дабы участвовать въ высшихъ и высшихъ блаженствахъ, и нъть имъ конца, какъ изть конца Божьимъ блаженствамъ. Испивъ изъ чаши пріобщеніе встахъ съ Богомъ, ісрей выносять народу ть просфоры, оть которыхъ были отдълены и изъяты частицы, и симъ сохраняетъ высокій древній образъ трапезы любви, исполнявшійся христіанами первыхъ временъ. Хотя и не накрывается теперь для этого столь, по причинъ того, что невъжественными христіанами, безумнымъ буйствомъ ихъ ликованій, словами раздора. а не любви, давно была опозорена святыня этого трогательнаго небеснаго пиршества въ самомъ дому Божіемъ, на которомъ всѣ пировавшіе были святы, какъ одна душа, были души ихъ, и, чистые младенцы сердцемъ, вели они такую бестду, какъ бы у Самого Бога были на небесахъ; хотя сами Церкви увидели строгую надобность уничтожить это, и самое воспоминаные объ этой транезъ изчезнуло во многихъ Церквахъ, но, несмотря на то, одна Восточная Церковь не могла ръшиться на уничтожение вовсе такого обряда, и въ раздачъ святаго хлъба посреди церкви всему народу совершаетъ ту же святую трапезу любви. А потому всякъ пріемлющій просфору и пріемлеть ее, какъ хиббъ отъ того пиршества, за которымъ Самъ Хозяинъ міра бесбдовалъ съ людьми своими, — а потому вкушаль бы благоговъйно, представляя себя окруженнаго всёми людьми, какъ нёжнёйшими братьями своими, — и такъ же. какъ было въ обычат первоначальной Церкви, вкушаетъ его прежде всякой другой пиши, или относить въ домъ свой домашнимъ, или же отправляетъ больнымъ, неимущимъ и тъмъ, которые почему-нибудь не могли быть на то время въ церкви.

Раздавъ святый хлёбъ, священникъ творить отпускъ литургіи и благословляеть весь народъ словами: «Христосъ, Истинный Богъ нашъ, молитвами Пречистыя Своея Матери, молитвами отца нашего архіепископа Іоанна Златоуста (если литургія Златоуста идеть день-въ-день), молитвами святаго (и называетъ по имени святаго, его же день) и всёхъ святыхъ помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и человъколюбецъ». Народъ, знаменуясь крестомъ и поклоняясь, расходится при громкомъ пѣніи лика, многолѣтствующаго императора.

Священникъ въ алтаръ совлекается отъ одъяній своихъ, произнося: «Нынъ отпущаеши раба Твоего», и сопровождая разоблаченіе хвалебными тропарями, гимнами отцу и святителю церковному, котораго служилась литургія, и той Пречистой Святой Дъвъ, въ Которой совершилось вочеловъченье Того, Кому служилась вся литургія. Діаконъ въ это время потребляетъ все оставшееся въ чашъ и потомъ, наливъ въ нее вина и воды и всполоснувъ внутреннія стъны ея, испиваетъ, осушивъ пщательно губкой, дабы инчто не оставалось, слагаетъ святые сосуды вмъстъ, покрывъ и обвязавъ ихъ, и подобно священнику говоритъ: «Нынъ отпущаеши раба Твоего», повторяя тъ же пъсни и молитвы. И оба выходятъ, наконецъ, изъ храма, неся сіяющую свъжесть въ лицъ, радость ликующую въ духъ, благодареніе Господу на устахъ своихъ.

Н. В. Гогодь. Томъ III.

Заключеніе.

Дъйствіе божественной литургіи надъ душою велико: зримо и воочью совершается, въ виду всего свъта, и скрыто. И если только полившийся благоговъйно и прилежно слъдить за всякимъ дъйствіемъ, покорный призванью діакона, — душа пріобрътаеть высокое настроеніе, заповъди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. По выходъ изъ храма, гдѣ онъ присутствоваль при божественной трапезѣ любви, онъ глядить на встхъ, какъ на братьевъ. Примется ли онъ за обыкновенное теченье своихъ дъль въ службъ ли, въ семьт, гдъ бы ни было, въ какомъ бы ни было, сохраняеть невольно въ душѣ, своей высокое начертанье любовнаго обращенья съ людьми, принесеннаго съ небесъ Богочеловъкомъ. Онъ невольно становится милостивъй и любовнъй съ подчиненнымъ. Если самъ подъ властью другого, то охотнъй и любовнъй ему повинуется, какъ Самому Спасителю. Если видить просящаго помощи, сердце его болье чъмъ когда-либо располагается помогать, чувствуетъ онъ больше...., съ любовью даеть онь неимущему. Если онъ неимущий, онъ благодарно принимаеть мальйшее даяние: растроганное сердце его теряется въ благодарности. и никогда съ такой признательностью не молится онъ о своемъ благодътель. И всъ, прилежно слушавшие божественную литургию, выходять кротче, милъе въ обхожденьи съ людьми, дружелюбнъе, тише во всъхъ поступкахъ.

А потому для всякаго, кто только хочеть идти впередь и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посъщенье божественной литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строить и создаеть человъка. И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышать полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть божественная литургія, напоминающая человъку о святой небесной любви къ брату. А потому, кто хочеть укръпиться въ любви, долженъ, сколько можно чаще, присутствовать, со страхомъ, върою и любовію, при священной трапезъ любви. И если онъ чувствуеть, что недостоинъ принимать въ уста свои Самого Бога, Который весь любовь, то хоть быть зрителемъ, какъ пріобщаются другіе, чтобъ незамѣтно, нечувствительно становиться совершеннѣе съ каждой недълей.

Велико и неисчислимо можетъ быть вліяніе божественной литургіи, если бы человъкъ слушаль ее съ тъмъ, чтобы вносить въ жизнь слышанное.

Всёхъ равно уча, равно дъйствуя на всё звенья, отъ царя до послёдняго нищаго, всёмъ говоритъ одно, не однимъ и тёмъ же языкомъ, всёхъ научаетъ любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущагося, пища, жизнь всего.

Но если божественная литургія дъйствуетъ сильно на присутствующихъ при совершеніи ея, тъмъ еще сильнъе дъйствуетъ на самого совершателя, или іерея. Если только онъ благоговъйно совершалъ ее съ страхомъ, върой и любовью, то ужъ весь онъ чисть, подобно сосудамъ, которые уже ни на что потомъ......; пребываетъ ли онъ весь тотъ день въ отправленьи своей многообразной пастырской обязанности, въ семъ ли посреди своихъ домашнихъ, или посреди своихъ прихожанъ, которые суть также семья его, — Самъ Спаситель въ немъ вообразится, и во всъхъ дъйствіяхъ его будетъ дъйствовать Христосъ; и въ словахъ его будетъ говорить Христосъ. Будетъ ли склонять онъ на примиренье между собой враждующихъ, будетъ ли преклонять на милостъ сильнаго къ безсильному, или ожесточеннаго, или утѣшать скорбящаго, или въ терпѣнью угнетеннаго, или, — слова его пріобрѣтутъ силу врачующаго елея и будутъ на всякомъ мѣстѣ словами мира и любви.

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Собраніе это составляють піесы, писанныя мною въ разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Я не писаль ихъ по заказу. Онѣ высказывались отъ души, и предметомъ избиралъ я только то, что сильно меня норажало. Между ними читатели, безъ сомнѣнія, найдуть много молодого. Признаюсь, нѣкоторыхъ піесъ я бы, можетъ-быть, не допустиль вовсе въ это собраніе, если бы издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмѣсто того, чтобы строго судить свое произедшее, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ настоящимъ. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. Притомъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще не сказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго.

Я долженъ сказать о самомъ изданіи: когда я прочиталъ отпечатанные листы, меня самого испугали во многихъ мѣстахъ неисправности въ слогѣ, излишности и пропуски, происшедшіе отъ моей неосмотрительности. Но недосугъ и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли миѣ пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смѣю надѣяться, что читатели великодушно извинятъ меня.

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА.

Благодарность Зиждителю миріадъ за благость и состраданіе въ людямъ! Три чудныя сестры посланы имъ украсить и усладить міръ: безъ нихъ онъ бы быль пустыня и безь пенія катился бы по своему пути. Дружнее, союзнъе сдвинемъ наши желанія и — первый кубокъ за здравіе скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посътила землю. Она — мтновенное явленіе. Она — оставшійся слёдъ того народа, который весь заключился въ ней, со всъмъ своимъ духомъ и жизнію; она — ясный призракъ того свътлаго греческаго міра, который ушель оть нась вь глубокое удаленіе въковь, скрылся уже туманомъ, и до вотораго достигаеть одна только мысль поэта. Міръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозами, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; міръ, несущійся въ стройной пляскь, при звукъ тимпановъ, въ порывъ вакхическихъ движеній, гдъ чувство красоты проникло всюду: въ хижину бъдняка, подъ вътви платана, подъ мраноръ колоннъ, на площадь, кипящую живымъ, своенравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающій чашу пиршества, изображающій всю вьющуюся вереницу граціозной мивологіи, гдъ изъ пъны волнъ стыдливо выходить богиня врасоты, тритоны несутся, ударяя въ дадони. Посейдонъ выходить изъ глубины своей прекрасной стихія — серебряный и бълый: міръ, гдъ вся религія заключилась въ прасотъ, въ прасотъ человъческой, въ богоподобной прасотъ женщины, — этоть мірь весь остался вь ней, вь этой нѣжной скульптурѣ; ничто кромѣ ея не могло такъ живо выразить его свѣтлое существованіе. Бълая, млечная, дышащая въ прозрачномъ мраморъ красотой, нъгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человъка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни было сильномъ порывъ, но всегда въ ней человъкъ является прекраснымъ, гордымъ и невольно остановетъ атлетическемъ, свободнымъ своимъ положеніемъ. Все въ ней слидось въ красоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаешь страдающій вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ, — такъ чувство красоты пластической, спокойной пересиливаеть въ ней стремленіе духа! Она никогда не выражала долгаго глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свирѣшый гнѣвь, мгновенный вопль страданія, ужасъ, испугь при внезапности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собою нъгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нъть тъхъ тайныхъ, безпредъльныхъ чувствъ, которыя влекутъ за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бѣгущая, влача съ торжествоиъ за собою толиу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ

жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служить алтаремъ. Она родилась вмѣстѣ съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмѣстѣ съ нимъ. Напрасно хотѣли изобразить ею высокія явленія христіанства: опа такъ же отдѣлялась отъ него, какъ самая языческая вѣра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной сладострастной наружности. Онѣ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двъ сестры ея, живопись и музыка, которыхъ христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исполинское. Его порывомъ онъ развились и исторгнулись изъ границъ чувственнаго міра. Мнъ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... свътлъе сіяй, покаль мой, въ моей смиденной кельб, и да здравствуеть живопись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ своемъ убранствъ мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и общирная, какъ вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровений. Никогда не были разлиты по ней тъ тонкія, тъ таинственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя, слышишь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуешь невыразимое. Воть мелькають, какъ въ облачномъ туманъ, длинныя галлереи, гдъ изъ старинныхъ позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную оть неумолимаго времени, и передь тобою стоить, сложивши накресть руки, безмолвный зритель; и уже нъть въ его лицъ наслажденія. — взоръ его дышить наслажденіемъ нездъшнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націи, — нътъ, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имъеть таннственно-высокій міръ христіанскій. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою годову: какъ вдохновененъ и дологъ ясный взоръ ея! Она не схватываетъ одного только быстраго мгновенія, какое выражаеть мраморъ; она длить это мгновеніе, она продолжаетъ жизнь за границы чувственнаго, она похищаеть явленія изъ другого, безграничнаго міра, для названія которыхъ нѣтъ словъ. Все неопредбленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсбкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредъляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаеть страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Страданіе выражается живѣе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она береть уже не одного человъка, ея границы шире: она завлючаеть въ себъ весь міръ; всъ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человѣка, съ природою въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильнѣе шипи, третій покаль мой! Ярче сверкай и брызгай по золотымъ краямъ его звонкая пѣна, — ты сверкаешь въ честь музыки. Она восторженнѣе, она стремительнѣе обѣихъ сестеръ своихъ! Она вся — порывъ; она вдругъ, за однимъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой міръ. Она властительно ударяетъ, какъ по клавишамъ, по его нервамъ, по всему его существованію и обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ, — онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ своею жизнію, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ, разлилась и дышитъ въ тысячѣ разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣй и восторженнѣй подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщивовъ стремить она въ одно согласное движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружить и несется съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звувъ, трепещущій въ углубленіи островонечной башни.

Какъ сравнить васъ межну собою, три прекрасныя царицы міра? Чувственная, плѣнительная скульптура внушаеть наслажденіе, живопись — тихій восторгъ и мечтаніе, музыка — страсть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведение скульптуры, духъ невольно погружается въ упоение; разсматривая произведение живописи, онъ превращается въ созерцание; слыша музыку — въ болъзненный вопль, какъ бы душою овладъло только одно жеданіе — вырваться изъ тъда. Она — наша! она — принадлежность новаго міра! Она осталась намъ, когда оставили насъ и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынѣшнее время, когда наступаетъ на насъ и давитъ вся дробь прихотей и наслажденій, надъ выдумками которыхъ ломаеть голову нашъ XIX въкъ. Все составляеть заговорь противь нась; вся эта соблазнительная цёпь утонченныхъ изобрътеній роскоши сильнъе и сильнъе порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждемъ спасти нашу бъдную душу, убъжать отъ этихъ страшныхъ обольстителей и — бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, спасителемъ, музыка! Не оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй ръзче своими звуками по дремлющимъ нашимъ чувствамъ! Волнуй, разрывай ихъ и гони, хотя на мгновеніе, этотъ холодноужасный эгоизмъ, силящійся овладъть нашимъ міромъ! Пусть, при могущественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствуеть, хотя на мигъ, угрызеніе совъсти, спекуляторъ растеряеть свои разсчеты, безстыдство и наглость невольно выронить слезу предъ созданіемъ таланта. 0, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зиждитель міра повергь насъ въ нъмъющее безмодвіе своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человъку, Онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествъ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаеть гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздить ее въ небу и повергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру послалъ Онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту, --- и весь древній миръ обратился въ енијанъ красотъ. Эстетическое чувство красоты слило его въ одну гармонію и удержало отъ грубыхъ наслажденій. Въкамъ неспокойнымъ и темнымъ, гдъ часто сила и неправда торжествовали, гдъ демонъ суевърія и нетерпимости изгонялъ все радужное въ жизни, далъ Онъ вдохновенную живопись, показавшую міру неземныя явленія, небеспыя наслажденія угодниковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый въкъ ниспослалъ Онъ могущественную музыку — стремительно обращать насъ къ Нему. Но если и музыка насъ оставить, что будеть тогда съ нашимъ міромъ?

1831.

О СРЕДНИХЪ ВЪКАХЪ 1).

Никогда исторія міра не принимаеть такой важности и значительности. никогда не показываеть она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе въки. Всъ событія міра, приближаясь къ этимъ въкамъ, послъ долгой неподвижности, текуть съ усиленною быстротою, какъ въ пучину, какъ въ мятежный водовороть, и, закружившись въ немъ, перемъщавшись, переродившись, выходять свъжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразование всего міра; они составляють узель, связывающій мірь превній сь новымь; имъ можно назначить то же самое мъсто въ исторіи человъчества, какое занимаетъ въ устроеніи человѣческаго тѣла сердце, къ которому текуть и оть котораго исходять всъ жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразование? какія удержались въ немъ старыя стихии? что прибавлено новаго? какимъ образомъ онъ смъшались? что произощло отъ этого смъшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе въковъ новыхъ? — это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей исторін. Все, что мы имбемъ, чёмъ пользуемся, чёмъ можемъ похвалиться передъ другими въками, все устройство и искусное сложение нашихъ административныхъ частей, всъ отношенія разныхъ сословій между собою, самыя даже сословія, наша религія, наши права и привилегіи, нравы, обычан, самыя знанія, совершавшія такой быстрый прогрессивный ходъ, — все это или получило начало и зародышъ, или. даже развилось и образовалось въ темные, закрытые для насъ средніе въка. Въ нихъ первоначальныя стихіи и фундаменть всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслъдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ся похожи на посттителей фабрики, которые удивляются быстрой отдтлять издтлій, совершающейся почти передъ глазами ихъ, но позабываютъ заглянуть въ темное подземенье, гдъ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчокъ всему: такая исторія похожа на статую художника, не изучившаго анатомін человъка.

Отчего же, несмотря на всю важность этихъ необывновенныхъ въковъ, всегда какъ-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь къ нимъ, всегда спъшили скоръе пройти ихъ и отдълаться отъ нихъ, и ръдкіе, очень ръдкіе, пораженные величіемъ предмета, возлагали на себя трудъ разръшить нъкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? Мнъ кажется, это происходило оттого, что средней исторіи назначили самое низшее мъсто. Время ея дъйствія

[&]quot;Приступая въ чтенію монхъ левцій "Исторія среднихъ вёковъ", я необходимо должен». прежде всего изъяснить вамъ истинное достоинство ея. Никогда исторія міра не принимаетъ такой важности и значительности для насъ, какъ въ это время, несмотра на то, что его част, ночитаютъ мелкимъ и безынтереснымъ".



¹⁾ Редакція этой статьи, напечатанная въ "Журн. Мин. Нар. Просв.", начиналась. такъ:

считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невъжественнымъ, и оттого-то оно и въ самомъ дълъ сдълалось для насъ темнымъ, раскрытое не вполнъ, оцъненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величіи. Невъжественнымъ можно назвать развъ только одно начало, но это невъжественное время уже имбеть въ себъ то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліянія двухъ жизней, древняго міра и новаго, это ръзкое противоръчіе ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихіи стараго міра, которыя тянутся по новому пространству, какъ ръки, впавшія въ море, но долго еще не сливающія своихъ прѣсныхъ водъ съ солеными волнами; эти дикія, мощныя стихіи новаго, упорно не допускающія къ себъ чуждаго вліянія, но, наконецъ, невольно принимающія его; это стараніе, съ какимъ европейскіе дикари кроять по-своему римское просвѣщеніе; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще неопредъленныхъ, не получившихъ ни образа, ни границъ, ни порядка; самый этотъ хаосъ, въ которомъ бродятъ разложенныя начала страшнаго величія нынъшней Европы и тысящельтней силы ея, — они всъ для насъ занимательнъе и болъе возбуждають любопытства, нежели неподвижное время всесвътной Римской имперіи подъ правленіемъ ся безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно занимались исторією среднихъ вѣковъ, это — мнимая сухость, которую привыкан саивать съ понятіемъ о ней. На нее глядъли, какъ на кучу происшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толпу раздробленныхъ и безсмысленныхъ движеній, не имъющихъ главной нити, которая бы совокупляла ихъ въ одно цёлое. Въ самомъ дёлё, ея страпиая, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться чёмъ-то хаоснымъ; но разсматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цъль, и направление. Я, однакоже, не отрицаю, что, для самаго умѣнья найти все это, нужно быть одарену тѣмъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидъть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Посять ихъ волшебнаго прикосновения, происшествие оживляется и пріобр'ьтаетъ свою собственность, свою занимательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и безсмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно, если только о немъ сохранились върныя лътописи, выключая развѣ совершенное безстрастіе народовъ; вездѣ есть нить, какь во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываеть заткана утокомъ; какъ въ лучистомъ камнѣ есть невидимый свѣтъ, который онъ отливаетъ, будучи обращенъ въ солнцу, -- она исчезаетъ только съ утратою извъстій. Такъ и въ первоначальныхъ въкахъ средней исторіи, сквозь всю кучу происшествій, невидимою нитью тянется постепенное возрастаніе папской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія происходили совершенно отдѣльно и блескомъ своимъ затемняли уединеннаго, еще скромнаго римскаго первосвященника; дъйствоваль сильный государь или его вассаль, и авиствоваль лично для себя, а между тъмъ существенныя выгоды незамътно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандть только отдернуль занавъсъ и показаль власть, уже лавно пріобрѣтенную папами.

Исторія среднихъ въковъ менъе всего можетъ назваться скучною. Нигдъ нѣтъ такой пестроты, такого живого дъйствія, таквхъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментъ котораго улегся свъжій, кръпкій, какъ

вѣчность, гранить, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готоскія руны, на другомъ блестить римская позолота; арабская рѣзьба, греческій карнизъ, готическое окно — все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только внѣшній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тѣ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжеть средней исторіи есть папа. Онъ — могущественный обладатель этихъ молодыхъ въковъ, онъ движетъ встями силами ихъ и, какъ громовержець, однимъ мановеніемъ своимъ править ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія папы. — Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проницательности и мудрости. — слъдствія старческаго возраста; — его деспотизиъ и деспотизиъ безчисленныхъ легіоновь его могущественнаго духовенства — ревностныхъ подданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желъзныя оковы на всъ углы міра, куда ни проникло знамение креста, — представляють явление единственное, колоссальное и не повторявшееся никогда. - Не стану говорить о злоупотреблении и о тяжести оковъ духовнаго деспота. Проникнувъ болъе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидѣнія : не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанію народы --н Европа разсыпалась бы, связи бы не было; нъкоторыя государства поднялись бы, можеть-быть, вдругь и вдругь бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосъдамъ; образование и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновъсія, которое такъ удивительно ее содержить; она бы долъе была въ хаосѣ, она бы не слилась, желѣзною силою энтузіазма, въ одну стѣну, устранившую своею кръпостью восточныхъ завоевателей, и, можетъ-быть, безъ этого великаго явленія, Европа уступила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, витьсто креста. — Невольно преклонишь кольна, слъдя чудные пути Провидънія: власть папамъ какъ-будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолжение этого времени юныя государства окрѣпли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнуть возраста повельвать другими; чтобы сообщить имъ энергію, безъ которой жизнь народовъ безцвътна и безсильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть папы, какъ исполнившая уже свое предназначение, какъ болъе уже ненужная, вдругъ поколебалась и стала разрушаться, несмотря на всъ сильныя мъры, на все желаніе удержать гибнущія силы свои. Власть ихъ въ этомъ отношени была то же, что подмостки и лъсъ для постройки зданія: вначалъ они выше и кажутся значительнъе самого строенія; но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслію о среднихъ вѣкахъ невольно сливается мысль о крестовыхъ походахъ — необыкновенномъ событія, которое стоитъ, какъ исполинъ, въ срединѣ другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдѣ, въ какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величіемъ? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порожденіе ненависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями

за корону или за клочокъ земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нътъ! ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не входять сюда: всѣ проникнуты одною мыслію — освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текуть съ крестами со всёхъ сторонъ Европы; короли, графы — въ простыхъ власяницахъ; монахи, препонсанные оружіемъ, становятся въ ряды воиновъ; епископы, пустынники, съ крестами въ рукахъ, предводятъ несмѣтными толпами — и всѣ текутъ освободить свою въру. Владычество одной мысли объемлеть всъ народы. Нътъ ли чего-то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпріятіемъ. Не странно ли было бы, если бы отрокъ заговорилъ словами разсудительнаго мужа? Они были порожденіе тогдашняго духа и времени. Предпріятіе это — дъло юноши, но такого юноши, которому опредъдено быть геніемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидѣнныя слѣдствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидъть свъть, который часто заслоняло отъ нея духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть свъта, гдъ потухающее аравійское просвъщеніе силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжируеть по Азіи. Не въ правъ ли мы изумляться? Обыкновенно, какойнибудь выходецъ изъ земли образованной одинъ приноситъ просвъщение и первыя свъдънія въ неизвъстную страну и постепенно образуетъ дикарей; но образованіе это тянется медленно, неровно. Здѣсь же, напротивъ, народы сами, всею своею массою, приходять за образованиемъ и, несмотря на долгое пребывание, не сливаются со своими учителями, ничего не перенимаютъ у нихъ роскошнаго и развратнаго, удерживаютъ свою самобытность, при всемъ заимствованіи множества азіатскихъ обыкновеній, и возвращаются въ Европу европейцами, а не азіатцами. Я уже не говорю о тъхъ слъдствіяхъ, тъхъ перемънахъ въ феодальномъ правлении, для которыхъ, нужно было временное удаление многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другія происшествія, наполняющія среднюю исторію. Они хотя, въ сравненіи съ крестовыми походами, могуть почесться второстепенными, но, тъмъ не менъе, всъ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ въкамъ какой-то фантастический свътъ, всъ – порождение юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ сильныхъ и великихъ надеждъ, часто безразсуднаго, но плѣнительнаго и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку времени. Возьмемъ то блестящее время, когда появились аравитяне — враса народовъ восточныхъ. И одному только человъку и созданной имъ религін, — роскошной, какъ ночи и вечера Востока, пламенной, какъ природа близкая въ Индійскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великія пустыни Азіи, — обязаны они встять своимъ блестящимъ, ра-дужнымъ существованіемъ! Съ непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигаютъ свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго моря. И воображение ихъ, умъ и всъ способности, которыми природа такъ чудно одарида араба, развиваются въ виду изумленнаго Запада, отпечатываясь со всею роскошью на ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же внезапно, какъ въ ихъ сказкахъ, кипящихъ изумрудами и пердами восточной поэзіи. Въкъ впередъ — и уже онъ исчезъ, этотъ необыкновенный народъ, такъ что въ раздумьи спрашиваешь себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или онъ — самое прекрасное созданіе нашего воображенія?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противоположности появленіе норманновъ — народа, котораго гизвный Сверъ свиръпо выбросилъ изъ ледяныхъ нъдръ своихъ. Горсть людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся

по пятамъ мрачный ихъ Одинъ и снъговыя горы Скандинавіи, наводитъ паническій страхъ на обширныя государства! По Съверному океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъ начальствомъ морскихъ своихъ королей,— и все падаетъ ницъ передъ этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бъдностію Скандинавіи и дикою религіею.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе монголовъ были также дъдомъ почти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азіи, которая была скрыта отъ глазъ всѣхъ народовъ, освѣтилась вдругъ въ самомъ страшномъ величии. Эти степи, которымъ нътъ конца, озера и пустыни исполинскаго размъра, гдъ все раздалось въ ширину и безпредъльную равнину, гдъ человъкъ встръчается какъ будто для того, чтобы собою увеличить еще болъе окружающее пространство; степи, шумящія хлѣбомъ, никѣмъ не сѣяннымъ и не собираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями, — степи, гдъ пасутся табуны и стада, которыхъ отъ въка никто не считалъ, и сами влалъльцы не знають настоящаго количества. — эти степи увидъли среди себя Чингисъ-Хана, давшаго объть передъ толпами своихъ узкоглазыхъ, плосколицыхъ, широкоплечихъ, малорослыхъ монголовъ завоевать міръ, и — многолюдный Пекинъ горитъ цълый мъсяцъ, милліонъ народа выстръливается монгольскими стръдами, государь тунгузскій гибнеть съ сотнями тысячь подданныхъ на замерзшемъ озеръ, стада пригоняются въ границамъ Индіи. табуны кишать при Волгъ. Словомъ, какъ будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстраго распространенія тоже не видала ни древняя, ни новая исторія.

Я уже ничего не говорю о важной торговль Венеціи, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималь одинь городь, и городь безъ государства, выжимая золото со всего міра, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими всъ моря, и дворцами при Адріатическомъ морѣ, далеко превосходили многихъ монарховъ. Этого явленія я не считаю единственнымъ и необывновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измѣненіями. Несравненно оригинальнѣе жизнь Европы во время и послѣ крестовыхъ походовъ, когда въ ней все еще темны и неопредъленны границы государствъ; когда еще государь звучитъ однимъ именемъ своимъ, и вмъсто того милліоны владъльцевъ, изъ которыхъ каждый — маленькій императоръ въ своей земл'ь; когда вся Европа облекается. въ неприступные замки съ башнями и зубцами, и твердыя кръпости усъиваютъ ея поверхность; когда воспитанная взаимнымъ страхомъ и битвами сија рыцарей дылается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ желъзо, тяжести котораго еще не выносилъ человъкъ, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и сдълать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. Но какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ совершенную противоположность съ ихъ нравами! это — всеобщее безпредъльное уважение въ женщинамъ. Женщина среднихъ въковъ является божествомъ: для ней турниры, для ней ломаются копья, ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы; для ней суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бъгуна своего, налагаетъ на себя объты изумительные и неподражаемые по своей строгости къ себъ, и все для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ся на нравы и того болѣе. Все благородство въ характерѣ европейцевъ было ея слѣдствіемъ.

А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ и приключеній каждому и произведшая впослѣдствіи въ европейцахъ жажду къ открытію новыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани и битвы, въчно неспокойное положение, визсто того, чтобы ослабить всеобщій духь и напряженіе, какь то обыкновенно дѣлается въ періодахъ исторіи, когда роскошь разъѣдаетъ раны нравственной болтэни народовь и адчность выгодъ личныхъ выводить за собою низость, лесть и способность устремиться на вст утонченные порови,--витьсто этого, онъ только укръпили и развили ихъ! Пороки народовъ образованныхъ не смъли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидение бодоствовало надъ нимъ неусыцно и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдалять рыпарей отъ ихъ обътовъ и строгой жизни, подогръвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный, — какъ появившіяся чудныя, небывалыя никогда дотолъ общества стали грозными соглядатаями, неумодимою совъстью перелъ народами і вропы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существованія, что всегда составляло пъль обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человъка, и жить для всего человъчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себъ одно защиту въры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодою жизни! Не чудесно ли это явленіе? Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ въковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться оть своей ціли и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ живъе привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тъхъ, за которыми наложили на себя сами же смотрѣніе, — какъ возникають уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, какъ высшія предопредъленія, являющіеся уже не совъстью передъ вътренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни общирныя земли, ни даже самая корона не спасають и не отмѣняють произнесеннаго ими приговора. Незнаемые, невидимые, какъ судьба, гдъ-нибудь въ глуши лъсовъ, подъ сырымъ сводомъ глубокаго подземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и дѣла того, которому, посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассаловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гдъ въ міръ власть выше его. И если эти подземные судьи разъ произносили обвиняющее слово --- все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняеть къ себъ приближение, напрасно его золото заябпляеть уста и заставляеть встхъ прославлять его --- неумолимый винжаль настигаеть его на конць міра, крадется мимо пышной толпы придворныхъ и разитъ его изъ-за плеча друга. Не составляетъ ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дъйствуеть человъкъ, оторванный отъ общества, лишенный покрова законной власти, не знающій, что такое слово «невозможность».

А самый образъ занятій, царствовавшій въ среднить и конць среднихъ въковъ, — это всеобщее устремленіе всъхъ къ чудесной наукъ, это желаніе выпытать и узнать таинственную силу въ природъ, эта алчность, съ какою всъ ударились въ волшебство и чародъйственныя науки, на которыхъ ясно кипитъ признакъ европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не

развились и не достигли нынъшняго совершенства! Самая даже простодушная въра ихъ въ духовъ и обвиненіе въ сообщеніи съ ними имъють для нась уже необыкновенную занимательность. А занятія алхиміею, считавшеюся ключомъ ко всёмъ познаніямъ, вёнцомъ учености среднихъ вёковъ, въ которой заключилось дътское желаніе открыть совершеннъйшій металль, который бы доставиль человъку все! Представьте себъ какой нибудь германскій городь въ средніе въки, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые готическіе домики и среди ихъ какой - нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся стънамъ котораго лъпится мохъ и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говорить въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываеть о неусыпномъ бодрствовании старца, уже посъдъвшаго въ своихъ исканіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою, -- и благочестивый ремесленникъ среднихъ въковъ со страхомъ бъжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріють свой, и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборнмое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже отъ неудачи первоначальная стихія всего европейскаго духа, — которое напрасно преслъдуеть инквизиція, проникая во всѣ тайныя мышленія человѣка: оно вырывается мимо, и, облеченное страхомъ, еще съ большимъ наслажденіемъ прелается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? какое мрачное и ужасное явленіе! Инквизиція свирѣцая, слѣцая, владѣвшая безчисленными сводами и подземельями монастырей, не вѣрящая ничему, кромѣ своихъ ужасныхъ пытокъ, на которыхъ человѣкъ показалъ адскую изобрѣтательность; инквизиція, выпускавшая изъподъ монашескихъ мантій свои желѣзные когти, хватавшіе всѣхъ безъ различія, кто только ни предавался страннымъ и необыкновеннымъ занятіямъ; подтвердившая великую истину, что если можетъ физическая природа человѣка, доведенная муками, заглушить голосъ души, то въ общей массѣ всего человѣчества душа всегда торжествуетъ надъ тѣломъ.

Не единственны ди всв эти явленія? Не дають ди они права назвать средніе въка въками чудесными? Чудесное прорывается при каждомъ шагъ и властвуеть вездь, во все течение этихъ юныхъ десяти въковъ. — юныхъ потому, что въ нихъ дъйствуетъ все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшіе о слёдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имъвшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все было въ нихъ — поэзія и безотчетность. Вы вдругь почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Перемъна слишкомъ ощутительна, и состояніс души вашей будеть похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мърно и стройно совершающія правильное теченіе. Дъйствія человѣка въ среднихъ вѣкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія происшествія представляють совершенные контрасты между собою и противоръчать во всемъ другъ другу; но совокупленіе ихъ всъхъ вмъстъ, въ цълое, являеть изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человъка съ жизнію цълаго человъчества, то средніе въка будутъ то же, что время воспитанія человѣка въ школѣ. Дни его текуть незамѣтно для свѣта, дѣянія его не такъ крѣпки и зрѣлы, какъ нужно для міра, объ нихъ никто не знаеть; но зато они всѣ — слѣдствіе порыва и обнажають за однимъ разомъ всѣ внутреннія движенія человѣка, и безъ нихъ не состоялась бы будущая его двятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссальными событіями заключается время среднихъ въковъ! Великая имперія, повелъвавшая міромъ, двънадцативъковая нація, дряхдая, истощенная, падаеть; съ нею валится полсвъта, съ нею валится весь древний міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладіаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это ихъ начало. Оканчиваются средніе въка тоже самымъ огромнымъ событіемъ — всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ на воздухъ все и обращающимъ въ ничто всъ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обнявшія. Власть папы подрывается и падаеть, власть невѣжества подрывается, сокровища и всемірная торговля Венеціи подрываются, и когда всеобщій хаосъ переворота очищается и проясняется, предъ изумденными очами являются: монархи, держащіе мощною рукою свои скипетры; корабли, расширеннымъ взиахомъ несущіеся по волнамъ необъятнаго океана мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у европейцевъ, вмъсто безсильнаго оружія, огонь; печатные листы разлетаются по всемъ концамъ міра, -- и все это результаты среднихъ въковъ. Сильный напоръ и усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только, чтобы сильнъе произвесть всеобщій взрывъ. Умъ человъка, задвинутый кръпкою толщею, не могь иначе прорваться, какъ собравши всъ свои усилія, всего себя. И отгого-то, можеть-быть, ни одинъ въкъ не представляеть такихъ гигантскихъ открытій, какъ ХУ, — въкъ, которымъ такъ блистательно оканчиваются средніе въка, величественные, какъ колоссальный готическій храмъ, темные, мрачные, какъ его пересъкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ разноцвътныя его окна и куча изузоривающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столпы и ствны, оканчивающиеся мелькающимъ въ облакахъ шшицемъ.



ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА.

Между тѣмъ, посланникъ нашъ переѣхалъ границу, отдѣляющую нынѣ пирятинскій повѣть отъ лубенскаго. Общихъ ѣзжалыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссія, но почти каждому извѣстна была какая-нибудь проселочная, по мнѣнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, вѣшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня слѣдъ означалъ ея уклоненія. Достаточно было только выѣхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлеговъ. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленнаго съ мѣстами, было то, что онъ долженъ былъ, на разстояніи 25 или 50 ружейныхъ выстрѣловъ, вывѣдывать и выспрашивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ повода и навлонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изръдка попадавшиеся кочки и пни срубленныхъ деревъ, заставляя спотыкаться върнаго его товарища, борзаго коня, перербзывали разомъ его думы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ низались въ годовъ его. Въ первый разъ еще случалось ему выподнять такое порученіе: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Глечикъ... Какая нужда Казимиру до пачальника какой то шайки, называвшаго себя полковникомъ миргородскаго полку?.. Ему не объявлено было ничего удовлетворительнаго ни о характерѣ, ни о силѣ его, ни о томъ, какія онъ имъетъ спошенія и съ къмъ... Къ чему же эта осторожность, какую нужно было имъть въ ръчахъ съ нимъ? Зачъмъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свъдънія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чъмъ могъ быть полезенъ такой отдаленный союзникъ?.. Мысленно посадоваль онъ на себя, что не вывъдалъ обстоятельно объ этомъ отъ Бригиты: ей, безъ сомнѣнія, сколько-нибудь были извѣстны причины такого страннаго посольства. Солнце медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мѣняясь и разрываясь, детѣли по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тёнь свою и притворяли мало-по-малу ставни окошекъ, освъщавшихъ свътлый Божій міръ. Въ это время путникъ нашъ, послъ долгаго степного странствія, въбхаль въ льсъ. Раздътыя безжалостною осенью деревья сквозили какъ рѣшето и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объбдки и битые ковши отъ недавняго пиршества, валялись неприбранные, и одинъ только перестъ ихъ, ходя по лѣсу, давалъ знать о присутствіп въ немъ нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину льса темньло небо; рьзкій ветерь подымался сь поля и мчалъ заунывные свои вопли въ гущу лъса. Путникъ поневолъ задумался и остановилъ коня своего въ нерѣшимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и передъ нимъ торчалъ одинъ только лъсъ да неизвъстность; какъ вдругъ громкій голосъ: «цобъ, цобъ!» поразилъ слухъ его; тяжело нагруженный возъ заскрипѣлъ, и пара воловъ показалась изъ-за

деревьевь. Надобно вообразить себя на изсть путешественника, чтобы вполнъ почувствовать радость такой встрёчи. Луна въ это время вырёзалась на небъ. Серебряный свъть, перепутанный тенью оть деревь, паль решеткою на землю, освътивъ далево опрестность, и Лапчинский увидъль передъ собою люжаго пожилого селянина. Съдые, закрученные внизъ усы его гордо покоились на смуглонъ, означенномъ ръзкими мускулами лицъ, которое такъ простодушно оттъняла какая-то азіатская безпечность. По чернымъ бровямъ серебридась сблина, огонь вылеталь изъ небольшихъ карихъ глазъ, и въ огнъ томъ высвъчивались поперемънно то хитрость, то простодушие. На головъ у него была черная козацкая шапка съ синных верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвътнымъ поясомъ, служилъ непроняцаемыми датами оть холода; сверхъ этого одъянія, въ добавку, накинуть быль обыкновенный кобенякъ изъ толстаго смураго сукна, который и понынѣ носять малороссійскіе мужики. Изъ-за пояса торчала пищаль и изогнутая татарская сабля, оружів, которое въ тогдащія смутаыя времена всякій козакъ, ратникъ и селянинъ, почиталъ необходимостью всегда визть при себъ.

— Помогай, Боже! — сказаль онъ, остановивь воловь и обнаживь увёнчанную только на верхущить кистью волось голову, въ знакь того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымь людямь.

Надобно припомнить, что Лапчинскій, во избъжаніе непріятностей, какимъ бы онъ неминуемо подвергнулся отъ жителей, не терпівшихъ всего, что только носило названіе ляха или принадлежало ляхамъ, принужденъ былъ перемѣнить щегольской косткомъ свой на скромное одѣяніе козацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвъчаль легкимъ наклоненiемъ головы на сiе привътствiе.

--- Не знаешь ян, землякъ, -- молвилъ онъ съ ласвовымъ видомъ: --далеко ли отслода до Ромодановскаго шляху?

— Не сумъю, добродію, сказать вдругь; повремените немножко! — Туть принялся онъ высчитывать, что выражали машинально сгибаемые имъ пальцы. — До Ромодановскаго шляху!.. Кавъ бы вамъ сказать?.. оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусили: кто-то пронесъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спохватились сдуру и разломали мосты; такъ вамъ, добродію, чтобы не пришлось давать большихъ объёздовъ. Впрочемъ, Богъ его внаетъ: я говорю это потому, что другіе говорятъ... такъ, можетъ-быть, выберется и короткій путь; только, знаете, тенерь время осеннее... то стамется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Вотъ другое дѣло, если бъ были поставлены столбы по дорогѣ, какie, безъ сомнѣнія, сами, добродію, если бывали въ Польштѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ.

Не должно удивляться противорѣчіямъ, испестрявшимъ монологь нашего поселянина. Кромъ дъйствительной неизвъстности, малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ дълѣ. Малороссіянинъ и донынѣ ничего не скажеть наобумъ, но разъ десять поправить себя, а иногда съ умысломъ запутаетъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленію своему, видить, что до такого-то мъста и далеко, и близко.

- Куда же, по крайней мъръ, мнъ теперь держать путь? – спросилъ странникъ, вперивъ испытующій взоръ на своего наставника.

Туть селянинъ нашъ осмотрълъ его хорошенько съ головы до ногъ.

— А вы, добродію, хотите теперь ѣхать?

— Почему же не теперь?

Н. В. Гоголь. Томъ III.

- Богъ съ вами! теперь и нашъ братъ, здѣшній, уже сильно подумавши развѣ, поѣдетъ. Знаешь, мосьпане, вѣдь намъ стоитъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ успѣетъ вымолотить полкопны жита, чтобы заслышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ!

Отъ такого предложения нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидаль.

— А вуда, — спросилъ дорогою поселянинъ нашъ своего будущаго гостя: — лежитъ путь вамъ, мосьпане?

--- Ђду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, въ миргородскому полковнику Глечику. Что, землякъ, не знаешь ли и ты его?

— Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мъстъ Богъ несеть?

— Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею.

— Какъ же это, добродію, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею?—Тутъ вонзилъ онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотълъ выпытать его душу.— И то сказать! гдъ уже мужику знать все про войсковыя дъла; до нашего захолустья еще и слухи не дошли объ этомъ.

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розсказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ:

— То-есть, воть видишь, землякъ, навърное я еще не могу сказать. Въ самой-то станицъ я не былъ, а встрътившійся подъ Лохвицею запорожскій сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ъду въ эти мъста, далъ мнъ грамотку къ миргородскому полковнику. Летълъ онъ, какъ угорълый; изъ разспросовъ его я ничего не могъ узнать навърное. Недавно передъ тъмъ возвратился я изъ Варшавы... Видишь, онъ, можетъ-быть, имълъ причины не довърять мнъ... то-есть... онъ... ты, думаю, понимаешь меня.

— Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметь то, что толкують паны? Ей-Богу, нѣтъ; гдѣ намъ понять! У насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чорть знаетъ, что такое; больше на капусту похоже, чѣмъ на голову.

«О, да ты штука!» — подумалъ про себя Лапчинскій и положилъ себѣ быть какъ можно осторожнѣе въ словахъ.

Онъ во все это время ѣхалъ шагомъ, уравнивая легкую поступь своего гордаго коня съ лѣнивою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шелъ селянинъ, помахивая батогомъ и потягивая коротенькую люльку¹). Дымъ отъ нея обнималъ облаками смуглое лицо его, которое, освѣщаясь иногда вспыхивавшимъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и сѣявшимъ искры чуднаго огня. Это заставляло Лапчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобъ удостовѣриться, точно ли то былъ его товарищъ.

Но селянинъ нашъ самъ отгонядъ всякое насчетъ его сомнѣніе, не давая минуты задуматься своему гостю.

— Слыхали ль вы, добродію, про такое диво? — говорилъ онъ, не выпуская изо рта своей трубки: — видишь ли сосну, вонъ далеко, далеко чернъеть передъ нами?

1) "Трубку".

И путникъ, къ удивленію своему, точно, увидѣлъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей ночти этой сторонѣ Малороссіи, на разстояніи, можетъ-бытъ, по сту верстъ во всѣ стороны, взоръ не отыскивалъ этой суровой жилицы сѣвера? Невольно вперилъ онъ на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженнаго лѣса сохраняла, казалось, жизнь. Но жизнь ли это? Это быда мумія, которую съ изумленіемъ отыскиваютъ между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлѣніемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлетъ ее; но, Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается въ душу при взглядѣ на жалкій обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержать что-то похожее на жизнь.

— Это еще не большое диво, что сосна, а воть что диво. Лёть за пятьдесять передъ тёмъ, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть ли не на воть этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ, великій панъ. Воевода ли онъ былъ, сотникъ ли какой, или просто панъ, этого я не умъю сказать; знаю только, что онъ быль ляхъ и не нашей въры. Жилъ онъ, какъ всъ нечистые польскіе паны живуть: домъ съ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пъсенъ, и далече прохватывала дрожь крещенаго человъка, когда онъ слышаль раздававшиеся изъ льсу крики. Хлопцы изъ дворни его то и дъло что натэдничали по хуторамъ да обирали бъдныхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дълали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы ихъ всъхъ, добродію, такъ нельзя, потому что дворни одной у нихъ было, можетъ, съ полторы сотни, да и на каждаго бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Воть и вызвался одинъ дьяконъ, - какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ былъ, ей-Богу, добродію, не знаю, — вызвался и пришель въ льсь. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьемъ, то я, можетъ статься, показалъ бы вамъ останки этого дьявольскаго гнѣзда. На ту пору, — такъ, видно, самъ Богъ уже хотънь, — быль у нихъ какой-то окаянный праздникъ. Дьяконъ шель уже на пропало, сказаль: -- «Господи, благослови!» --- и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толпившимся народомъ. Цымбалы и бандуры бренчали и гудбли, словно на свадьбъ, а пьяные паны и дворня изо всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидъли дьякона, такъ, добродію, и закричали: «Зачѣмъ сюда принесло пона?» А панъ говорить: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцуеть съ нами, добрыми христіанами, краковякъ, да подгоняйте его хорошенько батожьемъ!» Дьяконъ, исполнившись, видно, Святаго Духа, началъ представлять нечестивымъ весь гръхъ беззаконнаго житья ихъ, и какія на томъ свътъ будуть имъ муки, и какъ будуть они плясать въ пеклѣ¹), только не по своей волѣ, а подго-ияемые горячими вилами чертей. «А, такъ ты еще и проповѣдь читаешь!.. Гей, хлопцы! поднимите попа на крылосъ, а чтобъ не застудилъ горла, накиньте ему галстукъ на шею!» И тутъ же челядь, съ нечеловъчьимъ смъхомъ и гиканьемъ, встащила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежить намъ путь. Позвольте, добродію: туть то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромами и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свътлицы. Воть, какъ ночь уже разогнала всъхъ: кого на лавку, кого подъ лавку, пану нашему чудится, что на него каплетъ что-то холодное. «Что за нечистый! — подумаль пань: — отчего это каплеть?» Всталь съ постели, глядить: колючія вътви сосны царапаются въ нему сквозь

1) "Въ адъ".

ствну и, будто живыя, вытягиваются длинные, длинные и какъ разъ достають до него. Перекрестился, можетъ-быть, въ первый разъ отъ роду нашъ панъ, когда увидъть, что изъ нихъ каплеть человъчья кровь, сначала холодная, какъ ледъ, а потомъ жжетъ да и только! Къ окну - такъ и ноги подкосились: сосна вся посинѣла, вакъ мертвецъ, и странно виваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думаль пань, не хмель ли бродить у него въ головъ: такъ на слъдующую ночь то же диво, и вся дворня въ одинь голось, что по льсу то и дело, что отпевають усопилаго такимь страшнымъ голосомъ, что всякаго морозъ дралъ но кожъ и волосы щетиною полнимались на годовѣ. Чего ужъ ни дълади: и погребля съ честью тело дьякона, и принимались было рубить сосну, — такъ съкира не беретъ : что ни ударять, топоръ вызубрится, а дерево стонеть, будто дитя некрещеное. Ръцились, наконець, бросить это оказиное мъсто. Воть каждый день и соберется вся челядь, осъдлають коней, заберуть все съ собою и выъдуть, еще черти не быются на кулачки; вдуть, вдуть, до самаго вечера: кажись, Богь знаеть, куда забхали! остановятся ночевать — смотрять, знакомыя все мбста: опять тоть же дикій лёсь, тё же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вътви, словно руки, хватаетъ пана и облаетъ ее кровавыми каплями, а черная, всклокоченная борода такъ же жутко киваеть ему...

Туть разсказчикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставщими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтилъ въ немъ впечатлѣніе, произведенное его разсказомъ. Дѣйствительно, путникъ нашъ не могъ не ощутить какого-то тайно врывавщагося въ душу страха и съ безпонойствомъ посматривалъ вокругъ.

Въ это время поравнялись они съ сосной. Серебряный свътъ падаль на печальныя вътви ся, и отбрасывавшіяся отъ нихъ тъни, будто продолженіе ихъ, передамливаясь о встръчныя деревья, ложились безконечною лъстищеко на землю. Вътеръ слегка покачивалъ вершину, и, когда путникъ, немного проъхавъ, оглянулся назадъ, то ему показалось, что какой-нибудь непріязненный духъ, прянявъ дикій, величественный образъ, медленно слъдовалъ за нимъ, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленыя объатія свои въ намъреніи схватить его.

- Что? Бруто пришлось пану: распустилъ всю свою дворню, сталъ схимникомъ и, какъ отправилъ пятъдесятъ двъ панихиды за упокой души дыякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же дълся послъ того схимникъ, этого никто не скажетъ вамъ. Дня за три до Кунала каплетъ съ этого дерева, день и ночь, роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лъсу. Теща разсказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрътила однажды въ лъсу дьявола въ красномъ жупанъ, въ какомъ ходилъ и покойный панъ... Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вотъ мы, добродію, и пріъхали.

Лапчинскій увиділь дійствительно передь собою низенькія ворота, рідко убитыя впоперекь положенными досками, какія и теперь можно видіть почти у каждаго малороссійскаго поселянина. Лай собакь залился по лісу, и старая женщина, въ накипутомъ на плеча тулупі, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представидся небольшой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, нісколько сараевъ и хлівовъ, укрытыхъ такимъ же тростникомъ, и обыкновенная малороссійская хата. На дворі наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ многіе развішены были на деревьяхъ, нагибавшихъ со всёхъ сторонъ любопытныя вётви свои во дворъ, какъ будто низкая буколическая жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрёлище. Позади двора тянулось еще какое-то строеніе, котораго за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имъніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному козаку: въ тогдашнія времена не у всякаго могло найтись подобное великолёціе.

Пока хозяннъ занимался выгрузкою своего выюка, Ланчинскому было довольно времени разсмотръть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынъ у простолюдиновъ Малороссіи: противъ дверей несколько оконъ, передъ ними столъ, на которомъ замътилъ онъ ржаной хлеббъ и соль, не снимавшиеся съ него никогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можеть найти радушный пріемъ себъ. Всю комнату обходили липовыя широкія и узвія лавки; у дверей громоздилась печь, съ отверстіемъ внизу, заслоненнымъ частою ръшеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, инябити и домашніе кролики. Каждый изъ сихъ безсловесныхъ жильцовъ суетнася по-своему: пищаль, кудахталь, гоготаль и даваль знать, что онъ нимало не послъднее изъ творений. На полу мальчишка лътъ четырехъ колотиль огромнымъ подсоднечникомъ по опровинутому горшку, между тъмъкакъ другой, годомъ постаръе, душилъ за горло кота, напъвая какую-то изсню, которую, върно, отъ частаго повторенія его матери, заучиль навёни. Передъ большинъ окованнымъ сундукомъ сидъла дъвочка лътъ одиннадцати, держа на рукахъ грудного ребенка, плакавшато изо всъхъ силъ. несмотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошелинить гостемъ. На стънъ висвли: себиъ, сабля, ружье, котораго замовъ былъ развинченъ и лежалъ близъ него на полвъ, въроятно, отложенный для починки, съкира, турецкий пистолеть, еще ружье, не отпущенная коса и коротонькая нагайка, — орудія, съ незапамятныхъ временъ въчно враждовавшія между собою, в которыя непонятный человъкъ заставляеть мириться, несмотря на несходныя ихъ свойства.

--- Прошу не ногнъваться, добродію, что заставнять васть ждать немного! -- сказаль вошедшій хозяннь:-- такъ проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихъ поръ въ головъ базаръ ходить. Счастье еще, что старухи моей нъть дома, а то бы она выныла мив голову. Дома только насъ: я да теща.

При семъ словѣ вошла та саная старуха, которая отворяла ворота. Съ какимъ-то грустнымъ чувствомъ разсматривалъ ее путникъ. Казалось, нередъ нимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человѣку всю ничтожность долголѣтія, къ коему такъ жадно стремятся его желанія. Могильное равнодушіе разливалось на усѣянныхъ морщинами чертахъ ся. Ни искры какой-нибудь живости въ глазахъ! мутные, они устремяялись порой на него; но тотъ бы обманулся, кто прочиталъ бы въ нихъ что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядѣли; имъ все казалось смутно, какъ не совсѣмъ проснувшемуся человѣку. Покамѣстъ предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь міръ свой, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всякій другой; а хозяинъ обратился къ дѣтямъ своимъ.

— Ай да Өедотъ! — говорилъ онъ, поднимая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: — гдъ ты взялъ такой страшный сонечникъ ¹)? Да этимъ ты какъ-нибудь человъка убьешь! Ты что тамъ дълаешь,

^{1) &}quot;Подсолнечникъ, по жалороссійскому произношенію".

Барпо? кота душишь? Бакой же я тебѣ гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что жъ ты стоишь и ротъ разинулъ? Вотъ, какъ видите, добродію, сто разъ толкую, что я его батька; до сихъ поръ не вѣритъ, ледача дѣтина¹)!.. А ты, плакса, долго будешь ревѣтъ? А подайте мнѣ батогъ, вотъ я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчасъ за окошко: пустъ тамъ съѣдятъ его волки, либо ляхи...

— Тебя-таки, землякъ, Богъ надълилъ дътъми? — сказалъ гость нашъ своему хозяину.

- Да, не безъ того, мосыпане! всъхъ-то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой сторонѣ, только чорть знаеть, какое приданое взяли за невъстами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кромъ полыни и бурьяну. Что жъ ты, Өедоть, не скажешь спасибо? Панъ даеть прянивъ, а онъ и не поклонится. Не извольте цъловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мит съ нимъ порядочныя хлопоты. Услышаль, что вду на ярмарку. «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя двну? тамъ тебя задавять!» — «Нъть, не задавять, возьми, да и возьми!» — «Ца тамъ теперь столько цыгановъ, что еще украдуть тебя, и тогда поминай, какъ звали». — «Возьми да и только!» Что станешь дблать? плачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу унялъ его объщаніемъ привести медоваго коня съ золотой головою. Ну, Маруся, матери не зачъмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять ²); баба ужъ, върно, спитъ!.. Такъ до кого, добродію, -- продолжаль онъ, вдругь оборотясь въ гостю и садясь за столь: -- говоришь ты, ъдешь? У меня подъ старость голова, какъ дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, все пусто; сколько ни толкуй умныхъ ръчей, все позабудеть.

— Какъ, землявъ? развъ я не сказалъ тебъ, что до Глечика? — отвъчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

— До миргородскаго полковника? Такъ нечего тебъ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидить передъ тобою, мосылане!

Если бы въ это время пуля пролетъла мимо ушей Лапчинскаго, онъ былъ бы менте удивленъ. Такъ внезапно, такъ неожиданно напасть на него врасплохъ, когда всъ мысли его разбрелись... когда... Нътъ! не можетъ быть! онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозямна, какъ бы желая удостовъриться въ лживости того, о чемъ донесъ ему слухъ-его.

1830.

1) "Негодный ребенокъ".

²) "Ужинать".



О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.

I.

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значеніи, не есть собраніе частныхъ исторій всъхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цъи, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видъ, въ какомъ очень часто ее представляють. Предметъ ея великъ: она полжна обнять вдругь и въ полной картинѣ все человѣчество - какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бъднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынъшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержаль свободный духъ человъка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невъжествоиъ, природой и исполинскими препятствіями, — воть цѣль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно всъ народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цълос, изъ нихъ составить одну величественную полную поэму. Происшествіе, не произведшее вліянія на міръ, не имъетъ права войти сюда. Всъ событія міра должны быть такъ твено связаны между собою и цепляться одно за другое, какъ кольца въ цъпи. Если одно кольцо будеть вырвано, то цъпь разрывается. Связь эту не должно принимать въ буквальномъ смыслъ: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывають происшествія, или система, создающаяся въ головъ независимо отъ фактовъ, и въ которой послъ своевольно притягивають событія міра. Связь эта должна заключаться въ одной общей мысли, въ одной неразрывной исторіи человѣчества, передъ которою и государства, и событія — временные формы и образы! Мірь должень быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ каконъ онъ являлся, проникнутый тёми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочайшей степени, такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далье; чтобы онъ не въ состоянии былъ закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сдълаль это, то развъ съ тъмъ только, чтобы начать сызнова чтеніе: чтобы очевидно было, какъ одно событіе рождаетъ другое и какъ безъ первоначальнаго не было бы послъдующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія.

II.

Все, что ни является въ исторіи: народы, событія — должны быть непремѣнно живы и какъ бы находиться предъ глазами слушателей или читателей, чтобъ каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія,

Digitized by Google

н. в. гоголь.

которыя бы высказывали много, — черты самыя оригинальныя, самыя рёзкія, какія только имёль изображаемый народь. Для того, чтобы извлечь эти черты, нужень умъ, сильный схватить всё незамётные для простого глаза оттёнки, нужно терпёніе перерыть множество иногда самыхь неинтересныхъ книгь. Но что уже одинь узналь, то другимъ передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь въ архивахъ.

III.

Преподаватель долженъ призвать въ помощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т.-е. для того только, чтобы показать мѣсто, гдѣ что происходило. Нѣтъ! Географія должна разгадать многое, безъ нея неизъяснимое въ исторіи. Она должна показать, какъ положеніе земли имѣло вліяніе на цѣлыя націи; какъ оно дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, вѣчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, измѣнила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустошительнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крѣпости народъ малочисленный; какъ это могучее положеніе земли дало одному народу всю дѣятельность жизни, между тѣмъ какъ другой осудило на неподвижность; какимъ образомъ оно имѣло вліяніе на нравы, обычаи, правленіе, законы. Здѣсь-то они должны увидѣть, какъ образуется правленіе: что его не люди совершенно установляють, но нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли; что формы его оттого священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

IY.

Событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всёми своими слёдствіями, измѣнившими міръ: не такъ, какъ дѣлаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествіе есть великое, тѣмъ и отдѣлываются, или приводятъ близорукія слѣдствія въ видѣ отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствѣ, вывесть наружу всѣ тайныя причины его явленія и показатъ, какимъ образомъ слѣдствія отъ него, какъ широкія вѣтви, распростираются по грядущимъ вѣкамъ, болѣе и болѣе развѣтвляются на едва замѣтные отпрыски, слабѣютъ и, наконецъ, совершенно исчезаютъ, или глухо отдаются даже въ нынѣшнія времена, нодобно сильному звуку въ горномъ ущельи, который вдругъ умираетъ послѣ рожденія, но долго еще отзывается въ своемъ эхѣ. Эти событія должно показать въ такомъ видѣ, чтобы всѣ видѣли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетѣ.

٧,

Теперь объ образъ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей степени овладъть вниманіемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекціи постороннимъ мыслямъ, то вся вина падаетъ на профессора: онъ не умълъ быть такъ занимателенъ, чтобы покоритъ своей волъ даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное вліяніе происходитъ

Digitized by Google

232

٠.

оттого, если слогь профессора вяль, сухъ и не имъеть той живости, которая пе даеть мыслямъ ни на минуту разсыпаться. Тогда не спасеть его самая ученость: его не будуть слушать; тогда никакія истины не произвелуть на слушателей вліянія, потому что ихъ возрасть есть возрасть энтузіязна и сильныхъ потрясеній; тогда происходить то, что самыя ложныя мысли, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекутъ ихъ и дадутъ имъ совершенно дожное направление. Что же тогда, когда профессоръ еще сверхъ того облеченъ школьною метоною, сходастическими мертвыми правидами и не имбеть даже унственныхъ силъ доказать ихъ; когда юный, развертывающийся умъ слушатедей, начиная понимать уже выше его, пріучается презирать его? Тогда лаже справелливыя зам'вчанія возбуждають внутренній см'яхь и желаніе д'я ствовать и уиствовать наперекорь; тогда самыя священныя слова въ устахъ его, какъ-то: преданность къ редити и привязанность къ отечеству и Государю, превращаются для нихъ въ мизнія ничтожныя. Какія изъ этого бывають ужасныя следствія, это виднить, къ сожаленію, нередко. И потому-то не должно упускать изъ вниманія, что возрасть слушателей есть возрасть сильныхъ впечатлёній; и потому нужно им'ёть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этоть энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное; чтобы разсказъ профессора дышалъ самъ энтузіазмомъ. Его убъжденія должны быть такъ сильны, такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидёли истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажеть на нее. Разсказь профессора должень дълаться по временамъ возвышень, должень сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмёстё сь тёмь долженъ быть прость и понятенъ для всякаго. Истинно высовое одъто величественною простотою: гдв величіе, такъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться тёмъ, что его нёкоторые понимають: его должны понимать вст. Чтобы дълаться доступнъе, онь не долженъ быть скупъ на сравнения. Какъ часто понятное еще болъе поясняется сравненіемъ! И потому эти сравненія онь должень всегда брать изъ предметовь самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное, и отвлеченное становится понятнымъ. Онъ не должень говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вниманіе слушателей, и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадуть возможности удержать всего въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непремѣнно должна имѣть цѣлость и вазаться оконченною, чтобъ въ умѣ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видъли вначаль, что она должна заключать въ себъ и что заключаеть: чрезъ это они сами въ своемъ разсказъ всегда будуть соблюдать цъль и цълость. А это необходимъе всего въ исторіи, гдъ ни одно событіе не брошено безъ цъли.

۲I.

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, испытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего почитаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ, но сильныхъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобы они вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они не такъ скоро и не въ такой ясности постигнутъ весь механизмъ исторіи, — все равно, какъ нельзя узнать совершенно городъ, исходивши всѣ его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное мъсто, откуда бы онъ виденъ былъ весь, какъ не ладони. Я набрасываю здѣсь эскизъ для того,

333

чтобы показать витесть, въ какомъ видъ и въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ обравомъ человъчество началось Востокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ съ его древними патріархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таниственность. такъ непонятную для простого народа, кромъ религін евреевъ, между конми сохранилось чистое первобытное въдъніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградились другь оть друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводиль невольно своею промышленностью въ сообщеніе эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свъжнить и сильнымъ народомъ, персами, подвергъ весь Востокъ своей власти и насильно соединилъ разнохарактерные народы; но нравы, религія, формы правленія остались въ государствахъ тъ же, цари только обратились въ сатраповъ, и весь Востокъ видълъ надъ собою одну верховную власть царя царей, персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, витесть съ своимъ царемъ царей, почти богомъ, невидимымъ для народа, поверглись въ азіатскую роскошь. — Здъсь я останавливаюсь и обращаюсь въ другой части древняго міра, въ Европъ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвътъ его, народъ греческій, съ живымъ, любопытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, поэтической религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важной таниственности Востока; какъ развернулось у нихъ просвъщение въ такомъ необыкновенномъ блескъ, и какъ, наконецъ, одинъ честолюбивый грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этоть великій грекъ задумаль гитантское дёло: соединить Востовъ съ Европою и разнесть вездъ греческое просвъщение. И воть, чтобы связать теснее три части света, строится городь Александрія; герой умираеть, всесвѣтная монархія падаеть вмѣстѣ съ нимъ. Но подвиги его живы, плоды зръють: настаеть знаменитый александрійскій въкъ, когда весь древній міръ толпится у гавани александрійской, когда греческіе ученые во всёхъ городахъ, и національность опять исчезаеть, народы опять смёшиваются! А между твиъ въ Италін, почти невидимо отъ всёхъ, созрѣваетъ желъзная сила римлянъ.

Я долженъ изобразить, какъ этоть суровый, воинственный народъ покоряеть одно за другимъ государства, обогащается награбленными богатствами, поглощаеть весь Востокъ. Легіоны его проникають въ тъ земли Европы, гдъ владъніе уже не доставляеть ничего нужнаго для человъка. Уже Цезарь заносить ногу въ Британію, римскіе орлы на скалахъ Албіона... Между тыть, невъдомыя степи средней Азін извергають толпы невъдомыхъ народовъ, которые теснять и гонять предъ собою другихъ, вгоняють ихъ въ Европу, сами несутся по пятамъ ихъ и грозно останавливаются на съверъ, какъ зловъщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ римлянъ германскими лъсами и непроходимыми болотами. А между тъмъ, уже ни одного не остается независимаго царства. Весь міръ раздѣленъ на римскія провинціи. Римляне перенимають все у побъжденныхъ народовъ — сначала пороки, потомъ просвъщение. Все мъшается опять. Всъ дълаются римлянами, и ни одного настоящаго римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрълищъ тиранствуютъ надъ міромъ, --въ нѣдрахъ его непримѣтно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірѣ

334

задождается новый! воплошается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и вѣчное слово, не понятое властединами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таинственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ, на весь древній мірь непостижимо находить летаргическій сонь, та страшная неподвижность. то ужасное онъмъніе жизни, когда просвъщеніе не двигается ни впередъ, ни назадь, сила и характеръ исчезають, все обращается въ мелкій, ничтожный этикеть, жалкую, развратную безхарактерность. А въ Азін, между тымь, новый толчовъ, какъ электрическая искра, пробъгаеть по всей цъпи: одинъ народъ тъснитъ и гонитъ передъ собою другой, который, въ свою очередь, сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побъдители міра употребляють всъ усилія спасти себя: сначада откупаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляють себъ войско защитниковъ, потомъ отдаютъ имъ, одну за другою, всѣ свои провинціи, наконець, предають имъ Римъ, и тъ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бъгуть на востокъ; прочіе, невъжественные и слабые, исчезають въ сильныхъ толпахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европѣ, какъ основываются и принимають крещение дикія государства въ границахъ, назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владъніями, и какъ могущественный папа, прежде только римскій первосвященникъ, дъ-лается государемъ, незамътно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свътскую. Между тъмъ, на Востокъ остатки римлянъ тъснятся и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ аравійскомъ полуостровѣ, подвигнутымъ до изступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупомѣшаннымъ энтузіастомъ Магометомъ; какъ этотъ народъ, съ азіатской саблей въ рукахъ, распространялъ магометанство намъсто прежнихъ остатковъ греческаго просвъщения, и какъ изумительно-быстро этотъ чудесный народъ изъ завоевателей дълается просвътителемъ, развертывается во всемъ блескъ, съ своей роскошной фантазіей, глубокими мыслями и поэзіей жизни, и какъ онъ вдругь меркнеть и затмевается выходцами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляеть въ наслёдство одно магометанство, какъ, почти въ то же время, въ Европть корсары съверныхъ морей, норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числѣ, грабять и овладъвають цѣлыми государствами, наконецъ, перемъняють дикую религію свою на христіанство и прибавляють Европъ свою силу и нравы; а между тёмъ, папа мало-по-малу дёлается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ нѣмецкій, котораго уважали всѣ народы, не смѣетъ противустать ему, и какъ, по мановенію его, цѣлые народы, вассалы, короли, оставляють свои земли, богатства, кладуть пламенный кресть на рамена и спътать съ энтузіазмомъ въ Палестину; какъ вся Европа, двинувшись съ мъсть, валится въ Азію, Востовъ сшибается съ Западомъ, и двъ грозныя силы, христіанство съ магометанствомъ; какъ это великое событіе порождаеть рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть върными одной цели, и произошель самый сильно-религіозный христіанскій въкъ; какъ энтузіазмъ къ въръ перешелъ потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій эпизодъ всемірной исторіи: созидается безпримърная по величинъ монархія Чингисханова, поглотившая всъ азіатскія земли, неизвъстныя европейцамъ. Въ Европъ одни только монастыри имъютъ землю и осъдлость; все обратилось въ рыцарство, все кочуетъ, все неспокойно:

каждый вибсть и воинъ, и полководецъ, и вассаль, и повелитель, и слушается и не слушается, - въкъ величайшаго разъединенія и вибсть единства! Каждый управляется своей волей, и нежду тычь всь согласны въ одной цёли и мыслихъ. Бёдные поселяне, вытеритввь чашу бёдь, наконець, рѣшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаеть среднее сословіе граждань, города начинають богатьть, и на стверъ Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзъ, связывающій всю съверную Европу своей торговдей. Между тъкъ, на югъ возникаетъ порожденіе крестовыхъ походовъ — страшная торговлею Венеція, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Всѣ богатства Европы и Азіи невидимо перешли въ ея руки, и, какъ папа религіозною властью, такъ Венеція непомярнымъ богатствоить повелъвала Европою. Духовный деспоть употребляль всё силы убить ся торговлю, но все было напрасно, пока, наконець, генуэзский гражданинъ не убилъ ее открытіемъ Новаго Свъта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дъйствій, какъ пала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью спъшать въ Америку и вывозять кучи золота; Атлантическій и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время папскія миссін проникають въ съверо-восточную Азію и Африку — н міръ открывается почти вдругь во всей своей общирности. Между тыть, въ Европть понемногу сомнъваются въ справедливости пацской власти, и, какъ прежде торговлю Венеціи убиль бъдный генуезець, такъ власть паны сокрушиль августинскій монахъ Лютерь. Какъ образовалась эта мысль въ головъ смиреннаго монаха, какъ сильно и упрямо защищалъ онъ свои положения! Какъ, при паденіи своемъ, папа становился грознѣе и изобрътательнѣе: ввель ужасную инквизицію и страшный невидимою силою ордень језунтскій, который вдругь разсыпался по всему свёту, проникъ во все, прошель вездё и тайно сообщался между собою на двухъ розныхъ концахъ міра. - Но чёнъ грознѣе становился папа, тѣмъ сильнѣе противъ него работали типографскіе станки. Вся Европа раздълилась на двъ партіи, и эти партіи, наконенъ, схватились за оружіе, и война жестокая, внутри и внъ государствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не копьями и не стръдами производилась она, --- нътъ! пушками, ядрами, громомъ и огнемъ --- ужаснымъ и благодътельнымъ изобрътеніемъ монаха алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнёе. Я долженъ изобразить, какъ измѣнидась Европа послѣ этихъ войнъ. Государства, народы сливаются плотные въ нераздъльныя массы. Ныть того разъединенія власти, какъ въ средніе візка. Она сосредоточивается болізе въ одномъ лиці. И какъ оттого сильные характеры становятся виднье, кругь государей, министровь, полководцевъ общирите! Самъ собою, невольно, завязывается въ Европъ политическій союзъ, подагающій защищать оружіемть неприкосновенность каждаго государства. А между тёмъ, неутомимые купцы-голландцы, вырвавшіе свою земию у моря, овладъвають островани Восточнаго океана, беруть милліоны за разводямыя на нихъ плантаціи драгоцънныхъ растеній юга и, какъ прежде Венеція, схватывають торговлю всего міра, пока одинь необывновенный государь не подрываеть ея и не покущается на неприкосновенность государствъ. Я должень изобразить блестящій вѣкь, произведенный этикь государемь (Лудовикомъ XIV), когда Франція закипъла издъліями роскоши, фабриками, писателями, когда Парижъ сдълался всемірною столицею, куда събзжались со всей Европы, и французскій языкь, французскіе нравы, французскій этикеть и обычая распространились по всей Европѣ. Но, нарушивши неприкосновенность

чужихъ владъній, этоть честолюбивый король хотя и разстранваеть торговлю голландцевь, но визсте разоряеть свое государство и самъ убиваетъ свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне британскіе, которые до того медленно, но върно близились къ своей цъли, наконецъ, очутились почти варугь обладателями торговли всего міра: ворочають милліонами въ Индін, собирають дань съ Америки, и, газ только море, тамъ братанскій флагъ. Имъ преграждаеть путь исполинъ XIX въка, Наполеонъ, и уже дъйствуеть другимъ орудіемъ --- совершенно военнымъ деспотнзмомъ. своими быстрыми движеньями оглушаеть Европу и налагаеть на нее желъзное свое протекторство. Напрасно гремить противъ него въ англійскомъ парламенть Питть и составляеть страшные союзы. Ничто не имъеть духа ену противнться, пока онъ самъ не набъгаеть на гибель свою, вторгнувшись въ Россію, гдъ невъдомыя ему пространства, лютость климата и войска, образованныя суворовскою тактикою, погубляють его. И Россія, сокрушившая этого исполина о неприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величіи на своемъ огромномъ съверо-востокъ. Освобожденныя государства получають прежній видь и прежнія формы, утверждають снова союзь и неприкосновенность владъній. Просвъщеніе, не останавливаемое ничъмъ, начинаетъ разливаться даже между низинить классомъ народа; паровыя машины доводять мануфактурность до изумительнаго совершенства, будто невидимые духи помогають во всемъ человъку и дълають силу его еще ужаснъе и благодътельнъе; — и онъ, въ священномъ трепетъ, видить, какъ Слово изъ Назарета обтекло, наконець, весь міръ.

Когда исторія міра будеть удержана въ такомъ краткомъ, но полномъ эскизѣ и проясшествія будуть такъ связаны между собою, тогда ничто не улетить изъ головы слушателей, и въ умѣ ихъ невольно составится цѣдое. Наконецъ, этоть эскизъ, развявшись въ великомъ объемѣ, составитъ полную исторію человѣчества.

YII.

Послё изложенія нолной исторіи челов'ячества, я долженъ разобрать отд'яльно исторію вс'яхъ государствъ и народовъ, составляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Натурально, та же полнота, та же ц'ялость должна быть видна и зд'ёсь въ обозр'янія каждаго порознь. Я долженъ обнять его вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, ногда было въ силѣ и блескѣ, когда и отчего пало (если только пало) и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится нынѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ, намѣсто его, образовался новый и что принялъ отъ прежняго.

VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ память, по окончания курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы новторение было усибшите, нужно стараться давать ему интересъ и занимательность новизны. Послб истории всего міра и отдёльно каждой земли и народа, не мбшаетъ сдёлать обзоръ каждой части свёта и туть показать все отличіе какъ ихъ, такъ и народовъ, въ нихъ находящихся, чтобъ слушатели сами могли вывесть результать.

Во-первыхъ, объ Азіи, этой обширной колыбели младенчествующаго человѣчества, землѣ великихъ переворотовъ, гдѣ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величіи народы и вдругъ стираются другими; гдѣ столько націй невозвратно пронеслись одна за другою, а между тѣмъ формы правленія, духъ

237

народовъ одни и тѣ же: все такъ же важенъ, такъ же гордъ азіатецъ, такъ же быстро воспламеняется и кипитъ страстями, такъ же скоро предается лёни и бездёйственной роскоши. И виёстё съ симъ эта часть свёта есть земля разительныхъ противоположностей и какого-то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримомъ многолюдствъ съ необозримыми табунами, а между тъмъ на другомъ концъ, гдънибудь въ пустынъ, изступленный изувъръ, изнуряя себя безконечнымъ постомъ, замышляеть новую религію, которая впослёдствія обхватить всю Азію, одінеть народь, какъ непроницаемой бронею, своимъ изступленнымъ вдохновениемъ и поведетъ его на разрушение; и тутъ же, можетъ-бытъ, недалево отъ него, находится народъ, уже перешедшій всѣ эти явленія и вризисы, уже погруженный въ роскошь, утомленный азіатскимъ пресыщеніемъ. Только здёсь можеть находиться та странная противоположность, которой дивимся въ деревъ юга, гдъ на одной вътвъ, въ одно время, одинъ плодъ цвътеть, между тъмъ какъ другой наливается, третій зръеть, четвертый, переспълый, валится на землю.

Потомъ о Европъ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдѣ существованіе народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдѣ все, напротивъ, порядокъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ въ тактъ, какъ регулярныя европейскія войска; государства всѣ почти въ одно время растутъ и совершенствуются: при всѣхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видно общее единство, и каждая изъ нихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенно понятною только въ соединеніи со всей Европою, и вся Европа кажется однимъ государствомъ. И въ этой небольшой части свѣта рѣшилась долгая тяжба: человъкъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ искусство; самая бѣдность и скупость ея вызвали наружу весь безграничный міръ, скрывавшійся въ человъкъ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше земного, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній христіанства, и необъятная мысль, осѣненная небеснымъ знаменіемъ креста, витаетъ надъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкѣ, представляющей, въ противоположность Европѣ, смерть ума, гдѣ природа всегда деспотически властвовала надъ человѣкомъ; гдѣ она во всемъ своемъ царственномъ величіи и всегда почти возвращала его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную; гдѣ ни одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на міръ; гдѣ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою африканскою: чѣмъ далѣе погружались они въ Африку, тѣмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ, объ Америкъ, этой всемірной колоніи, вавилонскомъ смѣшеніи націй, гдѣ столкнулись три противорѣчащія части свѣта, смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще не имѣющей покамѣстъ никакого единства, даже единства религіи; не взирая на частную характерность, не получившей общаго характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей изъ первоначальныхъ стихій, разложенныхъ началъ; несмотря на независимыя государства, все еще похожей на колонію.

Быстрый обзоръ исторін каждой части свъта, во всей ея ръзкой характерности, не поверхностный, но глубокій, результать въковъ и событій, потому необходимъ, что онъ наводитъ на мысль и заставляетъ слушателей думать. Умъ тогда быстръе развивается, когда самъ предлагаетъ себъ великій и поэтическій вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тъмъ болъе еще необходимъ,

.

о преподавании всеобщей история.

что показываеть часто съ новой стороны тъ же предметы. А для полнаго уразумънія нужно, чтобы предметь быль освъщень со всъхъ сторонъ. «Только тогда вы знаете хорошо исторію,—говорить Шлецеръ:—когда знаете ее и вдоль, и понерекъ, и вкось, и во всъхъ направленіяхъ».

IX.

И для того, въ видѣ эпилога, послѣ окончанія курса хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь міръ по столѣтіямъ. Тогда всеобщая исторія представить у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непремѣнно показать, чѣмъ ознаменовано начало, средипа и конецъ каждаго столѣтія, потомъ духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждый вѣкъ и избѣгнуть монотонности числъ, я назову его именемъ того народа или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утвержденію въ памяти слушателей современности событій, лицъ и явленій.

X.

Мнъ кажется, что такой образъ преподаванія будеть дъйствительнъе и ближе въ истинъ. По врайней мъръ, глубово понимающій величіе исторіи увидить, что онь не произведение игновенной фантазии, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не брошено здъсь для прасоты и мишурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе ябтописей міра; что составить эскизь общій, полный исторіи всего человъчества, хотя даже столь краткій, какъ здъсь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя тонкія и запутанныя нити исторіи, и что одна любовь къ наукъ, составляющей для меня наслажденіе, понудила меня объявить мои мысли: что цѣль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательной опытностью, которую развертываеть исторія, понимаемая въ ея истинномъ величіи, сдёлать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы нивакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — сдълать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастіи, ни въ несчастіи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей влятвѣ — быть вѣрными Отечеству и Государю.

1832.

239

ПОРТРЕТЪ.

Повъсть.

§Ι.

ist" it

. 5

Нигдъ столько не останавливалось народа, какъ передъ картанною давкою на Щукиномъ дворъ. Эта давка представляла, точно, самое разнородное собрание диковиновъ; картины большею частью были писаны масляными врасками, покрыты темнозеленымъ дакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болбе на индъйскаго пътуха въ манжетахъ, нежели на человъка, --- вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Бъ этому нужно присовокупить изсколько гравированныхъ изображеній: портреть Хозрева-Мирзы вь бараньей шапкъ, портреты какихъто генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. Двери такой лавочки обыкновенно бывають увъшаны связками тъхъ картинъ, которыя свядътельствують самородное дарование русскаго человъка: на одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Бирбитьевна, на другой — городъ Іерусалинъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захвативная часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но зато зрителей — куча; какой-нибудь забулдыга-лакей уже, 'върно, зъваетъ передъ ними, держа въ рукъ судки съ объдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнънія, будеть хлебать супь не слишкомъ горячій. Передъ ними, върно, уже стоить соддать, этоть кавалерь толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкають пальцами; кавалеры разсматриваютъ сурьезно; дакен-мальчишки и мальчишкимастеровые смѣются и дразнять другь друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрять потому только, чтобы гдъ-нибудь позъвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спъшать по инстинк-.ту, чтобы послушать, о чемъ калякаеть народъ, и посмотръть, на что онъ смотрить.

Вь это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чертковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинами; наконецъ, невольно овладѣло имъ размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаричей, на объздалъ и обпивалъ, на Θomy и Ерему — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и

понятны народу; но гдѣ покупатея́и этихъ пестрыхъ, грязныхъ масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывають какое-то притязание на нѣсколько уже высший шагъ искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его унижение? Если бы это были труды ребенка, покоряющагося одному невольному желанію, если бы они совствить не имтьли никакой правильности, не сохраняли даже первыхъ условій механическаго рисованія, если бы въ нихъ было все въ карикатурномъ видѣ, но въ этомъ карикатурномъ видѣ просвѣчивалось бы хотя вакое нибудь стараніе, какой нибудь порывъ произвести подобное " природъ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ. Какое - то тупоуміе старости, какая-то безсмысленная охота или, лучще сказать, неволя воднаа рукою ихъ творцовъ. Кто трудился надъ ними? И трудился, безъ сомнѣнія, одинъ и тотъ же, потому что тъ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человъку. Онъ все такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядблъ на нихъ, но уже совершенно не глядя, между тёмъ какъ содержатель этого живописнаго магазина, съренькій человъкъ, лътъ пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, разсказываль ему, что «картины самый первый сорть и только что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ, и въ рамки не вставлены. Смотрите сами, честью увъряю, что останетесь довольны». Всъ эти заманчивыя ръчи летьли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозялива, онъ подняль съ полу нёсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамильные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти машинально началъ онъ съ одного изъ нихъ стирать пыль. Легкая враска вспыхнуда на лицѣ его, — краска, которая означаеть тайное удовольствіе при чемъ-нибудь неожиданномъ. Онъ сталъ нетерпъливо тереть рукою и скоро увидълъ портреть, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались нъсколько мутными и почернъвшими. Это быль старикъ съ какимъ - то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженіемъ лица; въ устахъ его была улыбка, н ръзкая, язвительная, и вмъстъ какой-то страхъ; румянецъ болъзни былъ тонко разлить по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмёстё съ этимъ въ нихъ была замётна какая-то странная живость. Казалось, этотъ портретъ изображалъ какого-нибудь скрягу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тъхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучить счастіе другихъ. Лицо вообще сохранядо яркій отпечатовъ южной физіогноміи. Смуглота, черные, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просъдью — все это не попадается у жителей съверныхъ губерній. Во всемъ портреть была видна какая-то неокончательность; но если бы онъ приведенъ быль въ совершенное исполнение, то знатокъ потеряль бы голову въ догадкахъ, какимъ образомъ совершеннъйшее твореніе Вандика очутилось въ Россіи и зашло въ давочку на Щукинъ дворъ.

Съ біющимся сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глупымъ счастьемъ попалъ между нихъ. Наконецъ, Чертковъ спросилъ о цвнѣ.

Пронырливый купецъ, замътивъ по его вниманію, что портретъ чегонибудь стоитъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ:

— Да что: вѣдь десять рублей будеть за него маловато.

Чертковъ протянуль руку въ карманъ.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

16

1. 1.1.

— Я даю одиннадцать! — раздалось позади его.

Онъ обратился и увидълъ, что народу собралась куча, и что одинъ господинъ въ плащъ долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, какъ у человъка, который чувствуетъ, что у него хотятъ отнять предметъ его исканій. Осмотръвши внимательно новаго покупщика, онъ нъсколько утъщился, замътивъ на немъ костюмъ, нимало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ:

— Я дамъ тебѣ двѣнадцать рублей, картина моя.

— Хозяинъ! картина за мною, вотъ тебъ пятнадцать рублей! — произнесъ покупщикъ.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: «двадцать рублей».

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Народъ гуще обступилъ покупающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновенная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда имъющій сильный интересь, даже для постороннихъ. Цёну, наконецъ, набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: «пятьдесять», вспомнив-', ши, что у него вся сумма въ 50 рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ, хотя часть, заплатить за квартиру и, кромъ того, купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ его въ это время отступился : сумма, казалось, превосходила также его состояніе, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросилъ ее въ лицо купцу и ухватился съ жадностью за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея, пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядъли такъ живо и витсть мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нари- 💉 сованные, это были живые, это были человъческие глаза. Они были (неподвижны, но, върно, не были бы такъ ужасны, если бы двигались. Какое-то цикое чувство — не страхъ, но то цеизъяснимое ощущение, которое мы чувствуемъ при появлении странности, представляющей безпорядовъ природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы, — это самое чувство заставило всяриянуть почти всёхъ. Съ трепетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дъйствіе, произведенное портретомъ, было всеобщее; народъ съ какимъ-то ужасомъ отхлынулъ отъ лавки: покупщикъ, вошедшій съ нимъ въ соперничество, боязливо удалился. Сумерки въ это время сгустились, казалось, для того, чтобы сдёлать еще болёе ужаснымъ это непостижимое явление. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болѣе. Не смѣя и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбѣжалъ на улицу. Свѣжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освѣжилъ его, но душа была все еще сжата какимъ-то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ необыкновеннымъ явленіемъ. «Что это? — думалъ онъ самъ про себя: — искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводить высшее познаніе искусства, и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человъка, онъ вырываетъ что то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконець, дъйствительность, — та ужасная дъйствительность, на которую

соскакиваеть воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ен тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываеть его внутренность и видить отвратительнаго человѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?» Съ такими мыслями вошель онъ въ свою маленькую комнатку, въ небольшомъ деревянномъ домѣ, на Васильевскомъ островѣ, въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученическіе его начатки, копіи съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художникѣ стараніе постигнуть фундаментальные законы и внутренній размѣръ природы. Долго разсматриваль онъ ихъ, и, наконецъ, мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствоваль онъ то, о чемъ размышляль!

«И воть годь, какъ я тружусь надь этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! Стараюсь всъми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго, быстраго вдохновенія. Только тронуть они кистью, и уже является у нихъ человъкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ созданъ природою; движенія его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а мнъ должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслъдовать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвътной, не отвъчающей на чувства работъ. Вотъ мои маранья! Они върны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдетъ совсъмъ не то: нога не станетъ такъ върно и непринужденно; рука не подымется такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовъки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль, а тъ невыразимыя явленія.... Нътъ, я не буду никогда великимъ художникомъ!»

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, парнемъ лътъ осьмнадцати, въ русской рубашкъ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова сапоги, который былъ погруженъ въ свои размышленія. Этотъ парень, въ красной рубашкъ, былъ его лакей, натурщикъ, чистилъ ему сапоги, зъвалъ въ маленькой его передней, теръ краски и пачкалъ грязными ногами его полъ. Взявши сапоги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко:

— Баринъ, свъчу зажигать или нъть?

— Зажги, — отвѣчалъ разсѣянно Чертковъ.

— Да еще хозяинъ приходилъ, — примолвилъ кстати грязный камердинеръ, слъдуя похвальному обычаю всъхъ людей его званія упоминать въ Р. S. о томъ, что поважнъе: — хозяинъ приходилъ и сказалъ, что, если не заплатите денегъ, то вышвырнетъ всъ ваши картины за окошко вмъстъ съ кроватью.

--- Скажи хозяину, чтобы не безпокоился о деньгахъ, --- отвѣчалъ Чертковъ: --- я досталъ деньги.

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всё деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбъжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись ничтожнаго случая, и не взялъ съ собою ни денегъ, ни портрета. Завтра же ръшился онъ идти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно въ правъ отказаться отъ такой покупки, тъмъ болъе, что его домашнія обстоятельства не позволяли сдълать никакой лишней издержки.

16*

Свъть луны яркимъ, бълымъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стент. Вст предметы и картины, вистешія въ его комнатъ, какъ-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вѣчно-прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ-то нечаянно онъ взглянулъ на стъну и увидълъ на ней тотъ же самый странный портретъ, такъ поразившій его въ лавкъ. Легкая дрожь невольно пробъжала по его тълу. Первымъ дъломъ его было позвать своего камердинера - натурщика и разспросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему портретъ; но камердинеръ-натурщикъ влялся, что никто не приходилъ, выключая хозяина, который былъ еще поутру и, кромѣ ключа, ничего не имѣлъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствоваль, что волосы его зашевелились на головь. Съвши возль окна, онъ силился себя увърить, что здъсь не могло ничего быть сверхъестественнаго, что мальчикъ его могъ въ это время заснуть, что хозяинъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Короче, онъ началъ приводить всъ тъ плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непремънно такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себъ не смотръть на портреть, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прикипалъ къ странному изображенію. Неподвижный взглядъ старика быль нестерпимъ: глаза совершенно свътились, вбирая въ себя лунный свъть, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрыль свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на ръсницахъ старика; свътлыя сумерки, въ которыя владычица-луна превратила ночь, увеличивали дъйствіе: полотно пропадало. и страшное липо старика выпвинулось и глядьдо изъ рамъ, какъ будто изъ окошка.

Приписывая это сверхъестественное дъйствіе лунь, чудесный свътъ ݕ которой имъетъ въ себъ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другого міра, онъ приказалъ подать скорѣе свѣчу, около которой копался его лакей; но выражение портрета ничуть не уменьшилось: лунный свътъ, слившись съ сіяніемъ свъчи, придалъ ему еще болъе непостижимой и вмъстъ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портреть, свернуль ее втрое, чтобы онъ не могь сквозь нее просвъчивать; но при всемъ томъ — или это было слъдствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряженіемъ, получили какую-то бъглую, движущуюся сноровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ сквозь полотно. Наконецъ, онъ ръшился погасить свѣчу и лечь въ постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидалъ онъ сна: мысли самыя неутъшительныя прогоняли то спокойное состояние, которое ведеть за собою сонъ: тоска, досада, хозяинъ, требующій денегъ, (недоконченныя картины — созданія безсильныхъ порывовъ, бъдность — все это двигалось передъ нимъ и смънялось одно другимъ. И когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ, то чудный портреть властительно втёснялся въ его воображеніе, и, казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствовалъ онъ на душъ своей такого тяжелаго гнета. Свътъ луны, который содержитъ въ себѣ столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и проносить младенчески-очаровательные полусны надь его изголовьемь, — этоть свъть луны не наводилъ на него музыкальныхъ мечтаній; его мечтанія были болъзненны. Наконецъ, впалъ онъ не въ сонъ, но въ какое-то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ гдазомъ видимъ приступающія грёзы сновидѣній, а другимъ — въ неясномъ облакѣ окружающіе предметы.

Онъ видълъ, какъ поверхность старика отдълялась и сходила съ портрета, такъ же, какъ снимается съ кипящей жидкости верхняя пъна, подымалась на воздухъ и неслась въ нему ближе и ближе, наконецъ, приближалась въ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться, но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горъли и вперились въ него всею магнитною своею силою.

— Не бойся, — говорилъ странный старикъ, и Чертковъ замѣтилъ у Галъ него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалила его своимъ осклаблениемъ ост и яркою живостью освѣтила тусклыя морщины его лица. — Не бойся меня, говорило странное явленіе: — мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумаль весьма глупое пъло: что тебъ за охота пълые въки корпъть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь чтонибудь? Да, ты получишь, -- при этомъ лицо его странно исковеркалось и какой - то неподвижный смъхъ выразился на всъхъ его моршинахъ: --- ты получишь завидное право кинуться съ Исакіевскаго моста въ Неву или, завязавши шею платкомъ, повъситься на первомъ попавшемся гвоздъ; а труды твои первый маляръ, накупивши ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! у V Все дълается въ свътъ для пользы. Бери же скоръе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажуть; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летить своро, и жизнь не останавливается. Чёмъ болёе смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тёмъ больше въ карманъ будетъ у тебя денегъ и славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебъ такие совъты; я тебъ и денегъ дамъ, только приходи ко мнъ.

При этомъ старикъ опять выразилъ на лицъ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смъхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицѣ. Собравши всѣ свои усилія, онъ приподнялъ руку, и, наконецъ, привсталъ съ кровати. Но образъ старика сдѣлался тусклымъ, и онъ только замѣтилъ, какъ онъ ушелъ въ свои рамы. Чертковъ всталъ съ безпокойствомъ и началъ ходить по комнатѣ. Чтобы немного освѣжить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжаніе дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убаюкиваемый своею лѣнивою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Чертковъ увѣрился, наконецъ, что воображеніе его слишкомъ разстроено и представило ему во снѣ твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошелъ еще разъ къ портрету : простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ, и, казалось, только маленькая искра сквозила изрѣдка сквозь нее. Наконецъ, онъ заснулъ и проспаль до самаго утра.

Проснувшись, онъ долго чувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло, непріятная мокрота сѣялась въ воздухѣ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или натянутымъ грунтомъ. Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для богатыхъ умильное лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чертковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно

бывають владътели домовъ въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонъ или въ отдаленномъ углу Коломны, — твореніе, какихъ очень много на Руси, и которыхъ характеръ такъ же трудно опредълить, какъ цвъть изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дъламъ, мастеръ былъ хорошо высъчь, быль и расторопень, и щеголь, и глупъ, но въ старости своей онъ слиять въ себт вст эти ръзвія особенности въ какую-то тускачю неопредбленность. Онъ быль уже вдовъ, быль уже въ отставкъ; уже не щеголяль, не хвасталь, не задирался; любиль только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по своей комнать, поправлялъ сальный огаровъ: аккуратно, по истечени каждаго мѣсяца, навѣдывался въ своимъ жильцамъ за деньгами; выходиль на улицу съ ключомъ въ рукъ, для того, чтобы посмотръть на врышу своего дома; выгонялъ нъсколько разъ дворника изъ его кануры, куда онъ запрятывался спать, — однимъ словомъ, былъ человъкъ въ отставкъ, которому, послъ всей забубенной жизни и тряски на перекладной, остаются однъ пошлыя привычки.

— Извольте сами глядъть, — сказаль хозяинь, обращаясь къ квартальному и разставляя руки: — извольте распорядиться и объявить ему.

— Я долженъ вамъ объявить, — сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира: — что вы должны непремънно заплатить должныя вами уже за три мъсяца квартирныя деньги.

— Я бы радъ заплатить, но что жъ дѣлать, когда нечѣмъ? — сказалъ хладнокровно Чертковъ.

— Въ такомъ случаъ хозяинъ долженъ взять себъ ващу движимость, равностоющую сумиъ квартирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же выъхать.

— Берите все, что хотите, — отвѣчалъ почти безчувственно Чертковъ. — Картины многія не безъ искусства сдѣланы, — продолжалъ квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторыя. — Жаль только, что (не кончены, и краски-то не такъ живы... Вѣрно, (недостатокъ въ деньгахъ !не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?

При этомъ квартальный, безъ церемоніи подошедши къ картинѣ, сдернулъ съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяють себѣ маленькую вольность тамъ, гдѣ видятъ совершенную беззащитность или бѣдность. Портретъ, казалось, изумилъ его, потому что необыкновенная живость глазъ производила на всѣхъ равное дѣйствіе. Разсматривая картину, онъ нѣскольно крѣпко сжалъ ея рамы, и такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько отзываются топорной работою, то рамка вдругъ лопнула: небольшая дощечка упада на полъ вмѣстѣ съ брякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нѣсколько блестящихъ кружковъ покатилось во всѣ стороны. Чертковъ съ жадностью бросился подбирать, и вырвалъ изъ полицейскихъ рукъ нѣсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

— Какъ же вы говорите, что не имъете, чъмъ заплатить, — замътилъ квартальный, пріятно улыбаясь: — а между тъмъ у васъ столько золотой монеты.

— Эти деньги для меня священны! — вскричаль Чертковъ, опасаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. — Я долженъ ихъ хранить, онъ ввърены мнъ покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобы васъ удовлетворить, вотъ вамъ за квартиру!

При этомъ онъ бросилъ нъсколько червонцевъ хозяину дома.

Физіогномія и пріемы въ одну минуту измѣннлись у хозянна и достойнаго блюстителя за нравами пьяныхъ извозчиковъ.

Полицейскій сталь извиняться и увёрять, что онъ только исполняль предписанную форму, а, впрочемъ, цикакъ не имёлъ права его принудить; а чтобы болёе въ этомъ увёрить Черткова, онъ предложилъ ему призъ табаку. Хозяинъ дома увёрялъ, что онъ только пошутилъ, и увёрялъ съ такою божбою и безсовёстностью, съ какою обыкновенно увёряетъ купецъ въ Гостиномъ дворѣ.

Но Чертковъ выбъжалъ вонъ и/не ръшился болье оставаться на прежней квартирѣ. Онъ (не имѣлъ даже времени подумать о странности этого происшествія. Осмотръвши свертокъ, онъ увидълъ въ немъ болъе сотни червонцевъ. Первымъ дъломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была какъ нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ высокія комнаты, большія окна, всѣ выгоды и удобства для художника! Лежа на турецкомъ диванѣ и глядя въ цѣльныя окна на растущія и мелькающія волны народа, онъ былъ погруженъ въ какое - то самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбъ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на чердакъ. Недоконченныя и оконченныя картины развъсились по стройнымъ колоссальнымъ стёнамъ; между ними вистаъ таинственный портретъ, воторый достался ему такимъ единственнымъ образомъ. Онъ опять сталъ думать о причинъ (необыкновенной живости его глазъ. Мысли его обратились въ видънному имъ 🗡 полусновидению, наконець, къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его въ тому, что какая-нибудь исторія соединена съ существованіемъ портрета, и что даже, можеть - быть, его собственное бытіе связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началъ его внимательно разсматривать: въ рамъ находился ящивъ, прикрытый тоненькой дощечкой, но такъ искусно задъланной и заглаженной съ поверхностью, что никто бы не могъ узнать о его существовании, если бы тяжелый палецъ квартальнаго (не продавиль дощечки. Онъ поставиль его на мъсто и еще разъ на него посмотръль. Живость глазъ уже/не казалась ему такою страшною среди яркаго λ свъта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себъ что-то (непріятное, такъ что онъ постарался скоръе отъ него отворотиться. Въ это время зазвенъль звоновъ у дверей, и вощла въ нему почтенная дама пожилыхъ лъть съ таліей въ рюмочку, въ сопровожденіи молоденькой, лъть осьмнадцати; лакей въ богатой ливреъ отворилъ имъ дверь и остановился въ передней.

— Я къ вамъ съ просьбою, — произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какямъ обыкновенно онъ говорятъ съ художниками, французскими парикмахе- ? рами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. — Я слышала о вашихъ дарованіяхъ...

(Чертковъ удивился такой скорой своей славѣ).

— Мнѣ хочется, чтобы вы сняли портреть съ моей дочери.

При этомъ блёдное личико дочери обратилось къ художнику, который, если бы былъ знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную « исторію ся: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до объда и послъ объда, желаніе побъгать въ платьъ послъдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетерпъливость увидъть свою пріятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ахъ, милая, какъ и скучала», или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдълала уборку къ платью княгини Б... Вотъ все, что выражало лицо молодой посътительницы, блъдное, почти безъ выраженія, съ оттънкою какой-то болъзненной желтизны.

— Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу, — продолжала дама: — мы можемъ вамъ дать часъ. Χv

X

x

Чертковъ бросился къ враскамъ и кистямъ, взялъ уже готовый натянутый грунтъ и устроился, какъ слёдуетъ.

— Я васъ должна (нъсколько предувъдомить, — говорила дама: — насчеть моей Анеть, и этимъ облегчить нъсколько вашъ трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всъхъ чертахъ лица всегда была замътна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и, признаюсь, я (никогда не даю ей читать новыхъ романовъ!

(Художникъ смотрълъ въ оба и не замътилъ никакой томности).

— Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее просто въ се́мейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣни, чтобы ничто \не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ.

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ це пропускали ци одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышлении, какъ согласить эти небольшия противоположности, наконецъ, ръшился избрать благоразумную средину. Притомъ его прельщало желаніе побъдить трудности и восторжествовать надъ искусствомъ, сохранивъ двусмысленное выражение портрета. Кисть бросила на подотно первый туманъ, художническій хаосъ: изъ него начали дълиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ приникъ весь къ своему оригиналу и уже началь уловлять ть неуловимыя черты, которыя самому безцвётному оригиналу придають, въ правдивой копіи, какой-то характеръ, составляющій высокое торжество истины. Какой то сладкій трепеть началь имъ одолввать, когда онъ чувствоваль, что, наконець, подметиль и, можеть-быть, выразить то, что очень ръдко удается выражать. Это наслаждение, нетерпъливое и прогрессивно возвышающееся, извъстно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ будто невольно пріобрътало тотъ колорить, который быль для него самого внезапнымь открытіемь; но оригиналь началь такъ сильно вертъться и зъвать передъ нимъ, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеніями постоянное его выраженіе.

— Мнѣ кажется, на первый разъ довольно, — произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотъли разгуляться. Повъсивши голову и бросивши палитру, стоялъ художникъ передъ своею картиною.

— Мнѣ, однакожъ, сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ, — произнесла дама, подходя къ картинѣ: — а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы пріѣдемъ къ вамъ завтра въ это же время

Молчаливо выпроводиль своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тъсномъ чердакъ никто не перебивалъ ему, когда онъ сидълъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотълъ заняться другими недоконченными работами. Но какъ будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замъстить новыми, въ которыя еще не успъло влюбиться наше воображеніе? Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тѣмъ, что передъ нею бѣжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свѣжая душа доступна тысячѣ разныхъ наслажденій; и потому Чертковъ разсѣялся почти въ одну минуту. Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ — и что не во власти исполненной силъ юности. Притомъ русскій

λ

человъкъ, а особливо дворянинъ или художникъ, имъетъ странное свойство: какъ только завелся у него въ карманъ грошъ – ему все трынъ-трава и море по кольна. У него оставалось еще отъ денегь, заплаченныхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и всъ эти тридцать червонцевъ онъ спустиль въ одинъ вечеръ. Прежде всего онъ приказалъ себъ подать объдъ отличнъйшій, выпилъ двъ бутылки вина и не захотълъ взять сдачи, нанялъ щегольскую карету, чтобы только събздить въ театръ. находившийся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кондитерской трехъ своихъ пріятелей, зашель еще кое-куда и возвратился домой безь копейки въ карманв. Бросившись въ кровать, онъ уснулъ кръпко, но сновидения его были такъ же несвязны, и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ будто чувствовала на себѣ что-то тяжелое. Опъ увидълъ сквозь щелку своихъ ширмъ, что изображение старика отделилось отъ полотна и съ выражениемъ (сволокойства пересчитывало кучи денегь; золото сыпалось изъ его рукъ... Глаза Черткова горбли; казалось, его чувства узнали въ золотъ ту цеизъяснимую прелесть, которая дотолъ ему не была понятна. Старикъ его манилъ пальцемъ и показываль ему цёлую гору червонцевь. Чертковь судорожно протянуль руку и проснулся. Проснувшись, онъ подошелъ къ портрету, трясъ его, изръзалъ ножомъ всѣ его рамы, но нигдѣ не находилъ запрятанныхъ денегъ; наконецъ, махнуль рукою и ръшился работать, даль себъ слово не сидъть долго и/не увлекаться заманчивою вистью. Въ это время прітхала вчерашняя дама съ своею бладною Анетою. Художникъ поставилъ на станокъ свой портреть, и на этоть разъ кисть его неслась быстръе. Солнечный день, ясное освъщение дали какое-то особенное выражение оригиналу, и открынось множество дотоль незамъченныхъ тонкостей. Душа его загоръдась опять напряженіемъ. Онъ силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и енеровное измѣненіе колорита въ лицѣ зѣвавшей и изнуренной красавицы съ тою точностью, которую позволяють себѣ неопытные артисты, воображающіе, что истина можеть правиться такъ же и другимъ, какъ правится имъ самимъ. Кисть его только-что хотёла схватить одно общее выражение всего цёлаго, какъ досадное «довольно» раздалось надъ его ушами, и дама подощда къ его портрету.

— Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали? — вскрикнула она съ досадою: — Анеть у васъ желта; у ней подъ глазами какія-то темныя пятна; она какъ будто приняла нъсколько склянокъ микстуры. Нътъ, ради Бога, исправьте вашъ портретъ: это совсъмъ не ся лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время.

Чертвовъ съ досадою бросилъ висть; онъ проклиналъ и себя, и искусство, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидѣлъ онъ въ своей великолѣпной комнатѣ и не имѣлъ силъ приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ схватилъ первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Псишея, поставилъ ее на станокъ, съ намѣреніемъ насильно продолжать. Въ это время вощла вчерашняя дама.

— Ахъ, Анетъ, посмотри, посмотри сюда! — вскричала дама съ радостнымъ видомъ. — Ахъ, какъ похожа! Прелесть, прелесть! И носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасный сюрпризъ? Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподнята! Я вижу, что вы, точно, тотъ великій художникъ, о которомъ мнѣ говорили.

Чертковъ стоялъ, какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Псишею за портретъ своей дочери. Съ застѣнчивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразить Псишею; но дочь her.

4

приняла это себѣ за комплименть и довольно мило улыбнулась; улыбку раздблила мать. Адская мысль блеснула въ головъ художника, чувство досады и злости подкръпило ее, и онъ ръшился этимъ воспользоваться.

– Позвольте мнѣ попросить васъ сегодня посидѣть немного подолѣе. произнесъ онъ, обратясь въ довольной на этотъ разъ блондинкъ. - Вы видите, что платья я еще не дълалъ вовсе, потому что хотълъ все съ большею точностію рисовать съ натуры.

Быстро онъ одблъ свою Псишею въ костюмъ XIX въка; тронулъ слегка. глаза, губы, просвътлилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посътительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

совъсть; имъ овладъла та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящима ва которая заставляеть если не истреблять, то, по крайней мъръ, скрывать отъ свъта тъ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видить несовершенство, котоу рая заставляеть скорбе вытерпъть презръніе всей толпы, нежели презръніе истиннаго ценителя. Ему казалось, что уже стоить передь его картиною грозный судія и, качая головою, укоряеть его въ безстыдствъ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотълъ 🔨 🗴 бъжать вслъдъ за дамою, вырвать портреть изъ рукъ ея, разорвать и растоптать его ногами, но какъ это сдъдать? Куда идти? Онъ даже не зналъ фамиліи его посѣтительницы.

> Съ этого времени, однакожъ, произошла въ жизни его счастливая перемѣна. Онъ ожидалъ, что безславіе покроеть его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, разсказывала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникъ, и мастерская нашего Черткова наполнилась посътителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображение. Но свъжій, еще невинный, чувствующій въ душъ недостойнымъ себя въ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступленіе, рѣшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, рѣшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производить чудеса. Но намъренія его встрътили непредвидънныя препятствія: посътители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были большею частію народъ нетерпъливый, занятой, торопящийся, и потому, едва только кисть его начинала творить что - нибудь не совствиь обыкновенное, какъ уже вваливался новый посттитель, преважно выставлялъ свою голову, горя желаніемъ увидъть ее скорће на полотић, и художникъ спъшилъ скорће оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рожденія своемъ, наконецъ, отвыкло навъщать его. Наконець, чтобы ускорять свою работу, онъ началъ заключаться въ извъстныя, опредбленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тъ фамильныя изображенія старыхъ художниковъ, которыя такъ часто можно встрътить во всъхъ краяхъ Европы и даже во всъхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены съ сложенными на груди руками и держащими цвътокъ въ рукъ, а кавалеры — въ мундиръ, съ заложенною за пуговицу рукою. Иногда желалъ онъ дать новое, еще не избитое положение, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть плодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, смѣлое выраженіе,

250

Þ

постигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно было ему долго думать, отворотивши глаза отъ всего окружающаго, унесшись отъ всего мірского и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ былъ изнуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновеніе; міръ же, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, былъ слишкомъ обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубоко размышляющее и вмёстъ неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блѣдное, съ натянутой улыбкою, — петербургской красавицы и множество другихъ, уже черезчуръ обыкновенныхъ, — вотъ все, что каждый день мѣнялось передъ нашимъ живописцемъ. Казалось, кисть его сама пріобрѣла, наконецъ, ту безцвѣтность и отсутствіе энергіи, которою означались его оригиналы.

Безпрестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнацій и золото, наконецъ, усыпили дѣвственныя движенія души его. Онъ безстыдно воспользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ ихъ изображеніямъ, готовы простить ему всѣ недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству. Чертковъ, наконецъ, сдѣлался совершенно молнима

Чертковъ, наконецъ, сдълался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всъхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостиныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту върной истинъ природы, брошенную жаркимъ вдохновеніемъ; это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ художникъ, но никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человъка, — ничего такого, что бы отзывалось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Нъкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событію, потому что видѣли въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта, и старались разрѣшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть въ цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескѣ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная върить, что все въ свътъ обыкновенно и просто, что откровенія свыше въ міръ не существуеть, и все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокь аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась тёхъ лётъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человъкъ, когда могущественный смычокъ слабъе доходить до души и не обвивается произительными звуками около сердца, когда прикосновение красоты уже не превращаетъ дъвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнъе въ его заманчивую музыку и мало-помалу, нечувствительно, позволяють ей совершенно усыпить себя. Слава не можеть насытить и дать наслаждение тому, который украль ее, а не заслужиль: она производить постоянный трепеть только въ достойномъ ся. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цълью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его, и, какъ всякій, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ превратиться въ одно изъ тъхъ странныхъ существъ, которыя иногда попадаются въ мірѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядить исполненный энергіи и страсти человѣкъ, и которому они кажутся живыми тълами, заключающими въ себъ мертвеца. Но, однакоже,

251

одно событіе сильно потрясло его и дало совершенно другое направленіе его жизни.

Вь одинъ день онъ увидѣлъ на столѣ своемъ записку, въ которой Академія Художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ присланномъ изъ Италіи произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенною силою труженика погрязъ въ немъ всею душою своей и, для него оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ, бросился, безъ всякихъ пособій, въ неизвѣстную землю; терпѣлъ бѣдность, униженіе, даже голодъ, но съ рѣдкимъ самоотверженіемъ, презрѣвши все, былъ безчувственъ ко всему, кромѣ своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посътителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое ръдко бываеть между многолюдными цънителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Чертковъ, принявши значительную физіогномію знатока, приблизился къ картинъ; но, Боже, что онъ увидълъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невъста, стояло передъ нимъ произведение художника. И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желание блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни, — никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ таланть, какъ геній. Изумительнопрекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали ть тайныя явленія, которыхъ душа не умъетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; — и все это наброшено такъ легко, такъ скромно - свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругь осѣнившей его мысли. Вся картина была мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь челов'ъческая — есть одно приготовление. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посътителей, окружавшихъ картину. Казалось, всъ вкусы, всъ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой - то безмолвный гимнъ божественному произведению. Неподвижно, съ отверстымъ ртомъ, стоялъ Чертковъ передъ картиною и, наконецъ, когда мало-по-малу посътители и знатоки зашумѣли и начали разсуждать о достоянствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя: хотъль принять равнодушный, обывновенный видь, хотъль сказать обыкновенное пошлое суждение зачерствълыхъ художниковъ: что произведение хорошо, и въ художникъ виденъ талантъ, но желательно, чтобы во многихъ мъстахъ лучше была выполнена мысль и отдълка, — но ръчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбъжаль изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стоялъ онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можеть-быть, теплившагося въ груди, можетъ-быть, развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ-быть, также исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ

будто въ эту минуту ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые пъкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступиль на его лиць, весь обратился онъ въ одно желаніе и, можно сказать, загорблся одною мыслію: ему хотблось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болъе всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишкомъ уже заключились въ одну мърку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лъстницу постепенныхъ свъдъній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадъ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты всё труды свои, означенные мертвою блёдностью поверхностной моды, заперь дверь, не вельль никого впускать къ себъ и занялся, какъ жаркій юноша, своею работою. Но, увы! на каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначущій механизмъ охдаждаль весь порывь и стояль неперескочимымь порогомь для воображенія. Иногда осъняль его внезапный призракъ великой мысли, воображение видъло въ темной перспективѣ что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдълать необыкновеннымъ и вмъстъ доступнымъ для всякой души; какая-то звъзда чудеснаго сверкада въ неясномъ туманъ его мыслей, потому что онъ, точно, носилъ въ себѣ призракъ таланта; но, Боже, какое-нибудь незначущее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цёпентлъ, неразсказанный, неизображенный. Кисть его невольно обращалась въ затверженнымъ формамъ, 📊 руви свладывались на одинъ заученный манеръ, голова не смъла сдълать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотъли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тъла. И онъ чувствоваль, онъ чувствоваль и видъль это самъ! Поть катился съ него градомъ, губы дрожали, и послъ долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его всъ чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ лътъ труднъе изучать скучную лъстницу трудныхъ правилъ и анатоміи, еще труднѣе постигнуть то вдругь, что развивается медленно и дается за долгія усилія, за великія напряженія, за глубокое самоотверженіе. Наконець, онь узналь ту ужасную муку, которая, какь поразительное исключение, является иногда въ природъ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размёрѣ и не можеть выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ рождаеть великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, -- ту страшную муку, которая дълаетъ человъка способнымъ на ужасныя злодъянія. Имъ овладъла ужасная зависть, зависть до 🌐 бъщенства. Желчь проступала у него на лицъ, когда онъ видълъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожираль его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душъ его возродилось самое адское намъреніе, какое когда-либо питалъ человъкъ, и съ бъщеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою цёною, осторожно приносиль въ свою комнату и съ бъщенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изръзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопровождая ужаснымъ смѣхомъ адскаго наслажденія. Едва только появлялось гдъ-нибудь свъжее произведеніе, дышащее огнемъ новаго таланта, онъ употреблялъ всѣ усилія купить его во что бы то ни стало. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всъ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязаль всѣ своя

золотые мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведений, сколько истребилъ этотъ свиръпый мститель. И люди, носившіе въ себъ искру божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловъчно лишены тъхъ святыхъ, прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человѣку часть исполненнаго звуковъ и священныхъ тайнъ его внутренняго міра. Нигдъ, ни въ какомъ уголкъ не могли они сокрыться отъ его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникалъ всюду и находилъ даже въ заброшенной пыли слъдъ художественной кисти. На всъхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранъе отчаивался въ пріобрътеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгитванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, жедая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорить на его лицо: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшія брови и вѣчно перерѣзанный морщинами лобъ придавали ему какое - то дикое выражение и отдъляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размёръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Припадки бъщенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болёзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овдалёли имъ такъ свирѣпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тень только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человъкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые. живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бъшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портреть этоть двоился, четвертился въ его глазахъ, и, наконецъ, ему чудилось, что всѣ стѣны были увѣшены этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные потреты глядъли на него съ потолка, съ полу, и, вдобавокъ, онъ видълъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространнъе, чтобы болъе виъстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже нъсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всъми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Больной ничего не понималь и не чувствоваль, промѣ своихъ терзаній, и пронзительнымъ, невыразимо-раздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портреть съ живыми глазами, котораго мъсто онъ описываль съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли всѣ старанія, чтобы отыскать этоть чудный портреть. Все было перерыто въ домъ, но портреть не отыскивался. Тогда больной приподнимался съ безпокойствомъ и опять начиналъ описывать его мъсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и проницательнаго ума; но всѣ поиски были тщетны. Наконецъ, докторъ заключилъ, что это было больше ничего, кромъ особенное явленіе безумія. Скоро жизнь его прервалась въ послъднемъ, уже безгласномъ порывъ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидъвши изръзанные куски тъхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цъна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

110

Множество кареть, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъбздомъ дома, Alla въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тёхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодущно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толною посътителей, налетъвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тело. Туть была целая флотилія русскихь купцовь изъ Гостинаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ нъмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и физіогномія были здёсь какъ-то тверже, вольнёе и не означались тою приторною услужливостію, которая такъ видна въ русскомъ кущць. Они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же заль находилось множество тъхъ значительныхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мъстъ готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здъсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и сміло перебивали цёну, набавляемую графами-знатоками. Здёсь были многіе необходимые посътители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмъсто завтрака; аристократы-знатоки, почитающіе обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія оть 12 до 1-го часа; наконецъ, тъ благородные господа, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно безь всякой корыстолюбивой цтли, но единственно, чтобы посмотрть, чтмъ что кончится: вто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьеть и за къмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемъшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владътеля, который, върно, не имълъ похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовь, новыя и старинныя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкъ, какъ въ магазинахъ. Все представлядо какой-то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видъ аукціона страпно: въ немъ все отзывается чъмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливають свъть; безмолвіе, разлитое на лицахъ всѣхъ, и голоса: «сто рублей, рубль и двадцать копеекъ! четыреста рублей и пятьдесять копеекъ», протяжно вырывающіеся изъ усть, какъ-то дики для слуха. Но еще болъе производить впечатлъніе погребальный голосъ аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпѣвающаго панихиду бѣднымъ, такъ странно встрътившимся здъсь искусствамъ.

Однакоже, аукціонъ еще не начинался; посѣтители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тъмъ, небольшая толпа остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою странною живостью глазъ, что невольно приковалъ къ себѣ ихъ вниманіе. Въ художникъ нельзя было не признать истиннаго таланта; произведение хотя было не окончено, однакоже, носило на себъ ръзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ

(1) истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы коли человъка. Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного уже нѣсколько пожилыхъ лѣтъ посѣтителя. «Ахъ, это онъ!» вскрикнулъ онъ въ сильномъ движеніи и неподвижно вперилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе, натурально, зажгло во всѣхъ любопытство, и нѣкоторые изъ разсматривавшихъ никакъ не утерпѣли, чтобы не сказатъ, оборотившисъ къ нему: «Вамъ, вѣрно, извѣстно что-нибудь объ этомъ портреть?»

— Вы не ошиблись, — отвѣчалъ сдѣлавшій невольное восклицаніе. — Точно, мнѣ болѣе нежели кому другому извѣстна исторія этого портрета. Все увѣряетъ меня, что онъ долженъ быть тотъ самый, о которомъ я хочу говорить. Такъ какъ я замѣчаю, что васъ всѣхъ интересуетъ о немъ узнать, то я теперь же готовъ нѣсколько удовлетворить васъ.

Посътители наклоненіемъ головы изъявили свою благодарность и съ большою внимательностію приготовились слушать.

— Безъ сомнѣнія, немногимъ изъ васъ, — такъ началъ онъ: извъстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломной. Характеристика ея отличается ръзкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей совершенно отличны оть прочихъ. Здъсь ничто не похоже на столицу, но вытсть съ этимъ не похоже и на провинціальный городовъ, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можетъ только родить многолюдная столица. Тутъ совершенно другой свътъ, и, вътхавши въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляють васъ молодые желанія и порывы. Сюда не заглядываеть живительное, радужное будущее. Здъсь все тишина и отставка. Здѣсь все, что осѣло оть движенія столицы. И въ самомъ дѣлѣ. сюда перебажають отставные чиновники, которыхъ пенсіонъ не превышаеть пятисоть рублей въ годъ: вдовы, жившія прежде мужними трудами; небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе , себя здъсь на цълую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цълый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкъ и забирающія каждый день на 5 копеекъ кофею и на 4 копейки сахару; наконецъ, весь тоть разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые, съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, имъютъ какую - то тусклую, пепельную наружность. Они похожи на съренькій день, когда солнце не слѣпить своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ, дождемъ и градомъ, но, просто, когда на небъ бываетъ ни сё, ни то: съется туманъ и отнимаеть всю ръзкость у предметовъ. Лица этихъ людей бывають какъ-то изкрасна - рыжеватыя, волосы тоже красноватые; глаза почти всегда безъ блеска; платье ихъ тоже совершенно матовое и представляеть тоть мутный цвѣть, который происходить, когда смѣшаешь всѣ краски вмѣстѣ, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, уволенныхъ пятидесятилѣтнихъ титулярныхъ совътниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ 200 рублевымъ пенсіономъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все трынъ-трава; идутъ они, совершенно не обращая вниманія ни на какіе предметы; молчать, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнать ихъ только кровать и штофъ чистой русской водки, которую они однообразно сосуть весь день, безъ всякаго смѣлаго прилива въ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любить задавать себъ по воскреснымъ

днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мъщанской улицы, одинъ владъющій тротуаромъ за двѣнадцать часовъ ночи.

«Жизнь въ Коломић всегда однообразна: рѣдко гремитъ въ мирныхъ улицахъ карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ смущаетъ всеобщую тишину. Здъсь всъ почти — пешеходы. Извозчикъ ръдко, лъниво, и почти всегда безъ съдока, волочится, таща витсть съ собою съно для своей скромной влячи. Цъна ввартиръ ръдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 15 до 20 и 30 руб. въ мъсяцъ, не считая множества угловъ, которые отдаются съ отопленіемъ и кофіемъ за четыре съ полтиною въ мъсяцъ. Вдовы-чиновницы, получающія пенсіонь, самыя солидныя обитательницы этой части. Онъ ведуть себя очень хорошо, метуть довольно чисто свою комнату и говорять съ своими сосъдками и пріятельницами о дороговизнѣ говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ, вногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Эти то чиновницы занимають лучшія отдёленія отъ двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними слъдують автеры, которымъ жалованье не позволяетъ выбхать изъ Коломны. Это народъ свободный, какъ всъ артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или вытачиваютъ изъ кости какія-нибудь бездѣлки, или починивають пистолеть, или влеять изъ картона какія-нибудь полезныя для дома вещи, наи играють съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки или карты и такъ проводятъ утро; то же дълаютъ ввечеру, примъшивая къ этому часто пунирь. Послё этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, слёдуетъ необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя такъ же трудно сдълать перечень всёмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и завоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насъкомыхъ, которое зарождается въ старомъ уксусъ. Какого народа вы тамъ не встрътите! Старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствують; старухи, которыя пьянствують и молятся вытесть; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи, таскають съ собою старое тряпье и бълье отъ Калинкива моста до Толкучаго рынка съ тъмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копеекъ, — словомъ, весь жалкій и несчастный осадокъ человѣчества.

«Естественное дъло, что этоть народъ терпить иногда большой недостатокъ, не дающій возможности вести ихъ обыкновенную, бъдную жизнь; они должны часто дёлать эвстренные займы, чтобы выпутаться изъ своихъ обстоятельствъ. Тогда находятся между ними такіе люди, которые носять громкое название капиталистовъ и могуть снабжать за разные проценты, всегда почти непомърные, суммою отъ двадцати до ста рублей. Эти люди мало-по-малу составляють состояние, которое позволяеть завестись иногда собственнымь домикомъ. Но на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилію Петромихали. Быль ли онъ грекъ, или армянинъ, или молдаванъ, — этого никто не зналъ, но, по крайней мъръ, черты лица его были совершенно южныя. Ходиль онъ всегда въ широкомъ азіатскомъ платът, былъ высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвта, нависнувшія черныя съ простдью брови и такіе же усы придавали ему нъ-сколько страшный видъ. Никакого выраженія нельзя было замътить на его лиць: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрасть своею южною ръзкою физіогноміею съ пенеяьными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не быль похожь на помянутыхь ростовщивовь этой

Н. В. Гоголь. Томъ III.

17

уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую бы только оть него ни потребовали; натурально, что за то и проценты были тоже необывновенны. Ветхій домъ его со иножествомъ нристроекъ находился на Козьемъ-Болотъ. Онъ былъ бы не такъ дряхлъ, если бы владълецъ его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не дълалъ ръшительно никакихъ издерженъ. Всъ комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималь самь, были холодныя владовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, яшмовыя вазы, всякій хламъ, даже мебели, которыя принеснии ему въ залогъ разныхъ чиновъ и званій должники, потому что Петромихали не пренебрегаль ничемъ, и, несмотря на то, что даваль по сотнъ тысячь, онъ также готовъ быль служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное бълье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги все готовъ онъ былъ принять въ свои кладовыя, и нищій сибло адресовался въ нему съ узелкомъ въ рукъ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ-быть, прелестнъйшую шею въ міръ, заключались въ его грязномъ желъзномъ сунлукъ, вмъсть съ старинною табакеркою пятидесятильтней дамы, вмъсть съ діадемою, возвышавшеюся надъ адебастровымъ дбомъ красавицы, и бридліантовымь перстнемь бъднаго чиновника, получившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замътить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставляла обращаться въ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страннъе всего, что съ перваго разу проценты его казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшной прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимаго правила, тёмъ болёе, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видъли явно преувеличение итога, но видбли тоже, что въ этихъ вычетахъ ибтъ никакой ошибки. Жалость, какъ и всъ другія страсти чувствующаго человъка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли преклонить его къ отсрочкъ или въ уменьшению платежа. Нъсколько разъ находили у дверей его околѣвшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинѣвшія лица, замерзнувшие члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодованіе, и полиція нъсколько разъ хотъла разобрать внимательнъе поступки этого страннаго человъка, но квартальные надзиратели всегда умъли, подъ какими-нибудь предлогами, отклонить и представить дёло въ другомъ видё, несмотря на то, что они гроша не получали отъ него. Но богатство имъетъ такую странную силу, что ему върятъ, какъ государственной ассигнации. Оно, не показываясь, можеть невидимо двигать всёми, какъ раболёпными слугами. Это странное существо сидёло, поджавши подъ себя ноги, на почернёвшемъ диванѣ, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью въ знакъ поклона; и ничего не можно было отъ него услышать лишняго или посторонняго. Носились, однакожъ, слухи, что будто бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагаль условіе, что всѣ бѣжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имъли силъ пошевелить губами, чтобы пересказать ихъ другимъ. Тѣ же, которые имѣли духъ принять даваемыя имъ деньги, желтёли, чахли и умирали, не смёя отврыть тайны.

«Въ этой части города имълъ небольшой домивъ одинъ художнивъ, славившійся въ тогдашнее время своими дъйствительно преврасными произведенными. Этотъ художнивъ былъ отецъ мой. Я могу вамъ показать нъсколько

работь его, выказывающихъ ръшительный таланть. Жизнь его была самая J [. 5 безмятежная. Это быль тоть скромный, набожный живописець, какіе только жили во время религіозныхъ среднихъ въковъ. Онъ могъ бы имъть большую извъстность и нажить большое состояние, если бы ръшелся заняться множествомъ работь, которыя предлагали ему со всъхъ сторонъ; но онъ любиль болбе заниматься предметами религиозными и за небольшую цёну взялся расписать весь иконостасъ приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться въ деньгахъ, но никогда не ръшался онъ прибъгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имблъ всегда впереди возможность уплатить долгь, потому что ему стоило только присъсть и написать нъсколько портретовъ — и деньги были бы въ его карманъ. Но ему такъ жалко было оторваться отъ своихъ занятій, такъ грустно было разлучиться, хотя на время, съ любимою мыслью, что онъ лучше готовъ быль нъсколько дней просидъть голоднымъ въ своей комнать, на что бы онъ всегда ръшился, если бы не имълъ страстно любимой имъ жены и двухъ дътей, изъ которыхъ одного вы видите теперь передъ собою. Однакоже, одинъ разъ врайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже быль идти въ греку, какъ вдругъ внезапно распространилась въсть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это происшестве его поразило, и онъ уже готовъ былъ признать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его нам'тренію, вакъ встр'тиль въ с'вняхъ своихъ запыхавшуюся старуху, исправляещую при ростовщикъ три разныя должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своемъ странномъ господинъ, глухо прободмотала пъсколько несвязныхъ, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинь ея имбеть въ немъ крайнюю нужду и просиль его взять съ собой краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и притомъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый дюбопытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

«Онъ насилу могъ продраться сявозь толпу нищихъ, обступившихъ жилище умиравшаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо, наконець, передъ смертію, раскается этотъ грѣшникъ и раздасть малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошель въ небольшую комнату к увидълъ протянувшееся почти во всю длину ея тъло азіатца, которое онъ приняль было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ, высохшая голова его приподнялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отепъ мой запрожалъ. Петромихали сдълалъ глухое восклицание и, наконець, произнесь: «Нарисуй съ меня портреть!» Отецъ мой изумился такому странному желанію; онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже не много минутъ осталось жить ему и потому пора помыслить о прежнихъ своихъ пълахъ и принести покаяние Всевышнему. «Я не хочу ничего: нарисуй съ меня портреть!» произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, причемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отецъ мой върно бы ушелъ, если бы чувство, весьма извинительное въ художникъ, пораженномъ необыкновеннымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ тёхъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вмъстъ съ какимъ-то тайнымъ желаніемъ поставиль онъ холсть, за неимъніемъ стапка, къ себъ на кольни и началъ рисовать. Мысль употребить послъ это лицо въ своей партинъ, гдъ хотълъ онъ изобразить одержимаго бъсами, которыхъ изгоняеть могущественное **CIOBO**

cht

ر ¹ ر k

17*

Спасителя, — эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспъшностію набоосаль онь абрись и первыя тёни, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругь прервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устахъ его. Изръдка только онъ издавалъ хрипъніе и съ безпокойствомъ устремляль страшный взглядь свой на картину; наконець, что-то подобное радости мелькнуло въ его глазахъ, при видъ, какъ черты его дожились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отець мой прежде всего ръшился заняться окончательною отдълкою глазъ. Это быль предметь самый трудный, потому что чувство, въ нихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился онъ около нихъ и, наконецъ, совершенно схватиль тоть огонь, который уже потухаль въ его оригиналь. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалье отъ картины, чтобы лучше разсмотръть ее, и съ ужасомъ отскочиль оть нея, увидъвъ живые, глядящие на него глаза. Непостижными страхъ овладълъ имъ въ такой степени, что онъ, швырнувъ палитру и краски, бросился къ дверямъ; но стращное, почти полумертвое твло ростовщика приподнялось съ своей провати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отець мой влялся и врестился, что не станеть продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало вст свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ, ползая, цъловатъ полы его платья и умолялъ дорисовать портреть. Но отепь быль неумолимь и дивился только силь его воли, перемогшей самое приближение смерти. Наконенъ, отчаянный Петромихали выдвинуль съ необывновенною силою изъ-полъ вровати сундукъ, и страшная куча золота грянуда въ ногамъ моего отца. Видя и туть его непреклонность, онъ повалился ему въ ноги и цълый потокъ заклинаній полился изъ его молчаливыхъ дотолѣ усть. Невозможно было не чувствовать какого-то ужаснаго, и даже, если можно сказать, отвратительнаго состраданія. «Добрый человѣкъ! Божій человъкъ! Христовъ человъкъ! — говорилъ съ выраженіемъ отчаянія этотъ живой скелеть: — заклинаю тебя маленькими дътьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ, только · одинъ часъ посиди за нимъ! Слушай, я тебъ объявлю одну тайну...» При этомъ смертная блёдность начала сильнёе проступать на лицё его. «Но тайны этой никому не объявляй — ни жень, ни дътямъ твоимъ, а не то — и ты умрешь, и они умруть, и всѣ вы будете несчастны. Слушай, если ты в теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послъ смерти я должень идти къ тому, къ которому бы я не хотълъ идти; тамъ я долженъ вытерпъть муки, о какихъ тебъ и во снъ не слышалось; но я могу долго еще не идти въ нему, до тѣхъ поръ, покуда стоить земля наша, если ты только докончишь портреть мой. Я узналъ, что половина жизни моей перейдеть въ мой портреть, если только онъ будеть сдѣланъ искуснымъ живописцемъ. Ты видишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будеть и во всёхъ чертахъ, когда ты докончишь. И хотя тёло мое сгибнеть, но половина жизни моей останется на земль, и я убъгу надолго еще оть мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» кричало раздирающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъ еще болѣе овладѣлъ монмъ отцомъ. Онъ слышаль, какъ поднялись его волоса отъ этой ужасной тайны, и выронилъ кисть, которую было уже подняль, тронутый его мольбами. — «А, такъ ты не хочешь дорисовать меня? - произнесъ хрипящимъ голосомъ Петромихали. --Такъ возьми же себъ портретъ мой: я тебъ его дарю». При сихъ словахъ что то вродъ страшнаго смъха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось,

еще разъ блеснула въ его чертахъ, и чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупь. Отепь не хотыть притронуться въ вистямъ и краскамь, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выбъжалъ изъ комнаты.

«Чтобы развлечь непріятныя мысли, нанесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметь, попавшийся ему въ мастерской его, быль писанный имъ портреть ростовщика. Онъ обратился къ женъ, къ женщинъ, прислуживавшей на кухнъ, къ дворнику, но всё дали рёшительный отвётъ, что никто не приносилъ портрета и даже не приходиль во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился въ портрету и невольно отвратиль глаза свои, проникнутый отвращениемъ въ собственной работъ. Онъ приказалъ его снять и вынесть на чердакь, но при всемъ томъ чувствоваль какую-то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болѣе всего поразило его, когда уже онъ легъ въ постелю, слъдующее, почти невъроятное, происшествіе: онъ видбль ясно, какъ вошель въ его комнату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядъль онъ на него своими живыми глазами, наконець, началь предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адское направленіе хотбять дать его искусству, что отець мой съ болёзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холоднымъ потомъ, нестерпимою тяжестью на душъ и вмъстъ самымъ пламеннымъ негодованіемъ. Онъ видѣлъ, какъ чудное изображеніе умершаго Петромихали ушло 🥭 въ раму портрета, который висълъ снова передъ нимъ на стънъ. Онъ ръшился въ тотъ же день сжечь это проклятое произведение рукъ своихъ. Какъ только затоплень быль каминь, онь бросиль его вь разгоравшийся огонь и сь тайнымъ наслажденіемъ видблъ, какъ лопались рамы, на которыхъ натяfund нуть быль холсть, какъ шипъли еще невысохшія краски; наконець, куча золы одна только осталась отъ его существованія. И когда начала она улетать легкою пылью въ трубу, казалось, какъ будто неясный образъ Петромихали удетбль вибств сь нею. Онь почувствоваль на душе какое-то облогченіе. Съ чувствомъ выздоровъвшаго отъ продолжительной болъзни оборотнися онъ въ углу комнаты, гдъ висъль писанный имъ образъ, чтобы принесть чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидъль, что передъ нимъ стояль тоть же портреть Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болье получили живости, такъ что даже дъти испустили крикъ, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ ръшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совъта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дълъ. Священникъ былъ разсудительный человъкъ и, кромъ того, преданный съ теплою любовію своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему отцу, котораго уважалъ, какъ достойнъйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и ръшияся туть же, при матери моей и дътяхъ, разсказать ему это нености- 🔨 жимое происшествіе. Но едва только произнесь онъ первое слово, какъ мать) моя вдругь глухо вскрикнуда и упала безь чувствь на поль. Лицо ся покрылось страшною блёдностью, уста остались неподвижны, отврыты, и всё черты ея исковеркались судорогами. Отець и священникъ подбъжали къ ней и съ ужасомъ увидѣли, что она нечаянно проглотила десятокъ иголокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявилъ, что это было неизлёчимо: иголки остановились у нея въ горля, другія прошли въ желудокъ и во внутренности, и мать моя скончалась ужасною смертью.

«Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая-то мрачность овладъла его душою. Ръдко онъ the

y have

чъкъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвнымъ и убъгалъ всякаго сообщества. Но, между тёмъ, ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталь преслёдовать его неотлучнёе, и часто отець мой чувствоваль приливъ такихъ отчаящныхъ, свирѣпыхъ мыслей, отъ которыхъ невольно сондогался самь. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ, въ глубинъ человъка, истребляется и выгоняется воспитаніень, благородными подвигами и лицезрениемъ прекраснаго, - все это онъ чувствоваль въ себе возмущавшинся и безпрестанно силившинся выйти внаружу и развиться во всемь своемъ порочномъ совершенствѣ. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человъка. Но я долженъ замътить, что сила характера отца моего была безпримърна: власть, которую онъ браль надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его убъжденія были тверже гранита, и чъмъ сильнъе было искушеніе, тёмъ онъ болёе рвался противопоставить ему несокрушимую силу души своей. Наконецъ, обезсилъвъ отъ этой борьбы, онъ ръшился излить и обнажить всего себя, въ изображения всей повъсти своихъ страданий, тому же священнику, который всегда почти доставляль ему исцъление размышляющими своими ръчами. Это было въ началъ осени; день былъ прекрасный; солнце сіядо какимъ-то свъжных осеннимъ свътомъ; окна нашихъ комнатъ были отворены; отець мой сидъль съ достойнымь священникомь въ мастерской; ны играли съ братомъ въ комнатъ, которая была рядомъ съ нею. Объ эти комнаты были во второмъ этажъ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была нъсколько растворена; я какъ - то нечаянно заглянуль въ отверстіе, видъль, что отець мой придвинулся ближе къ священнику и услышалъ даже, какъ онъ сказалъ ему: «Наконецъ, я открою всю эту тайну...» Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подошель въ окну и — Боже! я никогда не могу забыть этого происшествія: на мостовой лежаль облитый кровью трупь моего брата. Играя, онъ, върно, какъ - нибудь неосторожно церегнулся чрезъ окошко и упаль, безь сомньнія, головою внизь, потому что она вся была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужаснаго случая. Отепъ мой стоялъ неподвиженъ передъ окномъ, сложа накресть руки и поднявъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнуть страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требовалъ отъ отца моего, чтобы онъ хранилъ эту ужасную тайну.

«Послѣ этого отецъ мой отдалъ меня въ корпусъ, гдѣ я провелъ все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдъ бъдный съверъ уже представлялъ только дикую природу, и торжественно принялъ санъ монашеский. Всъ тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою покорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ вель съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ вёры, что, повидимому, ничто преступное не яжью воли коснуться къ нему. Но страшный, имъ же начертанный образъ съ живыми глазами преслёдоваль его и въ этомъ почти гробовомъ уединении. Игуменъ, узнавши о необыкновенномъ талантъ отца моего въ живописи, поручиль ему украсить церковь нъкоторыми образами. Нужно было видъть, съ какимъ высокимъ религіознымъ смиреніемъ трудился онъ надъ своею работою: въ строгомъ постѣ и молитвѣ, въ глубокомъ размышленіи и уединеніи души пріуготовлялся онъ къ своему подвигу. Неотлучно проводнять ночи надъ своими священными изображеніями, и оттого, можеть-быть, ръдко найдете вы произведеній, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на

Digitized by Google.

262

себѣ печать такихъ истинно-христіанскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствіе, въ его кающихся такое душевное сокрушеніе, какія я очень рѣдко встрѣчалъ даже въ картинахъ извѣстныхъ художниковъ. Наконецъ, всѣ мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть спокойствія, разлитого его кистью въ чертахъ Божественной Покровительницы міра, казалось, перешла въ собственную его душу. По крайней мърѣ, страшный образъ ростовщика пересталъ навѣщать его, и портретъ пропалъ, неизвѣстно куда.

«Между тёмъ, воспитаніе мое въ корпусё окончилось. Я былъ выпущенъ офицеромъ, но, къ величайшему сожалёнію, обстоятельства не позволили мнё видѣть моего отца. Насъ отправили тогда же въ дѣйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границѣ. Не буду надоѣдать вамъ разсказами о жизни, проведенной мною среди походовъ, онвакъ и жаркихъ схватокъ; довольно сказать, что труды, опасности и жаркій климатъ измѣнили меня совершенно, такъ что знавшіе меня прежде не узнавали вовсе. Загорѣвшее лицо, огромные усы и хриплый, крикливый голосъ придали мнѣ совершенно другую физіогномію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрашнемъ, любилъ выпорожнить лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вздоръ съ смазливенькими дѣвчонками, отпустить спроста глупость, словомъ, былъ военный безпечный человѣкъ. Однакожъ, какъ только окончилась кампанія, я почелъ первымъ долгомъ навѣстить отца.

«Когда подъёхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладёло странное чувство, какого прежде я никогда не испытывалъ: я чувствовалъ, что я еще связанъ съ однимъ существомъ, что есть еще что-то неполное въ моемъ состоянии. Уединенный монастырь, посреди природы блёдной, обнаженной, навелъ на меня какое-то поэтическое забвеніе и далъ странное, неопредѣленное направленіе моимъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листъя шумятъ подъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вѣтви сквозятъ рѣдкою сѣтью, вороны каркаютъ въ далекой вышинѣ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ бы стараясь собрать разсѣивающіяся мысли. Множество деревянныхъ почернѣвшихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступилъ подъ длинныя, мѣстами прогнившія, позеленѣвшія мохомъ галлереи, находившіяся вокругъ келій, и спросилъ монаха, отца Григорія. Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступленіи въ монашеское званіе. Мнѣ указали его келью.

«Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня впечатлѣнія. Я увидѣлъ старца, на блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ котораго не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшіе быть устремленными къ небу, получили тотъ безстрастный, проникнутый нездѣшнимъ огнемъ видъ, который въ минуту только вдохновенія осѣняетъ художника. Онъ сидѣлъ передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замѣтилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонѣ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотѣлъ еще открыться и потому попросилъ у него, просто, благословенія, какъ путешествующій молельщикъ; но каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: — «Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!» — Меня это изумило: я десяти лѣть еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видѣли не такъ давно. — «Я зналъ, что ты ко мнъ будешь, — продолжалъ онъ. — Я просилъ объ этомъ Пречистую Дъву и св. угодника и ожидалъ тебя съ часу на часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебъ открыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вышли въ церковь, и онъ подвелъ меня къ картинъ, изображавшей Божію Матерь, благословляющую народъ. Я былъ пораженъ глубокимъ выраженіемъ божественности въ Ея лицъ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и, наконецъ, послъ долгаго молчанія и размышленія, вышелъ вмъстъ со мною.

«Послѣ того отецъ мой разсказалъ мнѣ все то, что вы сейчасъ отъ меня слышали. Въ истину его я върилъ, потому что самъ былъ свидътелемъ многихъ печальныхъ случаевъ нашей жизни.

«--- Теперь я разскажу тебъ, сынъ мой, --- прибавилъ онъ послъ этой исторіи: --- то, что миз открыль виденный мною святой, неузнанный среди многолюднаго народа нивъмъ, вромъ меня, котораго милосердый Создатель сподобнать такой неизглаголанной Своей благости». При этомъ отецъ мой сложиль руки и устремиль глаза къ небу, весь отданный ему всвиъ своимъ бытіемъ. И я, наконець, услышаль то, что сейчась готовлюсь разсказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его ръчей: я увидъль, что онъ находился въ томъ состояния души, которое овладъваеть человъкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя, нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чёмъ сильнёе гнеть его несчастій, тёмъ пламеннёе его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походить на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къ желанной пристани, причалиль къ своей пустынь, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ христіанскимъ смиреніемъ молиться Тому, въ Боторому онъ сталь ближе и доступнье; напротивъ того, онъ становится чъмъ-то исполинскимъ. Въ немъ не угаснулъ пылъ души, но, напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова въчно наполнена чудными снами. Онъ видить на каждомъ шагу видёнія и слышить откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видить ничего, принадлежащаго земль; всъ движенія, слъдствія въчнаго устремленія въ одному, исполнены энтузіазма. Я съ перваго раза замътилъ въ немъ это состояніе и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными ть ръчи, которыя я оть него услышаль. «Сынь мой! — сказаль онъ мнв послѣ долгаго, почти неподвижнаго устремленія глазъ своихъ къ небу: — уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человъческаго, антихристь, народится въ мірѣ. Ужасно будеть это время: оно будеть передъ концомъ міра. Онъ промчится на конъ-гигантъ, и великія потерпятъ муки ть, которые останутся върными Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочеть народиться антихристь, но не можеть, потому что долженъ родиться сверхъестественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ все устроено Всемогущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкъ, и потому ему никакія силы, сынъ мой, не помогуть прорваться въ мірь. Но земля нашапрахъ передъ Создателемъ. Она по его законамъ должна разрушаться, и съ каждымъ днемъ законы природы будутъ становиться слабѣе, и оттого границы, удерживающія сверхъестественное, приступнъе. Онъ уже и теперь нарождается, но только нъкоторая часть его порывается показаться въ міръ. Онъ избираетъ для себя жилищемъ самого человъка и показывается въ тъхъ людяхъ, отъ которыхъ уже, кажется, при самомъ рождения, отшатнулся ангелъ, и они ваклеймены страшною ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть создание

Творца. Таковъ-то быль и тоть дивный ростовщикъ, котораго дерзнулъ 🖡 я, окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это онь, сынъ мой, это быль самь антихристь. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, онъ бы удалился и исчезнуль, потому что не могъ жить долбе того тела, въ которомъ заключилъ себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бъеовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бъса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дъла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновение художника. Безчисленны будуть жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на земль. Это тотъ черный духъ, который врывается въ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помышленій. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болбе надблаль зла, и нътъ силъ человъческихъ противустать ему, потому что онъ именно выбираеть то время, когда величайшія несчастія постигають нась. Горе, сынь мой, бѣдному человѣчеству! Но слушай, что мнъ отврыла въ часъ святого видънія Сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дъвы Маріи, лиль слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребываль въ постъ и молитвъ, рист чтобы быть достойнъе изобразить божественныя черты Ея, я быль посъщень, сынъ мой, вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осънила меня. и ангель возносиль мою грѣшную руку, -- я чувствоваль, какъ шевелились на мнѣ волоса мон, и душа вся трепетала. О, сынъ мой! за эту минуту я бы тысячи взяль мукъ на себя. И я самъ дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталь мнъ во снъ пречистый ликъ Дъвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существование этого демона въ портретъ будеть не въчно, что если кто торжественно объявить его исторію по истеченіи пятидесяти лѣть въ первое новолуніе, то сила его погаснеть и разсвется, яко прахъ, и что я могу тебв передать это передъ моею смертію. Уже тридцать лёть протекло съ того времени, какъ онъ живеть; двадцать впереди. Помодимся, сынъ мой!» При этомъ онъ повергнулся на колъни и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всѣ эти слова приписываль распаленному его воображению, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и модитвами, и потому изъ уваженія не хотъль дълать какого-нибудь замъ-чанія или соображенія. Но, когда я увидъль, какь онъ подняль къ небу изсохшія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушеніемъ молчалъ онъ уничтоженный въ себъ самомъ, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молиль о тъхъ, которые не въ силахъ были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, съ какою пламенною скорбію простерся онъ, и по лицу его лились говорящія слезы, и во всёхъ чертахъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, -- о, тогда я не въ силахъ былъ предаться холодному размышленію и разбирать слова его! Нѣсколько лѣть прошло послѣ его смерти. Я не върилъ этой исторіи и даже мало думаль о ней; но никогда не могъ ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствоваль всегда что-то удерживавшее меня оть того. Сегодня безь всякой пъли зашель я на аувщонь и въ первый разъ разсказаль исторію этого необыкновеннаго портрета, такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о воторомъ говорилъ отецъ мой, потому что, дъйствительно, съ съ того времени прошло уже 20 лъть».

Туть разсказывавшій остановился, и слушатели, внимавшіе ему съ неразвлекаемымь участіемь, невольно обратили глаза свои къ странному портрету и, къ удивленію своему, замѣтили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болѣе

увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаеть дыханіе съ чистой стали. Что-то мутное осталось на полотить. И, когда подошли къ нему ближе, то увидѣли какой-то незначащій пейзажъ, такъ что посѣтители, уже уходя, долго недоумѣвали, дѣйствительно ли они видѣли таинственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

ВЗГЛЯДЪ НА СОСТАВЛЕНІЕ МАЛОРОССІИ¹).

I. Какое ужасно-ничтожное время представляеть для Россіи XIII въкъ! Сотни мелкихъ государствъ единовърныхъ, одноплеменныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ однимъ общимъ харавтеромъ, и воторыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство, -- эти мелкія государства такъ были между собою равъединены, какъ ръдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью - сильныя страсти не досягали сюда, - непостоянною политикою, слъдствіеть непреклоннаго ума и познанія жизни: это быль хаосъ браней за временное, за минутное — браней разрушительныхъ, потому что онъ мало-по-малу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную физіогномію при сильныхъ норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болѣе всего связываеть и образуеть народы, мало на нихъ дѣйствовала. Религія не срослась тогда тёсно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившіеся въ свои кельи и закрывшіе глаза для міра; молившіеся за всёхъ, но не знавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружія — въры, власть надъ народомъ и возжечь этой върой пламень и ревность до энтузіазма, который одинъ властенъ соединитъ младенчествующіе народы и настроить ихъ къ великому. Здёсь была совершенная противоположность Западу, гдё самодержавный папа, какъ-будто невидимою паутиною, опуталъ всю Европу своею религіозною властью, гдъ его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, гдъ угроза страшнаго проклятія обуздывала страсти и полудикіе народы. Здъсь монастыри были убъжищемъ тъхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключеніе изъ общаго характера и въка. Изръдка пастыри, изъ пещеръ и монастырей, увъщали удъльныхъ князей; но ихъ увъщанія были напрасны: внязья умбли только поститься и строить церкви, думая, что исполняють этимъ всѣ обязанности христіанской религіи, а не умѣли считать ее закономъ и покоряться ея велёніямъ. Самыя ничтожныя причины рождали между ними безконечныя войны. Это были не споры королей съ вассалами или вассаловъ съ вассалами: --- нътъ! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцомъ и дътьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ: — нътъ! брать брата ръзаль за клочокъ земли или, просто, чтобы показать удальство. Примъръ ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двухъ состанихъ удъловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другь противь друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наслъдственная вражда, потому что кто быль сегодня другь, тоть завтра дълался непріятелемъ. Народъ пріобръль

Digitized by Google

^{1) &}quot;Эскняъ этотъ составлялъ введеніе къ Исторін Малороссін; но, такъ какъ вся первая часть Исторін Малороссіи передълана вовсе, то онъ остался заштатнымъ и помъщается здъсь, какъ совершенно огдъльная статья".

хладнокровное звърство, потому что онъ ръзалъ, самъ не зная за что. Его не разжитало ни одно сильное чувство — ни фанатизмъ, ни суевъріе, ни даже предразсудовъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти всъ человъческія сильныя, благородныя страсти, и если бы явился какой-нибудь геній, который бы захотълъ тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашелъ въ немъ ни одной струны, за которую бы могъ ухватиться и потрясти безчувственный составъ его, выключая развъ физической желъзной силы. Тогда исторія, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цъломъ, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествіе. Изъ Азіи, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершившій столько завоеваній, сколько до него не производилъ никто. Ужасные монголы, съ многочисленными, никогда дотолѣ невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, освѣтивши путь свой пламенемъ и пожарами — прямо азіатскимъ буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухвѣковое рабство и скрыло ее отъ Европы. Было ли оно спасеніемъ для нея, сберегши ее для независимости, потому что удѣльные князья не сохранили бы ея отъ литовскихъ завоевателей, или оно было наказаніемъ за тѣ безпрерывныя брани, — какъ бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія слѣдствія: оно наложило иго на сѣверныя и среднія русскія княженія, но дало, между тѣмъ, происхожденіе новому славянскому поколѣнію въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба, и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болье всего пострадала оть татарь. Выжженные города и степи, обгоръдые яъса, древній разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня — воть что представляла эта несчастная страна! Напуганные жители разбѣжались или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выбхало въ съверную Россію. Еще прежде народонаселеніе начало замътно уменьшаться въ этой сторонъ. Кіевъ давно уже не былъ столицею; значительныя владънія были гораздо съвернье. Народъ, какъ бы понимая самъ свою ничтожность, оставляль ть мъста, гдъ разновидная природа начинаеть становиться изобрътательницею, гдъ она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю въ цвътахъ, и по всъмъ вьющимся лентамъ ръкъ разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Дивпръ, съ ненасытными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмѣримыми лугами — и все это согрѣда умѣреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставлялъ эти мъста и столплялся въ той части Россіи, гдъ мъстоположеніе, однообразно-гладкое и ровное, вездѣ почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движенія, но какое-то прозябаніе, поражающее душу мыслящаго. — Какъ будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и харавтеромъ ищеть мощныхъ мъстоположеній, или что только смълыя и поразительныя мъстоположенія образують смълый, страстный, характерный наролъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-по-малу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи начали селиться въ этой землъ, настоящей отчизнъ славянъ, землъ древнихъ полянъ, съверянъ, чистыхъ славянскихъ племенъ,

которыя: въ Великой Россіи начинали уже смѣшиваться съ народами финскими, но здёсь сохранялись въ прежней цёльности, со всёми языческими повърьями, дътскими предразсудками, пъснями, сказками, славянской миеологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ христіанствомъ. Возвращавшіеся на свои мъста прежніе жители привели по слъдамъ своимъ и выходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народъ быль не за горами: ихъ раздъляли или, лучше сказать, соединяли однъ степи. Несмотря на пестроту населенія, здъсь не было твхъ браней междоусобныхъ, которыя не переставали во глубинъ Россіи: опасность со всёхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя матерь городовъ русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бъденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами стверной России. Всъ оставили его, даже монахи-лътописцы, для которыхъ онъ всегда былъ священъ. Извъстія о немъ разомъ прерванись и, несмотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей русскихъ, ничто не спасло его отъ полувѣкового забвенія. Изрёдка только, какъ будто сквозь сонъ, говорять лётописцы, что онъ быль страшно разоренъ, что въ немъ были ханскіе баскаки, — и потомъ онъ отъ нихъ задернулся какъ бы непроницаемою завѣсою.

У. Между тёмъ какъ Россія была повергнута татарами въ бездёйствіе и оцъпенъніе, великій язычникъ, Гедиминъ, вывелъ на сцену тогдашней исторіи новый народъ, — народъ бъдный и жизнью, и средствами для жизни, населявшій ликіе сосновые льса ныньшней Бълоруссіи, еще носившій звъриную кожу витесто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огню въ нетроганныхъ топоромъ рощахъ, платившій прежде дань русскимъ князьямъ, извъстный подъ именемъ литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князъ Гедиминъ сдълался самымъ виднымъ на огромномъ съверо-востокъ Европы! Тогда города, княжества и народы на занадъ Россіи были какіе-то отрывки, обръзки, оставшіеся за гранью татарскаго порабощенія. Они не составляли ничего цълаго, и потому литовский завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и татарской Россіей. Потомъ двинулъ онъ войска свои на югъ, во владънія волынскихъ князей. Весьма естественно, что успѣхъ сопровождаль его вездѣ. Въ Луцкѣ, однакожъ, князь Левъ сильно сопротивлялся, но не въ силахъ былъ отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ своихъ старостъ и начальниковъ, шелъ далѣе на югъ, къ самому сердцу южной Россіи, къ Кіеву. Убъжавшій луцкій князь Левъ успълъ кое-какъ уговорить кіевскаго князя Станислава выйти съ своими немноголюдными дружинами навстрёчу грозному побёдителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но все бъжало передъ мощнымъ литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при ръкъ Ирпети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, носившій на себъ свъжую печать татарскаго посъщенія, и постановиль въ немъ правителемъ князя Миндова Ольшанскаго, принявшаго греческую въру. Итакъ, литовскій завоеватель у самыхъ татаръ вырвалъ почти передъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человъкъ ума кръпкаго, былъ политикъ, несмотря на видимую свою дикость и свое невъжественное время. Онъ умълъ сохранить пружбу съ татарами, владъя отнятыми у нихъ землями и не платя никакой дани. Этотъ дикій политикъ, не знавшій письма и поглонявшийся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ

народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древняго правленія: все оставилъ попрежнему, подтвердилъ всѣ привилегіи и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права, нигдѣ даже не означилъ пути своего опустошеніемъ. Совершенная ничтожность окружавшихъ его народовъ и прочихъ историческихъ лицъ придають ему какой-то исполинскій размѣръ. Онъ умеръ въ 1340 году; мертвый былъ посаженъ на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничении собаками, соколами и сожженъ по языческому обычаю литовцевъ. Вслѣдъ за нимъ такiе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, подъ могущественнымъ покровительствомъ литовскихъ князей, совершенно отдѣлилась отъ сѣверной. Всякая связь между ними разорвалась; составились два государства, называвшіяся одинакимъ именемъ — Русью, одно подъ татарскимъ игомъ, другое подъ однимъ скинетромъ съ литовцами. Но уже сношеній между ими не было. Другіе законы, другіе обычаи, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло, составляетъ цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непремѣнно должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависитъ образъ жизни и даже характеръ народа. Многое въ исторіи разрѣшаетъ географія.

Эта земля, получившая послѣ названіе Украины, простирающаяся на съверъ не далъе 50° широты, болъе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встръчаются очень часто, но ни одной гористой цъпи. Съверная ея часть перемежается лъсами, содержавшими прежде въ себъ цълыя шайки медведей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта, вся изъ степей, кипевшихъ плодородіемъ, но только изръдка засъвавшихся хлъбомъ. Дъвственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти степи книтали стадами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бродившихъ табунами. Съ съвера на югъ проходить великій Дизпръ, опутанный вътвями впадающихъ въ него ръкъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ плънительныя и витсть дерзкія исстоположенія; львый — весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двѣнадцать пороговъ — выросшихъ изъ дна ръки скалъ — недалеко отъ впаденія его въ море, преграждаютъ течение и дълають плавание по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикихъ козъ — сугаки, съ бълыми лоснящимися рогами, съ мяткою, атласною шерстью. Прежде воды въ Днвпръ были выше, разливался онъ шире и далбе потоплялъ луга свои. Когда воды начинають опадать, тогда видъ поразителенъ: всъ возвышенности выходять и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Дибпръ впадаеть только одна судоходная ръка, Десна, проходящая въ съверной Украинъ, съ лъсистыми берегами, почти съ объихъ сторонъ потопляемыми водою; но и эта ръка только въ нъкоторыхъ мъстахъ судоходна. Кромъ того, на съверъ Остеръ и часть Сейма, на югъ Сула, Пселъ, съ цъпью видовъ, Хоролъ и другія; но ни одна изъ нихъ не судоходна. Сообщенія никакого нѣтъ, произведенія не могли взаимно размѣниваться — и потому здѣсь не могь и возникнуть торговый народь. Всё рёки развётвляются посерединё, ни одна изъ нихъ не протекала на рубежъ и не служила естественною гранью съ сосъдственными народами. Къ съверу ли съ Россіей, къ востоку ли съ випчакскими татарами, къ югу ли съ крымскими, къ западу ли съ Польшей,вездѣ она граничила полемъ, вездѣ равнина, со всѣхъ сторонъ открытое мъсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или

моря — и народъ, поселившійся здъсь, удержалъ бы политическое бытіе свое, составнять бы отдъльное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошеній и набъговъ, — мъстомъ, гдъ сшибались три враждующія націн, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ татарскій набздъ разрушаль весь трудь земледбльца; луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, дегкія жилища сносимы до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ пленъ вместе съ скотомъ. Это была земля страха, и потому въ ней могъ образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ, — народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взлелтьяна войною. И воть выходцы вольные и невольные, бездомные, ть, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — копейка, которыхъ буйная воля не могла терпъть законовъ и власти, которымъ вездъ грозила висълица, расположились и выбрали самое опасное мёсто въ виду азіатскихъ завоевателей — татаръ и турокъ. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила цълый народъ, набросившій свой характерь и, можно сказать, колорить на всю Украину, сдъдавшій чудо — превратившій мирныя сдавянскія покол'єнія въ воинственныя, извёстный подъ именемъ козаковъ, народъ, составляющій одно изъ замвчательныхъ явленій европейской исторія, которое, можеть-быть, одно сдержало это опустопительное разлитие двухъ магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не къ концу XIII, то къ началу XIV въка можно отнести появление козачества, въ тёмъ вёкамъ, когда святая, сильная ревность къ религін еще не остыла въ Европѣ, когда почти вдругъ во всѣхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странную противоположность съ тогдашнимъ разъединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергнувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дъль міра, желъзные поборники веры Христовой. Чемъ слабее была связь тогдашнихъ государствъ, тъмъ сильнъе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе магометанства и магометанскихъ новыхъ сильныхъ народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болве. Духъ этихъ братствъ распространился вездъ и не между рыцарями, и не для подобныхъ предназначений. Въ это время явился близь пороговъ городокъ, или острогъ – Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучить обитателями Кавказа, котораго даже построеніе многіе приписывають имъ, и гдъ было главное сборище и мъстопребывание козаковъ. Вначалъ частыя нападения татаръ на съверную часть Украины заставляли жителей спасаться бъгствомъ, приставать въ козакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было пестрое сборище самыхъ отчаянныхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горець, ограбленный россіянинъ, убъжавшій отъ деспотизма пановъ польскій холопъ, даже бъглецъ исламизма — татаринъ, можетъ-быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Дибира, впослъдствія постановившему цълью, подобно орденскимъ рыцарямъ, въчную войну съ невърными. Это скопище людей не имъло никакихъ укръпленій, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники въ днѣпровскихъ утесахъ, часто подъ водою, на днѣпровскихъ островахъ, въ гущѣ степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для на-грабленныхъ богатствъ. Гнѣздо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назадь. Они поворотили противъ татаръ ихъ же образъ войны — тв же азіатскіе набъги. Какъ жизнь ихъ опредълена была на въчный страхъ, такъ точно, съ своей стороны, они рышились быть страхомь для сосъдей. Татары и турки

должны были всякій чась ожидать этихь неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометанскій сосёдь не зналь, какъ назвать этоть ненавистный народь. Если кто хотёль къ кому выразить величайшее презрёніе, то называль его козакомъ.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однакожь, изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіи. Доказательство – въ языкъ. который, несмотря на принятіе множества татарскихъ и польскихъ словъ. имълъ всегда чисто-славянскую южную физіогномію, приближавшую его къ тогдашнему русскому, и въ въръ, которая всегда была греческая. Всякій имълъ полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ былъ непремънно принять греческую религію. Это общество сохраняло всё ть черты, которыми рисують шайку разбойниковь, но, бросивши взглядь глубже, можно было увильть въ немъ зародышъ политическаго тъда, основание характернаго народа, уже въ началъ имъвшаго одну главную цъль — воевать съ невърными и сохранять чистоту религіи своей. Это, однакожъ, не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обътовъ. никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержаніемъ и умерщивленіемъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ днъпровскіе пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршествахъ и бражничествъ позабывали весь міръ. То же тёсное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общее — вино, цехины, жилища. Въчный страхъ, въчная опасность внушали имъ какое-то презрѣніе къ жизни. Козакъ больше заботился о доброй мъръ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смётливость ума, все умёнье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видёть этого обитателя пороговъ въ полутатарскомъ, полупольскомъ костюмъ, на которомъ такъ ръзко отпечаталась пограничность земли, азіатски мчавшагося на конъ, пропадавшаго въ густой травъ, бросавшагося съ быстротою тигра изъ непримътныхъ тайниковъ своихъ, или вылъзавшаго внезащно изъ ръки или болота, обвъшаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилищемъ бъгущему татарину. Этотъ же самый возакъ, послъ набъга, когда гулялъ и бражничалъ съ своими товарищами, сорилъ и разбрасываль награбленныя сокровища, быль безсмысленно пьянь и безпечень до новаго набъга, если только не предупреждали ихъ татары, не разгоняли ихъ пьяныхъ и безпечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный, ужасный набъгъ быль отмщеніемь. Посль чего снова та же безпечность, та же разгульная ЖИЗНЬ. 謞

IX. Казалось, существованіе этого народа было вѣчно. Онъ никогда не уменьшался: выбывшіе, убитые, потонувшіе замѣнялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякаго. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, въ свою очередь, стремился быть дѣйствующимъ лицомъ, а не зрителемъ. Это скопленіе мало-по-малу получило совершенно одинъ общій характеръ и національность, и, чѣмъ ближе къ концу XV вѣка, тѣмъ болѣе увеличивалось приходившими вновь. Наконецъ, цѣлыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ мѣста около Кіева начали пустѣть, а между тѣмъ по ту сторону Днѣпра люднѣли. Семейные и женатые мало-по-малу оть обращенія и сношенія съ ними получали тоть же воинственный характеръ. Сабля и нлугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тѣмъ, разгульные холостяки, вмѣстѣ съ червонцами, цехинами и

272

лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшепія черты лица ихъ, вначалѣ разнохарактерныя, получили одну общую физіогномію, болѣе азіатскую. И вотъ составился народъ, по вѣрѣ и мѣсту жительства принадлежавшій Европѣ, но, между тѣмъ, по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азіатскій, — народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свѣта, двѣ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азіатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дѣятельность и величайшая лѣнь и нѣга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію — и между тѣмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе.

1832.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

18

273



НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПУШКИНЪ.

При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ естъ явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тоть же разгуль и раздолье, кь которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и которое всегда нравится свъжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свъть. — Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдъ границы Россіи отличаются ръзкою, величавою характерностью, гдъ гладкая неизмъримость Россіи перерывается подоблачными горами и обвъвается югомъ. Исполинскій, покрытый вечнымъ снёгомъ Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послъднія цъпи, которыя еще тяготыи на свободныхъ мысляхъ. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ висть его пріобрѣла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только-что начинавшую читать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку чеченца съ козакомъ — слогь его молнія; онъ такъ же блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстръе самой битвы. Онъ одинъ только пѣвецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолъпными крымскими ночами и садами. Можеть-быть, отгого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣе тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смълое болъе всего доступно, сильнѣе и просторнѣе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждеть одного необыкновеннаго. Ни одинь поэть въ Россіи не имћлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ; ничья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имћло въ себћ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду ¹).

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоить не вь описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываеть совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуютъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говоритъ такъ, что соотецолжно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смѣлъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая піеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой піесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполнѣ національнымъ поэтомъ, эти поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышитъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, горцы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи поражены смълостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всъ читатели его, и образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія пронсшествія сділались предметомь его поэзін, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болье спокойный и гораздо менье исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лиць своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: «Изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ, представь дъла нашихъ предковъ въ такомъ видь, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея вельнію, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговорить: «Это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа въ этомъ случат на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портреть совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умълъ скрыть всъхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени послѣдняго ен направленія при императорахъ пріобрѣтаеть яркую живость; до того характерь народа большею частію быль безцвізтенъ, разнообразіе страстей ему мало было извѣстно. Поэть не виновать; но и въ народѣ тоже весьма извинительное чувство придать большій размбрь дбламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняеть сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа —

¹⁾ Подъ именемъ Пушкина разсвивалось множество самыхъ нелвпыхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося сильною извъстностью. — Это вначалъ смъшитъ, но послъ бываетъ досадно, когда, наконецъ, выходишь изъ молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Такимъ образомъ, началя, наконецъ, Пушкину приписывать: "Лъкарство отъ холеры", "Первую ночи" и тому подобныя.

на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ: быть высокимъ тамъ, гдъ высокъ предметъ, быть ръзкимъ и смълымъ, гдъ истинно-ръзкое и смъдое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдъ не кипить происшествіе. Но въ этомъ случаь, прощай толпа! ся не будеть у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и ръзокъ, что не можеть не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избраль поэть, потому что хотълъ остаться поэтомъ, и потому что у всякаго, кто только чувствуеть въ себѣ искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой таланть такимъ средствомъ. Никто не станеть спорить, что дикій горець въ своемъ воинственномъ костюмъ, вольный, какъ воля, самъ себъ и судья и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засъдателя и, несмотря на то, что онъ заръзалъ своего врага, притаясь въ ущельъ, или выжегъ цёлую деревню, однакоже, онъ болъе поражаеть, сильные возбуждаеть въ насъ участие, нежели нашъ судья въ истертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода кръпостныхъ и своболныхъ душъ. – Но тоть и другой, они оба – явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имъть право на наше вниманіе, хотя по весьма естественной причинъ то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъе поражаеть наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кромъ неразсчетъ поэта — неразсчетъ передъ его многочисленною публикою, а не предъ собою: онъ ничуть не теряеть своего достоинства. даже, можеть быть, еще болье пріобрътаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цёнителей. Мнё пришло на память одно происшествіе изъ моего дътства. Я всегда чувствовалъ въ себъ маленькую страсть въ живописи. Меня много занималь писанный мною пейзажь, на первомъ планъ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнъ; знатоки и судьи мои были окружные сосёди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачаль головою и сказаль: «Хорошій живописець выбираеть дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свъжіе, хорошо растущее, а не сухое». Въ дътствъ мнъ казалось досадно слышать такой судъ, но послъ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпъ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышить у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понять тоть, чья душа носить въ себѣ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организирована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ; потому что чѣмь предметь обыкновенные, тымь выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и, чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина. По справедливости ли оцънены послъднія его поэмы? Опредѣлиль ли, поняль ли вто «Бориса Годунова», это высовое, глубовое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мъръ, печатно нигдъ не произнеслась имъ върная оцънка, и они остались донынѣ нетронуты.

Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологіи, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще общирнѣе, виднѣе, нежели въ поэмахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко-ослѣпительны, что ихъ способенъ понимать всякій, но зато большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ

тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можеть понимать только однъ слишкомъ ръзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нъкоторомъ отношении сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который бсть птичку не болбе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсъмъ неопредъленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привывшему глотать яздълія кръпостного повара въ грязномъ фартукъ, нюхающаго табакъ во время своей стряшни и съ малиновымъ носомъ. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струъ какой-нибудь серебряной ръки. въ которомъ быстро и ярко мелькають ослёпительныя плечи или бёлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная сънь, созданная для жизни. Туть все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругь объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣть этого каскада краснорбчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ. всей массы, но если отдълить ее, она становится слабою и безсильною. Здъсь нъть красноръчія, здъсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругъ; все даконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначають все. Въ каждомъ словъ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходить то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нѣсколько разь, тогда какъ достоинства этого не имъетъ сочинение, въ которомъ слишкомъ просвъчиваеть одна главная идея.

Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, покамѣсть еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дѣло! Казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и, вмѣстѣ, такъ дѣтски чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы, это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя однимъ поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣй уменьшается кругъ обступившей его толпы, и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнитедей.

1832.

ОБЪ АРХИТЕКТУРѢ НЫНѢШНЯГО ВРЕМЕНИ.

Мнѣ всегда становится грустно, когда я гляжу на новыя зданія, безпрерывно строящіяся, на которыя брошены милліоны, и изъ которыхъ рѣдкія останавливаютъ изумленный глазъ величествомъ рисунка или своевольной дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослѣпительною пестротою украшеній. Невольно втѣсняется мысль: неужели прошелъ невозвратимо вѣкъ архитектуры? неужели величіе и геніальность больше не посѣтятъ насъ? или они — принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергіи и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отчего же тѣ народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мѣсто въ исторіи міра, — отчего же они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, не освѣщеннаго дробью познаній ума? Отчего же колоссальные памятники индусовъ такъ величавы и неизмѣримы, отчего аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отчего у насъ въ Европѣ въ средніе вѣка такъ много воздвигдось ихъ въ изумительномъ величія?

Не хотълось бы убъдиться въ этой грустной мысли, но все говорить, что она истинна. Они прошли — тъ въка, когда въра, пламенная, жаркая въра, устремляла всъ мысли, всъ умы, всъ дъйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и предъ нимъ, почти въ виду его, благоговъйно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летъло къ небу; узкія окна, столны, своды тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, почти кружевной шпицъ, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тъла.

Была архитектура необыкновенная, христіанская, національная для Европы — и мы ее оставили, забыли, какъ будто чужую; пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три въка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесамъ древнимъ, римскимъ и византійскимъ, или уродовала ихъ но своимъ формамъ, — Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было ничто все ею видънное, что въ нѣдрѣ ея находятся миланскій и кёльнскій соборы, и еще донынѣ чернѣютъ кирпичи недоконченной башни страсбургскаго мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась передь окончаниемъ среднихъ въковъ, есть явление такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображение человъка. Ее напрасно производять отъ арабской: идеи этихъ двухъ родовъ совершенно расходятся; изъ арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массъ здания роскошь украшений и легкость, но самая эта роскошь украшений вылилась у ней совершенно въ другую форму. Она общирна и возвышенна,

какъ христіанство. Въ ней все соединено вмѣстѣ: этотъ стройно и высоко возносящійся надъ головою лѣсъ сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными измѣненіями и переплетами, присоединеніе къ этой ужасающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пестрыхъ украшеній; эта легкая паутина рѣзъбы, опутывающая его своею сѣтью, обвивающая его отъ подножія до конца шпица и улетающая вмѣстѣ съ нимъ на небо; величіе и вмѣстѣ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такія достоинства, которыхъ никогда, кромѣ этого времени, не вмѣщала въ себѣ архитектура. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядятъ разноцвѣтныя стекла длинныхъ оконъ, поднявши глаза кверху, гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ, — весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣетъ и коснуться дерзновенный умъ человѣка.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Какъ только энтузіазмъ среднихъ въковъ угасъ, и мысль человъка раздробилась и устремилась на множество разныхъ цълей, какъ только единство и цълость одного исчезли, --витсть съ тъмъ исчезло и величіе. Силы его, раздробившись, сдълались малыми: онъ произвелъ вдругъ во всёхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполинскаго уже не было. Византійцы, убъжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ европейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византійцы давно уже не имѣли древняго аттическаго вкуса; они уже не имѣли и первоначальнаго византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, вруглыя, плёнительныя, сладострастныя формы куполовь и колоннъ тщились примѣнить въ христіанству, и примѣнили такъ же неудачно, какъ неудачно привили христіанство къ своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполъ вытянулся вверхъ и сдълался почти угловатымъ; стройныя линія, фронтоны какъ-то странно издомались и произвели ничтожныя формы. Въ такомъ видѣ получили эту архитектуру европейцы, которые, съ своей стороны, измѣнили ее еще болѣе, потому что въ душѣ своей еще носили первоначальный образъ готическій и мысль, совершенно противоположную разслабленной многосторонности грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колоннами, полуколоннами безъ всякой цъли. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество мисологическихъ головъ и украшений безъ смысла, облъпивъ тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили кръпкихъ чертъ ся нъжными и не выразили никакой идеи. Отремдение въ высоту, сообщавшее величие и легкость самымъ тяжелымъ массамъ, исчезло; вмъсто того онъ разъбхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началѣ XVIII вѣка, еще менѣе выражаютъ идею своего назначенія. Глядя на нихъ, кажется, чувствуешь то же, какъ если бы человѣкъ грубый началъ поддѣлываться подъ свѣтскую утонченность. Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соединялась съ выгнутою и кривою; при полуготической формѣ всей массы, они ничего не имѣють въ себѣ готическаго; окна мелкія, сбитыя въ кучу, или раскиданныя безъ всякой гармоніи, пилястры, не тянувшіяся во всю длину зданія, но приклеенныя иногда вверху, подъ куполомъ, иногда на серединѣ, коротенькіе, неуклюжіе, сверхъ которыхъ часто находится другой этажъ такихъ же колоннъ, маленькихъ, некрасивыхъ; крыша изъ ломаныхъ линій; при этомъ часто удерживался и готическій шпицъ, но уже не тотъ легкій и прозрачный, который подъ рукою художника среднихъ вѣковъ принималъ такую

воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летълъ къ небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено, какъ безвкусное.

Хотя вь продолженіе XVIII въка вкусь нъсколько улучшился, но изъ этого не выиграли мы ровно ничего: онь улучшился въ веригахъ чужихъ формъ, Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она въ греческой формъ была уже до невозможности безобразна. Тогда еще съ большимъ рвеніемъ стали изучать древнія формы, но изучали такъ, какъ робкіе ученики, копирующіе съ точностью мелочныя подробности оригинала и позабывающіе объ идет цтлаго. Брали части и съ необыкновеннымъ излишествомъ лѣпили въ огромную массу, показавшую еще никогда дотолѣ небывалое разъединение въ цъломъ. Колонны и куполъ, больше всего прельстившіе насъ, начали приставлять къ зданію безъ всякой мысли и во всякомъ мѣстѣ: они уже не были главною идеею строенія, а только частями, или, лучше, украшеніями его. Размъръ самаго строенія мы увеличили гораздо болѣе, а размѣръ купола въ отношеніи къ строенію уменьшили. Мы не посмотрбли въ увеличительное стекло на строеніе, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извъстное разстояние, но смотръли вблизи. Куполъ сдълался ничтожнымъ, малымъ. Видя его пустынность и одиночество на верху зданія, прибавили къ нему нъсколько другихъ, возвысили для этого надъ ними башни — и куполы стали походить на грибы. И куполъ, это лучшее, прелестнъйшее твореніе вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должень быль обнять все строеніе и роскошно отдыхать на всей его массъ бълою, облачною своей поверхностью, исчезъ совершенно. Я люблю куполь, тоть прекрасный, огромный, дегко-выпуклый куполь, который возродиль роскошный вкусь грековь въ александрійскій въкъ и позже, въ въкъ наслажденій и эгоизма, въкъ утонченнаго раздробленія жизни, въкъ антологіи, легкой, душистой, дышащей сладострастіемь, ленью и роскошью, когда каждый принадлежаль себь, жиль для себя, а не для общества, когда на великолъпныхъ, роскошныхъ баняхъ, вездъ былъ виденъ этотъ смъло-выпуклый, какъ небесный сводъ, куполъ. Ничто не можетъ такъ сладострастно, такъ плънительно украсить массу домовъ, какъ такой куполъ. Но для этого онъ долженъ быть помъщенъ только на томъ здании, которое неизмъримо своею шириною и какъ можно болбе захватываетъ пространства; онъ долженъ лечь на всей общирной его платформъ; онъ долженъ быть свътлъе самого зданія, и лучше, если онъ весь бълый. Ослъпительная бълизна сообщаеть неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой формь, — онъ тогда лучше, роскошнѣе и облачнѣе круглится на небѣ. И донынѣ города сирійскіе и антіохійскіе имѣють необыкновенную прелесть черезь то, что удержали нъкоторое подобіе этихъ куподовъ; и донынъ на Востокъ можно встрътить ихъ въ величавомъ и огромномъ видъ.

Портикъ съ колоннами, это ясное произведеніе аттическаго стройнаго вкуса, который не терпѣлъ надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже пропалъ: ему не догадались дать колоссальнаго размѣра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видѣ. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колоннами лѣпились только надъ крыльцами ихъ. Громоздимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ башни и массы, вовсе ему не отвѣчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, не имѣющій обширнаго генія, всегда недоволенъ однимъ простымъ сюжетомъ и, вмѣсто

того, чтобы развить его и сдёлать огромнымъ, онъ привязываеть къ нему множество другихъ; его поэма обременяется пестротою разныхъ предметовъ, но не имъетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цълаго.

Въ началъ XIX стольтія вдругь распространилась мысль объ аттической простотъ и такъ же, какъ обыкновенно бываеть, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одъяніе гетеръ. Казалось, еще ближе присмотрълись къ древнимъ, еще глубже изучили ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатовъ мелкости и миніатюрности: узнали искусство болье связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цёлому и опредблить ему разм'бръ, способный вызвать изумленіе. Это новое стремленіе рѣшительно было издержано на мелочныя бесъдки, павильоны въ садахъ и подобныя небольшія игрушки. Онъ носили въ себѣ много аттическаго, но ихъ нужно было разсматривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться; онь сдъдались, наконець, просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуръ внушила мысль о соразмърности, не о той соразмърности, которая должна быть въ строеніи въ отношеніи къ нему самому, но просто о соразмърности въ отношении въ окружающимъ его зданіямъ. Это все равно, если бы геній сталь удерживаться оть оригинальнаго и необыкновеннаго, потому только, что передъ нимъ будутъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмёрность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе, какъ бы велико ни было въ своемъ объемъ, но непремънно чтобы казалось малымъ. Его стали усдинять и помѣщать на такой огромной и общирной площади, что оно казалось еще болье ничтожнымъ. Какъ будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совстять не велико: какъ будто бы насильно старались истребить въ душѣ благоговение и сдълать человъка равнодушнымъ ко всему.

Всъмъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались пълать какъ можно болъе похожими одинъ на другого; но они болбе были похожнии на сараи и казарны, нежели на веселыя жидища людей. Совершенно гладкая ихъ форма ничуть не принимада живости оть маленькихъ правильныхъ оконъ, которыя въ отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тшеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили пълые города въ ея духъ! Осмълился бы вто-нибудь даже теперь, среди этой гладкооднообразной кучи, воздвигнуть зданіе, носившее бы на себѣ печать особенной, ръзкой архитектуры, осмълился бы кто-нибудь возлъ строенія въ аттическомъ вкусъ непосредственно воздвигнуть готическое, - его бы сочли едва ли не сумасшедшимъ! Оттого новые города не имъють никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки, такъ монотонны, что, прошедши одну улицу. уже чувствуещь скуку и отказываешься оть желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стънъ, и больше ничего. Напрасно ищеть взглядъ, чтобы одна изъ этихъ безпрерывныхъ стънъ въ какомъ-нибудь мъстъ вдругъ возросла и выбросилась на воздухъ смълымъ переломленнымъ сводомъ или изверглась какою-нибудь башней гигантомъ. Старинный германскій городокъ съ узенькими улицами, съ пестрыми домиками и высокими колокольнями имъетъ видъ несравненно болѣе говорящій нашему воображенію. Даже видъ какого-нибудь восточнаго города, съ высокими, тонкими минаретами, съ косточными пестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имъетъ болъе характера, болъе дышитъ

поэзіей и воображеніемъ, нежели наши европейскіе города позднъйшей архитектуры

Башни огромныя, колоссальныя необходимы въ городъ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для христіанскихъ церквей. Кромъ того, что онъ составляють видъ и украшеніе, онъ нужны для сообщенія городу ръзкихъ примътъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы путь всякому, не допуская сбиться съ пути. Онъ еще болъе нужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядъть одинъ только городъ, между тъмъ какъ для столицы необходимо видъть, по крайней мъръ, на полтораста верстъ во всъ стороны, и для этого, можетъ-быть, одинъ только или два этажа лишнихъ — и все измъняется. Объемъ кругозора по мъръ возвышенія распространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаетъ существенную выгоду, обозръвая провинціи и заранъе предвидя все; зданіе, сдълавшись немного выше обыкновеннаго, уже пріобрътаетъ величіе; художникъ выигрываетъ, будучи болъе настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнъе чувствуя въ себъ напряженіе.

Это направленіе архитектуры старалось, какъ будто нарочно, скрывать свое величіе, витсто того, чтобы какъ можно болте выказывать его пространство. Нътъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно неизмъримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталь, пораженный внезапнымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояніи окинуть глазами его вершину. И потому строеніе всегда лучше, если стонть на тёсной площади. Къ нему можетъ идти улица, показывающая его въ перспективъ, издали, но оно должно имъть поражающее величіе вблизи. Чтобы дорога проходила мимо ero! Чтобы кареты грембли у самаго его подножія. Чтобы люди лёпились подъ нимъ и своею малостью увеличивали его величіе! Дайте человъку большое разстояніе — и онъ уже будеть глядъть выше, гордо, на находящіеся предъ нимъ предметы; ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезапное, оглушающее съ перваго взгляда, производить на насъ потрясение. И потому вышину строенія подымайте въ соразмърности съ площадью, на которой оно стоить. Если оно съ послёдняго края площади важется малымъ, и зритель не ощущаеть изумленія, но должень для этого близко подходить къ нему, то зданіе пропало, а визсть съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь въ простотъ архитектуры, которая заразила нашъ XIX въкъ. Сами греки чувствовали, что однъ прямыя линіи и совершенная простота строеній будуть казаться уже черезчуръ плоскими, особливо если множество такого рода строеній соединятся вмъстъ. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строеній должна непремѣнно имѣть возлѣ себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть болѣе оригинальною и замѣтною, и потому простирали надъ ними навѣсъ древесный. Бѣлизна прямолинейной стѣны или стройнаго съ колоннами фронтона, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дѣйствительно хороша, потому что составляетъ контрастъ съ облачнымъ расположеніемъ дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающаго свои вѣтви. Какъ только зданіе ихъ окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно болѣе игры. Мысль о деревѣ и о природѣ прежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городѣ дерево — драгоцѣнность: тогда они чаще начали употреблять не гладкія дорическія колонны, но

большею частію кориноскія съ капителью изъ завитыхъ листьевъ. Вообще убирать строенія листьями, выющимися гроздіями винограда, или украшеніями, носящими неясный образъ вътвей дерева, было инстинктомъ у всъхъ народовъ. Они невольно, слёпо слёдовали тайному внушению своего вкуса. Въ готической архитектурь болье всего замьтень отпечатовь, хотя неясный, тысно сплетеннаго лёса, мрачнаго, величественнаго, гдё топорь не звучаль отъ въка. Эти стремящіяся нескончаемыми линіями украшенія и съти сквозной ръзьбы не что другое, какъ темное воспоминание о стволь, вътвяхъ и листьяхъ превесныхъ. И потому смъло возлъ готическаго строенія ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будеть стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями. И готическое и греческое получить оть этого двойную прелесть. Истинный эффекть заключень въ ръзкой противоположности; красота никогда не бываеть такъ ярка и видна, какъ въ контрастъ. Контрастъ тогда только бываетъ дуренъ, когда располагается грубымъ вкусомъ или, лучше сказатъ, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса, но, находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ первое условіе всего и дъйствуеть ровно на всёхъ. Разныя части его гармонирують между собою по тёмъ же законамъ, по которымъ цвъть палевый гармонируеть съ синимъ, бълый съ голубымъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далъе. — Все зависитъ оть вкуса и оть умънія расположить. Не мъшайте только въ одномъ зданіи множества разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждый носить въ себѣ что-то цѣлое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными, въ отношении ихъ другъ въ другу, будетъ ръзва и сильна. Чёмь болёе въ городё памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тёмъ онъ интереснье, тъмъ чаще заставляеть осматривать себя, останавливаться съ наслажденіемъ на каждомъ шагу. Неужели было бы хорошо, если бы въ англійскомъ саду, вмъсто безпрерывныхъ, неожиданныхъ видовъ, гуляющій находиль ту же самую дорожку или, по крайней мъръ, такъ похожую своими окрестностями на видённую имъ прежде, что она кажется давно извъстною?

Терпимость намъ нужна; безъ нея ничего не будетъ для художества. Всё роды хороши, когда они хороши въ своемъ родъ. Какая бы ни была архитектура — гладкая, массивная египетская, огромная ли, пестрая индусовъ, роскошная ли мавровъ, вдохновенная ли и мрачная готическая, граціозная ли греческая — всё онѣ хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всѣ онѣ будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы, однакожъ, потребовалось отдать рѣшительное преимущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его готической. Она чисто-европейская, созданіе европейскаго духа, и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходить всѣ другія. Но изъ милости, изъ состраданія не ломайте, не коверкайте ея! Глядите чаще на знаменитый кёльнскій соборъ — тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго памятника никогда не производили ни древніе, ни новые вѣки. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она болѣе даеть разгула художнику. Воображеніе живѣе и пламеннѣе стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линіи и безкарнизныя готическія пилястры, узко одна отъ другой, должны летѣть черезъ все строеніе. Горе, если онѣ отстоять далеко другь отъ друга, если строеніе не перевысило, по крайней мѣрѣ, вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само въ себѣ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно: чтобы выше, выше,

сколько можно выше, поднимались его стѣны, чтобы гуще, какъ стрѣлы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные угольные столбы! Никакого перерѣза, или перелома, или карниза, давшаго бы другое направленіе или уменьшившаго бы размѣръ строенія! Чтобы они были ровны отъ основанія до самой вершины! Огромнѣе окна, разнообразнѣе ихъ форму, колоссальнѣе ихъ высоту! Воздушнѣе, легче шпицъ! Чтобы все, чѣмъ болѣе подымалось кверху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. И помните самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здѣсь одна законодательная идея — высота.

Я увъренъ, что нъкоторые будуть утверждать, что постройка зданія слишкомъ высокаго безполезна, потому что намъ нужно больше мъста, что высота ни въ чему не служить и даромъ истрачиваеть матеріалы. Но я вовсе не совътую этотъ готический образъ строений употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что нѣть величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественнаго, колоссальнаго, при взглядѣ на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молельшика отъ низкой его хижины. Весьма не мъшаетъ вспомнить великую старую истину, что народъ не въ силахъ понять религіи въ такой же самой чистотъ и безтълесности, какъ получившіе высшее образованіе; что на него болъе всего производять впечатление видимые предметы; что чемъ меньше этотъ видимый предметь на него дъйствуеть, тъмъ слабъе его энтузіазмъ и простая въра. Великольпіе повергаеть простолюдина въ какое-то онъмъніе, и оно-то единственная пружина, двигающая дикимъ человъкомъ. Необыкновенное поражаеть всякаго, но тогда только, когда оно смѣло, рѣзко и разомъ бросается въ глаза. Здѣсь уже прочь всякое скряжничество и расчеть! Въ противномъ случать этотъ расчетъ будетъ не расчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будеть выгода одного человъка передъ выгодою цълаго человъчества.

Вальтеръ - Скоттъ первый отряхнулъ пыль съ готической архитектуры и показалъ свъту все ся достоинство. Съ того времени она быстро распространилась. Въ Англіи всъ новыя церкви строять въ готическомъ вкусъ. Онъ́ очень милы, очень пріятны для глазъ, но, увы, истиннаго величія, дышащаго въ великихъ зданіяхъ старины, въ нихъ нѣтъ. Онъ, несмотря на стръльчатыя окна и шпицы, не сохраняютъ въ цъломъ истинно-готическаго вкуса и уклонились отъ образцовъ. Во-первыхъ, онъ сами по себъ вовсе не огромны (великій недостатокъ готическаго строенія); во вторыхъ, весь этотъ лѣсъ четырехгранныхъ тонкихъ столбовъ и линій, союзно стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, оставшаяся чрезъ это гладкостъ нечувствительно даетъ имъ совершенно другое выраженіе.

Могущественнымъ словомъ Вальтеръ - Скотта вкусъ къ готическому распространился быстро вездѣ и проникнулъ во все. Еще не сдѣлавшись великимъ, онъ уже сдѣлался мелкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось въ готическое. И эти величественныя, прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Вѣкъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разбросаны по всему, знанія наши такъ энциклопедически, что мы никакъ не можемъ усредоточить на одномъ какомъ-нибудь предметѣ нашихъ помысловъ и оттого поневолѣ раздробляемъ всѣ наши произведенія на мелочи и на предестныя игрушки. Мы имѣемъ чудный даръ дѣлать все ничтожнымъ. Египетскую архитектуру, которой весь эффектъ въ колоссальности, мы

издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ пробзжающій кучеръ можетъ достать рукою. Изъ готической мы дѣлаемъ серьги, футляры для часовъ; греческую мы употребляемъ въ бесѣдкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ: въ ней столько безсмыслія, такое негармоническое соединеніе частей, такое отсутствіе всякаго воображенія, что недостаетъ силъ назвать ее имъющею свой характеръ архитектурою.

Есть рудникъ, о которомъ едва только знаютъ, что онъ существуетъ; есть міръ совершенно особенный, отдъльный, изъ котораго менъе всего черпала Европа. Это — архитектура восточная, — архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ, --- воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въ гиперболу и аллегорію, пролетъвшимъ мимо жизни и прозаическихъ нуждъ ея. Жизнь азіатцевъ никогда не имъла такого многосторонняго развитія, какъ европейцевъ : никогда потребности ихъ не были такъ разнообразны и безчисленны, какъ нащи, и потому очень естественно, что обывновенныя жилища ихъ лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый азіатець во время своего покоя. Но зато вездѣ, куда ни проникала только азіатская роскошь, огромная, великолѣпная, — та роскошь, которая блещеть въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездъ, куда ни проникала эта увъшанная ожерельями дочь восточнаго воображенія. — тамъ стоять донынъ дворцы, великоябпіе которыхъ изумительно. Строеніе ихъ захватывало цёлые вѣки; цѣлый народъ, цѣлая нація надъ нимъ трудилась, и предки вѣрили, какъ въ неотразимое предопредъление, что здание будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дивій энтузіазмъ первоначальной ихъ религіи, вездъ громоздились памятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль нѣмѣеть оть изумленія, когда вспомнишь, какъ бъдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для поднятія и укръпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болье изумленіе овладбваеть духомъ, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся человѣкъ развился внезапно на этомъ гигантскомъ зданіи, какъ былъ онъ проникнуть и восторженъ мыслью о божествъ, что невольно показаль разоблачение своего гения и упредилъ медленные годы въкового образования.

Взгляните на этоть массивный, величественный Триченгурскій храмъ у индусовъ, едва ли не одно изъ первыхъ зданій по величинѣ своей. Это пирамидальное склоненіе массы кверху, постепенное уменьшеніе этажей, бездпа индійскихъ портиковъ, облѣпливающихъ ихъ стѣны, пилястры, громоздящіяся надъ пилястрами, колонны надъ колоннами, какъ будто ступающія одна на другую, чтобы скорѣе достать вершины этой массы, — все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Триченгурскій храмъ слишкомъ уже тяжелъ и дышитъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ-Минаръ, которымъ по справедливости славятся Дельги. Я не знаю въ мірѣ башни, которая бы, при простотѣ почти аттической, столько дышала глубиною красоты, гдѣ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ нами, то европейцы вообще могуть заимствовать съ пользою это пирамидальное или конусообразное устремленіе кверху — рѣзкое отличіе индійскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противоположный родъ: здѣсь царство азіатской роскоши. Строеніе раздается пространнѣе въ ширину. Огромный восточный куполъ, или совершенно круглый, или выгибающійся, какъ сладострастная ваза, опрокинутая внизъ, или въ видѣ шара, или обремененный, облёпленный рёзьбою и украшеніями, какъ богатая митра, патріархально властвуеть надъ всёмъ зданіемъ: внизу, у самаго подножія строенія, небольшіе куполы цѣлою оградою обходять его пространныя стѣны, какъ покорные рабы; со всѣхъ сторонъ летятъ тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрастъ своею легкою, веседою, торнюрою съ важнымъ, величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный магометанинъ, въ широкомъ, убранномъ золотомъ и каменьями платьѣ, возлежитъ среди гурій, стройныхъ, обнаженныхъ, ослѣпительныхъ своею бѣлизною.

Нигиъ зопчество не принимало столько разнообразныхъ формъ, какъ на Востокъ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мино прежнихъ условій или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, сходствовавшими съ прежними развѣ только въ самомъ отдаленномъ началѣ религіозномъ или національномъ. Вся Индія усбяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняеть свое ръзкое отличіе, свой особый отпечатовъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя полвесть поль одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всёхъ возможныхъ формъ, вовсе не похожихъ одинъ на другого, украшеній и убранствъ, совствиь отличныхь и всегда новыхь, - все говорить о необыкновенномь воображении ихъ, которое не стъснялось никакими правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можеть быть, было безчисленное множество секть, наполняющихъ Индію, производившихъ въчную оппозицію, въчную раздражительность воображенія. Но болье исполнены роскоши очаровательной, которую говорить восточная природа, ть зданія, которыхь коснулся вкусъ аравитянъ. Въ Азіи, во время этихъ разрушительныхъ встръчъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно магометанъ, произощло необыкновенное смѣшеніе архитектуръ, произошли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдъ не соединялось смълое съ такою прекрасною роскошью, какъ у аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраснъйшаго. Ихъ архитектура не носить на себъ печати дремучихъ лъсовъ; она вся состоить изъ цвътовъ. Она убрана цвътами, она потоплена цёлымъ моремъ цвётовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана нёжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колонны увънчаны тюльпаномъ; ихъ ръзьба въ видѣ незабудокъ и цвѣтовъ съ четырью депестками, или развивающихся розъ; ихъ галлереи похожи на вътви пальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвътистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ-то именно создалась для жизни, отданной наслажденіямъ, для веселыхъ, свътлыхъ жилищъ человъка. Она ръшительно изгнала изъ себя все мрачное. Зданіе такъ предестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими, какъ молнія, глазами, въ пестромъ своемъ убранствѣ и драгоцѣнныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имъетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это — колонны, не гладкія, но распещренныя украшеніями отъ піедестала до капители. Иногда эти колонны бываютъ совершенно сквозныя и прозрачныя: ръзьба проникаетъ ихъ насквозь. Онъ составляютъ плѣнительнъйшее изобрътеніе восточнаго вкуса. Зданіе, какъ бы ни было громоздко, но съ такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человъка представляютъ странное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько дастъ объъздовъ, столько надълаетъ несообразностей, неправильностей, ложнаго, что послъ самъ дивится своей недогадливости. Обо всъхъ сихъ памятникахъ

Европа и не заботилась. Одинъ только вкусъ китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всёхъ восточныхъ народовъ, какимъ-то повётріемъ занесся къ намъ въ концѣ XVIII столѣтія. Хорошо, что европейцы, по обыкновенію своему, тотчасъ обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить къ большимъ строеніямъ. Этотъ вкусъ, точно, былъ недуренъ въ бездѣлкахъ, потому что европейцы его тотчасъ усовершенствовали по своему и дали ему ту прелесть, которой онъ самъ въ себѣ не имѣетъ, такъ же какъ и его народъ не имѣетъ энергіи, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, досель показаннаго мною. Это — архитектура катакомбъ индъйскихъ и египетскихъ, гдъ эти два народа такъ удивительно сощлись между собою и дали поводъ подозръвать древнее между ими родство. Главный характеръ ея тяжесть. Здъсь все должно соединиться въ массу и толщу: здание тяжело ступаеть, какъ на слоновыхъ пядяхъ, на короткихъ, тяжелыхъ колоннахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равняется почти съ высотою. Здъсь уже совершенно все ширина и масса. На ней какъ будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрываеть тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ ея, то здъсь достоинство. Эта подземная архитектура нитеть что-то также величавое, хотя внушаеть совершенно другія мысли. Здъсь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляетъ главную идею всего зданія. Если художникъ предположилъ создать тяжелое и массивное и выполниль это, его твореніе, върно, будеть хорошо; но когда начерталь онъ планъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе не тяжелое, или, наобороть, когда онъ замыслилъ произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже рѣшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю, и оно выходило на свъть, представляло всегда странный и витсть страшный видъкакъ будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъ будто бы мракъ очутился вдругь среди яркаго свъта, — мракъ, только освъщаемый свътомъ, а не прогоняемый имъ, какъ египетская урна или мертвая голова среди паршествъ. Мнѣ кажется, напрасно эту архитектуру вгоняють въ землю; показавшись вдругъ, нечаянно, среди свътлыхъ, дегкихъ домиковъ, она должна непремънно поразить всякаго и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строение среди многолюднаго города было бы предесть, но только одно, не болѣе. Въ строеніяхъ такого рода всѣ, части состоять изъ тяжестей, но при всемъ томъ отношения ихъ между собою исполнены какой-то внутренней, нъсколько страшной гармонія, и создать въ этомъ родъ совершенное весьма не легко.

Египетская архитектура надземная составляеть совершенно другой родь: она массивна тоже, но стройность и простота въ высшей степени съ нею неразлучны; главный же ея характеръ — колоссальность. Чъмъ она глаже снизу доверху, безъ всякихъ раздѣленій и рѣзкихъ украшеній, тѣмъ лучше. Но не употребляйте ее на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менѣе, нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены всѣ ея условія, и если она выбрана совершенно согласно назначенію строенія. Безъ этой благонамѣренной, безпристрастной терпимости не будетъ ни истинныхъ талантовъ, ни истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластициямъ, предписывающій строенія ранжировать подъ одну мѣрку и строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоять изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобы онъ доставлялъ удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болѣе различныхъ вкусовъ. Пусть въ

одной и той же улицё возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройнымъ размѣромъ греческое. Пусть въ немъ будуть видны и легко-выпуклый млечный куполъ, и религіозный безконечный шпицъ, и восточная митра, и плоская крыша италіанская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно рёже дома сливаются въ одну ровную, однообразную стёну, но клонятся то вверхъ, то внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни, какъ можно чаще, разнообразятъ улицы. Неужели найдется такой смёльчакъ или, лучше сказать, несмѣльчакъ, который бы ровное мѣсто въ природѣ осмѣлился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другого?

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всѣхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которымъ мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстить въ себѣ всѣ безчисленныя измѣненія ихъ. Но самое главное — долженъ изучить все въ идеѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но, для того чтобы изучить въ идеѣ, нужно быть ему геніемъ и поэтомъ.

Но обратимся въ архитектуръ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая часть, каждая отдъльно взятая масса домовъ представляли живой пейзажъ. Нужно толпъ домовъ придать игру, чтобы она, если можно такъ выразиться, заиграла ръзкостями, чтобы она вдругъ връзалась въ память и преслёдовала бы воображение. Есть такие виды, которые въкъ помнишь, и есть такіе, которыхъ при всёхъ усиліяхъ, не можешь зам'ятить въ памяти. Зодчество грубъе и вмъстъ колоссальнъе другихъ искусствъ, какъ-то: живониси, скульптуры и музыки, и потому эффектъ его - въ эффекть. Масса города имъетъ уже тъмъ выгоду, что ее вдругъ можно измънить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение среди еяи она совершенно измъняеть видъ свой, принимаеть другое выражение, такъ, какъ всякій рисунокъ ученика вдругъ оживляется подъ кистью или карандашомъ его учителя, который въ одномъ мъстъ подкръпитъ, въ другомъ отдѣлить, въ третьемъ только тронеть, — и все уже не то. Притомъ, самыя ошибки уже подають идею о томъ, какъ избъжать ихъ: безхарактерное подаеть мысль о характерномъ, мелкое и плоское вызывають въ противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление внизъ подаеть идею о возвышении вверхъ, и наоборотъ. Геній — богачъ страшный, передъ которымъ ничто весь міръ и всѣ сокровища.

При построеніи городовъ нужно обращать вниманіе на положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Городъ на возвышеніи менѣе требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама: то подымаетъ домы на величественныхъ холмахъ своихъ и кажетъ ихъ великанами изъ-за другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ внизъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болѣе употреблять гладкихъ и одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положеніе земли уже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину одинъ изъ-за другого, такъ, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядитъ двадцатиэтажная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдѣ природа одолѣваетъ искусство; тамъ искусство только для того, чтобъ украсить ее. Но гдѣ положеніе земли гладко совершенно, гдѣ

природа спить, тамъ должно работать искусство во всей силѣ. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть; скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здѣсь однообразіе и простота будеть большая погрѣшность. Здѣсь архитектура должна быть какъ можно своенравнѣе: принимать суровую наружность, показывать веселое выраженіе, дышать древностью, блестѣть новостью, обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день, обхваченный грозою съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіяніи. Архитектура — тоже лѣтопись міра: она говоритъ тогда, когда уже молчать и пѣсни, и преданія, и когда уже ничто не говоритъ о погибшемъ народѣ. Пусть же она хоть отрывками является среди нашихъ городовъ въ такомъ видѣ, въ какомъ она была при отжившемъ уже народѣ, чтобы при взглядѣ на нее осѣнила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузила бы насъ въ его быть, въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы у насъ благодарность за его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышенія ¹).

Неужели, однакоже, невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихъ условій? Когда дикій и малоразвившійся человъкъ, которому одна природа, еще грубо имъ понимаемая, служить руководствомь и вдохновеніемь, создаеть твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинкть вкуса, — отчего же мы, которыхъ всѣ способности такъ общирно развились, которые болѣе видимъ и понимаемъ природу во всёхъ ея тайныхъ явленіяхъ, — отчего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутаго такимъ богатствомъ нашего познанія? Идея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человъкъ сильно чувствоваль на себъ ея вліяніе; теперь же искусство поставиль онь выше самой природы, — развѣ не можеть онь черпать своихъ идей изъ самого искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Разсмотрите только, какую страшную изобрътательность показаль онъ на мелкихъ издъліяхъ утонченной роскоши; разсмотрите всъ эти модныя бездълицы, которыя каждый день являются и гибнуть, разсмотрите ихъ, хотя въ микроскопъ, если такъ онъ не останавливають вашего вниманія, — какого онѣ исполнены тонкаго вкуса! какія принимають онѣ совершенно небывалыя прелестныя формы! Онъ создаются въ такомъ особенномъ родъ, который еще никогда не встръчался. Ръзьба и тонкая отдълка ихъ такъ незаимствованы и вмъстъ съ тъмъ такъ хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видъ, какъ гибнеть вкусь человъка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ былъ бы замътенъ въ неподвижномъ и въчномъ. Развъ мы не можемъ эту

Н. В. Гоголь. Томъ Ш.

19

¹) Мий прежде приходила очень странная мысль: я думалъ, что весьма не мъ́шало бы нийть въ городъ одну такую улицу, которая бы виъщала въ себъ архитектурную лѣтопись: чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыя, зритель видълъ бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ народамъ, потомъ постепенное измѣненіе ся въ разные внды: высокое преображеніе въ колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потомъ въ красавицу — греческую, потомъ въ сладострастную александрійскую и византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ римскую съ арками въ нѣсколько рядовъ, далѣе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ подняршуюся до необыкновенной роскоши — аравійскую; потомъ дикою готическою, потомъ стонко-арабскою, потомъ чисто-готическою, вѣнцомъ искусства, дышащею въ Кёльнскомъ соборѣ, потомъ страшнымъ смѣшеніемъ архитектуръ, происшедшимъ оть обращенія къ византійской, потомъ древнею гъ новомъ костюхѣ, н, наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы въ себѣ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдѣлалась бы тогда въ нѣкоторомъ отношеніи исторіею развитія вкуса, и кто лѣнивъ перевертывать толстые томы, тоху бы стоиль отноко пройти по ней, чтобы узнать все.

раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встръчается въ природъ, должно быть непремънно только колонна, куполъ и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линія можеть ломаться и измѣнять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ можно ввести украшеній, которыхъ еще ни одинъ архитекторъ не вносиль въ свой кодексъ! - Въ нашемъ въкъ есть такія пріобрътенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія стихіи, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемыхъ зданій. — Возьмемъ, напримѣръ, тѣ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покамъстъ висящая архитектура только показывается въ ложахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цълые этажи повиснутъ, если перекинутся смёлыя адки, если цёлыя массы вмёсто тяжелыхъ колоннъ очутятся на сквозныхъ чугунныхъ подпорахъ, если домъ обвѣсится снизу доверху балконами съ узорными чугунными перидами, и отъ нихъ висящія чугунныя украшенія, въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ, облекуть его своею легкою сътью, и онъ будеть глядъть сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунныя сквозныя украшенія, обвитыя около круглой, прекрасной башни, полетять вибств съ нею на небо - какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобрѣтуть тогда домы наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намёковъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головъ архитектора, если только этотъ архитекторъ---творецъ и поэтъ 1).

¹) Статья эта писана давно. Вь послъднее время вкусъ въ Европъ улучшился, и особенно въ нашей любезной Россіи. Многіе архитекторы уже ей дълаютъ честь; изъ нихъ должно упомянуть о Брюловъ, котораго вданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

1831.

.

АЛ-МАМУНЪ.

(ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный калифатъ величественно возвышался на классической землъ древняго міра. Онъ обнималъ на востокъ всю цвътущую юго-западную Азію и замыкался Индіею; на западъ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море. Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, видълъ повелѣнія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинцій; Бассора, Нигабуръ и Куфа зрѣли новообращенную Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы. Дамаскъ могь одъть всъхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и арабъ уже думалъ, какъ бы осуществить на земять рай Магомета: создаваль водопроводы, дворцы, цтлые ятса пальмь, глъ сланострастно били фонтаны и лымились благовонія Востока. И къ такому развитію роскопіи еще не успъла привиться ни одна нравственная болъзнь политическаго общества. Всъ части этой великой имперіи, этого магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрѣплена была волею необывновеннаго Гаруна, который постигнуль всё разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь философъ, государь-политикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ. Онъ соединялъ въ себъ все, умълъ ровно разлить свои дъйствія на все и не доставить перевъса ни одной отрасли надъ другою. Просвъщение чужеземное онъ прививалъ къ своей нація въ такой только степени, чтобы помочь развитію ся собственнаго. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но все еще были исполнены энтузіазма, и огненныя страницы Корана перелистывались съ тъть же благоговъніемъ, исполнялись такъ же раболъпно. Гарунъ умълъ ускорить весь административный государственный ходъ и исполнение повелѣній страхомъ своей вездѣсущности. Намѣстники и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деспотомъ, опасались встрътить всезрящаго, переодътаго калифа — и правленіе безъ законовъ двигалось кръпко и опредбленно. Въ такомъ видъ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ назвалъ великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодътелей человъческаго рода, и который замыслияь государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ былъ одаренъ всею живостію и способностію въ долгому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку, и влюбленъ совершенно безкорыстно: онъ любилъ науку для нея же самой, не думая о ея цъли и примъненіи. Онъ предался ей съ исключительною страстью. Тогда аравитяне только-что отрыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Греція не могь сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ;

но аравійскіе ученые, занимаясь долгое время копотливою работою, уже нъсколько привыкнули къ точности и формальности, и оттого принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечные выводы, это облечение въ видимость и порядокъ того, что они прежде чувствовали въ душъ пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ вліяніемъ, Ал-Мамунъ, исполненный истинной жажды просвъщенія, употребляль всѣ старанія ввести въ свое государство этоть чуждый дотолѣ греческій міръ. Багдадъ распростеръ дружелюбныя длани всему ученому тогдашнему свъту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежалъ къ какому бы то ни было званію, какой бы ни быль онь религіи, какихь бы ни былъ исполненъ противоръчащихъ началъ. Естественно, что тогда болъе всего приносили свои познанія въ Багдадъ тѣ, которые еще сохраняли въ душѣ своей образъ политеизма, облеченнаго христіанскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммонія Саккаса, Плотина и другихъ послёдователей новсплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ ристаній въ Царьградъ, слишкомъ занятомъ спорами о догмахъ христіанства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мнѣній. Вѣнценосный арабъ вслушивался внимательно въ усыпительную музыку ученыхъ толкований и тонкостей. Правители государственныхъ мъстъ не могли не увлечься примѣромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая-то литературная мономанія. Визири и эмиры старались окружить свой дворъ учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была какъ будто чъмъ-то второстепеннымъ, что правители должны были многое, относящееся въ управленію, повърять усмотрънію своихъ секретарей и любимцевъ, что эти любимцы были иногда вовсе невъжды, часто получали пронырствами мѣста, что все это должно было отозваться на народѣ и въ послъдствія временя обрушиться на самихъ правителей. Толпа теоретическихъ философовъ и поэтовъ, занявшихъ правительственныя мъста, не можеть доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдѣльна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текуть по своей дорогъ. Отсюда исключаются тъ великіе поэты, которые соединяють въ себъ и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человъка, проникли минувщее и прозрѣли будущее, которыхъ глаголъ слышится всѣмъ народомъ. Они — великіе жрецы. Мудрые властители чествують ихъ своею бесъдою, берегуть ихъ драгоцънную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дъятельностью правителя. Ихъ призывають они только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдълать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что върный путеводитель къ тому — науки, клоняшіяся къ развитію человъка. Онъ всъми силами заставлялъ своихъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвъщеніе. Но просвъщеніе, вводимое Ал-Мамуномъ, менте всего отвъчало природнымъ элементамъ и колоссальности воображенія арабовъ. Лишенныя энергіи начала политеизма, обратившіяся въ игру словъ, дерзко обезображенныя идеи христіанства, странно озарившія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, но, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ, представляли совершенный контрастъ пламенной природѣ араба, у котораго воображеніе слишкомъ потопляло тощіе выводы холоднаго ума. Этотъ чудный народъ не шелъ, а летѣлъ къ своему развитію. Геній его вдругъ оказывался въ войнѣ, торговлѣ, искусствахъ, мануфактурахъ и въ роскошной поэзіи Востока. Его доселѣ небывалыя въ исторіи человѣчества стихіи вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно ориги-

нально. Казалось, этоть народъ объщаль дотоль невиданное совершенство націи. Но Ал-Мамунъ не понялъ его. Онъ упустиль изъ вида великую истину. что образование черпается изъ самого же народа, что просвъщение наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можеть оно помогать собственному развитію, но что развиваться народь должень изь своихъ же національныхъ стихій. Но для арабовъ поле подвиговъ было загражлено этимъ безплоднымъ чужестраннымъ просвъщеніемъ. Самый космополитизмъ Ал-Мамуна, открывавшаго входъ въ государство ученымъ всёхъ партій, уже зашель нёсколько далеко. Выгоды, которыя въ государстве получали христіане, не могли не возродить въ собственныхъ его подланныхъ ненависти, а витстъ и презрънія въ самымъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ. — и народъ уже терялъ любовь въ своему калифу. Въ правления Ал-Мамунъ былъ больше философъ-теоретикъ, нежели философъ-практикъ, какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего народа изъ описаній, изъ разсказовъ другихъ, а не извъдалъ самъ, какъ очевидецъ, какъ извъдалъ его великій Гарунъ. Въ азіатскихъ образахъ правленія, не имѣющихъ опредѣленныхъ законовъ, вся административная часть падаеть на самого монарха, и потому дъятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть въчно напряжено; онъ не можетъ ввъриться совершенно никому, и глазъ его долженъ имъть многосторонность Аргуса: минуту засни онъ — и его полномочные намъстники вдругъ возрастають, и государство наполняется милліонами деспотовъ. Но Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадъ жилъ, какъ въ государствъ музъ, имъ же самимъ созданномъ и совершенно отдѣльномъ отъ міра политическаго. Христіане, которые стали, наконецъ, вмѣшиваться въ административныя должности, не могли узнать народнаго духа и обычаевъ земли. Притомъ самое иновърство ихъ было невыносимо для араба, еще сохранявшаго энтузіазыть и нетерпимость. И, когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ встхъ ученыхъ тогдашняго втка, когда его гостепримство привлекало пестрые флаги къ берегамъ сирійскимъ, власть его внутри государства становилась, между тъмъ, слабъе. Жители провинцій, никогда не видавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Военная сила ослабла. Просвѣшеніе обыкновенно стремилось изъ Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мъръ приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ арабы еще сохраняли свой первый періодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще стремившіяся огнемь и мечомь водружать въру Магомета. Сильные эмиры ихъ, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видълъ отторженіе Персіи. Индіи и дальнихъ провинцій Африки. Но, можетъ-быть, все это невърное направленіе администраціи было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинѣ. Онъ захотѣлъ быть религіознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чисто-теоретическаго, будучи выше суевърій и предразсудковъ, будучи ближе познакомленъ съ нъкоторыми догмами христіанства, нежели его предшественники, онъ не могъ не видѣть всъхъ безчисленныхъ противоръчій, пламенныхъ нелъпостей, которыя вырывались всемѣстно въ постановленіяхъ изступленнаго творца Корана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священную книгу магометанъ и - въ то самое время, когда еще всѣ низшія государственныя ступени, вся чернь была увърена, что она принесена съ неба, и когда усомниться въ маловажномъ постановленіи ея уже считалось величайшимъ преступленіемъ. Полугреческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузіазма его подданныхъ. Первымъ шагомъ къ образованию своего народа онъ почиталъ

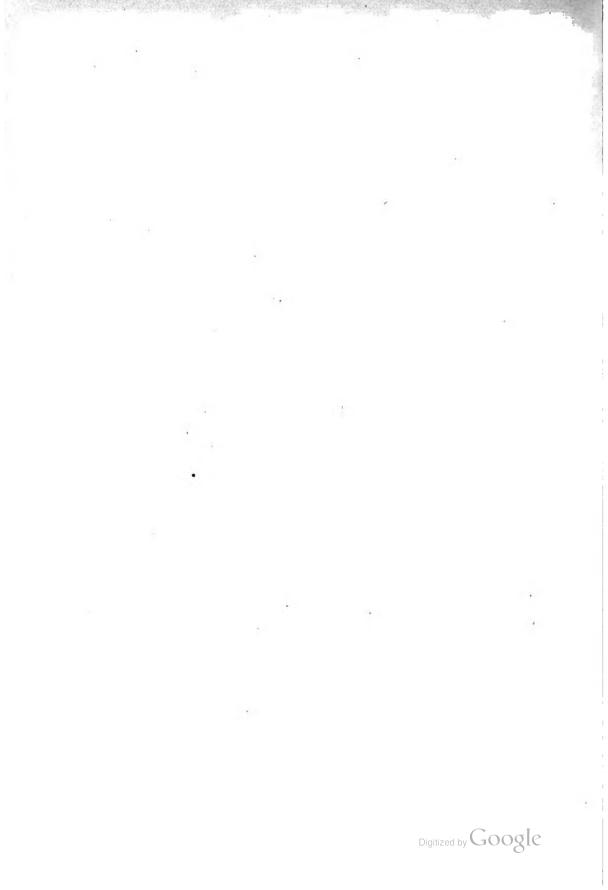
истребленіе энтувіазма, — того энтувіазма, который составляль существованіе народа аравійскаго, — того энтузіазма, которому онъ обязанъ былъ всѣмъ своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составъ всего государства. Ему нельпье, несообразнье всего казался Магометовъ рай, куда арабъ переносилъ всю чувственную земную жизнь свою, — жизнь, назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ соображение того, что это постановление изверглось изъ огненнаго аравійскаго климата, изъ огненной природы араба, что этоть рай для магометанина есть великій оазъ среди пустыни его жизни, что надежда въ этоть рай одна только заставляла чувственнаго араба терпъливо спосить бъдность, притъснение, подавлять въ душъ своей зависть при видъ утопающаго въ роскоши сибарита. Мысль, что и онъ будетъ, наконецъ, находиться среди гурій, среди роскоши, превышающей роскошь земныхъ владыкъ, одна могла быть доступна для такой чувственности и цвътистости воображения, какими природа надблила араба, и что, можетъ-быть, съ дальнъйшимъ только развитіемъ его, могла нечувствительно очиститься его въра. Ал-Мамунъ не постигалъ азіатской природы своихъ подданныхъ.

Можно себъ представить силу негодованія многочисленнаго власса народа, когда распространились въсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ былъ принять это народъ, который уже за одно покровительство христіанамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмъ, или ереси? Грубая толпа прежнихъ точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упорствомъ своимъ, наконецъ, заставила калифа взяться за оружіе. И благородный, великодушный Ал-Мамунъ, проникнутый истинною любовію къ человѣчеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тотъ фанатизмъ, который сдвинулъ прежде кочевыхъ обитателей Аравіи въ одну массу, — онъ произвелъ оппозиціонный фанатизмъ, — фанатизмъ, который растерзаль массу, который посъяль плевелы въ нъдрахъ государства, который разбудилъ дикія страсти араба, который далъ ножъ и ядъ ненависти въ руки изступленныхъ послъдователей ислама, который произвелъ множество ослъпленныхъ сектъ и ужаснъе всего секту карматіановъ, долго еще свиръпствовавшую подъ именемъ Сирійскихъ Убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волненій, оказывавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смутъ и партій, разсыпая одною рукою благодъянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорныхъ, изступленныхъ своихъ подданныхъ, умеръ бла́городный Ал-Мамунъ, — умеръ́, не понявъ своего народа, не поня́-тый своимъ народомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ показалъ собою государя, который, при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти въ наукамъ, быль, между прочимь, невольно одною изь главныхь пружинь, ускорившихъ паденіе государства.

АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

часть вторая.



ЖИЗНЬ.

Бъдному сыну пустыни снился сонъ.

Лежить и разстилается великое Средиземное море, и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ на него палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сърыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоитъ онъ величавый, питаемый всликимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звърями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, не сокрушаемая тлъніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишать на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помавають облитыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя, какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ тирсами и чашами въ рукахъ, народъ остановился въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькаютъ, перевитыя плющемъ. Корабли, какъ мухи, толпятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величія.

Стоить и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувши свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висълъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнетъ, какъ будто бы царства предстали всъ на страшный судъ передъ кончиною міра.

И говорить Египеть, помавая тонкими пальмами, жилицами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ: «Народы, слушайте! Я одинъ постигь и проникъ тайну жизни и тайну человъка. Все тлънъ. Низви искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ міромъ и человъкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бъдный человъкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бъдное существованіе».

И говоритъ ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность, свътлый міръ грековъ, и, казалось, вмъсто словъ, слышалось дыханіе цъвницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмъстъ съ нею ея

наслажденія. Все неси ему. Гляди, какъ выпукло и прекрасно все въ природъ, какъ дышитъ все согласіемъ. Все въ міръ; все, чъмъ ни владъютъ боги, все въ немъ; умъй находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вънчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницъ, искусно правя конями, на блистательныхъ играхъ! Далъе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Ръзецъ, палитра и цъвница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ — красота. Увнвай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія — умъй быть достойнымъ наслажденія!»

И говоритъ покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ лѣсомъ копій: «Я постигнулъ тайну жизни человѣка. Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легіоновъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ собрался весь міръ и, потрясая копьями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ на устахъ племенъ, живущихъ на краяхъ міра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ — ты завоюешь, наконецъ, небо».

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія, прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немноголюдная весь прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно оттѣненнымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ Младенецъ; надъ Нимъ склонилась непорочная Мать и глядитъ на Него исполненными слезъ очами; надъ Нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египеть, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустиль очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагнулся Арарать, древній прапращуръ земли...

......

1831.



ШЛЕЦЕРЪ, МИЛЛЕРЪ И ГЕРДЕРЪ.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимою мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецеръ, можно сказать, первый почувствовалъ идею объ одномъ великомъ цъломъ, объ одной единицъ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны слиться всѣ времена и народы. Онъ хотъль однимъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ будто бы онъ силился имъть сто аргусовыхъ глазъ, для того, чтобы разомъ видъть сбывающееся во всъхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогъ — молнія, почти вдругъ блещущая то тамъ, то здъсь и освъщающая предметы на одно мгновение, но зато въ ослъпительной ясности. Я не знаю, исполнилъ ли бы онъ въ самомъ дълъ то, что ръзко показывалъ другимъ; но, по крайней мъръ, никто такъ сильно не пораженъ былъ самъ своимъ предметомъ, какъ онъ. Онъ имъль достоинство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругь событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодомъ одной счастливой минуты, одного внезапнаго вдохновенія, и такъ исполнены ръзкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредълившему себя на долгое, глубокое изслъдование, выключая только, если этоть изслёдователь будеть самъ Шлецерь. Онъ не быль историкъ, и я думаю даже, что онъ не могъ быть историкомъ. Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься въ гармоническую, стройную текучесть повъствованія. Онъ анализироваль мірь и всь отжившіе и живущіе народы, а не описывалъ ихъ; онъ разсвкалъ весь мірь анатомическимъ ножомъ, ръзалъ и дълилъ на массивныя части, располагалъ и отдълялъ народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредъляетъ растенія по извъстнымъ ему признакамъ. И оттого начертание его истории, казалось бы, должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но, къ удивленію, все у него сверкаетъ такими рёзкими чертами, могущественный ударь его глаза такъ вёрень, что, читая этотъ сжатый эскизъ міра, замъчаешь съ изумленіемъ, что собственное воображение горить, расширяется и дополняеть все по такому же самому закону, который опредѣлилъ Шлецеръ однимъ всемогущимъ словомъ; иногда оно стремится еще далье, потому что ему указана смълая дорога. Будучи однимъ изъ первыхъ, тревожимыхъ мыслью о величіи и истинной цѣли всеобщей исторіи, онъ долженствоваль быть непремѣнно геніемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающиеся очень часто въ его сочиненияхъ. Онъ уничтожаеть ихъ однимъ громовымъ словомъ, и въ этомъ одномъ словъ соединяется и наслаждение, и сардоническая усмѣшка надъ пораженнымъ, и

виѣстѣ несокрушимая правда; его справедливѣе, нежели Канта, можно назвать всесокрушающимъ. Всегда почти дѣйствующіе въ оппозиціонномъ духѣ слишкомъ увлекаются своимъ положеніемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила — противорѣчить всему прежнему. Въ этомъ случаѣ нельзя упрекнуть Шлецера: германскій духъ его сталъ неколебимъ на своемъ мѣстѣ. Онъ — какъ строгій, всезрящій судія; его сужденія рѣзки, коротки и справедливы. Можетъ-быть, нѣкоторымъ покажется страннымъ, что я`товорю о Шлецерѣ, какъ о великомъ зодчемъ всеобщей исторія, тогда какъ его мысли и труды по этой части улеглись въ небольшой книжкѣ, изданной имъ для студентовъ; но эта маленькая книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, читая которыя, кажется, читаешь цѣлые томы; ее можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, сквозь которое, приставивши къ нему ближе глазъ, можно увидѣть весь міръ. Онъ вдругь осѣняетъ свѣтомъ и показываетъ, какъ нужно понятъ, и тогда самъ собою, наконецъ, видишь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родъ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляеть противоположность Шлецеру. Онъ съ какой-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогь не блестить тёмъ ръзкимъ отличіемъ, какимъ означенъ слогъ Шлецера; нътъ тъхъ порывовъ, того мъткаго лаконизма, какими исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ, однимъ взглядомъ всего и не сжимаеть его мощною рукою; но онъ изслѣдываеть все находящееся въ мірѣ спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспѣшности, съ какою выражается авторъ, опасающійся, чтобы у него не перехватиль кто-нибудь мысли и не предупредиль его. Слово «изслѣдованіе» весьма идеть къ его стилю: его повъствование именно изслъдовательное. Какъ человъкъ государственный, онъ болъе всего занимается изложеніемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ; но онъ не предпочитаетъ эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно въ тѣни всѣ другія, къ чему способенъ бываетъ историкъ односторонній, и чего не могь избѣжать и Геренъ; напротивъ того, онъ обращаеть вниманіе и на все сопредѣльное. Все, что неясно въ исторіи, что менѣе разоблачено, все это болѣе другого подвергается его изслѣдованію. Замѣтно даже, что онъ охотнъе занимается временами первобытными и вообще тъми эпохами, когда народъ еще не былъ подверженъ образованности и порокамъ, сохранялъ свои простые нравы и независимость. Это время изображаетъ онъ съ ясною подробностію, съ тихимъ жаромъ, какъ будто позабываясь и воображая видъть себя среди своихъ добрыхъ швейцарцевъ. Главный результать, царствующій въ его исторіи, есть тоть, что народъ тогда только достигаетъ своего счастія, когда сохраняеть свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Вездъ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь къ свободъ проникають все его твореніе. Мысль о единствъ и нераздъльной цълости не служить такою цѣлью, къ которой бы явно устремлялось его повѣствованіе: онъ даже никогда не говорить о немъ, но единство чувствуется въ цѣломъ творении, несмотря на то, что онъ, кажется, забываетъ вовсе дъла всего міра, занявшись однимъ народомъ. Исторія его не состоить изъ непрерывной движущейся цёпи происшествій; драматическаго искусства въ немъ нёть; вездъ виденъ размышляющій мудрецъ. Онъ не высказываетъ слишкомъ ярко своихъ мыслей: онъ у него таятся такъ скромно, иногда въ такомъ незамътномъ уголкъ, что неищущій не найдеть ихъ никогда; но зато онъ такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выраженію Вагнера въ

«Фауств», на землё небо. Этоть скромный, незамётный слогь его и отсутствіе ослёпляющей яркости производить въ душё невольное сожалёніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извёстенъ, или, лучше сказать, не такъ извёстенъ, какъ долженъ бы быть. Одни сильно пропикнутые мыслью о исторіи и способные къ тонкому развитію могуть только вполнё понимать его; другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокомысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образъ воззрѣнія. Онъ видить уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощаеть осязательныя формы. Вездъ онъ видить одного человъка, какъ представителя всего человъчества. Онъ выпытываеть глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы, — названіе, которое придають ему нъмцы. У него крупнъе группируются событія, его мысли всъ высоки, глубоки и всемірны. Онъ у него являются мало соединенными съ видимою природою и какъ будто извлеченными изъ одного только чистаго ея горнила. Оттого онъ у него не имъютъ исторической осязательности и видимости. Если событіе колоссально и заключается въ идеѣ, — оно у него развертывается все, со всѣми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и практическаго, оно у него не получаеть опредъленнаго колорита. Если онъ нисходить до самыхъ лицъ и до дъятелей исторіи, они у него не такъ ярки, какъ общія групны, они принимають слишкомъ общую физіономію; они у него или добрые, или злые; всъ безчисленные оттънки характеровъ, все смъшение и разнообразіе качествъ, познаніе которыхъ достается въ удѣлъ взирающему съ недовърчивостію на другихъ, всъ эти оттънки у него исчезди. Онъ мудрецъ въ познании идеальнаго человъка и человъчества, но младенецъ въ познании чедовъка по весьма, естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невъжа въ мелочныхъ занятіяхъ жизни. Какъ поэть, онъ выше Шлецера и Миллера. Но, какъ поэть, онъ все создаеть, и перевариваеть въ себѣ, въ своемъ уединенномъ кабинетѣ, полный одного высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырывается часто изъ низкой и презрѣнной жизни, или оно вызывается натискомъ тъхъ безчисленныхъ и разнохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно пестрять жизнь человъческую, и которыхъ познание ръдко дается отвлеченному отъ жизни мудрецу. Стиль его, болъе нежели у кого другого, исполненъ живописи и широкаго размъра, потому что онъ поэтъ и этимъ ръзко отличается отъ Миллера, философа-законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философа-критика, всегда почти рѣзкаго и недовольнаго.

Мић кажется, что если бы глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всемъ томъ ему бы еще много кое чего недоставало; ему бы недоставало высокаго драматическаго искусства, котораго не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумъю, однакожъ, подъ словомъ «драматическаго искусства», не то искусство, которое состоитъ въ умѣніи вести разговоръ, но въ драматическомъ интересъ всего творенія, который сообщилъ бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышитъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера, особенно въ *Тридцатильтией войнъ*, и которымъ отличается почти всякое немногосложное происшествіе. Но я бы къ этому присоединилъ еще въ нѣкоторой степени занимательность разсказа Вальтера-Скотта

и его умѣніе замѣчать самые тонкіе оттѣнки; къ этому присоединиль бы шекспировское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ, и тогда бы, мнѣ кажется, составился такой историкъ, какого требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много освѣтили всеобщую исторію, и если въ нынѣшнее время мы имѣемъ нѣсколько замѣчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ однимъ.

1832.

НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ.

ПОВВСТЬ.

Нъть ничего лучше Невскаго проспекта, по крайней мъръ, въ Петербургъ: для него онъ составляетъ все. Чъмъ не блестить эта улица красавица нашей столицы? Я знаю, что ни одинъ изъ блъдныхъ и чиновныхъ ея жителей не променяеть на все блага Невскаго проспекта. Не только кто имееть двадцать пять лъть оть роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртукъ, но даже тотъ, у кого на подбородкъ выскакиваютъ бълые волоса и годова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ востортъ отъ Невскаго проспекта. А дамы! О, дамамъ еще больше пріятенъ Невскій проспектъ. Да и кому же онъ не пріятенъ? Едва только взойдешь на Невскій проспекть, какъ уже пахнёть однимъ гуляньемъ. Хотя бы имълъ какое-нибудь нужное, " необходимое дбло, но, взошедши на него, вбрно, позабудешь о всякомъ дблъ. Забсь единственное мъсто, габ показываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человъкъ, встръченный на Невскомъ проспектъ, менъе эгоисть, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной, Мъщанской и другихъ улицахъ, гдѣ жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущихъ и летящихъ въ каретахъ и на дрожкахъ. Невскій проспекть есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здъсь житель Петербургской или Выборгской части, нъсколько лътъ не бывавшій у своего пріятеля на Пескахъ, или у Московской заставы, можеть быть увърень, что встрътится съ нимъ непремънно. Никавой адресъ-календарь и справочное мъсто не доставятъ такого върнаго извъстія, какъ Невскій проспекть. Всемогущій Невскій проспекть! Единственное развлечение бъднаго на гулянья Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ногъ оставляеть на немъ слъды свои! И неуклюжій грязный сапогъ отставного сощата, подъ тяжестію котораго, кажется, трескается самый гранить, и миніатюрный, легкій, какъ дымъ, башмачокъ молоденькой дамы, оборачивающей свою головку въ блестящимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ къ солнцу, и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапорщика, проводящая по немъ ръзкую царапину, - все вымещаеть на немъ могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на немъ фантасмагорія въ теченіе одного только дня! Сколько вытершить онъ перемънъ въ течение однъхъ сутовъ! Начнемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ пахнетъ горячими, только что выпеченными хлъбами и на полненъ старухами въ изодранныхъ платьяхъ и салопахъ, совершающими свои наъзды на церкви и на сострадательныхъ прохожихъ. Тогда Невскій проспекть пусть: плотные содержатели магазиновъ и ихъ комми еще спять въ своихъ голландскихъ рубашкахъ или мылятъ свою благородную щеку и пьють кофе; нищіе собираются у дверей кондитерскихь, гдъ сонный ганимедь, летавшій вчера, какъ муха, съ шоколадомъ, вылѣзаетъ съ метлой въ рукѣ,

Digitized by Google

cX

Ł

безъ галстука, и швыряетъ имъ черствые пироги и объъдки. По улицамъ плетется нужный народъ: иногда переходять ее русскіе мужики, спѣшащіе на работу, въ сапогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій каналь, извъстный своею чистотою, не въ состоянии бы быль омыть. Въ это время обыкновенно неприлично ходить дамамъ, потому что русскій народъ любить изъясняться такими рёзкими выраженіями, какихъ онъ, върно, не услышать даже въ театръ У Иногда сонный чиновникъ проплетется съ портфелемъ подъ мышкою, если черезъ Невскій проспекть лежить ему дорога въ департаменть. Можно сказать ръшительно, что въ это время, т.-е. до 12 часовъ. Невскій проспекть не составляеть ни для кого цёли, онъ служить только средствомъ: онъ постепенно наполняется лицами, имѣющими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о немъ. Русскій мужикъ говорить о гривнѣ или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахивають руками или говорять сами съ собою, иногда съ довольно разительными жестами, но никто ихъ не слушаетъ и не смъется надъ ними, выключая только развъ мальчишекъ въ пестрядевыхъ халатахъ, съ пустыми штофами или готовыми сапогами въ рукахъ, бъгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надъли, хотя бы даже, витсто шляпы, картузь быль у вась на головт, хотя бы воротнички слишкомъ далеко высунулись изъ вашего галстука, - никто этого не замътить.

Въ 12 часовъ на Невскій проспектъ дълаютъ набъги гувернеры всъхъ націй съ своими питомцами въ батистовыхъ воротничкахъ. Англійскіе Джонсы и французскіе Коки идуть подъ-руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностію изъясняють имъ, что вывѣски надъ магазинами дълаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блъдныя миссъ и розовыя мадмуазели, идуть величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дъвчонокъ, приказывая имъ поднять нъсколько лъвое плечо и держаться прямъе; короче сказать, въ это время Невскій проспекть — педагогическій Невскій проспекть. Но чёмь ближе къ двумъ часамъ, тёмъ уменьшается число гувернантокъ, педагоговъ и дътей: они, наконецъ, вытъсняются нъжными ихъ родителями, идущими подъ руку съ своими пестрыми, разноцвътными, слабонервными подругами. Мало-по-малу присоединяются въ ихъ обществу всв. окончившіе довольно важныя домашнія занятія, какъ-то: поговорившіе съ своимъ докторомъ о погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на носу, узнавшіе о здоровь лошадей и дътей своихъ, впрочемъ, показывающихъ большія дарованія, прочитавшіе афишу и важную статью въ газетахъ о прі**тажающихъ и отътажающихъ, наконецъ, выпившіе чашку кофею и чаю; къ** нимъ присоединяются и тѣ, которыхъ завидная судьба надѣлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ. Къ нимъ присоединяются и тѣ, которые служать въ иностранной коллегіи и отличаются благородствомъ своихъ занятій и привычекъ! Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онѣ возвышають и услаждають душу! Но, увы, я не служу и лишенъ удовольствія видѣть тонкое обращеніе съ собою начальниковъ. Все, что вы ни встрътите на Невскомъ проспектъ, все исполнено приличія: мужчины въ длинныхъ сюртукахъ съ заложенными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, бълыхъ и блъдно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и щегольскихъ шляпкахъ. Вы здъсь встрътите бакенбарды, единственныя, пропущенныя съ необыкновеннымъ и изумительнымъ искусствомъ подъ галстукъ, бакенбарды бархатныя, атласныя, черныя, какъ соболь или уголь, но, увы! принадлежащія только одной иностранной коллегіи. Служащимъ въ другихъ департаментахъ

n

Провидъніе отказало въ черныхъ бакенбардахъ; они должны, къ величайшей непріятности своей, носить рыжія. Здёсь вы встрётите усы чудные, никакимъ перомъ, никакою кистью неизобразимые; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметь долгихъ бдёній во время дня и ночи; усы на которые излились восхитительнъйшие духи, и которыхъ умастили всъ драгоцѣннѣйшіе и рѣдчайшіе сорты помадъ; усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою; усы, къ которымъ дышить самая трогательная привязанность ихъ поссессоровъ, и которымъ завидуютъ проходящіе. Тысячи сортовъ шляпокъ, платьевъ, платковъ, пестрыхъ, легкихъ, въ которымъ иногда въ теченіе цёлыхъ двухъ дней сохраняется привязанность ихъ владътельниць, ослёпять хоть кого на Невскомъ проспекть. Кажется, какъ будто цълое море мотыльковъ поднялось вдругъ со стеблей и волнуется блестящею тучею надъ черными жуками мужескаго пода. Здъсь вы встрътите такія таліи, какія даже вамъ не снились никогда: тоненькія, узенькія таліи, никакъ не толще бутылочной шейки, встрътясь съ которыми, вы почтительно отойдете въ сторонкъ, чтобы какъ - нибудь неосторожно не толкнуть невъжливымъ доктемъ; сердцемъ вашимъ овладъетъ робость и страхъ, чтобы какъ-нибудь, оть неосторожнаго даже дыханія вашего, не переломилось прелестнѣйшее произведение природы и искусства. А какие встрътите вы дамские рукава на Невскомъ проспектъ! Ахъ, какая предесть! Они нъсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, если бы не поддерживаль ее мужчина; потому что даму такъ же легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подносимый ко рту бокалъ, наполненный шампанскимъ. Нигдъ при взаимной встръчъ не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектъ. Здъсь вы встрътите удыбку единственную, улыбку — верхъ искусства: иногда такую, что можно растаять оть удовольствія, иногда такую, что вы увидите себя вдругь ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейскаго шпица и поднимете ее вверхъ. Здёсь вы встрётите разговаривающихъ о концерть или о погодъ съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Туть вы встрътите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встръчаются на Невскомъ проспектъ! Есть множество такихъ людей, которые, встрътившись съ вами, непремънно посмотрять на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотръть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываеть. Сначала я думаль, что они сапожники, но, однакоже, ничуть не бывало: они большею частію служать въ разныхъ департаментахъ, многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могуть написать отношеніе изъ одного казеннаго мъста въ другое; или же — люди, занимающіеся прогулками, чтеніемъ газетъ по кондитерскимъ, — словомъ, большею частію все порядочные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ пополудни, которое можеть назваться движущеюся столицею Невскаго проспекта, происходить главная выставка всёхъ лучшихъ произведеній человѣка. Одинъ показываеть щегольской сюртукъкъ лучшимъ бобромъ, другой — греческій прекрасный носъ. третій несеть превосходныя бакенбарды, четвертая пару хорошенькихъ глазокъ и удивительную щаяпву, пятый перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая — ножку въ очаровательномъ башмачкѣ, седьмой — галстукъ, возбуждающій удивленіе, осьмой — усы, повергающіе въ изумленіе. Но бьетъ три часа — и выставка оканчивается, толпа ръдъетъ... Въ три часа новая перемъна. На Невскомъ проспектъ вдругъ настаетъ весна: онъ покрывается весь чиновнивами въ зеленыхъ вицмундирахъ. Голодные титулярные, надворные

Н. В. Гоголь. Томъ III.

20

305

и прочіе совѣтники стараются всѣми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари спѣшать еще воспользоваться временемъ и пройтиться по Невскому проспекту съ осанкою, показывающею, что они вовсе не сидѣли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и надворные совѣтники идуть скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваніемъ прохожихъ; они еще не вполнѣ оторвались отъ заботъ своихъ; въ ихъ головѣ ералашъ и цѣлый архивъ начатыхъ и не конченныхъ дѣлъ; имъ долго, вмѣсто вывѣски, показывается картонка съ бумагами или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспектъ пустъ, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея изъ магазина перебъжитъ чрезъ Невскій проспектъ съ коробкою въ рукахъ; какая нибудь жалкая добыча человѣколюбиваго повытчика, пущенная по-міру во фризовой шинели; какой-нибудь заѣзжій чудакъ, которому всѣ часы равны; какая нибудь длинная, высокая англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ; какой-нибудь артельщикъ, русскій человѣкъ, въ демикотоновомъ сюртукѣ, съ таліей на спинѣ, съ узенькою бородою, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ по тротуару; иногда низкій ремесленникъ... больше никого не встрѣтите вы въ это время на Невскомъ проспектѣ

Но какъ только сумерки упадуть на домы и улицы, и будочнивъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лёстницу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянутъ тѣ эстамиы, которые не смѣють показаться среди дня, какъ уже Невскій проспекть опять оживаеть и начинаеть шевелиться. Тогда настаеть то таинственное время, когда дампы дають всему какой-то заманчивый, чудесный свъть. Вы встрътите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая-то цъль, или, лучше, что - то похожее на цёль, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всёхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны; длинныя тёни мелькають по стёнамъ и мостовой, и чуть не достають головами Полицейскаго моста. Молодые коллежские регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные совътники, большею частію, сидять дома, или потому, что это народъ женатый, или потому, что имъ очень хорошо готовять кушанье живущія у нихъ въ домахъ кухарки-нёмки. Здёсь вы встрётите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важностью и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проспекту. Вы ихъ увидите бъгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ тёмъ, чтобы заглянуть подъ шляпку издали завидънной дамы, которой толстыя губы и щеки, наштукатуренныя румянами, такъ нравятся многимъ гуляющимъ, а болѣе всего сидѣльцамъ, артельщикамъ, купцамъ, всегда въ нѣмецкихъ сюртукахъ гуляющимъ цѣлою толпою и обыкновенно подъ руку.

-- Стой! — закричалъ въ это время поручикъ Пироговъ, дернувъ шедшаго съ нимъ молодого человъка во фракъ и въ плащъ. — Видълъ?

— Видѣлъ; чудная, совершенно Перуджинова Біанка.

— Да ты объ какой говоришь?

— Объ ней, о той, что съ темными волосами... И какie глаза! Боже, какie глаза! Все положение и контура, и окладъ лица — чудеса!

— Я говорю тебъ о блондинкъ, что прошла за пей въ ту сторону. Что жъ ты не идешь за брюнеткою, когда она такъ тебъ понравилась?

Y

Ť.

— О, какъ можно! — воскликнулъ, закраснъвшись, молодой человъкъ во фракъ. — Какъ будто она изъ тъхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжалъ онъ, вздохнувши: — одинъ плащъ на ней стоитъ рублей восемьдесятъ!

— Простакъ! — закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдъ развъвался яркій плащъ ея: — ступай, простофиля, прозъваешь! А я пойду за блондинкою.

Оба пріятеля разошлись.

«Знаемъ мы васъ всѣхъ», — думалъ про себя съ самодовольною и самонадѣянною улыбкою Пироговъ, увѣренный, что нѣтъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человъкъ во фракъ и плащъ робкимъ и трепетнымъ шагомъ пошель въ ту сторону гдъ развявался вдали пестрый плащъ, то окидывавшійся яркимъ блескомъ, по мъръ приближенія къ свъту фонаря, то мгновенно покрывавшійся тьмою, по удаленіи отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускоряль шагь свой. Онъ не смъль и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудь право на вниманіе улетавшей вдали красавнцы, тъмъ болъе 🕗 допустить такую черную мысль, о какой намекаль ему поручикъ Пироговъ; но ему хотълось только видъть домъ, замътить, гдъ имъеть жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетьло съ неба прямо на Невскій проспекть и, върно, улетить неизвъстно куда. Онь летъль такъ скоро, что сталкивалъ безпрестанно съ тротуара солидныхъ господъ, съ съдыми бакенбардами. Этотъ молодой человъкъ принадлежалъ къ тому классу, который составляеть у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежить къ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидъния, принадлежить къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городѣ, гдѣ все или чиновники, или кущы, или ремесленники-нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе художникъ петербургскій? Художникъ въ земль снъговъ, художникъ въ странъ фянновъ, гдъ все мокро, гладко, ровно, блъдно, съро, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ италіанскихъ, гордыхъ, горячихъ, какъ Италія и ея небо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, застѣнчивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнать, скромно толкующій о любимомъ предметъ и вовсе небрегущій объ излишнемъ. Онъ въчно зазоветь въ себѣ вакую-нибудь нищую-старуху и заставить ее просидѣть битыхъ часовъ шесть, съ тъмъ, чтобы перевести на полотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перспективу своей комнаты, въ которой валяется всякій художественный вздоръ: гипсовыя руки и ноги, сдълавшіяся кофейными отъ времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, пріятель, играющий на гитаръ, стъны, запачканныя красками, съ раствореннымъ овномъ, сквозь которое мелькаетъ блёдная Нева и бедные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ съренькій, мутный колорить неизгладимая печать Съвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своею работою. Они часто питають въ себѣ истивный таланть, и если бы только дунуль на нихъ свъжій воздухъ Италія, онъ бы, върно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносять, наконець, изъ комнаты на чистый воздухъ. Они вообще очень робки: звъзда и толстый эполеть приводять ихъ въ такое замъщательство, что они невольно понижають цену своихъ произведеній. Они любять иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слишкомъ ръзкимъ н

·

4.

• ...

н. в. гоголь.

_**L**^{11.}

...

308

нъсколько походить на заплату. На нихъ встрътите вы иногда отличный фракъ и зарачканный плащъ, дорогой бархатный жилеть и «сюртукъ весь въ упраскахъ, — такимъ же самымъ образомъ, какъ на недоконченномъ ихъ пейзажѣ увидите вы иногда нарисованную внизъ головою нимфу, которую онъ, не найдя другого мъста, набросалъ на запачканномъ грунтъ прежняго своего произведенія, когда-то писаннаго имъ съ наслажденіемъ. Онъ никогда не глядить вамъ прямо въ глаза; если же глядить, то какъ-то мутно, неопредъи ленно; онъ не вонзаетъ въ васъ ястребинаго взора наблюдателя или соколинаго взора наблюдателя или соколинаго взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходить оттого, что онъ въ одно и то же время видить и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнать, или ему представляется его же собственная картина, которую онъ еще думаетъ произвесть. Отъ этого онъ отвъчаетъ часто несвязно, иногда невпопадъ, и мѣшающіеся въ его головѣ предметы еще болѣе увеличиваютъ его робость. Къ такому роду принадлежалъ и описываемый нами молодой человъкъ, художникъ Пискаревъ, застънчивый, робкій, но въ душъ своей носившій искры чувства, готовыя, при удобномъ случат, превратиться въ пламя. Съ тайнымъ трепетомъ спѣшилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ, и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Незнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослбавительной бълизны прелестнъйшій добъ осъненъ былъ преврасными, какъ агатъ, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свъжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цълымъ роемъ прелестнъйшихъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминания о дътствъ, что даеть мечтаніе и тихое вдохновеніе при свътящейся лампадъ, - все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Пискарева, и при этомъ взглядъ затрепетало его сердце; она взглянула сурово: чувство негодованія проступило у ней на лиць при видь такого наглаго преслёдованія; но на этомъ прекрасномъ лицѣ и самый гнѣвъ былъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потупивъ глаза; но какъ утерять это божество и не узнать даже того святилища, гдъ оно опустилось гостить? Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ ръшился преслъдовать. Но, чтобы не дать этого замътить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безпечно глядълъ по сторонамъ и разсматривалъ вывъски, а между тъмъ не упускалъ изъ виду ни одного шага незнакомки. Проходящіе рѣже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась, и ему показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожалъ и не върилъ своимъ глазамъ. Нътъ, это фонарь обманчивымъ свътомъ своимъ выразилъ на лицъ ея подобіе улыбки; нътъ, это собственныя мечты его смъются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредъленный трепетъ, всъ чувства его горбли и все передъ нимъ окинулось какимъ-то туманомъ; тротуаръ несся подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркъ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему навстрѣчу, и алебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами вывъски и нарисованными ножницами, блестъла, казалось, на самой ръсницъ его глазъ. И все это произвелъ одинъ взглядъ, одинъ поворотъ хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несся по легкимъ слёдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умърить быстроту своего шага, летъвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладъвало имъ сомнъніе, точно ли

выраженіе лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался; но сердечное біеніе, непреодолимая сила и тревога всѣхъ чувствъ стремила его впередъ. Онъ даже не замѣтилъ, какъ вдругъ возвысился передъ нимъ четырехъэтажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, глянули на него разомъ, и перила у подъѣзда противопоставили ему желѣзный толчокъ свой. Онъ видѣлъ, какъ незнакомка летѣла по лѣстницѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молнія радости нестерпимымъ остріемъ вонзилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Боже, столько счастія въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ двухъ минутахъ.

Но не во снъ ли это все? Ужели та, за одинъ небесный взглядъ которой онъ готовъ бы былъ отдать всю жизнь, приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизъяснимое блаженство, - ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и внимательна къ нему? Онъ взлетълъ на лъстницу. Онъ не чувствоваль никакой земной мысли; онь не быль разограть пламенемъ земной страсти, — нътъ, онъ былъ въ эту минуту чистъ и непороченъ, какъ дъвственный юноша, еще дышащій неопредъленною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человъкъ дерзкія помышленія, то самое, напротивъ, еще болѣе освятило ихъ. Это довѣріе, которое оказало ему слабое, прекрасное существо, это довъріе наложило на него объть строгости рыцарской, объть рабски исполнять всъ повельнія ея. Онъ только желаль, чтобы эти вельнія были какь можно болье трудны и неудобоисполняемы. чтобы съ большимъ напряженіемъ силь летъть преодолёвать ихъ. Онъ не сомнѣвался, что какое-нибудь тайное и вмѣстѣ важное происшествіе заставило незнакомку ему ввёриться; что отъ него, вёрно, будутъ требоваться значятельныя услуги, и онъ чувствоваль уже въ себт силу и ръшимость на все.

Лъстница вилась, и виъстъ съ нею вились его быстрыя мечты.--«Идите осторожнъе!»- зазвучаль, какъ арфа, голось и наполниль всъ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинъ четвертаго этажа незнакомка постучала въ дверь; она отворилась, и они вошли вмъстъ. Женщина, довольно недурной наружности, встрътила ихъ со свъчою въ рукъ, но такъ странно и нагло посмотрѣла на Пискарева, что онъ опустилъ невольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидъла за фортепіаномъ и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобіе стариннаго полонеза; третья сидъда передъ зеркаломъ, расчесывая гребнемъ свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входѣ незнакомаго лица. Какой-то непріятный безпорядокъ, который можно встрътить только въ безпечной комнатъ холостяка, царствовалъ во всемъ. Мебели, довольно хорошія, были покрыты пылью; паукъ застилалъ своею паутиною лъпной карнизъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестълъ сапогъ со шпорой и краснъла выпушка мундира; громкій мужской голось и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго принужденія.

Боже, куда зашель онъ! Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить и началъ пристальнѣе всматриваться въ предметы, наполнявшіе комнату; но голыя стѣны и окна безъ занавѣсъ не показывали никакого присутствія заботливой хозяйки; изношенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна сѣла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разсматривала, какъ пятно на чужомъ платьѣ, — все это увѣрило его, что онъ зашелъ въ тотъ отвратительный пріютъ, гдѣ основалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностью и страшнымъ многолюдствомъ столицы, — тотъ

пріють, гдѣ человѣкъ святотатственно подавилъ и посмѣялся надъ всѣмъ чистымъ и святымъ, украшающимъ жизнь, гдѣ женщина, эта красавица міра, вѣнецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное существо, гдѣ она, вмѣстѣ съ чистотою души, лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себѣ ухватки и наглость мужчины и уже перестала быть тѣмъ слабымъ, тѣмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Пискаревъ мѣрялъ ее съ ногъ до головы изумленными глазами, какъ бы еще желая увѣриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектѣ. Но она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была свѣжа; ей было только 17 лѣтъ; видно было, что еще недавно настигнулъ ее ужасный развратъ; онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онѣ были свѣжи и легко оттѣнены тонкимъ румянцемъ; она была прекрасна.

Онъ неподвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ былъ такъ же простодушно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выраженіе набожности рожъ взяточника или бухгалтерская книга поэту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло... Какъ будто вмъстъ съ непорочностію оставляетъ и умъ человъка! Онъ уже ничего не хотълъ слышать. Онъ былъ чрезвычайно смъшонъ и простъ, какъ дитя. Вмъсто того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вмъсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, безъ сомнѣнія, обрадовался бы на его мъстъ всякій другой, онъ бросился со всъхъ ногъ, какъ дикан сайга, и выбъжалъ на улицу.

Повѣсивши голову и опустивши руки, сидѣлъ онъ въ своей комнатѣ, какъ бѣднякъ, нашедшій безцѣнную жемчужину и тутъ же уронившій ее въ море. «Такая красавица, такія божественныя черты! И гдѣ же? въ какомъ мъстѣ?...» Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дълъ, никогда жалость такъ сильно не овладъваетъ нами, какъ при видъ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота нѣжная... Она только съ одной непорочностью и чистотой сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бъднаго Пискарева, была дъйствительно чудесное, необыкновенное явленіе. Ея пребываніе въ этомъ презрънномъ кругу еще болье казалось необыкновеннымъ. Всъ черты ея были такъ чисто образованы, все выражение прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы развратъ уже распустилъ надъ нею страшные свои когти. Она бы составила неоцъненный перлъ, весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звъздой въ незамътномъ семейномъ кругу и однимъ движеніемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказанія. Она бы составила божество въ многолюдномъ залѣ, на свѣтломъ паркетѣ, при блескѣ свѣчей, при безмолвномъ благоговѣніи толпы поверженныхъ у ногъ ея поклонниковъ; но, увы! она была, какою-то ужасною волею адскаго духа, жаждущаго разрушить гармонію. жизни, брошена съ хохотомъ въ эту страшную пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидѣлъ онъ передъ нагорѣвшею свѣчою. Уже и полночь давно минула, колоколъ башни билъ половину перваго, а онъ сидѣлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дѣятельнаго бдѣнія. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько

одолѣвать его, уже комната начала исчезать, одинъ только огонь свѣчи просвѣчивалъ сквозь одолѣвшія его грёзы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошелъ лакей въ богатой ливреѣ. Въ его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притомъ въ такое необыкновенное время... Онъ недоумѣвалъ и съ нетерпѣливымъ любопытствомъ смотрѣлъ въ оба на пришедшаго лакея.

— Та барыня, — произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей, — у которой вы изволили за нъсколько часовъ передъ симъ быть, приказала просить васъ къ себъ и прислала за вами карету.

Пискаревъ стоялъ въ безмолвномъ удивлении: «карету, лакей въ ливреъ!.. Нътъ, здъсь, върно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный, — произнесъ онъ съ робостью: — вы, върно, не туда изволили зайти. Васъ барыня, безъ сомнънія, прислала за къмъ-нибудь другимъ, а не за мною.

---- Нѣтъ, сударь, я не ошибся. Вѣдь вы изволили проводить барыню пѣшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?

— Я.

--- Ну, такъ пожалуйте же скорѣе, барыня непремѣнно желаетъ видѣть васъ и проситъ васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ.

Пискаревъ сбъжалъ съ лъстницы. На дворъ, точно, стояла карета. Онъ стлъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремъли подъ колесами и копытами — и освъщенная нерспектива домовъ, съ фонарями и вывъсками, понеслась мимо каретныхъ оконъ. Пискаревъ думалъ всю дорогу и не зналъ, какъ разръшить это приключение. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливрећ... Все это онъ никакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажѣ, пыльными окнами и разстроеннымъ фортепіано. Карета остановилась передъ ярко освъщеннымъ подътздомъ, и его разомъ поразили рядъ экипажей, говоръ кучеровъ, ярко освъщенныя окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливрет высадиль его изъ кареты и почтительно проводиль въ стани съ мраморными колоннами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными плащами и шубами, съ яркою лампою. Воздушная лъстница съ блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онъ уже былъ на ней, уже взошель въ первую залу, испугавшись и попятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдства. Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замъшательство; ему казалось, что какой-то демонъ) 🖡 искрошиль весь мірь на множество разныхъ кусковь, и всё эти куски, безь! смысла, безъ толку, смъшалъ вмъстъ. Сверкающія дамскія плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящіе газы, эбирныя ленты и толстый контрабасъ, выглядывавшій изъ-за перилъ великолёпныхъ хоровъ, — все было для него блистательно. Онъ увидёлъ за однимъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ съ звъздами на фракахъ, дамъ, такъ легко, гордо и граціозно выступавшихъ по паркету или сидъвшихъ рядами; онъ услышалъ столько словъ французскихъ и англійскихъ; къ тому же молодые люди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, съ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умѣли сказать ничего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили бакенбарды, такъ искусно умбли показывать отличныя руки, поправляя галстукъ, дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и упоеніе, такъ очаровательно потупляли глаза, — что... но одинъ уже смиренный видъ Пискарева, прислонившагося съ боязнію къ колоннъ, ч показываль, что онъ растерялся вовсе. Въ это время толпа обступила

танцующую группу. Онѣ неслись, увитыя прозрачнымъ созданіемъ Парижа, въ платьяхъ, сотканныхъ изъ самого воздуха; небрежно касались онѣ блестящими ножками паркета и были болѣе эеирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ними всѣхъ лучше, всѣхъ роскошнѣе и блистательнѣе одѣта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всемъ ея уборѣ, и при всемъ томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядѣла, и не глядѣла на обстунившую толиу зрителей, прекрасныя длинныя рѣсницы опустились равнодушно, и сверкающая бѣлизна лица ея еще ослѣпительнѣе бросилась въ гляза, когда легкая тѣнь осѣнила, при наклонѣ головы, очаровательный лобъ ея.

Пискаревъ употребилъ всъ усилія, чтобы раздвинуть толпу и разсмотръть ее; но, къ величайшей досадъ, какая-то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безпрестанно; притомъ толпа его притиснуда такъ, что онъ не смълъ податься впередъ, не смълъ попятиться назадъ, опасаясь толкнуть какимъ-нибудь образомъ какого-нибудь тайнаго совѣтника. Но вотъ онъ продрался-таки впередъ и взглянулъ на свое платье, желая прилично оправиться. Творецъ небесный! что это? На немъ былъ сюртукъ и весь запачканный красками: спъша тхать, онъ позабылъ даже переодѣться въ пристойное платье. Онъ покраснѣль до ушей и, потупивъ голову, хотълъ провалиться, но провалиться ръшительно было некуда: камеръ-юнкеры, въ блестящемъ костюмъ, сдвинулись позади его совершенною стъною. Онъ уже желалъ быть какъ можно подалъе отъ красавицы съ прекраснымъ лбомъ и рѣсницами. Со страхомъ поднялъ онъ глаза посмотрѣть, не глядить ли она на него. Боже! она стоить передъ нимъ... Но что это? что это? «Это она!» вскрикнулъ онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дълъ, это была она, — та самая, которую встрътилъ онъ на Невскомъ и которую проводиль къ ея жилищу.

Она подняла, между тъмъ, свои ръсницы и глянула на всъхъ своимъ яснымъ взглядомъ. «Ай, ай, ай, какъ хороша!..» могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своими глазами весь кругъ, наперерывъ жаждавшій остановить ся вниманіс, но съ какимъ-то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро отвратила ихъ и встрътилась съ глазами Пискарева. О, какое пебо! какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вмъстить его, онъ разрушить ее и унесеть душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклоненіемъ головы, нътъ, въ ея сокрушительныхъ глазахъ выразился этоть знакъ такимъ тонкимъ, незамътнымъ выражениемъ, что никто не могъ его видѣть, но онъ видѣлъ, онъ понялъ его. Танецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремъла; наконецъ, танецъ кончился. Она съла; усталая грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колѣни, сжала подъ собою ея воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкій сиреневый цвътъ его еще виднъе означилъ яркую бълизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ея — и ничего больше! Никакихъ другихъ желаній — они всъ дерзки... Онъ стоялъ у ней за стуломъ, не смъя говорить, не смъя дышать.

— Вамъ было скучно? — произнесла она: — я также скучала. Я замъчаю, что вы меня ненавидите... — прибавила она, потупивъ свои длинныя ръсницы.

— Васъ ненавидъть? мнъ?.. Я?..— хотълъ было произнесть совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговорилъ бы, върно, кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замѣчаніями, съ превраснымъ завитымъ на головъ хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ довольно недурныхъ зубовъ и каждою остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ, кто-то изъ постороннихъ, къ счастію, обратился къ камергеру съ какимъ-то вопросомъ.

— Какъ это несносно! — сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. — Я сяду на другомъ концъ зала: будьте тамъ! — Она проскользнула между толпою и исчезла. Онъ, какъ помъшанный, растолкалъ толпу и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! Она сидъла, какъ царица, всъхъ лучше, всъхъ прекраснъе, и искала его глазами.

— Вы здёсь? — произнесла она тихо. — Я буду откровенна передь вами: вамъ, вёрно, странными показались обстоятельства нашей встрёчи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать къ тому презрённому классу твореній, въ которомъ вы встрётили меня? Вамъ кажутся странными мои поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояни, — произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои: — никогда не измёнить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но въ это время подошелъ довольно пожилой человъкъ, заговорилъ съ ней на какомъ-то непонятномъ для Пискарева языкъ и подалъ ей руку. 🕫 Она умоляющимъ взглядомъ посмотръла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мъстъ и ожидать ся прихода; но въ припадкъ нетерпънія онъ не въ силахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея устъ. Онъ отправился вслёдъ за нею, но толпа раздёлила ихъ. Онъ уже не видёлъ сиреневаго платья; съ безпокойствомъ продирался онъ изъ комнаты въ комнату и толкаль безь милосердія всёхъ встрёчныхъ, но во всёхь комнатахъ все сидбли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нъсколько пожилыхъ людей о преимуществъ военной службы передъ статскою; въ другомъ — молодые люди, въ превосходныхъ фракахъ, бросали легкія замізчанія о многотомныхъ трудахъ поэта-труженика. Пискаревъ чувствоваль, что одинъ пожилой человъкъ почтенной наружности схватилъ за пуговицу его фрака и представляль на его суждение одно весьма справедливое его замъчание, но онъ грубо оттолкнулъ его, даже не замътныши, что у него на шев быль довольно значительный ордень. Онь перебъжаль въ другую комнату — и тамъ нѣтъ ея, въ третью — тоже нѣтъ. «Гдѣ же она? Дайте ее мнъ! О, я не могу жить, не взглянувши на нее! Мнъ хочется выслушать, что она хотъла сказать!» Но всъ поиски его оставались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрълъ на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ-то неясномъ видѣ. Наконецъ, ему начали явственно показываться стѣны его комнаты. Онъ подняль глаза: передь нимъ стояль подсвъчникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинѣ его; вся свѣча истаяла; сало было налито на ветхомъ стояв его...

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой прекрасный сонъ! И зачѣмъ было просыпаться? Зачѣмъ было одной минуты не подождать? Она бы, вѣрно, опять явилась! Досадный разсвѣтъ непріятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ безпорядкѣ... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты? Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая насильно призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ, точно, не замедлилъ къ нему явиться, но представлялъ ему вовсе не то, что бы желалъ онъ видѣть: то поручикъ

Digitized by Google

dream

Пироговъ являлся съ трубкою, то академическій сторожъ, то дъйствительный статскій совѣтникъ, то голова чухонки, съ которой онъ когда-то рисовалъ портретъ, и тому подобная чепуха.

До самаго полудня пролежаль онъ въ постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумъла ея легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный снъгь, рука мелькнула передъ нимъ!

Все откинувши, все позабывши, сидъль онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сновидънія. Ни къ чему не думаль онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой жизни глядъли въ окно, обращенное во дворъ, гдъ грязный водовозъ лилъ воду, мерзнувшую на воздухъ, и козлиный голосъ разносчика дребезжалъ: стараго платья продать. Вседневное и дъйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидълъ онъ до самаго вечера и съ жадностью бросился въ постель. Долго боролся онъ съ безсонницею, наконецъ, пересилилъ ее. Опять какой-то сонъ, какой-то пошлый, гадкій сонъ. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Онъ опять ожидалъ вечера, опять заснулъ, опять снился какой-то чиновникъ, который былъ вмъстъ и чиновникъ, и фаготъ. О, это нестерпимо! Наконецъ, она явилась! ея голова и локоны... она глядитъ... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое-то глупое сновидъне.

Наконецъ, сновидѣнія сдѣладись его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный обороть: онъ, можно сказать, спалъ наяву и бодрствовалъ во снѣ. Если бы его кто-нибудь видѣлъ сидящимъ безмолвно передъ пустымъ столомъ, или шедшимъ по улицѣ, то, вѣрно бы, принялъ его за лунатика или разрушеннаго крѣпкими напитками: взглядъ его былъ вовсе безъ всякаго значенія, природная разсѣянность, наконецъ, развилась и властительно изгоняла на лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что, наконецъ, сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употреблялъ всѣ средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ — для этого нужно принять только опіумъ. Но гдѣ достать этого опіуму? Онъ вспомнилъ про одного персіянина, содержавшаго магазинъ шалей, который всегда почти, когда ни встрѣчалъ его, просилъ нарисовать ему красавицу. Онъ рѣшился отправиться къ нему, предполагая, что у него, безъ сомнѣнія, есть этоть опіумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванъ и поджавши подъ себя ноги. — На что тебъ опіумъ? — спросилъ онъ его.

Пискаревъ разсказалъ ему про свою безсонницу.

— Хорошо, я дамъ тебъ опіуму, только нарисуй мнъ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! Чтобы брови были черныя, и очи большія, какъ маслины; а я сама чтобы лежала возлъ нея и курила трубку! Слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискаревъ обѣщалъ все. Персіянинъ на минуту вышелъ и возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлилъ часть ея въ другую баночку и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ по семи капель въ водѣ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоцѣнную баночку, которую не отдалъ бы за груду золота, и опрометью побѣжалъ домой.

Пришедши домой, онъ отлилъ нѣсколько капель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ мірѣ! О, какъ хорошо сидить она у окна деревенскаго свѣтлаго домика! Нарядъ ея дышить такою простотою, въ какую только облекается мысль поэта. Прическа на головѣ ея... Создатель, какъ проста эта прическа и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ея шейкѣ; все въ ней скромно, все въ ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! Какъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! Какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ. Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнѣе и скажите: развѣ я способна къ тому, что вы думаете?» — «О, нѣть, нѣть! Пусть тоть, кто осмѣлился подумать, пусть тоть...»

Но онъ проснулся, растроганный, растерзанный, съ слезами на глазахъ. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ мірѣ, а была бы созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходиль оть холста, я бы вѣчно глядѣль на тебя и цъловалъ бы тебя, я бы жилъ и дышалъ тобою, какъ прекраснъйшею мечтою, — и я бы быль тогда счастливь; никакихь бы желаній не простираль далье. Я бы призываль тебя, какъ ангела хранителя, предъ сномъ и бденіемъ, и тебя бы ждаль я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы въ томъ, что она живеть? Развѣ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамь и друзьямь, нъкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша! — въчный раздоръ мечты съ существенностью!» Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не тлъ и съ нетерпъніемъ, со страстію любовника, ожидаль вечера и желаннаго видънія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному, наконецъ, взяло такую власть надъ встви бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положении противоположномъ дъйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Чрезъ эти сновидения саный предметь какъ-то болъе дълался чистымъ и вовсе преображался.

Пріемы опіума еще болъе раскалили его мысли, и если былъ когданибудь влюбленный до послъдняго градуса безумія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этоть несчастный былъ — онъ.

Изъ всѣхъ сновидѣній его одно было радостнѣе для него всѣхъ: ему представилась его мастерская. Онъ такъ былъ веселъ, съ такимъ наслажденіемъ сидблъ съ палитрою въ рукахъ! И она туть же. Она была уже его женою. Она сидъла возлѣ него, облокотившись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотръла на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства; все въ комнатъ его дышало раемъ; было такъ свътло, такъ убрано. Создатель! она склонила къ нему на грудь прелестную свою головку... Лучшаго сна онъ еще никогда не видывадъ. Онъ всталъ послъ него какъ-то свъжъе и менъе разсъянный, нежели прежде. Въ головъ его родились странныя мысли. «Можетъ-быть, — думалъ онъ, — она вовлечена какимъ-нибудь невольнымъ, ужаснымъ случаемъ въ разврать: можеть-быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можетъбыть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда только стоить подать руку, чтобы спасти ее оть потопленія?» Мысли его простирались еще далбе. «Меня никто не знаетъ, — говорилъ онъ самъ себъ́: — да и кому

. . .

~·~··

какое до меня дёло, да и мнё тоже нёть до нихъ дёла. Если она изъявить чистое раскаяніе и перем'янитъ жизнь свою, я женюсь на ней. Я долженъ на ней жениться и, в'ярно, сдёлаю гораздо лучше, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже часто на самыхъ презр'янныхъ тваряхъ. Но мой подвигъ будетъ безкорыстенъ и, можетъ-бытъ, даже великъ: я возвращу міру прекраснъйщее его укращеніе!»

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствовалъ враску, вспыхнувшую на его лицъ; онъ подошелъ въ зеркалу и испугался самъ впалыхъ щекъ и блъдности своего лица. Тщательно началъ онъ принаряжаться; пріумылся, пригладилъ волоса, надълъ новый фракъ, щегольской жилеть, набросилъ плащъ и вышелъ на улицу. Онъ дохнулъ свъжимъ воздухомъ и почувствовалъ свъжесть на сердцъ, какъ выздоравливающій, ръшившійся выйти въ первый разъ послъ продолжительной болъзни. Сердце его билось, когда онъ подходилъ къ той улицъ, на которой нога его не была со времени роковой встръчи.

Долго онъ искаль домъ; казалось, память ему измѣнила. Онъ два раза прошель улицу и не зналъ, передъ которымъ остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро взбѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему навстрѣчу? Его идеалъ, его таинственный образъ, оригиналъ мечтательныхъ картинъ, — та, которою онъ жилъ, такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ — она, она сама стояла передъ нимъ. Онъ затрепеталъ; онъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости, обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ нимъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заспаны, хотя блѣдностъ кралась на лицѣ ея, уже не такъ свѣжемъ; но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидъвши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа): — зачъмъ вы убъжали тогда отъ насъ?

Онъ въ изнеможения сълъ на стулъ и глядълъ на нее.

— А я только-что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсѣмъ пьяна, — прибавила она съ улыбкою.

О, лучше бы ты была нѣма и лишена вовсе языка, чѣмъ произносить такія рѣчи! Она вдругъ показала ему, какъ въ панорамѣ, всю жизнь ея. Однакожъ, несмотря на это, скрѣпившись сердцемъ, рѣшился попробовать онъ, не будутъ ли имѣть надъ нею дѣйствія его увѣщанія. Собравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмѣстѣ пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное ея положеніе. Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тѣмъ чувствомъ удивленія, которое мы изъявляемъ при видѣ чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидѣвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставивши вычищать гребешокъ, тоже слушала съ вниманіемъ новаго проповѣдника.

— Правда, я бѣденъ, — сказалъ, наконецъ, послѣ долгаго и поучительнаго увѣщанія Пискаревъ: — но мы станемъ трудиться, мы постараемся, наперерывъ одинъ передъ другимъ, улучшить нашу жизнь. Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ быть обязану во всемъ самому себѣ. Я буду сидѣть за картинами, ты будешь, сидя возлѣ меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другимъ рукодѣліемъ, — и мы ни въ чемъ не будемъ имѣть недостатка...

— Какъ можно! — прервала она рѣчь съ выраженіемъ какого-то презрѣнія. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрънная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, върныхъ спутниковъ разврата.

١

— Женитесь на мнѣ! — подхватила, съ наглымъ видомъ, молчавшая дотолѣ въ углу ея пріятельница. — Если я буду женою, я буду сидѣть воть какъ! — При этомъ она сдѣлала какую-то глупую мину на жалкомъ лицѣ своемъ, которою чрезвычайно разсмѣшила красавицу.

О, это уже слишкомъ! Этого нѣтъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства, и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цѣли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ онъ весь день. Никто не могъ знать, ночевалъ ли онъ гдѣ-нибудь, или нѣтъ; на другой только день какимъ-то глупымъ инстинктомъ зашелъ онъ на свою квартиру, блѣдный, съ ужаснымъ видомъ, съ растрепанными волосами, съ признаками безумія на лицѣ. Онъ заперся въ своей комнатѣ и никого не впускалъ, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ, прошла недѣля, и комната все такъ же была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвѣта; наконецъ, выломали дверь и нашли бездыханный трупъ его съ перерѣзаннымъ горломъ. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была невѣрна, и что онъ долго еще мучился, прежде нежели грѣшная душа его оставила тѣло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бъдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, дътски-простодушный, носившій въ себъ искру таланта, бытьможеть, со временень бы вспыхнувшаго широко и ярко. Никто не поплакаль надъ нимъ; никого не видно было воздъ его бездушнаго трупа, кромъ обыкновенной фигуры квартальнаго надзирателя и равнодушной мины городового лъкаря. Гробъ его тихо, даже безъ всякихъ обрядовъ религіи, повезли на Охту; за нимъ идучи, плакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ, и то потому, что выпилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Пироговъ не пришелъ посмотръть на трупъ несчастнаго бъдняка, которому онъ при жизни оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ, ему было вовсе не до того: онъ былъ занятъ чрезвычайнымъ происшествіемъ. Но обратимся къ нему. — Я не люблю труповъ и покойниковъ, и мнъ всегда непріятно, когда переходить мою дорогу длинная погребальная процессія и инвалидный солдать, одътый какимъ-то капуциномъ, нюхаетъ дъвою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душѣ досаду при видѣ богатаго катафалка и бархатнаго гроба; но досада моя смъшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извозчикъ тащитъ красный, ничъмъ не покрытый гробъ ، бъдняка, и только одна какая-нибудь нищая, встрътившись на перекрествъ, плетется за нимь, не имбя другого дбла.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бѣднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легонькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серьги, перчатки и другія бездѣлушки, безпрестанно вертѣлась, глазѣла во всѣ стороны и оглядывалась назадъ. «Ты, голубушка, моя!» говорилъ съ самоувѣренностью Пироговъ, продолжая свое преслѣдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ. Но не мѣшаетъ извѣстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ.

Но прежде, нежели мы скажемъ, кто таковъ былъ поручикъ Широговъ, не мѣшаетъ кое-что разсказать о томъ обществѣ, къ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющіе въ Петербургѣ какой-то средній классъ общества. На вечерѣ, на обѣдѣ у статскаго совѣтника или у дѣйствительнаго X A-Y статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сорокалътними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Нъсколько блъдныхъ, совершенно безцвѣтныхъ, кавъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ иныя перезрѣли, чайный столикъ, фортепіано, домашніе танцы — все это бываетъ нераздъльно съ свътлымъ эполетомъ, который блещетъ при дампъ между благонравной блондинкой и чернымъ фракомъ братца или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ дъвицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смъяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совстмъ не имть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смъшно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую любятъ женщины. Въ этомъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имъють особенный даръ заставлять смъяться и слушать этихъ безцвътныхъ красавиць. Восклицанія, задушаемыя смѣхомь: «Ахь, перестаньте! Не стыдно ли вамъ такъ смѣшить!» бывають имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ классѣ они попадаются очень рѣдко или, лучше, никогда: оттуда они совершенно вытёснены тёмъ, что называють въ этомъ обществё аристократами. Впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными люльми. Они любять потолковать объ литературъ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорять съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ. Они не пропускають ни одной публичной лекціи, будь она о бухгалтеріи или даже о лъсоводствъ. Въ театръ, какая бы ни была піеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ, выключая развѣ, если уже играются какія-нибудь «Фидатки», которыми очень оскорбляется ихъ разборчивый вкусь. Въ театръ они безсмѣнно. Это самые выгодные люди для театральной дирекціи. Они особенно любять въ пјесѣ хорошје стихи, также очень любять громко вызывать актеровъ; многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведеніяхъ или приготовляя къ казеннымъ заведеніямъ, заводятся, наконецъ, кабріолетомъ и парою лошадей. Тогда кругъ ихъ становится обширнъе; они достигають, наконець, до того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть на фортепіано, съ сотнею тысячъ, или около того, наличныхъ и кучею брадатой родни. Однакожъ, этой чести они не прежде могутъ достигнуть, какъ выслужившись, по крайней мъръ, до полковничьяго чина, потому что русскія бородки, несмотря на то, что отъ нихъ еще нъсколько отзывается капустою, никакимъ образомъ не хотять видъть дочерей своихъ ни за къмъ, кромъ генераловъ или, по крайней мъръ, полковниковъ. Таковы главныя черты этого сорта молодыхъ людей. Но поручикъ Пироговъ имблъ, кромѣ этого, множество тадантовъ, собственно ему принадлежавшихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ «Димитрія Донского» и «Горе отъ ума» и имълъ особенное искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами такъ удачно, что вдругъ могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое; умълъ очень пріятно разсказать анекдотъ о томъ, что пушка сама по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Впрочемъ, оно иъсколько трудно перечесть всъ таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрист и танцовщицт, но уже не такъ різко, какъ обыкновенно изъясняется объ этомъ предметъ молодой прапорщикъ. Онъ былъ очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который былъ произведенъ недавно, и хотя иногда, ложась на диванъ, онъ говорилъ: «Охъ, охъ, охъ! Суета, все суета! Что изъ этого, что я поручикъ?» но втайнъ его очень льстило это новое достоинство; онъ въ разговорѣ часто старался намекнуть о немъ обинякомъ, и одинъ разъ, когда попался ему на улицъ какой-то писарь, показавшійся ему невъжливымь, онъ немедленно остановиль его и въ немногихъ, но ръзкихъ словахъ далъ замътить ему, что передъ

нимъ стоядъ поручикъ, а не другой какой офицеръ. Тъмъ болъе старался онъ изложить это красноръчиво, что тогда проходили мимо его двъ весьма недурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящному и поощряль художника Пискарева; впрочемь, это происходило, можеть-быть, оттого, что ему весьма желалось видъть мужественную физіогномію свою на портреть. Но довольно о качествахъ Пирогова. Человъкъ такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдругъ встхъ его достоинствъ, и чтмъ болье въ него всматриваешься, тымъ болье является новыхъ особенностей, и описание ихъ было бы безконечно. Итакъ, Пироговъ не переставалъ преслъдовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвъчала ръдко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли мокрыми Казанскими воротами въ Мъщанскую улицу, — улицу табачныхъ и мелочныхъ давокъ, нъмцевъ-ремесленниковъ и чухонскихъ нимфъ. Блондинка бъжала скорће и впорхнула въ ворота одного довольно запачканнаго дома. Пироговъ за нею. Она взбъжала по узенькой темной лъстницъ и вошла въ дверь, въ которую тоже смъло пробрался Пироговъ. Онъ увидълъ себя въ большой комнать съ черными ствнами, съ закопченнымъ потолкомъ. Куча желъзныхъ винтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвъчниковъ была на столъ; полъ былъ засоренъ мъдными и желъзными опилками. Пироговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнуда далъе въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, слъдуя русскому правилу, ръшился идти впередъ. Онъ вошелъ въ другую комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывав-шую, что хозяинъ былъ нъмецъ. Онъ былъ пораженъ необыкновенно страннымъ видомъ: передъ нимъ сидълъ Шиллеръ, – не тотъ Шиллеръ, который написалъ «Вильгельма Теля» и «Исторію тридцатильтней войны», но извъстный Шиллеръ, жестяныхъ дълъ мастеръ въ Мъщанской улицъ. Возлъ Шиллера стояль Гофманъ, — не писатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Шиллеръ быль пьянъ и сиделъ на стуле, топая ногою и говоря что-то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение объихъ фигуръ. Шиллеръ сидълъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявши вверхъ голову, а Гофманъ держалъ его за этотъ носъ двумя пальцами и вертълъ лезвеемъ своего сапожническаго ножа на самой его поверхности. Объ особы говорили на нъмецкомъ языкъ, и потому поручикъ Пироговъ, который зналъ по-нъмецки только «гутъ-моргенъ», ничего не могъ понять изъ всей этой исторіи. Впрочемъ, слова Шиллера заключались воть въ чемъ: «Я не хочу, мнѣ не нуженъ носъ!» говорилъ онъ, размахивая руками. «У меня на одинъ носъ выходитъ три фунта табаку въ мъсяцъ. Il я плачу въ русскій скверный магазинъ, — потому что ньмецкій магазинъ не держить русскаго табаку, — я плачу въ русскій скверный магазинъ за каждый фунть по 40 копеекъ — это будеть рубль двадцать копеекъ; двънадцать разъ рубль двадцать конеекъ — это будетъ четырнадцать рублей сорокъ конеекъ. Слышишь, другъ мой Гофманъ? На одинъ носъ четырнадцать рублей сорокъ копеекъ! Да по праздникамъ я нюхаю Рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникамъ русскій скверный табакъ. Въ годъ я нюхаю два фунта Рапе, по два рубли фунтъ. Шесть да четырнацать — двадцать рублей сорокъ копеекъ на одинъ табавъ! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой другъ Гофманъ, не такъ ли?» — Гофманъ, который самъ былъ пьянъ, отвъчалъ утвердительно.

— Двадцать рублей сорокъ копеекъ! Я швабскій нѣмецъ; у меня есть король въ Германіи. Я не хочу носа! Рѣжь мнѣ носъ! Вотъ мой носъ!

И если бы не внезапное появленіе поручика Пирогова, то, безъ всякаго сомнѣнія, Гофманъ отрѣзалъ бы ни за что, ни про что Шиллеру носъ, потому что онъ уже привелъ ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хотѣлъ кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрошенное лицо такъ некстати ему помѣшало. Онъ, несмотря на то, что былъ въ упоятельномъ чаду пива и вина, чувствовалъ, что нѣсколько неприлично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствіи находиться въ присутствіи посторонняго свидѣтеля. Между тѣмъ, Пироговъ слегка наклонился и съ свойственною ему пріятностію сказалъ:

— Вы извините меня...

— Пошелъ вонъ! — отвѣчалъ протяжно Шиллеръ.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лицъ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достоинства онъ сказалъ:

— Мнѣ странно, милостивый государь... Вы, вѣрно, не замѣтили... я офицеръ...

· — Что такое офицеръ! Я — швабскій нѣмецъ. Мой самъ (при этомъ Шиллеръ ударилъ кулакомъ по столу) будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сдѣлаетъ этакъ: фу! — При этомъ Шиллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидълъ, что ему больше ничего не оставалось, какъ только удалиться; однакожъ, такое обхожденіе, вовсе не приличное его званію, ему было непріятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, каквыть бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ, разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивомъ и виномъ; къ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано поутру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатъ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ голосомъ, который очень шелъ къ ея личику, спросила:

- Что вамъ угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плутовочка, какie хорошенькie глазки!

При этомъ поручикъ Пироговъ хотълъ очень мило поднятъ пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію спросила:

— Что вамъ угодно?

— Васъ видѣть, больше ничего мнѣ не угодно, — произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подступая ближе; но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользнуть въ дверь, прибавилъ: — Мнѣ нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мнѣ сдѣлать шпоры? Хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изъясненіяхъ подобнаго рода.

— Я сейчасъ позову моего мужа, — вскрикнула нѣмка и ушла, и черезъ нѣсколько минутъ Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходившаго съ заспанными глазами, едва очнувшагося отъ вчерашняго похмелья. Взглянувши на

Digitized by Google

I....

офицера, онъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но чувствовалъ, что сдѣлалъ какую-то глупость, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ.

--- Я за шиоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, --- произнесь онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова, потому что ему, какъ честному нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя, тремя пріятелями, и запирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

— Зачъть же такъ дорого? — ласково сказалъ Пироговъ.

— Нѣмецкая работа, — хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородовъ: — русскій возьмется сдѣлать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей!

Шиллеръ минуту оставался въ размышленія: ему, какъ честному нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить его отъ заказыванія, онъ объявиль, что раньше двухъ недѣль не можетъ сдѣлать. Но Пироговъ безъ всякаго прекословія изъявиль совершенное согласіе.

Нѣмецъ задумался и сталъ размышлять о томъ, какъ бы лучше сдѣлать свою работу, чтобы она дѣйствительно стоила пятнадцати рублей.

Въ это время блондинка вошла въ мастерскую и начала рыться на столѣ, установленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостію Шиллера, подступилъ къ ней и пожалъ ей ручку, обнаженную до самаго плеча.

Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейнъ фрау! — закричалъ онъ.

— Васъ волензи дохъ? — отвъчала блондинка.

— Гензи на кухня!

Блондинка удалилась.

— Такъ черезъ двъ недъли? — сказалъ Пироговъ.

— Да, черезъ двѣ недѣли, — отвѣчалъ въ размышленіи Шиллеръ: — у меня теперь очень много работы.

— До свиданія, я къ вамъ зайду!

— До свиданія, — отвѣчалъ Шиллеръ, запирая за нимъ дверь.

Поручикъ Пироговъ ръшился не оставлять своихъ исканій, несмотря на то, что нъмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, чтобы можно было ему противиться, тёмъ болёе, что любезность его и блестящій чинъ давали полное право на вниманіе. Надобно, однакоже, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть въ хорошенькой женѣ. По крайней мъръ, я зналь много мужей, которые въ восторгѣ отъ глупости своихъ женъ и видять въ ней всв признаки младенческой невинности. Красота производить совершенныя чудеса. Всъ душевные недостатки въ красавицъ, вмъсто того, чтобы произвести отвращение, становятся какъ - то необыкновенно привлекательны; самый порокъ дышить въ нихъ миловидностію; но исчезни она — и женщинъ нужно быть въ двадцать разъ умнъе мужчины, чтобы внушить въ себъ, если не любовь, то, по крайней мъръ, уважение. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда върна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успъть въ смъломъ своемъ предпріятія; но съ побъдою препятствій всегда соединяется наслажденіе, и блондинка становилась

Н. В. Гоголь. Томъ III.

21

для него интереснѣе день-ото-дня. Онъ началъ довольно часто освѣдомляться о шпорахъ, такъ что Шиллеру это, наконецъ, наскучило. Онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы окончить скорѣй начатыя шпоры; наконецъ, шпоры были готовы.

— Ахъ, какая отличная работа ! — закричалъ поручикъ Пироговъ, увидъвши шпоры — Господи, какъ это хорошо сдълано ! У нашего генерала нътъ этакихъ шпоръ.

Чувство самодовольствія распустилось по душѣ Шиллера. Глаза его начали глядѣть довольно весело, и онъ въ мысляхъ совершенно примирился съ Пироговымъ.

«Русскій офицеръ — умный человъкъ», — думалъ онъ самъ про себя. — Такъ вы, стало - быть, можете сдълать и оправу, напримъръ, къ кинжалу или другимъ вещамъ?

— О, очень могу! — сказалъ Шиллеръ съ улыбкою.

— Такъ сдѣлайте мнѣ оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу. У меня очень хорошій турецкій кинжалъ, но мнѣ бы хотѣлось оправу къ нему сдѣлать другую.

Шиллера это какъ бомбою хватило. Лобъ его вдругъ наморщился.

«Вотъ тебъ на!» — подумалъ онъ про себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу.

Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же русскій офицеръ похвалилъ его работу. — Онъ, нъсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; но поцѣлуй, который, уходя, Пироговъ влѣпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумѣніе.

Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нъсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный нъмецъ, въ полномъ смыслъ этого слова. Еще съ двадцатилътняго возраста, съ того счастливаго времени, въ которое русскій живеть на фуфу, уже Шиллерь размѣриль всю свою жизнь и никакого, ни въ какомъ случат, не дълалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, объдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себъ въ течение 10 лътъ составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ върно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудеть заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нёмецъ ръшится перемънить свое слово. Ни въ какомъ случаѣ не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цъна на картофель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавляль ни одной копейки, но уменьшаль только количество, и хотя оставался иногда нъсколько голоднымъ, но скоро, однакоже, привыкалъ къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цёловать жену свою въ сутки не болъе двухъ разъ, а чтобы какъ-нибудь не поцъловать лишній разъ, онъ никогда не клалъ перцу болѣе одной чайной ложечки въ свой супъ; впрочемъ, въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, потому что Шиллеръ выпивалъ тогда двъ бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однакоже, онъ всегда бранилъ. Пилъ онъ вовсе не такъ, какъ англичанинъ, который тотчасъ послѣ обѣда запираетъ дверь на крючокъ и наръзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ нъмецъ, пилъ всегда вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или со столяромъ Кунцомъ, тоже нёмцемъ и большимъ пьяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который, наконецъ, былъ приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Хотя онъ былъ флегматикъ и нъмецъ, однакожъ,

поступки Пирогова возбудили въ немъ что то похожее на ревность. Онъ ломалъ голову и не могъ придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого русскаго офицера. Между тъмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, — потому что уже такъ Провидъніе устроило, что гдъ офицеры, тамъ и трубки, — куря трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріятною улыбкою объ интрижкъ съ хорошенькою нъмкою, съ которою, по словамъ его, онъ уже совершенно былъ накороткъ и которую онъ, въ самомъ дълъ, едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мъщанской, поглядывая на домъ, на которомъ красовалась вывъска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидълъ онъ головку блондинки, свъсившуюся въ окошко и разглядывавшую прохожихъ. Онъ остановился, сдълалъ ей ручкою и сказалъ:

— Іутъ моргенъ.

Блондинка поклонилась ему, какъ знакомому.

— Что, вашъ мужъ дома?

— Дома, — отвъчала блондинка.

— А вогда онъ не бываетъ дома?

— Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумалъ про себя Пироговъ: — этимъ нужно воспользоваться», — и въ слёдующее воскресенье, какъ снёгъ на голову, явился передъ блондинкою.

Шиллера, дъйствительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка вспугалась; но Пироговъ поступилъ на этотъ разъ довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показаль всю красоту своего гибкаго, перетянутаго стана. Онъ очень пріятно и учтиво шутиль, но глупенькая нѣмка отвѣчала на все односложными словами. Наконецъ, заходивши со всѣхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложнать ей танцовать. Нѣмка согласилась въ одну минуту, потому что нѣмки всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Пироговъ очень много основывалъ надеждъ: во-первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе; во-вторыхъ, это могло показать его турнюру и ловкость; въ-третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую нѣмку и проложить начало всему; короче, онъ выводиль изъ этого совершенный успъхъ. Онъ началь напъвать какой - то гавоть, зная, что нъмкамъ нужна постепенность. Хорошенькая нъмка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение такъ восхитило Пирогова, что онъ бросился ее цъловать, нъмка начала кричать и этимъ еще болъе увеличила свою прелесть въ глазахъ Пирогова; онъ ее засыпалъ поцѣлуями, какъ вдругъ дверь отворилась, и вошелъ Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всъ эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но...я предоставляю самимъ читателямъ судить о гнѣвѣ и негодованін Шиллера.

— Грубіянъ! — закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи: — какъ ты смѣешь цѣловать мою жену? Ты подлецъ, а не русскій офицеръ. Чортъ побери! не такъ ли, мой другъ Гофманъ? Я нѣмецъ, а не русская свинья.

Гофманъ отвѣчалъ утвердительно.

--- 0! я не хочу имътъ роги! Бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ; я не хочу, -- продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, причемъ

21*

все лицо его было похоже на красное сукно его жилета. — Я восемь лътъ живу въ Петербургъ, у меня въ Швабіи мать моя, и дядя мой въ Нюренберга; я нъмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! Держи его за рука и нога, камрадъ мой Кунцъ!

И нъмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжій народъ изъ всёхъ петербургскихъ нёмцевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невёжливо, что, признакось, я никакъ не нахожу словъ къ изображенію этого печальнаго событія.

Я увѣренъ, что Шиллеръ на другой день былъ въ сильной лихорадкъ, что онъ дрожалъ, какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиции, что онъ, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, чтобы все происходившее вчера было во снѣ. Но что уже было, того нельзя перемѣнить. Ничто не могло сравниться съ гнѣвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскорбленіи приводила его въ бѣшенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ летѣлъ домой, чтобы, одѣвшись, оттуда идти прямо въ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство нѣмецкихъ ремесленниковъ. Онъ разомъ хотѣлъ подать и письменную просьбу въ Главный Штабъ; если же назначеніе наказанія будеть неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.

Но все это какъ-то странно кончилось: по дорогѣ онъ зашелъ въ кондитерскую, съѣлъ два слоеныхъ пирожка, прочиталъ кое - что изъ «Сѣверной Пчелы» и вышелъ уже не въ столь гнѣвномъ положеніи. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его нѣсколько пройтись по Невскому проспекту; къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо безпокоить генерала; притомъ онъ, безъ сомнѣнія, куда - нибудь отозванъ. И потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю контрольной комиссіи, гдѣ было очень пріятное собраніе многихъ чиновниковъ и офицеровъ его корпуса. Тамъ съ удовольствіемъ провелъ вечеръ и такъ отличился въ мазуркѣ, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ.

«Дивно устроенъ свътъ нашъ! — думалъ я, бредя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествія. — Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснъйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замъчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пъшкомъ и довольствуется только тъмъ, что пошелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имъетъ отличнаго повара, но, къ сожалънію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имъетъ ротъ величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какимъ-нибудь нѣмецкимъ объдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!»

Но страннѣе всего происшествія, случающіяся на Невскомъ проспектѣ. О, не вѣрьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрѣпче плащомъ своимъ, когда иду по немъ, и стараюсь вовсе не глядѣть на встрѣчающіеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чѣмъ кажется! Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично сшитомъ сюртучкѣ, очень богатъ? — ничуть не бывало; онъ весь состоитъ изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившіеся передъ строящеюся церковью, судятъ объ архитектурѣ ея? — совсѣмъ нѣтъ: они говорятъ о томъ, какъ странно съли двъ вороны одна противъ другой. Вы думаете, что этоть энтузіасть, размахивающій руками, говорить о томь, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера? -- совстять нътъ: онъ говоритъ о Лафаэтъ. Вы думаете, что эти дамы... но дамамъ меньше всего върьте. Менъе загляцывайте въ окна магазиновь: бездълушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнутъ страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шляшки. Какъ привлекательно ни развъвайся вечеромъ вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далъе, ради Бога, далъе отъ фонаря! и скорѣе, сколько можно скорѣе, проходите мимо! Это счастіе еще, если отдѣлаетесь тёмъ, что онъ зальетъ щегольской сюртукъ вашъ вонючимъ своимъ масломъ. Но, и промъ фонаря, все дышитъ обманомъ. Онъ джетъ во всякое время, этотъ Невскій проспекть, но болте всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжеть на него и отдълить бълыя и палевыя стёны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, миріады кареть валятся съ мостовъ, форейторы кричать и прыгають на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаеть лампы для того только, чтобы показать все не въ настоящемъ видѣ.

О МАЛОРОССІЙСКИХЪ ПѢСНЯХЪ.

Только въ послѣдніе годы, въ эти времена стремленія къ самобытности и собственной народной поэзія, обратили на себя вниманіе малороссійскія пѣсни, бывшія до того скрытыми отъ образованнаго общества и державшіяся въ одномъ народѣ. До того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрѣдка заносилась въ высшій кругь, слова же оставались безъ вниманія и почти ни въ комъ не возбуждали любопытства. Даже музыка ихъ не появлялась никогда вполнѣ. Бездарный композиторъ безжалостно разрывалъ ее и клеилъ въ свое безчувственное, деревянное созданіе '). Но лучшія пѣсни и голоса слышали только однѣ украинскія степи: только тамъ, подъ сѣнью низенькихъ глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при блескѣ утра, полудня и вечера, при лимонной желтизнѣ падающихъ колосьевъ пшеницы, онѣ раздаются, прерываемыя однѣми степными чайками, вереницами жаворонковъ и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ пъсенъ. Это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дъятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ, при всей многосторонности ея, не получилъ высшей цивилизація, то весь пыль, все сильное, юное бытіе его выливается въ народныхъ пъсняхъ. Онъ — надгробный памятникъ былого, болъе нежели надгробный памятникъ: камень съ красноръчивымъ рельефомъ, съ историческою надписью — ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лътописи. Въ этомъ отношении пъсни для Малороссии — все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнуль въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытъ этой цвътущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы или точнаго объясненія мъста, върной реляція; въ этомъ отношенія немногія пъсни помогуть ему. Но когда онъ захочеть узнать върный быть, стихи характера, всѣ изгибы и оттънки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочеть выпытать духъ минувшаго въка, общій характеръ всего цълаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будеть удовлетворенъ вполнѣ: исторія народа разоблачится передь нимъ въ ясномъ величіи.

Пѣсни малороссійскія могуть вполнѣ назваться историческими, потому что онѣ не отрываются ни на мигь оть жизни и всегда вѣрны тогдашней минутѣ и тогдашнему состоянію чувствъ. Вездѣ проникаетъ ихъ, вездѣ въ нихъ дышить эта широкая воля козацкой жизни. Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свѣжестью, съ карими

Впрочемъ, любители музыки и поэзіи могутъ итсколько уттиться: недавно издано прекрасное собраніе пъсенъ Максимовичемъ, и при немъ голоса, переложенные Алябьевымъ.

очами, съ ослѣпительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся, какъ ручей, слезами, которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство, — ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ, — все замѣняетъ ватага гульливыхъ рыцарей набѣговъ. Узы этого братства для него выше всего, сильнѣе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмѣримая степь отъ Тамана до Дуная — дикій океанъ цвѣтовъ колышется однимъ налетомъ вѣтра; въ безпредѣльной глубинѣ неба тонуть лебеди и журавли; умирающій козакъ лежитъ среди этой свѣжести дѣвственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть, не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

> То ще добре козацька голова знала, Що безъ війска козацького не виирала.

Увидъвщи ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли козацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновеніемъ; извергается ди изъ самопаловь потопь дыма и пуль; кружаеть ли вольно медь, вино; описываются ли ужасная казнь гетмана, оть которой дыбомъ подымается волось, мщеніе ли козаковъ, видъ ли убитаго козака, съ широко раскинутыми руками на травѣ, съ разметаннымъ чубомъ, клекты ли орловъ въ небъ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать козацкія очи, - все это живеть въ пъсняхъ и окинуто смълыми красками. Остальная половина пъсней изображаетъ другую половину жизни народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашняго; здъсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здъсь, напротивъ, одинъ женскій міръ, нъжный, тоскливый, дышащій любовію. Эти два пола виділись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цълые годы. Годы эти были проводимы женщинами въ тоскъ, въ ожидании своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ передъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранствъ, какъ сновидъніе, какъ мечта. Оттого любовь ихъ дълается чрезвычайно поэтическою. Свъжая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столиило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгновеніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновеніемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

> Ой, чорные бровенята! Лыхо мини зъ вами: Не хочете ночеваты Ни ноченьки сами.

Она вся живеть воспоминаніемъ. Все, на что они глядѣли вмѣстѣ, куда они вмѣстѣ ходили, что вмѣстѣ говорили, — все это припоминаеть она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видить въ природѣ, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всѣмъ имъ говорить и жалуется. И какъ просты, какъ поэтически-просты ея исполненныя души рѣчи! Ко всему примѣняетъ она состояніе свое и не можетъ наговориться, потому что человѣкъ многорѣчивъ всегда, когда въ его

грусти заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяніемъ говоритъ она:

> Да вжежъ мини не кодыты Куда я кодыла! Да вжежъ мини не любиты, Кого я любила! Да вжежъ мини не кодыты Ранкомъ по-пидъ замкомъ Да вжежъ мини не стояты Изъ монмъ коханкомъ! Да вжежъ мини не ходыты Въ лиски по оришки! Да вжежъ мини минулися Днвоцкія смишки!

Чтобы сколько-нибудь сдѣлать доступною для незнающихъ малороссійскаго языка глубину чувствъ, разсыпанныхъ въ этихъ пѣсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводѣ.

Разсердился, разгивался на меня мой милый! Вотъ онъ свялаетъ своего вороного кони и вдетъ далеко, далеко отъ мени.

Куда же ты, кой милый, голубчикъ мой сизый, куда ты убажаешь? Кому ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?

Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь изъ дальней дороги.

-О, если бъ я знала, если бы видъла, откуда будетъ влать мой милый, я бы ему по всей дорогъ мостила мосты изъ зеленаго тростника и все бы ждала его въ гости.

Воже Всесильный! выровняй вся долнны и горы, чтобы вездё было ровно, чтобы оттоля ему до самаго дому было хорошо вхать.

Чу! луга шумять, берега звенять, по дорогѣ зеленѣеть трава — это овъ! это кой милый вдеть!

Чу! луга шумять, берега звенять, расцвътаеть калина — върно, гдъ-вибудь мой милый, голубчикъ мой сизый, съ другою разговяриваетъ.

Зачъмъ же ты не пріздаль, зачъмъ не прилетвль, какъ я тебъ говорила? Коня ли не имълъ, дороги ли не зналъ, или мать не вельда тебъ?

Я коня нийю; я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велбла мий сйдлать коня.

Но только лишь сяду на коня, только лишь вызду за ворота, какъ уже бъжнтъ за мною другая и такъ жалко стонетъ, такъ плачетъ, что тоска ся кватаетъ за самое сердце.

Можно привесть до тысячи подобных ь пъсенъ, можетъ-быть, даже гораздо лучшихъ. Всъ онъ благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездѣ новыя краски, вездѣ простота и невыразимая нѣжность чувствъ. Гдѣ же мысли въ нихъ коснулись религіознаго, тамъ онъ необыкновенно поэтически. Онъ не изумляются колоссальнымъ созданіямъ въчнаго Творца: это изумленіе принадлежить уже ступившему на высшую ступень самопознанія; но ихъ вбра такъ невинна, такъ трогательна, такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онъ обращаются въ Богу, какъ дъти къ отцу; онъ вводять Его часто въ быть своей жизни съ такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у нихъ величественнымъ въ самой простотъ своей. Отъ этого самые обыкновенные предметы въ пъсняхъ ихъ облекаются невыразимою поэзіей, чему еще болѣе помогають остатки обрядовъ древней славянской мивологіи, которые онѣ покорили христіанству. Часто тоскующая дъва умоляетъ Бога, чтобы Онъ засвътилъ на небъ восковую свъчку, пока ея милый перебредеть черезь ръку Дунай. На всемъ печать чистаго первоначальнаго младенчества, стало-быть, — и высокой поэзіи. Изложеніе пѣсней ихъ, какъ женскихъ, такъ и козацнихъ, почти всегда драматическое — признакъ развитія народнаго духа и дѣятельной, безпокойной жизни, долго обнимавшей народъ. Пъсни ихъ почти никогда не обращаются въ описательныя и не занимаются долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользитъ въ куплетъ, но, тъмъ не менъе, черты ен такъ новы, тонки, ръзки, что представляютъ весь предметъ. Впрочемъ, къ нимъ прибъгаютъ для того только, чтобы сильнъе выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. То же самое у нихъ представляютъ и во внъшнемъ, и во внутреннемъ міръ. Часто, вмъсто цълаго внъшняго, находится только одна ръзкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдъ нельзя найти подобной фразы: былъ вечеръ; но вмъсто этого говорится то, что бываетъ вечеромъ, напр.:

> Шли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля: Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многіе, не понявъ, считали подобные обороты безсмыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругъ, сильно, ръзко и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многихъ пъсняхъ нъть одной общей мысли, такъ что онѣ походять на рядъ куплетовъ, изъ которыхъ каждый заключаеть въ себѣ отпъльную мысль. Иногда онъ кажутся совершенно безпорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыкновенно тѣ предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помѣщаются и въ пъсни; но зато изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражають самою очаровательною безотчетностью поэзіи. Самая яркая и върная живопись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пъсня сочиняется не съ перомъ въ рукъ, не на бумагѣ, не съ строгимъ разсчетомъ, но въ вихрѣ, въ забвеніи, когда душа звучить, и всѣ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободнье, руки вольно вскидываются на воздухъ, и дикія волны веселья уносять его отъ всего. Это примъчается даже въ самыхъ заунывныхъ пъсняхъ, которыхъ раздирающіе звуки съ болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться изъ души человъка въ обыкновенномъ состоянии, при настоящемъ воззръни на предметъ. Только тогда, когда вино перемъшаеть и разрушить весь прозаический порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласіи звучать внутреннимъ согласіемъ, — въ такомъ-то разгулъ, торжественномъ больше, нежели веселомъ, душа, къ непостижимой загадет, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдѣніе! Весь таинственный составъ его требуетъ звуковъ, однихъ звуковъ. Оттого поэзія въ пъсняхъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болъе доступна каждому, нежели поэзія звуковъ, или, лучше сказать, поэзія поэзія. Ее одинъ только избранный, одинъ истинный въ душѣ поэть понимаеть; и потому-то часто самая лучшая пѣсня остается незамбченною, тогда какъ незавидная выигрываеть своимъ содержаніемъ.

Стихосложеніе малороссійское самое выгодное для пъсенъ: въ немъ соединяются вмъстъ и размъръ, и тоника, и риома. Паденіе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бываетъ слишкомъ длинна; если же это и случается, то цезура посерединъ, съ звонкою риомою, переръ́зываетъ ее. Чистые, протяжные ямбы ръдко попадаются; большею частію быстрые хореи, дактили, амфиврахіи летятъ шибко, одинъ за другимъ, прихотливо и вольно мъщаются между собою, производятъ новые размъры и разнообразятъ ихъ до чрезвычайности. Риомы звучатъ и сшибаются одна съ другою, какъ серебряныя подковы танцующихъ. Върность и музыкальность

уха — общая принадлежность ихъ. Часто вся строка созвукивается съ другою, несмотря, что иногда у объихъ даже риемы нътъ. Близость риемъ изумительна. Часто строка два раза терпитъ цезуру и два раза риемуется до замыкающей риемы, которой сверхъ того даетъ отвътъ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на серединъ. Иногда встръчается такая риема, которую, повидимому, нельзя назвать риемою, но она такъ върна своимъ отголоскомъ звуковъ, что нравится иногда болъе, нежели риема, и никогда бы не пришла въ голову поэту съ перомъ въ рукъ.

Характеръ музыки нельзя опредълить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ пъсняхъ она легка, гращозна, едва только касается земли и, кажется, шалить, ръзвится звуками. Иногда звуки ея принимають мужественную физіогномію, становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело ударяють въ землю, и, кажется, какъ будто бы подъ нихъ можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ся становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуеть себя исполиномъ: душа его и все существование раздвигается, расширяется до безпредъльности. Онь отдъляется вдругъ отъ земли, чтобы сильнъе ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то она нигдъ не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прерванной юности. которой не дали довеселиться; жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живуть, жгуть, раздирають душу. Русская заунывная музыка выражаеть, какъ справедливо замътилъ М. Максимовичъ, забвеніе жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить вседневныя нужды и заботы; но въ малороссійскихъ пъсняхъ она слидась съ жизнью: звуки ея такъ живы, что, кажется, не звучатъ, а говорятъ, -- говорятъ словами, выговаривають рѣчи, и каждое слово этой яркой рѣчи проходить душу. Взвизги ея иногда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваеть, какъ будто бы коснулось къ нему острое желѣзо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуеть, что надежда давно улетбла изъ міра. Въ другомъ мъстъ отрывистыя стенанія, вопли, такіе яркіе, живые, что съ трепетомъ спрашиваещь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свиръпое насиліе вырываеть младенца, чтобы съ звърскимъ смѣхомъ расшибить его о камень. Ничто не можеть быть сильнѣе народной музыки, если только народъ имълъ поэтическое расположеніе, разнообразіе и дъятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ въчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы. и если эти жалобы не могли иначе и нигдъ выразиться, какъ только въ его пъсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту годину, когда хищно ворвалась въ нее унія. По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей буръ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по бриліантовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освъженныя деревья, когда солнце мечеть вечерній лучъ, разръженный воздухъ чистъ, вдали звонко дребезжитъ мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, въстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свътлыми кольцами къ небу, и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

1833.

МЫСЛИ О ГЕОГРАФІИ.

(ДЛЯ ДВТСКАГО ВОЗРАСТА).

Велика и поразительна область географіи: край, гдъ кипить югь н каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдъ въ искаженныхъ чеотахъ природы прочитывается ужасъ, и земля превращается въ оледенълый трупъ; исполины-горы, парящія въ небо, наброшенный небрежно, дышащій всею роскошью растительной силы и разнообразія видь, и раскаленныя пустыни и степи; оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предълъ всего живущаго! — Гдъ найдутся предметы, сильнъе говорящіе юному воображенію ?--Какая другая наука можеть быть прекраснье для дътей, можеть быстръе возвысить поэзію младенческой души ихъ? И не больно ли, если показывають имъ, вмъсто всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелеть, холодно говоря: «Воть земля, на которой живемъ мы; вотъ тоть прекрасный міръ, подаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ!» — Этого мало: его совершенно скрывають оть нихъ и дають имъ вмѣсто того грызть политическое тёло, превышающее мірь ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями. — Невольно при этомъ приходить на мысль: неужели великій Гумбольдть и ть отважные изслъдователи, принесшіе такъ много свъдъній въ область науки, истолковавшіе дивные іероглифы, коими поврыть міръ нашъ, - должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрасть, болѣе другихъ нуждающійся въ ясности и опредѣлительности, долженъ видъть передъ собою одни непонятныя изображенія?

Дътскій возрасть есть еще одна жажда, одно безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуеть, все хочеть узнать. Его болъе всего интересують отдаленныя земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живуть? Эти вопросы стремятся у него толпою, и всъ они относятся прямо къ физической географіи, и потому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плънительный, — долженъ болъе и общирнье занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности воспитанниковъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читаютъ ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стоитъ, чтобъ ее проходили не въ одномъ классѣ: но преподаватели впадаютъ въ большую ошибку: размежевываютъ земной шаръ на двѣ или, смотря по классамъ, на три части и самому начальному классу достается Европа, разсматриваемая обыкновенно въ политическомъ отношеніи съ подробнѣйшими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждаютъ по степямъ и пескамъ африканскимъ и бесѣдуютъ съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формѣ такого преподаванія, нужно имѣтъ необыкновенную память, чтобы удержать въ ней всю эту

нестройную массу. Если же и допустить такой феномень въ природъ, то въ головъ этого феномена никогда не удержится одно прекрасное цълое. — Это будуть тщательно отдъланныя, разрозненныя части, которыми не управляеть одна мощная жизнь, бьющая ровнымъ пульсомъ по всъмъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархическаго правленія и утратившій его въ буръ политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходить географію въ два разные періода своего возраста. Въ первомъ онъ долженъ узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ такой, который бы пробудилъ всю внимательность его, который бы показалъ всю общирность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ должны ниспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составилъ одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всё концы его. Ничего въ подробности, но только однъ ръзкія черты, но только, чтобы онъ чувствовалъ, гдъ стужа, гдъ болѣе растительность, гдъ выше мануфактурность, гдъ сильнѣе образованность, гдъ глубже невъжество, гдъ ниже земля, гдъ стремительнѣе горы. — Во второмъ періодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть передъ нимъ раздвинуть. Онъ долженъ разсмотрѣть въ микроскопъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узнаетъ всѣ исключенія и переходы, менѣе ръзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имъть вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будетъ сжимать его и умерщвлять воображение: передъ нимъ должна быть одна только карта. Ни одного географическаго явления не нужно объяснять, не укръпивши на мъстъ, хотя бы это было только яркое, живописное описание, чтобы воспитанникъ, внимая ему, глядълъ на мъсто въ своей картъ, и чтобы эта маленькая точка какъ бы раздвигалась передъ нимъ и вмъстила бы въ себъ всъ тъ картины, которыя онъ видитъ въ ръчахъ преподавателя. Тогда можно быть увъреннымъ, что онъ останутся въ памяти его въчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнитъ красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его памяти. Черченіе карть, надь которымъ заставляють воспитанниковъ трудиться, мало приносить пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можеть только въ головѣ ихъ уничтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтовалъ сдѣлать всю воду бѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ совершенно отдѣлились, рѣзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и пресдѣдовали бы ихъ неотступно неправильною своею фигурою. Послѣ этого будетъ имъ гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т.-е. означать всѣ мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они вначалѣ совсѣмъ не знаютъ ихъ, но зато удержатъ общій видъ земли.

Гораздо лучше проходить вначалѣ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всѣ части свѣта: чрезъ это очевиднѣе будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замѣтивши ихъ въ общей массѣ, они могутъ тогда погрузиться глубже въ каждую часть свѣта. Но въ порядкѣ частей свѣта я бы совѣтовалъ лучше слѣдовать за постепеннымъ развитіемъ человѣка, стало-быть, вмѣстѣ и за постепеннымъ открытіемъ земли: начать съ Азіи, съ его колыбели, съ его

младенчества, перейти въ Африку, въ его пламенное и вмъстъ грубое юношество, обратиться къ Евронъ, къ его быстрому разоблаченію и зрълости ума, шагнуть вмъстъ съ нимъ въ Америку, гдъ, развитый и властительный, встрътился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое раздѣленіе, мнѣ кажется, будеть гораздо естественнѣе. Прежде всего воспитанникъ долженъ составить себѣ общее характеристическое понятіе о каждой изъ нихъ. Во-первыхъ, объ Азіи, гдѣ все такъ велико и общирно, гдѣ люди такъ важны, такъ холодны съ вида и вдругъ кипятъ неукротимыми страстями; при дѣтскомъ умѣ своемъ думаютъ, что они умнѣе всѣхъ; гдѣ все гордость и рабство; гдѣ все одѣвается и вооружается легко и свободно, все наѣздничаетъ; гдѣ турокъ радъ просидѣть цѣлый вѣкъ, поджавъ ноги и куря кальянъ свой, и гдѣ бедуинъ, какъ вихорь, мчится по пустынѣ; гдѣ вѣра переходитъ въ фанатизмъ, и вся страна — страна вѣроисповѣданій, разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африкѣ, гдѣ солнце жжетъ, и океаны песчаныхъ степей растягиваются на неизмѣримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человѣкъ, мале чѣмъ разнящійся наружностью и своими чувственными наклонностями отъ обезьянъ, кочующихъ по ней ордами, и такъ далѣе.

Начертивъ видъ части свъта, воспитанникъ указываетъ всъ высочайшія и низменныя мъста на ней, разсказываетъ, какъ развътвляются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразныя цъпи. Въ этомъ смыслѣ можно съ пользою употреблять Риттерово барельефное изображеніе Европы, хотя оно не совсѣмъ еще удобно для дѣтей, по причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней. Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины, или изъ металла, настоящій барельефъ. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ памяти всѣ высокія и низметныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей землѣ, то познаніе ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развѣтвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и, наконецъ, характеръ и отличіе каждой цѣпи, — все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая-то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ гранитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или, наконецъ, самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже разсказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ — и можно разсказать занимательно. Что же касается до поверхности ихъ, то, само собою разумѣется, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ и высоту, до которой подымался человѣкъ.

Не мѣшало бы коснуться слегка подземной географіи. Мнѣ кажется, нѣтъ предмета болѣе поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можеть только возрастъ высшій. Тутъ всѣ явленія и факты дышать исполинскою колоссальностью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя массы. Тутъ на всемъ отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли; душа сильнѣе чувствуетъ великія дѣла Творца. Тутъ лежатъ погребенными цѣлыя цѣпи подземныхъ лѣсовъ. Тутъ лежитъ въ глубокомъ уединеніи раковина и уже превращается въ мраморъ. Тутъ дышатъ вѣчные огни, и отъ взрыва ихъ измѣняется

поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтобъ не тронула его воображенія.

Процессъ и разселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстницею градусовъ: гдѣ растеніе Юга — хозяинъ, куда перешло оно какъ гость, подъ какимъ градусомъ умираетъ, гдѣ начинается растеніе Сѣвера, гдѣ и оно, наконецъ, гибнетъ, прозябаніе прекращается, природа обмираетъ въ объятіяхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается недоступными для человѣка льдами. Такимъ же образомъ и разселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особенный видъ ея.

Произведенія искусства вообще являются досель у географовь отрывисто. Перехода ньть никакого оть природы къ произведеніямъ человька. Они отрублены, какъ топоромъ, отъ своего источника. Я уже не говорю о томъ, что у нихъ не представленъ вовсе этотъ брачный союзъ человъка съ природою, отъ котораго раждается мануфактурность. Итакъ, прежде нежели воспитанникъ приступитъ къ обозрѣнію мануфактуръ и произведеній рукъ человѣка, нужно, чтобы онъ былъ пріуготовленъ къ тому произведеніями земли, чтобы онъ самъ собою могъ вывесть, какія мануфактуры должны быть въ такомъ-то государствѣ; если же встрѣтится исключеніе, тогда необходимо показать, отчего оно произощло: можетъ-быть, безпечный характеръ народа, можетъ, стороннія обстоятельства, — или излишнее богатство сосѣдей, или невозможность дальнѣйшихъ сообщеній, или другія подобныя имъ — воспрепятствовали. Пріуготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязанъ показать каждаго физіогномію и тѣ отпечатки, которые принялъ его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Всѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т.-е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отчего, напримѣръ, тевтонское племя среди своей Германіи означено твердостью флегматическаго характера, и отчего оно, перейдя Альпы, напротивъ, принимаетъ всю игривость характера дегкаго.

Весьма полезны для дътей карты, изображающія разселеніе просвъщенія по земному шару. Эта польза превращается въ необходимость, когда проходять они Европу. Но какъ у насъ нътъ такихъ картъ, то преподавателю небольшого труда стоитъ сдълать оныя самому. Мъста, гдъ просвъщеніе достигло высочайшей степени, означать свътомъ и бросать легкія тъни, гдъ оно ниже. Тъни сіи становятся, чъмъ далъ, тъмъ кръпче, и, наконецъ, превращаются въ мракъ, по мъръ того, какъ природа дичаетъ, и человъкъ оканчивается бездушнымъ эскимосомъ.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчислениемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотръть на карту — вотъ одно средство. узнать ее. Не мъшало бы выръзать каждое государство особенно, такъ, чтобы оно составляло отдъльный кусокъ, и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ и форма.

При изображении каждаго города, непремённо должно означить рёзко его мѣстоположеніе; подымается ли онъ на горѣ, опрокинутъ ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и, вообще, сильными и немногими чертами обозначить характеръ его. Преподаватель обязанъ исторгнуть изъ обширнаго матеріала все, что бросаеть на городъ отличіе и оттѣняеть его оть множества другихъ. Пусть воспитанникъ знаетъ, что такое Римъ, что Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мъряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видъ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно быть исключено въ опредълении отдъльно каждаго города. Во многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ опредъленіяхъ губернскаго города разсказывается, что въ немъ есть гимназія, соборная церковь; убзднаго — что въ немъ есть убздное училище и т. п. Къ чему? Воспитаннику довольно сказать сначала, что у насъ гимназіи во всбхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-рояля, Фальконетова Петра, Кіевопечерской Лавры, Кингъ-Бенча — нътъ другихъ въ міръ. Объ нихъ дитя, върно, потребуеть подробнаго свъдънія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воспитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда оно, по своей величинѣ или отрицательно, выходить изъ категорія обыкновеннаго. Вибсто этого, можно занять его архитектурой города, - въ какомъ вкусѣ онъ выстроенъ, колоссальны ли, прекрасны ли его строенія. Если онъ древній, то какъ величественна, даже въ самой странности своей, его старинная, повитая столттіями и на чудо взлелбянная самими потрясеніями архитектура, и какъ, напротивъ того, легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столътіемъ. При мысли о какомъ-нибудь германскомъ городкъ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себъ тъсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдѣ все такъ просто, такъ мило, такъ буколически, и рядомъ съ ними угловатые, просъкающіе остріемъ воздухъ шпицы церквей. При мысли о Римъ. гдъ глухо отозвался весь канувшій въ пучину стольтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тъмъ мысль о зданіяхъ-исполинахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колонны, дряхлівють какъ бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мъшаетъ чаще показывать фасады примъчательнъйшихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ връжется въ памяти; притомъ это послужить невольно и нечувствительно въ образованію юнаго вкуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять воспоминаніями географическій мірь ихъ. Протекшее должно быть слишкомъ разительно, и развѣ уже происходить изъ чисто географическихъ причицъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходитъ въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія: тогда географія сливается и составляетъ одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный: всѣ поразительныя мѣстоположенія, великія явленія природы — должны быть окинуты яркими красками. Что дѣйствуетъ сильно на воображеніе, то не скоро выбьется изъ головы. Слогъ его долженъ болѣе подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можетъ удержаться въ головѣ отрока, особливо если она распространена въ мелочахъ. Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда она искусно

335

скрыта отъ него. Его система — интересъ, нить происшествій или нить описаній. Все, что истинно нужно, что болѣе относится къ нашей жизни, что болѣе можемъ мы впослѣдствіи приспособить къ себѣ, — все это уже интересно. Да, впрочемъ, что не интересно въ географіи? Она такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дѣйствія, и, несмотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослаго представляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болѣе съ міромъ, со всѣмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило памяти, а представлялось бы свѣтло нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ путешественниковъ, которыхъ множество, и изъ которыхъ, кажется, донынѣ, въ этомъ отношеніи, мало умѣли извлекать пользы.

Лѣность и непонятливость воспитанника обращаются въ вину педагога и суть только вывѣски его собственнаго нерадѣнія: онъ не умѣлъ, онъ не хотѣлъ овладѣть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставилъ ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать въ дитяти. Мнѣ часто случалось быть свидѣтелемъ, какъ ребеновъ, признанный за неспособнаго ни въ чему, обиженнаго природою, слушалъ съ неразвлекаемымъ вниманіемъ страшную сказку, и на лицѣ его, почти бездушномъ, не оживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, поперемѣнно прорывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого вниманія въ пользу науки? 1829.

ПОСЛЪДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ.

(КАРТИНА БРЮЛОВА).

Картина Брюлова — одно изъ яркихъ явленій XIX въка. Она — свътлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ-то полулетаргическомъ состоянии. Не стану говорить о причинъ этого необыкновеннаго застоя, хотя она представляеть занимательный предметь для изслёдованія; замъчу только, что если конецъ XVIII столътія и начало XIX въка ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи, то зато они много разработали ея части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развитъ и постигнутъ несравненно глубже, нежели въ прежнія времена. Замътили такія тайныя явленія, какихъ прежде никто не подозръвалъ. Вся та природа, которую чаще видить человъкъ, которая его окружаетъ и живетъ съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великіе художники, достигли изумительной истины и совершенства. Всъ наперерывъ старадись замътить тотъ живой кодоритъ, которымъ дышить природа. Все тайное въ ея лонъ, весь этоть нъмой языкъ пейзажа, подм'ячены или, лучше сказать, украдены, вырваны изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя всъ произведенія этого въка похожи болбе на опыты или, лучше сказать, записки, матеріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вносить путешественникъ въ свою книгу съ тъмъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ послъ нъчто цълое. Живопись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многочисленныя мелкія явленія были съ жадностію разрабатываемы въ частяхъ. Этимъ обязаны мы XIX въку. Колоритъ, употребляемый XIX въкомъ, показываеть великій шагь въ знаніи природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые ръшительно ΒЪ XIX въкъ опредълили сліяніе человъка съ окружающею природою: какъ въ нихъ дълится и выходитъ окинутая мракомъ и освъщенная свътомъ персиектива строеній! какъ сквозитъ освѣщенная вода, какъ дышитъ она въ сумракъ вътвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляетъ предметы передъ самыми глазами зрителя! какое смълое, какое дерзкое употребленіе твней тамъ, гдв прежде вовсе ихъ не подозрввали! и вмъств, при всей этой ръзкости, какая роскошная нъжность, какая подмъчена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнъе всего постигнуто въ наше время, такъ это освъщение. Освъщение придаетъ такую силу и, можно сказать, единство встыть нашимъ твореніямъ, что они, не имъя въ себъ никакого глубокаго достоянства, показывающаго геній, необыкновенно, однакоже, пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить, хотя, внимательно разсматривая, иногда увидншь въ творцѣ ихъ не общирное познаніе искусства.

Возъмите всъ безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго таланта, въ которыхъ дышитъ и въетъ природа такъ, что они, кажется, какъ

Н. В. Гоголь. Томъ Ш.

22

будто оцвъчены колоритомъ. Въ нихъ заря такъ тонко свътлъетъ на небъ, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя сіяніемъ солнца, какъ будто покрыты тонкою пылью; въ нихъ яркая бълизна сладострастно сверкаеть въ самомъ глубокомъ мракъ тъни. Разсматривая ихъ, кажется, бояшься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлить въ природъ, который происходить отъ сраженія свъта съ тънью, весь этоть эффекть сдвлался цвлью и стремленіемъ всвуъ нашихъ артистовъ. Можно сказать. что XIX въкъ есть въкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до послъдняго, топорщится произвесть эффекть, начиная оть поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надобдають, и, можеть-быть, XIX въкъ, по странной причудъ своей, наконецъ, обратится ко всему безъэффектному. Впрочемъ, можно сказать, что эффекты болъе всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами: тамъ, если они будутъ ложны и неумъстны, то ихъ ложность и неумъстность тотчасъ видна всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дъло: тамъ они, если ложны, то вредны тъмъ, что распространяють ложь, потому что простодушная толпа безъ разсужденія кидается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они върны и превращають человъка въ исполина; но когда они въ рукахъ поддъльнаго таланта, то для истиннаго понимателя они отвратительны, какъ отвратителенъ карло, одътый въ платье великана, какъ отвратителенъ подлый человъкъ, пользующійся назаслуженнымъ знакомъ отличія. Но все это, однакожъ, не относится къ нынѣшнему дѣлу. Должно признаться, что въ общей массъ стремление къ эффектамъ болъе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ, и даже въ послъднее время подвинуло все къ усовершенствованію. Желая произвести эффекть, многіе болѣе стали разсматривать предметь свой, сильнѣе напрягать умственныя способности. И если върный эффекть оказывался большею частію только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ геніевъ, а не огромное раздробление жизни и познаний, которымъ обыкновенно приписываютъ. Притомъ, стремленіе въ эффектамъ обдѣлало многія мелкія части чрезвычайно удовлетворительно и ръзкою своею очевидностію сдълало ихъ доступными для всъхъ. Не помню, кто-то сказалъ, что въ XIX въкъ невозможно появление генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себъ всю жизнь XIX въка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не будетъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX въкъ. И его шаги уже, върно, будутъ исполински и видимы всёми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можеть назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ. Въ ней все заключилось. По крайней мърѣ, она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватываль. Мысль ея принадлежитъ совершенно вкусу нашего вѣка, который вообще, какъ бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всѣ явленія въ общія группы и выбираетъ сильные кризисы, чувствуемые цѣлою массою. Всякому извѣстны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежатъ: «Видѣніе Валтазара», «Разрушеніе Ниневіи» и нѣсколько другихъ, гдѣ въ страшномъ величіи представлены эти великія катастрофы, которыя составляютъ совершенство освѣщенія, гдѣ молнія въ грозномъ величіи озаряетъ ужасный мракъ и скользитъ по верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выраженіе этихъ картинъ доразительно и исполнено необыкновеннаго единства; но въ нихъ вообще только одна идея этой мысли. Онѣ похожи на отдаленные виды; въ

нихъ только общее выраженіе. Мы чувствуемъ только страшное положеніе всей толпы, но не видимъ человъка, въ лицъ котораго былъ бы весь ужасъ имъ самимъ зримаго разрушенія. Ту мысль, которая видълась намъ въ такой отдаленной перспективъ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвелъ онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросилъ ее цълымъ потопомъ на свою картину. Молнія у него залила и потопила все, какъ будто бы съ тъмъ, чтобы все выказать, чтобы ни одинъ предметъ не укрылся отъ зрителя. Оттого на всемъ у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры онъ кинулъ сильно, такою рукою, какою мечеть только могущественный геній: эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлеть, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевь; эта грянувшаяся на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся въ такой красотъ руку; этотъ ребенокъ, вонзившій въ зрителя взоръ свой; этоть несомый дътьми старикъ, въ страшномъ тълъ котораго дышить уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окамента въ воздухъ съ распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бъжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышить зритель; толпа, съ ужасомъ отступающая отъ строений или со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взирающая на страшное явленіе, наконецъ, знаменующее конецъ міра; жрецъ въ бъломъ саванъ, съ безнадежною яростью мечущій взглядь свой на весь мірь, - все это у него такъ мощно, такъ смъло, такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возникнуть въ головъ генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержание картины и приводить толкования и поясненія на изображенныя событія. Для этого у всякаго есть глазъ и мърило чувства; притомъ же это слишкомъ очевидно, слишкомъ касается жизни человѣка и той природы, которую онъ видить и понимаеть, потому-то они доступны всёмъ отъ мала до велика: я замёчу только тё достоинства, тё ръзкія отличія, которыя имъеть въ себъ стиль Брюлова, тъмъ болъе, что эти замѣчанія, вѣроятно, сдѣлали немногіе. Брюловъ первый изъ живописцевъ. у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, несмотря на ужасъ всеобщаго событія и своего положенія, не вмъщають въ себъ того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышатъ суровыя созданія Микель-Анжело. У него нътъ также того высокаго преобладанія небесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми весь исполненъ Рафаель. Его фигуры прекрасны при всемъ ужасъ своего положенія. Онъ заглушають его своею красотою. У него не такъ, какъ у Микель-Анжело, у котораго тъло только служило для того, чтобы показать одну силу души, ея страданія, ея вопль, ея грозныя явленія; у котораго пластика погибала, контура человѣка пріобрътала исполинский размъръ, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у котораго являлся не человъкъ, но только — его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человѣкъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, върныя, огненныя, выражаются на такомъ прекрасномъ обликъ, въ такомъ прекрасномъ человъкъ, что наслаждаешься до упоенія. Когда я глядъяъ въ третій, въ четвертый разъ, мнѣ казалось, что скульптура, та скульптура, ко-•торая была постигнута въ такомъ пластическомъ совершенствъ древними, что скульптура эта перешла, наконецъ, въ живопись и сверхъ того проникнулась

22*

какой-то тайной музыкой. Его человѣкъ исполненъ прекрасно-гордыхъ движеній; женщина его блещетъ, но она не женщина Рафаэля: съ тонкими, незамѣтными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, италіанка, во всей красотѣ полудня, мощная, крѣпкая, пылающая всею роскошью страсти, всѣмъ могуществомъ красоты, — прекрасная, какъ женщина. Нѣтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, гдѣ бы человѣкъ не былъ прекрасенъ. Всѣ общія движенія группъ его дышатъ мощнымъ размѣромъ и въ своемъ общемъ движеніи уже составляютъ красоту. Въ созданіи ихъ онъ такъ же крѣпко и сильно правитъ своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни арабскимъ бѣгуномъ своимъ. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картинъ выказывается отсутствіе идеальности, т.-е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ-то состоитъ ея первое досгоинство. Явись идеальность, явись перевъсъ мысли, и она бы имъла совершенно другое выраженіе, она бы не произвела того впечатлѣнія; чувство жалости и страстнаго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и върной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушеніе, не смерть страшны; напротивъ, въ этой минутъ есть что-то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслаждение; намъ жалка наша милая чувственность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнулъ во всей силь эту мысль. Онъ представиль человька какъ можно прекрасные, его женщина дышить всёмь, что есть лучшаго въ мірё. Ея глаза, свётлые, какъ звъзды, ея дышащая нъгою и силою грудь объщають роскошь блаженства. И эта прекрасная, этотъ вънецъ творенія, идеалъ земли, должна погибнуть въ общей гибели, на ряду съ послъднимъ презръннымъ твореніемъ, которое не достойно было и ползать у ногъ ея. Слезы, испугъ, рыданіе — все въ ней прекрасно.

Видимое отличіе или манера Брюлова уже представляеть тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагь. Въ его картинахъ цѣлое море блеска. Это его характеръ. Тѣни его рѣзки, сильны, но въ общей массѣ тонуть и исчезають въ свѣтѣ. Онѣ у него такъ же, какъ въ природѣ, незамѣтны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тѣла у него какъ будто просвѣчиваетъ и кажется фарфоровою; свѣтъ, обливая его сіяніемъ, вмѣстѣ проникаетъ его. Свѣтъ у него такъ нѣженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая тѣнь кажется у него какъ будто прозрачною и, при всей крѣпости, дышитъ какою-то чистою, тонкою нѣжностью и поэзіей.

Его кисть остается навѣки въ памяти. Я прежде видѣлъ одну только его картину — семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, врѣзалась въ мое воображеніе и остадась въ немъ въчно въ своемъ яркомъ блескѣ. Когда я шелъ смотрѣть картину «Разрушеніе Помпеи», у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вмѣстѣ съ толпою къ той комнатѣ, гдѣ она стояла, и на минуту, какъ всегда бываеть въ подобныхъ случаяхъ, я позабылъ вовсе о томъ, что иду смотрѣть картину Брюлова; я даже позабылъ о томъ, есть ли на свѣтѣ Брюловъ. Но когда я взглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ моихъ, какъ молнія, пролетѣло слово: «Брюловъ!» Я узналъ его. Кисть его вмѣщаетъ въ себѣ ту поэзію, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знаютъ и видятъ даже отличительные признаки, но слова ихъ никогда не разскажутъ. Колоритъ его такъ ярокъ, какимъ никогда почти не являлсяпрежде; его краски горятъ и мечутся въ глаза. Онѣ были бы нестерпимы,

если бы явились у художника градусомъ ниже Брюлова, но у него онъ облечены въ ту гармонію и дышать тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ, — и что выше всего въ Брюловъ — такъ это необыкновенная многосторонность и общирность генія. Онъ ничъмъ не пренебрегаеть: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ. до послъдняго камня на мостовой, живо и свъжо. Онъ силится обхватить всъ предметы и на всъхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избиралъ себъ какую - нибудь одну сторону и въ нее погружалъ весь таланть свой, развивавшійся оттого въ необывновенномъ и какомъ-то отвлеченномъ величін. Рафаэль обыкновенно писаль одни только лица, одно развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросаль онь додълывать ученикамъ своимъ. Всѣ другіе великіе художники, настроенные высокостью религіозною или высокостью страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болъе на копны съна или на гранитныя массы; дерево или дътски - однообразно своею правильностью, или негармонически - безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротивъ, всъ предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоцённы. Онъ силится схватить природу исполинскими объятіями и сжимаетъ ее съ страстью любовника. Можетъ быть, въ этомъ ему помогла много раздробленная разработка въ частяхъ, которую приготовилъ для него XIX въкъ. Можеть быть, Брюловь, явившись прежде, не получиль бы такого разносторонняго и вмъстъ полнаго и колоссальнаго стремленія. Оттого-то его произведенія, можеть - быть, первыя, которыя живостью, чистымъ зеркаломъ природы доступны всякому. Его произведенія первыя, которыя можеть понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имъющій высшее развитіе вкуса, и не знающій, что такое художество. Они первыя, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользованія всемірною славою, и высшею степенью ихъ есть до сихъ поръ — Послъдний день Помпеи, которую, по необыкновенной общирности и соединению въ себъ всего прекраснаго, можно сравнить развъ съ оперою, если только опера есть дъйствительно соединение тройственнаго міра искусствъ: живописи, поэзій и музыки.

1834, августъ.

ПЛЪННИКЪ.

(отрывовъ изъ историческаго романа).

Въ 1543 году, въ началъ весны, ночью, тишина маленькаго городка Лукомья была смущена отрядомъ рейстровыхъ коронныхъ войскъ. Ущербленный мъсяць, выръзываясь блестящимъ рогомъ своимъ сквозь безпрерывно обступавшія его тучи, на мгновеніе освѣщаль дно провала, въ которомъ лѣпился этоть небольшой городокъ. Къ удивлению немногихъ жителей, успъвшихъ проснуться, отрядъ, котораго одно уже появленіе служило предвъстіемъ буйства и грабительствъ, тхалъ съ какой-то ужасающею тишиною. Замътно было, что всю силу напряженнаго вниманія его останавливаль ташившійся среди его плънникъ, въ самомъ странномъ нарядъ, какой когда-либо налагало насиліе на человѣка: онъ былъ весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, въроятно, для сообщенія неподвижности его тълу. Пушечный лафеть былъ укръпленъ на спинъ его. Конь едва ступалъ подъ нимъ. Несчастный плънникъ давно бы свалился, если бы толстый канать не прирастилъ его къ съдлу. Освътить бы мъсячному лучу хоть на минуту его лицо — и онъ бы. върно, блеснулъ въ капляхъ вроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мъсяцъ не могъ видъть его лица, потому что оно было заковано въ желъзную ръшетку. Любопытные жители, съ разинутыми ртами, иногда ръшались подступить поближе, но, увидя угрожающій кулакъ или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бъжали въ свои тщедушные домики, закутываясь покрѣпче въ наброшенные на плеча татарскіе тулупы и продрагивая отъ свѣжести ночного воздуха.

Отрядъ минулъ городъ и приближался къ уединенному монастырю. Это строеніе, составленное изъ двухъ совершенно противоположныхъ частей, стояло почти въ концъ города на косогоръ. Нижняя половина церкви была каменная, и, можно сказать, вся состояла изъ трещинъ, обожжена, закурена порохомъ, почернъвшая, позеленъвшая, покрытая крапивою, хмелемъ и дикими колокольчиками, носившая на себѣ всю лѣтопись страны, терпѣвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тъми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византійская, еще болѣе изуродованная варваризмомъ подражателей, былъ весь деревянный. Новыя доски, желтъвшія между почернълыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Блъдный лучъ серпорогаго мъсяца, продравшись сквозь кудрявыя яблони, укрывавшія вътвями въ своей гущѣ часть зданія, упаль на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный карнизъ, покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цвътами, которые на тотъ разъ блестъли и казались огнями или золотою надписью на дикомъ карнизъ. Одинъ изъ толпы съ неизмѣримыми, когда - либо виданными усами, длиннъе даже локтей рукъ его, котораго, по замашкамъ и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь.

Дряхлыя монастырскія стёны отозвались и, казалось, испустили умирающій голосъ, уныло потерявшійся въ воздухѣ. Послѣ сего молчаніе снова заступило свое мѣсто. Брань на разныхъ нарѣчіяхъ посыпалась изъ-подъ огромнѣйшихъ усовъ начальника отряда.

— Теремте - те, поповство проклято! Ато я знаю, чѣмъ васъ разбудить!

Раздался пистолетный выстрёлъ, пуля пробила ворота и шлепнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение въ кельяхъ, которыя примыкали къ церкви; показались огни; связка ключей загремъла; ворота со скрыпомъ отворились и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали блёдные, съ крестами въ рукахъ.

— Изыдите, нечистые! кромѣшники! — произнесъ едва слышнымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. — Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, изыди, діаволъ!

— Але то еще и брешетъ, поганый, — прогремълъ начальникъ языкомъ, которому ни одинъ человъкъ не могъ бы дать имени: изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. — То брешешь, лайдакъ, же говоришь, что мы дьяволы; ато мы не дьяволы, мы — коронные.

— Что вы за люди? я не знаю васъ! Зачъмъ вы пришли смущать православную церковь?

— Я тебѣ, псяюха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ.

- На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?

— Я, глупый попъ, не буду съ тобой говорить. А если ты хочешь, басамазенята, поговори зъ моимъ конемъ!

— Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ! — простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. — Только у меня нѣтъ вина! Какъ Богъ святъ, нѣтъ! Ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, что бы вамъ было нужно.

-- А мић какое дћло? Ребята хотять пить. Я тебћ говорю, если ты, глупый цопъ, сћна, стойла и пшеницы не дашь дошадямъ, то я ихъ въ костелъ вашъ поставлю и тебя сапогомъ до морды.

Настоятель, не говоря ни слова, возвелъ на нихъ оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтился съ злобно устремившимися на него глазами іезуита. Онъ отворотился отъ него и остановилъ ихъ на странномъ плѣнникѣ съ желѣзнымъ наличникомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственнаго ко всему, кромѣ церкви, старца.

— За что вы схватили этого человъка? Господи, накажи ихъ трехъипостасною силою своею! Върно, опять какой-пибудь мученикъ за въру Христову!

Плѣнникъ испустилъ только слабое стенаніе.

Ключи были принесены, и при свётё сонно горёвшей свётильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всёхъ. Въ молчании шелъ начальствовавший отрядомъ, и непостоянный огонь свётильни, окруженный туманнымъ кружкомъ, бросалъ въ лицо ему какое-то блёдное привидёние свёта, тогда какъ тёнь отъ безконечныхъ усовъ его подымалась вверхъ и двумя длинными полосами покрывала всёхъ. Однё только грубо закругленныя оконечности лица его были опредёлительно тронуты

свътомъ и давали разглядъть глубоко-безчувственное выражение его, показывавшее, что все мяткое умерло и застыло въ этой душѣ, что жизнь и смерть — трынъ-трава, что величайшее наслажденіе — табакъ и водка, что блаженство тамъ, гдъ все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. Это было какое-то смѣшеніе пограничныхъ націй: родомъ сербъ, буйно искоренившій изъ себя все человъческое въ венгерскихъ попойкахъ и грабительствахъ, по костюму и нѣсколько по языку полякъ, по жадности къ золоту жидъ, по расточительности его козакъ, по желъзному равнодушію дьяволъ. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только шумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной поль, чась-оть-часу уходившій глубже внизъ, заставляль его оступаться. Тщательно осматриваль онъ находившіяся въ земляныхъ стѣнахъ норы, совершенно обсыпавшіяся, служившія когда - то кельями и единственными убъжищами въ той земль, гдъ въ ръдкій годъ не проходило по степямъ и полямъ разрушение, гдъ никто не строиль кръпкихъ строеній и замковъ, зная, какъ непрочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревянная, заросшая мхомъ, зацвътшая гнилью дверь, закиданная тяжелыми бревнами и каменьями. Предъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно снизу до верху.

— А ну! — сказалъ онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, пахнулъ вътеръ.

Нъсколько человъкъ принялись и не безъ труда отваливали бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазамъ! Присутствовавшіе взглянули безмолвно другь на друга прежде, нежели осмълились войти туда. Есть что - то могильно - страшное во внутренности земли. Тамъ царствуеть въ оцъпенъломъ величіи смерть, распустившая свои костистые члены подъ всёми цвътущими весями и городами, подъ всёмъ веселящимся живущимъ міромъ. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, тъми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводить содроганіе, тогда она еще ужаснье. Запахь гнили пахнуль такъ сильно, что сначала заняло у всёхъ духъ. Почти исполинскаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ся уединенія. Это была четырехугольная, безъ всякаго другого выхода, пещера. Пълые доскутья паутины висъли темными клоками съ земляного свода, служившаго потолкомъ. Обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу. На одной изъ нихъ торчали человъческія кости; летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здъсь красавицами.

— А чѣмъ не свѣтлица? Свѣтлица хорошая! — проревѣлъ предводитель. — Але тебѣ, псяюхѣ, тутъ добре будетъ спать. Самъ ложись на ковалки, а подъ голову подмости ту жабу, али возьми за жёнку на ночь!

Одинъ изъ коронныхъ вздумалъ было засмъяться на это, но смъхъ его такъ страшно-беззвучно отдался подъ сырыми сводами, что самъ засмъявшійся испугался. Плънникъ, который стоялъ до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипъла за нимъ дверь и глухо застучали заваливаемыя бревна. Свъть пропалъ и мракъ поглотилъ пещеру.

Несчастный вздрогнуль. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась надъ нимъ, и стукъ бревенъ, завалившихъ входъ его, показался стукомъ заступа, когда страшная земля валится на послѣдній признакъ существованія человѣка, и могильно-равнодушная толпа говоритъ, какъ сквозь сонъ: «Его нѣтъ уже, но онъ былъ». Послѣ перваго ужаса, онъ предался какому-то безсмысленному вниманію, бездушному существованію, которому предается

человъкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собирается съ духомъ подумать о немъ, но вмъсто того устремляетъ глаза на какую-нибудь безаблицу и разсматриваеть ее. Тогда онъ принадлежить въ другому міру и ничего не раздъляеть человъческаго: видить безь мыслей; чувствуеть, не чувствуя; странно живеть. Прежде всего внимание его впилось въ темноту. Все было на время забыто — и ужасъ ея, и мысль о погребения живого. Онъ всёми чувствами вселился въ темпоту. И тогда предъ нимъ развернулся совершенно новый, странный мірь: ему начали показываться во мракъ свътлыя струн, — послёднее воспоминание свёта! Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвътовъ. Совершеннаго мрака нътъ для глаза. Онъ всегда, какъ ни зажмурь его, рисуеть и представляеть цвѣты, которые ви-дълъ. Эти разноцвѣтные узоры принимали или видъ пестрой шали, или волнистаго мрамора, или, наконецъ, тоть видъ, который поражаетъ насъ своею чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопъ часть крылышка или ножки насъкомаго. Иногда стройный переплеть окна, котораго, увы! не было въ его темницъ, проносился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ черной его рамъ, потомъ измънялась въ кофейную, потомъ исчезала совстмъ и обращалась въ черную, устянную или желтыми, или голубыми, или неопредъленнаго цвъта крапинами. Скоро весь этотъ міръ началъ исчезать: плённикъ чувствовалъ что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потомъ начало пріобрѣтать опредѣлительность. Онъ слышаль на рукъ своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись къ чему-то слизкому. Мысль о жабъ вдругъ осънила его!.. Онъ вскрикнулъ и разомъ переселился въ міръ дъйствительный. Мысли его окунулись вдругъ въ весь ужасъ существенности. Къ тому еще присоединилось изнурение силъ, ужасный спертый воздухъ: все это повергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тъмъ, отрядъ коронныхъ войскъ размъстился въ монастырскихъ кельяхъ, какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и пировалъ, радуясь, что, наконецъ, схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ. 1830.

345

О ДВИЖЕНИИ НАРОДОВЪ ВЪ КОНЦѢ V ВѢКА.

Великое странствованіе народовъ, произведшее нынъшнее населеніе Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъбыть, современно основанію Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающияся государства, видбло первые шаги возникающей торговли и разливался духъ народовъ, составившихъ цвътъ древняго міра, — во глубинѣ Азіи скрывался другой, невѣдомый міръ, которому опредълено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній духъ, древнія формы прежняго и замъстить его всъмъ новымъ. Средняя Азія совершенно противоположна южной, юго-западной, африканскимъ и европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдъ цвътущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смѣсь земли и моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить дъятельность и умъ человъка. Природа Средней Азіи совершенно другого рода: она однообразна и неизмърима. Степи ея безбрежны, какъ-то огромно ровны, какъ будто похожи на пустынный океанъ, нигдъ не останавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредъльныхъ равнинъ не могли возбудить никакой дъятельности. Казалось, сама природа опредълила эту землю народамъ пастушескимъ, чтобы по нимъ имъли мы понятіе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Неизмъримость равнинъ не могла внушить человъку никакой идеи о постоянномъ жилищъ, которая обыкновенно возрождается у него при видѣ утесистой горы, берега, моря, острова и вообще, гдѣ только есть возможность укръпиться. Гдъ же природа усыплена и недвижима, тамъ и человъкъ безпеченъ: онъ заботится только о слишкомъ нужномъ. Патріархальные обитатели степей питались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ полудикими животными, и рёдко питались мясомъ. Оттого стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ: владъльцы ихъ чаще должны были переходить съ мъста на мъсто, степей требовалось съ каждымъ годомъ болъе и болъеи тѣ земли, которыя ужасають донынѣ своею неизмѣримостью, земли, бывшія вдвое болѣе тогдашняго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледбльцы всего свъта не знали, что дблать, — эти земли сдблались тёсными. Сильнъйшіе властители должны были вытъснить слабъйшихъ. Народы пастушескіе, не имъя неподвижной собственности, укръпленной давностію владѣнія, легко уступають первому напору и уходять съ своими стадами далье. И такимъ образомъ Азія сдълалась народовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ нъдръ своихъ новыя толпы и стада, которыя, въ свою очередь, сгоняли съ мъстъ изверженныхъ прежде. Они перешли горы и потянулись въ Европу. Народы, можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мѣстъ. Это не были завоеватели, а какіе-то невольники, дъйствовавшіе только отъ страха наказанія.

Цъ́пь народовъ отъ востока и съ́веро-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европъ въ самому югу. На югъ они встрътили первое сопротивление, ощутили огромную власть римлянъ и встрътились съ древнимъ міромъ. Между тъмъ, Азія продолжала извергать новыя толпы. Толчовъ отъ каждаго новаго изверженія проходиль по всей ціпи: новые тіснили прежнихь, предыдущіепослъдующихъ. Стремление народовъ становилось сильно, но зато и отпоръ со стороны римлянъ былъ очень силенъ, и потому-то на границахъ Римской имперіи накопилось такое множество народовъ. Посліт каждаго новаго изверженія это накопленіе становилось сильнъе, и римлянамъ труднъе было сопротивляться имъ. Наконецъ, римляне уступили — и тогда орды стремительнъе хлынули на югъ Европы. Не имъй Европа южною границею своею Средиземнаго моря, или имъй эти толпы народовъ какое-нибудь понятіе о мореплаваніи. это переселеніе долго бы не остановилось, — потому что Азія не переставала извергать новыя толпы, — народы перешли бы въ Африку, Европа еще бы нѣсколько лѣть не устоялась, хаосъ бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и, вообще, весь ходъ образования отодвинулся бы на дальнъйшія времена. Но, какъ только народы, овладъвшіе югомъ Европы, увидъли позади себя море и невозможность идти далъе, то рышились всъми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ непріятелямъ. Сіи послъдніе, встрътивши неожиданный отпоръ, ръшились отразить и своихъ непріятелей, которые съ своей стороны употребили то же съ образомъ толчокъ получилъ своими, и такимъ обратное направленіе, и пвижение варугъ остановилось. Слъдствие этого почувствовалось паже въ Азіи, гдъ нъкоторые пастушескіе народы принуждены были заняться землепъліемъ.

Это переселение совершилось бы гораздо быстрѣе, если бы Европа состояла изъ такихъ гладкихъ, открытыхъ равнинъ, какими исполнена Азія. Но въ ней, напротивъ того, природа на небольшомъ пространствъ показала страшную нерегулярность и разнообразіе: со всѣхъ сторонъ она изрыта морями, берега ея всъ изъ полуострововъ и мысовъ, средина почти нигдъ не имъетъ ровной поверхности: она идетъ то вверхъ, то внизъ, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъ будто провалившимися между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облечена дремучимъ, непроходимымъ лѣсомъ и пронята топкими болотами. И потому движеніе народовъ, чъмъ глубже касалось Европы, тъмъ происходило медлените: они должны были продираться сквозь лъса, перелъзать черезъ горы и обходить болота. Они селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другого лъсами и невъдомыми мъстами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нападеній. И когда новое наводненіе толпы, слишкомъ многочисленной, водимой предпріимчивымъ повелителемъ, освъщало Европу великолъпными иллюминаціями, зажигая въковые лъса ея, и лъса исчезали, — тогда изумленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозръвали, и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствоваль съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и отрывковъ, отторженныхъ другъ отъ друга самою природою; оттого покореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ея безчисленныя націи, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, слидись бы и изгладились, если бы она состояла изъ отпрытыхъ равнинъ. Это былъ новый невидимый міръ, о которомъ древніе просвъщенные народы ничего не знали, и который, можно сказать, самъ мало зналъ себя.

Основу его составляло множество разныхъ отраслей германскихъ племенъ, простиравшихся по всему западу. Берега Нѣмецкаго моря, Рейна и Дуная и вся средина Европы до Балтійскаго моря были заняты ими. Состояніе ихъ во время перваго знакомства съ ними римлянъ уже показывало давнюю осѣдлость въ Европѣ, и что переселеніе ихъ совершилось въ глубокой древности. Но что оно истекло изъ Азіи, тому доказательствомъ служитъ странное сходство нѣкоторыхъ коренныхъ словъ языка германскаго съ персидскимъ ¹). Выбросила ли Азія, въ первоначальной древности, за однимъ разомъ племена на югъ, образовавшияся среди горъ въ народъ персидский, и на сѣверъ, превратившияся въ лѣсахъ Европы въ германцевъ, или позже тяжелое вліяніе пареянъ, ринувшихся изъ средины Азіи, принесло въ языкъ персидский множество словъ, раздававщихся дотолѣ въ неизмѣримыхъ степяхъ ея и распространившихся уже и въ Европѣ²), — какъ бы то ни было, но первоначальное происхожденіе германцевъ было изъ Азіи, и переселеніе ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный міръ отъ римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила ръзкій отпечатовъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорида съ организаціей народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темные волосы, выразительныя южныя черты лица, казалось, дышавшія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій, — общей физіогноміей уже остановившагося древняго міра, — встръчали здъсь совершенную противоположность: голубоглазые, свътловолосые, рослые, кръпкіе, съ однимъ только свиръпымъ выраженіемъ войны на лицъ, германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый міръ. Ихъ религія, ихъ жизнь, ихъ темпераменть, первообразныя стихіи характера разнились во всемь оть образованныхъ тогдашнихъ народовъ. Религія германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальностію. Ихъ божество и предметь поклоненія была земля. Казалось, какъ будто мрачный видъ тогдашней Европы внушилъ имъ идею этой редигіи. Будучи ръдко освъщаемы содицемъ и находясь въчно подъ мрачною тенью вековыхъ дубовъ, роя пещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровищъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бѣдную пищу, и величественныя высокія деревья, шумъвшія надъ ними, они почитали ее зиждительницею всего. Оть ней производили они бога своего Туистона или Тевта, у котораго былъ сынъ Манъ, а отъ него различныя вътви германскихъ народовъ, которые, по мнѣнію ихъ, были древнѣйшими обитателями міра. Повидимому, такое понятіе о религіи совершенно отдъляеть ихъ отъ Азіи, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуеть надъ первоначальнымъ человъкомъ. Развиваясь и зръя умомъ, онъ получаеть надъ нею верхъ и предписываеть ей законы, но въ первобытномъ, но въ дикомъ состояни онъ долженъ самъ исполнять ея законы: онъ рабъ ея. Въ Средней Азіи небо все открыто передъ глазами. Тамъ оно необозримо и велико. Земля передъ нимъ кажется слишкомъ низменною. Никакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливаеть взора; разстилающаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляетъ ее еще низменнъе. Солнце тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ свътомъ; звъзды усыпаютъ густо небесный

1) Шлегель.

²) Миллеръ.

небосклонъ и однъ только могутъ остановить человъка и препятствовать совратиться съ пути. Оттого во всей Азіи царствовало всегда поклоненіе солнцу и небеснымъ свътиламъ. Передвигаясь въ Европу, народы ръже видълись съ солнцемъ. Густой и величественный мракъ европейскихъ лъсовъ сильнъе поражаль ихъ дикое воображение. Туманы съвера и болотныя испарения скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледъліемъ заставляла ихъ бодъе привязаться въ землъ. И потому-то у германскихъ народовъ было очень слабо поклонение свътиламъ; едва у немногихъ сохранилась о немъ память. Во глубинѣ и глупи лѣсовъ, непроницаемыхъ солицемъ, они приносили свои жертвы богинъ — матери Гертъ. Казалось, мракъ считался у нихъ чёмъ-то священнымъ, и потому-то ихъ религія уже въ самомъ началѣ не сходствовала съ другими. Они върили въ безсмертіе. Но ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Валгалъ вилъли продолжение воинственной ихъ жизни: туда переселяли они свои германскіе дубы, пылающіе костры и громъ оружій; небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тенями своихъ великихъ, уже погибщихъ на войнъ героевъ. Поклонение Гертъ разошлось межну всёми почти германскими племенами. Въ преиметамъ поклонения ихъ принадлежали также тёни умершихъ героевъ, которыхъ они представляли въ колоссальномъ видъ. Такія же почести раздъляли ихъ товарищи-кони, изъ которыхъ бълые почитались, по свидътельству Тацита, священными и хранились въ заповъдныхъ рощахъ. Ихъ впрягали въ священную колесницу, за которою шель король, жрецы, и по храпѣнію ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукъ ся, какъ молодые, исполненные отваги тигры. Думали о томъ только, чтобы помъряться силами и повеселиться битвой. Ихъ мало занимала корысть или добыча; блеснуть бы только подвигомъ, чтобы послѣ пересказали его дѣло въ пѣсняхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастіе жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у всѣхъ народовъ уваженіе и изумленіе. Онъ быль посредникь и судья во всёхъ спорахъ, на войнѣ полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя племена присылали конныя сбрун; ему родныя и подвластныя племена добровольно приносили въ даръ произведенія полей своихъ — плоды, скоть и лошадей. Храбрость казалась чёмъ-то божескимъ; подъ его знамена всѣ спѣшили наперерывъ и сражались не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пъсняхъ, и по смерти его въ честь ему совершались пиршества; и долго племя, имѣвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тънь его становилась божествоит и служила предметоит поклонения. Такой удълъ былъ завиденъ, потому что жажда безсмертія уже кипить и въ неразвившемся человъкъ. Всъ наперерывъ стремились прошумъть подвигами; битвы были часты, и германцы, по первому призванію, готовы были летъть съ своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простоть атлетическую свою силу. Плащъ, застегнутый вмъсто пряжки терновымъ шипомъ, кожа дикаго звъря на плечъ — вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видъ клина; дъйствовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятеля; одни щиты ихъ показывали роскошь, испещряемые яркими цвътами; толпа женъ, дътей слъдовала за ними въ битву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества: они не мыслили предаться бъгству, при мыслъ о рабствъ, ожидающемъ ихъ женъ

и дътей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріятели уступали. Ихъ жены туть же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, залъчивали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя вмъсто того, чтобы разстроить ихъ, связывала желъзною силою мести и дълала ихъ несокрушимыми. Бросить щитъ было верхъ безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрънія, убивалъ самъ себя. Предводитель, силою одного уваженія, безъ власти, правилъ самовластно племенами, и воины съ изумительною покорностью исполняли его велънія. Предводя на войнъ, они оставляли при себъ власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами ¹).

Они были вольны и не хотъли никакой имъть надъ собою власти. Правленія у нихъ почти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуніи каждаго мъсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лъниво и медленно, желая показать, что дълають это по своей волъ; нъсколько дней протекало, покамъстъ могло составиться нужное число для совъщанія. Они сидъли въ полномъ вооруженіи; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе; предсъдательствовали старъйшины семействъ, съдовласые (grawion), послъ измънившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; ръчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное красноръчіе народовъ свъжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слѣдствіе невѣжества, а не разврата. То, что было безчестіе и низость духа, называлось только преступленіемъ; переметчики, измѣнники были вѣшаны и предаваемы мучительной казни; за низкіе и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали тиною и фашинникомъ, какъ бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, измѣнившая мужу, была въ его власти: онъ могъ отрѣзать ей волоса, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣнія, несмотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что германцы были дики и жестки нравами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самихъ законовъ.

Они были безпечны, бездъйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнивы и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое занятіе; поля обрабатывали старики, безсильные, малолѣтніе и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданаго; напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, наканунѣ свадьбы, принесть въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одѣвались совершенно противоположно римскому міру и всѣмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что-то дикое и звѣрообразное. Одѣянія женъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ; у иныхъ платье было льняное алое, доходившее только до пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ.

1) Тацитъ.

Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепріимство, свойственное почти всѣмъ дикарямъ и первобытнымъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гостя дарили подарками; не могшій угостить его, отводилъ самъ къ другому.

Но болѣе всего можно было видѣть древняго германца въ его пиршествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цѣлыя ночи, гдѣ зажженные дубы величественно освѣщали лѣса, и хлѣбный напитокъ изъ ячменя, можетъбыть, пращуръ нынѣшняго пива, такъ употребительнаго въ Германіи, разрѣшалъ ихъ мысли, рѣчи и намѣренія. Въ этихъ-то пиршествахъ созрѣвали всѣ ихъ предпріятія. Тутъ они задумывали свои смѣлыя и дерзкія дѣла, которыя не всегда и не всѣмъ могли придти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали предѣловъ своему стремленію. Азартность ихъ болѣе всего оказывалась въ игрѣ, въ которую заигрывался дикій германецъ до того, что проигрывалъ свой домъ, оружіе, жену, дѣтей, наконецъ, самого себя и становился рабомъ, — состояніе нестерпимѣе для него самой смерти! Эта азартность, можеть-быть, служила основаніемъ тѣхъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германскіе — грубыя стихіи, изъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дълились на безчисленныя племена и, какъ густые европейскіе льса, устивали стверную Европу. Чтобы яснте обозрать ихъ, начнемъ съ тъхъ мъстъ, гдъ древній міръ уже видълъ этихъ первоначальныхъ зиждителей новаго, т.-е. отъ ръки Дуная, служившаго предъломъ для римлянь. Туть обитали уже входившие въ сношение съ древнимъ просвъщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшие, какъ-то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потомъ великая цъпь племенъ германскихъ толпилась по Рейну, отъ устья и внизъ до внаденія его въ море: вангіоны, трибоки, нѣметы, матіаки, убіи; за ними слѣдовали тенктеры, бывшіе первыми натэдниками, которыхъ конница славилась и у римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ наслъдство только храбрымъ; за ними узипетры и у самаго впаденія Рейна въ море — сильные батавы. Средина Германія, погруженная въ лъса, сврывала самыхъ свиръпыхъ . и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встръчались хаты, предки ныпъшнихъ гессенцовъ, жившіе при ръкъ Майнъ, гдъ Германія состоить изъ частыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею пѣхотою, регулярнымъ устройствомъ ея, осмотрительностію въ нападеніяхъ и дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычан невольно поражали своею оригинальностію. Ни одинъ юноша не смълъ отръзать водосъ своихъ до тъхъ поръ, пока не омыль рукъ своихъ въ крови непріятеля; въ битвахъ они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій хать носиль на рукъ своей жельзнос кольцо, что считалось безчестіемъ, потому что напоминало цѣпи; сбросить его онъ могъ тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятеля. На югь отъ хатовъ были херуски, обитатели Гарца; далъе слъдовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангруаріи, хазуаріи, наконецъ, аряне, отличавшіеся совершенно особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкрашивали тёло, носили щиты, покрытые черною краскою, и, въ видъ погребальной процессіи, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятелей, не могшихъ выносить такого зрѣлища. За ними на востокъ, въ пространствахъ нѣсколько болѣе открытыхъ, обитали

свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ племенъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положеніе земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чёмъ ближе къ западу и юго-западу, тёмъ болѣе было занимавшихся земледъліемъ, или, по крайней мъръ, оно мъшалось у нихъ съ пастушескою жизнію; чёмъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Дакіи и Польшѣ, тѣмъ болѣе преобладала пастушеская жизнь; чѣмъ глубже въ лъса Гарца, тъмъ мрачнъе и сильнъе становились германскія племена. Но самые опасные, которыхъ римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители ихъ влалычества — это были всѣ населявшіе берега морей и прибалтійскія земли. Сюла никогла не досягали римляне. Злъсь жили пираты, самые предпримчивые изъ германцевъ, которыхъ уже положеніе земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія дъла. Такимъ образомъ. по Нѣмецкому морю жили фризы и хавки: за ними самые сильные корсары съвера — саксы, въ Голштини — кимвры, по Балтійскому морю — готы, варны, ругіи, бургунды, и въ Пруссіи — ломбарды, вандалы, герулы. Кромъ того, въ срединъ Германіи находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лъсами, которыя, во время частыхъ битвъ между ея племенами, были вытъсняемы и видъли необходимость избирать неприступныя мъста. Горы Алыпъ и Карпата заключали въ себъ множество клочковъ или остатковъ разныхъ племенъ галльскихъ, германскихъ и вендскихъ, бандитствовавшихъ въ дикой Европъ. Съверо-востокъ ея, совершенною бъдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возрастить сильныхъ народовъ. Въ разсъянныхъ, бездомовныхъ, безпріютныхъ его обитателяхъ, финнахъ, и отроствахъ народовъ эстскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природъ того края.

Вотъ каковъ былъ тотъ отдъльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были ть народы, которыхъ мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если всемірная имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были чрезвычайное раздробленіе народовъ германскихъ, положеніе Европы, препятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая ихъ довольствоваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе корысти, такъ свойственной разрушающимъ дикарямъ, осъдлость и любовь къ свободъ, заставлявшая ихъ удаляться во глубину своихъ лъсовъ. Римляне чувствовали всю опасность отъ этихъ свъжихъ силь европейскихъ народовъ. И оттого никакая изъ границъ имперіи — ни восточно-азійская, ни южно-африканская, не была такъ защищена, какъ съверо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что средства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояніи имперіи, были приняты самыя благоразумныя. Имперія отдавала опасныя границы свои свѣжимъ воинственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны въ началѣ немногимъ. Но къ чести народовъ германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ римлянъ. Эта зависимость казалась для нихъ рабствомъ, и они спѣшили въ глубину лъсовъ своихъ — скрыть тамъ свою свободу. Покушенія римлянъ принуждали ихъ составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цёль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для нихъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извъстный подъ именемъ союза франковъ, болѣе другихъ возросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножавшимся натискамъ со стороны всѣхъ народовъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфалін и

Гессена и такъ тѣсно слились, что составили, наконецъ, одну націю подъ именемъ франковъ. Но этотъ союзъ пе былъ бы такъ страшенъ для римлянъ, и вся Германія долѣе пребывала бы неподвижною, если бы не дѣйствовали на нее постороннія силы выходившихъ изъ Азіи народовъ. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкія ворота въ западную Европу, большая дорога, черезъ которую переходили поперемѣнно разноцвѣтные народы; лѣса были здѣсь болѣе выжжены, нежели въ другихъ мѣстахъ; болота скорѣе высохли, и съ каждымъ столѣтіемъ она становилась просторнѣе и удобнѣе для переходовъ. Открытыя мѣста ея давали средство народамъ и племенамъ соединяться въ большія массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая даетъ средства производить великіе набѣги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею массою самое страшное, ничѣмъ неотразимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ германскихъ опредълено было прежде всъхъ другихъ произвести всеобщее движеніе. Этотъ народъ былъ готы 1), — народъ, надъ которымъ, казалось, тяготъло какое то проклятіе, осудившее его на скитание. Полго блуждаль онь и показывался то въ Скандинавии, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то, наконецъ, на широкомъ востокъ Европы. По свидътельству историка Іорнанда, онъ первобытную жизнь вель въ Скандинавіи. Можетъ-быть, даже, что это быль одинъ изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перебравшись изъ снъговой своей отчизны, онъ устремился на берегъ Пруссіи и произвелъ страшный всемірный переворотъ. вытъснивъ оттуда вандаловъ, ломбардовъ, геруловъ, бургундовъ и саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставилъ ихъ быть одними изъ ревностныхъ дъятелей въ разрушении Западной империи. Всеобщее потрясение ощутилось во всей Европъ: вся эта цъпь сильныхъ прибалтійскихъ народовъ придвинулась ближе въ границамъ римскимъ, потъснила въ горы и болота множество племенъ, сжада сильнъе ихъ силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тънъ готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайскихъ народовъ — маркомановъ, квадовъ, соединились въ южныхъ равнинахъ Дакіи въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились въ Черному морю. Чёмъ далёе къ югу, тёмъ удобнёе была имъ дорога и тёмъ быстрёе былъ ихъ путь; наконецъ, они очутились въ срединѣ Греціи и въ Малой Азіи, выжгли берега Чернаго моря. Халцедонъ, Эфесъ были обращены въ пепелъ; Авины были разграблены страшно, безжалостно. Императоръ Децій видълъ опасность восточныхъ границъ общирной своей имперіи, и между тёмъ какъ на западныхъ границахъ войска его сражались съ вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми съ мѣстъ готами, онъ самъ предводилъ войсками на востокъ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли нынъшнюю Россію, пріобрѣли трактатомъ отъ римлянъ всю Дакію и остались здъсь, владычествуя надъ придунайскими народами и тревожа присутствіемъ своимъ безпечную имперію. Тогда всемірные императоры, узнавшіе несчастнымъ опытомъ дикое мужество готовъ, составили планъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дикарямъ. Симъ пріобрѣли они сильныхъ защитниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣли и сильныхъ непріятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики.

^{1 0} готахъ Провоцій, Іорнандъ, Гиббонъ.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

которая еще болёе могла придать имъ перевёса. Но, впрочемъ, тактика готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крѣпость въ порывѣ перваго нападенія, въ разгарѣ битвы и въ потухающей силѣ ея окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды невозможно было сдвинуть съ мѣста. Нападенія свои они сопровождали такъ же, какъ и другія германскія племена, пѣснями. Въ пѣсняхъ провозглашались имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ липѣ, который былъ вмѣстѣ и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъ — зависѣлъ отѣ совѣта храбрыхъ.

У готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное поколѣніе Бальтовъ, изъ которыхъ только однихъ можно было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные вѣка ихъ предводителемъ вмѣстѣ съ Оденомъ, этимъ сѣвернымъ Улисомъ ¹). Изъ всѣхъ народовъ германскихъ готы болѣе другихъ способны были принять цивилизацію. До средины четвертаго вѣка власть готовъ признавалась болѣе или менѣе народами на Дунаѣ, на западѣ и на востокѣ нынѣшней Россін. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи... Но владычество готовъ было смущено великимъ азіятскимъ нашествіемъ гунновъ.

Гунны, или гіонгну, по свидътельству Дегине, были племена сильныя, занимавшія великія степи Татарія, Манжурія, потрясшія Китай, но не ум'євшія противиться китайской дукавой политикъ н обратившіяся впослъдствіи въ данниковъ китайскихъ монарховъ. Однакоже, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляясь на западъ, заняла закаспійскія земли и скрылась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ каспійскихъ историки римскіе относять ко времени Домиціана. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что образованный тогдашній римско-грече-скій міръ ничего не зналъ даже о томъ, существуетъ ли на свътъ этотъ народъ, до времени императора Валента, т.-е. до того времени, когда увидъли вдругъ извергавшіяся изъ горъ Азіи толпы гунновъ и съ ними аваровъ, гуннуюровъ, ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго и вытьсть испорченнаго слуха римлянъ - грековъ. Набътъ этихъ обитателей Азіи, разрушительный, неотразимый, обычай ихъ ъсть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череповъ и приносить на окровавленномъ кострѣ въ жертву тѣнямъ своихъ предковъ первыхъ попадавшихся плънниковъ, самыя ихъ калмыцкія лица, плоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свирѣпымъ движеніемъ, ихъ приземистый рость, весь состоявшій изъ однихъ мускуловъ, — привели въ такой ужасъ азіятско-римскія провинція, что жители не смбли производить ихъ отъ человъческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмъримыхъ каспійскихъ пустынь вошли въ нечистое сношеніе съ дьяволами, и отъ этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, можетъ - быть, испугавшись слишкомъ пестрой поверхности римской Азіи, усъянной садами и городами, которыхъ всегда убъгаютъ кочевые народы, считающіе ихъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ, — какъ бы то ни было, только они двинулись, вмъсто того, чтобы на югъ, — на съверо-западъ, зацъпили путемъ своимъ Кавказа,

1) Шлегель.

сорвали съ его подошвы нъсколько народовъ кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа высыпала въ Европу. Великій аванпостъ Европы занять быль, какь мы уже видьли, владычествомь готовь. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ся общирныя ворота, въ несчастію, слишкомъ общирныя для такой небольшой части свъта, какова Европа. И готы, тъ готы, которые считались непобъдимымъ ен оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и долженствовало быть. Тайна азіятского многочисленного набъга была совершенно неизвъстна готамъ. Если бы они знали, что азіятское нападеніе бодъе всего страшно силою перваго порыва, что умѣніе болѣе противустать ему и продлять битву одни только могутъ выиграть, — если бы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, изм'єнившаго снова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имъть нечеловъческую храбрость и връпость духа, чтобы выдержать первый напорь гунновъ. Нападенія ихъ были производимы съ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летъла такъ густо и съ такою силою на лошадяхъ, бъшеныхъ, почти дикихъ, какъ будто бы была сброшена съ крутого утеса и не въ состоянія была сама удержать бъга; узкій, почти пропадавшій между пухлыхъ щекъ ихъ глазъ былъ такъ быстръ и въренъ, въ одно мгновение они давали столько измѣненій ходу битвы, такъ быстро могли разсыпаться и исчезнуть изъ виду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мътко высыдать детящій льсь стръль; даже убъгая, такъ ловко они умъли отстръливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ, оглушительнымъ крикомъ, что врядъ ли могъ сыскаться предводитель, чей глазь не разбъжался бы, и голова не закружилась въ битвѣ съ ними.

Погнавши готовъ, гунны заняли нынътній польскій западъ Россіи да съверныя и дунайскія земли, — и географія Европы измънились снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвесть сильное потрясеніе и всеобщую перемъну мъсть. Сдвинутые готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ; вандалы и свевы, съ которыми римляне, или, лучше сказать, римскіе германцы мърялись уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свъта: свевы съ береговъ Балтики и снъжной Скандинавіи, и алане, оторванные гуннскимъ порывомъ съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россіи, переносили свои кибитки и перегоняли табуны въ теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальнихъ завоеваній, потому что западную Европу и на тотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе, и потому что гуннамъ недоставало предпріимчиваго предводителя. Они производили свои набѣги на сосѣдей, которые обыкновенно состояли въ хищничествѣ женъ, дѣтей и въ угонкѣ стадъ въ свои предѣлы. Эти хищничества болѣе всего должны были испытать готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы въ это время раздѣлились на двѣ великія вѣтви: на визиготовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линіи Бальтовъ, и остроготовъ, избиравшихъ царей изъ новой царственной вѣтви Амаловъ. Столкнутые гуннами, они притѣснились къ самому югу нынѣшней Украйны и Молдавіи. Не нашедшая безопасности часть визиготовъ, подъ начальствомъ Фридигера, Алета, Сафраха, обратилась съ просьбою въ римскому императору о позволеніи перейти черезъ Дунай и, поселившись на южной сторонѣ его, защищать провинціи отъ нападенія усиливавшихся варваровъ.

355

23*

Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вмъстъ съ братомъ своимъ Валентомъ, принялъ съ радостію неожиданную помощь — и визиготы перешли чрезъ Лунай. Между тъмъ остроготы и часть визиготовъ, жившихъ на юговостокъ, терпъли часто голодь и видъли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валента, который имблъ надзоръ надъ восточными провинціями и жилъ въ Константинополь, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ тамошними жителями. Императоръ поручилъ удовлетворить ихъ во всемъ оракійскимъ правителямъ. Луципину и Максиму, которые были совершенные греки временъ византійскихъ — коварные, готовые оказать злодъйские поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшие позволительными всъ поступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дътей; наконецъ, подъ видомъ пріязни, призвали доблестнъйшихъ готовъ и ръшились тайно умертвить ихъ. Это пробудило мщеніе въ дикомъ, но сохра-нявшемъ первоначальныя человъческія чувства народъ. Многочисленныя толпы готовъ ворвались во Фракію и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ пепелъ всъ находившіеся по дорогѣ города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагопріятномъ положении. Онъ быль ревностный аріанець, и потому гналь безь милосердія противниковь секты, потому имблъ враговъ, и самъ братъ его Валентиніанъ, императорствовавшій въ Римъ, отказался подать ему помощь. Кромъ того, императоръ Валентъ былъ жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его послъдуеть отъ человъка, котораго имя начинается словомъ Өео — и онъ переръзалъ и передушилъ всъхъ Феодориковъ, Феодотовъ и Феодосіевъ, которые только занимали какія-нибудь значительныя должности. Само собою разумбется, что такie поступки не внушили его подданнымъ излишняго жара защищать своего монарха. Притомъ, и самые подданные были жалкій, безхарактерный народъ; войска умѣли только бунтоваться и готовы были бѣжать при первомъ случат; финансы разбрелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ, Валенту, наконецъ, пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бъгущими войсками, онъ спрятался въ бъдную хижину и былъ сожженъ вмъстъ съ нею истительными готами. Бонстантинополь уцълълъ, благодаря незнанію готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ римлянамъ страшную память своего посъщенія.

Скоро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Өеодосій думалъ спасти ее чрезъ эту секуляризацію, приписывая слабость ея неизмъримости и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая очень справедливо стала называться Греческою, — а еще справедливъе могла бы назваться имперіей евнуховъ, комедіантовъ, любимцевъ ристалищъ, заговоровъ, низкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ, — досталась Аркадію, которымъ управлялъ пронырливый опекунъ его Руфимъ; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что всѣ административныя значительныя мѣста были заняты выслужившимися варварами изъ готовъ, вандаловъ и другихъ германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ римскаго образованія, — которая уже въ собственномъ сердцѣ своемъ видѣла насильно тѣснившихся враговъ, — которая въ живомъ трупъ своемъ видъла и чувствовала онъмъніе жизни, — эта Западная имперія вручена была малолътнему Гонорію, которымъ управлялъ Стиликонъ, родомъ вандаль, бывшій върнымь и храбрымь при Өеодосіи и сдълавшійся низвимь и слабымъ при ничтожномъ его сынъ. Опекуны, правительствовавшіе въ

разныхъ углахъ Европы, ненавидъли другъ друга. Первый подарокъ, который Руфимъ, хитрый, какъ византійскій грекъ, препроводиль въ своему непріятелю Стиликону, состояль въ сильныхъ войскахъ визиготовъ, которыхъ онъ настроиль воевать Италію, объщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всъ визиготы поднялись со своихъ становишъ въ Дакіи и съ береговъ Дуная и вступили въ Италію. Но Стиликонъ, вмъсто того, чтобы устрашиться такого нашествія, втайнѣ быль радъ ему. Онъ основываль на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свъжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втъснявшихся въ самые предълы Римской имперіи. Тогда Галлія и принадлежала и не принадлежала римлянамъ. Сильный франкскій союзъ стоялъ на границахъ ея витсть съ накопленными подъ его эгидомъ племенами; на востокъ и на югь, т.-е. въ нъдръ самой Франціи, вольно расположились алеманы и бургунды. Въ Испаніи свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ея, т.-е. югь. Среди ихъ римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имъли достоинство безъ власти. Казалось, вмъсто Римской имперіи лежала надъ полуміромъ одна только величественная длинная тънь ея. Имперія была похожа на тысячельтній дубъ, который изумляеть своею страшною толщиною и котораго средина давно уже обратилась въ гниль и прахъ. Стиликонъ искусно отвлониль Алариха оть жеданія поселиться въ Италіи и предложиль ему богатую, цвътущую Испанію. Онъ даже замышлялъ обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима; витстъ съ тъмъ онъ располагалъ даже, въ случат удачи, объявить себя императоромъ витесто слабаго Гонорія, но черезчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетъла съ плечъ его. Слабый, ничтожный Гонорій, не понявшій ни одного прожекта Стиликона, велблъ одному изъ своихъ также неразсудительныхъ полководцевъ напасть съ тыла на готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тъмъ, чтобы нанести имъ какойнибудь вредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стънами Рима. Гонорій, по обыкновенію, бъжалъ. Сенать, видъвши безсиліе свое, умолилъ могущественнаго гота отступить, объщая дань, часть которой ему была выдана тогда же; остальной ръшился побъдитель ждать и отступиль оть Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновала, какъ уже вновь прибылъ въ Римъ и вовсе не думалъ платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подъ стънами уже гнъвный, грозившій обратить въ пепель въчный городъ. 23 августа 409 года стъны всемірной столицы увидъли среди себя предводителя готовъ. Великолъпные домы и дворцы были разграблены, но грозный Аларихъ запретилъ зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видъть силу воли и власть, какую онъ имълъ надъ своими дикарями, удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда не властенъ удержать и начальникъ образованныхъ войскъ. Гонорія и слъда уже не было въ Римъ, онъ давно успѣлъ скрыться. Но зато побъдитель показалъ въ величайшей степени презрѣніе, какое чувствоваль къ римлянамъ: возвель имъ царя ихъ же префекта Атала, и заставилъ его ползать у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое мщеніе, оставиль онь Римь и обратился на югь Италіи. Здъсь онь замышляль великіе планы, строиль флоть и намъревался перенести свои побъдительныя знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели теченіе ръки Везанто, вырыли на бывшемъ днъ ея глубокую могилу, въ которую зарыли трупъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго гота. Избранный послъ него Астольфъ, наконецъ, вывелъ готовъ въ Испанію, гдѣ они быстро утвердились и составили сильное

Готское королевство, изгнавъ не имъвшихъ значенія римскихъ начальниковъ.

Вторжение визиготовъ было сильно почувствовано во всъхъ концахъ Испаніи. Алане и свевы были кръпко стъснены, и большая часть ихъ должна была признать власть готовъ. Даже вандалы, бывшіе сильнъйшими въ Испанін, были сильно притьснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, помышлялъ о переправъ въ Африку. Но одно происшествіе, какъ будто нарочно, ускорило исполненіе его мысли. Въ Римъ управляль, именемъ малолътняго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій, предпріимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишкомъ разборчивый на средства въ достижению желаемаго. Онъ имъдъ сидьнаго противника въ Бонафаціи, правитель Африки, и ръшился его погубить; для этого призываль его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умыселъ, ръшился остаться въ Африкъ и призвать на помощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ вандалами и частію алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь свой пожарами и опустошеніями. Бонифацій увидълъ, наконецъ, свою ошибку, что призвалъ такого гостя. Онъ успълъ уже примириться съ императоромъ и ръшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться; Бонифацій былъ разбить. Гензерихъ зажегъ Кароагену, ограбиль домы, рубиль жителей и извлекъ, гдъ только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успѣхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь сѣверный берегь Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестиль онь его въ аріанство и составиль сильнѣйшее въ этоть мятежный и темный въкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный флотъ его разсыпался по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствоить всякое плавание. Каждый годь этоть нумидійскій левъ появлялся у встахъ береговъ Средиземнаго моря, отъ Греціи и Илиріи до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвесть цвътущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація поперемѣнно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого вѣнчаннаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ первое государство христіанскихъ корсаровъ. Но, наконецъ, среди величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладъло то состояніе духа, та свирѣпая задумчивость, которая сушить, мучить душу и служить близкимъ предвъстіемъ тиранства, ужасной нравственной болъзни властителя. Онъ сталъ подозръвать всъхъ окружающихъ, и подозръние, наконецъ, простеръ на жену свою, дочь визиготскаго короля: ему вообразилось, что она имъетъ умыселъ отравить его. Наполненный этою мыслію, онъ приказалъ отръзать ей носъ и уши и въ такомъ видъ отправить къ ея отцу. Но, испугавшись самъ мщенія готовъ, пригласилъ Аттилу, предводителя гунновъ, напасть съ съвера на Испанію и Италію.

Аттила имълъ свою резиденцію въ Дакіи, гдъ, недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревянныхъ юртъ, среди воторыхъ возвышался неуклюжій дворецъ его. Аттила быль именно такой предводитель, какого дотолъ недоставало гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна стремительная азіатская сила. Весь съверо-востокъ Европы признавалъ его владычество. Цъпь народовъ, несшихъ дань непобъдимому царю гунновъ, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презръніе, униженно присылаль ему дань и ползалъ передъ его могуществомъ. Это былъ маленькій

человѣчекъ, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими калмыцкима глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ вствии своими племенами, которыя, несмотря на разбросанное свое положение. различіе жизни, нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ, этотъ необыкновенный человъкъ носилъ грубую широкую одежду, лежалъ на простомъ войловъ, пилъ почти одну воду изъ деревяннаго котла; ни съдло, ни лошадь его не видали на себъ драгоцънныхъ каменьевъ, и самъ себя называль бичомъ Божінмъ, посланнымъ для того, чтобы исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредъльна: оно върило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущенія, потому что Аттила могъ выставить возлѣ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядъть на которую немного нахолилось охотниковъ. Онъ не любилъ заволить напрасно войны, особенно, когда миръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушие, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Мщеніе же Аттилы... но вызвать его мщеніе никто не имълъ духа.

Предложение Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собраль онъ безчисленныя племена свои и шель на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Всѣ народы, составлявшіе тогда западъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа сдвинулась въ одинъ союзъ. Римляне соединились съ своими разрушителями, визиготами, аданами, франками. Народы кочующіе и пастушеские шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледъльцевъ, стремительная и деспотическая Азія — на крѣпкую и вольную Европу. Нужно замѣтить, что германские народы, чъмъ ближе къ западу, тъмъ болъе означались вольнымъ духомъ. Альпы были древнимъ хранилищемъ европейской свободы, и вокругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранять еще и донынъ черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи опредълено было быть театромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ римлянъ, визигитовъ, армориканъ, бреоновъ, бургундовъ, саксоновъ, алановъ и франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ распоряжениемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ остроготовъ, алановъ, гепидовъ, маркомановъ, венедовъ, ломбардовъ, геруловъ, аказировъ, аваровъ, туринговъ, роксолановъ и нѣкоторыхъ племенъ славянскихъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были ръшить многое важное въ потомствъ. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута виъстъ съ союзными народами, и непобъдимый гуннъ, употребившій все возможное напряженіе своей воли, поворотилъ свои табуны и народы въ равнины Венгріи и Паноніи. Аэцій, не желая дать перевѣса визиготамъ, дѣйствовавшимъ сильнѣе другихъ въ этой кровопролитной съчъ, облегчилъ ему удаление. Великая лига, исполнившая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшею опасность.

Но ужасный предводитель гунновъ рваль на себѣ благородный клокъ волосъ своихъ отъ гнѣва, и черезъ годъ, пополнивши свои войска новыми, вступилъ въ Италію, гдѣ безпечный императоръ Валентиніанъ и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую

руку, быль Аквилея. Онь его обратиль въ пепель и заставиль горсть спасшихся жителей зародить на Адріатическомъ моръ Венецію. Отсюда прошель онъ всю Италію, дъйствуя какъ огненный бичъ. Города: Конкордія, Бресчіа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма — представили однъ обнаженныя стъны: «Клянусь, — гордо провозгласилъ дикій гуннъ: — что, гдъ коснется копыто коня моего, тамъ болъе не вырастеть трава!» Наконецъ, и Римъ увидълъ подъ стънами своими Аттилу. Испуганный папа, въ облаченіи, со всъмъ крестнымъ ходомъ, вышелъ навстръчу неумолимому гунну, и великолъпный ли обрядъ христіанства, или мысль, разсъянная между дикими, даже языческими народами, о пребываніи чего-то священнаго въ Римъ, — что бы то ни было, но Аттила отступилъ, взявши великій выкупъ, и вышелъ изъ Италіи.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигь западныхъ народовъ, но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ. Суровый, воздержный, не позволявшій золотымъ украшеніямъ и камнямъ убрать даже рукояти сабли и войлочнаго съдла своего, онъ въ одинъ день измънилъ свою жизнь. Сочетавшись бракомъ съ дочерью бактріанскаго царя, необыкновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ, онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что выпилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у него пошла изъ ушей, изъ носа, изо рта — и онъ задохнулся.

Въ невѣдомой пустынѣ, среди глубокой ночи, копали могилу Аттилѣ, сопровождая пѣснями о его подвигахъ. Тѣло его было положено въ тройной гробъ, — изъ золота, серебра и мѣди; съ нимъ легли его оружія, его конныя сбруи. На могилѣ его были заколоты всѣ рабы и копавшіе землю, чтобы никто изъ живущихъ не вѣдалъ о мѣстѣ, гдѣ лежатъ кости великаго человѣка ¹).

По смерти Аттилы, гунны вдругъ разсѣялись и разсыпались, какъ всякій азіатскій народъ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейскіе народы шире и вольнѣе раздались и болѣе приняли самостоятельности, и на востокѣ начали виднѣе показываться племена славянъ, которыя мало-по-малу разрослись въ шестьдесятъ разныхъ вѣтвей²), протянулись до Тироля, прошумѣли по уходѣ остроготовъ на границахъ имперіи Греческой и, углубившись въ великія пространства, наконецъ, превратились въ мирныхъ осѣдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и среди полуразрушенныхъ развалинъ ея крылись еще происки. И въ этомъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе честолюбцы! Сенаторъ Максимъ успѣлъ очернить передъ безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную опору его шаткаго трона — Аэція, и неблагодарный Валентиніанъ убилъ его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, онъ самъ погибъ, умерщвленный Максимомъ, который надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдовѣ Евдоксіи. Мстительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя; онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толпами своихъ вандаловъ, на пиратскихъ

^{1) ()} гуннахъ и объ Аттилъ: Іорнандъ, Дегине, Фишеръ.

²) Конрадъ Геснеръ.

судахъ, и высадился въ Италію. И что только уцѣлѣло отъ меча Аттилы, все то истребилъ, по своему обыкновенію, Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имѣлъ необыкновенное искусство грабить: послѣ него уже никто не могъ ничѣмъ поживиться. Римъ, который дотолѣ щаженъ былъ даже язычниками, былъ ограбленъ безъ милосердія этимъ христіанскимъ королемъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ плѣнниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что дѣлать; вывезъ множество артистовъ и художниковъ, увезъ даже супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмѣстѣ съ дочерьми ея, наконецъ, даже сорвалъ золотой куполъ съ Капитолія и утащилъ его вмѣстѣ съ другими сокровищами въ Африку.

Послъ всъхъ этихъ событій, Италія не походила и на тънь прежней своей славы. Цвътущая, прекрасная, вънецъ европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустълыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имъть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состоянии даже платить жалованье собственному войску, набранному изъ геруловъ, ругіевъ и турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ, Одоакръ, отръшилъ своего императора отъ должности, сдълался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотълъ принять императорскаго достоинства, но назвался, просто, королемъ геруловъ. Еще часть римскаго войска находилась какъ бы отръзанною за Альпами въ Галліи, и предводитель ея, Сіагрій, не зная ничего о происшествіяхъ въ Италіи, защищалъ несуществующую имперію противъ соединеннаго франкскаго союза, который сдълался уже слишкомъ страшнымъ, потому что имълъ предпріимчяваго короля и полководца Кловиса. Сіагрію, отръзанному отъ своего государства, не получавшему никакихъ подкръпленій, трудно было противуборствовать этимъ свѣжимъ сидамъ: онъ уступилъ — и Галлія потопилась франкскими народами. Скоро послѣ того остроготы, предводимые веодорикомъ, двинулись съ съверныхъ границъ имперіи Восточной и заняди Италію, подчинивъ ея народы своей власти. Скоро послѣ того англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, перебрались черезъ море и овладъли Англіею-и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но въ частности, и малыми силами, онъ производились безпрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и безпрерывною перемёною мъстъ, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіямъ, и вся Европа, несмотря на то, что, повидимому, уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Всъ націи перемъщались между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цъльной, и только впослёдствія постоянный образъ правленія или занятій сообщиль главнымъ изъ нихъ нъкоторую особенность и нъкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главные пункта европейской силы: въ Испаніи — визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренныхъ народовъ и присоединившіе къ себъ уже въ Испаніи алановъ, свевовъ, вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившіе толпу сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ состдей римлянъ, дунайскихъ и рейнскихъ германцевъ: узипетровъ, сигамбровъ, херусковъ, хатовъ, бруктеровъ, ангриваріевъ, хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами, римскими галлами, соединившіеся, но не слившіеся съ покоренными армориканами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами,

и простершіе владычество за Альпы и Рейнъ. — Это было одно изъ сильнъйшихъ собраний народовъ. Въ съверной Германии саксоны, страшные своею дивостью и пиратствомъ, менъе смъшавшіеся съ другими народами, и въ Италіи остроготы, имъвшие въ толнахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европъ -- свевскихъ, аланскихъ, аварскихъ, славянскихъ, гепидскихъ-и, подъ расторопнымъ, твердымъ правленіемъ Өеодорика, получившие на время перевъсъ въ Европъ. Сверхъ того еще, всъ эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными племенами. Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопредбленныхъ пространствахъ; въ этихъ промежуткахъ земли, иногда черезполосно и независимо, сохранялись многіе народы: такимъ образомъ, въ средней Германіи — ломбарды, потомъ блеснувшіе въ Италіи, часть бауаровъ, всѣ народы, жившіе въ неизмѣнныхъ прежде лѣсахъ Гарца и въ гористыхъ уклоненияхъ Альпъ. Востовъ Европы занимали совершенно разбросанныя племена славянскія, которыя, находясь подъ въчнымъ угнетеніемъ всъхъ стремившихся изъ Азіи народовъ, еще не успъли явиться дъятелями всемірной исторія. За означеннымъ кругомъ, на съверъ и на востокъ, разсвивались народы, еще покрытые темною недъятельностью.

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостижимою волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу, когда разрушающіе народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачныя событія, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися безпокойными кометами, когда между тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокѣ, робкое римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сиріи, Александріи, Цареграда, и ереси Несторія и Евтихія раздирали дряхлыя, старческія его силы.



ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШАГО.

Октября З.

Сегодняшняго дня случилось необыкновенное приключение. Я всталь поутру довольно поздно и, когда Мавра принесла мнѣ вычищенные сапоги, я спросилъ, который часъ. Услышавши, что уже давно било десять, я поспѣшиль поскоръе одъться. Признаюсь, я бы совсъмъ не пошель въ департаменть, зная заранье, какую кислую мину сдълаеть нашь начальникъ отдъленія. Онъ уже давно мнѣ говорить: «Что это у тебя, братець, въ головѣ всегда ералашъ такой? Ты иной разъ метаешься, какъ угорълый, дъло подчасъ такъ спутаешь, что самъ сатана не разберетъ, въ титулѣ поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера! Проклятая цапля! онъ, върно, завидуетъ, что я сижу въ директорскомъ кабинетъ и очиниваю 🗄 перья для его превосходительства. Словомъ, я не пошелъ бы въ департаменть, если бы не надежда видъться съ казначеемъ и, авось-либо, выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ. Воть еще созданіе! Чтобы онъ выдалъ когда-нибудь впередъ за мъсяцъ деньги – Господи, Боже мой, да скорѣе страшный судъ придетъ. Проси, хоть тресни, хоть будь въ разнуждъ, — не выдасть, съдой чорть. А на квартиръ собственная кухарка бьеть его по щекамъ; это всему свъту извъстно. Я не понимаю выгодъ служить въ департаментъ: никакихъ совершенно рессурсовъ. Вотъ въ губернскомъ правлении, гражданскихъ и казенныхъ палатахъ совсъмъ другое пъло! тамъ. смотришь, иной прижался въ самомъ уголку и пописываетъ, фрачишка на немъ гадкій, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаеть! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси къ нему: «Это. говорить, — докторскій подарокъ»; а ему давай или пару рысаковъ, или дрожки, или боберъ рублей въ триста. Съ виду такой тихонькій, говорить такъ деликатно: «одолжите ножичка починить перышко», а тамъ обчистить такъ, что только одну рубашку оставить на проситель. Правда, у насъ зато служба благородная, чистота во всемъ такая, какой вовъки не видъть губернскому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всѣ начальники на вы... Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставиль департаменть.

Я надёлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однѣ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе купцы подъ зонтиками, да кучера попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнѣ. Я увидѣлъ его на перекресткѣ. Я, какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: «Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что бѣжитъ впереди, и глядишь на ея ножки». Что это за бестія нашъ братъ, чиновникъ! Ей Богу, не уступитъ никакому офицеру: пройди только какая-нибудь въ шляпкѣ, непремѣнно зацѣпитъ. Когда я думалъ это, увидѣлъ подъѣхавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сейчасъ узналъ ее: это была карета нашего директора. «Но ему незачѣмъ въ магазинъ, — я подумалъ, — вѣрно, это его дочка». Я прижался къ стѣнкѣ. Лакей

отвориль дверцы, и она выпорхнула изъ кареты, какъ птичка. Какъ взглянула она направо и налъво, какъ мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой, пропаль я, пропаль совсемъ! И зачёмъ ей выёзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинь не велика страсть ч до всъхъ этихъ тряпокъ. Она не узнала меня, да и я самъ нарочно старался закутаться, какъ можно болбе, потому что на мнё была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи носять съ длинными воротниками, а на мнѣ были коротенькіе, одинъ на другомъ; да и сукно совсѣмъ не пегатированное. Собачонка ея, не успъвши вскочить въ дверь магазина, осталась на улиць. Я знаю эту собачонку. Ее зовуть — Меджи. Не успъль я пробыть минуту, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ: «Здравствуй. Меджи»! Воть тебѣ на! вто это говорить? Я осмотрѣлся и увидѣлъ шедшихъ подъ зонтикомъ двухъ дамъ: одну старушку, другую молоденькую; но онъ уже прошли; а возлѣ меня опять раздалось: «Грѣхъ тебѣ, Меджи!» Что за чортъ! я увидълъ, что Меджи обнюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!— сказалъ я самъ себѣ:— да полно, не пьянъ ли я! только это, кажется, со мною рёдко случается». — «Нётъ, Фидель, ты напрасно думаешь, — произнесла, — я видълъ самъ, что произнесла Меджи: — я была, авъ, авъ! я была, авъ, авъ, авъ! очень больна!» Ахъ, ты жъ собачонка! вишь! Признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую по-человъчески; но послѣ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталъ удивляться. Дъйствительно, на свътъ уже случилось множество подобныхъ примъровъ. Говорятъ, въ Англіи выплыла рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкъ, что ученые уже три года стараются опредълить и еще до сихъ поръ ничего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себть фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болье удивился, когда Меджи сказала: «Я писала въ тебъ, уФидель; върно, Полканъ не принесъ письма моего!» Чортъ возьми! Я еще въ жизнь не слышаль, чтобы собака могла писать. Правильно писать можеть только дворянинъ. Оно, конечно, нъкоторые и купчики-конторщики и даже крѣпостной народъ пописываеть иногда; но ихъ писаніе большею частью механическое: ни запятыхъ, ни точекъ, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я начинаю иногда слышать и видъть такія вещи, которыхъ никто еще не видывалъ и не слыхивалъ. «Пойду-ка я. — сказалъ я самъ въ себъ. — за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думаетъ». Я развернулъ свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороховую, поворотили въ Мъщанскую, оттуда въ Столярную, наконецъ, къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. «Этотъ домъ я знаю. — сказалъ я самъ въ себъ: — это домъ Звъркова». Эка машина! Какого въ немъ народа ни живетъ: сколько кухарокъ, сколько пріъзжихъ! а нашей братьи-чиновниковъ, какъ собакъ, одинъ на другомъ сидитъ, а третьимъ погоняетъ. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играетъ на трубъ. Дамы взошли въ пятый этажъ. «Хорошо. — подумалъ я: — теперь не пойду, а замъчу мъсто и при первомъ случаѣ не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я былъ у нашего начальника въ кабинетъ. Я нарочно пришелъ пораньше и, засъвши, перечинилъ всъ перья. Нашъ директоръ долженъ быть очень умный человъкъ. Весь кабинетъ его уставленъ пікафами съ книгами. Я читалъ названіе нъкоторыхъ: все ученость, такая

ученость, что нашему брату и приступа нъть, -- все или на французскомъ, или на нъмецкомъ. А посмотръть въ лицо ему: фу, какая важность сіяетъ въ глазахъ! Я еще никогда не слышалъ, чтобы онъ сказалъ лишнее слово. Только развъ, когда подашь бумаги, спросить: «Каково на дворъ?» — «Сыро. ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! государственный человъкъ. – Я замъчаю, однакоже, что онъ меня особенно любить. Если бы и С дочка... эхъ, канальство!.. Ничего, ничего, молчаніе! — Читалъ Пчелку. Эка глупый народъ французы! Ну, чего хотять они? Взялъ бы, ей-Богу, ихъ встахъ да и перепоролъ розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помѣщикомъ. Курскіе помѣщики хорошо пи-шуть. Послѣ этого замѣтилъ я, что уже било половину перваго, а нашъ не выходиль изъ своей спальни. Но около половины второго случилось происшествіе, котораго никакое перо не опишеть. Отворилась дверь, я думаль, что ч пиректорь. и вскочиль со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одъта! Платье на ней было бълое, какъ лебедь, фу, какое пышное! А какъ глянула — солнце! ей-Богу солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа здъсь не было?» Ай, ай, ай! Какой голосокъ! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство, — хотълъ я было сказать: — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою»; да чорть возьми, какъ-то языкъ не поворотился, и я сказаль только: «Никакъ нътъ-съ». Она поглядъла на меня, на книги и уронила сто t'sm# платокъ. Я кинулся со всъхъ ногъ, поскользнулся на проклятомъ паркетъ и чуть-чуть не расклеилъ носа, однакожъ, удержался и досталъ платокъ. Святые, какой платокъ! тончайшій, батистовый — амбра, совершенная амбра! такъ и дышить отъ него генеральствомъ. Она поблагодарила и чуть-чуть усмѣхнулась, такъ что сахарныя губки ея почти не тронулись, и послѣ этого ушла. Я еще часъ сидълъ, какъ вдругъ пришелъ лакей и сказалъ: «Ступайте. Аксентій Ивановичь, домой: баринь уже убхаль изъ дому». Я терпъть не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрупился вивнуть. Этого мало: одинъ разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мъста, потчевать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глупый ходопъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія? Однакожъ, я взялъ шляпу и надълъ самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадуть, и вышель. Дома, большею частію, лежаль на кровати. Потомъ переписаль очень хорошіе стишки:

> "Душеньки часокъ не видя, умалъ годъ ужъ не видалъ; Жизнь мою возненавидя, Льяя ли жить инв, я сказалъ".

Должно-быть, Пушкина сочинение. Въ вечеру, закутавшись въ шинель, ходиль въ подъбзду ея превосходительства и поджидалъ долго, не выйдетъ ли състь въ карету, чтобы посмотръть еще разикъ; но нъть, не выходила.

Ноября 6.

Разбъсилъ начальникъ отдъленія. Когда я пришелъ въ департаментъ, онъ подозвалъ меня къ себъ и началъ мнъ говорить такъ: «Ну, скажи, пожалуйста, что̀ ты дблаешь?» — «Какь, что̀? Я ничего не дблаю»? отвбчалъ я. — «Ну, размысли хорошенько! въдь тебъ уже за сорокъ лътъ — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себъ? Ты думаешь, я не знаю всъхъ

Artes

твоихъ проказъ? Въдь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты! Въдь ты нуль, болъе ничего. Въдь у тебя нътъ ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркадо на свое лицо – куда тебѣ думать о томъ!» Чорть возьми, что у него лицо похоже нѣсколько на аптекарскій пузырекь, да на головъ клочокъ волосъ, завитый хохолкомъ, да держить ее кверху, да примазываеть ее какою-то розеткою, такъ ужъ и думаеть, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидълъ, можетъ быть, предпочтительно мнъ оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный совѣтникъ! Вывѣсилъ золотую цѣпочку къ часамъ, заказываетъ сапоги по тридцати рублей — да чортъ его побери! Я развъ изъ какихъ-нибудь разночинцевъ, изъ портныхъ, или изъ унтеръ-офицерскихъ дътей? Я дворянинъ. Что жъ, и я могу дослужиться. Мнѣ еще сорокъ два годавремя такое, въ которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а, можеть-быть, если Богъ дасть, то чъмъ-нибудь и побольше. Заведемъ и мы себъ квартиру и еще, можетъ-быть, получше твоей. Что жъ ты себъ забралъ въ голову, что кромъ тебя уже нътъ вовсе порядочнаго человъка? Дай-ка мнъ ручевскій фракъ, сшитый по модь, да повяжи я себь такой же, какъ ты, галстукъ, - тебъ тогда не стать мнѣ и въ подметки. Достатковъ нѣтъ -- вотъ бѣда.

Ноября 8.

Быль въ театрѣ. Играли «Русскаго дурака Филатку». Очень смѣялся. Быль еще какой-то водевиль съ забавными стишками на стряпчихъ, особенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился, какъ пропустила цензура; а о кущахъ прямо говорятъ, что они обманывають народъ, и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплетъ: что они любятъ все бранитъ, и что авторъ проситъ у публики защиты. Очень забавныя пьесы пишутъ нынче сочинители. Я люблю бывать въ театрѣ. Какъ только гроптъ заведется въ карманѣ — никакъ не утерпишь не пойти. А вотъ изъ нашей братъи чиновниковъ есть такія свиньи: рѣшительно не пойдетъ, мужикъ, въ театръ; развѣ уже дашь ему билетъ даромъ. Пѣла одна актриса очень хорошо. Я вспомнилъ о той... эхъ, канальство! Ничего, ничего... молчаніе.

Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія показалъ такой видъ, какъ будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже, съ своей стороны, какъ будто бы между нами ничего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частью лежалъ на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидѣлъ въ кабинетѣ нашего директора, починилъ для него 23 пера, и для ед... ай! ай!.. для ея превосходительства четыре пера. Онъ очень любить, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчитъ, а въ головѣ, я думаю, все обсуживаетъ. Желалось бы мнѣ узнать, о чемъ онъ больше всего думаетъ, что̀ такое затѣвается въ этой

366

Ş

۰,۰

(). }

головъ. Хотълось бы мнъ разсмотръть поближе жизнь этихъ господъ, всъ эти экивоки и придворныя штуки: какъ они, что они дѣјаютъ въ своемъ кругу — воть что бы мнё хотелось узнать! Я пумаль несколько разь завести разговоръ съ его превосходительствомъ, только, чорть возьми, никакъ не слушается языкъ; скажешь только, холодно или тепло на дворъ, а больше ръшительно ничего не выговоришь. Хотъдось бы мнъ заглянуть въ гостиную. куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! Какіе зеркада и фарфоры! хотъдось бы заглянуть туда, на ту половину, гдъ ея превосходительство, --- вотъ куда хотелось бы мнё! въ будуаръ, какъ тамъ стоятъ всё эти баночки, скляночки, цвъты такіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежить тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ, чъмъ на платье. Хотълось бы заглянуть въ спальню... Тамъ-то, я думаю, чудеса, тамъ-то, я думаю, рай. какого и на небесахъ нътъ. Посмотръть бы ту скамеечку, на которую она становить, вставая съ постели, свою ножку, какъ надъвается на эту ножку бълый, какъ снъгъ, чулочекъ... Ай, ай, ай! ничего, ничего... молчаніе.

Сегодня, однакожъ, меня какъ бы свѣтомъ озарило: я вспомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектѣ. «Хорошо, — подумалъ я самъ въ себѣ: — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я, вѣрно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвалъ было къ себѣ одинъ разъ Меджи и сказалъ ей: «Послушай, Меджи, вотъ мы теперь одни: я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видѣть — разскажи мнѣ все, что знаешь про барышню: что она и какъ? Я тебѣ побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвостъ, съежилась вдвое и вышла тихо въ двери, такъ, какъ будто бы ничего не слышала. Я давно подозрѣвалъ, что собака гораздо умнѣе человѣка; я даже былъ увѣренъ, что она можетъ говорить, но что въ ней естъ только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политикъ: все замѣчаетъ, всѣ шаги человѣка. Нѣтъ, во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь въ домъ Звѣркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу всѣ письма, которыя писала къ ней Меджи.

Ноября 12.

Въ два часа пополудни отправился я съ тъмъ, чтобы непремънно увидъть Фидель и допросить ее. Я терпъть не люблю капусты, запахъ которой валить изо всёхъ мелочныхъ лавокъ въ Мёщанской; къ тому же изъ-подъ вороть каждаго дома несеть такой адь, что я, заткнувь нось, бъжаль во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускають копоти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множество, что человѣку благородному рѣшительно невозможно здѣсь прогуливаться. Когда я пробрался въ шестой этажъ и зазвонилъ въ колокольчикъ, вышла дъвчонка, не совсъмъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналъ ее: это была та самая, которая шла витсть со старушкою. Она немножко закраснъзась, и я тотчасъ смекнулъ ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вамъ угодно?» — сказала она. «Мнъ нужно поговорить съ вашей собачонкой». Дъвчонка была глупа! Я сейчасъ узналь, что глупа! Собачонка въ это время прибъжала съ лаемъ; я хотълъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидаль, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, воть этого либ и нужно! Я подошель къ нему, перерылъ солому въ деревянной коробкъ и, къ необыкновенному удовольствію своему, вытащиль небольшую связку маленькихъ

367

бумажекъ. Скверная собачонка, увидъвши это, сначала укусила меня за икру, а потомъ, когда пронюхала, что я взялъ бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказалъ: «Нътъ, голубушка, прощай!» и бросился бъжать. Я думаю, что дъвчонка приняла меня за сумасшедшаго, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотътъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свъчахъ нъсколько дурно вижу; но Мавра вздумала мытъ полъ. Эти глупыя чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошелъ прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь-то, наконецъ, я узнаю всъ дъла, помышленія, всъ эти пружины, и доберусь, наконецъ, до всего. Эти письма мнъ все откроють. Собаки народъ умный, онъ знаютъ всъ политическія отношенія и потому, върно, тамъ будетъ все про нашего: портретъ и всъ дъла этого мужа. Тамъ будетъ что-нибудь и о той, которая... ничего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Большею частію лежалъ на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно четкое, однакоже, въ почеркъ все есть какъ будто что-то собачье. Прочитаемъ:

"Милая Фидель! я все не могу привыкнуть къ твоему мъщанскому имени. Какъ будто бы уже не могли дать тебъ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать другъ къ другу".

Письмо писано очень правильно. Пунктуація и даже буква т вездѣ на своемъ мѣстѣ. Да этакъ, просто, не напишетъ и нашъ начальникъ отдѣленія, хотя онъ и толкуетъ, что гдѣ-то учился въ университетѣ. Посмотримъ далѣе.

"Мив кажется, что раздвлять мысли, чувства и впечатлёнія съ другимъ есть одно изъ первыхъ благъ на свётв".

Гм! Мысль почерпнута изъ одного сочиненія, переведеннаго съ нъмецкаго. Названія не припомню.

"Я говорю это по опыту, хотя и не бягала по свёту далёе вороть нашего дома. Моя ли жизнь не протекаеть въ довольствъ? Моя барышня, которую папа́ называеть Софи, любитъ меня бевъ памяти".

Ай, ай!.. ничего, ничего! Молчаніе!

"Папа́ тоже очень часто даскаеть. Я пью чай и кофе со сливками. Ахъ, та chère. я должна тебъ сказать, что я вовсе не вижу удовольствія въ большихъ обглоданныхъ костяхъ, которыя жретъ на кухив нашъ Полкавъ. Кости хороши только отъ дичи и притомъ тогда, когда еще никто не высосалъ изъ нихъ мозга. Очень хорошо мъшать нѣсколько соусовъ вмѣстѣ, но только бевъ каперсовъ и безъ зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновенія давать собакамъ скатанные изъ хлѣба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господниъ, который въ рукахъ своихъ держалъ всякую дрянь, начнетъ мять этими руками хлѣбъ, подзоветъ тебя и сунетъ тебъ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ-то неучтиво, – ну, и ѣшь, съ отвращеніемъ, а ѣшь..."

Чорть знаеть, что такое! Экій вздоръ! Какъ будто бы не было предмета получше, о чемъ писать. Посмотримъ на другой страницъ, не будеть ли чего попъльнѣе.

"...Я съ большою охотою готова тебя увъдомлять о всъхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я уже тебъ кое-что говорила о главномъ господинъ, котораго Софи называетъ папа̀. Это очень странный человъкъ..."

368

А, воть, наконець! Да, я зналь; у нихъ политическій взглядь на всѣ предметы. Посмотримъ, что папа.

"...очень странный человъкъ. Онъ больше все молчитъ; говоритъ очень ръдко. Но недълю назадъ, безпрестанно говорилъ самъ съ собою: "Получу, или не получу?" Возьметъ въ одну руку бумажку, другую сложитъ пустую и говоритъ: "Цолучу, или не получу?" Одннъ разъ онъ обратился и ко миъ съ вопросомъ: "Какъ ты думаешь, Меджи, получу, или не получу?" Я ровно ничего не могла понять, поимхала его сапотъ и ушла прочь. Потомъ, та събле, черезъ недълю папа пришелъ въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чъмъ-то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала, отпускалъ анекдоты. А послъ объда поднялъ меня въ своей шеѣ и свазалъ: "А посмотри, Меджи, что это такое?" Я увидъла какую-то ленточку. Я нюкала ее, но ръшительно не нашла никакого аромата; наконецъ, потихоньку лизнула: соленое немного".

Гм! эта собачонка, мнѣ кажется, уже слишкомъ... чтобы ее не высѣкли! А, такъ онъ честолюбецъ! Это нужно взять къ свѣдѣнію.

"...Прощай, та chdre! Я бъгу... и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. – Ну, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышня моя Софи..."

А! ну, посмотримъ, что Софи. Эхъ! канальство!.. Ничего, ничего... будемъ продолжать.

Чрезвычайно неровный слогь! Тотчасъ видно, что не человъкъ писалъ: начнетъ такъ, какъ слъдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ опно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

"Ахъ, милая, какъ ощутительно приближеніе весны! Сердце мое бьется, какъ будто все кого-то ожидаеть. Въ ушахъ у меня въчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою нъсколько минутъ, прислушивансь къ дверямъ. Я тебъ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окнъ, разсматриваю ихъ. Ахъ, если бъ ты знала, какіе между ними есть уроды! Иной преаляповатый дворияга, глупь страшно, на лицъ написана глупость, преважно идетъ по улицъ и воображаетъ, что онъ презнатная особа, думаетъ, что такъ на него и заглядатся всъ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила — такъ, какъ бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ монмъ окномъ! Если бы онъ сталъ на заднія лапы, чего, грубіянъ, онъ, върно, не умъетъ, то онъ бы былъ цѣлою головою выше напа моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толстъ собою. Этотъ болванъ, должно-бытъ, наглецъ преужасный! Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало! хотя бы поморщился! высунулъ свой языкъ, повъсилъ огромныя уши и глядитъ въ окно — такой мужикъ! Но неужели ты думаешь, ща сдеого кавалера, передъ мондушно ко всѣмъ исканіямъ? Ахъ, нътъ... Если бы ты видъла одного кавалера, передъзающаго черезъ заборъ сосѣдняго дома, именемъ Трезора... Ахъ, та сьдего кавалера, него мордочка!.."

Тьфу, къ чорту!.. Экая дрянь! И какъ можно наполнять письма этакими глупостями! Мнъ подавайте человъка! Я хочу видъть человъка, я требую духовной пищи, — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вмъсто того этакіе пустяки. Перевернемъ черезъ страницу, не будеть ли лучше?

.....Софи сидала за столикомъ и что-то шила. Я глядала въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ, какъ вдругъ вошелъ лакей и сказалъ: "Тепловъ !" — "Проси!" —

Н. В. Гогодь. Томъ III.

закричала Софи и бросилась обинмать меня. "Ахъ, Меджи, Меджи! Если бъ ты знала, кто это: брюнетъ, камеръ-юнкеръ, а глаза какіе черные, какъ агатъ!" И Софи убъжала къ себъ. Минуту спуста, вошелъ молодой камеръ-юнкеръ, съ черными бакенбардами, подошелъ къ зеркалу, поправилъ волоса и осмотрълъ комнату. Я поворчала и съла на свое мъто. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себъ такъ, какъ будто не замъчан инчего, продолжала глядъть въ окошко; однакожъ, голову наклонила нъсколько на бокъ н старалась услышать, о чемъ они говорять. Ахъ, та сhèге, о какомъ вздоръ они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ, вмъсто одной какой-то фигуры, сдъдала другую; также, что какой-то Бобовъ былъ очень похожъ въ своемъ жабо на анста, и чуть было не упалъ; что какая-то Лидина воюражаетъ, что у нея голубые глаза, между тъмъ какъ они зеленье, — и тому подобне. "Куда жъ, — подумала и сама въ себе: — если сравнить камеръюнкера съ Трезоромъ! Небо! какая равница! Во-первыхъ, у камеръ-юнкера совершенно гладкое широков лицо и вокругъ бакенбарды, какъ будто бы онъ обвязалъ его чернымъ платкомъ; а у Трезора мордочка тоненъкая, и на самомъ лбу бълая дысинка. Талію Трезора и сравнить недьзя съ камеръ-юнкерскою. А глаза, пріемы, ухватки совершенно не тъ. О, какая разница! Я не знаю, та сhèге, что она нашла въ своеъ Тепловъ. Отчего она такъ щиъ восъ

Мнѣ самому кажется, здѣсь что-нибудь да не такъ. Не можетъ быть, чтобы ее могъ такъ обворожить Тепловъ. Посмотримъ далѣе:

"Мив кажется, если этогъ камеръ-юнкеръ правится, то скоро будетъ правиться и тотъ чиновникъ, который сидитъ у паца въ кабинетъ. Ахъ, та сного, если бъ ты знала, какой это уродъ! Совершенная черепаха въ пъшкъ..."

Какой же бы это чиновникъ?

"Фамилія его престранная. Онъ всегда слянть и чинить перья. Волоса на головъ его очень похожи на съно. Паца иногда посылаеть его вивсто слуги..."

Мић кажется, что эта мерзкая собачонка мѣтить на меня. Гдѣ жъ у меня волоса, какъ сѣно?

"Софи никакъ не можетъ удержаться отъ смъху, когда глядитъ на него".

Врешь ты, проклятая собачонка! Экій мерзкій языкь! Какъ будто я не знаю, что это дѣло зависти? Какъ будто я не знаю, чьи здѣсь штуки? Это штуки начальника отдѣленія. Вѣдь поклялся же человѣкъ непримиримою ненавистью — и вотъ вредитъ да и вредитъ, на каждомъ шагу вредитъ. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ-быть, дѣло раскроется само собою.

"Ма chère Фидель, ты извини меня, что такъ давно не писала. Я была въ совершенномъ упоенін. Подлинно, справедливо сказалъ какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притомъ же у насъ въ домъ теперь большія перемъны. Камеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень весель. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететъ полъ и всегда почти разговариваетъ самъ съ собою, что скоро будетъ свадьба, потому что папа дочеть непремънно видъть Софи или за генераломъ, или за камеръ-юнкеромъ, или за военнымъ полковникомъ..."

Чорть возьми! я не могу больше читать... Все или камеръ-юнкеръ, или генералъ. Все, что есть лучшаго на свътъ, все достается или камеръюнкерамъ, или генераламъ. Найдешь себъ бъдное богатство, думаешь достать его рукою, — срываеть у тебя камеръ-юнкеръ или генералъ. Чортъ побери! Желалъ бы я самъ сдълаться генераломъ, не для того, чтобы получить руку и прочее, — нътъ, хотълъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидъть, какъ они будутъ увиваться и дълать всъ эти разныя придворныя штуки и экивоки, и потомъ сказать имъ, что я плюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не можеть быть. Враки! Свальбъ не бывать! Что жъ изъ того, что онъ камеръ-юнкеръ? Въдъ это больше ничего, какъ достоинство: не какая. нибуць вещь видимая, которую бы можно взять въ руки. Въль черезъ то. что камеръ-юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Въдь у него же носъ не изъ золота сдъланъ, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякаго; въдь онъ имъ нюхаеть, а не ъсть, чихаеть, а не кашляеть. Я нъсколько разъ уже хотълъ добраться, отчего происходять всё эти разности. Отчего я титулярный совътникъ и съ какой стати я титулярный совътникъ? Можетъбыть, я совстмъ не титулярный совттникъ? Можетъ-быть, я какой-нибуль графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совътникомъ? Можетъ-быть, я самъ еще не знаю, кто я таковъ. Въдь сколько примъровъ по исторія: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а, просто, какой нибудь мъщанинъ или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его... Когда изъ мужика да иногда выходить этакое, что же изъ дворянина можеть выйти? Вдругь, напримъръ, я вхожу въ нашему въ генеральскомъ мундиръ: у меня и на правомъ плечѣ эполета, и на лѣвомъ плечѣ эполета, черезъ плечо голубая лента — что? какъ тогда запоетъ красавица моя? что скажетъ и самъ папа, директоръ нашъ? О, это большой честолюбецъ! Это масонъ, непремънно масонъ: хотя онъ и прикидывается такимъ и этакимъ, но я тотчасъ замътилъ, что онъ масонъ: онъ если даетъ кому руку, то высовываетъ только два пальца. Да развъ я не могу быть сію же минуту пожалованъ генералъ-губернаторомъ, или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь? Мнѣ бы хотблось знать, отчего я титулярный совътникъ? Почему именно титулярный совѣтникъ?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читаль газеты. Странныя дёла дёлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Цишутъ, что престояъ упраздненъ, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслёдника, и оттого происходятъ возмущенія. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ упраздненъ? Говорятъ, какая-то донна должна взойти на престолъ. Не можетъ взойти донна на престолъ, никакъ не можетъ. На престолъ долженъ бытъ король. «Да, — говорятъ, — нѣтъ короля». Не можетъ статься, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ, вѣрно, гдѣ-нибудь находится въ неизвѣстности. Онъ, статься можетъ, находится тамъ же, но какія-нибудь или фамильныя причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи или другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какія-нибудь другія причины.

Декабря 8.

Я было уже совсѣмъ хотѣлъ идти въ департаментъ, но разныя причины и размышленія меня удержали. У меня все не могли выйти изъ головы испанскія дѣла. Какъ же можетъ это быть, чтобы донна сдѣлалась королевою? Не позволятъ этого. И, во-первыхъ, Англія не позволитъ. Да притомъ и дѣла политическія всей Европы, австрійскій императоръ, нашъ государь... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я рѣшительно ничѣмъ не могъ заняться во весь день. Мавра замѣчала мнѣ, что я за

Digitized by Google

24*

н. в. гоголь.

столомъ былъ чрезвычайно развлеченъ. И точно, я двъ тарелки, кажется, въ разсъянности бросилъ на полъ, которыя тутъ же разбились. Послъ объда ходилъ подъ горы: ничего поучительнаго не могъ извлечь. Большею частію лежалъ на кровати и разсуждалъ о дълахъ Испаніи.

Годъ 2000-й, апрпля 43 числа.

Сегодняшній день есть день величайшаго торжества! Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этоть король — я. Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ будто молніей освътило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себъ, что я титулярный совътникъ. Какъ могла взойти мнъ въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедший домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ-то туманъ. И это все происходитъ, думаю, оттого, что люди воображаютъ, будто челов'вческій мозгъ находится въ голов'ь: совс'ямъ н'ять: онъ приносится вътромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявилъ Мавръ, кто я. Когда она услышала, что передъ нею испанскій король, то всплеснула руками и чуть не умерла отъ страха: она, глупая, еще никогда не видала испанскаго короля. Я, однакоже, старался ее успокоить, и въ милостивыхъ словахъ старался ее увѣрить въ благосклонности, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она миѣ иногда дурно чистила сапоги. Вѣдь это черный народъ: имъ нельзя говорить о высокихъ матеріяхъ. Она испугалась оттого, что находится въ увѣренности, будто всѣ короли въ Испаніи похожи на Филиппа II. Но я растолковаль ей, что между мною и Филиппомъ нътъ никакого почти сходства и что у меня нѣтъ ни одного капуцина. Въ департаменть не ходиль. Чорть съ нимъ! Нъть, пріятели, теперь не заманите меня: я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

Мартобря 86 числа, между днемъ и ночью.

Сегодня приходиль нашь экзекуторь съ тъмъ, чтобы я шель въ департаменть, что уже болье трехъ недьль, какъ я не хожу на должность. Но люди несправедливы: ведуть счеты по недблямъ. Это жиды ввели, потому что раввинъ ихъ въ это время моется. Я, однакоже, для шутки, пошель въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія думалъ, что я ему поклонюсь и стану извиняться; но я посмотрѣлъ на него равнодущно, не слишкомъ гитвно и не слишкомъ благосклонно, и сълъ на свое мъсто, какъ-будто никого не замѣчая. Я глядѣлъ на всю канцелярскую сволочь и думалъ: «что, если бы вы знали, кто между вами сидить?..» Господи Боже, какой бы вы ералашъ подняли! Да и самъ начальникъ отдѣленія началъ бы мнѣ такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія-то бумаги, чтобы я сдълаль изъ нихъ экстракть. Но я и пальцемъ не притронулся. Чрезъ нъсколько минутъ все засуетилось. Сказали, что директоръ идетъ. Многіе чиновники побъжали наперерывъ, чтобы показать себя передъ нимъ, но я ни съ мъста. Когда онъ проходилъ черезъ наше отдѣленіе, всѣ застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директоръ! Чтобы я всталъ передъ нимъ – никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего — вотъ, которою закупориваютъ бутылки! Мнѣ больше

8.

всего было забавно, когда подсунули мнѣ бумагу, чтобы я подписалъ. Они думали, что я напишу на самомъ кончикъ листа: столоначальникъ такой-то какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мъстъ, гдъ подписывается директоръ департамента, черкнулъ: «Фердинандъ VIII». Нужно было видъть, какое благоговъйное молчаніе воцарилось; но я махнуль только рукою, сказавь: «Не нужно никакихъ знаковъ подданничества!» и вышелъ. Оттуда я пошелъ прямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей не хотълъ меня впустить, но я ему такое сказаль, что онь и руки опустиль. Я прямо пробрался въ уборную. Она сидъла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я, однакоже, не сказаль ей, что я испанский король. Я сказаль только, что счастие ее ожидаетъ такое, какого она и вообразить себт не можетъ, и что, несмотря на козни непріятелей, мы будемъ вмъсть. Я больше ничего не хотълъ говорить и вышелъ. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнуль, что такое женщина. До сихъ поръ никто еще не узналь, въ кого она влюблена: я первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, не шутя. Физики пяшуть глупости, что она то и то, -- она любить только одного чорта. Вонъ, видите, изъ ложи перваго яруса она наводить лорнеть. Вы думаете, что она глядить на этого толстяка со свъздою? Совсъмъ нъть; она глядить на чорта, что у него стоить за спиною. Вонь онъ спрятался въ нему во фракъ. Вонъ онъ киваетъ оттуда ей пальцемъ! И она выйдетъ за него, выйдетъ. А вотъ эти всѣ, чиновные отцы ихъ, вотъ эти всѣ, что юлять во всѣ стороны и лѣзуть ко двору, и говорять, что они патріоты, и то, и се: аренды, аренды хотять эти патріоты! Мать, отца, Бога продадуть за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбіе и честолюбіе оттого, что подъ язычкомъ находится маленькій пузырекъ и въ немъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дълаетъ какой-то цырюльникъ, который живетъ въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовутъ; но достовърно извъстно, что онъ, виъстъ съ одною повивальною бабкою, хочетъ по всему свъту распространить магометанство, и оттого уже, говорять, во Франція большая часть народу признаеть въру Магомета.

Никотораю числа. День быль безь числа.

Ходилъ инкогнито по Невскому проспекту. Проважалъ государь императоръ. Весь городъ снялъ шанки, и я также; однакоже, не подалъ никакого вида, что я испанскій король. Я почелъ неприличнымъ открыться тутъ же при всвъхъ, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имъю испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантію. Я хотѣлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; притомъ же они совсѣмъ небрегутъ своею работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камни на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантію изъ новаго вицъ-мундира, который надѣвалъ всего только два раза. Но, чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперши дверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножницами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

Числа не помню. Мъсяца тоже не было. Было, чортъ знаетъ, что такое.

Мантія совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надѣлъ ее. Однакоже, я еще не рѣшаюсь представляться ко двору: до сихъ поръ нѣтъ депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично! никакого не будетъ вѣса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Числа 1.

Удивляеть меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Неужели Франція? Да, это самая неблагопріятствующая держава. Ходиль справляться на почту, не прибыли ли испанскіе депутаты; но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаеть. «Нѣть, — говорить, здѣсь нѣть никакихъ испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу». Чорть возьми! Что письмо? Письмо вздоръ. Письма пишутъ аптекари, да и то прежде смочивши уксусомъ языкъ, потому что безъ этого все лицо было бы въ лишаяхъ.

Мадридъ. Февруарій тридцатый.

Итакъ, я въ Испанія, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня поутру явились ко мнѣ депутаты испанскіе, и я вмѣстѣ съ ними сълъ въ карету. Мнъ показалась странною необыкновенная скорость. Мы тхали такъ шибко, что черезъ полчаса достигли испанскихъ границъ. Впрочемъ, въдь теперь по всей Европъ чугунныя дороги, и пароходы ъздятъ чрезвычайно скоро. Странная земля Испанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидель множество людей съ выбритыми головами. Я, однакоже. догадался. что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреють головы. Мнъ показалось чрезвычайно страннымъ обхождение государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ толкнулъ меня въ небольшую комнату и сказаль: «Сиди туть, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего, кромъ какъ искушеніе, отвъчалъ отрицательно, за что канцлеръ ударилъ меня два раза палкою по спинъ такъ больно, что я чуть было не вскрикнуль, но удержался, всномнивши, что это рыцарский обычай при вступленіи въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донынъ ведутся рыцарские обычаи. Оставшись одинъ, я ръшился заняться дълами государственными. Я открылъ, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по невъжеству считають ихъ за разныя государства. Я совѣтую всѣмъ нарочно написать на бумагь Испанія, то и выйдеть Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, имѣющее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явление: земля сядеть на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишеть. Признаюсь, я ощутиль сердечное безпокойство, когда вообразиль себъ необыкновенную нъжность и непрочность луны. Луна въдь обыкновенно дълается въ Гамбургѣ, и прескверно дѣлается. Я удивляюсь, какъ не обратитъ на это вниманія Англія. Дѣлалъ ее хромой бочаръ, и видно, что дуракъ никакого понятія не имѣлъ о лунѣ. Онъ положилъ смоляной канатъ и часть деревяннаго масла; и оттого по всей землѣ вонь страшная, такъ что нужно затыкать носъ. И оттого самая луна такой нъжный шаръ, что люди никакъ не могуть жить, и тамъ теперь живуть только одни носы. И потому-то самому мы не можемъ видъть носовъ своихъ, ибо они всѣ находятся въ лунѣ. И когда я вообразилъ, что земля вещество тяжелое и можетъ, насъвши, размолоть въ муку носы наши, то мною овладъло такое безпокойство, что я, надъвши чулки и башмаки, поспъшилъ въ залу государственнаго совъта, съ тъмъ, чтобы дать приказъ полиціи не допустить землѣ сѣсть на луну. Бритые гранды, которыхъ я засталъ въ залъ государственнаго совъта великое множество, были народъ очень умный, и когда я сказалъ: «Господа, спасемъ

луну, потому что земля хочеть състь на нее!» то всъ въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе, и многіе полѣзли на стъну съ тъмъ, чтобы достать луну; но въ это время вошелъ великій канцлеръ. Увидъвши его, всъ разбъжались. Я, какъ король, остался одинъ. Но канцлеръ, къ удивленію моему, ударилъ меня палкою и прогналъ въ мою комнату. Такую имъютъ власть въ Испаніи народные обычаи.

Январь того же года, случившійся посль февруарія.

По сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычая и этикеты пвора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мнѣ голову, несмотря на то, что я кричалъ изо всей силы о нежелании быть монахомъ. Но я уже не моѓу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мнѣ на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствоваль. Я готовъ былъ впасть въ бъшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страннаго обычая. Обычай глупый, безсмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей, которые до сихъ поръ не уничтожають его. Судя по всёмъ вёроятіямъ, догадываюсь, не попался ли я въ руки инквизиціи, и тотъ, котораго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ! Только я все не могу понять, какъ же могь король подвергнуться инквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиньякъ. О, это бестія Полиньякъ! Поклялся вредить мнъ по смерть! И воть гонить да и гонить; но я знаю, пріятель, что тебя водить англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездъ юлить. Это уже извъстно всему свъту, что когда Англія нюхаеть табакъ, то Франція чихаеть.

Число 25

Сегодня великій инквизиторъ опять пришелъ въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидѣвши, что нѣтъ меня, началъ звать. Сначала закричалъ: «Попришинъ!» — Я ни слова. Потомъ: «Аксентій Ивановъ! Титулярный совѣтникъ! Дворянинъ!» — Я все молчу. — «Фердинандъ VIII, король испанскій!» — Я хотѣлъ было высунуть голову, но послѣ подумалъ: «Нѣтъ, братъ, не надуешь! Знаемъ мы тебя: опять будешь лить холодную воду мнѣ на голову». Однакоже, онъ увидѣлъ меня и выгналъ палкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочемъ, за все это вознаградило меня нынѣшнее открытіе: я узналъ, что у всякаго пѣтуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями, недалеко возлѣ хвоста. Великій инквизиторъ, однакоже, ушелъ отъ меня разгнѣванный и грозя мнѣ какимъ-то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегаю его безсильною злобою, зная, что онъ дѣйствуетъ, какъ машина, какъ орудіе англичанина.

Чиз4сло Ми. идао. чтобого 349.

Нътъ, я больше не имъю силъ терпъть. Боже! что они дълаютъ со мною! Они льютъ мнъ на голову холодную воду! они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдълалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня, бъднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не нмъю. Я не въ силахъ, я не могу вынести всъхъ мукъ ихъ, голова горитъ 10.2

1

моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ, какъ вихорь, коней! Садись, мой ямщикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеся, кони, и несите меня съ этого свѣта! Далѣе, далѣе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится предо мною; звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманѣ; съ одной стороны море, съ другой — Италія; вонъ и русскія избы виднѣются. Домъ ли то мой синѣетъ вдали? Матъ ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучатъ они его! Прижми ко груди своей бѣднаго сиротку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! его гонятъ! — Матушка, пожалѣй о своемъ больномъ дитяткѣ!.. А знаете ли, что у алжирскаго бея подъ самымъ носомъ шишка?

ТАРАСЪ БУЛЬБА.

Редакція, напечатанная въ "Миргородъ" (1835 г.).

--- А поворотись, сынку! цуръ тебъ, какой ты смъшной! Что это на васъ за поповскіе подрясники? И этакъ всъ ходять въ академіи?

. 1

Такими словами встрътилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кieвской бурсъ и прівхавшихъ уже на домъ къ отцу.

Сыновья его только что слъзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотръвшіе исподлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Кръпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

— Постойте, постойте, дѣти, — продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: какія же длинныя на васъ свитки ¹)! Вотъ это свитки! Ну, ну, ну! такихъ свитокъ еще никогда на свѣтѣ не было! А ну, побѣгите оба: я посмотрю, не попадаете ли вы?

— Не смѣйся, не смѣйся, батьку! — сказалъ, наконецъ, старшій изъ нихъ.

— Фу, ты какой пышный! а отчего жъ бы не смъяться?

— Да такъ. Хотъ ты мнъ и батько, а какъ будешь смъяться, то, ей-Богу, поколочу!

— Ахъ, ты сякой, такой сынъ! Какъ! батька? — сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько назадъ.

— Да хоть и батька. За обиду — не посмотрю и не уважу никого.

- Какъ же ты хочешь со мною биться? развѣ на кулаки?

— Да ужъ на чемъ бы то ни было.

— Ну, давай на кулаки! — говорилъ Бульба, засучивъ рукава.

И отецъ съ сыномъ, вмъсто привътствія послъ давней отлучки, начали преусердно колотить другь друга.

— Вотъ это сдурѣлъ старый! — говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. — Ей-Богу, сдурѣлъ! Дѣти пріѣхали домой, больше году не видѣли ихъ, а онъ задумалъ, Богъ знаетъ, что̀: биться на-кулачки!

— Да онъ славно бьется !— говорилъ Бульба, остановившись.— Ей-Богу, хорошо !.. такъ-таки, — продолжалъ онъ, немного оправляясь :— хоть бы и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здоровъ, сынку, почеломкаемся !

И отецъ съ сыномъ начали цѣловаться.

--- Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ; никому не спускай! А все - таки на тебъ смъшное убранство. Что это за веревка

1) "Свиткой называется верхняя одежда у малороссіянъ".

висить? А ты, бейбасъ, что стоишь и руки опустиль?— говорилъ онъ, обращаясь къ младшему. — Что жъ ты, собачій сынъ, не колотишь меня!

— Вотъ еще выдумалъ что! — говорила мать, обнимавшая, между тъмъ, младшаго. — И придетъ же въ голову! Какъ можно, чтобы дитя било родного отца! Притомъ будто до того теперь: дитя малое, пробхало столько пути, утомилось — (это дитя было двадцати слишкомъ лътъ и ровно въ сажень ростомъ) — ему бы теперь нужно опочить и побсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ биться!

— Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!— говорилъ Бульба.— Не слушай, сынку, матери: она — баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нъжба? Ваша нъжба — чистое поде да добрый конь, вотъ ваша нъжба. А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чъмъ набиваютъ васъ: и академія, и всъ тъ книжки, буквари и филозофія, — все это ка зна що, я плевать на все это!— Бульба присовокупилъ еще одно слово, которое въ печати нъсколько выразительно, и потому его можно пропустить. — Я васъ на той же недълъ отправлю на Запорожье. Вотъ тамъ ваша школа, вотъ тамъ только наберетесь разуму!

— И только всего одну недѣлю быть имъ дома? — говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха мать. — И погулять имъ, бѣднымъ, не удастся, и дому родного некогда будетъ узнать имъ, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!

— Полно, полно, стара! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ступай скоръе да неси намъ все, что ни есть, на столъ. Пампушекъ, маковиковъ, медовиковъ и другихъ пундиковъ не нужно, а прямо такъ и тащи намъ цълаго барана на столъ. Да горълки, чтобы горълки было побольше! Не этой разной, что съ выдумками: съ изюмомъ, родзинками и другими вытребеньками, а чистой горълки, настоящей, такой, чтобы шипъла, какъ бъсъ!

Бульба повель сыновей своихъ въ свътлицу, изъ которой пугливо выбъжали двъ здоровыя дъвки въ красныхъ монистахъ, увидъвши прітхавшихъ паничей, которые не любили спускать никому. Все въ свътлицъ было убрано во вкусѣ того времени; а время это касалось XVI вѣка, когда еще только-что начинала рождаться мысль объ уніи. Все было чисто вымазано глиною. Вся стьна была убрана саблями и ружьями. Окна въ свътлицъ были маленькія, съ круглыми матовыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ деревянныхъ церквахъ. На полкахъ, занимавшихъ углы комнаты и сдѣданныхъ угольниками, стояли глиняные кувшины, синія и зеленыя фляжки, серебряные кубки, позолоченныя чарки венеціанской, турецкой и черкесской работы, зашедшіе въ свътлицу Бульбы разными путями чрезъ третьи и четвертыя руки, что было очень обыкновенно въ эти удалыя времена. Липовыя скамьи вокругъ всей комнаты и огромный столъ посреди ея, печь, разъбхавшаяся на полкомнаты, какъ толстая русская купчиха, съ какими-то нарисованными пѣтухами на изразцахъ, — всѣ эти предметы были довольно знакомы нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ почти каждый годъ домой на каникулярное время, — приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней, и потому, что не было въ обычат позволять школярамъ тздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускъ ихъ, послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

— Ну, сынки, прежде всего выпьемъ горълки! Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же, Боже, чтобъ вы на войнъ всегда были удачливы! чтобы бусурменовъ били, и турковъ бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнуть что противь вёры нашей чинить, то и ляховъ бы били! Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ бишь того звали, что латинскія вирши писалъ? Я грамоты-то не слишкомъ разумѣю, то и не помню; Горацій, кажется?

«Вишь какой батька!— подумалъ про себя старшій сынъ, Остапъ:— все, собака, знаетъ, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандритъ, — продолжалъ Бульба: — не давалъ вамъ и понюхать горѣлки. А что, сынки, признайтесь, порядочно васъ стегали березовыми да вишневыми по спинъ и по всему, а можетъ, такъ какъ вы уже слишкомъ разумные, то и плетюгами? Я думаю, кромъ субботки, драли васъ и по середамъ, и по четвергамъ?

— Нечего, батько, вспоминать, — говорилъ Остапъ съ обыкновеннымъ своимъ флегматическимъ видомъ: — что было, то уже прошло.

— Теперь мы можемъ расписать всякаго, — говорияъ Андрій: — саблями да списами. Вотъ пусть только попадется татарва.

— Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда такъ, то и я съ вами ѣду! ей-Богу, ѣду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ожидать? Что, я долженъ развѣ смотрѣть за хлѣбомъ да за свинарями? или бабиться съ женою? Чтобъ она пропала! Чтобъ я для ней оставался дома? Я козакъ. Я не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? Я такъ поѣду съ вами на Запорожье, погулять. Ей-Богу, ѣду!

И старый Бульба мало-по-малу горячился и, наконецъ, разсердился совсталъ изъ-за стола и, пріосанившись, топнулъ ногою.

— Завтра же ѣдемъ! Зачѣ́мъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что эти горшки?

При этомъ Бульба началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка-жена, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услышавши о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала такая скорая разлука, и никто бы не могъ описатъ всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба быль упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ, и притомъ на полукочующемъ востовѣ Европы, во время праваго и неправаго понятія о земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ какимъ принадлежала тогда Украйна. Вѣчная необходимость пограничной защиты противъ трехъ разнохарактерныхъ націй — все это придавало какой-то вольный, широкій размѣръ подвигамъ сыновъ ея и воспитало упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силѣ на Тарасѣ Бульбѣ. Когда Баторій устроилъ полки въ Малороссіи и облекъ ее въ ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели пороговъ, онъ былъ изъ числа первыхъ полковниковъ; но при первомъ случаѣ перессорился со всѣми другими за то, что добыча, пріобрѣтенная отъ татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздѣлена между ими не поровну и польския войска получили болѣе преимущества. Онъ, въ собраніи всѣхъ, сложилъ съ себя свое достоинство и сказалъ: -- Когда вы, господа полковники, сами не знаете правъ своихъ, то пусть же васъ чортъ водить за носъ! А я наберу себъ собственный полкъ, и кто у меня вырвэтъ мое, тому я буду знать, какъ утереть губы.

Дъйствительно, онъ въ непродолжительное время изъ своего же отцовскаго имѣнія составилъ довольно значительный отрядъ, который состоялъ вмъстъ изъ хлъбопашиевъ и воиновъ и совершенно покорствоваль его желанію. Вообще онъ быль большой охотникь до набъговь и бунтовь; онъ носомъ слышаль, гдв и въ какомъ мъсть вспыхиеало возмущеніе, и уже, какъ снъгъ на голову, являлся на конъ своемъ. «Ну, дъти, что и какъ? Кого и за что нужно бить?» обыкновенно говориль онъ и визшивался въ дъло. Однакожъ, прежде всего, онъ строго разбиралъ обстоятельства, и въ такомъ только случав приставаль, когда видъль, что поднявшіе оружіе действительно имъли право поднять его, хотя это право было, по его мнѣнію, только въ слѣдующихъ случаяхъ: если сосъдняя нація угоняла ихъ скотъ, или отръзывала часть земли, или комиссары налагали большую повинность, или не уважали старшинъ и говорили передъ ними въ шапкахъ, или посмъвались надъ православною вѣрою — въ этихъ случаяхъ непремѣнно нужно было браться за саблю: противъ бусурмановъ же, татаръ и турокъ, онъ почиталъ во всякое время справедливымъ поднять оружіе, во славу Божію, христіанства и козачества. Тогдашнее положение Малороссии, еще не сведенное ни въ какую систему, даже не приведенное въ извъстность, способствовало существованию многихъ совершенно отдъльныхъ партизановъ. Жизнь велъ онъ самую простую, и его нельзя бы было вовсе отличить отъ рядового козака, если бы лицо его не сохраняло какой то повелительности и даже величія, особливо, когда онъ ръшался зашишать что-нибудь.

Бульба заранѣе утѣшаль себя мыслью о томъ, какъ онъ явится теперь съ двумя сыновьями и скажеть: — «Вотъ посмотрите, какихъ я къ вамъ молодцовъ привелъ!» Опъ думалъ о томъ, какъ повезеть ихъ на Запорожье эту военную школу тогдашней Украйны, — представить своимъ сотоварищамъ и поглядитъ, какъ при его глазахъ они будутъ подвизаться въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое онъ почиталъ тоже однимъ изъ первыхъ достоинствъ рыцаря. Онъ вначалѣ хотѣлъ отправить ихъ однихъ, потому что считалъ необходимостію заняться новою сформировкою полка, требовавшей его присутствія; но при видѣ своихъ сыновей, рослыхъ и здоровыхъ, въ немъ вдругъ вспыхнулъ весь воинскій духъ его, и онъ рѣшился самъ съ ними ѣхать на другой же день, хотя необходимость этого была одна только упрямая воля.

Не теряя ни минуты, онъ уже началъ отдавать приказанія своему асаулу, котораго называлъ Товкачемъ, потому что тотъ дъйствительно похожъ былъ на какую-то хладнокровную машину: во время битвы онъ равнодушно шелъ по непріятельскимъ рядамъ, расчищая своею саблей, какъ будто бы мъсилъ тъсто, — какъ кулачный боецъ, прочищающій себъ дорогу. Приказанія состояли въ томъ, чтобы оставаться ему въ хуторъ, покамъстъ онъ дастъ знать ему выступить въ походъ. Послѣ этого пошелъ онъ самъ по куренямъ своимъ, раздавая приказанія нъкоторымъ тхать съ собою, напоить лошадей, накормить ихъ пшеницею и подать себъ коня, котораго онъ обыкновенно называлъ «Чортомъ».

— Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! Намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворѣ.

Ночь еще только-что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ

быль довольно свёжь и потому что Бульба любиль укрыться потеплёе, когда быль дома. Онь вскорё захрапёль, и за нимь послёдоваль весь дворь. Все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапёло и запёло. Прежде всего заснуль сторожъ, потому что болёе всёхъ напился для пріёзда паничей.

Одна бъдная мать не спала. Она приникда къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ. Она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклоченныя кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядъла на нихъ вся, глядъла всъми чувствами, вся превратилась въ одно зръніе и не могла наглядъться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелъяда ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою. «Сыны мои сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ? Хоть бы недъльку мнѣ поглядъть на васъ!» говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измънившихъ ея когда-то прекрасное лицо.

Въ самомъ дълъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого въка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидаль ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видъла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нъсколько лъть о немъ не бывало слуха. Да и когда видълась съ нимъ, когда они жили вмъстъ, что за жизнь ен была? Она терпъла оскорбленія, даже побои; она видъла изъ милости только оказываемыя ласки; она была какое-то странное существо въ этомъ соборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колорить свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свъжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всё чувства, все, что есть нёжнаго, страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у ней въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дътьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, берутъ для того, чтобы не увидъть ихъ никогда. Кто знаетъ? можетъ-быть, при первой битвъ, татаринъ срубить имъ головы, и она не будеть знать, гдъ лежать брошенныя тъла ихъ, которыя расклюеть хищная подорожная птица и за каждый кусочекъ которыхъ, за каждую каплю крови она отдала бы все. Рыдая, глядъла она имъ въ очи, которыя всемогущій сонъ начиналь уже смыкать, и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочить денька на два отътздъ! Можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ».

Мъсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидъла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ; ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ своихъ и не думала о сиъ. Уже кони, зачуя разсвътъ, всъ полегли на траву и перестали ъстъ; верхніе листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась до самаго низу. Она просидъла до самаго свъта, вовсе не была утомлена и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка. Красныя полосы ясно сверкнули на небъ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! Пора! пора! Напойте коней! А гдѣ стара — (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою)? — Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть, потому что путь великій лежитъ!

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату. Между тѣмъ какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку,

Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства. Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ. Къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки съ кистями и прочими побрякушками для трубки; козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были задвинуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ ихъ. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли: молодые черные усы теперь какъ-то ярче оттѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! она, какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

— Ну, сыны, все готово! нечего мъшкать! — произнесъ, наконецъ, Бульба. — Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всъмъ присъсть.

Всѣ сѣли, не вывлючая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей. Минуту продолжалось общее молчаніе.

— Теперь благослови, мать, дътей своихъ! — сказалъ Бульба. — Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую ¹), чтобы стояли всегда за въру Христову; а не то — пусть лучше пропадуть, чтобы и духу ихъ не было на свътъ! Подойдите, дъти, къ матери. Молитва материнская и на водъ и на землъ спасаеть.

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двъ небольшія иконы, надъла имъ, рыдая, на шею.

— Пусть хранить вась... Божья Матерь... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть въсточку о себъ... — далъе она не могла продолжать.

— Ну, пойдемъ, дъти! — сказалъ Бульба.

У прыльца стояли осъдланные кони. Бульба вскочиль на своего Чорта, который бъшено отшатнулся, почувствовавь на себъ двадцатипудовое бремя, потому что Бульба быль чрезвычайно тяжель и толсть.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула къ сѣдлу его, и, съ отчаяньемъ во всѣхъ чертахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но, когда вытѣхали они за ворота, она, со всею легкостію дикой козы, несообразной ея лѣтамъ, выбѣжала за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ нихъ съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностью. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однакоже, съ своей стороны, тоже былъ нѣсколько смущенъ, хотя не старался этого показывать. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ-будто ушелъ въ землю, только стояли на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика; однѣ только вершины деревъ, — деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлался передъ ними, — тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію жизни

1) "Рыцарскую".

своей, отъ лътъ, когда катались по росистой травъ его, до лътъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо летъвшую черезъ него съ номощью своихъ свъжихъ, быстрыхъ ножекъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телъги, одиноко торчитъ на небъ; уже равнина, которую они проъхали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте, и дътство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда почти плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчѣ изъ своихъ прежнихъ сотоварищей; онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Теперь кстати сказать чтонибудь о сыновьяхъ его. Они были отданы по двънадцатому году въ Кіевскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимостью дать воспитание своимъ дътамъ, хотя это дълалось съ тъмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже они обыкновенно нъсколько шлифовались и получали что-то общее, дълавшее ихъ похожими другь на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый годъ еще бъжалъ. Его возвратили, высъкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапываль онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, ото-дравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомпѣнія, онъ повториль бы и въ пятый, если бы отець не даль ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цёлыя двадцать лётъ, и что онъ не увидить Запорожья вовъки, если не выучится въ академіи всъмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который браниль всю ученость и совѣтоваль, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидъть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не примънялись и не повторялись въ жизни. Ни къ чему не могли привязать они своихъ познаній, хотя бы даже менъе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болье другихъ были невъжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, — все это должно было имъ внушить дъятельность совершенно внъ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, пробуждающіяся въ свѣжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, — все это, соединившись, рождало въ нихъ ту предпріимчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всёхъ быть осторожными. Торговки, сидёвшія на базаръ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, съмечки изъ тыквъ, какъ орлицы дътей своихъ, если только видъли проходившаго бурсака. Консуль, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имълъ такіе страшные карманы въ своихъ

шароварахъ, что могъ помъстить туда всю давку зазъвавшейся торговки. Эта бурса составляла совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академіи, не вводиль ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалъли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанию, пороли самихъ консуловъ такъ жестоко, что тъ нъсколько недбль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чъмъ кръ́пче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоъдали такія безпрестанныя припарки, и они бъжали на Запорожье, если умъли найти дорогу и если сами не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, несмотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, но никакъ не избавлялся отъ неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ ръдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ обобрать чужой садъ или огородъ, но зато онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріимчиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случаѣ не выдавалъ своихъ товарищей. Никакія плети и розги не могли заставить его это сдълать. Онъ быль суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ, никогда почти другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имълъ 0 доброту въ такомъ видъ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характеръ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бъдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брать его, Андрій, имъль чувства нъсколько живъе и какъ-то болѣе развиты. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характерь. Онъ быль болье изобрътателенъ, нежели его братъ; чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощію изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ брать его, Остапъ, отложивши всякое попечение, скидаль съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помиловании. Онъ также кипълъ жаждою подвига, но, вмъстъ съ нею, душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лътъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философические диспуты, видъль ее поминутно, свъжую, черноокую, нъжную. Предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нъжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругь ея свъжихъ, дъвственныхъ и витсть мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ оть своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній въкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинт и любви, не отвъдавъ битвы. Вообще въ послъдние годы онъ ръже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядъвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынъшнемъ старомъ Кіевъ, гдъ жили малороссійскіе и польскіе дворяне, и домы были выстроены съ нъкоторою прихотливостью.

Одинъ разъ, когда онъ зазъвался, наъхала почти на него колымага какого-то польскаго пана, и сидъвшій на козлахъ возница, съ престрашными усами, хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскипълъ: съ безумною смълостію схватиль онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасансь раздълки, ударилъ по лошадямъ, онѣ рванули — и Андрій, въ счастью успѣвшій отхватить руву, шлепнулся на землю, прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смъхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидълъ стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, какъ не знаю что, черноглазую и бълую, какъ снъгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смъялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ какую-то сверкающую силу ея ослѣпительной красоть. Онъ оторопълъ: онъ глядълъ на нее, совсъмъ потерявшись, разсъянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болъе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотълъ было узнать отъ дворни, которая вучею, въ богатомъ убранствѣ, стояда за воротами, окруживши игравшаго молодого бандуриста; но дворня подняла смёхъ, увидъвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостію, онъ пролѣзъ черезъ частоколъ въ садъ, взлѣзъ на дерево, раскинувшееся вътвями, упиравшими въ самую крышу дома; съ дерева перелъзъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидъла перепъ свъчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человъка, что не могла произнесть ни одного слова; но, когда увидъла, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смъя отъ робости поворотить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ся глазами на улицъ, смъхъ вновь овладълъ сю. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смъядась и долго забавлядась надъ нимъ. Красавица была вътрена, какъ полячка, но глаза ея, глаза чудесные, произительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могь поворотить рукою и быль связань, какъ въ мъшкъ, когда дочь воеводы смъло подощла къ нему, надъла ему на голову свою блистательную діадему, повъсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дълала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностію дитяти, которою отличаются вътреныя полячки, и которая повергла бъднаго бурсака въ еще большее смущение. Онъ представляль смёшную фигуру, раскрывши роть и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи.

Раздавшийся у дверей стукъ пробудилъ въ ней испугъ. Она велъла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, она кликнула свою горничную, плънную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшийся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицъ, покамъстъ быстрыя ноги не спасли его.

Послѣ этого проходить возлѣ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Онъ увидѣлъ ее еще разъ въ костелѣ. Она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ, и послѣ этого воевода ковенскій

. Н. В. Гоголь. Томъ III.

Digitized by Google

25

скоро уѣхалъ, и, вмѣсто прекрасной, обольстительной брюнетки, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо.

Воть о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тъмъ, степь уже давно приняда ихъ всъхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только козачьи черныя шапки однъ мелькали между ея колосьями.

— Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли? — сказалъ, наконецъ, Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: — какъ будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ, разомъ всё думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!

И козаки, прилегши нъсколько къ конямъ, пропали въ травъ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видъть; одна только быстрая молнія сжимаемой травы показывала бъгъ ихъ.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ тепдотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрепенулись, какъ птицы, жадныя воли.

Степь, чёмъ далёе, тёмъ становидась прекраснёе. Тогда весь Югъ, все то пространство, которое составляеть нынѣшнюю Новороссію, до самаго Чернаго моря, было зеленою пъвственною пустынею. Никогла плугъ не проходилъ но неизмъримымъ волнамъ дикихъ растеній. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничто въ природѣ не могло быть дучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ. по которому брызнули милліоны разныхъ цвътовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волошки; желтый дрокъ выскакиваль вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бълая кашка зонтикообразными шапками пестръла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ, откуда, колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли цѣлою тучею ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонъ тучи дикихъ гусей отдавался. Богъ знаетъ. въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мърными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаеть одною черною точкою. Вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!

Наши путешественники на нъсколько минуть только останавливались для объда, причемъ ѣхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ слѣзалъ съ лошадей, отвязывалъ деревянныя баклажки съ горѣлкою и тыквы, употребляемыя вмъсто сосудовъ. Бли только хлѣбъ съ саломъ или коржи; пили только по одной чаркъ, единственно для подкрѣпленія, — потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогъ, — и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ вся степь совершенно перемѣнялась. Все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала по нимъ, и они становились темнозелеными; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу, изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью наляпаны были широкія полосы изъ

386

розоваго золота; изръдка бълъли клоками легвія и прозрачныя облака, и самый свъжій, обольстительный, какъ морскія волны, вътерокъ, едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался къ щекамъ. Вся музыка, наполнявшая день, утихала и смѣнялась другою. Пестрые овражки выпалзывали изъ норъ своихъ, становились на заднія дапки и оглашали степь свистомъ. Трешание кузнечиковъ становилось слышнъе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера кривъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухъ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлегь, раскладывали огонь и ставили на него котель, въ которомъ варили себъ кулишъ; паръ отпелялся и косвенно дымился на воздухъ. Поужинавъ, козаки дожились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядъли ночныя звъзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насъкомыхъ, наполнявшихъ траву; весь ихъ трескъ, свисть, краканье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свъжемъ ночномъ воздухъ и доходило до слуха гармоническимъ. Если же ктоннбудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усъянною блестящими искрами свътящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и ръкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей летъвшихъ на съверъ, вдругъ освъщалась серебряно-розовымъ свътомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхади. безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья; все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ свнѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую, чернѣвшую въ дальней травѣ, точку, сказавши:

— Смотрите, дётки, вонъ скачетъ татаринъ!

Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидъвши, что козаковъ было тринадцать человъкъ.

— А ну, дъти, попробуйте догнать татарина! И не пробуйте; во въки въковъ не поймаете: у него конь быстръе моего Чорта.

Однакожъ, Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдъ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой ръчкъ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Днъпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть слъдъ свой, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далъе путь.

Чрезъ три дня послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, служившаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло; они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и раэстилался ближе, ближе и, наконецъ, обхватилъ половину всей поверхности земли. Это оыло то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ, наконецъ, свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались по самой землѣ, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на паромъ и чрезъ три часа плаванія были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣча, такъ часто перемѣнявшая свое жилище

Куча народа бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней; Тарасъ пріосанился, стянулъ на себъ покръпче поясъ и гордо провелъ

25*****

рукою по усамъ; молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ въѣхали въ предмѣстье, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При въѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ 25 кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подъ навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяли своими дюжими руками бычачьн кожи. Крамари подъ ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ. Крамари подъ ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ. Армянинъ развѣсилъ дорогіе платки. Татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тѣстомъ. Жидъ, выставивъ впередъ свою голову, точилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался имъ навстрѣчу, это былъ запорожецъ, спавшій на самой срединѣ дороги, раскинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него.

— Эхъ, какъ важно развернулся! Фу, ты, какая пышная фигура! — говорилъ онъ, остановивши коня.

Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ. Закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъаршина земли. Шаровары алаго дорогого сукна были запачканы дегтемъ, для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія.

Полюбовавшись, Бульба пробирался далье сквозь тьсную улицу, которая была загромождена мастеровыми, туть же отправлявшими ремесло свое, и людьми встахь націй, наполнявшихъ это предмъстье Съчи, которое было похоже на ярмарку и которое одъвало и кормило Съчу, умъвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они минули предмъстіе и увидъли нъсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдъ не видно было забора или тъхъ низенькихъ домиковъ, съ навъсами, на тоненькихъ деревянныхъ столбикахъ, какіе были въ предмъстьи. Небольшой валъ и засъка, не хранимые ръшительно никъмъ, показывали страшную безпечность. Нъсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогъ, посмотръли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мъста. Тарасъ осторожно проъхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши:

— Здравствуйте, панове!

--- Эдравствуйте и вы!--- отвѣчали запорожцы. На пространствѣ пяти верстъ были разбросаны толпы народа. Онѣ всѣ собирались въ небольшія кучи. Такъ воть Сѣча! Воть то гнѣздо, откуда вылетають всѣ тѣ гордые и крѣпкie, какъ львы! Воть откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники вытхали на обширную площадь, гдт обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкт сидтлъ запорожецъ безъ рубашки; онъ держалъ въ рукахъ ее и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цълая толпа музыкантовъ, въ срединъ которой отплясывалъ молодой запорожецъ, заломивши чортомъ свою шашку и вскинувши руками. Онъ кричалъ только:

— Живѣе играйте, музыканты! Не жалѣй, Фома, горѣлки православнымъ христіанамъ! — И Фома, съ подбитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодого запорожца четыре старыхъ выработывали довольно мелко своими ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслися въ присядку и били круто и крѣпко своими серебряными подковами тѣсно убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу, и въ воздухѣ

388 .

только отдавалось: тра-та-та, тра-та-та. Толпа, чёмъ далёе, росла: къ танцующимъ приставали другіе, и вся почти площадь покрылась присъдающими запорожцами. Это имѣло въ себѣ что-то разительно-увлекательное. Нельзя было безъ движенія всей души видъть, какъ вся толпа отдирала танецъ, самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо міръ, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, носить названіе козачка.

Тарасъ Бульба крякнулъ отъ нетерпѣнія, и досадуя, что конь, на которомъ сидѣлъ онъ, мѣшалъ ему пуститься самому. Иные были чрезвычайно смѣшны своею важностью, съ какою они работали ногами. Черезчуръ дряхлые, прислонившись къ столбу, къ которому обыкновенно на Съчѣ привязывали преступниковъ, топали и переминали ногами. Крики и пѣсни, какія только могли придти въ голову человѣку въ разгульѣ веселья, раздавались на свободѣ.

Тарасъ скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здравствуй, Застежка! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень!» И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: «А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсытокъ?» И слышалъ только въ отвѣтъ Тарасъ Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсыткова голова посолена въ бочкѣ и отправлена въ самый Царьградъ.— Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: «Добрые были козаки!»

III.

Уже около недбли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Свчб. Остапъ и Андрій мало могли заниматься военною школою, несмотря на то, что отецъ ихъ особенно просилъ опытныхъ и искусныхъ набздниковъ быть имъ руководителями. Вообще можно сказать, что на Запорожьъ не было никакого теоретического изученія или какихъ-нибудь общихъ правилъ; все юношество воспитывалось и образовывалось въ немъ однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвы, которыя оттого были почти безпрерывны. Промежутки же между ними козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой-нибудь дисциплоны. Очень ръдкіе имъли примърные турниры. Они все время отдавали гульбъ — признаку широкаго размета душевной воли. Вся Съча представляла необыкновенное явление. Это было какое-то безпрерывное пиршество, --- балъ, начавшійся шумно и потерявшій конець свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, особливо, если въ карманахъ звучала возможность, и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имъло въ себъ что-то околдовывающее. Это не было какое нибудь сборище бражниковъ, напивавшихся съ горя: это было, просто, какое-то бѣшеное разгулье веселости. Всякій, приходившій сюда, позабываль и бросаль все, что дотоль его занимало. Онъ, можно сказать, плеваль на свое прошедшее и съ жаромъ фанатика предавался волъ и товариществу такихъ же, какъ самъ, не имъвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго пира души своей. Это производило ту бъшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другого источника. Разсказы, балагуры, которые можно было слышать среди собравшейся толпы, лежавшей на землъ, такъ были смъщны и дышали тавимъ глубовимъ юморомъ, что нужно было имъть

389

только флегматическую наружность запорожца, чтобы не смъяться ото всей души. Это не былъ какой-нибудь пьяный кабакъ, гдъ безсмысленно, мрачно, искаженными чертами веселья забывается человѣкъ; это быль тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Вся разница была только въ томъ, что, вмъсто сндънія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набъгъ на пяти тысячахъ коней; вибсто дуга, на которомъ производилась игра въ мячикъ, у нихъ были не охраняемыя, безпечныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову, и неподвижно, сурово глядълъ турокъ, въ зеленой чалмъ своей. Разница та, что вмъсто насильственной воли, соединившей ихъ въ школѣ, они сами собою кинули отцовъ и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ своихъ; что здъсь были тъ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка, и которые вмъсто блъдной смерти, увидъли жизнь, и жизнь во всемъ разгуль; что здъсь были тъ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманъ своемъ конейки; что здъсь были ть, которые дотоль червонець считали богатствомь, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить, безъ всякаго опасенія что-нибудь уронить. Здъсь были всъ бурсаки, которые не вынесли академическихъ лозъ и которые не вынесли изъ школы ни одной буквы; но визсть съ этими здъсь были и ть, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имъли благородное убъждение мыслить, что все равно, гдъ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человъку быть безъ битвы. Здъсь было много офицеровъ изъ польскихъ войскъ. Впрочемъ, изъ какой націи здъсь не было народа? Эта странная республика была именно потребность того въка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ во всякое время могли найти здъсь себъ работу. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здъсь ничего, потому что даже въ предмъстье Съчи не смъла показаться ни одна женщина.

Остапу и Андрію показалось чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Съчу гибель народа, и хоть бы вто-нибудь спросиль ихъ, откуда они, кто они, и какъ ихъ зовутъ. Они приходили сюда, какъ будто бы возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тъмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говориль: «Здравствуй! Что, во Христа въруешь?» — «Върую», отвъчалъ приходившій. — «И въ Троицу Святую въруешь?» — «Върую». — «И въ церковь ходишь?» — «Хожу». — «А, ну, перекрестись!» — Пришедшій крестился. — «Ну, хорошо, — отвѣчалъ кошевой: — ступай же въ который самъ знаешь курень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Съча молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послъдней капли крови, хотя и слышать не хотъла о постъ и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстію жиды, армяне и татары осмѣливались жить и торговать въ предмъстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка. Они были похожи на тъхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что, какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Такова была та Съча, имъвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись, со всею пылкостію юношей, въ это разгульное море. Они скоро позабыли и юность, и бурсу, и домъ отцовскій, и

все, что тайно волнуеть еще свъжую душу. Они гуляли, братались съ беззаботными бездомовниками и, казалось, не желали никакого измъненія такой жизни.

Между тъмъ, Тарасъ Бульба начиналъ думать о томъ, какъ бы скоръе затъять какое-нибудь дъло: онъ не могъ долго оставаться въ недъятельности.

— Что, кошевой, — сказаль онъ одинъ разъ, пришедши къ атаману: можетъ-быть, пора бы погулять запорожцамъ?

— Негдѣ погулять, — отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнувъ въ сторону.

— Какъ негдъ? Можно пойти въ Турещину или на Татарву.

— Не можно ни въ Турещину, ни въ Татарву, — отвѣчалъ кошевой, взявши опять въ ротъ трубку.

- Какъ не можно?

- Такъ: мы объщали султану миръ.

— Да онъ въдь бусурменъ: и Богъ, и святое писаніе велить бить бусурменовъ.

— Не имѣемъ права. Если бъ мы не клялись нашею вѣрою, то, можетъ-быть, какъ-нибудь еще и можно было.

— Какъ же это, кошевой? Какъ же ты говоришь, что права не имъемъ? Вотъ у меня два сына, молодые люди: имъ нужно пріучиться и узнать, что такое война, а ты говоришь, что запорожцамъ не нужно на войну идти.

- Что жъ дълать? — отвъчалъ кошевой съ такимъ же хладнокровіемъ: — нужно подождать.

Но этимъ Бульба не былъ доволенъ. Онъ собралъ кое-какихъ старшинъ и куренныхъ атамановъ и задалъ имъ пирушку на всю ночь. Загулявшись до послѣдняго разгула, они вмѣстѣ отправились на площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада и стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полѣну и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довбишъ, высокій человѣкъ, съ однимъ только глазомъ, несмотря на то, страшно заспаннымъ.

— Кто смѣеть бить въ литавры? — закричаль онъ.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велять! — отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишъ вынуль тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули — и скоро на площадь, какъ шмели, начали собираться черныя кучи запорожцевъ.

За кошевымъ отправилясь нъсколько человъкъ и привели его на площадь.

— Не бойся ничего! — сказали вышедшіе къ нему навстрѣчу старшины. — Говори міру рѣчь, когда хочешь, чтобы не было худого, говори рѣчь объ томъ, чтобы идти запорожцамъ на войну противъ бусурмановъ.

Кошевой, увидъвши, что дъло не на шутку, вышелъ на середину площади, раскланялся на всъ четыре стороны и произнесъ:

— Панове запорожцы, добрые молодцы! позволить ли господарство ваше рѣчь держать?

— Говори, говори! — зашумѣли запорожцы.

— Вотъ въ разсуждении того теперь идетъ рѣчь, панове добродійство, — да вы, можетъ-быть, и сами лучше это знаете, — что многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ. Притомъ же, въ разсужденіи того, есть очень много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человѣку, и сами знаете, панове, безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожецъ изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?

— Вишь, онъ хорошо говорить, — сказаль писарь, толкнувъ локтемъ Бульбу. Бульба кивнулъ головою.

— Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ. Сохрани Богъ! Я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій — грѣхъ и сказать, что такое. Вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, по милости Божіей, стоитъ Сѣча, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренніе образа безъ всякаго убранства. Хотя бы серебряную рясу кто догадался имъ выковать. Они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки. Да и даяніе ихъ было бѣдное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Такъ я все веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами, ибо мы обѣщали султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему.

— Вишь, проклятый! что это онъ путаетъ такое?—сказалъ Бульба писарю.

— Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: честь лыцарская не велитъ. А по своему бъдному разуму вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; пусть немного пошарпають берега Анатоліи. Какъ думаете, панове?

— Веди, веди всѣхъ! — закричала со всѣхъ сторонъ толпа: — за вѣру мы готовы положить головы!

Кошевой испугался. Онъ нимало не желалъ тревожить всего Запорожья. Притомъ ему все казалось неправымъ дъломъ разорвать миръ.

- Позвольте, панове, ръчь держать!

— Довольно! — кричали запорожцы: — лучшаго не скажешь.

— Когда такъ, то пусть по-вашему, только для насъ будетъ еще большее раздолье. Вамъ извъстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потъшатся молодцы. А мы, вотъ видите, будемъ наготовъ, и силы у насъ будутъ свъжія. Притомъ же и татарва можетъ напасть во время нашей отлучки. Да, если сказать правду, то у насъ и челновъ нътъ въ запасъ, чтобы можно было всъмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли.

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные атаманы совъщаться, и ръшили на томъ, чтобы отправить нъсколько молодыхъ людей, подъ руководствомъ опытныхъ и старыхъ.

Такимъ образомъ, всъ были увърены, что они совершенно по справедливости предпринимаютъ свое предпріятіе. Такое понятіе о правъ весьма было извинительно народу, занимавшему опасныя границы среди буйныхъ сосъдей. И странно, если бы они поступили иначе. Татары разъ десять перерывали свое шаткое перемиріе и служили обольстительнымъ примъромъ. Притомъ, какъ можно было такимъ гульливымъ рыцарямъ и въ такой гульливый въкъ пробыть нъсколько недъль безъ войны?

Молодежь бросилась къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Нъсколько плотниковъ явились вмигъ съ топорами въ рукахъ.

Старые, загорѣлые, шировочленистые запорожцы, съ просѣдью въ усахъ, засучивъ шаровары, стояли по колѣни въ водѣ и стягивали ихъ съ берега крѣпкимъ канатомъ. Нѣсколько человѣкъ было отправлено въ скарбницу на противоположный утесистый берегъ Днѣпра, гдѣ въ неприступномъ тайникѣ они скрывали часть пріобрѣтенныхъ орудій и добычу. Бывалые поучали другихъ съ какимъ-то наслажденіемъ, сохраняя при всемъ томъ степенный суровый видъ. Весь берегъ получилъ движущійся видъ, и хлопотливость овладѣла дотолѣ безпечнымъ народомъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча людей еще издали махала руками. Куча состояла изъ козаковъ въ оборванныхъ свиткахъ. Безпорядочный костюмъ (у нихъ ничего не было, кромъ рубашки и трубки) показывалъ, что они были слишкомъ угнетены бъдою, или уже черезчуръ гуляли и прогуляли все, что ни было на тълъ. Между ними отдълился и сталъ впереди приземистый, плечистый, лътъ пятидесяти человъкъ. Онъ кричалъ сильнъе другихъ и махалъ рукою сильнъе всъхъ.

— Богъ въ помощь вамъ, панове запорожцы!

— Здравствуйте! — отвѣчали работавшіе въ лодкахъ, пріостановивъ свое занятіе.

— Позвольте, панове запорожцы, ръчь держать!

— Говори!

И толпа усъяла и обступила весь берегъ.

— Слышали ли вы, что дълается на гетманщинъ?

— А что? — произнесъ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

— Такія дёла дёлаются, что и разсказывать нечего.

— Kariя же дъла?

— Что и говорить! И родились, и крестились, еще не видали такого, — отвѣчалъ приземистый козакъ, поглядывая съ гордостью владѣющаго важной тайной.

— Ну, ну, разсказывай, что такое! — кричала въ одинъ голосъ толпа.

- А развѣ вы, панове, до сихъ поръ не слыхали?

— Нътъ, не слыхали.

— Какъ же это? Что жъ, вы развъ за горами живете, или татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши ваши?

— Разсказывай! Полно толковать! — сказали нъсколько старшинъ, стоявшихъ впереди.

— Такъ вы не слышали ничего про то, что жиды уже взяли церкви святыя, какъ шинки, на аренды?

— Нъть.

--- Такъ вы не слышали и про то, что уже христіанину и пасхи не можно ъсть, покамъстъ разсобачій жидъ не положитъ значка нечистою своею рукою?

— Ничего не слышали! — кричала толпа, подвигаясь ближе.

— И что ксендзы іздять изъ села въ село въ таратайкахъ, въ которыхъ запряжены — пусть бы еще кони, это бы еще ничего, а то, просто, православные христіане. Такъ вы, можетъ-быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочеть, чтобъ мы кинули и въру нашу христіанскую? Вы, можетъ-быть, не слышали и объ томъ, что уже изъ поповскихъ ризъ жидовки шьютъ себѣ юбки?..

— Стой, стой! — прервалъ кошевой, дотолъ стоявшій, углубивши глаза въ землю, какъ и всъ запорожцы, которые въ важныхъ дълахъ никогда не

отдавались первому порыву, но молчали и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли въ себѣ всю желѣзную силу негодованія.

— Стой, и я скажу слово. А что жъ вы, —врагъ бы поколотилъ вашего батька, — что жъ вы? развъ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?

— Э, какъ попустили такому беззаконію! — отвѣчалъ приземистый козакъ.

— А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да еще къ тому и часть гетманцевъ приняла ихъ въру.

— А гетманъ вашъ, а полковники что дѣлали?

— Э, гетманъ и полковники! А знаете, гдѣ теперь гетманъ и полковники?

— Гдв?

— Полковниковъ головы и руки развозятъ по ярмаркамъ, а гетманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, и до сихъ поръ лежитъ еще въ Варшавѣ.

Содроганіе пробъжало по всей толпъ; молчаніе, какое обыкновенно предшествуетъ бурѣ, остановилось на устахъ всѣхъ, и, мигъ послѣ того, чувства, подавляемыя дотолѣ въ душѣ силою дюжаго характера, брызнули цѣлымъ потокомъ рѣчей.

— Какъ, чтобы нашу Христову въру гнала проклятая жидова! чтобы этакое дѣлать съ православными христіанами! чтобы такъ замучить нашихъ! да еще кого? полковниковъ и самого гетмана! Да чтобы мы стерпъли все это? Нѣтъ, этого не будеть!

Такія слова перелетали во всѣхъ концахъ обширной толпы народа.

Зашумѣли запорожцы и разомъ почувствовали свои силы. Это не было похоже на волненіе народа легкомысленнаго. Туть волновались все характеры тяжелые, крѣпкіе. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть.

— Какъ, чтобы жидовство надъ нами пановало! А ну, паны браты, перевѣшаемъ всю жидову! Чтобы и духу ея не было! — произнесъ кто-то изъ толпы. Эти слова пролетѣли молніей, и толпа ринулась на предмѣстье, съ сильнымъ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалзывали подъ юбки своихъ жидовокъ, но неумолимые, безпощадные мстители вездѣ ихъ находили.

— Ясневельможные паны! — кричалъ одинъ высокій и тощій жидъ, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ: — ясневельможные паны! мы такое объявимъ вамъ, чего еще никогда не слышали, такое важное, что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажуть! — сказаль Бульба, который всегда любиль выслушать обвиняемаго.

— Ясные паны! — произнесъ жидъ. — Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей-Богу, еще никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ... — Голосъ его умиралъ и дрожалъ отъ страха. — Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее. Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! Ей-Богу, не наши! То совсѣмъ не жиды: то чортъ знаетъ что̀; то такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?

— Ей-Богу, правда ! — отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ яломкахъ, оба бѣлые, какъ глина.

— Мы някогда еще, — продолжалъ высокій жидъ: — не соглашались съ непріятелями. А католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами — какъ братья родные...

— Какъ? чтобъ запорожцы были съ вами братья? — произнесъ одинъ изъ толпы.

— Не дождетесь, проклятые жиды! Въ Днъпръ ихъ, панове, всъхъ потопить поганцевъ!

Эти слова были сигналомъ: жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалкій крикъ раздался со всёхъ сторонъ; но суровые запорожцы только смёялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ. Бёдный высокій ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бёду, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молиль:

--- Великій господинъ, ясневельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша. Какой былъ славный воинъ! Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у турковъ.

— Ты зналь брата? — спросиль Тарась.

— Ей-Богу, зналь! Великодушный быль пань.

— А какъ тебя зовуть?

— Янкель.

— Хорошо, я тебя проведу.

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его.

— Ну, полъзай подъ телъгу, лежи тамъ и не пошевелись, а вы, братцы, не выпускайте жида.

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что раздавшійся бой литавровъ возвъстилъ собраніе рады. Несмотря на свою печаль и сокрушеніе о случившихся на Украйнъ несчастіяхъ, онъ былъ нъсколько доволенъ представлявшимся широкимъ раздольемъ для подвиговъ, и притомъ для подвиговъ такихъ, которые представляли ему мученическій вънець по смерти.

Вся Съча, все, что было на Запорожьи, собралось на площадь. Старшины, куренные атаманы, по короткомъ совъщания, ръшили на томъ, чтобы идти съ войскомъ прямо на Польшу, такъ какъ оттуда произошло все зло, желая внести опустошение въ землю непріятельскую и предвидя себъ при этомъ добычу.

И вся Свча вдругъ преобразилась. Вездъ были только слышны пробная стръльба изъ ружей, бряканье саблей, скрыпъ телъгъ; все подпоясывалось, облачалось. Шинки были заперты; ни одного человъка не было пьянаго.. Необыкновенная дъятельность смънила вдругъ необыкновенную безпечность. Кошевой выросъ на цълый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вътреныхъ желаній вольнаго народа; это былъ неограниченный повелитель; это былъ почти деспоть, умъвшій только повелъвать. Всъ своевольные и гульливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смъя поднять глазъ, когда онъ раздавалъ повелѣнія тихо, съ разстановкою, какъ глубоко знающій свое дъло и уже не въ первый разъ приводившій его въ исполненіе. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебенъ, окропилъ всъхъ святою водою; всъ цъловали крестъ.

Когда все запорожское войско вышло изъ Сѣчи, головы всѣхъ обратились назадъ. «Прощай, наша мать! — сказали почти всѣ въ одно слово. — Пусть же тебя хранить Богъ отъ всякаго несчастія!»

Проходя предмѣстіе, Тарасъ Бульба увидѣлъ съ изумленіемъ, что жидокъ его уже раскинулъ свою лавочку и продавалъ какіе-то времешки и всякую дрянь.

— Дурень, что̀ ты здѣсь сидишь? — сказалъ онъ ему: — развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили какъ воробья?

— Молчите, — отвѣчалъ жидъ: — я пойду за вами и войскомъ и буду продавать провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще никогда никто не продавалъ. Ей-Богу, такъ! Вотъ увидите.

Бульба пожалъ плечами и отътхалъ въ своему отряду.

I۴.

Скоро весь польскій юго-запаль слёдался побычею страха: везль только и слышно было про запорожцевъ. Скудельные южные города и села были совершенно стираемы съ лица земли. Арендаторы-жиды были въшаны кучами, вибсть съ католическимъ духовенствомъ. Запорожцы, какъ бы пируя, протекали путь свой, оставляя за собою пустыя пространства. Нигдъ не смълъ остановить ихъ отрядъ польскихъ войскъ: они были разсъваемы при первой схваткъ. Ничто не могло противиться азіатской атакъ ихъ. Предатъ. находившійся тогда въ Радзивиловскомъ монастыръ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ съ представлениемъ, что между запорожцами и правительствомъ существуеть согласіе, и что они явно нарушають свою обязанность въ королю, а вмъстъ съ тъмъ и народныя права. «Скажи епископу отъ лица всъхъ запорожцевъ, — сказалъ кошевой: — чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только люльки раскуривають». И скоро величественное аббатство обхватилось соврушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядъли сквозь раздълявшіяся волны огня. Бъгущія толцы монаховъ, солдать, жидовь наводнили многолюдные города и деревни, почти оставленные на произволъ непріятеля.

Одинъ только городъ Дубно не сдавался. Этимъ были раздражены всъ чины, въ числѣ которыхъ занималъ не послѣднее мѣсто Тарасъ Бульба. Они положили взять его голодомъ. Толпы вольныхъ наъздниковъ облегли со встать сторонь его станы, расположились вмасть съ своими обозами, которые всегда почти за ними слъдовали. Жители съ небольшимъ числомъ войскъ рѣшились вытерпѣть возможную степень бѣдствія и не сдаваться ни въ какомъ случат. Запорожцы удвоили наблюденіе, чтобы никакое вспомоществованіе не могло прійти въ городъ, играли въ четъ и нечетъ, курили люльки и съ убійственнымъ хладнокровіемъ смотрѣли на городскія стѣны. Прошло двѣ недѣли и, несмотря на то, что они свои вольные набъги гораздо болѣе предпочитали осадамъ городовъ, однакожъ, ничто не могло преодолѣть ихъ терпѣнія. — Молодые, попробовавшіе битвъ и опасностей, сгорали нетерпѣніемъ, и въ числѣ ихъ были наши герон, Остапъ и Андрій, вдругъ пріобрѣвшіе опытность въ военномъ дѣлѣ, пылкіе, исполненные отваги, желавшіе новыхъ встръчъ, жадные узнать новыя эволюціи и варіаціи войны и показать свое умѣніе играть опасностями. Остапъ, казалось, только на то и созданъ былъ, чтобы гулять въ въчномъ пиръ войны. Онъ теперь уже казался чъмъ-то атлетическимъ, колоссальнымъ. Его движенія пріобрѣли крѣпкую увѣренность, и всъ качества его, прежде незамътныя, получили размъръ шире и казались качествами мощнаго льва. Андрій также погрузился весь въ очаровательную музыку мечей и пуль, потому что нигдъ воля, забвеніе, смерть, наслажденіе не соединяются въ такой обольстительной, страшной прелести, какъ въ битвѣ.

Этоть долгій роздыхъ, который они имъли подъ стънами города, имъ не нравился. Андрій сидълъ долго возлъ обоза своего, тогда какъ уже всъ

запорожцы спали, кромѣ нѣкоторыхъ, стоявшихъ на сторожѣ. Ночь, іюньская прекрасная ночь, съ безчисленными звъздами, обнимала опустошенную землю. Вся обрестность представляла величественное зрълище: со всъхъ сторонъ, вблизи и вдали, были видны зарева горъвшихъ деревень. Въ одномъ мъстъ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ мъстъ оно, встрѣтивъ что-то горючее, вдругъ вырвавшись вихремъ, свистѣло и детѣло вверхъ подъ самыя звъзды, и оторванныя охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Въ одномъ мъстъ обгорълый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стояль грозпо, выказывая при каждомь отблескь мрачное свое величіе. Въ другомъ мъстъ горъдо новое зданіе, потопленное въ садахъ. Деревья шипѣли и покрывались дымомъ: иногда сквозь нихъ просвъчивалась лава огня, и гроздія грушъ, обвѣсившихъ вѣтви, принимали цвѣтъ червоннаго золота; даже видны были издали сливы, получившія фосфоричесвій, лилово-огненный цвътъ; и среди этого всего иногда чернъло висъвшее на стънъ зданія тъло бъднаго жида или монаха, погибавшее виъстъ съ строеніемъ въ огнъ. Надъ нимъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ, въ видъ едва замътныхъ крестиковъ на огненномъ полъ. Среди тишины одни только спутанные кони производили шумъ, и звонкое ихъ ужаніе отдавалось съ раскатами, нъсколько разъ повторявшимися дребезжашимъ эхомъ.

Онъ глядълъ безмолено на эту страшную и чудную картину и вдругъ почувствовалъ какъ будто присутствіе чего-то; ему казалось, какъ будто возлѣ него кто-то стоялъ. Онъ оглянулся и въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ стоявшую подлѣ себя женщину. Смуглыя черты лица ея и азіатская физіогномія показаансь ему какъ-то знакомыми. Онъ сталъ глядѣть пристальнѣе: такъ, это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при дочери ковенскаго воеводы. Онъ встрепенулся. Сердце сильнымъ ударомъ стукнуло въ его мощную грудь, и все минувшее, что было во глубинѣ ея, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ бытомъ, — все это всплыло разомъ на поверхностъ, потопивши въ свою очередь настоящее; вся гордая сила, сила юности, зажглась вдругъ самымъ томительнымъ приливомъ безпокойства нестерпимаго и страстнаго. Вопросы потокомъ излились изъ его груди:

— Откуда? какъ? гдѣ твоя панна? какъ ты явилась здѣсь? что̀ это значитъ? Говори, не мучь меня!

— Тише, ради Бога, тише! — говорила татарка, и закуталась въ козацкій кобенякъ, который было сбросила съ себя. — Панна узнала васъ между запорожцами. Она въ городъ.

— Милосердый Інсусъ! она здѣсь? Что̀ ты говоришь? Она въ городъ? Татарка кивнуда утвердительно головою.

- Что жъ она? говори, говори! Что жъ ты молчишь?

— Она другой день уже ничего не ъла.

— Какъ!

— Ни у одного изъ жителей въ городъ нътъ ни куска хлъба. Вст давно уже ъдятъ одну землю.

— Спаситель Іисусъ! И вы до сихъ поръ не сдълали ни одной вылазки?

--- Нельзя: запорожцы кругомъ облегли стъны. Одинъ только потаенный ходъ и есть; но на томъ самомъ мъстъ стоятъ ваши обозы, и если только узнаютъ этотъ ходъ, то городъ уже вашъ. Панна приказала мнъ все объявить вамъ, потому что вы не захотите измънить ей.

Digitized by Google

— Боже, измѣнить ей! И я ее увижу! О!.. когда бы миѣ не умереть только до того часа! — Вся грудь его была проникнута самымъ пронзительнымъ остріемъ радости. Онъ со всёмъ пыломъ поспёшности бросился по угламъ шатра своего, началъ вытаскивать все, что только могъ найти съъстного, и скоро два небольшіе мѣшка были нагружены пшеномъ и сухарями. Онъ далъ ихъ въ руки татаркъ, закуталъ ее плащомъ и приказалъ сказать паннъ, что онъ скоро будетъ самъ. Онъ велълъ татаркъ, отнесши припасы, ожидать его прихода. Онъ теперь думаль только, какъ бы безопаснъе провести ее до мъста, гдъ былъ скрытъ подземный ходъ. Этотъ ходъ былъ подъ самымъ возомъ, наполненнымъ военными снарядами. Къ счастію его, запорожцы, по обыкновенной своей безпечности, вст спали мертвецки. Тихо шель онъ съ нею рука объ руку и, желая обойти спящихъ, толкнулъ ее нечаянно ловтемъ: кобенявъ слетълъ, и зарево яркимъ блескомъ освътило ея бъдое платье... Спаситель, она открыта! Все пропало!.. Онъ со страхомъ и мертвою, убитою душою повель глазами вокругь. Боже, какое счастіе! даже зоркій сторожь, стоявшій на самомь опасномь пость, спаль, склонившись на ружье. Татарка, закутавшись крѣпче въ кобенякъ, полѣзла подъ телѣгу; небольшой четвероугольникъ дерну приподнялся — и она ушла въ землю.

Торопливо онъ воротился къ своему мъсту, желая обсмотръть хорошенько, всъ ли спятъ и все ли спокойно.

— Андрій! — сказалъ въ это время, поднявши голову, старый Бульба: — кавая это къ тебѣ татарка приходила?

Если бы вто-нибудь въ то время посмотрълъ на Андрія, то бы почелъ его за мертвеца, вставшаго изъ могилы.

— Эй, смотри, сынъ! ей-Богу, отдѣлаю тебя батогомъ такъ, что до преставленія свѣта будетъ болѣть спина! Бабы не доведутъ тебя до добра.

Сказавши это, Бульба или былъ утружденъ заботами, или занятъ какимъ-нибудь важнымъ планомъ, вовсе не полагая, чтобы эта татарка была изъ города, а признавъ ее за какую-нибудь бѣглянку изъ села, съ которою сынъ его свелъ интригу, — какъ бы то ни было, только онъ поворотился на другую сторону и заснулъ.

Андрій отдохнуль. Съ трепещущимъ сердцемъ бросился онъ къ обозамъ, общарилъ, гдѣ только было съѣстное, нагрузилъ мѣшки и неизмѣримыя шаровары свои, и, во все продолжение этого, сердце его млѣло, духъ занимался и, казалось, улеталъ при одной мысли о той радости, которая ждала его впереди. Еще разъ обсмотрѣлся онъ вокругъ, не чувствуя ни сердца, ни земли, ни себя, ин міра, и поползъ подъ телѣгу. Небольшое отверстіе вдругъ открылось передъ нимъ и снова за нимъ захлопнулось.

Онъ вдругъ очутился въ совершенной темнотѣ. Онъ чувствовалъ подъ ногами своими ступени, идущія внизъ: кто-то схватилъ его за руку. Они шли долго; наконецъ, ступени прекратились, подъ нимъ была гладкая земля. Свѣтъ фонаря блеснулъ въ подземномъ мракѣ.

— Теперь идите прямо, — говорилъ ему голосъ: это была татарка.

Коридоръ шелъ подъ городской стѣною и оканчивался такою же лѣстницею вверхъ. Наконецъ, онъ очутился среди города, когда уже занялась заря, и перепархивалъ утренній вѣтеръ. Ни одна труба не дымилась. Мертвый видъ города прерывался слабыми болѣзненными стонами, которые не могли не поразить его. На стражъ стояли часовые, блѣдные, какъ смерть; это были больше привидѣнія, нежели люди. Среди самой дороги попался имъ самый ужасный, поразительный предметъ: это была женщина, страшная жертва голода, лежавшая при послѣднемъ издыханіи, стиснувшая зубами изсохшую

свою руку. Содрогнувшись, спѣшиль онъ вслѣдъ за татаркою; онъ летѣлъ всѣми чувствами видѣть ту, за счастіе которой онъ готовъ быль отдать всю жизнь. Онъ взбѣжаль на крыльцо; онъ взошель въ комнату. Вездѣ была тишина: все или спало, утомленное страданіемъ, или безмолвно мучилось. Онъ вступиль на порогъ спальни. О, какъ замерло его сердце! Какъ замлѣлъ онъ весь, когда оно ему сказало, что черезъ секунду, чрезъ молнію мига, онъ ее увидить!

И онъ ее увидълъ, увидълъ ту, которая когда-то была беззаботна, весела, вътрена, шаловлива, которая когда-то надъвала на него серьги и убирала его своими прекрасными, легкими, какъ крылья мотыльковъ, убранствами. Онъ опять увидълъ ее. Она сидъла на диванъ, подвернувши подъ себя обворожительную, стройную ножку. Она была томна; она была блёдна, но бълизна ея была пронзительна, какъ сверкающая одежда серафима. Гебеновыя брови, тонкія, прекрасныя, придавали что-то стремительное ся лицу, обдающему священнымъ трепетомъ сладкой боязни въ первый разъ взглянувшаго на нее. Ръсницы ея, длинныя, какъ мечтанія, были опущены и темными тонкими иглами виднёлись рёзко на ея небесномъ лицё. Что это было за созданіе! И это созданіе, которое, казалось, для чуда было рождено среди міра, къ ногамъ котораго повергнуть весь міръ, всѣ сокровища казалось малою жертвою, это небесное создание терпъло голодъ, и все, что есть горькаго для жителей земли. Заплъсневълая корка хлъба, лежавшая на золотомъ блюдъ, какъ драгоцѣнность, показывала, что еще недавно здѣсь было чувствуемо все свиръпство голода. Услышавши шумъ, она приподняла свою голову и обратила въ нему взглядъ долгій, сокрушительный. Онъ опять, казалось, исчезнулъ и потерялся. Лицо ея съ перваго раза ему показалось какъ будто другимъ: въ немъ были прежнія черты, но въ немъ же заключалась бездна новыхъ, прекрасныхъ, какъ небеса. Этотъ признакъ безмолвнаго страданія, этотъ болъзненный видъ... о, какъ она была лучше прежняго! Онъ бросился къ ногамъ ея, приникъ и глядълъ въ ея могучія очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ея устахъ, и въ то же время слеза, какъ брилліанть, повисла на ея ръсницъ.

- Царица! -- сказалъ онъ: -- что для тебя сдълать? чего ты хочешь?

Она смотръла на него пристально и положила на плечо его свою чудесную руку. Съ пожирающимъ пламенемъ страсти покрылъ онъ ее поцълуями.

— Нѣтъ, я не пойду отъ тебя! Я умру возлѣ тебя! Пусть же у ногъ твоихъ, пожираемый голодомъ, я умру, какъ и ты, моя панна! И за смерть, за сладкую смерть у твоихъ ногъ, ничего не хочу!

— А твои товарищи, а твой отецъ? Ты долженъ идти къ нимъ, — говорила она тихо. Уста ея еще долго шевелились безъ словъ, и глаза ея, полные слезъ, не сводились съ него.

— Что ты говоришь! — произнесъ Андрій со всею силою и крѣпостью воли. — Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросиль для тебя только то, что легко бросить! Нѣтъ, моя панна! нѣтъ, моя прекрасная! Я не такъ люблю: отца, брата, мать, отчизну, — все, что ни есть на землѣ, все отдаю за тебя, все! Прощай! Я теперь вашъ! я твой! Чего еще хочешь?

Она склонилась въ нему головою. Онъ почувствовалъ, кавъ электрически-пламенная щека ся коснулась его щеки, и лобзаніе, — у, какое лобзаніе! — слило уста ихъ, привипъвшія другъ въ другу. — Пане! — сказалъ жидъ Янкель, высунувъ свой яломокъ въ шатеръ, гдъ сидълъ Бульба. Это былъ тотъ самый Янкель, котораго онъ избавилъ отъ смерти, и который теперь маркитантствовалъ и шпіонничалъ при вапорожскомъ войскъ. — Пане, знаете ли, что дълается?

— А что?

— Идеть пятнадцать тысячь войска польскаго и пушки везуть.

— Били двадцатерыхъ, побьемъ и пятнадцать! — отвѣчалъ Бульба.

— А знаете ли, еще что дълается?

— А чтд?

— Вашъ сынъ Андрій, ой, вей миръ, что это за славный рыцарь!.. — Ну?

- Онъ теперь держитъ сторону Польши.

— Какъ? — подхватилъ Бульба, вскочивши: — чтобы дитя мое... чтобы мой сынъ... Ца я тебя убью, проклятый жидъ! Врешь ты, чортово племя!

— Ай, ай, какъ можно, чтобы я вралъ! Пусть отцу моему не будетъ счастья на томъ свътъ, если я вру!

— Какъ! чтобы сынъ Тараса Бульбы да посягнулъ на такое дъло!

Далибугъ, ей же Богу, такъ!

— Чтобы онъ продаль Христову въру и отчизну!

— Далибугъ, такъ. Я его видълъ самъ собственными глазами. Фай, какой важный рыцарь! Сто восемьдесятъ червонныхъ стоятъ однъ латы... богатыя латы: всъ въ золотъ. А если бы вы увидъли, какъ онъ славно муштруетъ солдатами!

Тарасъ Бульба былъ пораженъ, какъ громомъ.

— Ты путаешь, проклятый Іуда! Не можно, чтобы крещеное дитя продало въру. Если бы онъ былъ турокъ или нечистый жидъ... Нътъ, не можетъ онъ такъ сдълать! ей-Богу, не можетъ!

Но, однакоже, онъ вспомнилъ, что уже два дни, какъ его не видалъ; онъ вспомнилъ про татарку, появившуюся въ его ставкъ, и глаза его сверкнули. Ярость, ярость желъзная, могучая ярость тигра вспыхнула на его лицъ.

— Вишь, чортова дътина, ты таки свое взяла! Породилъ же тебя чортъ, на позоръ всему роду.

Съ лицомъ, разгорѣвшимся отъ гнѣва, онъ вышелъ изъ ставки и далъ приказъ съдлать коней.

Между тѣмъ кошевой раздавалъ повелѣнія отъ себя быть всѣмъ въ готовности и не позволять никакимъ образомъ осажденнымъ соединиться съ приближавшимися польскими войсками. Непріятельскихъ войскъ было, однакоже, болѣе нежели пятнадцать тысячъ. Кошевой вмѣстѣ съ совѣтомъ старшинъ рѣшили на томъ, чтобы усилить болѣе ту линію, которая обращена къ непріятелю. Черезъ это цѣпь съ противоположной стороны города ослабѣла, и хотя польскія войска были стбиты съ перваго раза, и притомъ съ большимъ урономъ, но отрядъ, остававшійся въ городѣ, рѣшился воспользоваться малочисленностью прикрытія, и, дѣйствительно, сдѣлавши вылазку, прорвался черезъ цѣпь и успѣлъ соединиться почти въ виду запорожцевъ. Бульба рвалъ на себѣ волоса съ досады, что уже невозможно было уморить ихъ всѣхъ голодомъ. Запорожцы сдвинулись въ густую непроломную стѣну: маневръ, всегда доставлявшій имъ существенную выгоду, потому что тактика ихъ соединяла азіатскую стремительность съ европейскою крѣностью. Непріятель,

Digitized by Google

несмотря на то, что былъ вдвое сильнѣе, не былъ въ силахъ удержать превосходства. Битва завязалась самая жаркая и кровопролитная. Тарасъ Бульба занималъ одно изъ главныхъ начальствъ, и три коронные полка, не въ состянии будучи удержать его стремительной атаки, готовы были отступить и предаться бѣгству, какъ вдругъ онъ обратилъ всѣ силы свои совершенно въ другую сторону.

Онъ завидъль въ сторонъ отрядъ, стоявшій, повидимому, въ засадъ. Онъ узналъ среди его сына своего Андрія. Онъ отдалъ кое-какія наставленія Остапу, какъ продолжать дъло, а самъ съ небольшимъ числомъ бросился, какъ бъшеный, на этотъ отрядъ. Андрій узналъ его издали, и видно было издали, какъ онъ весь затрепеталъ. Онъ, какъ подлый трусъ, спрятался за ряды своихъ солдатъ и командовалъ оттуда своимъ войскомъ. Силы Тараса были немногочисленны: съ нимъ было только восемнадцать человъкъ; но онъ ринулся съ такимъ свирвиствомъ, съ такимъ сверхъестественнымъ стремленіемъ, что ряны уступали со страхомъ перелъ этимъ разгиъваннымъ вепремъ. Врядъ ли тогда его можно было съ чъмъ-нибудь сравнить. Шапки давно не было на его головѣ: волосы его развѣвались, какъ пламя, и чубъ, какъ змѣя, раскидывался по воздуху; бѣшеный конь его грызъ и кусалъ коней непріятельскихъ, дорогой акшаметь былъ на немъ разорванъ; онъ ужъ бросилъ и саблю, и ружье, и размахивалъ только одной ужасной, непомърной тяжести, будавой, усбянной мёдными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидъть олицетворенное свиръпство, чтобы извинить трусость Андрія, чувствовавшаго свою душу не совствиь чистою. Блъдный, онъ видблъ, какъ гибли и разсбивались его поляки; онъ видблъ, какъ послъдніе, окружавшие его, уже готовы были бъжать; онъ видъль, какъ уже нъкоторые, поворотивши коней своихъ, бросали ружья.

— Спасите! — кричалъ онъ, отчаянно простирая руки: — куда бѣжите вы? Глядите: онъ одинъ!

Опомнившіеся воины на минуту остановились и въ самомъ дѣлѣ ободрились, увидѣвши, что ихъ гонитъ только одинъ съ тремя утомленными козаками. Но напрасно силились бы они устоять противъ такой отчаянной воли.

— Нътъ, ты не уйдешь отъ меня! — кричалъ Тарасъ, настигая бъгущихъ, начинавшихъ думать, что они имъютъ дъло съ самимъ дьяволомъ.

Отчаянный Андрій сдѣлалъ усиліе бѣжать, но поздно: ужасный отецъ уже былъ передъ нимъ. Безнадежно онъ остановился на одномъ мѣстѣ. Тарасъ оглянулся: уже никого не было позади его, всѣ сотоварищи его полегли въ разныхъ мѣстахъ поля. Ихъ только было двое.

— Что, сынку? — сказаль Бульба, глянувши ему въ очи.

Андрій быль безотвѣтень.

— Что, сынку? — повторилъ Тарасъ: — помогли тебъ твои ляхи?

Андрій не произнесь ни слова; онъ стояль, какъ осужденный.

— Такъ продать, продать въру? Провлять тотъ и часъ, въ который ты родился на свътъ!

Сказавши это, онъ глянулъ съ какимъ - то изступленно - сверкающимъ взглядомъ по сторонамъ.

— Ты думалъ, что я отдамъ кому-нибудь дитя свое? Нътъ! Я тебя породилъ, я тебя и убью! Стой и не шевелись, и не проси у Господа Бога отпущения: за такое дъло не прощаютъ на томъ свътъ!

Андрій, блъдный какъ полотно, прошепталъ губами одно только имя; но это не было имя родины, или отца, или матери: это было имя прекрасной полячки.

Н. В. Гоголь. Томъ III.

Тарасъ отступилъ на нѣсколько шаговъ, снялъ съ плеча ружье, прицѣлился... выстрѣлъ грянулъ...

Бакъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное желѣзо, повисъ онъ головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и думаль; предать ли тѣло измѣнника на расхищеніе и поруганіе, чтобы хищныя птицы растрепали его и сыромахи-волки расшарпали и разнесли его желтыя кости, или честно погребсти въ землѣ?

Въ это время подътхалъ Остапъ.

— Батько! — сказаль онь.

Тарасъ не слышалъ.

— Батько, это ты убиль его?

— Я, сынку!

Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрекъ. Онъ бросился обнимать своего товарища и спутника, съ которымъ двадцать лътъ они росли вмъстъ, жили пополамъ.

— Полно, сынку, довольно! Понесемъ мертвое тѣло, похоронимъ! — сказалъ Тарасъ, который въ то время сжалъ въ груди своей подступавшее ѣдкое чувство.

Они взяли тѣло и понесли на плечахъ въ обгорѣлый лѣсъ, стоявшій въ тылу запорожскихъ войскъ, и вырыли саблями и копьями яму.

Тарасъ оставилъ копье и взглянулъ на трупъ сына. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непообдимаго для женъ очарованія, еще сохраняло въ себѣ слѣды ихъ; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттѣняли его поблѣднѣвшія черты.

— Чѣмъ бы не козакъ былъ, — сказалъ Тарасъ: — и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою — пропалъ! пропалъ безъ славы!..

Трупъ опустили, засыпали землею, и черезъ минуту уже Тарасъ размахивалъ саблею въ рядахъ непріятельскихъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Разница была въ томъ только, что онъ теперь бился съ большимъ изступленіемъ, сгорая желаніемъ отомстить смерть сына. Прибывшій въ то время его собственный полкъ, подъ начальствомъ Товкача, доставилъ ему значительный перевъсъ. Онъ, наконецъ, узналъ, кто былъ виною отступничества его сына, и положилъ, во что бы ни стало, взять городъ. И онъ бы исполнилъ это: свирѣпый, онъ бы протекъ, какъ смерть, по его улицамъ; онъ бы вытащилъ изъ замка ее своею желѣзною рукою, ее, обворожительную, нѣжную, блистающую; свирѣпо повлекъ бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы, и его кривая сабля сверкнула бы у ея голубинаго горла... Но одно непредвидѣнное происшествіе остановило его на пути непримиримой мести.

ŶΙ.

Въ запорожское войско пришло извъстіе, что Съча взята, разорена татарами и большая часть остававшихся запорожцевъ забрана въ плънъ, вмъстъ съ нъсколькими пушками. Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно козаки старались, не теряя времени, настигнуть хищниковъ на возвратной ихъ дорогъ и перехватить добычу, потому что, тремя недълями позже, уже этого сдълать было невозможно, и плънные козаки могли вдругъ очутиться на рынкахъ Великой Азіи. Кошевой положилъ, и мнъніе его подкръпили прочіе чины, идти на помощь немедленно, разсуждая, что уже довольно они отомстили за

измъну полякамъ и смерть гетмановъ, и что опустошенныя поля будутъ помнить, какъ гостили на нихъ запорожцы.

На это изъявияъ согласіе и Бульба, хотя ему чрезвычайно хотълось взять городъ. Уже онъ отправился, чтобы отдать приказъ выючить коней и мазать телѣги, какъ вдругъ остановился и сказалъ:

— Я хотълъ спросить еще объ одномъ у тебя, атаманъ. Въдь, кажется, въ непріятельскомъ войскъ есть нашихъ человъкъ тридцать въ плъну?

— Я посылаль просить размёна, — не соглашаются.

— Такъ мы, стало-быть, ихъ и оставимъ такъ?

— Что жъ дълать?

— Какъ! чтобы они опять замучили ихъ?

— А что жъ дёлать? — отвёчаль кошевой: — вёдь помочь нельзя; мы, хоть и останемся, то не одолёемъ, а между тёмъ и свое прогуляемъ: татарва не станеть ожидать насъ.

— Такъ, стало-быть, пусть еретичное поганство, какъ хочеть, такъ и ругается надъ христіанскою кровью?

Кошевой пожаль плечами.

— А мнѣ кажется, атаманъ, такъ не бывать этому.

- А отчего жъ бы не бывать?

— Да такъ: я уже знаю.

— Ова, какъ важно! — сказалъ кошевой, прижавши пальцемъ золу въ своей дюлькъ.

— Слышали ли вы, панове, что кошевой хочеть сдѣлать? — сказаль Бульба, выходя отъ кошевого и обращаясь къ запорожцамъ. — Онъ хочеть, чтобы мы теперь же отправились на Сѣчу, а товарищей, тѣхъ, что попались въ плѣнъ цепріятелю, такъ бы и оставили, чтобы ихъ замучило поганое еретичество. Что вы скажете на это?

— Не послушаемъ мы кошевого! — сказала въ одинъ голосъ часть запорожцевъ, отдѣлилась и стала на сторонѣ.

Ихъ было около тысячи человъкъ.

Кошевой вышелъ. Онъ уже слышалъ волненіе, которое произвелъ неугомонный Бульба.

— Чего вы хотите? Изъ чего подняли вы такой гвалть? — закричаль онъ грозно.

— Мы не хотимъ идти на Сѣчу! Мы остаемся здѣсь! — кричала толпа.

— Что вы? сдурѣли? Я васъ, чортовы дѣти, перевяжу всѣхъ!

— Какую онъ можетъ имъть власть? — сказалъ Тарасъ, обращаясь къ запорожцамъ: — мы — вольные козаки!

— А что жъ? мы вольные козаки! — говорили запорожцы.

— Дамъ я вамъ вольныхъ! Вы гдѣ вольные? — на Сѣчѣ; вотъ тамъ вы вольные! Тамъ вы можете снятъ съ меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите; а тутъ вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право?.. А ты что тутъ заводишь бунтъ? — сказалъ онъ, обращаясь къ Бульбѣ.

--- Нѣтъ, я не бунтъ чиню, а исполняю долгъ христіанскій! --- хладнокровно отвѣчалъ Тарасъ. --- Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христіанскую кровь.

- Я тебя, старый чорть, присмыкну въ обозу.

— А ну, попробуй!

— Слушайте, пане-братцы! — сказалъ вошевой, нѣсколько смягчивши рѣчь. — За что же вы оставляете тѣхъ своихъ товарищей, которыхъ на Сѣчѣ забрала татарва въ полонъ? Или вы думаете, что татары поступятъ лучше, чѣмъ ляхи?

— То татарва, а то ляхи — другое дѣло, — отвѣчалъ Бульба. — Еще у бусурмена есть совѣсть и страхъ Божій, а у католичества и не было, и не будеть. Постойте, хлопцы, и я скажу: что, если бы вы попались въ плѣнъ, да начали бы съ васъ живыхъ драть кожу или жарить въ мѣдномъ быкѣ, что бы вы тогда сказали? А изъ вашихъ земляковъ, изъ товарищей, изъ тѣхъ, что должны до послѣдней крови защищать, изъ тѣхъ товарищей ни одинъ бы не захотѣлъ подать руку помощи, — что бы вы тогда сказали?

— А что бы сказали? — произнесли нѣкоторые: — сказали бы: вы помои, а не запорожцы!

Замътно было, что слова Тараса сильно потрясли ихъ.

— Стойте, хлопьята, и я скажу! — кричаль атамань. — Ну, скажите, панове-браты, куда вашь умь дълся? Посудите сами, гдъ вамь управиться съ такимъ непріятелемъ? Ихъ больше десяти тысячъ, а васъ, можеть-быть, двъ. Въдь пропадете всъ на мъстъ!

— Пропадать, такъ пропадать ! — сказалъ Бульба.

— Оставайтеся же туть, если уже такъ захотъли своей погибели! А ть, которые разумнъе васъ, гайда, въ дорогу!

— Вы дълайте свое, а мы будемъ дълать свое! — сказалъ Бульба.

Объ стороны неподвижно стали одна противъ другой и минуту сохраняли мертвое молчаніе.

Наконець, стоявшіе въ первыхъ рядахъ посъдъвшіе запорожцы, утупивъ глаза въ землю, начали говорить:

— Оно, конечно, если разсудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаемъ по лыцарскому обычаю. На то и живеть человѣкъ, чтобы защищать вѣру и обычай. Притомъ жизнь такое дѣло, что если о ней сожалѣть, то уже не знаешь, объ чемъ не жалѣть. Скоро будемъ жалѣть, что бросили женъ своихъ. Нужно же попробовать, что такое смерть. Вѣдь попробовали же всякой невзгоды въ жизни. Въ томъ и другомъ случаѣ мы не должны питать другъ противъ друга никакой непріязни. Мы всѣ запорожцы, всѣ изъ одного гнѣзда, всѣхъ насъ вспоила Сѣчь, всѣ мы братья родные... Спрашиваемъ каждаго: не имѣеть ли противъ насъ какого неудовольствія?

— Никакого! всегда были довольны! — закричали всѣ въ одинъ голосъ.

— Ну, такъ пусть же на разставаньи... что будетъ впредь, то Богъ одинъ знаетъ; можетъ-быть, ни одинъ изъ насъ уже не увидитъ дружка дружку, такъ поцѣлуемся всѣ.

И двъ тысячи войска перецъловались съ двумя тысячами. Кошевой обнялъ Тараса.

— Ну, прощайте же, пане-браты, молодцы! Дай же, Боже, чтобы все было такъ, какъ Богу угодно! Если мы положимъ головы, то вы разскажите про насъ, что такіе-то гуляки не даромъ жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы повѣдаемъ, чтобы знала вся Украйна, да и другія земли, что были такіе молодцы, которые и въру Христову знали оборонять, да и товарищество уважали. Прощайте! Пусть благословеніе Божіе будетъ и съ вами, и съ нами!

Обѣ половины войска соединились вмѣстѣ, чтобы не дать узнать непріятелю о своемъ раздѣленіи, и отступили къ обгорѣлому монастырю, у подошвы котораго былъ глубокій яръ. Удалявшаяся половина съ кошевымъ атаманомъ опустилась по скату горы и яромъ, невидимая непріятелемъ, пробиралась въ тишинѣ и молчаніи.

Стоявшій на высоть отрядь польскаго войска не могь не замѣтить нѣкотораго движенія въ войскахъ запорожскихъ и уже рѣшился было въ тоть же часъ сдѣлать нападеніе, но французскій артиллеристь и инженеръ, служившій въ польскихъ войскахъ, большой знатокъ военнаго дѣла, остановилъ ихъ, сказавши:

— Нѣтъ, нѣтъ, господа! Это не то, что вы думаете: это больше ничего, какъ самая дьявольская засада. О, этотъ народъ, запороги! — сказалъ онъ, положивши палецъ на свой ястребиный носъ, при чемъ голосъ его, дотолѣ хриплый, пискнулъ дискантомъ: — этотъ народъ, запороги, хитеръ, какъ самъ чортъ, или какъ капитанъ-дьяволъ!

- Ну, панове молодцы! — сказалъ Бульба по удаленіи войска, — теперь пришла намъ пора показать честь запорожскую. Глядите же: если придется до того, что уже не можно будетъ стоять противъ бусурменовъ, то, панове, чтобы всъ полегли на мъстъ, чтобы ни одинъ не остался вживъ, чтобы всъ, какъ добрые товарищи, покотомъ улеглись въ одной могилъ. Теперь, передъ великимъ часомъ, выпьемъ, пане - браты, горълки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой долженъ веселиться всякій человѣкъ.

Пятьдесять козаковь отправились къ обозамъ и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпіевъ. Двъ тысячи козаковъ подставили свои рукавицы.

— Прежде всего, пане - браты, — сказалъ Бульба, поднявши вверхъ свою рукавицу: — долгъ велитъ выпитъ за въру Христову! Чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свъту разошлась она, и всъ бусурмены подѣлались бы, наконецъ, христіанами! Да за однимъ уже разомъ и за Съчь, чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурменству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы одннъ другого лучше, одинъ другого лучше. Да уже вмъстъ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тъхъ внуковъ, что были когда-то такie, что не постыдили товарищества и не выдали своихъ! Итакъ, панове-браты, чтобы такъ же весело, какъ эта горълка играетъ и шибаетъ пузырями, такъ бы и мы шли на смерть. Ну-те, всъ разомъ за въру!

— За вѣру! — повторили громко ближніе ряды, поднявши вверхъ рукавицы.

— За вѣру! — подхватили дальніе.

— За Сѣчь! — сказалъ Бульба, поднявъ снова рукавицу.

— За Сѣчь! — грянули ближніе.

— За Сѣчь! — отозвалось въ дальнихъ.

— За славу и за всѣхъ христіанъ, какіе живуть на Божьемъ свѣтѣ!

— За славу и христіанъ! — повторили ближніе.

— За славу и христіанъ! — повторили дальніе.

— Теперь на коней, хлопьята!

Всѣ очутились на коняхъ и выъхали вмъстъ стройною кучею. Всъ дышали силою, свыше естественной. Это не былъ дикій энтузіазмъ, порожденный отчаяніемъ: это было что-то совершенно другое. Какое-то вдохновеніе веселости, какой-то трепеть величія ощущался въ сердцахъ этой гульливой и

храброй толиы. Ихъ черные и съдые усы величаво опускались внизъ; ихъ лица были исполнены увъренности. Каждое движеніе ихъ было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на непріятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но какъ булто веселясь и играя своимъ положениемъ. Полъ свисть пуль выступали они, какъ подъ свадебную музыку. Безъ всякаго теоретическаго понятія о регулярности, они шли съ изумительною регулярностію, какъ будто бы происходившею отъ того, что сердца ихъ и страсти били въ одниъ тактъ единствомъ всеобщей мысли. Ни одинъ не отдълялся; нигдъ не разрывалась эта масса. Польскія войска, которыя было приняли ихъ стремительнымъ упорствомъ, начали отступать, пораженныя робостію и думая, не сверхъестественная ли какая сила начала помогать козакамъ. Лучшія распоряженія арміи были совершенно уничтожены этою разрушительною силою. Вся эта конная толпа неслась какъ-то вдохновенно, не измъняясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина, и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ес. Французский инженерь, который быль истинный въ душѣ артистъ, бросилъ фитиль, которымъ готовился зажигать пушки, и, позабывшись, биль въ ладони, крича громко:

— Браво, месье запороги!

Около двухъ тысячъ человъкъ непріятеля было убито и столько же разсыпалось и обратилось въ бъгство. Свъжее новоприбывшее войско остановилось какъ бы въ недоумъніи. Запорожцы, съ своей стороны, не ръшались идти далъе. Въ виду самого непріятеля, взяли они оставленныя пушки, часть обоза съ провіантомъ и отступили такъ же страшно, въ такомъ же точно порядкъ, къ обгоръвшему монастырю, котораго положеніе чрезвычайно благопріятствовало укрытію. Бульба пировалъ вмъстъ съ запорожцами послъ такой славной битвы; но, когда обсмотрълъ и перечелъ ряды свои, ихъ оставалось всего только не больше тысячи. Между тъмъ, новыя войска приходили безпрестанно на помощь, и если что спасло его отъ непріятельскаго нападенія, такъ это глубокая догадка французскаго инженера, заставлявшаго опасаться скрытаго множества запорожцевъ.

Между тёмъ, Бульба узналъ, что запорожскіе плённики отправлены съ конвоемъ по варшавской дорогъ. Въ головъ его тотчасъ родилась мысль перехватить ихъ. Объявивши объ этомъ войску, онъ началъ тайно готовиться къ отступленію. Цёлый день козаки мазали дегтемъ свои телъги, чтобы не скрыптан; большую половину нушекъ закопали въ землю, чтобъ онъ не могли достаться непріятелю, и продолжали безпрестанную перестрълку изъ мушкетовъ. Часть запорожцевъ скинула съ себя верхнюю одежду; изъ нея подълали чучелъ и разставили на стънахъ монастырскихъ, вездъ, гдъ была стража. За монастыремъ они нашли дорогу, о которой, по встмъ втроятностямъ, ничего не знали непріятели. Она продиралась между двумя рытвинами и была совершенно завалена изрубленнымъ лъсомъ и пепломъ. Пользуясь глубокимъ мракомъ ночи, они тронулись, потянулись гужомъ со всёмъ обозомъ, продирались около пяти версть и, наконецъ, пробрались на чистое поле, гдъ совершенно уже не было видно непріятеля. Запорожцы пріударили коней и понеслись. Еще полчаса времени — и они бы, върно, встрътили своихъ закованныхъ земляковъ, они бы имъли еще достаточное время броситься на проселочную дорогу и, благодаря быстроть татарскихъ коней, можетъ-быть, Съчь увидъла бы вновь своихъ главныхъ защитниковъ.

Но, какъ нарочно, польскія войска вздумали сдѣлать нападеніе на монастырь. Дальновидный инженеръ искусно зажегъ лѣсъ, къ нему примыкавшій, увѣряя, что всѣ будутъ имѣтъ славное жаркое изъ козачьей дичи. Но

глубокая тишина изумила ихъ. Изумленіе еще болѣе увеличилось, когда они увидѣли, вмѣсто замѣченныхъ ими издали запорожцевъ, одни чучела. По всѣмъ признакамъ они видѣли, что запорожцевъ было небольшое число. Это увеличило ихъ досаду, и начальствовавшій войсками, человѣкъ запальчивый, въ ту же минуту отдалъ приказъ устремиться на преслѣдованіе.

Если бы Бульба не выбрался такъ громоздко, то онъ могъ бы быть до сихъ поръ гораздо далёе и тёмъ, можетъ-быть, ускользнуть отъ преслёдованія. Но онъ пожалёлъ оставить нёсколько пушекъ, а чрезъ нёсколько минутъ увидёлъ подымавшуюся пыль отъ многочисленнаго съ двухъ сторонъ шедшаго войска.

— Вишь, чорть побери! ляхи пронюхали, — сказаль онъ, выпустивъ изо рта люльку, которую уже началь было курить съ величайшимъ спокойствіемъ.

Видя невозможность дальнѣйшаго отступленія отъ такого множества, онъ, съ обыкновеннымъ своимъ хладнокровіемъ, далъ повелѣніе сдвинуть обозъ въ кучу и окружить его нѣсколькими рядами запорожцевъ. Этотъ маневръ считался совершенствомъ козацкой тактики и возбуждалъ всегда удивленіе даже въ самыхъ глубокихъ теоретикахъ тогдашняго военнаго искусства. Его цѣль состояла въ томъ, чтобы скрыть тылъ. Тутъ козаки никогда не были побѣждаемы: окружая обозъ непроломною стѣною, они со всѣхъ сторонъ были обращены лицомъ къ непріятелю. Пушки доставили имъ большую выгоду, не допуская ихъ къ близкой схваткѣ и не утомляя черезъ это ихъ рядовъ, тѣмъ болѣе, что непріятель, желая скорѣе настигнуть, отправился налегкѣ. Войска польскія, всегда отличавшіяся нетерпѣливостію, уже готовы были бросить, если бы одна оплошность со стороны запорожцевъ не облегчила ихъ.

Въ это время Остапъ, выстрълявшій на своей сторонъ всъ пушечные заряды, увлекаемый пылкостью и негодуя на бездейственное положение, отделился немного подалье отъ обоза, вступилъ въ мелкую перестрълку, а потомъ и въ рукопашную битву. Его свирбпое мужество разсбяло часть рядовъ непріятельскихъ, но скоро онъ быль схваченъ стиснувшимъ его множествоиъ, и старый Тарасъ видълъ собственными глазами, какъ онъ поднятъ нъсколькими руками, связанъ толстыми веревками и уведенъ въ толпу. Желаніе подать помощь и освободить любимаго сына заставило его позабыть важность своего поста. Онъ отдълился витстъ съ большею частью запорожцевь оть обоза и удариль въ средину непріятеля, гдѣ полагаль находившимся Остапа. Запорожцы совершенно затерялись въ толпъ, раздъленные толпою. Каждый должень быль действовать отдёльно, и нужно было видёть, какъ каждый изъ нихъ ворочался, какъ молнія, на всъ стороны, дъйствуя и саблею, и ружейнымъ прикладомъ, и нагайкою, и кіемъ. Каждый видълъ передъ собою смерть и старался только подороже продать свою жизнь. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосъ. Свиръпо наносилъ онъ свои връпкіе удары, воспламеняясь болье и болье отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, переносили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся, лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ: всъ полегли на мъстъ. И ни одинъ живой трофей не былъ свидътелемъ побъды, одержанной польскими войсками.

— Долго же я спалъ! — говорилъ Бульба, осматривая углы избенки, въ которой онъ лежалъ, весь израненый и избитый. — Спалъ ли я это, или наяву видъль?

— Да, чуть было ты навѣки не заснуль! — отвѣчалъ сидѣвшій возлѣ него Товкачъ, лицо котораго одну минуту только блеснуло живостію и опять погрузилось въ обыкновенное свое хладнокровіе.

— Добрая была съча! Какъ же это я спасся? Въдь, кажется, я совсъмъ былъ подъ сабельными ударами, и что было далъе, я уже ничего не помню...

— Объ томъ нечего толковать, какъ спасся; хорошо, что спасся.

Товкачъ былъ одинъ изъ тъхъ людей, которые дълаютъ дъла молча и никогда не говорятъ о нихъ.

На блъдномъ и перевязанномъ лицъ Бульбы видно было усиліе припомнить обстоятельства.

— А что же сынъ мой?.. Что Остапъ? И онъ дегъ также вмѣстѣ съ другими и заслужилъ честную могилу?

Товкачъ молчалъ.

— Что жъ ты не говоришь? Постой! помню, помню: я видълъ, какъ скрутили назадъ ему руки и взяли въ полонъ нечестивые католики... И я не высвободилъ тебя, сынъ мой, Остапъ мой! Измѣнила, наконецъ, сила!

Морщины сжались на лбу его, и раздумье крѣпко осѣнило лицо, покрытое рубцами.

— Молчи, панъ Тарасъ. Чему быть, тому быть. Молчи да кръпись: еще намъ больше ста версть нужно проъхать.

— Зачѣмъ?

— Затъ́мъ, что тебя теперь ищетъ всякая дрянь. Знаешь ли ты, что за твою голову, если кто принесетъ ее, тому дадутъ 2.000 червонцевъ?

Но Тарасъ не слышаль ръчей Товкача.

— Сынъ мой, Остапъ мой! — говорилъ онъ: — я не высвободилъ тебя! И приливъ тоски повергнулъ его въ безпамятство. Товкачъ оставался цѣлый день въ избѣ; но съ наступленіемъ ночи онъ увезъ безчувственнаго Тараса. Увернувъ его въ воловую кожу, уложилъ въ ящикъ, наподобіе койки, укрѣпилъ поперекъ сѣдла и пустился во всю прыть на татарскомъ бѣгунѣ. Пустынные овраги и непроходимыя мѣста видѣли его летѣвшаго съ тяжелою своею ношею. Товкачъ боялся встрѣчъ и преслѣдованій, и хотя уже онъ былъ на степи, которой хозяевами болѣе другихъ могли считаться запорожцы, но тогдашнія границы были такъ неопредѣленны, что каждый могъ прогуляться на нехранимой землѣ, какъ на своей собственности. Онъ не хотѣлъ везти Тараса въ его хуторъ, почитая тамъ его менѣе въ безопасности, нежели на Запорожъѣ, куда онъ теперь держалъ путь свой. Притомъ онъ былъ увѣренъ, что встрѣча съ прежними товарищами, пирушки и новыя битвы оживятъ его скорѣе и развлекутъ его.

Онъ, дъйствительно, не обманулся. Желъзная сила Тараса взяла верхъ, несмотря на то, что ему было шестьдесятъ лътъ; черезъ двъ недъли онъ уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь его. Повидимому, самыя пиршества запорожцевъ казались ему чъмъ-то ъдкимъ. Съ нимъ неразлучно было то время, которому еще и двухъ мъсяцевъ не прошло, — то время, когда онъ гулялъ со своими сыновьями, еще кръпкими, свъжими, исполненными силъ, —и на этомъ, дотолъ ничъмъ не колеблемомъ лицъ, прорывалась

раздирающая горесть, и онъ тихо, понуривъ голову, говорилъ: «Сынъ мой! Остапъ мой!»

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спушены были въ Днъпръ, и Малая Азія видъла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню пвътушіе берега ся; витъла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвътамъ, на смоченныхъ вровію поляхъ и плававшими у береговъ; она видъла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перебли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цълыя кучи навозу; персидскія дорогія шали употребляли виъсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свои свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утяме ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались витсть и весело прибыли въ устью Дивпра съ двънадцатью боченвами, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Неподвижный сидълъ онъ на берегу, шевеля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился, и слеза капала одна за другою.

Богда жидъ Янкель, — который въ то время очутился въ городѣ Умани и занимался какими-то подрядами и сношеніями съ тамошними арендаторами, когда жидъ Янкель молился, накрывшись своимъ довольно запачканнымъ саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Жиду прежде всего бросились въ глаза 2.000 червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но онъ тутъ же устыдился своей корысти и силился подавить въ себѣ эту вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

— Слушай, Янкель! — сказаль Тарась жиду, который началь передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. — Я спасъ твою жизнь, теперь ты сдѣлай мнѣ услугу!

Лицо жида нъсколько поморщилось.

--- Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?

— Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!

— Въ Варшаву? какъ, въ Варшаву? — сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

— Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву! Что бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово.

- Какъ можно такое говорить? - говориль жидъ, разставивъ пальцы объихъ рукъ своихъ: - развъ панъ не слышалъ, что уже...

— Знаю, знаю все: за мою голову дають 2.000 червонныхь. Знають же они, дурни, цёну ей! Я тебё двёнадцать дамъ. Воть тебё 2.000 сейчасъ!— (при этомъ Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана 2.000 червонныхъ)— а остальные, какъ ворочусь.

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы.

— Славная монета! — сказалъ онъ, вертя одинъ изъ нихъ въ своихъ пальцахъ и пробуя на зубахъ.

— Я бы не просилъ тебя, я бы самъ, можетъ-быть, нашелъ дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы; вы хотъ чорта проведете; вы знаете всё штуки. Вотъ для чего я пришелъ къ тебъ! Да и въ Варшавъ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!

-- А какъ же, вы думаете, мнѣ спрятать пана?

— Да ужъ вы, жиды, знаете, какъ: въ порожнюю бочку, или тамъ во что-нибудь другое.

- Какъ можно въ бочку! Всякъ подумаетъ, что горълка!

- Ну, что жъ! То и хорошо.

— Какъ хорошо? Ахъ, Боже мой! какъ можно этакое говорить! Развѣ панъ не знаеть, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробовалъ? Тамъ все такіе ласуны, что Боже упаси! А особливо военный народъ: будетъ бѣжать верстъ пять за бочкою, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотчасъ увидить, что не течетъ, и скажетъ:— «жидъ не повезетъ порожней бочки: вѣрно, тутъ есть что-нибудь».

- Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою.

— Охъ, вей миръ! не можно; ей-Богу, не можно! Тамъ вездъ по дорогъ люди голодные, какъ собаки; раскрадутъ, какъ ни береги, и пана нашупаютъ.

— Такъ вези меня хоть на чорть, только вези!

— Стойте, стойте! Теперь возять по дорогамь много кирпичу. Тамъ строять какія-то крѣпости. Панъ пусть ляжеть на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, что будеть тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана.

— Дѣлай, какъ хочешь, только вези!

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выбхалъ изъ Умани, запряженный въ двъ клячи. На одной изъ нихъ сидълъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развъвались изъ-подъ яломка, по мъръ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади.

VIII.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мъстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объъздчиковъ, этой страшной грозы предпріимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дълатъ это большею частью для своего собственнаго удовольствія, особливо, если на возу находились заманчивые для глазъ предметы, и если его собственная рука имъла порядочный въсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и въъхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота.

Бульба въ своей тѣсной клѣткѣ могъ только слышать шумъ, крики возницъ, и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ коренномъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянные домы со множествомъ протянутыхъ изъ окошекъ жердей увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во

многихъ мѣстахъ превращадась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ стёны, обхваченный солнцемъ, блисталъ нестерпимою для глазъ бълизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ ръзкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что было толь-ко у него негоднаго, швырялъ на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставаль рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висъли жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемнъвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дълавшими его похожимъ на воробынное яйцо, выглянуль изъ окна, тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчіи, и Янкель тотчасъ въѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и, когда Бульба выкарабкался, наконець, изъ-подъ кирпича, онъ увидълъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жадомъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдълано, что его Остапъ сидить въ городской темницъ, и что хотя трудно уговорить стражей, но, однакожъ, онъ надъется доставить ему свиданіе.

Бульба вошель вмъстъ съ тремя жидами въ комнату.

Жиды начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкъ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая посъщаетъ иногда человъка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія. Старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

— Слушайте, жиды! — сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. — Вы все на свътъ можете сдълать, выкопаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говорить, что жидъ самого себя украдеть, когда только захочеть украсть. Освободите мнъ моего Остапа! Дайте случай убъжать ему отъ дьявольскихъ рукъ! Вотъ я этому человъку объщать двънадцать тысячъ червонныхъ — я прибавлю еще двънадцать. Всъ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землъ золото, хату и послъднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тъмъ, чтобы все, что ни добуду на войнъ, дълить съ вами пополамъ!

- 0, не можно, любезный панъ! не можно!- сказалъ со вздохомъ Янкель.

— Нѣтъ, не можно! — сказалъ другой жидъ.

Всѣ три жида взглянули одинъ на другого.

— А попробовать, — сказаль третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ. — Можетъ-быть, Богъ дастъ.

Всѣ три жида заговорили по-нѣмецки. Бульба какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать. Онъ слышалъ только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, панъ! — сказалъ Янкель: — нужно посовътоваться съ такимъ человъкомъ, какого еще никогда не было на свътъ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдълаетъ, то уже никто на свътъ не сдълаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого.

Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились посрединѣ улицы и стали говорить довольно азартно. Къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ, и пятый. Онъ слышалъ опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы. Наконецъ, въ концъ ея, изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ жидовскомъ башмакъ, и замелькали фалды полукафтанья.

— А, Мардохай! Мардохай! — закричали всё жиды въ одинъ голосъ. Тощій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣшили разсказать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побрякушки, при челъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожкѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность; но, вспомнивши, что жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потреналъ его по плечу и сказалъ:

— Когда мы да Богъ захоченъ сдълать, то уже будетъ такъ, какъ нужно. Тарасъ поглядълъ на этого Соломона, какого еще не было на свътъ, и получилъ нъкоторую надежду. Дъйствительно, видъ его могъ внушить нъкоторое довъріе: верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ея, безъ сомнънія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородъ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лъвой сторонъ. На лицъ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомнънія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считатъ за родимыя пятна.

Мардохай ушель вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство; душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тоть прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ: онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ, наконецъ, весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ, уже ввечеру, поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

— Что? удачно? — спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвъчать, Тарасъ замътилъ, что у Мардохая уже не было послъдняго локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами изъ-подъ яломка его. Замътно было, что онъ хотълъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

— О, любезный панъ! — сказалъ Янкель: — теперь совсѣмъ не можно! ей-Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить.

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

- А если панъ хочетъ видъться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентаръ объшался. Только пусть имъ не будеть на томъ свъть счастья! Ой, вей миръ, что это за корыстный народъ! и между нами такихъ нътъ. 50 червонцевъ я даль каждому, а левентару...

— Хорошо. Веди меня къ нему! — произнесъ Тарасъ ръшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложение Янкеля переодъться иностраннымъ графомъ, прібхавшимъ изъ нъмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти дальновидный жидъ.

Была уже ночь. Хозяинъ дома, извъстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащиль тощій тюфякь, накрытый какою то рогожею, и разостлаль его на лавкъ, для Бульбы. Янкель легъ на полу, на такомъ же тюфякъ. Рыжій жидъ выпиль небольшую чарочку какой-то настойки, скинуль полукафтанье и, сдълавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ нъсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двъ домашнія собачки, легли на полу возлъ шкафа.

Но Тарасъ не спалъ. Онъ сидълъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по стояу. Онъ держаль во рту люльку и пускаль дымъ, отъ котораго жидъ спросонья чихаль и заворачиваль въ одбяло свой носъ. Едва небо успбло тронуться блёднымъ предвёстіемъ зари, онъ уже толкнуль ногою Янкеля.

— Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!

Въ минуту одълся онъ; вычернилъ усы, брови, надълъ на темя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могь узнать его. По виду ему казалось не болье тридцати пяти льть. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показыванось въ городъ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строелію, имъвшему видъ сидящей цапли: оно было низкое, широкое, огромное, почернъвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчаль кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей. Туть были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человъкъ спали виъстъ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидъвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказаль:

— Это мы... Слышите, паны, это мы! — Ступайте! — говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія оть него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ, узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу, съ маленькими окошками вверху.

- Кто идеть? — закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидълъ порядочное количество въ полномъ вооружении. — Намъ никого не велѣно пускать.

— Это мы! — кричалъ Янкель: — ей-Богу, мы, ясные паны!

Но нивто не хотълъ слушать. Къ счастію, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всъмъ примътамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

Digitized by Google

н. в. гогояь.

— Панъ, это жъ мы! Вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарить.

— Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткъ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидаль и не собачился на полу...

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники.

— Это мы, это я, это свои! — говорилъ Янкель, встръчаясь со всякимъ.

— А что, можно теперь? — спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они, наконецъ, подошли къ тому мъсту, гдъ коридоръ уже оканчивался.

— Можно, только не знаю, пропустять ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой, — отвѣчалъ часовой.

— Ай, ай! — произнесъ тихо жидъ. — Это скверно, любезный панъ!

— Веди! — произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему.

— Ваша ясновельможность! ясновельможный пань!

— Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?

— Вамъ, ясновельможный цанъ.

— Гм... а я просто гайдукъ! — сказалъ трехъ-ярусный усачъ съ повеселъвшими глазами.

— А я, ей-Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай!.. — При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. — Ай, какой важный видъ! Ей-Богу, полковникъ! совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

— Что за народъ военный! — продолжалъ жидъ, — охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнуречки, бляшечки... такъ отъ нихъ блеститъ, какъ отъ солнца; а цурки, гдъ только увидятъ военныхъ... ай, ай!

Жидъ опять покрутиль головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нъсколько похожій на лошадиное ржаніе.

— Прошу пана оказать услугу! — произнесъ жидъ. — Вотъ князь прівхаль изъ чужого края, хочеть посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще съ роду не видѣлъ, что это за народъ козаки.

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полуазіатскій уголъ Европы (Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи): и потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя.

— Я не знаю, ваша ясновельможность, — говориль онъ, — зачёмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ.

— Врешь ты, чортовъ сынъ! — сказалъ Бульба. — Самъ ты собака! Какъты смъешь говорить, что нашу въру не уважають? Это вашу еретичную въру не уважають!

— Эге, ге! — сказалъ гайдукъ, — а я знаю, пріятель, кто ты: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Постой же, я позову сюда нашихъ. Тарасъ увидълъ свою неосторожность, но упрямство и досада помъшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью, Янкель въ ту же минуту успълъ подвернуться.

— Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдъ бы онъ досталъ такое платъе и такой видъ графскій?

--- Разсвазывай себъ! --- И гайдувъ уже растворилъ было широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

— Ваше королевское величество! молчите! Молчите, ради Бога! — закричалъ Янкель. — Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца.

— Эге, два червонца! Два червонца мић ни по чемъ. Я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мић только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ! — Тутъ гайдукъ закрутилъ верхніе усы. — А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!

— И на что бы такъ много? — горестно сказалъ поблёднёвшій жидъ, развязывая кожаный мёшокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькё не было болёе и что гайдукъ далёе ста не умёлъ считать. — Панъ! панъ! уйдемъ скорёе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ! — сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болёе.

— Что жъ ты, чортовъ гайдукъ, — сказалъ Бульба: — деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нётъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперь отказать.

-- Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ туть... Уносите ноги, говорю я вамъ, скорѣе.

— Панъ! панъ! пойдемъ! ей-Богу, пойдемъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно! — кричалъ бъдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслъдуемый укорами Янкеля, котораго вла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

— И на что бы трогать? Пусть бы, собака, бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастіе посылаетъ Богъ люднить! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдълаютъ такое, что и глядътъ не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О, Боже мой! Боже милосердый!

Но неудача эта гораздо болъе имъла вліянія на "Бульбу. Она выражалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

— Пойдемъ! — сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: — пойдемъ на площадь! Я хочу посмотрътъ, какъ его будутъ мучить.

— Ой, панъ, зачёмъ ходить? Вёдь намъ этимъ не помочь уже.

— Пойдемъ!— упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслъдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всёхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ, самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали спросонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали,

однакоже, случая полюбопытствовать. «Ахъ, какое мученье!» кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь; однакожъ, простаивали иногда довольное время. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ, лѣзъ впередъ и желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свѣтѣ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу.

На переднемъ планъ, возлъ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стояль молодой шляхтичь, наи казавшійся шляхтичемь, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Двъ цъпочки, одна сверхъ другой, висъли у него на шев съ какимъто дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглялывался. чтобы кто-нибудь не замараль ея шелковаго платья. Онъ ей растояковаль совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить. «Воть это, душечка Юзыся, — говориль онь: — весь народь, что вы видите, пришелъ затъмъ, чтобы посмотръть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы видите, держитъ въ рукахъ съкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будеть казнить. И какъ начнеть колесовать и другія ділать муки, то преступникъ еще будеть живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будеть ни кричать, ни ъсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будеть головы». И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ.

Крыши домовъ были усвяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидъло аристовратство. Хорошенькая ручка смъющейся, блистающей, какъ бълый сахаръ, панны держалась за перилы. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядъли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствъ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ туть же разные напитки и събстное. Часто шалунья съ черными глазами, схвативши снъжною ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой нибудь высокій шляхтичь, высунувшійся изъ толпы своею годовою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ, съ почернѣвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощью длинныхъ рукъ, цъловалъ полученную добычу, прижималь ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висъвшій въ золотой клъткъ подъ балкономъ, быль также зрителемъ: перегнувши набокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ.

Но толпа вдругъ зашумъла, и со всъхъ сторонъ раздались голоса:

— Ведуть! ведуть!.. Козаки!

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами. Бороды у нихъ были отпущены; они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою то тихою горделивостію; ихъ платья, изъ дорогого сукна, износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядъли и не вланялись народу. Внереди всъхъ шелъ Остапъ.

Что почувствоваль старый Тарась, когда увидѣль своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣль въ него изъ толпы и не пророниль ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапь остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянуль на своихъ, подняль руки вверхъ и произнесъ громко:

— Дай же, Боже, чтобы всѣ, какіе туть ни стоять еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! Чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!

Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

— Добре, сынку, добре! — сказалъ тихо Бульба и уставилъ въ землю свою съдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдъланные станки и... Я не стану смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волоса. Онъ были порожденіе тогдашняго грубаго, свиръпаго въка, когда человъкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою до такой степени, что сдълался глухъ для человъколюбія. Должно, однакожъ, сказать, что король всегда почти являлся первымъ противникомъ этихъ ужасныхъ мъръ. Онъ очень хорошо видълъ, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козачьей націи. Но король не могъ сдълать ничего противъ дерзкой воли государственныхъ магнатовъ, которые непостижимою недальновидностью, дътскимъ самолюбіемъ, гордостью и неосновательностью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе.

Остапъ выносилъ терзанія, какъ исполинъ, съ невообразимою твердостью, и когда начали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, такъ что ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто, похожее на стонъ, не вырвалось изъ устъ его; лицо его не дрогнуло.

Тарасъ стоялъ въ толпѣ съ потупленною головою и съ поднятыми, однакожъ, глазами и одобрительно только говорилъ: «Добре, сынку, добре!»

Наконецъ, сила его, казалось, начала подаваться. Когда онъ увидълъ новыя адскія орудія казни, которыми готовились вытягивать изъ него жилы, губы его начали шевелиться.

--- Батько! — произнесъ онъ все еще твердымъ голосомъ, показывавшимъ желаніе пересилить муки: --- батько! гдѣ ты? слышишь ли ты?

— Слышу!— раздалось среди всеобщей тишины, и весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть, и когда они немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

IX.

Слёдъ Тарасовъ отыскался: тридцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не былъ какой-нибудь отрядъ, выступивній для добычи или своей отдѣльной цѣли: это было дѣло общее. Это цѣлая нація, которой терпѣніе уже переполнилось, поднялась истить за оскорбленныя права свои, за униженную религію свою и обычай, за вѣроломныя убійства гетмановъ своихъ и полковниковъ, за насилія жидовскихъ

Н. В. Гоголь. Томъ III.

27

арендаторовъ и за все, въ чемъ считалъ себя оскорбленнымъ угнетенный народъ.

Верховнымъ начальникомъ войскъ былъ гетманъ Остраница, еще молодой, кипѣвшій желаніемъ скорѣе сбросить утѣснительный деспотизмъ, наложенный самоуправіемъ государственныхъ магнатовъ, и очистить Украйну отъ жидовства, уній и посторонняго сброда. Возлѣ него былъ виденъ престарѣлый и опытный товарищъ и совѣтникъ его, Гуня. Сорокъ тысячъ лошадей нетерпѣливо ржали подъ сѣдоками и безъ сѣдоковъ. Восемь полковъ, изъ которыхъ половина конныхъ и половина пѣшихъ, въ суконныхъ алыхъ, синихъ и желтыхъ кафтанахъ, выступали браво и горделиво. Восемь опытныхъ полковниковъ правили ими и хладнокровнымъ движеніемъ бровей своихъ ускоряли или останавливали нетерпѣливый походъ ихъ.

Однимъ изъ нихъ начальствовалъ Бульба. Преклонныя лѣта, слава и опытность давали ему значительный перевѣсъ въ совѣтѣ; но неумолимая и свирѣпая жестокость его казалась ужасною даже для глубоко оскорбленныхъ защитниковъ. Его совѣтъ дышалъ только однимъ истребленіемъ, и сѣдая голова его опредѣляла только огонь и висѣлицу.

Не буду описывать тіхъ битвъ, гдъ отличились козаки, ни постепеннаю хода всей великой кампаніи: это принадлежить исторіи. Тамъ изображено подробно, какъ бъжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ, какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы - жиды, какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы, какъ, разбитый, преслъдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой ръчкъ лучшую часть своего войска, какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ приведенный въ крайность польскій гетманъ клятвенно объщалъ полное удовлетвореніе во всемъ козакамъ, со стороны короля и государственныхъ чиновъ, и возвращение всъхъ прежнихъ правъ и преимуществъ; но козаки, наученные прежнимъ въроломствомъ, были неумолимы, и Потоцкій не красовался бы болье на шеститысячномъ своемъ аргамакъ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся въ мъстечкъ русское духовенство. Торжественная процессія съ образами и крестами и мольбы священника-старца тронули козаковъ, еще чувствовавшихъ узы, привязывавшія ихъ къ королю. Гетманъ и полковники ръшились отпустить Потоцкаго не прежде. какъ заключивши трактатъ, обезпечившій бы во всемъ козаковъ.

Но непреклонный Тарасъ вырвалъ изъ бѣлой головы своей клокъ волосъ, когда увидѣлъ такое, по словамъ его, бабье малодушіе полковниковъ.

— Не попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дѣло, — вскричалъ́онъ твердо.

Но на этотъ разъ совѣтъ его былъ отвергнутъ.

— Эй, не върьте, паны, ляхамъ! — повторилъ онъ опять тъмъ же голосомъ, помахивая нагайкою и хлеснувши ею по пушкъ.

Когда же полковой писарь подаль уже написанное условіе подписать гетману онь махнуль рукою и сказаль:

— Оставайтесь же себъ, паны! Меня вы больше не увидите. Глядите, паны: вы вспомните меня!

И голосъ его имълъ въ себъ что-то пророческое.

— Вы думаете, что купили этимъ спокойствіе и будете теперь пановать, — увидите, что не будетъ сего! Сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половою, и долго будутъ видъть ее по ярмаркамъ! Да и у васъ, паны, у ръдкаго уцълъетъ голова! Пропадете вы въ

сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя стъны, если не сварятъ васъ живыхъ въ котлахъ, какъ барановъ!

— А вы, хлопцы, хотите умирать? — продолжаль онъ, обращаясь къ своему полку: — умирать такъ, какъ умираютъ честные козаки? А можетъбыть, вы думаете еще пожить да залечь дома на печь, да и лежать тамъ, покамъстъ не приберетъ врагъ? Что жъ лучше, спрашиваю я васъ, молодцы: воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила васъ жинка, и, напившись, пропасть гдъ нибудь подъ тыномъ, какъ собака, или всъмъ, какъ върнымъ лыцарямъ, какъ братьямъ роднымъ, лечь вмъстъ на полъ и оставить по себъ славу навъки?

— За тобою, пане полковнику, за тобою всѣ! — отвѣчали передніе въ полку. — Веди насъ! Ей-Богу, веди!

— Добре, паны молодцы! — сказалъ Тарасъ, взявши свою шапку въ руки и потомъ опять падъвши ее на голову. Глаза его сверкнули. — Выръжемъ все католичество, чтобы его и духу не было! Пусть пропадутъ нечестивые! Гайда, хлопцы!

Сказавши это, изступленный съдой фанатикъ отправился съ полкомъ своимъ въ путь. Другіе козаки съ завистью глядъли на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновеніе къ полковникамъ, бывшее всегдашнею ихъ добродътелію, препятствовало многимъ охотникамъ къ нимъ присоединиться.

Гетманъ и полковники не остановили удалявшагося полка. Казалось, предсказаніе Тараса нѣсколько смутило ихъ, — по крайней мѣрѣ, они сидѣли нѣсколько времени молча и не глядя другъ на друга. Скоро, однакоже, пророческія слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, голова гетмана вздернута была на колъ вмѣстѣ со многими сановниками.

Но обратимся въ нашей исторіи. Что же дълалъ Тарасъ со своимъ полкомъ? А Тарасъ выжегъ восемнадцать мъстечекъ, около сорока костеловъ и уже доходилъ до Кракова. Напрасно небольшіе отряды войскъ посылаемы были схватить его: онъ всегда почти разминался съ ними. Онъ поступалъ неожиданно, скрывая свои намърепія, и когда одно селеніе или небольшой городокъ ожидаль съ ужасомъ его прибытія, онъ вдругь перемѣняль дорогу и несъ гибель туда, гдъ его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмълилась бы изобразить всёхъ тёхъ свирёпствъ, которыми были означены разрушительныя его опустошения. Ничто похожее на жалость не проникало въ это старое сердце, кипъвшее только отмщениемъ. Никому не оказывалъ онъ пощады. Напрасно несчастныя матери и молодыя жены и дъвицы, изъ которыхъ иныя были прекрасны и невинны, какъ ландышъ, думали спастись у алтарей: Тарасъ зажигалъ ихъ вибств съ костеломъ. И когда бълыя руки, сопровождаемыя крикомъ отчаянія, подымались изъ ужаснаго потопа огня и дыма къ небу и растрепанные волосы сквозь дымъ разсыпались по плечамъ ихъ, а свирбные возаки подымали коньями съ улицъ плачущихъ младенцевъ и бросали ихъ къ нимъ въ пламя, -- онъ глядблъ съ какимъ-то ужаснымъ чувствомъ наслажденія и говориль:

— Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остаиъ!

И такія поминки по Остапѣ отправляль онь въ каждомъ селеніи. Накомецъ, польское правительство увидѣло, что поступки Тараса были нѣсколько болѣе, нежели обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непремѣнно Тараса.

Тарасъ понялъ опасность и поворотилъ назадъ. Проселочными дорогами, ночью, скакалъ опъ съ своими козаками во всю мочь, и одни только татарские

27*

кони, которыхъ онъ имѣлъ обычай держать цѣлый табунъ при своемъ войскѣ, могли вынести необыкновенную быстроту его бѣгства. Но на этотъ разъ Потоцкій былъ достоинъ возложеннаго на него порученія: онъ преслѣдовалъ его съ удивительною неутомимостью и, наконецъ, настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для небольшого роздыха оставленную, полуразвалившуюся крѣпость.

Крёпость была на возвышенномъ мёстё и оканчивалась къ рёкё такою страшною, почти наклоненною стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться въ волны. Почти на двадцать саженъ внизъ шумёлъ Днѣстръ. Здёсь-то облегь его Потоцкій своими войсками съ трехъ сторонъ, обращенныхъ къ полю и къ оврагамъ неровныхъ береговъ. Тарасъ, съ помощью своей храбрости и упрямой воли, могъ сдёлать тщетными всё усилія осаждающихъ; но онъ не имёлъ въ опустёлой крёпости никакихъ средствъ для прокормленія, а козаки менѣе всего могли сносить голодъ, особливо когда видѣли, что онъ долженъ, наконецъ, окончиться, медленною смертью. Съ рѣкою невозможно было имѣть сообщенія: одна только половина узенькой дорожки висѣла вверху, остальная упала въ волны съ недавно отколовшеюся глыбою скалы, и вмѣсто нея осталась стремнина.

Тарасъ рѣшился оставить крѣпость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды непріятелей и по берегу достигнуть такого мѣста, съ котораго бы можно было кинуться на лошадяхъ и пуститься съ ними вплавь. Онъ стремительно вышелъ изъ крѣпости, и уже козаки пробрались сквозь непріятельскіе ряды, какъ вдругъ Тарасъ, остановившись и нагнувшись въ землю, сказалъ:

— Стой братцы! уронилъ люльку! — Въ это самое время онъ почувствовалъ себя въ дюжихъ рукахъ, былъ схваченъ набъжавшимъ съ тыла отрядомъ и отръзанъ отъ своихъ. Онъ двигнулъ своими членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки.

— Эхъ, старость, старость! — сказалъ онъ, почти что не заплакавъ.

Ему прикрутили руки, увязали веревками и цёнями, привязали его къ огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ разсълину стёны, такъ что онъ стоялъ выше всёхъ и былъ виденъ всёмъ войскамъ, какъ побёдный трофей удачи. Вётеръ развѣвалъ его бѣлые волоса. Казалось, онъ стоялъ на воздухѣ, и это, вмѣстѣ съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его чѣмъ-то похожимъ на духа, представшаго воспрепятствовать чему нибудь сверхъестественною своею властью и увидѣвшаго ея ничтожность. Въ лицѣ его не было замѣтно никакой заботы о себѣ. Онъ вперилъ глаза въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались козаки. Ему съ высоты все было видно, какъ на ладони.

— Занимайте, хлопцы, — кричалъ онъ: — занимайте, вражьи дъти, говорю вамъ, скоръе горку, что за лъсомъ: туда не подступятъ они!

Но вътеръ не донесъ его словъ.

— Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что! — говорилъ онъ съ бъщенствомъ и взглянулъ внизъ, гдъ блестълъ Днъстръ. Чувство радости сверкнуло въ его глазахъ. Онъ увидълъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника три кормы. Онъ собралъ всъ усилія и закричалъ такъ, что едва не оглушилъ стоявшихъ близъ него:

— Хлопцы, къ берегу, къ берегу! Подъ кручею, гдъ кръпость, стоятъ челны, а за ними въ двадцати шагахъ спускъ къ берегу! Да забирайте всъ челны, чтобы не было погони!

На этотъ разъ вътеръ дунулъ съ другой стороны, и всъ слова были услышаны козаками. Но ударъ обухомъ по головъ за такой совътъ переворотилъ въ его глазахъ все. Его опустили вмъстъ съ бревномъ ниже, чтобы онъ не могъ болъе подаватъ своихъ наставлений.

Козаки поворотили коней и бросились бъжать во всю прыть; но берегь все еще состояль изъ стремнинъ. Они бы достигли понижения его, если бы порогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: однъ только сваи разрушеннаго моста торчали на обоихъ концахъ; изъ недосягаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчание вакого-то потока, низвергавшагося въ Днёстръ. Эту пропасть можно было объёхать, взявши вправо; но войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Козаки только одинъ мигъ ока остановились, подняли свои нагайки, свиснули — и татарскіе ихъ кони, отдёлившись отъ земли, распластались въ воздухё, какъ змён, и перелетвли черезъ пропасть. Подъ однимъ только конь оступился, но зацёпился копытомъ и, привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ съдокомъ. Отрядъ непріятельскихъ войскъ съ изумленіемъ остановился на краю пропасти. Начальствовавшій ими полковникь, молодой, неустрашимый до безразсудности (онъ былъ братъ прекрасной полячки, обворожившей бъднаго Андрія), безъ дальняго размышленія ръшился повторить и себъ то же и, желая подать прим'тръ своему отряду, бросился впередъ съ конемъ своимъ; но острые камни изорвали его, пропавшаго среди пропасти, въ клочки, и мозгъ его, смѣшанный съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда Бульба очнулся немного отъ своего удара и глянулъ на Днъстръ, онъ увидълъ подъ ногами своими козаковъ, садившихся въ лодки. Глаза его сверкнули радостью. Градъ пуль сыпался сверху на козаковъ, но они не обращали никакого вниманія и поспъшно отчаливали отъ берега.

— Прощайте, паны-браты товарищи! — говорилъ онъ имъ сверху: вспоминайте иной часъ обо мнѣ! Объ участи же моей не заботьтесь! Я знаю свою участь: я знаю, что меня заживо разнимуть по кускамъ, и что кусочка моего тъла не оставять на землѣ — да то уже мое дѣло... Будьте здоровы, пане-браты товарищи! Да глядите, прибывайте на слѣдующее лѣто опять, да погуляйте хорошенько!..

Ударъ обухомъ по головѣ пресѣкъ его рѣчи.

Чортъ побери! да есть ли что на свътъ, чего бы побоялся козакъ? Не малая ръка Днъстръ; а какъ погонитъ вътеръ съ моря, то валъ дохлестываетъ до самаго мъсяца. Козаки плыли подъ пулями и выстрълами, осторожно минали зеленые острова; хорошенько выправляли парусъ, дружно и мърно ударяли веслами и говорили про своего атамана.

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

въ 1834 и 1835 году.

Журнальная литература, эта живая, свъжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области наукъ и художествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочаеть вкусомъ толпы, обращаетъ и пускаетъ въ ходъ все выходящее наружу въ книжномъ мірѣ, и которое безъ того было бы, въ обоихъ смыслахъ, мертвымъ капиталомъ. Она — быстрый, своенравный размънъ всеобщихъ мнѣній, живой разговоръ всего тиснимаго типографскими станками; ея голосъ есть вѣрный представитель мнѣній цѣлой эпохи и вѣка, — мнѣній, безъ нея бы исчезнувшихъ безгласно. Она волею и неволею захватываетъ и увлекаетъ въ свою область девять десятыхъ всего, что дѣлается принадлежностію литературы. Сколько есть людей, которые судятъ, говорятъ и толкуютъ потому, что всѣ сужденія поднесены имъ почти готовыя, и которые сами отъ себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итакъ, журнальная литература во всякомъ случаѣ имѣетъ право требовать самаго пристальнаго вниманія.

Можетъ-быть, давно у насъ не было такъ рѣзко замѣтно отсутствія журнальной дѣятельности и живого современнаго движенія, какъ въ послѣдніе два года. Безцвѣтность была выраженіемъ большей части повременныхъ изданій. Многіе старые журналы прекратились, другіе тянулись медленно и вяло; новыхъ, кромѣ «Библіотеки для Чтенія», и впослѣдствіи «Московскаго Наблюдателя», не показалось, между тѣмъ какъ именно въ это время была замѣтна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающихъ. Какъ ни бѣдна эта эпоха, но она такое же имѣетъ право на наше вниманіе, какъ и та, которая бы кипѣла движеніемъ, ибо также принадлежитъ исторіи нашей словесности. Читатели имѣли полное право жаловаться на скудость и постный видъ нашихъ журналовъ; «Телеграфъ» давно потерялъ тотъ рѣзкій тонъ, который давало ему воинственное его положеніе въ отношеніи журналовъ петербургскихъ; «Телескопъ» наполнялся статьями, въ которыхъ не было ничего свѣжаго, животрепещущаго.

Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извъстный своею дъятельностію и добросовъстностію, который одинъ только, къ стыду прочихъ недальнозоркихъ своихъ товарищей, показалъ предпріимчивость, и своими оборотами далъ движеніе книжной торговлъ, — книгопродавецъ Смирдинъ ръшился издавать журналъ обширный, энциклопедическій, завоевать всъхъ литераторовъ, сколько ни есть ихъ въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программъ были выставлены имена почти всъхъ нашихъ писателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенковскій, взялся быть распорядителемъ журнала; къ нему былъ присоединенъ редакторомъ г. Гресъ, извъстный уже постояннымъ изданіемъ двухъ журналовъ: «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества». Не знаемъ, сами ли они взялись за сіе дѣло, или упрошены были г. Смирдинымъ, но въ томъ и другомъ случаѣ книгопродавецъ, по общему мнѣнію, поступилъ нѣсколько неосмотрительно. Успѣвши соединить для своего изданія такое множество литераторовъ, онъ долженъ былъ предоставить ихъ суду избраніе редактора

Никто тогда не позаботился о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ. одно уполномоченное мнѣнie, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣнiй и толковъ. Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ самая благонамѣренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обѣщанie, которое даетъ всякій журналистъ. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидѣла, что въ журналѣ господствуетъ тонъ. мнѣнiя и мысли одного, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взята была только напрокатъ, для нривлеченія большаго числа подписчиковъ.

Книгопродавецъ Смирдинъ исполнилъ съ своей стороны все, чего публика въ правъ была отъ него требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показалъ онъ и въ изданіи журнала. Журналъ выходилъ съ необыкновенною исправностію: подписчики, вмъстъ съ первымъ чисдомъ каждаго мъсяца, встръчали толстую книгу, какой у насъ въ прежнее время ни одна типографія не могла бы поставить въ два мъсяца. Вмъсто объщаннаго числа осмнадцати листовъ въ мъсяцъ, выходило иногда вдвое болте. Теперь разсмотримъ, исполнили ли долгъ тъ, которымъ онъ ввърилъ внутреннее распоряжение журнала. — Главнымъ дъятелемъ и движущею пружиною всего журнала быль г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы, — по крайней мъръ, нивакого дъйствія не было замътно съ его стороны. Г. Гречъ давно уже сдълался почетнымъ и необходимымъ редавторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннаго пожилого человъка приглашаютъ въ посаженные отцы на всъ свадьбы. Но какая цъль была редакція этого журнала, какую задачу предположила она ръшить? Здъсь поневолъ должны мы задуматься, что, безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ и читатель. Въ программѣ ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, вакой начерталь для себя путь, вакую выбраль себъ ціль; всі увиділи толбко, что онъ взошель незамітно въ первый номерь и въ концѣ его развернулся, какъ полный хозяинъ.

Впрочемъ, нельзя жаловаться и на это: положимъ, для журналиста необходимъ рѣзкій тонъ и нѣкоторая даже дерзость (чего, однакожъ, мы не одобряемъ, хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналисты всегда выигрываютъ въ мнѣніи толпы): но на что преимущественно было обращено вниманіе сего хозяина, какая мысль его пересиливала всѣ прочія, къ чему направлено было его пристрастіе, были ли гдѣ замѣтны тѣ неподвижныя правила, безъ коихъ человѣкъ дѣлается безхарактернымъ, которыя даютъ ему оригинальность и опредѣляють его физіогномію?

Прочитавши все, помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, слѣдуя за всѣми словами, сказанными имъ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человѣка? Мы видимъ человѣка, который беретъ деньги вовсе не даромъ, который трудится до поту лица, не только заботится о своихъ статьяхъ, но даже переправлястъ чужія,— однимъ словомъ, является неутомимымъ. Для чего же вся эта дѣятельность? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій и скажемъ нѣсколько словъ о главныхъ качествахъ его статей. Это во всѣхъ отношеніяхъ необходимо.

Г. Сенковскій является въ журналѣ своемъ, какъ критикъ, какъ повъствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч. и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Бѣлкина, наконецъ, въ собственномъ видѣ. Какъ ученый, г. Сенковскій помѣстилъ довольно большую статью о сагахъ, — статью, исполненную ипотезъ, не собственныхъ, но схваченныхъ на удачу изъ разныхъ бѣгло прочитанныхъ книгъ, — ипотезъ, вовсе не принадлежащихъ русской исторіи. Эти саги, которыя проницательный Шлёцеръ, не имъющій донынъ равнаго по строгому и глубокому критическому взгляду, призналъ за басни, недостойныя никакого вниманія, — эти саги онъ ставитъ краеугольнымъ камнемъ русской исторіи и не приводить ни одного доказательства, повъреннаго критикою: онъ вовсе не опредълилъ ихъ истиннаго и единственнаго постоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшаго великую въ истории роль. Эта статья, испещренная реторическими фигурами, понравилась добрымъ, но ограниченнымъ людямъ, а г. Булгаринъ даже написалъ рецензію, въ которой поставилъ г. Сенковскаго выше Шлёцера, Гумбольдта и всёхъ когда-либо существовавшихъ ученыхъ. Другое весьма важное притязание г. Сенковскаго и настоящий конекъ его есть Востокъ. Здъсь онъ всегда возвышаль голосъ, и какъ только выходило какое-нибудь сочинение о Востокъ, или упоминалось гдъ-нибудь о Востокѣ, хотя бы даже это было въ стихотвореніи, онъ гнѣвался и утверждалъ, что авторъ не можетъ судить и не долженъ судить о Востокъ, что онъ не знаетъ Востока. Слово, сказанное съ сердцемъ, очень извинительно въ человъкъ, влюбленномъ въ свой предметъ, и который, между тъмъ, видитъ, какъ мало понимають его другіе; но этоть человѣкъ уже долженъ, по крайней мъръ. утвердить за собою авторитетъ. Г. Сенковскому, точно, слъдовало бы издать что-нибудь о Востокъ. Человъку, ничего не сдълавшему, трудно върить на слово, особливо, когда его сужденія такъ легковъсны и проникнуты духомъ нетерпимости; а изъ нъкоторыхъ его отрывковъ о Востокъ видны тъ же самые недостатки, которые онъ безпрестанно порицаетъ у другихъ. Ничего новаго не сказалъ онъ въ нихъ о Востокъ, - ни одной яркой черты, сильной мысли, геніальнаго предположенія! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковскій не имѣлъ свѣдѣній; напротивъ, очень видно, что онъ много читалъ; но у него нигдѣ не замѣтно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его къ какой-нибудь цёли. Всё эти свёдёнія находятся у него въ какомъто брожении, другъ другу противоръчатъ, между собой не уживаются. Разсмотримъ его мнѣнія, относящіяся собственно къ текущей изящной литературѣ. Въ критикъ г. Сенковскій показаль отсутствіе всякаго мнѣнія, такъ что ни одинь изъ читателей не можетъ сказать навърное, что болѣе нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствамъ: въ его рецензіяхъ нъть ни положительнаго, ни отрицательнаго вкуса, — вовсе никакого. To, что ему нравится сегодня, завтра дълается предметомъ его насмъшекъ. Онъ первый поставилъ г. Кукольника на ряду съ Гёте и самъ же объявилъ, что это сдблано имъ потому только, что такъ ему вздумалось. Стало-быть, у него рецензія не есть діло убіжденія и чувства, а просто слідствіе расположенія духа и обстоятельствъ. Вальтеръ Скоттъ, этотъ великій геній, коего безсмертныя созданія объемлють жизнь съ такою полнотою, Вальтеръ Скотть названъ шарлатаномъ. И это читала Россія, это говорилось людямъ, уже образованнымъ, уже читавшимъ Вальтеръ Скотта. Можно быть увѣрену, что г. Сенковскій сказаль это совѣмъ безъ всякаго намѣренія, изъ одной опрометчивости, потому что онъ никогда не заботится о томъ, что говоритъ, и въ слъдующей статъъ уже не помнитъ вовсе написаннаго въ предыдущей.

Въ разборахъ и вритикахъ г. Сенковский тоже никогда не говорилъ о внутреннемъ характеръ разбираемаго сочиненія, не опредълялъ върными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензентъ отъ всей души тъщился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ - трехъ фразъ и насмъшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себъ цълью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оное выполнилъ, и если не выполнилъ, какъ долженъ былъ выполнить. Больше всего г. Сенковский занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ; надъ ними шутилъ, трунилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится нъкоторымъ читателямъ. Наконецъ, даже завязалъ цълое дъло о двухъ мъстоименіяхъ: сей и оный, которыя показались ему, неизвъстно почему, неумѣстными въ русскомъ слогѣ. Объ этихъ мѣстоименіяхъ писаны имъ были цълые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметь, всегда оканчивались тыть, что мъстоименія сей и оный совершенно неприличны. Это напомнило старый процессъ Тредьяковскаго за букву ижицу и десятиричное і, который впосл'ядствіи, еще не такъ давно, поддерживалъ одинъ профессоръ. Книга, въ которой г. Сенковскій встръчалъ эти двъ частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Его собственныя сочиненія, — повъсти и тому подобное, являлись подъ фирмою Брамбеуса. Эти повъсти и статьи вродъ повъстей своимъ близкимъ, неумъреннымъ подражаніемъ нынъшнимъ писателямъ французскимъ, произвели всеобщее изумленіе, потому что г. Сенковскій охуждалъ гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, какъ въ этомъ случаѣ онъ имѣлъ такъ мало смѣтливости и до такой степени считалъ простоватыми своихъ читателей. Неизвѣстно тоже, почему называлъ онъ нѣкоторыя статьи свои фантастическими. Отсутствіе всякой истины, естественности и вѣроятности еще нельзя считать фантастическимъ. Фантастическія сочиненія Б. Брамбеуса напоминаютъ книги, какихъ нѣкогда было очень много, какъ-то: «Не любо не слущай, а лгать не мѣщай», и тому подобныя: та же безотчетность и еще менѣе устремленія къ доказательству какой - нибудь мысли. Опытные читатели замѣтили въ нихъ чрезвычайно много похищеній, сдѣланныхъ наскоро, на всемъ бѣгу: авторъ мало заботился о ихъ связи. То, что въ оригиналахъ имѣло смыслъ, то въ копіи было безъ всякаго значенія.

Таковы были труды и дъйствія распорядителя «Библіотеки для Чтенія». Мы почли нужнымъ упомянуть о нихъ нъсколько обстоятельнъе потому, что онъ одинъ законодательствовалъ въ «Библіотекъ для Чтенія», и что мнѣнія его разносились чрезвычайно быстро, вмѣстъ съ четырьмя тысячами экземпляровъ журнала, по всему лицу Россіи.

Невозможно, чтобы журналъ, издаваемый при средствахъ, доставленныхъ книгопродавцемъ Смирдинымъ, былъ плохъ. Онъ уже выигрывалъ тѣмъ, что издавался въ большомъ объемѣ, толстыми книгами. Это для подписчиковъ была пріятная новость, особливо для жителей нашихъ городовъ и сельскихъ помѣщиковъ. Въ «Библіотекѣ» находились переводы иногда любопытныхъ статей изъ иностранныхъ журналовъ, въ отдѣлѣ стихотворномъ попадались имена свѣтилъ русскаго Парнасса. Но постоянно лучшимъ отдѣленіемъ ея была смюсь, вмѣщавшая въ себѣ очень много разнообразныхъ, свѣжихъ новостей, отдѣленіе живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повѣсти и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» случилось еще одно дотолѣ неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ея сталь переправлять и передѣлывать всѣ почти статьи, въ ней печатаемыя, и любопытно то, что онъ объявляль объ этомъ самъ довольно смѣло и откровенно. «У насъ, — говорить онъ, — въ «Библіотекѣ для Чтенія» не такъ, какъ въ другихъ журналахъ: мы никакой повѣсти не оставляемъ въ прежнемъ видѣ, всякую передѣлываемъ; иногда составляемъ изъ двухъ одну, иногда изъ трехъ, и статья значительно улучшается нашими передѣлками». Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало.

Многіе писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто пом'ящаемыхъ безъ подписи или подъ вымышленными именами, за ихъ собственныя, и потому начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели не выставили уже длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая, какіе. Журналъ, хотя не изм'янился въ величинъ и планъ, но статьи замътно начали быть хуже; видно было менъе старанія. «Библіотеку» уже менъе читали въ столицахъ, но все такъ же много въ провинціяхъ, и мнѣнія ея такъ же обращались быстро. Обратимся къ другимъ журналамъ.

«Съверная Пчела» заключала въ себъ офиціальныя извъстія и въ этомъ отношении выполнила свое дъло. Она помъщала извъстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г. Гречъ, довелъ ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но въ литературномъ смыслѣ она не имѣда никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ея мнѣнія. Она была какая то корзина, въ которую сбрасывалъ всякій все, что ему хотълось. Разборы книгъ, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а иногда самими авторами. Въ «Съверной Пчелъ» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшіеся подъ разными буквами, — безъ сомнѣнія, люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удальства. Они нападали развъ уже на самаго беззащитнаго и круглаго сироту. Насчетъ неопрятныхъ изданій являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить книгу и при концѣ сложить съ себя весь гръхъ такою оговоркою: «Впрочемъ, желательно, чтобы почтенный авторъ исправилъ небольшія погръшности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требуеть хорошаго изданія», и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы тъми же самыми рецензентами, которые писали извъстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицъ, о помадѣ и проч.; сіи извѣстія иногда довольно остроумны и въ шуткахъ своихъ показывали ловкихъ и хорошо воспитанныхъ людей, безъ сомнънія, имъвшихъ основательныя причины быть довольными фабрикантами. Впрочемъ, отъ «Стверной Ичелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ся дъломъ было пригласить публику, а судить она препоставляла самой публикъ.

Журналъ, носившій названіе «Сына Отечества» и «Сѣвернаго Архива», былъ почти невидимкою во все время. О немъ никто не говорилъ, на него никто не ссылался, несмотря на то, что онъ выходилъ исправно еженедѣльно и что печаталъ такую огромную программу на своей обверткѣ, какую врядъ ли гдѣ можно было встрѣтить. Въ «Сынѣ Отечества» (говорила программа), будетъ: археологія, медицина, правовѣдѣніе, статистика, русская исторія, всеобщая исторія, русская словесность, иностранная словесность, наконецъ, просто словесность, географія, этнографія, историческая галлерея, и прочее. Иной ахнеть, прочитавши такую ужасную программу, и подумаеть, что это огромнъйшее энциклопедическое изданіе, когда-либо существовавшее на свъть. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка въ три листа, начинавшаяся статьею о какихъ-нибудь болъзняхъ, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тъмъ еще болъе живая и современная, не была въ немъ постоянною. Новости политическія были тъ же сухіе факты, взятые изъ «Съверной Пчелы», слъдственно уже всъмъ извъстные. Помъщаемыя какія-то оригинальныя повъсти были довольно странны, чрезвычайно коротенькія и совершенно безцвѣтны. Если попадалось что-нибудь достойное замъчанія, то оно оставалось незамътнымъ. Имена редакторовъ, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавномъ листкъ, но съ ихъ стороны ръшительно не было видно никакого участія. Однакожъ, журналъ существовалъ, стало-быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущіе въ провинціяхъ, которымъ что-нибудь почитать такъ же необходимо, какъ заснуть часикъ послъ объда или выбриться два раза въ недълю.

Издавалась еще въ Петербургѣ, въ продолженіе всего этого времени, газета чисто-литературная, освобожденная отъ всякихъ вторжений наукъ и важныхъ свъдъній, — не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница стараго, но при всемъ томъ имъвшая особенный характеръ. Названіе этой газеты «Литературныя Прибавленія къ Инвалиду». Въ ней помѣщались легонькія повѣсти, бесѣды деревенскихъ помѣщиковъ о литературъ, бесъды часто довольно обыкновенныя, но иногда мъстами проникнутыя колкостями, близкими къ истинъ: читатель, къ изумленію своему, видълъ, что помъщики въ концу статьи дълались совершенными литераторами, принимали къ сердцу текущую литературу и приправляли свои мнѣнія ѣдкою насмѣшкою. Этотъ журналъ всегда оказывалъ оппозицію противу всякаго счастливаго натэдника, хотя его вся тактика часто состояла только въ томъ, что онъ выписываль одно какое-нибудь мёсто, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокупляль отъ себя довольно здое замъчаніе, не длиннъе строчки, съ восклицательнымъ знакомъ. Г. Воейковъ былъ чрезвычайно дъятельный ловецъ и, какъ рыбакъ, сидълъ съ удой на берегу, не теряя терпънія, хотя на его уду попадалась большею частію мелкая рыба, а большая обрывалась. Въ редакторъ была замътна чисто-литературная жизнь, и онъ съ неохлажденнымъ вниманіемъ не сводилъ глазъ съ журнальнаго поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда въ нее заглянуть.

Въ Москвъ издавался одинъ только «Телескопъ», съ небольшими листками прибавленія подъ именемъ «Молвы», — журналъ, вначалъ отозвавшійся живостью, но вскоръ простывшій, наполнявшійся статьями безъ всякаго разбора, лишенный всякаго литературнаго движенія. Видно было, что издатели не прилагали о немъ никакого старанія и выдавали книжки какънибудь.

Монополія, захваченная «Библіотекою для Чтенія», не могла не задѣть за живое другихъ журцаловъ. Но «Сѣверная Пчела» была издаваема тѣмъ же самымъ г. Гречемъ, котораго имя нѣкоторое время стояло на заглавномъ листкѣ въ «Библіотекѣ», какъ главнаго ея редактора, хотя это званіе, какъ мы уже видѣли, было только почетное, и потому очень естественно, что «Сѣверная Пчела» должна была хвалить все, помѣщаемое въ «Библіотекѣ», и настоящаго ея движителя, являвшагося подъ множествомъ разныхъ именъ, называть русскимъ Гумбольдтомъ. Но и безъ того она врядъ ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сынъ Отечества» долженъ былъ повторять слова «Пчелы»! Итакъ, всего только два журнала могли возстать противъ его мнѣній. Г. Воейковъ показалъ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» что-то похожее на оппозицію; но оппозиція его состояла въ дегкихъ замъткахъ журнальныхъ промаховъ и иногда удачной остроть, выраженныхъ отрывисто, въ немногихъ словахъ, съ насмъшкою, очень понятною для немногихъ литераторовъ, но незамътною для непосвященныхъ. Нигдъ не помъстилъ онъ обстоятельной и основательной критики, которая опредълила бы сколько-нибудь направленіе новаго журнала. «Телескопъ» въ соединении съ «Молвою» дъйствовалъ противъ «Библіотеки для Чтенія», но дъйствоваль слабо, безъ постоянства, терпънія и необходимаго хдаднокровія. Въ статьяхъ критическихъ онъ былъ часто исполненъ негодованія противъ новаго счастливца, шутилъ надъ баронствомъ г. Сенковскаго, сдълалъ нъсколько справедливыхъ замъчаній относительно его страннаго подражанія французскимъ писателямъ, но не видълъ дъла во всей ясности. Въ «Молвѣ» повторялись тѣ же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно посторонняго сочинения. Кром'ь того, «Телескопъ» много вредиль себѣ опаздываніемъ книжекъ, неаккуратностію изданія, и критическія статьи его черезъ то еще менње были въ обороть.

Очевидно, что силы и средства этихъ журналовъ были слишкомъ слабы въ отношеніи къ «Библіотекъ для Чтенія», которая была между ними, какъ слонъ между мелкими четвероногими. Ихъ бой былъ слишкомъ неравенъ, и они, кажется, не приняли въ соображеніе, что «Библіотека для Чтенія» имъда около пяти тысячъ подписчиковъ, что мнънія «Библіотеки для Чтенія» разносились въ такихъ слояхъ общества, гдъ даже не слышали, существуетъ ли «Телескопъ» и «Литературныя Прибавленія», что мнѣнія. и сочиненія, помѣщаемыя въ «Библіотекъ для Чтенія», были расхвалены издателями той же «Библіотеки для Чтенія», скрывавшимися подъ разными именами, расхвалены съ энтузіазмомъ, всегда имъющимъ вліяніе на большую часть публики; ибо то, что смѣшно для читателей просвѣщенныхъ, тому вѣрятъ со встять простодушіемъ читатели ограниченные, какихъ, по количеству подписчиковъ, можно предполагать болъе между читателями «Библіотеки», и къ тому же большая часть подписчиковъ были люди новые, дотолъ не знавшіе журналовъ, слъдственно принимавшіе все за чистую истину; что, наконецъ, «Библіотека для Чтенія» имѣла сильное для себя подкрѣпленіе въ 4.000 экземпляровъ «Съверной Пчелы».

Ропоть на такую неслыханную монополію сдѣлался силенъ. Въ Москвѣ, наконецъ, нѣсколько литераторовъ рѣшились издавать какой-нибудь свой журналъ. Новый журналъ былъ не для публики, то-есть для большаго числа читателей, но собственно для литераторовъ, различно притѣсняемыхъ «Библіотекою». Онъ былъ нуженъ: 1) для тѣхъ, которые желали имѣть пріютъ для своихъ мнѣній, ибо «Библіотека для Чтенія» не принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онѣ по вкусу главнаго распорядителя; 2) для тѣхъ, которые видѣли съ изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началъ уже переправлять, безо всякаго разбора лицъ, всѣ статьи, отдаваемыя въ «Библіотеку». Онъ переправлялъ статьи военныя, историческія, литературныя, относящіяся къ политической экономіи и проч., и все это дѣлалъ безъ всякаго дурного намѣренія, даже безъ всякаго отчета, не руководствуясь

никакимъ чувствомъ надобности или приличія. Онъ даже придѣлалъ свой конецъ къ комедіи Фонвизина, не разсмотръвши, что она и безъ того была съ концомъ.

Все это было очень досадно для писателей, рѣшительно не имѣвшихъ мѣста, куда бы могли подать жалобу свѣту и читателямъ.

Но уже одинъ слухъ о новомъ журналъ возбудилъ негодование «Библютеки для Чтенія» и подвинуль ее въ неожиданному поступку: она увъряда своихъ читателей и подписчиковъ съ необыкновеннымъ жаромъ, что новый журналь будеть бранчивый и неблагонамъренный. Статья, помъщенная по этому же случаю въ «Съверной Пчелъ», казалось, была писана человъкомъ, въ отчаяния предвидъвшимъ свою конечную погибель. Въ ней увъдомляли публику, что новый журналъ хотълъ уронить «Библіотеку для Чтенія», потому только, что издатели онаго объявили, что будутъ выпускать таковое же число листовъ, какъ и «Библіотеки для Чтенія». Поступокъ чрезвычайно неосмотрительный! Въ подобномъ деле необходимо скрыть свои мелкія чувства искусно и потомъ, выждавъ удобный случай, нанесть обдуманный ударъ. Если я издаю журналъ, зачёмъ же не издавать его и другому! И какъ могу гнъваться, если другой скажеть, что онъ будетъ брать меня въ образецъ? Не долженъ ли я, напротивъ, его благодарить? Не показываеть ли онъ тъмъ степень уваженія, мною заслуженнаго въ публикъ? Чъмъ больше соревнованія, тъмъ больше выигрышей для читателей и для литераторовъ.

Но разсмотримъ, въ какой степени «Московскій Наблюдатель» выполнилъ ожиданія публики, жадной до новизны, ожиданіе читателей образованныхъ, ожиданіе литераторовъ и опасеніе «Библіотеки для Чтенія».

Новый журналь, несмотря на ревностное стараніе привести себя во всеобщую извъстность, не имълъ средствъ огласить во всъ углы России о своемъ появлении, потому что единственные глашатаи въстей были его противники «Съверная Пчела» и «Библіотека для Чтенія», которыя, конечно, не помъстили бы благопріятныхъ о немъ объявленій. Онъ начался довольно поздно, не съ новымъ годомъ, слъдственно не въ то время, когда обыкновенно начинаются подписки; наконецъ, онъ пренебрегъ быстрымъ выходомъ книжекъ и срочною ихъ поставкою. Но важнъйшія причины неуспъха заключались въ характерѣ самаго журнала. По первымъ вышедшимъ книжкамъ уже можно было видѣть, что предположеніе журнала было слѣдствіемъ одного горячаго мгновенія. Въ «Московскомъ Наблюдателѣ» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходомъ всего журнала. Редакторъ его виденъ быль только на заглавномъ листкъ. Имя его было почти неизвъстно. Онъ написаль досель нъсколько сочиненій статистическихъ, вмъющихъ много достоинства, но которыхъ публика чисто литературная не знада вовсе. Литературныя мнёнія его были неизвёстны. Въ этомъ состояла большая ошибка издателей «Московскаго Наблюдателя». Они позабыли, что редавторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности его мнѣній, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свъжей дъятельности его основывается весь кредить журнала. Но г. Андросовъ явился въ «Московскомъ Наблюдателъ» вовсе незамътнымъ лицомъ. Если желаніе издателей было постановить только почетнаго редактора, какъ вошло въ обычай у насъ на лѣнивой Руси, то въ такомъ случаѣ они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю отвътственность на редакторъ, п «Московский Наблюдатель» сталъ похожъ на тъ ученыя общества, гдъ члены ничего не дълають и даже не бывають

въ присутствія, между тѣмъ какъ президентъ является каждый день, садится въ свои кресла и велитъ записывать протоколъ своего уединеннаго засѣданія. Въ журналѣ было пѣсколько очень хорошихъ статей; его украсили стихи Языкова и Баратынскаго, эти перлы русской поэзіи; но, при всемъ томъ, въ журналѣ не было замѣтно никакой современной живости, никакого хлопотливаго движенія; не было въ немъ разнообразія, необходимаго для изданія періодическаго. Замѣчательныя статьи, поступавшія въ этотъ журналъ, были похожи на оазисы, зеленѣющіе посреди цѣлаго моря песчаныхъ степей. Притомъ издатели, какъ кажется, мало имѣли свѣдѣнія о томъ, что нравится и что не нравится публикѣ. Статьи, часто хорошія, дѣлались скучными, потому только, что онѣ тянулись изъ одного нумера въ другой съ несносною подписью: продолженіе впредь. Вотъ каковъ былъ журналъ, долженствовавшій бороться съ «Библіотекой для Чтенія».

«Наблюдатель» начался оппозиціонною статьею г. Шевырева о торговлъ, зародившейся въ нашей литературъ. Въ ней авторъ нападаетъ на торговлю въ ученомъ міръ, на всеобщее стремленіе составить себъ доходъ изъ литературныхъ занятій. Первая ошибка была здъсь та, что авторъ статьи обратиль внимание не на главный предметь. Во-вторыхъ, онъ гремълъ противъ пишущихъ за деньги, но не разрушилъ никакого мнѣнія въ публикѣ касательно внутренней цённости товара. Статья сія была понятна однимъ литераторамъ, нанесла досаду «Библіотекъ для Чтенія», но ничего не дала знать публикъ, не понимавшей даже, въ чемъ состояло дъло. Притомъ сін нападенія были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный законъ всякаго дъйствія. Литература должна была обратиться въ торговлю, потому что читатели и потребность чтенія увеличились. Естественное дѣло, что при этомъ случаѣ всегда больше выигрывають люди предпріимчивые. безъ большого таланта, ибо во всякой торговлъ, гдъ покупщики еще простоваты, выигрывають больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, въ чемъ состоить обманъ, а не пересчитывать ихъ барыши. Что литераторъ купилъ себѣ доходный домъ или пару лошадей, это еще не бѣда; дурно то, что часть бъднаго народа купила худой товаръ и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бъдныхъ покупщиковъ, а не на продавцовъ. Продавцы обыкновенно бываютъ люди натэдные: сегодня здъсь, а завтра, Богъ знаетъ, гдъ. При этомъ (лучаъ сдъланъ быль несправедливый упрекъ книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виновать, который за предпріимчивость и честную діятельность заслуживаеть одну только благодарность. Нъть спора, что онъ далъ, можеть-быть, много воли людямъ, которымъ приличнъе было заниматься просто торговлею, а не литературою. Таланть не искателенъ, но корыстолюбіе искательно. На это такъ же смѣшно жаловаться, какъ было бы странно жаловаться на правительство, встрѣтивши недальновиднаго чиновника. Для таланта есть потомство, этотъ неподкупный ювелиръ, который оправляетъ одни чистые брилліанты.

Г. Шевыревъ показалъ въ статът своей благородный порывъ негодованія на прозаическое, униженное направленіе литературы, но на большинство публики эта статья рѣшительно не сдѣлала никакого впечатлѣнія. «Библіотека» отвѣчала коротко, въ духѣ обыкновенной своей тактики; обратившись къ зрителямъ, т.-е. къ подписчикамъ, она говорила: «вотъ какое неблагородство духа показалъ г. Шевыревъ, неприличіе и неимѣніе высокихъ чувствъ, упрекая насъ въ томъ, что мы трудимся для денегъ, тогда какъ» и проч... Это обыкновенная политика петербургскихъ журналовъ и газетъ. Какъ только кто-нибудь сдѣлаетъ имъ упрекъ въ корыстолюбія и въ

бездѣйствін, опи всегда жалуются публикѣ на неприличіе выраженій и неблагородство духа своихъ противниковъ; говорять, что статья эта писана съ цѣлію только поддѣть публику и забрать отъ читателей деньги, что они почитаютъ съ своей стороны священнымъ долгомъ предувѣдомить публику.

Итакъ, выходка «Московскаго Наблюдателя» скользнуда по «Библіотекъ для Чтенія», какъ пуля по толстой кожѣ носорога, отъ которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский Наблюдатель» замолчаль, — доказательство, что онъ не начерталь для себя обдуманнаго плана дъйствій и что ръшительно не зналь, какъ и съ чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или, если начать, то уже не отставать. Только постояннымъ дъйствіемъ могъ «Наблюдатель» дать себъ ходъ и сдълать имя свое извъстнымъ публикъ, какъ сдълалъ его извъстнымъ «Телеграфъ», дъйствуя такимъ же образомъ и почти при такихъ же обстоятельствахъ. «Наблюдатель» выпустиль вслёдь за тёмь нёсколько нумеровь, но ни въ одномъ изъ нихъ не сказалъ ничего въ защиту и подкръпленіе своихъ мнъній. Чрезъ нѣсколько нумеровъ показалась, наконець, статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной въ «Библіотекъ» статьи, подъ именемъ: «Брамбеусъ и юная сдовесность», въ которой Брамбеусъ назвалъ самъ себя законодателемъ какой-то новой школы и вводителемъ новой эпохи въ русской литературъ.

Это въ самомъ дълъ было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самихъ себя, или подъ именемъ друзей своихъ, или даже сами отъ себя, но все же съ нъкоторою застънчивостію, и послъ сами старались все это какъ нибудь загресть собственными руками, чувствуя, что, нъсколько провинились. Но никогда еще авторъ не хвалилъ себя такъ свободно и непринужденно, какъ баронъ Брамбеусъ. Эта оригинальная статья слишкомъ была ярка, чтобы не быть замъченною. Ею занялся и «Телескопъ» и потруниль надъ нею довольно забавно, только вскользь; съ обыкновенною смътливостию о ней намекнулъ и г. Воейковъ; она возродила статью и въ «Московскомъ Наблюдателъ». Цъль этой статьи была доказать, откуда баронъ Брамбеусъ почерпнулъ тадантъ свой и знаменитость, какими твореніями чужихъ хозяевъ пользовался, какъ своимъ; другими словами: изъ какихъ лоскутовъ баронъ Брамбеусъ сшилъ себъ халатъ. Нъсколько безгласныхъ книжекъ, выходившихъ вслъдъ за тъмъ, совершенно погрузили «Московскаго Наблюадтеля» въ забвеніе. Даже самая «Библіотека для Чтенія» перестала, наконецъ, упоминать о немъ, какъ о безсильномъ противникъ, продолжала шутить надъ важнымъ и неважнымъ и говорить все то, что первое попадалось подъ перо ея.

Вотъ каковы были дъйствія нашихъ журналовъ. Изложивъ ихъ, разсмотримъ теперь, что сдълали они въ эти два года такого, которое должно вписаться въ исторію нашей литературы, оставить въ ней свою оригинальную черту, — какія мнѣнія, какіе толки они утвердили, что опредълили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значить. Извъщеніе о томъ, что критика будетъ благонамъренная, чуждая личностей и партій, тоже не показываетъ цъли. Она должна быть необходимымъ условіемъ всякаго журнала. Даже множество помъщенныхъ въ журналъ статей ничего не значитъ, если журналъ не имъетъ своего мнънія и не оказывается въ немъ направленіе, хотя даже одностороннее, къ какой-нибудь цъли. «Телеграфъ» издавался «кажется, съ тъмъ, чтобы испровергнуть обветшалыя, заматерълыя, почти машинальныя мысли тогдашнихъ нашихъ старожиловъ—классиковъ; «Московскій Въстникъ», одинъ изъ лучшихъ журналовъ,

Н. В. ГОГОЛЬ.

432

несмотря на то, что въ немъ немного было современнаго движенія, издавался съ тѣмъ, чтобы познакомить публику съ замѣчательнѣйшими созданіями Европы, раздвинуть кругъ нашей литературы, доставить намъ свѣжія идеи о писателяхъ всѣхъ временъ и народовъ. Здѣсь не мѣсто говорить, въ какой степени оба сіи журнала выполнили цѣль свою; по крайней мѣрѣ, стремленіе къ ней было чувствуемо въ нихъ читателями. Но разсмотрите внимательно издававшіеся въ послѣдніе два года журналы; уловите главную нить каждаго изъ нихъ: сей-то нити и не сыщете. Развернувши ихъ, будете поражены мелкостью предметовъ, вызвавшихъ толки ихъ. Подумаете, что рѣшительно ни одного важнаго событія не произошло въ литературномъ мірѣ. А между тѣмъ:

1) Умеръ знаменитый шотландецъ, великій дъеписатель сердца, природы и жизни, полнъйшій, общирнъйшій геній XIX въка.

2) Въ литературъ всей Европы распространился безпокойный, волнующійся вкусъ. Являлись опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, пламенныя, — слъдствіе политическихъ волненій той страны, гдъ рождались. Странная, мятежная, какъ комета, неорганизованная, какъ она, эта литература волновала Европу, быстро облетъла всъ углы читающаго міра.

Пусть эти явленія будуть всемірно-европейскія, хотя они отражались и въ Россія; разсмотримъ литературныя событія чисто русскія.

3) Распространилось въ большой степени чтеніе романовъ, холодныхъ, скучныхъ повъстей, и оказалось очень явно все общее равнодушіе къ поэзіи.

4) Вышли новыми изданіями Державинъ, Карамзинъ, гласно требовавшіе своего опредѣленія и настоящей, вѣрной оцѣнки такъ, какъ и всѣ прочіе старые писатели наши, ибо въ литературномъ мірѣ нѣтъ смерти, и мертвецы такъ же вмѣшиваются въ дѣла наши и дѣйствуютъ вмѣстѣ съ нами, какъ и живые.

Они требовали возвращенія того, что дъйствительно имъ слъдуетъ; они требовали уничтоженія неправаго обвиненія, неправаго опредъленія, безсмысленно повтореннаго въ продолженіе нъсколькихъ лътъ и повторяемаго донынъ.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгимъ размышленіемъ, что такое былъ Вальтеръ Скоттъ, въ чемъ состояло вліяніе его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводомъ неправильнаго уклоненія вкуса и въ чемъ состоялъ ея характеръ? ()тчего поэзія замѣнилась прозаическими сочиненіями? На какой степени образованія стоитъ русская публика, и что такое русская публика? Въ чемъ состоитъ оригинальность и свойство нашихъ писателей?

Напрасно въ этомъ отношеніи читатель станетъ искать въ нихъ новыхъ мыслей или какихъ-нибудь слѣдовъ глубокаго, добросовѣстнаго изученія. Вальтеръ Скотта у насъ только побранили. Французскую литературу одни приняли съ дѣтскимъ энтузіазмомъ, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человѣческаго, дотолѣ сокровенныя для Сервантеса, для Шекспира... Другіе безотчетно поносили ее, а между тѣмъ сами писали во вкусѣ той же школы еще съ большими несообразностями. Вопросомъ, отчего у насъ въ большомъ ходу водяные романы и повѣсти, вовсе не занялись, а вмѣсто того вдобавокъ напустили и своихъ еще собственныхъ. О нашей пу́бликѣ сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на всѣ журналы и разныя изданія, ибо ихъ можетъ читать и отецъ семейства, и купецъ, и воинъ, и литераторъ; о Державинѣ, Карамзинѣ и Крыловѣ ничего не сказали или сказали то, что говоритъ уѣздный учитель своему ученику, и отдѣлались пошлыми фразами. О чемъ же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайшихъ и любимѣйшихъ предметахъ: они говорили о себѣ, они хвалили въ своихъ журналахъ собственныя свои сочиненія; они рѣшительно были заняты только собою, на все другое они обращали какое-то холодное, безстрастное вниманіе. Великое и замѣчательное было какъ будто невидимо. Ихъ равнодушная критика обращена была на тѣ предметы, которые почти не заслуживали вниманія.

Въ чемъ же состоялъ главный характеръ этой критики? Въ ней очень явственно было замътно:

1) Пренебреженіе къ собственному мнѣнію. Почти никогда не было замѣтно, чтобы критикъ считалъ свое дѣло важнымъ и принимался за него съ благоговѣніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, чтобы, водя перомъ своимъ, думалъ о небольшомъ числѣ возвышенно-образованныхъ современниковъ, передъ которыми онъ долженъ дать отвѣть въ каждомъ своемъ словѣ. Журнальная критика по большей части была какимъ-то гаерствомъ. Какъ хвалили книгу покровительствуемаго автора? Не говорили просто, что такая книга хороша или достойна вниманія въ такомъ-то и такомъ-то отношеніи, совсѣмъ нѣтъ. «Эта книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, геніальная, первая на Руси; продается по пятнадцати рублей; авторъ выше Вальтеръ Скотта, Гумбольдта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте въ библіотеку вашу; также и второе изданіе купите и поставьте въ библіотеку: хорошаго не мѣщаетъ имѣть и по два экземпляра».

Большая часть книгь была расхвалена безъ всякаго разбора и совершенно безотчетно. Если счесть всъ тъ, которыя попали въ первоклассныя, то иной подумаетъ, что нътъ въ міръ богаче русской литературы, и только черезъ нъсколько времени противоположные толки тъхъ же самыхъ рецензентовъ о тъхъ же самыхъ книгахъ заставятъ его задуматься и приведутъ въ недоумъніе. Та же самая неумъренность являлась въ упрекахъ сочиненіямъ писателей, противъ которыхъ рецензентъ питалъ ненависть или неблагорасположеніе. Такъ же безотчетно изливалъ онъ гнъвъ свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безвъріе и литературное невъжество. Эти два свойства особенно распространились въ послъднее время у насъ въ литературъ. Нигдъ не встрѣтишь, чтобы упоминались имена уже окончившихъ поприще писателей нашихъ, которые глядятъ на насъ, въ лучахъ славы, съ вышины своей. Ни одинъ изъ критиковъ не поднялъ благоговъйно глазъ своихъ, чтобы ихъ примѣтить. Никогда почти не стоятъ на журнальныхъ страницахъ имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о вліяніи ихъ, еще остающемся, еще замътномъ. Никогда они даже не брались въ сравненіе съ нынѣшнею эпохой, такъ что наша эпоха кажется какъ будто отрублена отъ своего корня, какъ будто у насъ вовсе нътъ начала, какъ будто исторія прошедшаго для насъ не существуеть. Это литературное невѣжество распространяется особенно между молодыми рецензентами, такъ что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успъетъ пройти годъ-другой, какъ толки, вначалъ довольно громкіе, уже безгласные, неслышные, какъ звукъ безъ отголоска, какъ фразы, сказанныя на вчерашнемъ балъ. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдълались совершенною игрушкою. Одинъ рецензенть роняеть тёхъ, которыхъ поднялъ его противникъ, и все это делается безъ всякаго разбора, безъ всякой иден. Иное имя бываетъ обязано славою своею ссорь двухъ рецензентовъ. Не говоря о писателяхъ отечественныхъ,

Н. В. Гоголь. Томъ III.

 $\mathbf{28}$

рецензентъ, о какой бы пустъйшей книгъ ни говорилъ, непремънно начнетъ Шекспиромъ, котораго онъ вовсе не читалъ. Но о Шекспиръ пошло въ моду говорить — итакъ, подавай намъ Шекспира! Говоритъ онъ: «Съ сей точки начнемъ мы теперь разбирать открытую предъ нами книгу. Посмотримъ, какъ авторъ нашъ соотвътствовалъ Шекспиру». А между тъмъ, разбираемая книга чепуха, писанная вовсе безъ всякихъ притязаній на соперничество съ Шекспиромъ, и сходствуетъ развъ только съ духомъ и образомъ выраженія самого рецензента.

3) Отсутствіе чисто эстетическаго наслажденія и вкуса. Еще въ московскихъ журналахъ видишь иногда какой-нибудь вкусъ, что-нибудь похожее на любовь къ искусству; напротивъ того, критики журналовъ петербургскихъ, особенно такъ - называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемыя сочиненія превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигдѣ не видить читатель, чтобы это было признакомъ чувства, признакомъ пониманія, истекло изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышить мертвящею холодностію. Въ немъ видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензентъ задѣтъ за живое, и когда дѣло относится къ его собственному достоинству. Справедливость требуетъ упомянуть о критикахъ Шевырева, какъ объ утѣшительномъ исключеніи. Онъ передаетъ намъ впечатлѣнія въ томъ видѣ, какъ приняла ихъ душа его. Въ статьяхъ его вездѣ замѣтенъ мыслящій человѣкъ, иногда увлекающійся первымъ впечатлѣніемъ.

4) Мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство. Мы уже видъли, что критика не занималась вопросомъ важнымъ. Вниманіе рецензій было устремлено на цълую шеренгу пустыхъ книгъ и вовсе не съ тъмъ, чтобы разбирать ихъ, но чтобы блеснуть любезностію, заставить читателя разсмъяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видъли изъ знаменитаго процесса о двухъ бъдныхъ мъстоименіяхъ: сей и оный. Воть до чего дошла, наконецъ, русская критика!

Ето же были тъ, которые у насъ говорили о литературъ? Въ то время не сказалъ своихъ мнѣній ни Жуковскій, ни Крыловъ, ни князь Вяземскій, ни даже тѣ, которые еще не такъ давно издавали журналы, имѣвшіе свой голось и показавшие въ статьяхъ своихъ вкусъ и знание: нужно ли послъ этого удивляться такому состоянію нашей литературы? Отчего же не говорили сін писатели, показавшіе въ твореніяхъ своихъ глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низкимъ спуститься на журнальную сферу, гдъ обыкновенно бойцы всякаго рода заводять свой шумный бой? Мы не имъемъ права рѣшить этого. Мы должны только замѣтить, что критика, основанная на глубокомь вкуст и умъ, критика высокаго таланта имъетъ равное достоинство со всякимъ оригинальнымъ твореніемъ: въ ней виденъ разбираемый писатель, въ ней виденъ еще болъе самъ разбирающій. Критика, начертанная талантомъ, переживаетъ эфемерность журнальнаго существованія. Для исторіи литературы она неоцѣнима. Наша словесность молода. Корифеевъ ея было немного; но для критика мыслящаго она представляеть целое поле, работу на цълые годы. Писатели наши отлились совершенно въ особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражанія, они заключають въ себъ чисто русскіе элементы: и подражаніе наше носить соверпенно съверообразный характеръ, представляетъ явленіе, замъчательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заключимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы съ текущимъ годомъ болѣе показалось дѣятельности и, при большемъ количествѣ журналовъ,

явилось бы болѣе независимости отъ монополіи, а черезъ то болѣе соревнованія у всѣхъ соотвѣтствовать своей цѣли. По крайней мѣрѣ, замѣтно какое-то утѣшительное стремленіе уже и въ томъ, что нѣкоторые журналы съ будущимъ годомъ обѣщаютъ издаваться съ большимъ противу прежняго раченіемъ. Издатели «Сына Отечества», издатель «Телескопа» заговорили объ улучшеніяхъ. Нельзя и сомнѣваться, чтобы при большемъ стараніи невозможно было сдѣлать большаго. По крайней мѣрѣ, со всѣмъ чистосердечіемъ и теплою молитвою излагаемъ желаніе наше: да наградятся старанія всѣхъ и каждаго сторицею, и чѣмъ безкорыстнѣе и добросовѣстнѣе будуть труды его, тѣмъ болѣе да будеть онъ почтенъ заслуженнымъ вниманіемъ и благодарностію.

Digitized by Google

28*

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ.

1836 года.

I.

...Въ самомъ дълъ, куда забросило русскую столицу – на край свъта! Странный народъ русскій: была столица въ Кіевъ — здъсь слишкомъ тепло, мало холоду; перебхала русская столица въ Москву — нътъ, и тутъ мало холоду: подавай Богъ Петербургъ! Зато какая дичь между матушкою и сынкомъ! Что это за виды, что за природа! Воздухъ продернуть туманомъ; на блъдной сърозеленой землъ обгорълые пни, сосны, ельникъ, кочки... Хорошо еще, что стрѣлою летящее шоссе да русскія поющія и звенящія тройки духомъ пронесутъ мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сихъ поръ русская борода, а онъ уже ловкій европеецъ. Какъ раскинулась, какъ расширилась старая Москва! Какъ сдвинулся, какъ вытянулся въ струнку щеголь-Петербургъ! Передъ нимъ со всъхъ сторонъ зеркала: тамъ Нева, тамъ Финскій задивъ. Ему есть куда поглядъться. Какъ только замътить онь на себѣ перышко или пушокъ, ту жъ минуту его прочь. Москва старая домосъдка, печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ разсказъ, не подымаясь съ кресель, о томъ, что дълается въ свътъ; Петербургъ – разбитной малый, никогда не сидить дома, всегда одъть и, охорашиваясь передъ Европою, раскланивается съ заморскимъ людомъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинаеть печь французскіе хлібы, которые на завтра всі събсть разноплеменный народъ, и во всю ночь то одинъ глазъ его свътится, то другой; Москва ночью вся спить, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужескаго. Въ Москвъ все невъсты, въ Петербургъ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждъ, не любить пестрыхъ цвътовъ и никакихъ ръзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, то чтобы во всей формъ была мода; если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннъе; если отвороты фрака велики, то у ней — какъ сарайныя двери. Петербургь аккуратный человъкъ, совершенный нъмецъ, на все глядить съ разсчетомъ и прежде, нежели задумаеть дать вечеринку, посмотрить въ карманъ; Москва — русскій дворянинъ и, если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманъ: она не любитъ средины. Въ Москвъ всъ журналы, какъ бы учены ни были, но всегда къ концу книжки оканчиваются картинкою модъ; петербургские ръдко прилагаютъ картинки, если же приложать, то съ непривычки взглянувшій можеть перепугаться. Московскіе журналы говорять о Канть, Шеллингь и проч., и проч.; въ петербургскихъ

журналахъ говорять только о публикъ и благонамъренности... Въ Москвъ журналы идуть на ряду съ въкомъ, но опаздывають книжками; въ Петербургъ журналы нейдуть наравнъ съ въкомъ, но выходять аккуратно, въ положенное время. Въ Москвъ литераторы проживаются, въ Петербургъ наживаются. Мосява всегда тдеть, завернувшись въ медвъжью шубу, и большею частію на об'єдъ; Петербургъ, въ байковомъ сюртукъ, заложивъ об'є руки въ карманъ, детить во всю прыть на биржу или «въ должность». Москва гуляеть до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымется съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшить, въ своемъ байковомъ сюртукъ, въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается налегкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежные и разъбзжаются во всё стороны свёта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ ухабамъ, сбывать и закупать; въ Петербургъ идеть русскій народъ пѣшкомъ лѣт-нею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливаеть тюки да вьюки, на мелкаго продавца и смотръть не хочеть; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздълился, разложился на лавочки и магазины и довить мелкихъ покупшиковъ. Москва говоритъ: - коли нужно покупщику — сыщеть; Петербургъ суетъ вывъску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ «Ренскимъ погребомъ» и ставить извозчичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлеть товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва — большой гостиный дворъ; Петербургь — свътлый магазинъ. Москва нужна для Россіи, для Петербурга нужна Россія. Въ Москвъ ръдко встрътишь гербовую пуговицу на фракъ; въ Петербургѣ нѣть фрака безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любить подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнеть Петербургь тёмъ, что онъ не умъеть говорить по-русски. Въ Петербургъ, на Невскомъ проспектъ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картиновъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда попадается, въ самой серединъ модной толпы, какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи. Сказалъ бы еще вое-что, но —

"Дистанція огромнаго размѣра..."

II.

Трудно схватить общее выраженіе Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонію: такъ же мало коренной національности и такъ же много иностраннаго смѣшенія, еще не слившагося въ плотную массу. Сколько въ немъ разныхъ націй, столько и разныхъ слоевъ обществъ. Эти общества совершенно отдѣльны: аристократы, служащіе чиновники, ремесленники, англичане, нѣмцы, кущы — всѣ составляютъ совершенно отдѣльные круги, рѣдко сливающіеся между собою, больше живущіе, веселящіеся невидимо для другихъ.

И каждый изъ этихъ классовъ, если присмотрѣться ближе, составленъ изъ множества другихъ маленькихъ кружковъ, тоже неслитыхъ между собой. Напримѣръ, возьмите чиновниковъ. Молоденькіе помощники столоначальниковъ составляютъ свой кругъ, въ который ни за что не опустится начальникъ отдѣленія. Столоначальникъ, съ свой стороны, подымаетъ свою прическу нъсколько повыше въ присутствіи канцелярскаго чиновника. Нъмцы-мастеровые и нъмцы-служащіе тоже составляють два отдъльные вруга. Учителя составляють свой кругь, актеры свой кругь; даже литераторь, являющійся до сихъ поръ двусмысленнымъ и сомнительнымъ лицомъ, стоитъ совершенно отдёльно. Словомъ, какъ будто бы пріёхалъ въ трактиръ огромный дилижансь, въ которомъ каждый пассажиръ сидблъ во всю дорогу закрывшись и вошель въ общую залу потому только, что не было другого мъста. Попытка на заведение публичныхъ обществъ доселъ не имъетъ успъха. Въ клубъ петербургскій житель идеть для того только, чтобы пооб'ядать, а не провесть время. Что Петербургъ не сдълался до сихъ поръ гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стяхія русскаго человѣка, до сихъ поръ глядящая оригинальностію даже въ візчной шлифовкі съ иностранцами. Чтобы говорить о каждомъ изъ этихъ круговъ и замътить жизнь, текущую между нихъ, съ ея веселостями, наслажденіями, надеждами, печалями, нужно быть однимъ изъ тъхъ, которые вовсе ничего не пишуть, потому что у этихъ господъ, въ награду за ихъ дъятельность, ръшительно нъть времени. Итакъ, мимо балы и вечеринки! Обращусь къ тёмъ увеселеніямъ, послѣ которыхъ долѣе остается воспоминаніе, и которыя пріемдются всёми классами. Театръ, концертъ — вотъ тъ пункты, гдъ сталкиваются классы петербургскихъ обществъ и имъють время вдоволь насмотръться другь на друга. Балеть и опера царь и царица петербургскаго театра. Они явились блестяще, шумне, восторжениъе прежнихъ годовъ, и упоенные зрители позабыли, что существуетъ величавая трагедія, вдыхающая невольно высокія ощущенія въ согласныя сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть комедія, върный списокъ общества, движущагося предъ нами, - комедія, строго обдуманная, производящая глубовостью своей ироніи смѣхъ, — не тоть смѣхъ, воторый порождается легкими впечатлёніями, бёглою остротою, каламбуромъ, не тотъ также смёхъ, который движеть грубою толпою общества, для котораго нужны конвульсіи и каррикатурныя гримасы природы, но тоть электрическій, живительный смѣхъ, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо оть души, пораженной ослъпительнымъ блескомъ ума, рождается изъ спокойнаго наслажденія и производится только высокимъ умомъ. Зрители правы, что были упоены балетомъ и оперой... На драматической сценъ являлись мелодрама и водевиль, заѣзжкіе гости, которые были хозяевами во французскомъ театръ, а на русскомъ играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русскіе актеры нъсколько странны, когда представляють маркизовъ, виконтовъ и бароновъ, какъ, въроятно, были бы смъшны французы, вздумавъ поддълаться подъ русскихъ мужиковъ; а сцены баловъ, вечеровъ и модныхъ раутовъ, являющихся въ русскихъ піесахъ, — каковы онъ? А водевили?.. Давно уже пролѣзли водевили на русскую сцену, тѣшать народъ средней руки, благо смѣшливъ. Кто бы могъ думать, что водевиль будетъ не только переводный на русской сценъ, но даже и оригинальный? Русскій водевиль! право, немножко странно — странно потому, что эта легкая, безцвътная игрушка могла родиться только у французовъ, націи, не имѣющей въ характерѣ своемъ глубокой, неподвижной физіогноміи; но когда русскій, еще нъсколько суровый, тяжелый характеръ заставляють вертъться петиметромъ... мнѣ такъ и представляется, что нашъ тучный и смътливый купецъ съ широкою бородою, не знавши на ногъ своей ничего другого, кромъ тяжелаго сапога, надълъ, вмъсто него, узенькій башмачокъ и чулки à jour, а другую ногу свою оставилъ просто въ сапогъ п сталъ такимъ образомъ въ первую пару во французскомъ кадрилѣ.

Уже лъть пять, какъ мелодрамы и водевили завладъли театрами всего свъта. Какое обезьянство! Даже нъмцы — ну, кто бы могь подумать, что нъщы, этотъ основательный, этотъ склонный къ глубокому эстетическому наслажденію народъ, — нёмцы теперь играють и пишуть водевили, передёлывають и клеять напутыя и ходопныя медопрамы! И пусть бы еще повътріе это занесено было могуществомъ мановенія генія! Когда весь міръ ладилъ подъ лиру Байрона, это не было смѣшно; въ этомъ стремленіи было даже что-то утвшительное. Но Дюма, Дюканжь и другіе стали всемірными законодателями!.. Клянусь, XIX въкъ будетъ стыдиться за эти пять лътъ. О, Мольерь, великій Мольерь! ты, который такь общирно и въ такой полноть развиваль свои характеры, такъ глубоко слъдиль всъ тъни ихъ, ты, строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шиллеръ, въ такомь поэтическомь свътъ выказавшій достоинство человъка! взгляните, что дълается послъ васъ на нашей сценъ; посмотрите, какое странное чудовище, подъ видомъ мелодрамы, забралось между насъ! Гдѣ же жизнь наша? гдѣ мы со всёми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отраженіе ся видъли мы въ нашей мелодрамъ! Но ажетъ самымъ безсовъстнымъ образомъ наша мелодрама...

Непостижимое явленіе: то, что вседневно окружаеть нась, что неразлучно съ нами, что обыкновенно, то можеть замъчать одинъ только глубокій, великій, необыкновенный таланть. Но то, что случается ръдко, что составляеть исключенія, что останавливаеть насъ своимъ безобразіемъ, нестройностію среди стройности, за то схватывается объими руками посредственность. И вотъ жизнь глубокаго таланта течетъ во всемъ своемъ разливъ, со всею стройностью, чистая, какъ зеркало, отражая съ одинаковою ясностію и темныя, и свътлыя облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни яснаго, ни темнаго.

Странное сдълалось сюжетомъ нынъшней драмы. Все дъло въ томъ, чтобы разсказать какое-нибудь происшествіе, непремѣнно новое, непремѣнно странное, дотолѣ неслыханное и невиданное: убійство, пожары, самыя дикія страсти, которыхъ нътъ и въ поминъ въ теперешнихъ обществахъ! Какъ будто въ наши европейскіе фраки переодълись сыны палящей Африки! Палачи, яды — эффектъ, въчный эффектъ, и ни одно лицо не возбуждаетъ никакого участія! Никогда еще не выходиль изъ театра зритель растроганный, въ слезахъ; напротивъ того, въ какомъ-то тревожномъ состояния торопливо садился онъ въ карету и долго не могъ собрать и сообразить своихъ мыслей. И среди нашего утонченнаго, образованнаго общества такой родъ зрълища! Невольно передвигаются передъ глазами ть кровавыя ристалища, на которыя собирался смотръть весь Римъ въ эпоху величайшаго владычества своего и притупленнаго пресыщенія. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закать существованія, но только на заръ его! Если собрать всъ мелодрамы, какія были даны въ наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, въ которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или лучше -календарь, въ которомъ записаны, съ календарною холодностію, всѣ странныя происшествія, гдѣ противъ каждаго числа выставлено: сегодня было въ такомъ-то мъстъ такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы такимъ-то разбойникамъ и зажигателямъ; такой-то ремесленникъ заръзалъ тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, въ какомъ странномъ недоумъни будетъ потомовъ нашъ, вздумающій исвать нашего общества въ нашнхъ мелодрамахъ.

Не удивительно, что балеть и опера утѣшительнѣе и служать отдохновеніемъ: въ нихъ наслажденіе спокойно. — Опера принимается у насъ очень жадно. До сихъ поръ не прошелъ тотъ энтузіазмъ, съ какимъ бросился весь Петербургъ на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адскимъ наслажденіемъ, музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лѣтъ передъ симъ равнодушно глядѣла публика, «Семирамида» въ нынѣшнее время, когда музыка Россини почти анахронизмъ, приводитъ въ совершенный восторгъ ту же самую публику. Объ энтузіазмѣ, произведенномъ оперою «Жизнь за Царя», и говорить нечего: онъ понятенъ и извѣстенъ уже цѣлой России. Объ этой оперѣ надобно говорить много, или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыкъ, ни о пъніи. Мнъ кажется, что всѣ музыкальные трактаты и рецензіи должны быть скучны для самихъ музыкантовъ: въ музыкъ огромнъйшая часть ея невыразима и безотчетна. Музыкальныя страсти — не житейскія страсти; музыка иногда только выражаеть, или, лучше сказать, поддълывается подъ голосъ нашихъ страстей, для того, чтобы, опершись на нихъ, устремиться брызжущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей въ другую сферу. Замѣчу только, что меломанія болѣе и болѣе распространяется. Люди такіе, которыхъ никто не подозрѣвалъ въ музыкальномъ образѣ мыслей, сидятъ неотлучно въ «Жизни за Царя», «Робертѣ», «Нормѣ», «Фенеллѣ» и «Семирамидѣ». Оперы даются почти два раза каждую недблю, выдерживають несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билеть. Ужъ не наша ли славянская пъвучая природа такъ дъйствуетъ? И не есть ли это возвратъ къ нашей старинъ послъ путешествія по чужой земль европейскаго просвъщенія, гдь около насъ говорили все непонятнымъ языкомъ и мелькали все незнакомые люди, — возвратъ на русской тройкѣ, съ заливающимся колокольчикомъ, съ которымъ мы, привставъ на бѣгу и помахивая шляпой, говоримъ: «Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить изъ нашихъ національныхъ мотивовъ! Покажите мнѣ народъ, у котораго бы больше было пѣсенъ. Наша Украйна звенитъ пѣснями. По Волгѣ, отъ верховья до моря, на всей вереницѣ влекущихся барокъ заливаются бурлацкія пѣсни. Подъ пѣсни рубятся изъ сосновыхъ бревенъ избы по всей Руси. Подъ пѣсни мечутся изъ рукъ въ руки кирпичи, и, какъ грибы, вырастаютъ города. Подъ пѣсни бабъ пеленается, женится и хоронится русскій человѣкъ. Все дорожное, дворянство и недворянство, летитъ подъ пѣсни ямщиковъ. У Чернаго моря безбородый, смуглый, съ смолистыми усами козакъ, заряжая пищаль свою, поетъ старинную пѣсню; а тамъ, на другомъ концѣ, верхомъ на плывущей льдинѣ, русскій промышденникъ бьетъ острогой кита, затятивая пѣсню. У насъ ли не изъ чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Онъ счастливо умѣлъ слить въ своемъ твореніи двѣ славянскія музыки; слышишь, гдѣ говоритъ русскій и гдѣ полякъ: у одного дышитъ раздольный мотивъ русской пѣсни, у другого опрометчивый мотивъ польской мазурки.

Петербургскіе балеты блестять. Кстати о балетахъ вообще. Постановка балетовъ въ Парижѣ, Петербургѣ и Берлинѣ ушла очень далеко; но надо замѣтить, что совершенствуется въ нихъ только богатство костюмовъ и богатство декорацій; самая же сущность балета, изобрѣтеніе его, нейдетъ въ рядъ съ его постановкой; балетные композиторы очень мало новаго показываютъ въ танцахъ. До сихъ поръ мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются въ разныхъ углахъ міра: испанецъ пляшетъ не такъ, какъ швейцарецъ, шотландецъ, какъ теньеровскій нѣмецъ, русскій не такъ, какъ французъ, какъ азіатецъ. Даже въ провинціяхъ одного и того же государства измѣняется танецъ. Сѣверный руссъ не такъ пляшетъ, какъ малороссіянинъ,

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ.

какъ славянинъ южный, какъ полякъ, какъ финнъ: у одного танецъ говорящій, у другого безчувственный; у одного бъшеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкій, воздушный. Откуда родилось такое разнообразіе танцевъ? Оно родилось изъ характера народа, его жизни и образа занятій. Народъ, проведшій горделивую и бранную жизнь, выражаетъ ту же гордость въ своемъ танцѣ; у народа безпечнаго и вольнаго та же безграничная воля и поэтическое самозабвеніе отражаются въ танцахъ; народъ климата пламеннаго оставилъ въ своемъ національномъ танцѣ ту же нѣгу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостію, творецъ балета можетъ брать изъ нихъ, сколько хочетъ, для опредѣленія характеровъ пляшущихъ своихъ героевъ. Само собою разумѣется, что, схвативши въ нихъ первую стихію, онъ можетъ развить ее и улетѣть несравненно выше своего оригинала, какъ музыкальный геній изъ простой, услышанной на улицѣ пѣсни создаетъ цѣлую поэму. По крайней мѣрѣ, танцы будутъ имѣть тогда болѣе смысла, и такимъ образомъ можетъ болѣе образнообразиться этотъ легкій, воздушный и пламенный языкъ, доселѣ еще нѣсколько стѣсненный и сжатый.

Петербургъ — большой охотникъ до театра. Если вы будете гудять по Невскому проспекту въ свъжее морозное утро, во время котораго небо золотисто-розоваго цвъта перемежается сквозными облаками подымающагося изъ трубъ дыма, зайдите въ это время въ съни Александринскаго театра: вы будете поражены упорнымъ терпъніемъ, съ которымъ собравшійся народъ осаждаетъ грудью раздавателя билетовъ, высовывающаго одну руку свою изъ окошка. Сколько толпится тамъ лакеевъ всякаго рода, начиная отъ того, который пришелъ въ сърой шинели и въ шелковомъ цвътномъ галстукъ, но безъ шапки, до того, у котораго трехъэтажный воротникъ ливрейной шинели похожъ на пеструю суконную бабочку для вытиранія перьевъ. Тутъ протираются и тъ чиновники, которымъ чистятъ сапоги кухарки и которымъ некого послать за билетомъ. Тутъ увидите, какъ прямо-русскій герой, потерявъ, наконецъ, терпѣнiе, доходитъ, къ необыкновенному изумленію, по плечамъ всей толпы къ окошку и подучаетъ билетъ. Тогда только вы узнаете, въ какой степени видна у насъ любовь къ театру. И что же дается въ нашихъ театрахъ? — какія-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердитъ я на мелодрамы и водевили.

Положеніе русскихъ актеровъ жалко. Передъ ними трепещетъ и кипитъ свъжее народонаселеніе, а имъ даютъ лица, которыхъ они и въ глаза не видали. Что имъ дълать съ этими странными героями, которые ни французы, ни нѣмцы, но какіе-то взбалмошные люди, не имъющіе ръшительно никакой опредъленной страсти и ръзкой физіономіи? гдъ выказаться? на чемъ развиться таланту? Ради Бога, дайте намъ русскихъ характеровъ, насъ самихъ дайте намъ, нашихъ плутовъ, нашихъ чудаковъ! на сцену ихъ, на смъхъ всъмъ! Смъхъ — великое дъло: онъ не отнимаеть ни жизни, ни имънія, но передъ нимъ виновный — какъ связанный заяцъ... Мы такъ приглядълись къ французскимъ безцвѣтнымъ пьесамъ, что намъ уже боязливо видѣть свое. Если намъ представятъ какой-нибудь живой характеръ, то мы уже думаемъ, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсѣмъ не похоже на какого-нибудь пейзана, театральнаго тирана, риемоплета, судью и тому подобныя обношенныя лица, которыхъ таскаютъ беззубые авторы въ свои пьесы, какъ таскаютъ на сцену вѣчныхъ фигурантовъ, отплясывающихъ предъ зрителями, съ тою же улыбкою, свое лихо вытверженное въ продолженіе сорока лѣтъ па. Если, напримъръ, сказать, что въ одномъ городъ однъъ

Digitized by Google

q.

н. в. гоголь.

надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія, то всѣ надворные совѣтники обидятся, а иной, совершенно другой совѣтникъ, даже скажетъ: «Какъ же это? у меня есть родственникъ надворный совѣтникъ, прекрасный человѣкъ! Какъ же можно сказать, что есть надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія». Какъ будто одинъ можетъ порочить все сословіе! И такая раздражительность у насъ рѣшительно распространена на всѣ классы. Нужны ли примѣры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только върное изображение характеровъ, не въ общихъ вытверженныхъ чертахъ, но въ ихъ національно вылившейся формѣ, поражающей насъ живостью, такъ что мы говоримъ: «Да это, кажется, знакомый человѣкъ», — только такое изображение приноситъ существенную пользу. Изъ театра мы сдълали игрушку вродѣ тѣхъ побрякушекъ, которыми заманиваютъ дѣтей, позабывши, что это такая каеедра, съ которой читается разомъ цѣлой толпѣ живой урокъ, гдѣ, при торжественномъ блескѣ освѣщения, при громѣ музыки, при единодушномъ смѣхѣ, показывается знакомый, прячущійся порокъ и, при тайномъ голосѣ всеобщаго участія, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театръ. Я заговорияся о немъ. Его зимній карнаваль замыкаетъ шумная недъля Петербурга, когда онъ одною половяною своего народонаселенія летаетъ на качеляхъ, мчится, какъ вихорь, съ ледяныхъ горъ, а другою превращается въ длинную цъпь каретъ и едва движется, ровняемый жандармами, когда спектакли даются и днемъ, и вечеромъ, и вся Адмиралтейская площадь засѣяна скорлупами орѣховъ...

Спокоенъ и грозенъ Великій пость. Кажется, слышенъ голосъ: «Стой, христіанинъ; оглянись на жизнь свою». На улицахъ пусто. Каретъ нѣтъ. Въ лицъ прохожаго видно размышленіе. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнѣе, обдуманнѣе потекутъ мои мысли. Весь пустой и ничтожный народъ, вѣрно, пролежитъ заспанный и утомленный и позабудетъ зайти потревожить меня пошлымъ разговоромъ о вистѣ, о литературѣ, о наградахъ, о театрѣ.

Постъ въ Петербургъ есть праздникъ музыкантовъ. Въ это время они съъзжаются изъ разныхъ сторонъ Европы. Огромный концертъ въ пользу инвалидовъ всегда бываетъ величественъ: четыреста музыкантовъ! это что-то могущественное. Когда согласный ропотъ четырехсотъ звуковъ раздается подъ дрожащими сводами, тогда, мнъ кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновеннымъ содроганіемъ.

Въ продолженіе поста въ петербургскую атмосферу заглядываеть солнце. Западная сторона съ моря дълается яснъе. Съверъ глядитъ съ меньшею суровостью изъ своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улицъ и высаживають на тротуаръ гуляющихъ. Съ 1836 года Невскій проспектъ, этотъ шумный, въчно шевелящійся, хлопотливый и толкающій Невскій проспектъ упалъ совершенно: гулянье перенесено на Англійскую набережную. Покойный императоръ любилъ Англійскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, замѣтилъ я, что она немного коротка. Но гуляющіе все въ выигрышъ, потому что половину Невскаго проспекта всегда почти занималъ народъ мастеровой и должностной, и оттого на немъ можно было получитъ толчковъ цѣлою третью больше, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ...

Къ чему такъ быстро летить ничъмъ незамънимое наше время. Кто его кличеть къ себъ? Великій постъ — какой спокойный, какой уединенный его отрывокъ! Чего нельзя сдълать въ эти семь недъль? Теперь, наконецъ, займусь я основательно трудомъ своимъ. Теперь совершу я, наконецъ, то,

чего не дали совершить мнѣ шумъ и всеобщее водненіе. Но воть уже на исходѣ первая недѣля; не успѣлъ начать я, уже летить за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка въ Гостиномъ дворъ, и цълая галлерея вербъ съ восковыми фруктами и цвътами зацвъла подъ темными его арками. Когда я проходилъ мимо этой пестрой аллен, подъ тёнью которой были навалены топорныя пътскія игрушки, мнъ спълалось досадно. Я сердился и на краснощекихъ нянекъ, шатавшихся толпами, и на дътей, радостно останавливавшихся передъ кучами пріятнаго для нихъ сора, и на черномазаго, приземистаго и усатаго грека, титуловавшаго себя молдаванскимъ кондитеромъ, съ его сомнительными и неопредъденными вареньями. Лежавшія на столикахъ сапожныя щетки, одовянныя обезьянки, ножи и видки, пряники, маденькія зеркальца мнъ казались противны. Народъ все такъ же пестрится, тъснится; ть же чувства выражаются на лиць его; съ темъ же любопытствомъ глядить онъ, съ какимъ глядълъ и годъ тому назадъ, два и три, и нъсколько лътъ; а я, и каждый человъкъ изъ этого народа уже не тотъ: уже другія въ немъ чувства, нежели были за годъ предъ симъ; уже суровъе мысли его; менъе улыбается на устахъ душа его, и что-нибудь да отпадаетъ съ каждымъ днемъ оть прежней его живости.

Нева всярылась рано. Льды, не тревоженные вътрами, успъли истаять почти до вскрытія, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти въ одно время. Столица вдругь измънилась. И шпицъ Петропавловской колокольни, и кръпость, и Васильевскій островъ, и Выборгская сторона, и Англійская небережная — все получило картинный видъ. Дымясь, влетълъ первый пароходъ. Первыя лодки съ чиновниками, солдатами, старухами-няньками, англійскими конторпциками понеслись съ Васильевскаго и на Васильевскій. Давно не помню я такой тихой и свътлой погоды. Когда взошель я на Адмиралтейскій бульварь, — это было наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія вечеромъ, — когда Адмиралтейскимъ бульваромъ достигъ я при-стани, передъ которою блестять двъ япимовыя вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвътъ неба дымился съ Выборгской стороны голубымъ туманомъ, строенія стороны Петербургской одблись почти лиловымъ цвътомъ, скрывшимъ ихъ неказистую наружность, когда церкви, у которыхъ тумань одноцватнымъ покровомъ своимъ скрылъ вса выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой матеріи, и въ этой лилово-голубой мглѣ блестѣлъ одинъ только шпицъ Петропавловской колокольни, отражаясь въ безконечномъ зеркалъ Невы, — мнъ казалось, будто я былъ не въ Петербургѣ: мнѣ казалось, будто я переѣхаль въ какой-нибудь другой городъ, гдѣ уже я бывалъ, гдѣ все знаю, и гдѣ то̀, чего нѣтъ въ Петербургѣ... Вонъ и знакомый гребецъ, съ которымъ я не видался болъе полутода, болтается съ своимъ яликомъ у берега, и знакомыя раздаются рѣчи, и вода, и льто, которыхъ не было въ Петербургъ.

Сильно люблю весну. Даже здёсь, на этомъ дикомъ сѣверѣ, она моя. Мнѣ кажется, никто въ мірѣ не любить ее такъ, какъ я. Съ нею приходить ко мнѣ моя юность; съ ней мое прошедшее болѣе чѣмъ воспоминаніе: оно передъ моими глазами и готово брызнуть слезою изъ моихъ глазъ. Я такъ былъ упоенъ ясными, свѣтлыми днями Христова Воскресенія, что не замѣчалъ вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видѣлъ только издали, какъ качели уносили на воздухъ какого-то молодца, сидѣвшаго объ руку съ какой-то дамой въ щегольской шляпкѣ; мелькнула въ глаза вывѣска на угольномъ балаганѣ, на которомъ нарисованъ былъ пребольшой рыжій чортъ съ топоромъ въ рукѣ. Больше я ничего не видѣлъ.

Свѣтлымъ Воскресеніемъ, кажется, какъ будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видимъ на улицъ, укладывается въ дорогу. Спектакли, балы послѣ Свѣтлаго Воскресенія — больше ничего, какъ оставшіеся хвосты отъ тъхъ, которые были передъ Великимъ постомъ, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже другихъ и проговаривають у камина еще нѣсколько словъ, прикрывая одною рукою зѣвающій роть свой. Горонъ весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены въ однихъ сюртучкахъ, съ разными палками; вмъсто громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже въ окна магазиновъ, вмъсто шерстяныхъ чулковъ, гляпятъ кое-гат лътнія фуражки и хлыстики. Словоиъ, Петербургь, во весь апръль мъсяцъ, кажется на подлеть. Весело презрѣть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленыя рощи, въ страны новаго и свѣжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концъ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или увънчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція... Но стой, мысль моя: еще съ объяхъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе домы...

ЮНОШЕСКІЕ ОПЫТЫ.

Digitized by Google

いたい いんしょうかい しょういきんたい 戸田 御知い

201-1

ГАНЦЪ КЮХЕЛЬГАРТЕНЪ.

идиллія

ВЪ КАРТИНАХЪ.

Сочинение В. АЛОВА.

(Писано въ 1827 г.).



Бередлагаемое сочиненіе никогда бы не увидѣло свѣта, если бы обстоятельства, важныя для одного только автора, не побудили его къ тому. Это произведеніе его восемнадцатилѣтней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствѣ, ни о недостаткахъ его и предоставляя это просвѣщенной публикѣ, скажемъ только то, что многія изъ картинъ сей идилліи, къ сожалѣнію, не уцѣлѣли; онѣ, вѣроятно, связывали болѣе нынѣ разрозненные отрывки и дорисовывали изображеніе главнаго характера. По крайней мѣрѣ, мы гордимся тѣмъ, что по возможности споспѣшествовали свѣту ознакомиться съ созданьемъ юнаго таланта.

Свътаетъ. Вотъ проглянула деревня, —

Дома, сады. Все видно, все свътдо. Вся въ золотъ сіяетъ колокольня, И блещеть лучъ на старенькомъ заборъ.

. . .

Плѣнительно оборотилось все Внизъ головой въ серебряной водѣ: Заборъ, и домъ, и садикъ въ ней такiе жъ;

Все движется въ серебряной водъ: Синъетъ сводъ, и волны облакъ ходятъ, И лъсъ живой вотъ только не шумитъ.

На берегу, далеко вшедшемъ въ море, Подъ тѣнью липъ, стоитъ уютный домикъ Пастора. Въ немъ давно старикъ живетъ. Ветшаетъ онъ, и старенькая кровля Посунулась; труба вся почернѣла; И лѣпится давно цвѣтистый мохъ Ужъ по стѣнамъ; и окна искосились; Но какъ-то мило въ немъ, и ни за что

Старикъ его бъ не отдалъ. Вотъ та липа, Гдѣ отдыхать онъ любитъ, тожъ дрях-

льеть;

Зато вкругъ ней зеленые прилавки Изъ дерну свѣжаго. Въ дуплистыхъ норахъ

Ея гнѣздятся птички, старый домъ И садъ веселой пъснью оглашая. Пасторъ всю ночь не спалъ, да предъ разсвътомъ Ужъ вышелъ спать на чистый воз-

духъ; И дремлетъ онъ подъ липой въ ста-

рыхъ креслахъ,

- И вътерокъ ему свъжить лицо,
- И бѣлые взвѣваеть волоса.

Н. В. Гоголь, Томъ III.

Но кто прекрасная подходить, Какъ утро свъжее, горитъ И на него глаза наводить, Очаровательно стоить? Взгляните же, какъ мило будить Ея лилейная рука, Его касаяся слегка, И возвратиться въ міръ нашъ нудитъ. И воть въ-полглаза онъ глядить,

И вотъ спросонья говорить:

«О, дивный, дивный посътитель! Ты навъстиль мою обитель! Зачъть же тайная тоска Всю душу мнѣ насквозь проходить, И на съдого старика Твой образъ дивный сдалска Волненье странное наводить? Ты посмотри: уже я хиль, Давно въ живущему остыль, Себя погребъ въ себѣ давно я, Со дня я на день жду покоя, О немъ и мыслить ужъ привыкъ, О немъ и мелетъ мой языкъ. Чего жъ ты, гостья молодая, Къ себъ такъ пламенно влечешь? Или, жилища неба-рая, Ты мић надежду подаешь, На небеса меня зовешь? О, я готовъ, да не достоинъ. Велики тяжкіе гръхи: И я быль здой на свътъ воинъ. – Меня робѣди пастухи, Мнѣ лютыя дѣла не новость; Но дьявола отрекся я, И остальная жизнь моя — Заплата малая моя За прежней жизна злую повъсть...»

Тоски, смятенія полна, «Сказать, — подумала опа, — Онъ, Богъ знаетъ, куда заѣдетъ... Сказать ему, что онъ въдь бредитъ».

Но онъ въ забвенье погруженъ; Его объемлетъ снова сонъ. Склонясь надъ нимъ, она чутъ дышитъ. Какъ почиваетъ! какъ онъ спитъ! Вздохъ чутъ замѣтный грудь колышетъ; Незримымъ воздухомъ обвитъ, Его архангелъ сторожитъ; Улыбка райская сіяетъ, Чело святое осѣняетъ.

Вотъ онъ открылъ свои глаза: «Луиза, ты ль? мнъ снилось... странно... Ты поднялась, шалунья, рано; Еще не высохла роса. Сегодня, кажется, туманно». —

«Нѣтъ, дѣдушка, свътло, сводъ чисть; Сквозь рощу солнце свѣтить ярко; Не колыхнется свъжій листь, И поутру уже все жарко. Узнаете ль, зачёмъ я въ вамъ? — У насъ сегодня будетъ праздникъ, У насъ ужъ старый Лодельгамъ, Скрипачъ, съ нимъ Фрицъ проказникъ: Мы будемъ ѣздить по водамъ... Когда бы Ганцъ...» Добросердечный Пасторъ съ улыбкой хитрой ждетъ, О чемъ разсказъ свой поведетъ Младенецъ ръзвый и безпечный. «Вы, дѣдушка, вы можете помочь Одни неслыханному горю:

Мой Ганцъ страхъ боленъ; день и ночь Все ходитъ къ сумрачному морю; Все не по немъ, всему не радъ, Самъ говоритъ съ собой, къ намъ скученъ: Спросить — отвѣтитъ невпопадъ, И весь ужасно какъ измученъ. Ему зазнаться ужъ съ тоской — Да этакъ онъ себя погубитъ;

При мысли я дрожу одной:

Быть-можеть, недоволенъ мной; Быть-можеть, онъ меня не любить. Мнѣ это — въ сердце ножъ стальной. Я васъ просить, мой ангелъ, смѣю...» И кинулась къ нему на шею, Стѣсненной грудью чуть дыша, И вся зардѣлась, вся смѣшалась Моя красавица-душа; Слеза на глазкахъ показалась... Ахъ, какъ Луиза хороша!

«Не плачь, спокойся, другъ мой милый! Въдь стыдно плакать, — наконецъ, Духовный молвилъ ей отецъ. — Богъ намъ даритъ терпѣнье, силы: Съ твоей усердною мольбой, Тебѣ ни въ чемъ Онъ не откажетъ. Повѣрь, Ганцъ дышитъ лишь тобой; Повѣрь, онъ то тебѣ докажетъ. Зачѣмъ же мыслію пустой Душевный растравлять покой?»

Такъ утъшаеть онъ свою Луизу, Ее къ груди дряхлѣющей прижавъ. Вотъ старая Гертруда ставитъ кофій, Горячій и весь свѣтлый, какъ янтарь. Старикъ любилъ на воздухъ пить кофій, Держа во рту черешневый чубукъ: Лымъ уходилъ и кольцами ложился. И, призадумавшись, Луиза хлѣбомъ Кормила съ рукъ своихъ кота, который Мурлыча крался, слыша сладкій запахъ. Старикъ привсталъ съ цвѣченыхъ старыхъ кресель, Принесъ мольбу и руку внучкъ подаль. И воть надѣлъ нарядный свой хала́ть. Весь изъ парчи серебряной, блестящей,'• И праздничный неношеный колпакъ — Его въ подарокъ нашему пастору Изъ города привезъ недавно Ганцъ — И, опираясь на плечо Луизы Лилейное, старикъ нашъ вышелъ въ поле.

Какой же день! Веселые вились И пѣли жавронки; ходили волны

Digitized by Google

450

Отъ вѣтру золотого въ полѣ хлѣба; Сгустились воть надъ ними дерева; На нихъ плоды предъ солнцемъ наливались

Прозрачные; вдали темнѣли воды Зеленыя; сквозь радужный туманъ Неслись моря душистыхъ ароматовъ; Пчела-работница срывала медъ Сь живыхъ цвѣтовъ; рѣзвунья стрекоза,

Волнуемъ думой непонятной, Нашъ Ганцъ разсъянно глядълъ На міръ великій, необъятной, На свой незнаемый удълъ. Доселѣ тихій, безмятежной, Онъ жизнью радостно играль, Душой невинною и нъжной Вь ней горькихъ бъдъ не прозръвалъ; Земного міра уроженець, Земныхъ губительныхъ страстей Онъ не носиль въ груди своей, Безпечный, вѣтреный младенецъ; И было весело ему. Онь разръзвлялся мило, живо Въ толиъ дътей; не върилъ злу: Предъ нимъ цвѣлъ міръ какъ бы на диво. Его подруга съ дътскихъ дней Дитя-Луиза, ангелъ свътлый, Блистала прелестью рѣчей; Сквозь кольца русыя кудрей Лукавый взглядъ жегь непримѣтно; Въ зеленой юбочкъ сама Поеть, танцуеть ли она-Все простодушно въ ней, все живо, Все дътски въ ней красноръчиво; На шейкъ розовый платокъ, Съ груди слетаетъ понемножку, И стройно бѣлый башмачокъ Ея охватываеть ножку. Въ лѣсу ль играетъ вмѣстѣ съ нимъ— Его обгонить, все проникнеть, Въ кустъ притаясь съ желаньемъ злымъ, При стройномъ шумъ ветхихъ водъ. Ему вдругъ въ уши громко крикнетъ И испугаеть; спить ди онъ — Ему лицо все разрисуеть: И звонкимъ смѣхомъ пробужденъ, Онъ покидаеть сладкій сонъ, Шалунью ръзвую цълуетъ.

Треща, вилась; разгульная вдали Неслася пъснь, — то пъснь гребцовъ удалыхъ.

Ръдъеть лъсъ, видна уже долина, По ней мычать игривыя стада; А издали видна уже и вровля Луизина; краснъють черепицы, И ярко лучъ по краямъ ихъ сколь-

ЗИТЬ.

Картина II.

Уходить за весной весна. Кругъ дътскихъ игръ ихъ сталъ ужъ скроменъ; Межъ ними ръзвость не видна; Огонь очей его сталь томень; Она заствнчиво-грустна. Они понятно угадали Васъ, рѣчи первыя любви! Покуда сладкія печали! Покуда радужные дни! Чего бъ желать съ Луизой милой? Онъ съ ней и вечеръ, съ ней и день: Къ ней привлеченъ онъ дивной силой, Какъ вѣрно бродящая тѣнь. Полны сердечнаго участья, Не наглядятся старики Ихъ простодушные на счастье Своихъ дътей; и далеки Оть нихъ дни горя, дни сомнѣній; Ихъ осѣняеть мирный Геній.

Но скоро тайная печаль Имъ овладъла; взоръ туманенъ: И часто смотрить онъ на даль, И безповоенъ весь, и страненъ. Чего-то смѣло ищеть умъ, Чего-то тайно негодуеть; Душа, въ волненьи темныхъ думъ, О чемъ-то, скорбная, тоскуеть. Онъ, какъ прикованный, сидить, На море буйное глядить; Въ мечтаньи все кого-то слышить

Или въ долинъ ходить думный; Глаза торжественно блестять, Когда несется вътеръ шумный, И громы жарко говорять; Огонь мгновенный колеть тучи;

29*

Дождя источники горючи Сѣкутся звучно и шумять. Иль въ часъ полночи, въ часъ мечтаній Сидить за книгою преданій, И, перевертывая листь, Онъ ловитъ буквы въ ней нѣмыя: Глаголять въ нихъ въка съдые И слово дивное гремить. Часъ углубясь въ раздумьи цѣлой, Съ нея и глазъ онъ не сведеть. Кто мимо Ганца ни пройдеть, Кто ни посмотрить, скажеть смѣло: Назадъ далеко онъ живетъ. Чудесной мыслью очаровань, Подъ дуба сумрачную сѣнь Идеть онъ часто въ лътній день; Къ чему-то тайному прикованъ, Онъ видить тайно чью-то тень, И къ ней онъ руки простираетъ, Ее въ забвеньи обнимаеть.

А простодушна, и одна Луиза-ангелъ, что же? гдѣ же?

Картина III.

- Земля классическихъ, прекрасныхъ созиданій,
 - 11 славныхъ дѣлъ, и вольности земля!
- Аеины! къ вамъ, въ жару чудесныхъ трепетаній,

Душой приковываюсь я!

- Вотъ отъ треножниковъ до самаго Пирея
- Кипитъ, волнуется торжественный народъ;
- дъ ръчь Эсхинова, гремя и пламенъя,
- Все своенравно вслъдъ влечетъ, Какъ воды шумныя прозрачнаго Иллиса.
- Великъ сей мраморный изящный Парөенонъ!
- Колоннъ дорическихъ онъ рядомъ обнесенъ;
- Минерву Фидій въ немъ переселилъ ръзцомъ,
- И блещеть кисть Парразія, Зевксиса. Подъ портикомъ божественный мудрецъ

Ему всёмъ сердцемъ предана, Не знаетъ, бъдненькая, сна; Ему приноситъ ласки тъ же: Его ручонкой обовьетъ, Его невинно поцълуетъ; Онъ на минуту растоскуетъ, И снова то же запоетъ.

Они прекрасны, тё мгновенья, Когда прозрачною толпой Далеко милыя видёнья Уносять юношу съ собой Но если міръ души разрушенъ, Забыть счастливый уголокъ, Къ нему онъ станеть равнодушенъ, И для простыхъ людей высокъ; Они ли юношу наполнятъ, И сердце радостью ль исполнятъ?...

Пока въ жилищъ суеты Его подслушаемъ украдкой, Доселъ бывшія загадкой, Разнообразныя мечты.

- Ведеть высокое о дольнемъ мірѣ слово: Кому за доблести безсмертіе готово, Кому позоръ, кому вѣнецъ.
- Фонтановъ стройныхъ шумъ, нестройныхъ пъсней клики:
- Съ восходомъ дня толпа въ амфитеатръ валитъ,
- Персидскій Кандисъ весь испещренный блестить,
- И вьются легкія туники. Стихи Софокловы порывисто звучать; Вѣнки лавровые торжественно летять; Съ медоточивыхъ устъ любимца Эпикура
- Архонты, воины, служители Амура Спѣшатъ прекрасную науку изучить: Какъ жизнью жить, какъ наслажденье пить.
- Но вотъ Аспазія! не смѣетъ и дохнутъ Смятенный юноша, при черныхъ глазъ сихъ встрѣчѣ.
- Какъ жарки тѣ уста! какъ пламенны тѣ рѣчи!
- II темныя, какъ ночь, тъ кудри какънибудь,

Волнуясь, падають на грудь, Хот На бъломраморныя плечи. Мн Но что, при звукъ чашъ, тимпановъ О, дикій вой? Меч Плющомъ увънчаны, вакхическія дъвы Бъгуть нестройною, неистовой толпой А н Въ священный лъсъ; все скрылось... И р что вы? гдъ вы?..

Но вы пропали, я одинъ. Опять тоска, опять досада; Хотя бы Фавнъ пришелъ съ долинъ,

Въ странъ, гдъ сверкають живые ключи,

Гдъ, чудно сіяя, блистають лучи;

Дыханіе амбры и розы ночной -

Роскошно объемлетъ зовиръ голубой; И въ воздухъ тучи куреній висятъ; Плоды Мангустана златые горятъ;

Луговъ Кандагарскихъ сверкаетъ коверъ;

И смѣло накинуть небесный шатеръ; Роскошно валится дождь яркій цвѣтовъ,

То блещуть, трепещуть рои мотыльковъ;

Я вижу тамъ Пери: въ забвеньи она Не видитъ, не внемлетъ, мечтаній полна.

Какъ солнца два, очи небесно горять; Какъ Гемасагара, такъ кудри блестять;

Дыханіе — лилій серебряныхъ чадъ, Когда засыпаетъ истомленный садъ, И вътеръ ихъ вздохи развъетъ порой; А голосъ, какъ звуки сиринды ночной, Или трепетанье серебряныхъ крылъ, Когда ими звукнетъ, ръзвясь, Исразилъ,

Иль плески Хиндары таинственныхъ струй.

А что же улыбка? А что жъ поцѣлуй? Но вижу, какъ воздухъ, она ужъ летить,

Въ края поднебесны, къ родимымъ спъщитъ. Хотя бъ прекрасная Дріада Мнѣ показалась въ мракѣ сада. О, какъ чудесно вы, свой міръ Мечтою, греки, населили! Какъ вы его обворожили! А нашъ — и бѣденъ онъ, и сиръ, И расквадраченъ весь на мили.

И снова новыя мечты Его, смѣяся, обнимають; Его воздушно подымають Изъ океана суеты.

Картина IV.

Постой, оглянися! Не внемлеть она, И въ радугъ тонеть, и воть невидна. Но воспоминанье міръ долго хранить, И благоуханьемъ весь воздухъ обвить.

Живого юности стремленья Такъ испестрялися мечты. Шорой небеснаго черты, Души прекрасной впечатлёнья, На немъ лежали; но чего Въ волненьяхъ сердца своего Искаль онъ думою неясной, Чего желаль, чего хотбль, Къ чему такъ пламенно летблъ Душой и жадною, и страстной, Какъ будто міръ желалъ обнять, — Того и самъ не могъ понять. Ему казалось душно, пыльно Въ сей позаброшенной странъ, И сердце билось сильно, сильно По дальней, дальней сторонъ. Тогда, когда бъ вы повидали, Какъ воздымалась буйно грудь, Какъ взоры гордо трепетали, Какъ сердце жаждало прильнуть Къ своей мечтв, мечть неясной; **Какой въ немъ пылъ кипъл**ъ прекрасной:

Какая жаркая слеза Живые полнила глаза!

VI. Картина

Оть Висмара въ двухъ миляхъ та Когда вершину ихъ вѣтръ рѣзво волыхаль.--деревня, Гдъ ограничился лицъ нашихъ міръ. Подъ тънью тъхъ деревьевъ, въчно Не знаю, какъ теперь, но Люненсмилыхъ, дорфомъ Стояль съ утра дубовый столь, весь Она тогда, веселая, звалась. чистой Покрытый скатертью и Ужъ издали бълъетъ скромный домикъ весь уста-Вильгельма Бауха, мызника. — Давно, вленъ Душистой яствой: желтый вкусный Женившися на дочери пастора, Его состроиль онь. Веселый домикь! сыръ, выкрашень зеленой краской, Редисъ и масло въ фарфоровой уткъ, И пиво, и вино, и сладкій бишефъ, крыть Красивою и звонкой черепицей: И сахаръ, и коричневыя вафли; Вокругъ каштаны старые стоять, Въ корзинъ спълые, блестящіе плоды: Нависши вътвями, какъ будто въ Прозрачный гроздь, душистая малина, И, какъ янтарь, желтвющія груши, ORHA Хотять продраться; изъ-за нихъ мель-И сливы синія, и ярвій персикъ, -Въ затъйливомъ виднълось все покаеть Ръшетка изъ прекрасныхъ лозъ, крарядкѣ. Виль-Сегодня праздноваль живой CHBO И хитро сдълана самимъ Вильгельгельмъ Рожденье дорогой своей супруги, момъ; По ней висить и змъйкой вьется Съ пасторомъ и драгими дочерьми: хмель; Луизой старшей и меньшою Фанни. Съ окна протянутъ шесть, на немъ Но Фанни итть, она давно пошла бђање Звать Ганца и не возвращалась. Върно, Блистаеть бђлое предъ солнцемъ. Онъ гдѣ-нибудь опять въ раздумьи Воть бродить. А милая Луиза все глядить проломъ на чердакъ толинтся Внимательно на темное окно стая Мохнатыхъ голубей; протяжно влох-Сосѣда Ганца. Два шага всего вѣдь чуть Къ нему; но не пошла моя Луиза: Индъйки; хлопая встръчаеть день Чтобъ не замѣтилъ онъ въ ея лицѣ Крикунъ-пътухъ, и по двору воть Тоски докучливой, чтобъ не прочелъ Въ ея глазахъ онъ ъдкаго упрека. BamHO. Межь пестрыхь курь, онь кучи раз-Воть говорить Вильгельмъ, отецъ, гребаетъ Лунзѣ: Зернистыя; гуляють туть же двъ «Смотри ты, Ганца пожури поряд-Ручныя козы и рѣзвяся щиплють ROM'L: Душистую траву. Давно курился Зачѣмъ онъ къ намъ такъ долго не Ужъ дымъ изъ бълыхъ трубъ, куридеть? чаво онъ Вѣдь ты его сама избаловала». Вился и облака пріумножаль. И воть дитя-Луиза такъ въ отвѣть: Съ той стороны, гдъ съ стънъ вали-«Боюсь журить прекраснаго я Ганца: лась краска, И безъ того онъ боленъ, блѣденъ, И сърые торчали вирпичи, ХУДЪ...» «Что за болѣзнь? — сказала мать. Гдѣ древніе каштаны стлали тѣнь, Которую перебѣгало солнце, Живая Берта: — не болѣзнь, тоска

Онъ

Βъ

Незваная къ нему сама пристала; Воть женится, и отпадеть тоска. Такъ молодой побъть, совсъмъ приглохшій, За столь они садятся мирно; Опрыснутый дождемъ, вмигъ зацвѣтетъ. И скоро вмигъ вино все оживило И что жъ жена, какъ не веселье И, свътлое, смъхъ въ душу пролило. MV2Ka?» Старикъ-скрипачъ и Фрицъ на звон-«Рѣчь умная, — сѣдой пасторъ промолвиль:---Согласно грянули хозяйкъ въ честь. Все, вѣрь, пройдеть, когда захочеть Всъ понеслись и закружились въ Богъ. И будь во всемъ Его святая воля!» Развеселясь, румяный нашъ Уже два раза онъ изъ трубки выбивалъ Золу, и въ споръ вступалъ съ Виль-Пустился самъ съ своей женой, какъ гельмомъ. Разговорясь про новости газеть. Какъ вихорь, несся Ганцъ съ своей Про злой неурожай, про грековъ и Въ бурливомъ вальсъ; и предъ ними про турокъ. Про Мисолунги, про дъла войны, Про славнаго вождя Колокотрони, Про Канинга, про парламенть, Про бъдствія и мятежи въ Мадрить. Какъ вдругъ Луиза вскрикнуда и мигомъ, Увидя Ганца, бросилась къ нему. Въ движеньи потерядась. Ими Воздушный станъ ея обнявши стройный, Не налюбуясь, говорить пасторь: Съ волненьемъ юноша ее поцѣловалъ. «Любезная, прекрасная чета! Мила моя веселая Луиза, Оборотясь къ нему, воть молвить пасторъ: Прекрасенъ и уменъ «Эхъ, стыдно, Ганцъ, забыть своего друга! Да что, коли уже забыль Луизу, Объ насъ ли старикахъ и думать!»-«Полно Тебѣ все Ганца, папенька, журить!-Сказала Берта: — лучше сядемъ мы теперь за столъ, не то - простынетъ Bce: И каша съ рисомъ и виномъ души-Прекрасное я видѣлъ на землѣ». стымъ.

> Картина VII.

спокойный тихій Съ прохладою, вечеръ Спускается; прощальные лучи Цѣлують гдѣ-гдѣ сумрачное море; И искрами живыми, золотыми Деревья тронуты; и вдалевъ Виднѣють, сквозь туманъ морской, утесы,

Всѣ разноцвѣтные. Спокойно все. Пастушьихъ лишь рожковъ унывный голосъ Несется вдаль съ веселыхъ береговъ. Да тихій шумъ въ водъ всплеснувшей рыбы Чуть пробъжить и вздернеть MODe рябью.

И сахарный горохъ, каплунъ горячій, Зажаренный съ изюмомъ въ маслѣ». Воть

> кой флейтъ вальсѣ: Вильгельмъ съ павой; Луизой міръ

Вертълся весь въ чудесномъ, шумномъ строђ.

А милая Луиза ни дохнуть. Ни посмотръть вокругь не можеть:

вся

- И скроменъ Ганцъ, —

Сотворены они ужъ другъ для друга, И счастливо свою жизнь проведуть. Благодарю Тебя, о, Боже милосердый! Что ниспослаль на старость благодать, Мои продлилъ дряхлѣющія силы, Чтобы узрѣть такихъ прекрасныхъ внучатъ,

Чтобы сказать, прощаясь съ ветхимъ тбломъ:

455

- Зачѣмъ одинъ съ какой-то книгой Ты ночь сидишь? (мнѣ видно все, И окнами вѣдь другъ мы противъ
- друга). Зачѣмъ дичишься всѣхъ? зачѣмъ грустишь?
- 0, какъ меня твой грустный видъ тревожить:
- 0, какъ меня печаль твоя печалить!» И, тронутый, смутился Ганцъ,
- Ее въ груди съ тоскою прижимаеть, И брызнула невольная слеза.
- «Не спрашивай меня, моя Луиза,
- И безпокойствомъ симъ тоски не множь.
- Когда жъ кажусь погруженъ въ мысли —
- Вѣрь, занять и тогда тобой одною, И думаю я, какъ бы отвратить Всѣ оть тебя печальныя сомнѣнья, Какъ радостью твое наполнить сердце, Какъ бы души твоей хранить покой, Оберегать твой дѣтскій сонъ невинный,
- Чтобы недоброе не приближалось, Чтобы и тёнь тоски не прикасалась, Чтобъ счастіе твое всегда цвѣло». Спустясь къ нему головкою на грудь, Въ избыткѣ чувствъ, въ признательности сердца,
- Ни слова вымолвить она не можеть...
- По берегу неслася лодка плавно И вдругь причалила. Всѣ вышли
- Вмигъ изъ нея. «Ну! берегитесь, дъти,—
- Сказалъ Вильгельмъ: здъсь сыро и роса,
- Чтобъ не нажить несноснаго вамъ кашля».—
- Дорогой Ганцъ нашъ мыслитъ: «Что же будетъ,
- Когда услышить то, чего и знать бы Не должно ей?» И на нее глядить,
- И чувствуеть онъ въ сердцѣ укоризну:
- Какъ будто бы недоброе что сдълалъ, Какъ будто бы предъ Богомъ лицемърилъ.

- Да ласточка, крыломъ черпнувши моря,
- Круги, по воздуху скользя, даеть. Воть заблестълъ вдали, какъ точка,
- катеръ; Акто же въ немъ, въ томъ катеръ, сидитъ?
- Сидить пасторь, нашь старець съдовласый,
- И съ дорогой супругою Вильгельмъ;
- А ръзвая всегда шалунья Фанни,
- Съ удой въ рукахъ и свъсившись съ перилъ,
- Смѣясь, ручонкою болтала волны; Возлѣ кормы съ Лунзой милой Ганцъ. И долго всѣ въ молчаньи любовались, Какъ за кормой широкая ходила
- Волна и въ брызгахъ огнецвѣтныхъ, вдругъ
- Весломъ разорванная, трепетала; Какъ разъяснялась розовая дальность,
- И южный вѣтръ дыханье навѣваль. И вотъ пасторъ, исполненъ умиленья,
- Проговорилъ: «Какъ милъ сей Божій вечеръ!
- Прекрасенъ, тихъ онъ, какъ благая жизнь
- Безгрѣшнаго: она вѣдь такъ же мирно
- Кончаеть путь, и слезы умиленья Священный прахъ, прекрасныя, кропять.
- Пора и мнѣ ужъ; срокъ назначенъ, И скоро, скоро я не буду вашъ,
- Но этакъ ли прекрасно опочію?..» Всъ прослезились. Ганцъ, который пъсню
- Наигрывалъ на сладостномъ гобоѣ, Задумался и выронилъ гобой; И снова сонъ какой-то осѣнилъ
- Его чело; далеко мчались мысли,
- И чудное на душу натекло.
- И воть ему такъ говоритъ Луиза:
- «Скажи мнѣ, Ганцъ, когда еще ты любишь
- Меня, когда я пробудить могу Хоть жалость, хоть живое состра-
- данье Въ душѣ твоей, не мучь меня, скажи:

Картина VIII.

На башнѣ бьетъ часъ полуночный. Такъ, это часъ, часъ думъ урочный, Какъ Ганцъ одинъ всегда сидитъ! Свѣть лампы передъ нимъ дрожитъ И блѣдно сумракъ освѣщаетъ, Какъ бы сомнѣнья разливаетъ. Все спитъ. Ничей блудящій взоръ На полѣ никого не встрѣтитъ; И, какъ далекій разговоръ, Волна шумитъ, а мѣсяцъ свѣтитъ. Все тихо, дышитъ ночъ одна. Теперь его глубокихъ думъ Не потревожитъ дневный шумъ — Надъ нимъ такая жъ тишина.

А что жъ она? — Встаеть она, Садится прямо у окна: «Онъ не посмотрить, не примѣтить, А насмотрюсь я на него; Не спить для счастья моего!.. Благослови, Господь, его!»

Волна шумить, а мъсяць свътить; И воть надъ нею вьется сонъ И голову невольно клонить. Но Ганць все такъ же въ мысляхъ тонеть, Въ глубь ихъ далеко погруженъ.

1.

Все рѣшено. Теперь ужели Мнѣ здѣсь душою погибать? И не узнать иной мнѣ цѣли? И цѣли лучшей не сыскать? Себя обречь безславью въ жертву? При жизни быть для міра мертву!

2.

Душой ли, славу полюбившей, Ничтожность въ мірѣ полюбить? Душой ли, къ счастью неостывшей, Волненья міра не испить? И въ немъ прекраснаго не встрѣтить? Существованья не отмѣтить?

3.

Зачёмъ влечете такъ къ себё вы, Земли роскошные края? И день, и ночь, какъ птицъ напѣвы, Призывный голосъ слышу я; И день, и ночь мечтами скованъ

Я вами, вами очарованъ.

4.

Я вашъ! я вашъ! изъ сей пустыни Вниду я въ райскія мѣста; Какъ пилигримъ бредетъ къ святынѣ,

Корабль пойдеть, забрызжуть волны, Имъ чувства вслёдь веселья полны.

5.

И онъ спадетъ, покровъ неясный, Подъ коимъ знала васъ мечта, И міръ прекрасный, міръ прекрасный Отворитъ дивныя врата, Привѣтитъ юношу готовый И въ наслажденьяхъ вѣчно новый.

6.

Творцы чудесныхъ впечатлѣній! Рѣзецъ вашъ, кисть увижу я, И вашихъ пламенныхъ твореній Душа исполнится моя. Шуми жъ, мой океанъ широкій! Неси корабль мой одинокій!

7.

А ты прости, мой уголъ тъсный, И лъсъ, и поле! лугъ, прости! Кропи васъ чаще дождь небесный, И дай Богъ долъе цвъсти! По васъ душа какъ будто страждетъ, Въ послъдній разъ обнять васъ жаждетъ.

8.

Прости, мой ангель безмятежный! Чела слезами не кропи! Не предавайсь тоскъ мятежной И Ганца бъднаго прости! Не плачь, не плачь, я скоро буду,

Я возвращусь — тебя ль забуду?..

457

Картина IX.

Кто это позднею порой Ступаетъ тихо, осторожно? Видна котомка за спиной, Посохъ за поясомъ дорожный. Направо домикъ передъ нимъ, Налѣво дальняя дорога, Идти путемъ онъ хочетъ симъ И проситъ твердости у Бога. Но мукой тайною томимъ, Назадъ онъ ноги обращаетъ И въ домикъ тотъ онъ поспѣшаетъ.

Одно окно открыто въ немъ; Облокотясь предъ тъмъ окномъ, Краса-дъ́вица почиваеть, И, въя вътръ надъ ней крыломъ, Гй сны чудесные внушаеть; И, ими, милая, полна, Вотъ улыбается она. Съ душеволненьемъ къ ней подходить... Стъснилась грудь; дрожитъ слеза...

Не всходить долго свътлый вождь. Ненастно утро; на поляны Валятся сърые туманы; Звенить по кровлямъ частый дождь. Съ зарей красавица проснулась; Сама дивится, что она Проспала ночь всю у окна. Поправивъ кудри, улыбнулась, Но, противъ воли, взоръ живой Блеснулъ досадною слезой. «Что Ганцъ такъ долго не приходить? Онъ объщалъ мнъ быть чуть свътъ. Какой же день! тоску наводить: Туманъ густой по полю ходить, И вътръ свистить; а Ганца нъть».

Полна живого нетерпѣнья, Глядитъ на милое окно: Не отворяется оно. Ганцъ, вѣрно, спитъ, и сновидѣнья Ему творятъ любой предметъ; Но день давно ужъ. Рвутъ долины Ручъи дождя; дубовъ вершины Шумятъ; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ. И на прекрасную наводить Свои блестящіе глаза. Онъ наклонился къ ней, пылаеть, Ее цёлуеть и стенаеть.

И, вздрогнувъ, быстро онъ бѣжитъ Опять дорогою далекой; Но мраченъ неспокойный видъ, Но грустно въ сей душѣ глубокой. Воть оглянулся онъ назадъ; Но ужъ туманъ окрестность кроеть, И пуще юноши грудь ноеть, Прощальный посылая взглядъ. Вътръ, пробудившися, суровой Качнуль зеленою дубровой; Исчезло все въ дали пустой. Сквозь сонъ лишь смутною порой Готлибъ-привратникъ будто слышалъ, Что изъ калитки кто-то вышелъ, Да върный песъ, какъ бы въ укоръ, Продаядъ звучно на весь дворъ.

Картина X.

Ужъ скоро полдень. Непримѣтно Туманъ уходитъ; лѣсъ молчитъ; Громъ въ размышленіи гремитъ Вдали... Дугою семицвѣтной Горитъ на небѣ райскій свѣтъ; Унизанъ искрами дубъ древній; И пѣсни звонкія съ деревни Звучатъ; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ.

Что бъ это значило?.. находитъ Злодъйка-грусть; слухъ утомленъ Считать часы... Воть кто-то входитъ... И въ дверь... Онъ! онъ!.. ахъ, нътъ, не онъ! Въ халатъ розовомъ покойномъ, Въ цвътномъ передникъ съ каймой, Приходитъ Берта: «Ангелъ мой! Скажи, что сдълалось съ тобой? Ты ночъ всю спала безпокойно; Ты вся томна, ты вся блъдна. Не дождь ли помъшалъ шумливый, Или ревущая волна? Или пътухъ, буянъ крикливый, Всю ночь не въдающій сна?

Иль потревожиль духъ нечистый Во снѣ покой дѣвицы чистой, Навъялъ черную печаль? Скажи: тебя всёмъ сердцемъ жаль!» — «Нъть, не мъшаль мнъ дождь шумливый, И ни ревущая волна, И ни пътухъ, буянъ крикливый, Всю ночь не въдающий сна; Не эти сны, не тъ печали Мнѣ грудь младую взволновали, Не ими духъ мой возмущенъ: Иной мнѣ снился дивный сонъ. Мнѣ снилось: въ темной я пустынѣ, Вокругъ меня туманъ и глушь; И на болотистой равнинъ Нѣть мѣста, гдѣ была бы сушь. Тяжелый запахъ, топко, вязко; Что шагь, то бездна подо мной: Боюся я ступить ногой; И вдругъ миѣ сдѣлалось такъ тяжко, Такъ тяжко, что нельзя сказать... Гдѣ ни возьмись Ганцъдивій, странный (Бъжала кровь, струясь изъ раны) Вдругь началь надо мной рыдать; Но, вмѣсто слезъ, лились потови Какой-то мутныя воды... Проснулась я: на грудь, на щеки, На кудри русой головы, Бѣжалъ ручьями дождь досадной;

Гы посмотри, тиранъ жестокій, На грусть убитыя души! Какъ вянетъ цвѣтъ сей одинокій, Забытый въ пасмурной глуши! Вглядись, вглядись въ свое творенье: Ее ты счастія лишилъ, И жизни радость претворилъ Въ тоску ей, въ адское мученье, Въ гнѣздо разоренныхъ могилъ. О, какъ она тебя любила! Съ какимъ восторгомъ чувствъ живымъ Простыя рѣчи говорила! И какъ внималъ рѣчамъ ты симъ!

Какъ пламененъ и какъ невиненъ Былъ этотъ блескъ ея очей! Какъ часто ей, въ тоскъ своей, Тотъ день казался скученъ, длиненъ, И было сердцу не отрадно. Меня предчувстіе беретъ... И я кудрей не выжимала; И я все утро тосковала: Гдѣ онъ? и что̀ съ нимъ? что̀ нейлетъ?»

Стоить, качаеть головою Разумная предь нею мать: «Ну, дочка! мнѣ съ твоей бѣдою, Не знаю, какъ ужъ совладать. Пойдемъ къ нему, узнаемъ сами, Да будь святая сила съ нами!»

Воть входять въ комнату онъ; Но въ ней все пусто. Въ сторонъ Лежить, въ густой пыли, томъ давній, Платонъ и Шиллеръ своенравный, Петрарка, Тикъ, Аристофанъ Да позабытый Винкельманъ; Куски изодранной бумаги; На полкъ-свъжіе цвъты; Перо, которымъ, полнъ отваги, Передавалъ свои мечты. Но на столѣ мелькнуло что-то... Записка!.. съ трепетомъ взяла Луиза въ руки. Отъ кого-то? Къ кому?.. И что жъ она прочла?.. Языкъ лепечетъ странно пени... И вдругъ упала на колѣни; Ее кручина давить, жжеть, Гробовый холодъ въ ней течеть.

Картина XI.

Когда, раздумью предана, Тебя не видѣла она! И тыль, и тыль ее оставиль? Ты ль отвернулся оть всего? Въ страну чужую путь направилъ, И для кого? и для чего? Но посмотри, тиранъ жестокій: Она все такъ же, подъ окномъ, Сидить и ждеть, въ тоскъ глубокой, Не промелькнеть ли милый въ немъ? Ужъ гаснеть день; сіяеть вечеръ; На все наброшенъ дивный блескъ: Прохладный вьется въ небѣ вѣтеръ; Волны чуть слышенъ дальній плескъ. Уже ночь тъни настилаеть; Но западъ все еще сіяеть. Свирѣль чуть льется; а она Сидить недвижно у окна.

Ночныя видънія.

Темнѣетъ, тухнетъ вечеръ красный; Спитъ въ упоеніи земля; И вотъ на наши ужъ поля Выходитъ важно мъсяцъ ясный. И все прозрачно, все свътло; Сверкаетъ море, какъ стекло.

Въ небъ чудныя воть тѣни Развилися и свились, И чудесно понеслись На небесныя ступени. Прояснилось: двъ свъчи; Двое рыцарей косматыхъ; Два зубчатые мечи И чеканенныя латы; Что-то ищуть; стали въ рядъ; И зачъмъ-то переходять, И дерутся, и блестять, И чего-то не находять... Все пропало, слилось съ тьмой; Свътитъ мъсяцъ надъ водой.

Блистательно всю рощу оглашаеть Царь-соловей. Звукъ тихо разнесенъ. Чуть дышитъ ночь; земля сквозь сонъ Мечтательно пѣвцу внимаетъ. Лѣсъ не колышется; все спитъ, Лишь вдохновенна пѣснь звучитъ.

Показался дивной феи Слитый съ воздуха дворецъ, И въ окнѣ поетъ пѣвецъ Вдохновенныя затѣи. На серебряномъ коврѣ, Весь затканный облаками, Чудный духъ летитъ въ огнѣ; Съверъ, югъ покрылъ крылами. Видитъ: фея спитъ въ плѣну За рѣшеткою коральной; Перламутрную стѣну Рушитъ онъ слезой хрустальной. Обнялись... слилися съ тьмой... Свѣтитъ мѣсяцъ надъ водой.

Сквозь паръ окрестность чуть сверкаетъ. Какую кучу тайныхъ думъ Наводить моря странный шумъ! Огромный кить спиной мелькаеть; Рыбакъ закутался и спить; А море все шумить, шумить.

Вотъ изъ моря молодыя Дѣвы чудныя плывуть; Голубыя, огневыя, Волны бълыя гребуть. Призадумавшись, колышеть Грудь лилейную вода, И прасавица чуть дышить... И роскошная нога Стелеть брызги въ два ряда... Улыбается, хохочеть, Страстно манить и зоветь, И задумчиво плыветь, Будто хочеть и не хочеть; И задумчиво поетъ Про себя, младу сирену, Про коварную измёну. А на тверди голубой Свѣтить мѣсяць надъ водой.

Вотъ въ сторонѣ глухой кладбище: Ограда ветхая кругомъ, Кресты, каменья... скрыто мхомъ Нѣмыхъ покойниковъ жилище, Полетъ да крики только совъ Тревожатъ сонъ пустыхъ гробовъ.

Подымается протяжно Въ бъломъ саванъ мертвецъ, Кости пыльныя онъ важно Отираетъ, молодецъ; Съ чела давняго хладъ въетъ, Въ глазъ палевый огонь, И подъ нимъ великій конь, Необъятный, весь бълъетъ И все болъе растетъ, Скоро небо обойметъ; И покойники съ покою Страшной тянутся толпою. Земля колется и — бухъ Тъни разомъ въ бездну... Уфъ!



. И стало стращно ей; мгновенно Она прихлопнула окно. Все въ сердцъ трецетномъ смятенно, И жаръ, и дрожь поперемѣнно По немъ текуть. Въ тоскѣ оно. Вниманіе развлечено. Когда рукою безпощадной Судьба надвинетъ камень хладный На сердце бѣдное, — тогда, Скажите: кто разсудку вѣренъ? Чья противъ золъ душа тверда?

Печальны древности Аоинъ! Колоннъ, статуй рядъ обветшалый Среди глухихъ стоитъ равнинъ. Печаленъ слъдъ въковъ усталыхъ: Изящный памятникъ разбить, Изломленъ немощный гранить, Одни обломки уцѣлѣли. Еще донынѣ величавъ, Чернъеть дряхлый архитравъ, И вьется плющъ по капители; Упалъ расщепленный карнизъ Въ давно-заглохшіе окопы. Еще блестить сей дивный фризъ, Сіи рельефные метопы; Еще донынъ здъсь грустить Кориноскій орденъ многолъпный, Рой ящерицъ по немъ скользить, На міръ съ презрѣньемъ онъ глядить; Все тотъ же онъ великолѣпный, Временъ минувшихъ вдавленъ въ тьму, И безъ вниманья ко всему.

Печальны древности Аеинъ! Туманенъ рядъ былыхъ картинъ: Облокотясь на мраморъ хладный, Напрасно путникъ алчетъ жадный Въ душѣ былое воскресить, Напрасно силится развить Протекшихъ дѣлъ истлѣвшій свитокъ,—

Ничтоженъ трудъ безсильныхъ пытокъ!

Ушло два года. Въ мирномъ Люненсдорфъ Попрежнему красуется, цвътетъ; Все тъ жъ заботы и забавы тъ же Кто вѣчно тотъ же завсегда? Въ несчастьи кто не суевѣренъ? Кто крѣпкой не блѣднѣлъ душой Передъ ничтожною мечтой?

Съ боязнью, съ горестію тайной, Въ постель кидается она; Но ждетъ напрасно въ ложе сна. Въ тьмъ прошумить ли что случайно, Скребунья мышь ли пробъжнть, — Отъ въждъ коварный сонъ летитъ.

Картина XIII.

Вездѣ читаетъ смутный взоръ И разрушенье, и позоръ. Промежъ колоннъ чалма мелькаеть, И мусульманинъ по стѣнамъ, По симъ обломкамъ, камнямъ, рвамъ, Коня свирѣпо напираеть, Останки съ воплемъ разоряетъ. Невыразимая печаль Мгновенно путника объемлетъ, Души онъ тяжкій ропоть внемлеть; Ему и горестно, и жаль, Зачъмъ онъ путь сюда направилъ. Не для истябвшихъ ли могилъ Кровъ безмятежный свой оставалъ, Покой свой тихій позабыль? Пускай бы въ мысляхъ обитали Сіи воздушныя мечты! Пускай бы сердце волновали Зерцаломъ чистой красоты! Но и убійственно, и хладно Разворожились вы теперь; Безжалостно и безпощадно Предъ нимъ захлопнули вы дверь, Сыны существенности жалкой, Дверь въ тихій міръ мечтаній, жар-**ROЙ!** — И грустно, медленной стопой Руины путникъ покидаетъ, Клянется ихъ забыть душой, И все невольно помышляеть

О жертвахъ бренности слъпой.

Картина XVI.

Волнують жителей покойныя сердца. Но не попрежнему въ семьѣ Вильгельма: Пастора ужъ давно на свѣтѣ нѣть,

Окончивъ путь и тягостный, и трудный, Не нашимъ сномъ онъ кръпко опочилъ. Всъ жители останки провожали Священные, съ слезами на глазахъ; Его дѣла, поступки поминали: Не онъ ли намъ спасеніемъ служилъ? Насъ надълялъ своимъ духовнымъ хлъбомъ, Въ словахъ добру прекрасно поучая? Не онъ ли былъ утъхою скорбящихъ, Сироть и вдовъ нетрепетнымъ щитомъ? Въ день праздничный, какъ кротко онъ, бывало, Всходиль на каеедру! и съ умиленьемъ Намъ говорилъ: про мучениковъ чистыхъ, Про тяжкія страданія Христовы; А мы ему, растроганны, внимали, Дивилися и слезы проливали. Отъ Висмара когда кто держитъ ПУТЬ, Встръчается налъво отъ дороги Ему кладбище: старые кресты Склонилися, общиты мхомъ, И времени извъдены ръзцомъ. Но промежъ нихъ бълъетъ p5380 урна На черномъ камнъ, и надъ ней смиренно Два явора зеленые шумять, Далеко хладной обнимая тёнью. Туть бренные покоятся останки Пастора. Вызвались на свой же счеть Соорудить надъ намъ благіе поселяне Послъдний знакъ его существованья Въ семъ мірѣ. Надпись съ четырехъ сторонъ Гласить: какъ жилъ и сколько мирныхъ лѣть Провелъ на паствѣ, и когда оставилъ Свой долгій путь и Богу духъ вру-ЧИЛЪ. И въ часъ, когда стыдливый развиваетъ Румяные востокъ свои власы, Подымется по полю свѣжій вѣтеръ, Посыплется алмазами роса,

Въ своихъ кустахъ малиновка зальется, Полсолица на землѣ всходя горить, ---Къ нему идуть младыя поселянки, Съ гвоздиками и розами въ рукахъ: Увѣшаютъ душистыми цвѣтами, Гирляндою зеленой обовьють, И снова въ путь назначенный идуть. Изъ нихъ одна, младая, остается И, опершись лилейною рукой, Надъ нимъ сидить въ раздумън долго, лолго. Какъ будто бы о непостижномъ мыслить. Въ задумчивой, скорбящей дъвъ сей Кто бъ не узналъ печальныя Луизы? Давно въ глазахъ веселье не блестить; Не кажется невинная усмѣшка Въ ея лицъ; не пробъжить по немъ, Хотя ошибкой, радостное чувство; Но какъ мила она и въ грусти томной! 0, какъ возвышененъ невинной этотъ взглядъ Такъ свътлый Серафимъ тоскуетъ О пагубномъ паденьи человъка. Мила была счастливая Луиза, Но какъ-то мнѣ въ несчастіи милѣе. Осьмнациать лёть тогна минуло ей. Когда преставился пасторъ разумный. Всей дътскою она своей душой Богоподобнаго любила старца; И думаеть въ душевной глубинь: «Нътъ, не сбылись живыя упованья Твои. Какъ, добрый старецъ, ты желалъ Насъ обвѣнчать передъ святымъ налоемъ, Навъки нашъ союзъ соединить! Какъ ты любилъ мечтательнаго Ганца! А онъ...»

Заглянемъ въ хижину Вильгельма. Ужъ осень; холодно. И дома онъ Вытачивалъ съ искусствомъ хитрымъ кружки Изъ крѣпкаго съ слоями бука, Затѣйливой рѣзьбою украшая; У ногъ его свернувшися лежалъ Любимый другъ, товарищъ вѣрный, Гекторъ. А вотъ разумная хозяйка Берта

Съ утра уже заботливо хлопочетъ О всемъ. Толпится такъ же подъ окномъ

Гусей ватага долгошейныхъ; такъ же Неугомонныя кудахчутъ куры; Чиликаютъ нахалы-воробьи, Весь день въ навозной кучъ роясь. Видали ужъ красавца-снигиря; И осенью давно запахло въ полѣ, И пожелтѣлъ давно зеленый листъ, И ласточки давно ужъ отлетѣли За дальнія, роскошныя моря. Кричитъ разумная хозяйка Берта: «Такъ долго не годится быть Луизѣ!

Унывна осени пора; Но день сегодняшній прекрасень: На небѣ волны серебра, И солнца ликъ блестящъ и ясенъ. Одинъ дорогой почтовой Бредеть, съ котомкой за спиной, Печальный путникъ изъ чужбины. Унылъ, и томенъ онъ, и дикъ, Идетъ, согнувшись, какъ старикъ; Въ немъ Ганца нътъ и половины. Полупотухшій бродить взоръ По злачнымъ холмамъ, желтымъ нивамъ, По разноцвѣтной цѣпи горъ. Какъ бы въ забвеніи счастливомъ, Его касается мечта;

Но мысль не тъмъ ужъ занята: Онъ въ думы кръпкія погруженъ. Ему покой теперь бы нуженъ.

Прошелъ онъ дальній, видно, путь; Страдаетъ, больно, видно, грудь. Душа страдаетъ, жалко ноя: Ему теперь не до покоя.

О чемъ же думы кръпки тъ? Дивится самъ онъ суетъ: Какъ былъ измученъ онъ судьбою, И зло смъется надъ собою, Что повърялъ своей мечтой Свъть ненавистный, слабоумный; Что задивился въ блескъ пустой Своей душою неразумной; Что, не колеблясь, смъло онъ Темнѣетъ день. Теперь не то, что лѣтомъ:

Ужъ сыро, мокро, и густой туманъ Такъ холодомъ всего и пронимаетъ. Зачёмъ бродить? бёда мнё съ этой дёвкой: Не выкинетъ она изъ мыслей Ганца! А Богъ знаетъ, онъ живъ ли, или нётъ». Не то совсёмъ раздумываетъ Фанни, За пяльцами сидя въ своемъ углу. Шестнадцать лётъ ей, и полна тоски И тайныхъ думъ по идеальномъ другѣ, Разсѣянно, невнятно говоритъ:

«И я бы такъ, и я бъ его любила».

Картина XVII.

Симъ людямъ кинулся въ объятья И, околдованъ, охмеленъ, Въ ихъ злыя върилъ предпріятья. Какъ гробы, холодны они; Какъ тварь презръннъйшая, низки; Корысть и почести одни Имъ лишь и дороги и близки. Они позорять дивный дарь, И попирають вдохновенье, И презирають откровенье; Ихъ холоденъ притворный жаръ, И гибельно ихъ пробужденье. 0, кто бъ нетрепетно проникъ Въ ихъ усыпительный языкъ! Какъ ядовито ихъ дыханье! Какъ ложно сердца трепетанье! Какъ ихъ коварна голова! Какъ пустозвучны ихъ слова!

И много истинъ онъ, печальный, Теперь извъдалъ и узналъ, Но самъ счастливъе ли сталъ Во глубинъ души опальной? Лучистой, дальнею звъздой Его влекла, тянула слава, Но ложенъ чадъ ея густой, Горька блестящая отрава.

Склоняется на западъ день, Вечерняя длиннъсть тънь; И облаковъ блестящихъ, бълыхъ Ярчъе алые края; На листьяхъ темныхъ, пожелтълыхъ Сверкаетъ золота струя. И вотъ завидѣлъ странникъ бѣдный И тѣхъ проказъ, тѣхъ думъ старин-Свои родимые луга, ныхъ — И взоръ мгновенно вспыхнулъ блѣдвый, И не даетъ ему дохнуть. Блеснула жаркая слеза. И мыслитъ онъ: «что это значитъ?..» Рой прежнихъ тѣхъ забавъ невинныхъ

Дума. -

Благословенъ тотъ дивный мигъ, Когда въ порѣ самопознанья, Въ порѣ могучихъ силъ своихъ, Тотъ, Небомъ избранный, постигъ Цѣль высшую существованья; Когда не грёзъ пустая тѣнь, Когда не славы блескъ мишурный Его тревожатъ ночь и день, Его влекутъ въ міръ шумный, бурный; Но мысль и крѣпка, и бодра Его одна объемлетъ, мучитъ Желаньемъ блага и добра; Его трудамъ великимъ учить. Для нихъ онъ жизни не щадить.

Выходять звъзды плавнымъ хоромъ, Обозрѣваютъ кроткимъ взоромъ Опочивающій весь міръ: Блюдуть сонъ тихій человѣка, Ниспосылають добрымъ миръ, А злымъ ядъ гибельный упрека. Зачѣмъ же, звѣзды, грустнымъ вы Не посылаете покоя? Для горемычной головы Вы — радость, и, на васъ покоя Свой грустный, стосковалый взоръ, Страстей онъ слышить разговоръ Въ душѣ, и васъ онъ призываеть, И вамъ онъ пени повъряетъ. Попрежнему всегда томна, Еще Луиза не раздълась; Не спится ей; въ мечтахъ она На ночь осенню заглядълась. Предметь и тоть же, и одинъ... И воть восторгь кь ней въ душу входить: Пѣснь стройную она заводить, Звучить веселый клавесинъ...

Внимая шуму листопада, Промежъ деревьевъ, гдъ сквозить Вотще безумно чернь кричить: Онъ твердъ средь сихъ живыхъ обломковъ

И только слышить, какъ шумить Благословеніе потомковъ.

Когда жъ коварныя мечты Взволнуютъ жаждой яркой доли, А нѣтъ въ душѣ желѣзной воли, Нѣтъ силъ стоять средь суеты, — Не лучше ль въ тишинѣ укромной По полю жизни протекать, Семьей довольствоваться скромной И шуму свѣта не внимать?

Картина XVIII.

Изъ стёнъ рёшетчатыхъ ограда, Въ забвеньи сладостномъ, у сада. Нашъ Ганцъ, закутавшись, стоитъ. И что же съ нимъ, когда онъ звуки Давно-знакомые узналъ, И голосъ тотъ, со дня разлуки, Что долго-долго не слыхалъ, И пѣсню ту, что въ страсти жаркой, Въ любви, въ избыткѣ дивныхъ силъ, Подъ строй души въ напѣвахъ яркой, Ее, восторженный, сложилъ? Чрезъ садъ она звенитъ, несется И въ упоеньи тихомъ льется:

Тебя зову! тебя зову! Твоей улыбкою чаруюсь, Съ тобой не часъ, не два сижу, Съ тебя очей я не свожу: Дивуюся, не надивуюсь. * Поешь ли ты — и звонъ рѣчей Твоихъ, таинственный, невинный.

Твоихъ, таинственный, невинный, Ударитъ въ воздухъ ли пустынный— Звукъ въ небѣ льется соловьиный, Гремитъ серебряный ручей.

Приди ко мнѣ, прижмись ко мнѣ, Въ жару чудеснаго волненья! Пылаеть сердце въ тишинѣ; Они горять, они въ огнѣ, Твои покойныя движенья.

*

Я безъ тебя грущу, томлюсь, И позабыть тебя нъть силы. И пробуждаюсь ли, ложусь, — Все о тебъ молюсь, молюсь. Все о тебъ, мой ангелъ милый.

И воть почудилося ей: Чудеснымъ заревомъ очей Возлѣ нея блистаеть кто-то, И слышить вздохъ она кого-то, И страхъ, и дрожь ее беретъ... И оглянулась...

«Ганцъ!..» О, кто пойметъ Всю эту радость чудной встръчи, И взоровъ пламенныя ръчи, И этотъ чувствъ счастливый гнеть! О, кто такъ пламенно опишетъ Сію душевную волну, Когда она грудь рветъ и пышетъ, Терзаетъ сердца глубину, А самъ дрожишь, въ весельи млъешь, Ни думъ, ни словъ найти не смъешь; Въ восторгъ, въ кучъ сладкихъ мукъ, Сольешься въ стройный, свътлый звукъ!

Опомнясь, Ганцъ глядитъ сквозь слезы Въ глаза подруги своея И мыслитъ: «Полно, это грёзы; Пусть же не просыпаюсь я! Она все та жъ, и такъ любила Меня всей дътскою душой! Чело печалію накрыла, Румянецъ свъжій изсушила, Губила въкъ свой молодой; А я, безумный, безтолковой, Летълъ искать кручины новой!..» И спалъ страданій тяжкій сонъ

Н. В. Гоголь. Томъ III.

Съ его души; живой, спокойный, Переродился снова онъ, На время бурей возмущенъ: Такъ снова блещеть міръ нашъ стройный; Въ огнѣ закаленный булать

Такъ снова ярче во сто кратъ.

Ширують гости: рюмки, чаши Кругомъ обходять и гремять; И старики болтають наши, И въ танцахъ юноши кипять. Звучить протяжнымъ, шумнымъ громомъ Музыка яркая весь день; Ворочаеть веселье домомъ; Гостепріимно блещеть сѣнь. И поселянки молодыя Чету влюбленную дарять: Несуть фіалки голубыя, Несуть имъ розы огневыя, Ихъ убирають и шумять: «Пусть вѣкъ цвѣтуть ихъ дни младые, Какъ тъ фіалки полевыя! Сердца любовью да горять,

Сердца люоовью да горять, Какъ эти розы огневыя!»

И въ упоеньи, въ нъгъ чувствъ Заранъ юноша трепещеть, И свътлый взоръ весельемъ блещеть: И безпритворно, безъ искусствъ, Оковы сбросивъ принужденья, Вкушаеть сердце наслажденья. И васъ, коварныя мечты, Боготворить ужъ онъ не станеть, — Земной поклонникъ красоты. Но что жъ опять его туманить? (Какъ непонятенъ человъкъ!) Прощаясь съ ними онъ навѣкъ, Какъ бы по старомъ другъ върномъ, Грустить въ забвеніи усердномъ. Такъ въ заключеньи школьникъ ждеть, Когда желанный срокъ придеть. Лѣта къ концу его ученья — Онъ полонъ думъ и упоенья, Мечты воздушныя ведеть: Онъ независимый, онъ вольный, Собой и міромъ всѣмъ довольный. Но, разставаяся съ семьей

30

Своихъ товарищей, душой Дълилъ съ къмъ шалость, трудъ, покой, — И размышляетъ онъ, и стонетъ, И съ невыразною тоской Слезу невольную уронитъ.

Эпилогъ.

Въ уединеніи, въ пустынѣ, Въ никѣмъ незнаемой глуши, Въ моей невѣдомой святынѣ, Такъ созидаются отнынѣ Мечтанья тихія души. Дойдетъ ли звукъ подобно шуму? Взволнуетъ ли кого-нибудь: Живую юноши ли думу, Иль дѣвы пламенную грудь? Веду съ невольнымъ умиленьемъ Я пѣсню тихую мою, И съ неразгаданнымъ волненьемъ Свою Германію пою. Страна высокихъ помышленій! Воздушныхъ призраковъ страна! О, какъ тобой душа полна! Тебя обнявъ, какъ нѣкій Геній, Великій Гёте бережетъ, И чуднымъ строемъ пѣснопѣній Свѣваетъ облако заботъ.

Digitized by Google

466

ИТАЛІЯ.

Италія — роскошная страна! По ней душа и стонеть, и тоскуеть; Она вся рай, вся радости полна, И въ ней любовь роскошная веснуеть. Бѣжить, шумить задумчиво волна И берега чудесные цѣлуеть; Въ ней небеса прекрасныя блестять; Лимонъ горить, и вѣеть аромать.

И всю страну объемлетъ вдохновенье; На всемъ печать протекшаго лежитъ;

И путникъ зръть великое творенье, Самъ пламенный, изъ снъжныхъ

странъ спѣшитъ;

Душа кипитъ, и весь онъ — умиленье,

Въ очахъ слеза невольная дрожитъ; Онъ, погруженъ въ мечтательную думу,

Внимаетъ дѣлъ давно - минувшихъ шуму.

Здѣсь низокъ міръ холодной суеты, Здѣсь гордый умъ съ природы глазъ не сводитъ;

И радужной въ сіяньи красоты

И жарче, и яснъй по небу солнце ходитъ. И чудный шумъ, и чудныя мечты Здѣсь море вдругъ спокойное наводить;

Въ немъ облаковъ мелькаетъ ръзвый ходъ,

Зеленый лъсъ и синій неба сводъ.

А ночь, а ночь вся вдохновеньемъ дышить.

Какъ спитъ земля, красой упоена! И страстно миртъ надъ ней главой колышетъ,

Среди небесъ, въ сіяніи луна Глядитъ на миръ, задумалась и слышитъ,

Какъ подъ весломъ проговоритъ волна: Какъ черезъ садъ октавы пронесутся, Плѣнительно вдали звучатъ и льются.

Земля любви и море чарованій! Блистательный мірской пустыни садь! Тоть садь, гдѣ въ облакѣ мечтаній Еще живуть Рафаэль и Торквать! Узрю ль тебя я, полный ожиданій? Душа въ лучахъ, и думы говорять, Меня влечеть и жжеть твое дыханье, Я въ небесахъ весь звукъ и трепетанье!..

30*



ДВЪ ГЛАВЫ ИЗЪ МАЛОРОССІЙСКОЙ ПО-ВЪСТИ "СТРАШНЫЙ КАБАНЪ".

I.

учитель.

Прибытіе новаго лица въ благословенныя мъста голтвянскія надълало болѣе шуму, нежели пронесшіеся за два года предъ тѣмъ слухи о прибавкъ рекруть, нежели внезапно поднявшаяся цъна на соль, вывозимую изъ Крыма украинскими степовиками. Въ шинкъ, по улицамъ, на мельницъ, въ винокурнѣ только и рѣчей было, что про пріѣзжаго учителя. Догадливые политики въ сърыхъ кобенякахъ и свитахъ, пуская дымъ себъ подъ носъ съ самымъ флегматическимъ видомъ, пытались опредѣлить вліяніе такого лица, которому судьба, казалось, при рожденіи указала высоту, чуть-чуть не надъ годовами всёхъ мірянъ, которое живеть въ панскихъ покояхъ и объдаеть за однимъ столомъ съ обладательницею пятидесяти душъ ихъ селенія. Поговаривали, что званія учителя для него мало, что, безъ всякаго сомнѣнія, вліяніе его будетъ накинуто и на хозяйственную систему; по крайней мъръ, уже, върно, не отъ другого кого-либо будетъ зависъть наряжение подводъ, отпускъ муки, сала и проч. Нѣкоторые съ значительнымъ видомъ давали замѣтить, что едва ли и самъ приказчикъ не будетъ теперь нулемъ. Одинъ только мирошникъ 1), Солопій Чубко, дерзнулъ утверждать, что старшинамъ со стороны его нечего опасаться, что готовъ онъ держать закладъ объ новой шапкъ изъ сбрыхъ рбшетиловскихъ смушковъ, если смыслитъ учитель, какъ остановить пятерню и поворотить застоявшійся жерновъ. Но важная осанка, блистательное торжество надъ дьячкомъ, громоподобный басъ, приведшій въ умиленіе встухь прихожань, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнтніе объ учителъ подтверждалось. И если въ честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезныя сожительницы ихъ не ударили себя лицомъ въ грязь: одаренныя тъмъ звонкимъ и пронзительнымъ языкомъ, который, по неисповъдимымъ велъніямъ судьбы, у женщинъ почти вчетверо быстръе поворачивается, нежели у мужчинъ, онъ гибко развертывали его въ опровержение и защиту достоинствъ учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемыя взвизгиваньемъ и бранью, раздавались по мирнымъ закоулкамъ села Мандрыкъ. А какъ почтеннѣйшія обитательницы его имѣли похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицамъ то и дѣло, что находили кумушекъ, уцѣпившихся такъ плотно другъ за друга, какъ подлипало цѣпляется за счастливца, какъ скряга за свой боковой карманъ, когда улица уходитъ въ глушь и одинокій фонарь отливаетъ потухающій свѣтъ свой на палевыя стѣны уснувшаго города.

1) "Мельникъ".

Болће всего доставалось муженькамъ, пытавшимся разнимать ихъ: очипки, черепья, какъ градъ, летъли имъ на голову, и часто раздраженная кумушка, въ пылу своего гнѣва, вмѣсто чужого, колотила собственнаго сожителя.

Въ это время педагогъ нашъ почти освоился въ домѣ Анны Ивановны. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ семинаристовъ, убоявшихся бездны премудрости, которыми ***ская семинарія снабжаетъ не слишкомъ зажиточныхъ панковъ въ Малороссіи, рублей за сто въ годъ, въ качествѣ домашнято учителя. — Впрочемъ, Иванъ Осиповичъ дошелъ даже до богословія и залетѣлъ бы нивѣсть куда, вѣроятно, еще далѣе, если бы не шалуны его товарищи, которые безпрестанно подсмѣивались надъ усами и колючею его бородой. Съ годами, когда одни выходили совсѣмъ, а на мѣсто ихъ поступали моложе и моложе — ему, наконецъ, не давали прохода: то бросали цѣпкимъ репейникомъ въ бороду и усы, то привѣшивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову пескомъ или подсыпали въ табакерку его чемерки, такъ что Иванъ Осиповичъ, наскуча быть безмолвнымъ зрителемъ безпрестанно мѣнявшагося вѣтренаго поколѣнія и дѣтской игрушкой, принужденъ былъ бросить семинарію и опредѣлиться на ваканию 1).

Перемѣщеніе это сдѣлало важную эпоху и переломъ въ его жизни. Безпрестанныя насмѣшки и проказы шалуновъ замѣстило, наконецъ, какое-то почтеніе, какая-то особенная пріязнь и расположеніе. Да и какъ было не почувствовать невольнаго почтенія, когда онь появлялся, бывало, въ праздникъ въ своемъ свётлосинемъ сюртукъ, -- замътьте: въ свътлосинемъ сюртукъ, это немаловажно. Долгомъ поставляю надоумить читателя, что сюртукъ вообще (не говоря уже о синемъ), будь только онъ не изъ смураго сукна, производить въ селахъ, на благословенныхъ берегахъ Голтвы, удивительное вліяніе: гдѣ ни показывается онъ, тамъ шапки съ самыхъ неповоротливыхъ головъ перелетають въ руки, и солидныя, вооруженныя черными, съдыми усами, загоръвшія лица отмъривають въ поясь почтительные поклоны. Всъхъ сюртуковъ, полагая въ то число и хламиду дьячка, считалось въ селѣ три; но какъ величественная тыква гордо громоздится и заслоняетъ прочихъ поселенцевъ богатой бакши⁹), такъ и сюртукъ нашего пріятеля затемняль прочихъ собратьевъ своихъ. Болъе всего придавали ему прелести большія костяныя пуговицы, на которыя толпами заглядывались уличные ребятишки. Не безъ удовольствія слышаль нашь щегодеватый наставникь юношества, какъ матери показывали на нихъ груднымъ ребятамъ, и малютки, протягивая ручонки, депетали: ияця, цяця ³)! За столомъ пріятно было видъть, какъ чинно, съ какимъ умиленіемъ, почтенный наставникъ, завѣсившись салфеткой, отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія. Ни слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь переселялся онъ, казалось, въ свою тарелку. Опорожнивъ ее такъ, что никакія принадлежащія къ гастрономіи орудія, какъ-то: вилка и ножъ, ничего уже не могли захватить, отрѣзывалъ онъ ломтикъ хлъба, вздъвалъ его на вилку и этимъ орудіемъ проходилъ въ другой разъ по тарелкъ, послъ чего она выходила чистою, будто изъ фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружныя достоинства, выказывавшія въ немъ знаніе тонкихъ обычаевъ свѣта, и читатель дастъ большой промахъ, если завлючить, что туть-то были и всъ способности его. Почтенный педагогъ имбаљ необъятныя для простолюдина свъдънія, изъ которыхъ иныя

469

^{1) &}quot;Эти слова въ украинскихъ семинаріяхъ значатъ: пойти въ домашніе учители".

^{2) &}quot;Нива, засвянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.".

^{8) &}quot;Хорошо! Хорошо!"

держаль подъ секретомъ, какъ-то: составленіе лѣкарства противъ укушенія бѣшеныхъ собакъ, искусство окрашивать посредствомъ одной только дубовой коры и острой водки въ лучшій красный цвѣтъ. Сверхъ того, онъ собственноручно приготовлялъ лучшую ваксу и чернила, вырѣзывалъ для маленькаго внучка Анны Ивановны фигурки изъ бумаги; въ зимніе вечера моталъ мотки и даже прялъ.

Удивительно ли, если съ такими дарованіями сдѣлался онъ необходимымъ человѣкомъ въ домѣ, если вся дворня была безъ ума отъ него, несмотря, что лицо его и окладомъ, и цвътомъ совершенно походило на бутылку, что огромнъйшій роть его, котораго дерзкимъ покушеніямъ едва полагали преграду оттопырившіяся уши, поминутно строиль гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имбли цвбть яркой зелени, — глаза, какими, сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ герой въ лѣтописяхъ романовъ не былъ одаренъ. Но, можетъ-быть, женщины видятъ болъе насъ. Кто разгадаеть ихъ? Какъ бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна свёдёніями учителя въ домашнемъ хозяйствъ, въ умъни дълать настойку на шафранъ и herba rabarbarum, въ искусномъ разматываніи мотковъ и вообще въ великой наукъ жить въ свъть. Ключницъ болће всего нравился щегольской сюртукъ его и умћиње одћваться; впрочемъ, и она замътила, что учитель имълъ удивительно умильный видъ, когда изволилъ модчать или кушать. Маленькаго внучка забавляли до чрезвычайности бумажные пътухи и человъчки. Самъ кудлатый Бровко, едва только завидить, бывало, его, выходящаго на крыльцо, какъ, ласково помахивая хвостомъ своимъ, побъжитъ въ нему навстръчу и безъ церемоніи пълуетъ его въ губы, если только учитель, забывъ важность, приличную своему сану, соизволить присъсть подъ величественнымъ фронтономъ. Одни только два старшіе внука и домашніе мальчишки, съ которыми проходиль онъ Азъ — Ангель, Архангель, Буки — Богь, Божество, Богородица, — боялись краснорьчивыхъ дозъ грознаго педагога.

Въ враткое пребывание свое Иванъ Осиповичъ успълъ уже и самъ сдѣлать свои наблюденія и заключить въ головѣ своей, будто на вогнутомъ степль, миньятюрное отражение окружавшаго его міра. Первымъ лицомъ, на которомъ остановилось почтительное его наблюдение, какъ, върно, вы догадаетесь, была сама владътельница помъстья. Въ лицъ ея, тронутомъ ръзкою кистью, которою время съ незапамятныхъ временъ расписываеть родъ человъческий и которую, Богъ знаетъ, съ какихъ поръ, называютъ морщиною, въ темнокофейномъ ся копотѣ, въ чепчикѣ (покрой котораго утратился въ толпѣ событій, знаменовавшихъ XVIII столътіе), въ коричневомъ шушунъ, въ башмакахъ, безъ задковъ, глаза его узнали тотъ періодъ жизни, который есть слабое повтореніе минувшихъ, холодный, безцвѣтный переводъ созданій пламеннаго, кипящаго вѣчными страстями поэта, - тотъ періодъ, когда воспоминаніе остается человѣку, какъ представитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесять льть гонять холодь въ нъкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы, и термометръ жизни переходить за точку замерзанія. Впрочемъ, вѣчныя заботы и страсть хлопотать нѣсколько одушевляли потухшую жизнь въ чертахъ ея, а бодрость и здоровье были върною порукою еще за тридцать лъть впереда. Все время отъ пяти часовъ утра до шести вечера, то-есть, до времени успокоенія, было безпрерывною цілью занятій. До семи часовъ утра уже она обходила всѣ хозяйственныя заведенія, отъ кухни до погребовъ и кладовыхъ, успъвала побраниться съ приказчикомъ, накормить куръ и доморощенныхъ гусей, до которыхъ она была охотница. До

двъ главы изъ малороссійской повъсти «страшный кабанъ.

объда, который не бывалъ поэже двънадцати часовъ, завертывала въ пекарню и сама даже цекла хлъбы и особеннаго рода крендели на меду и на яйцахъ, которыхъ одинъ запахъ производилъ непостижимое волнение въ педагогѣ, страстно привязанномъ ко всему, что питаетъ душевную и тѣлесную природу человъка. Время отъ объда до вечера мало ли чъмъ заняться хозяйкѣ? -- красить шерсть, мѣрять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способовъ, секретовъ, домашнихъ средствъ производится въ это время въ дъйство! Отъ наблюдательнаго взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславія, и потому положиль онь за правило разсыпаться, разумбется, сколько позволяда природная его застънчивость, въ похвалахъ необыкновенному ея искусству и знанію хозяйничать, и это, какъ посль увидъль онъ, послужило ему въ пользу: почтенная старушка до тъхъ поръ не закупоривала сладкихъ наливовъ и варенья, покамъсть Иванъ Осиповичъ, отвъдавъ, не объявлялъ превосходной доброты того и другого. Всѣ прочія лица стояли въ тѣни предъ этимъ свътиломъ такъ, какъ всъ строенія во дворъ, казалось, пресмыкались предъ чуднымъ зданіемъ съ великолѣпнымъ его фронтономъ. Только для глазъ пронырливаго наблюдателя замътны были ихъ взаимныя соотношенія и особенный колорить, обозначавший каждаго, и тогда ему открывалось, словно въ муравьиномъ рою, вѣчное движеніе, суматоха и ни на минуту не останавливавшійся шумъ. И педагогъ нашъ, какъ мы уже видъли, умълъ угодить на вкусъ всъхъ и, какъ могучій чародъй, приковать къ себъ всеобщее почтеніе.

Непонятны только были причины, заставившія его сблизиться съ кухмистеромъ. Высокое ли уважение, которое Иванъ Осиповичъ невольно чувствоваль въ его искусству, другое ли какое обстоятельство --- мы этого не беремся рѣшить. Довольно, что не прошло двухъ дней — и въ Мандрыкахъ воскресли Орестъ и Пиладъ новаго міра. Но еще непонятнѣе была власть кухмистера надъ нашимъ педагогомъ, такъ что отъ природы скромный, застънчивый учитель, не бравшій ничего въ роть, кромъ лъкарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за нимъ по шинкамъ и по всёмъ закоулкамъ, куда разгульный кухмистеръ нашъ показывалъ только носъ свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его мъстопребыванія. Скоро осмотрълъ онъ обступившіе въ неровный кружокъ просторный господскій дворъ — кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовыя, съ особеннымъ удовольствіемъ остановился на густо-разросшемся садъ, котораго гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увънчанные чудесными сновидѣніями, или, вдругъ освободясь отъ грёзъ, рѣзали вътвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздухъ, и тогда по листамъ ходили непонятныя ръчи, и мърныя величественныя движенія всего ихъ тъда напоминали древнихъ лицедъевъ, вызывавшихъ на поприще Мельпомены великія тёни усопшихъ. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лѣпились около не столь высокопарныхъ жильцовъ сада, зато увъщанныхъ съ ногъ до головы грушами и яблоками, которыми кипитъ роскошная Украйна. Отсюда продирались они въ кухнъ, за которою стлались плантаціи гороху, капусты, картофелю и вообще встхъ зелій, входящихъ въ микстуру деревенской кухни. Не безъ особеннаго удовольствія вошель онъ въ чистую, опрятно выбъленную и прибранную комнату, опредъленную для его помѣщенія, съ окошкомъ, глядѣвшимъ на прудъ и на лиловую, окутанную туманомъ, опрестность.

Мы имѣли уже случай замѣтить нѣчто о вліяніи нашего учителя на мандрыковскихъ врасавицъ: потупленные взгляды, перешоптываніе, низкіе

471

н. в. гоголь.

поклоны показывали, что овладъніе имъ считала каждая изъ нихъ немаловажнымъ дёломъ. Впрочемъ, не мёшаетъ припомнить любезному читателю, что на Иванъ Осиповичъ былъ синій фабричнаго сукна сюртукъ съ черными, величиною съ большой грошъ, костяными пуговицами; итакъ, ему очень было простительно перетолковать въ свою пользу перемигиванья чернобровыхъ проказницъ. Но, къ счастью или несчастью, чувство, такъ много извъстное бъдному человѣчеству, наносившее ему съ незапамятныхъ временъ море нестерпимыхъ мукъ, не касалось нашего педагога. Въ этомъ случат Иванъ Осиповичъ былъ настоящій стоикъ и, несмотря на то, что не дошель еще до философіи, онъ твердо зналь, что ни одинь изъ философовь, начиная отъ Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинаріи, не ставилъ ни во что причудливую половину человѣческаго рода; ergo, любви не существуетъ. Такія положенія, обратившіяся у него, наконець, въ правила, были тверды, слишкомъ тверды... Homo proponit, Deus disponit, говариваль часто лекторь *** ской семинаріи. отсчитывая удары линейкою лёнивымъ своимъ слушателямъ; а потому и мы въ слёдующей главё увидимъ небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философію учителя и надвинувшее облако недоразумёнія на умъ его, досель неуклонно шествовавшій стезею своихъ великихъ наставниковъ и бившій ровнымъ пульсомъ въ своей бутылкообразной сферъ.

II.

УСПЪХЪ ПОСОЛЬСТВА.

(Кухмистеръ, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную имъ при видъ мывшейся на берегу пруда Катерины, ръшается исполнить данное имъ учителю объщаніе и быть посланникомъ и представителемъ его страсти. Съ такимъ намъреніемъ отправляется онъ въ хату козака Харька Потылицы).

Окончивъ туалетъ свой, Онисько не безъ боязни и тайнаго удовольствія переступилъ черезъ порогъ. Бъсъ какъ будто нарочно дразнилъ его (самъ опъ послѣ признавался въ этомъ), поминутно рисуя передъ нимъ стройныя нолки сосѣдки. «Эхъ, если бы не учитель! — повторялъ онъ нѣсколько разъ самъ себѣ: — ну, что бы задуматъ ему немного позже влюбитъся?...» И, въ задумчивости, тихими шагами онъ мърялъ широкій выгонъ, по которому бѣжала его дорога. Разноголосный лай прорѣзалъ облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, какъ дикія утки, переполошась, разлетѣлись во всѣ стороны. Поднявъ глаза, увидѣлъ онъ, что далѣе идти некуда. Передъ нимъ торчали ворота, сквозь которыя, какъ сквозь транспарантъ, свѣтилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце въ немъ вспрыгнуло... и бѣлокурая красавица, разгоняя хворостиной докучныхъ собакъ, встрѣтила его, отворяя ворота.

Дворъ Харька представлялъ собою большой, на покатости къ пруду, квадрать, обнесенный со всъхъ сторонъ плетнемъ. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо въ чисто выбъленную хату съ большими, неровной величины, окнами, съ почернѣвшею отъ старости дубовою дверью, съ низенькимъ изъ глины фундаментомъ (присъбою), обремененнымъ, по обыкновению малороссіянъ, бѣльемъ, мисками и какимъ-нибудь инвалидомъ-горшкомъ, которому, несмотря на раны и увѣчье, не даютъ отставки и, въ награду за ревностную службу, наливаютъ помоями. По сторонамъ избы стояли съ растрепанными крышами хлѣвы и амбары. Изъ-за хаты возвышалось гумно, изъза гумна еще выше подымалась голубятня, сверхъ которой уже ходили только

472

одни облака и плавали голуби. Къ пруду, какъ богатая турецкая шаль, развернулся огородъ козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходомъ Ониська. Полагая, что его, безъ всякаго сомнѣнія, завлекла нужда къ ея отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила съ нѣкоторою застѣнчивостью:

— Батька нъть дома, да врядъ ли и къ вечеру будетъ!

— Нехай ему такъ легенько икнеться, якъ зъ тыну ввирветься! Что бы я былъ за олухъ Царя небеснаго, когда бы сталъ убирать, постную кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанъ?

Бѣлокурая красавица остановилась въ недоумѣніи, не зная, какъ понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лицѣ ея и ожидала, казалось, изъясненія.

Кухмистеръ почувствовалъ самъ, что выразился не совсъмъ ясно, и притомъ помянулъ отца ея немного шероховатыми словами; онъ продолжалъ:

— Нелегкая понесла бы меня къ батыкъ, когда есть такая хорошенькая дочка!

— А, воть что !— проговорила Катерина, усмѣхнувшись и покраснѣвъ.— Милости просимъ ! и пошла впередъ его къ дверямъ хаты.

Дъвушки въ Малороссіи имъють гораздо болъе свободы, нежели гдъ либо, и потому не должно показаться удивительнымъ, что красавица наша, безъ въдома отца, принимала у себя гостя.

— Ты пѣшкомъ сюда пришелъ, Онисько? — спросила она его, садясь на присьбю у дверей хаты и стараясь принять степенный видъ, хотя лукавая улыбка явно измѣняла ей и заставляла противъ воли показать рядъ красивыхъ зубовъ.

«Какъ пѣшкомъ? Что за нелегкая! неужели она знаетъ про вчерашнее?» подумалъ кухмистеръ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, пѣшкомъ, моя красавица. Чортъ ли бы заставилъ меня запрягать нарочно панскаго *инъдого*, чтобы только перетащиться изъ одного двора въ другой!

— Однакожъ, отъ кухни до коморы не такъ-то далеко.

Туть, не удержавшись болье, она захохотала.

«Нѣтъ, плутовка! самъ лукавый не хитрѣе этой дѣвки!»— повторилъ самъ себѣ нѣсколько разъ кухмистеръ и громогласно послалъ учителя къ чорту, позабывъ и пріязнь, и дружбу ихъ.

— Однакожъ, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорѣли на сковородѣ караси съ свѣжепросольными *опенками*, лишь бы только ты еще разъ этакъ засмѣялась.

Сказавъ это, кухмистеръ не утерпълъ, чтобъ не обнять ее.

— Вотъ этого-то я ужъ и не люблю! -- вскрикнула, покраснѣвъ, Катерина и принявъ на себя сердитый видъ. — Ей-Богу, Онисько, если ты въ другой разъ это сдѣлаешь, то я прямехонько пущу тебѣ въ голову вотъ этотъ горшокъ.

При семъ словѣ, сердитое личико немного прояснѣло и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорила ясно: «я не въ состояніи буду этого сдѣлать».

— Полно же, полно! не возомъ заштопилъ тебя. Есть изъ чего сердиться! какъ будто, Богъ знаетъ, какая бъда — обнять красную дъвушку.

— Смотри, Онисько: я не сержусь, — сказала она, садясь немного отъ него подалѣе и принявъ снова веселый видъ. — Да что ты, послышалось мнѣ, упомянулъ про учителя?

Туть лицо кухмистера сдълало самую жалкую мину и, по крайней мъръ, на вершокъ вытянулось длиннъе обыкновеннаго.

— Учитель... Иванъ Осиповичъ, то-есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, какъ будто послѣ запеканки, слова глотаются прежде, нежели успѣваютъ выскочить изо рта. Учитель... вотъ что я тебѣ скажу, *сердие!* Иванъ Осиповичъ *вклепался* ') въ тебя такъ, что... ну, словомъ — разсказать нельзя. Кручинится да горюеть, какъ покойная бурая, которую *пани* купила у жида, и которая окодъла послѣ запала. Что дѣдать? сжалился надъ бѣднымъ человѣкомъ: пришелъ наудачу похлопотать за него...

— Хорошую же ты выбраль себѣ должность! — прервада Катерина съ нѣкоторою досадой. — Развѣ ты ему свать, или родичъ какой? Я совѣтовала бы тебѣ еще набрать изо всего околотка бродягъ къ себѣ въ кухню, а самому отправиться по-міру выпрашивать подъ окнами для нихъ милостыни.

— Да это все такъ; однакожъ, я знаю, что тебѣ любо, и слишкомъ любо, что вздумалось учителю приволокнуться... — Мнѣ любо? Слушай, Онисько: если ты говоришь съ тѣмъ, чтобы

— Мнѣ любо? Слушай, Онисько: если ты говоришь съ тѣмъ, чтобы посмѣяться надо мною, то съ этого мало тебѣ прибудетъ. Стыдно тебѣ же, что ты обносишь бѣдную дѣвушку! Если же вправду такъ думаешь, то ты, вѣрно, уже наиглупѣйшій изо всего села. Слава Богу, я еще не ослѣпла, слава Богу, я еще при своемъ умѣ... Но ты не съ дуру это сказалъ: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, вѣрно, думалъ... Нѣтъ, ты недобрый человѣкъ!

Сказавъ это, она отерла шитымъ рукавомъ своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардъвшейся щечкъ, будто падающая звъзда по теплому вечернему небу.

«Чорть побери всѣхъ на свѣтъ учителей!» думалъ про себя Онисько, глядя на зардѣвшееся личико Катерины, на которомъ попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила съ непріятнымъ чувствомъ, и, наконецъ, разсѣяла его.

— Убей меня громъ на этомъ самомъ мѣстѣ! — вскричалъ онъ, наконецъ, не могши преодолѣть внутренняго волненія и обхватывая одной рукою кругленькій станъ ея: — если я не такъ же радъ тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, какъ старый Броеко, когда я вынесу ему помои.

— Нашелъ, чему радоваться! поэтому ты станешь еще болѣе скалить зубы, когда услышишь, что почти всѣ дѣвушки нашего села говорять то же.

— Нѣтъ, Катерина, этого не говори. Дъвушки то любятъ его. Намедни шли мы съ нимъ черезъ село, такъ то и дѣло, что выглядываютъ изъ-за плетня, словно лягушки изъ болота. Глянь направо — такъ и пропала, а съ лъвой стороны выглядываетъ другая. Только дьяволъ побери ихъ вмъстъ съ учителемъ! Я бы отдалъ штофъ лучшей третьепробной водки, чтобъ узнать отъ тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копейку?

— Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свътъ не вышла за пьяницу. Кому любо жить съ нимъ? Несчастная доля семьъ той, гдъ выберется такой человъкъ; въ хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодныя дъти плачуть... Нътъ, нътъ, нътъ! Пусть Богъ милуетъ! Дрожь обдаетъ меня при одной мысли объ этомъ...

Туть прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Какъ осужденный, съ поникнутою головою, погрузился кухмистеръ въ свое протекшее. Тяжелыя думы, порожденія тайнаго угрызенія сердечнаго, выръзывались на

1) "То-есть, влюбился".

лицѣ его и показывали ясно, что на душѣ у него не слишкомъ было радостно. Пронзительный взоръ Катерины, казалось, прожигалъ его внутренность и подымалъ наружу всѣ разгульные поступки, проходившіе передъ нимъ длинною, почти безконечною цѣпью.

«Въ-самомъ дѣлѣ, на что я похожъ? кому угодно житье мое? только что досаждаю паніи. Что я сдѣлалъ до сихъ поръ такого, за что бы сказалъ мнѣ спасибо добрый человѣкъ? Все гулялъ да гулялъ! Да гулялъ ли когданибудь такъ, чтобы и на душѣ, и на сердцѣ было весело? Напьешься, какъ собака, да и протрезвишься тоже, какъ собака, если не протрезвятъ тебя еще хуже. Нѣтъ! прахъ возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философскія разсужденія съ самимъ собою, и потому, положивъ на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса:

- Не правда ли, Онисько, ты не станешь болѣе пить?

— Не стану, мое *серденько!* не стану: пусть ему всякая всячина! Все для тебя готовъ сдѣдать.

Дъвушка посмотръла на него умильно, и восхищенный кухмистеръ бросился обнимать ее, осыпая градомъ поцълуевъ, какими давно не оглашался мирный и спокойный огородъ Харька.

Едва только влюбленные поцёлуи успёли раздаться, какъ звонкій и произительный голосъ страшите грома поразилъ слухъ разнёжившихся. Поднявъ глаза, кухмистеръ съ ужасомъ увидёлъ стоявшую на плетит Симониху.

— Славно! славно! Ай, да ребята! У насъ по селу еще и не знаютъ, какъ парни цѣлуются съ дѣвками, когда батька нѣтъ дома! Славно! Ай, да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжетъ поговорка: въ тихомъ омутѣ черти водятся. Такъ вотъ что дѣется! такъ вотъ какія шашни!..

Со слезами на глазахъ принуждена была красавица уйти въ хату, зная, что ничъмъ инымъ нельзя было избавиться отъ ядовитыхъ ръчей содержательницы шинка.

— Типунъ бы тебѣ подъ языкъ, старая вѣдьма!—проговорилъ кухмистеръ: — тебѣ какое дѣло?

— Мнѣ какое дѣло? — продолжала неугомонная шинкарка: — воть прекрасно! Парни изволять лазить черезъ плетни въ чужіе огороды, дѣвки подманивають къ себѣ молодцовъ, — и мнѣ нѣтъ дѣла! Изволять женихаться, пѣлуются, — и мнѣ нѣтъ дѣла! Ты слышалъ ли, Карпо? — вскричала она, быстро оборотясь къ мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что вниманія, шелъ, помахивая батогомъ, впереди такъ же медленно выступавшей коровы: — слышалъ ли ты? постой, на минуточку. Тутъ такая исторія. Харькова дочка...

— Тьфу, дьяволъ! — вскричалъ кухмистеръ, плюнувъ въ сторону и потерявъ послѣднее терпѣніе. — Самъ сатана перерядился въ эту бабу. Постой, Яга! развѣ не найду уже чѣмъ отплатить тебѣ.

Туть кухмистерь нашь занесь ногу на плетень и въ одно мгновеніе очутился въ панскомъ саду.

Было уже не рано, когда онъ пришель на кухню и принялся стряпать ужинъ. Евдоха, однакожъ, не могла не замѣтить во всемъ необыкновенной его разсѣянности. Часто задумчивый кухмистеръ подливалъ уксусу въ сметанную кашу или съ важнымъ видомъ надвигалъ свою шапку на вертелъ и хотѣлъ жарить ее вмѣсто курицы. За ужиномъ Анна Ивановна никакъ не могла понять, отчего каша была кисла до невѣроятности, а соусъ такъ пересоленъ,

475

что не было никакой возможности взять въ роть. Единственно только изъ уваженія къ понесеннымъ имъ въ тотъ день трудамъ оставили его въ повоъ: въ другое время это не прошло бы даромъ нашему герою.

— Нѣтъ, господинъ учитель! — твердилъ онъ, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая подъ голову свою куртку: — не видать вамъ Катерины, какъ ушей своихъ! — И, завернувъ голову, какъ доморощенный гусь, погрузился въ мечты, а съ ними и въ сонъ.



ЖЕНЩИНА.

— Адское порожденіе! Зевсъ Олимпіецъ! О! ты неумолимъ въ своей ярости! Ты захотѣлъ наслать бичъ на міръ, ты извлекъ весь ядъ, незамѣтно разлитый въ нѣдрахъ прекрасной земли твоей, сжалъ его въ одну каплю, гнѣвно бросилъ ее свѣтодарною десницей и отравилъ ею чудесное твореніе свое: ты создалъ женщину! Тебѣ завидно стало бѣдное счастіе наше; тебѣ не желалось, чтобы человѣкъ источалъ вѣчное благословеніе изъ нѣдръ благодарнаго сердца: пусть лучше проклятіе сверкаетъ на преступныхъ устахъ его... Ты создалъ женщину!

Такъ говорилъ, представъ передъ Платона, Телеклесъ, юный ученикъ его. Глаза его кидали пламя; по щекамъ бушевалъ пожаръ, и дрожащія губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его съ негодованіемъ откидывала пурпуровыя волны богатой одежды, и разстегнутая пряжка небрежно висѣла на дъвственной груди юноши.

— Что, мой божественный учитель? не ты ли представляль намъ ее въ богоподобномъ, небесномъ облачения? Не твои ли благоуханныя уста лили дивныя рѣчи про нѣжную красоту ея? Не ты ли училъ насъ такъ пламенно, такъ невещественно любить ее? Нѣтъ, учитель! твоя божественная мудрость еще младенецъ въ познания безконечной бездны коварнаго сердца. Нѣтъ, нѣтъ! и тѣнь свирѣпаго опыта не обхватывала свѣтлыхъ мыслей твоихъ: ты не знаешь женщины.

Огненныя слезы брызнули изъ глазъ его; окутавъ голову хитономъ и закрывъ лицо руками, прислонился онъ къ мраморной колоннѣ, на которой роскошно покоилось богатое коринеское оглавіе, осыпанное искрами лучей. Глубокій, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди юноши, какъ будто всѣ тайные нервы души, всѣ чувства и все, что находится внутри человѣка, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясеніемъ по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, въ безсиліи разсказать безсмертныя, вѣчныя муки души, переродилась въ одинъ болѣзненный стонъ.

Между тъмъ, вдохновенный мудрецъ въ безмолвіи разсматривалъ его, выражая на лицъ своемъ думы, еще напечатлънныя прежнимъ высокимъ размышленіемъ. Такъ остатки дивнаго сновидънія долго еще не разстаются и мъщаются съ началами идей, покамъстъ человъкъ совершенно не входитъ въ міръ дъйствительности. Свътъ сыпался роскошнымъ водопадомъ чрезъ смълое отверстіе въ куполъ на мудреца и обливалъ его сіяніемъ; казалось, въ каждой вдохновенной чертъ лица его свътилась мысль и высокія чувства.

— Умѣешь ли ты любить, Телеклесъ? — спросилъ онъ спокойнымъ голосомъ.

— Умѣю ли любить я! — быстро подхватиль юноша: — спроси у Зевса, умѣеть ли онъ маніемъ бровей колебать землю. Спроси у Фидія, умѣеть ли онъ мраморъ зажечь чувствомъ и воплотить жизнь въ мертвой глыбѣ. Когда въ жилахъ моихъ кипитъ не кровь, но острое пламя, когда всъ чувства, всъ мысли, я весь перерождаюсь въ звуки, когда звуки эти горятъ, и душа звучитъ одною любовью, когда ръчи мои — буря, дыханіе — огонь... Нътъ, нътъ! я не умъю любитъ! Скажи же мнъ, гдъ тотъ дивный смертный, кто обладаетъ этимъ чувствомъ? Ужъ не открыла ли премудрая Пиеія это чудо между людьми?

— Бѣдный юноша! Вотъ что люди называютъ любовью! Вотъ какая участь готовится для этого кроткаго существа, въ которомъ боги захотъли отразить красоту, подарить міру благо и въ немъ показать свое присутствіе на землъ! Бъдный юноша! Ты бы сжегъ своимъ раскаленнымъ дыханіемъ это кроткое существо, ты бы возмутиль бурею страстей это чистое сіяніе! Знаю, ты хочешь говорить мнё объ измёнё Алкинои. Твои глаза были сами свидётелями... но были ли они свидътелями твоихъ собственныхъ мятежныхъ движеній, совершавшихся въ то время во глубинѣ души твоей? Высмотрѣль ли ты напередъ себя? Не весь ли бунть страстей кипъль въ глазахъ твонхъ? а когда страсти узнавали истину? Чего хотять люди? они жаждуть въчнаго блаженства, безконечнаго счастія, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить ихъ дътски разрушить все медленно строившееся зданіе! Пусть глазами твоими смотрѣда сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною измъной. Но вопроси свою душу: что былъ ты, что была она въ то время, когда ты и жизнь, и счастіе, и море восторговъ находилъ въ алкиноиныхъ объятіяхъ? Переверни огненные листы своей жизни, и найдешь ли ты хотя одну страницу краснорѣчивѣе, божественнѣе той? Захотълъ ли бы ты взять всъ драгоцънные камни царей персидскихъ, все золото Ливіи за ть небесныя мгновенія? И что противъ нихъ и первая почесть въ Авинахъ, и верховная власть въ народъ! И существо, которое, какъ Промессей, все, что ни исхитило прекраснаго отъ боговъ, принесло въ даръ тебъ, водворило небо со свътлыми его небожителями въ твою душу, ты поражаешь преступнымъ проклятіемъ, когда вся твоя жизнь должна переродиться въ благодарность, когда ты долженъ весь вылиться слезами, и умиленіемъ, и кроткимъ гимномъ жизнедавцу Зевесу, да продлить прекрасную жизнь ея, да отвѣеть облако печали отъ свѣтлаго чела ея.

— Устреми на себя испытующее око: чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталь нынь, съ тъхъ поръ, какъ прочиталь въчность въ божественныхъ чертахъ Алкинои; сколько новыхъ тайнъ, сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадаль ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся ближе къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннъе постигаемъ женщину. Посмотри на роскошныхъ персовъ: они переродили своихъ женщинъ въ рабынь, и что же? имъ недоступно чувство изящнаго — безконечное море духовныхъ наслажденій. У нихъ не выбьется изъ сердца искра при видъ богини Праксителевой; восторженная душа ихъ не заговорить съ безсмертною душою мрамора и не найдеть отвътныхъ звуковъ. Что женщина? – Языкъ боговъ! Мы дивимся кроткому, свътлому челу мужа; но не подобіе боговъ созерцаемъ въ немъ: мы видимъ въ немъ женщину, мы дивимся въ немъ женщинъ, и въ ней только уже дивимся богамъ. Она поэзія! она мысль, а мы только воплощеніе ея въ дъйствительности. На нась горять ея впечатлёнія, и чёмъ сильнёе и чёмъ въ большемъ объемъ они отразились, тъмъ выше и прекраснъе мы становимся. Пока картина еще въ головъ художника и безплотно округляется и создается — она женщина: когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость - она мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несытымъ желаніемъ стремится

превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимъ чувствамъ? Оттого, что имъ управляетъ одно высокое чувство — выразить божество въ самомъ веществъ, сдълать доступною людямъ хотя часть безконечнаго міра души своей, воплотить въ мужчинъ женщину. И если ненарокомъ ударятъ въ нее очи жарко понимающаго искусство юноши. что они ловять въ безсмертной картинъ художника? видять ли они вещество въ ней? НБтъ! оно исчезаеть, и передъ ними открывается безграничная, безконечная, безплотная идея художника. Какими живыми пъснями заговорять тогда духовныя его струны! какъ ярко отзовутся въ немъ, какъ будто на призывъ родины, и безвозвратно умчавшееся, и неотразимо грядущее! какъ безплотно обнимется душа его съ божественною душою художника! Какъ сольются онъ въ невыразимомъ духовномъ поцтауъ!.. Что бъ были высокія добродътели мужа, когда бы онъ не осънялись, не преображались нъжными, кроткими добродътелями женщины? Твердость, мужество, гордое презръніе къ пороку перешли бы въ звърство. Отними лучи у мира — и погибнеть яркое разнообразіе цвѣтовъ: небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнъйшій береговъ Аида. Что такое любовь? — отчизна души, прекрасное стремленіе человъка къ минувшему, гдъ совершалось безпорочное начало его жизни, гдъ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый слёдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонеть въ эеирномъ лонѣ души женщины, когда отыщеть въ ней своего отца — въчнаго Бога, своихъ братьевъ — дотолъ невыразимыя землею чувства и явленія, что тогда съ нею? Тогда она повторяеть въ себъ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая ее до безконечности...

Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамътно вошедшая въ продолжение ихъ бесъды. Опершись на истуканъ, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую свътились голубыя жилы, полныя небесной амврозіи, свободно удерживалась въ воздухѣ; стройная, перевитая алыми лентами поножія, нога, въ обнаженномъ, ослъпительномъ блескъ, сбросивъ ревнивую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрънной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами и полуприкрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линіями на помость. Казалось, тонкій, свътлый эоиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ и имени нѣтъ на землѣ, въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этоть эфирь облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму человъка. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча. Молнія очей исторгала всю душу... — Итътъ! никогда сама царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновенье, когда такъ чудно возродилась изъ пъны дъвственныхъ волнь!..

Въ изумленія, въ благоговѣніи повергнулся юноша къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надъ нимъ полубогини канула на его пылающія щеки.

ОБЪ ИЗДАНИИ ИСТОРИИ МАЛОРОССИЙ-СКИХЪ КОЗАКОВЪ.

До сихъ поръ еще нътъ у насъ полной, удовлетворительной исторіи Малороссіи и народа. Я не называю исторіями многихъ компиляцій (впрочемъ, полезныхъ, какъ матеріалы), составленныхъ изъ разныхъ лѣтописей, безъ строгаго вритическаго взгляда, безъ общаго плана и цъли, большею частію неполныхъ и не указавшихъ донынъ этому народу мъста въ исторіи міра. Я рѣшился принять на себя этотъ трудъ и представить, сколько можно обстоятельнъе: какимъ образомъ отдълилась эта часть Россіи; какое получила она политическое устройство, находясь подъ чуждымъ владъніемъ; какъ образовался въ ней воинственный народъ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвиговъ; какимъ образомъ онъ три въка съ оружіемъ въ рукахъ добывалъ права свои и упорно отстоялъ свою религію; какъ, наконецъ, навсегда присоединился въ Россіи; какъ исчезало воинственное бытіе его и превращалось въ земледбльческое; какъ мало-по-малу вся страна получила новыя, взамѣнъ прежнихъ, права и, наконецъ, совершенно слилась въ одно съ Россіею. Около пяти лътъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящівся въ исторіи этого врая. Половина моей исторія уже почти готова, но я медлю выдавать въ свъть первые томы, подозръвая существование многихъ источниковъ, можетъ-быть, мнъ неизвъстныхъ, которые, безъ сомнънія, хранятся гдъ нибудь въ частныхъ рукахъ. И потому, обращаясь во всъмъ., усерднъйше прошу (и нельзя, чтобы просвъщенные соотечественники отказали въ моей просьбѣ) имѣющихъ какіе бы то ни было матеріалы, лѣтописи, записки, пъсни, повъсти бандуристовъ, дъловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссія), прислать мнѣ ихъ, если нельзя въ оригиналахъ. то, по крайней мъръ, въ копіяхъ.

ПРИМЪЧАНІЯ.

Н. В. Гоголь. Токъ III.

Дозволено цензурою. Москва, 15 февраля 1902 года.



ПРИМ ѢЧАНІЯ.

Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями (стр. 3-138).

Исторія изготовленія, печатанія и ближайшихъ послъдствій книги Гоголя: «Выбранныя мъста» и пр. составляетъ главную часть его біографія за 1845, 1846 и 1847 года, и потому мы считаемъ себя въ правъ указать на помѣщенный при I томѣ опыть хронологической канвы (стр. LXX-XCVIII)¹); здісь же пы ограничнися указаність немногихь важнізйшихь моментовь этой исторія. 22 апрёля 1846 года въ письмѣ въ Языкову Гоголь выражаетъ твердое и обдуманное намъреніе собрать нъкоторыя свои письма и издать ихъ «на пользу людей, страждущихъ на разныхъ поприщахъ»²), а въ маѣ уже составляеть перечень главъ будущей книги ³).

30 іюля онъ обращается къ Плетневу съ великою просьбою (къ которой онъ уже давно подготовлялъ своего петербургскаго друга): бросить «всъ свои дъла въ сторону» и заняться печатаніемъ его книги: «Выбранныя мѣста».

15 октября 1846 года Плетневу посылается пятая и послъдняя тетрадь рукописи. Наканунъ новаго 1847 года выходить изъ печати книга Гогодя, а 11 января (№ 8) въ фельетонъ «С. Пчелы» появляется подписанный . Ө. Б(улгаринымъ) довольно общирная на нее рецензія. Вотъ ея начало:

«На дняхъ вышла прелюбопытная книга: Выбранныя мъста изо переписки со дризьями. Н. Гоголя. Въ этой книгъ хотя и нътъ глубокихъ мыслей, върныхъ, блистательныхъ очерковъ свёта и людей, но въ ней много здраваго смысла и правды, и жы чрезвычайно довольны кнагою, удостовърившись изъ полнаго ся содержанія, что авторь добрый, благородный и весьма умный чемовть, и притомь набожный Христіанинь, и что врожденное каждому писателю самолюбіе не ослівнило его преувеличенными похвалами до такой степени, чтобъ онъ не видълъ исстины даже и въ собственномъ дълъ. Но прежде нежели мы скажемъ объ этой книгъ, покажемъ настоящее мъсто, занимаемое авторомъ въ нашей литературъ, и объяснимъ причины, по которымъ друзья его возна-мърились вознести его противу его воли, въ чемъ онъ теперъ добродушно сознается».

Далье Ө. Б. излагаеть по-своему исторію русской литературы, въ особенности романа и повъсти со временъ Карамзина, причемъ Пушкину отводить первое мъсто нослі «основателей нынішней прозы»: Карамзина и Жуковскаго, съ похвалою говорить объ «Вечерахъ на хуторѣ» Гоголя 4) и съ жестокимъ порицаніемъ о молодыхъ писателяхъ, которые, «чтобъ уничтожить вліяніе прежнихъ писателей и критиковъ, вознамірились отвлечь внимание публики отъ старыхъ ся знакомцевъ и обратить это внимание на новыхъ людей, чуждающихся всякаго вліянія п не дъйствующихъ на поприцъ

Подробнѣй у Тихонр. IV, 465 и слѣд. и въ моей статьѣ: Н. В. Гоголь и В. Г. Вѣлин-скій лѣтомъ 1847 г. въ Сборникѣ въ честь Н. И. (тороженка.
 Э) Письма III, 167.
 В) Тиконр. IV, 470.
 4) Орт. ИКАРСКА.

4) Онъ увъряетъ мимоходомъ, что "заглавіемъ книги замѣнялось посвященіе ея просвъ-щенному вельможѣ покойному князю В. П. Кочубею".

31*

критики. Для этой цёли избрали они г. Гоголя, противъ его воли и желанія, и стали провозглашать его переымъ Русскимъ писателемъ, выше всёхъ прежнихъ, даже выше Карамзина, Жуковскаго и Пушкина, назвали его основателемъ новой школы и даже сооременныхъ Русскимъ Гомеромъ, а сказку (sic) его Мертвыя Души — современною Русском Имадою! Эти средства удались въ нёкоторыхъ отношеніяхъ, и неразборчивые люди отчасти повёрили этой забавной мистификаціи, но она болёе повредила, чёмъ помогла г. Гоголю, потому что настоящая критика, для уничтоженія мистификаціи, должна была обнаружить истину. Критика доказала, что хотя г. Гоголь — писатель съ умомъ и дарованіемъ, одаренный изобрётательностью и воображеніемъ, но не обладаеть этими способностями въ такой силѣ, чтобъ могъ быть основателемъ литературной школы, вопервыхъ, потому, что онъ весьма небольшой знатокъ русскаго языка, во-вторыхъ, что онъ одностороненъ, и видить въ свётё одно смѣшное или карикатурное, забавляетъ или занимаетъ читателя однёми картинами, не трогая его чувства, не дѣйствуя на сердце; въ третьихъ, что онъ вовсе не знаетъ Россіи, и что во всёхъ его разсказахъ видны одни малороссіяне; въ четвертыхъ, что картины его не изищны, т.-е. что и въ приводѣ и въ гражданскомъ обществѣ онъ ищетъ болѣе грязной стороны и будто не видить свѣтлой; въ пятыхъ, что картины эти хотя и мастерски нарисованы, но невёрны, и списаны не съ натуры, а созданы воображеніемъ автора, и, наконецъ, въ пестыхъ, что во всѣхъ сочиненіяхъ его пѣть высокой или выспренней идеи человѣчества (?). Мѣсто г. Гоголя въ ряду писателей критика опредѣлила по заслугамъ не выше гг. Загоскина, Ложечникова, Павлова, Перовскаго 1) и равныхъ имъ, а въ отношеніи къ малороссійскому юмору рядомъ съ нимъ поставила Квитку».

Справедливость такого взгляда настоящей критики Ө. Б. подтверждаеть рядомъ выписокъ изъ книги Гоголя, въ которыхъ тотъ признаетъ себя плохо знающимъ русскую грамоту, обвиняетъ себя въ поспѣшности при изданіи «М. Д.» и плохой постройкъ ихъ, обвиняетъ пріятелей въ идеализированіи его и заявляетъ, что онъ «рожденъ вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпосу въ области литературной». Дружески побранивъ Гоголя за наклонность къ парадоксамъ и за нѣкоторую грубость и необдѣланность языка и въ этой книгѣ, Ө. Б. заявляетъ, что «Выбранныя мѣста»—лучшее сочиненіе Гоголя послѣ Вечеровъ на хуторъ, которыми онъ заставляетъ любить и уважать себя, и выражаетъ желаніе, чтобъ публика поскорѣе раскупила эту книгу, для пособія автору отправиться къ Св. Мѣстамъ. Заключаетъ рецензентъ такимъ біографическимъ указаніемъ:

«Скажемъ при этомъ случаѣ, что г. Гоголь едва ли не съ первыми нами (т.-с. съ Θ. Б.) познакомился, прибывъ въ Петербургъ изъ Малороссіи, прежде чѣмъ напечаталъ первое свое сочиненіе, и если бъ не увлекся духомъ партіи, то, вѣрно, послушался бы нашихъ совѣтовъ, пошелъ бы въ литературѣ чистымъ и свѣтлымъ путемъ, проложеннымъ Карамзинымъ и Жуковскимъ, и теперь, съ своимъ оригинальнымъ талантомъ, стоялъ бы высоко».

«Два охапка» «С. Пчелы» Гоголь получиль 23 апрѣля 1847 г., вмѣстѣ съ 2 нумерами «Современника» и «Отеч. Записокъ»²) и, безъ сомнѣнія, прочелъ ликующую статью Булгарина. Какое дѣйствіе она произвела на него, неизвѣстно; очевидно только то, что она должна была оправдать въ его глазахъ раздраженіе Бѣлинскаго, статью котораго (во № 2 «Современника») онъ прочелъ приблизительно въ то же время.

Замѣчанія къ отдѣльнымъ главамъ книги.

I. Завъщание. Въ виду того, что въ наиболѣе опасномъ положении Гоголь считалъ себя въ іюнѣ 1845 года, составление завѣщания всего вѣроятнѣй отнести къ первымъ числамъ іюля этого года³).

II. Женщина въ свъттъ. Судя по тъмъ отзыва́мъ, какіе Гоголь высказывалъ и въ глаза и за глаза относительно гр. С. М. Соллогубъ (урожденной

¹⁾ Разумвется, безъ сомнвнія, Погорвльскій, авторъ "Монастырки".

²) Письма, III, 443.

³) Thronp. IV, 476.

Віельгорской), всего въроятнъй, что адресовано это письмо первоначально было именно ей¹), но при изготовлении къ печати было распространено и обобшено.

III. Значение бользней есть отрывокъ изъ письма къ гр. А. П. Толстому, написаннаго, въроятно, въ последнихъ числахъ февраля 1846 г. ²).

IV. О томъ, что такое слово, направлено противъ М. П. Поголина: набросано, въроятно, въ 1844 г. вскоръ послъ опубликования Поголинымъ «Портрета» Гоголя, а редактировано въ первой половинъ 1846 г. ³).

V. Чтение русскихъ поэтовъ передъ публикою. Письмо къ Л**. Кто такое Л., неизвъстно; публичныя чтенія, о которыхъ здъсь идеть ръчь, дъйствительно, происходили въ Москвъ въ 1843 г. 4).

VI. О помощи бъднымъ. Изъ письма къ А. О. Смирновой. Писано, въроятно, въ декабръ 1844 г.^в).

VII. Объ Одиссев, переводимой Жуковскимъ. Писано къ Н. М. Языкову въ началѣ 1845 г. 6); послано въ П. А. Плетневу для напечатанія въ «Современникъ» 4 іюня 1846 г.: въ іюль того же года напечатано въ «Моск.

Вѣдом.»⁷). VIII. Нъсколько словъ о нашей церкви и духовенствъ. Изъ письма къ гр. А. П. Толстому. Это одно изъ четырехъ писемъ Гоголя къ его другу А., имъвшему сильное на него вліяніе въ послъдніе годы его жизни 8); письма эти писаны въ концъ 1845 г. или въ первой половинъ 1846 года ⁹).

IX. О томъ же. То же.

Х. О лиризмъ нашихъ поэтовъ. Окончательную форму, пригодную для печати, эта статья получила въ началъ августа 1846 г.¹⁰). Но 16 октября Гоголь вслъдъ за ней посылаеть важную поправку; онъ пишетъ Плетневу: «Нужно выбросить все то мъсто, гдъ говорится о значении власти монарха, въ какомъ она должна явиться въ мірѣ. Это не будеть понятно и примется въ пругомъ смыслѣ. Къ тому же сказано нѣсколько нелѣпо ¹¹). О немъ послѣ когла-нибудь можно составить умную статью. Теперь выбросить нужно ее непремънно, хотя бы статья была и напечатана, и на мъсто ся вставить то, что написано на послъдней страницъ тетради. Кусокъ, который слъдуетъ выбросить, начинается словами: «Значение полномочной власти монарха возвысится еще» и пр. и оканчивается словами: «Такое опредбление не приходило еще европейскимъ правовъдцамъ» 12).

XI. Споры. Л^{*}. — лицо неизвъстное.

XII. Христіанинъ идетъ впередъ. Письмо, повидимому, было адресовано Шевыреву, но оригиналъ его не найденъ.

1) THEORD. IV, 478.

²) Танъ же, 479.

3) Тамъ же, 484. См. для объяснения письмо Гоголя къ Шевыреву отъ 4 марта 1847 г. Пясьно III, 390-393. Ср. мою статью въ "Р. Стар." 1901 г. 3 1. "М. П. Погоднит и Н. В. Гоголь" (1832—1852).

4) THEORP. IV, 485.

³) Такъ же, 486.

6) Тамъ же, 487-488.

7) Tanz me, 489.

8) Объ ихъ отношеніяхъ см. письмо Гоголя въ о. Матвѣю отъ 9 мая 1847 (III. 463).

9) Тихонр. IV, 493; поправку къ этому см. въ "Опытв канвы" стр. LXXVI--VII. 19) Тихонр. IV, 494.

11) Тексть исключеннаго мѣста см. у Тихонр. 495 —7.
12) Письма III, 221—2. Мивніе самого Гоголя о напечатанномъ см. въ его письмѣ къ Шевыреву 27 апр. 1847 (Ш, 444).

XIII. Карамзинь. Это отрывовъ изъ письма въ Языкову, писаннаго 5 мая 1846 г. 1), но значительно передъланный.

XIV. О театръ, объ одностороннемъ взилядъ на театръ и вообще объ односторонности. Эта интересная и во многихъ мъстахъ превосходная статья выработана изъ письма, которое Гоголь писаль въ Толстому въ 1845 г.²). Объ ней въ настоящемъ ся видъ сообщаетъ Гоголь о. Матвъю изъ Неаполя 9 мая 1847 г. следующее: «Письмо о театре я писалъ, имея въ виду публику, пристрастившуюся къ балетамъ и операмъ, пожирающимъ нынъ страшныя суммы денегъ, и въ то же самое время имълъ въ виду издателя журнала «Маякъ» С. А. Бурачка ^в), который, судя по статьямъ его, долженъ быть истинно почтенный и върующій человъкъ, но который, однакоже, слишкомъ горячо и безъ разбора напаль на всёхъ нашихъ писателей, утверждая, что они безбожники и деисты, потому только, что тв не брали въ предметъ христіанскихъ сюжетовъ 4).

ХУ. Предметы для лирического поэто въ нынъшнее время. Это передълва двухъ писемъ, дъйствительно написанныхъ въ Н. М. Языкову, одно 2 ^в) и — 26 декабря 1844 г. ^е), по поводу присланной ему книжки Стихотвореній Языкова, изд. Валуевымъ. Получивъ ихъ, Языковъ написалъ Гогодо: «Твои два письма, писанныя тобою, какъ ты самъ говоришь, подъ вліяніемъ моего стихотворенія «Землетрясеніе», доставили мнѣ много удовольствія, услажденія и пользы. Жаль, что ихъ нельзя напечатать: я бы сдълаль это непременно. не спросившись тебя и взявъ отвътственность на свою совъсть и на свой страхъ» 7). Больше чёмъ вёроятно, что это заявленіе Языкова подкрёцило мнѣніе Го́голя, уже прежде внушаемое ему Смирновой, что «переписка его лучше книгь его, ибо душа въ ней слышнъе» 8), и способствовало появлению «Выбранныхъ мъсть». Приготовляя эти пва письма въ печати. Гоголь нъсколько сократиль ихъ и придаль имъ болѣе книжный тонъ.

XVI. Совъты. Оригиналь не найдень.

XVII. Просвъщение. Тоже: письмо это должно относиться въ концу іюня или въ іюлю 1846 г. ⁹).

XVIII. Четыре письма къ разнымъ мицамъ по поводу «Мертвыхъ Душъ». Тоже; можеть-быть, письма и сочинены прямо для печати 10).

XIX. Нужно любить Россію и XX. Нужно пропоздиться по Россіи — об'в въ видѣ писемъ въ гр. А. П. Толстому; можетъ-быть, это только изложеніе тёхъ мыслей, которыя Гоголь излагаль или хотёль бы изложить въ разговорахъ съ гр. А. П. Толстымъ ¹¹).

XXI. Что такое пубернаторша? Узнавь о топь, что муть его пріятельницы А. О. Смирновой назначенъ въ Калугу губернаторомъ, Гоголь уже

³) Настоящее ния Бурачка — Семенъ Онисимовичъ. Тихопр., стр. 500.

4) Писъма III, 463—4. Мысли Гоголя о значении тетра въ 1836 г. см. у Тихонр. IV. 500; о состоянии театра въ Петербургъ въ 1845 г., см. тамъ же 500 и слъд.; содержание статей изъ "Манка" см. тамъ же, стр. 504 и слъд. 5) Письма II, 515 — 7.

6) Тамъ же, 581—6. 7) Тихонр. IV, 517.

в) См. "Опыть каявы" стр. LXIII.
9) Тиконр. IV, 520.
10) Такъ же, 521.

11) Тамъ же, 521 – 2. Ср. вышеуказанное письмо къ о. Матвено отъ 9 кая 1847 г. (III, 463).



¹) Писька III, 179—180. ²) Тихонр. IV, 513.

въ письмѣ оть 25 іюля 1845 г. 1) шлеть ей рядъ совѣтовъ; затѣмъ черевъ три дня онъ въ общирномъ письмѣ спѣшить поговорить съ нею объ предстоящей ей «жизни внутри Россіи и объ обязанностяхъ съ нею сопряженныхъ»²). Изъ этихъ писемъ вышла статья, которую Гоголь обработалъ почти черезъ годъ и препроводилъ въ Смирновой при письмъ отъ 4 іюля 1846 г. ^з).

'XXII. Русский помпицикъ. Письмо въ Б. И. Б – му. Лицо, въ воторому адресовано это странное «письмо», едва ли не больше всёхъ другихъ возбудившее недовольство лучшей части публики, неизвёстно.

XXIII. Исторический живописеиз Ивановз. Эта статья, дъйствительно, образовалась съ письма къ гр. М. Ю. Віельгорскому, время написанія котораго можно опредблить съ точностью. Картину Иванова («явленіе Христа народу») императоръ Николай видълъ въ самомъ началъ декабря 1845 г., и она произвела на него очень благопріятное впечатлівніе. Въ началь 1846 г. гр. О. П. Толстой, основываясь на этомъ, сдълалъ въ совътъ академии представленіе о доставленіи Иванову «приличныхъ способовъ въ окончанію труда». Гоголь написаль гр. Віельгорскому, убъждая его оказать содбиствіе этому дблу. Отвътъ (неблагопріятный) академіи на ходатайство Толстого послъдовалъ въ концъ марта того же 1846 г. Когда Гоголь писалъ свое письмо, этоть отвъть еще не быль извъстень, но объ немъ уже носились слухи; когда же онъ обработываль письмо для печати, отказь быль уже фактомь, и поэтому мъстами письмо получило «характеръ горячей полемики» противъ академіи 4).

Письмо это, появившись въ печати, сдълало доброе и великое дъло. возбудивь сочувствіе въ Иванову, который, прочтя его, охотно простиль Готолю его грубоватыя и ръзкія выходки и снова увъроваль въ его искреннее pacnolomenie⁵).

XXIV. Чтынь можеть быть жена для мужа и пр. Къ кому адресовано письмо, неизвъстно; отдъльныя мысли его мы находимъ въ письмъ Гогодя въ А. О. Смирновой отъ 24 сентября 1844 г. ⁶); но въ общемъ это — статья, а не письмо.

ХХУ. Сельский судъ и расправа. Кто такой М., къ которому апресовано письмо, неизвъстно.

XXVI. Страхи и ужасы России. Это отвъть публициста на большое письмо гр. Л. К. Віельгорской, до насъ не дошедшее; Гоголь упоминаеть объ немъ 22 октября 1846 г. 7). Статья его не была пропущена цензурою, и 6 марта 1847 г. самъ Гоголь признавалъ, что отвътъ его «совсъмъ не для печати» и думалъ приготовить на мъсто этой другую статью подъ тъмъ же заглавіемь.

XXVII. Близорукому пріятелю. Къ кому адресовано, неизвѣстно.

XXVIII. Занимающему важное мысто, несомнённо, адресовано къ гр. А. П. Толстому; въ вышеуказанномъ письмъ къ о. Матвъю отъ 9 мая 1847 г. 8) Гоголь говорить: «Объ этомъ (чтобы гр. А. П. принялъ отвътственный пость) я писаль въ нему дъйствительно письма, воторыя, я не знаю почему, не

1) Письма III, 79 — 80.

⁹) Танъ же, 87-92.

³) Тамъ же, 188-9. Объ отношеніяхъ Гоголя въ Смирновой у Тихоир. IV, 522-6, ср. у В. И. Шеврока въ предисловін къ письму отъ 28 іюля, 111, 85-6. 4) Тихонр. IV, 531.

- ⁵) Тамъ же, 533-4.
- 6) Письма II, 477.
- 7) Письма III, 227. Ср. "Опыть канвы" стр. LXXX.
- ⁸) Письма III, 463.

попали въ мою книгу и не пропущены» и пр. Письмо должно бы быть названо: «Къ имъющему занять важное мъсто» 1

XXIX. Чей удъль на земль выше и XXX. Напутствие; къ кому эти «письма» адресованы, неизвѣстно.

XXXI. Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность; статья написана въ первой половинъ октября 1846 г. О ней писаль. Гоголь Плетневу 16 овтября 2).

XXXII. Соътлое Воскрессные. Когда написана статья, неизвъстно.

О Современникѣ (стр. 139—145).

Проработавъ съ увлеченіемъ и въ дучшемъ состояніи здоровья, чёмъ онъ могъ ожидать, около полугода надъ «Выбранными мъстами», Гоголь въ концъ 1846 года пришелъ въ заключенію, что настоящая его дорога ни поэзія, ни творчество, а публицистика особаго рода, проповъдничество, руководительство общественнымъ мнѣніемъ ³). Онъ уже отослалъ въ Петербургъ для печати послёднюю тетрадку «Выбр. мёсть» (16 окт.), но, какъ говорится, рука у него расписалась: на всякой остановкъ своего длиннаго пути изъ Франкфурта въ Неаполь онъ съ лихорадочною поспѣшностью пишеть во всѣ стороны письма; а когда во второй половинъ ноября онъ оказался на мъстъ, у него уже изсколько дълъ (безъ сомизнія, литературныхъ), «которыя мизнужно кончить, безъ чего будеть не спокойна моя совъсть» 4). Одно изъ этихъ пъль—статья о «Современникъ» въ излюбленной въ то время Гоголемъ формъ письма въ его редактору-издателю проф. П. А. Плетневу.

«Современникъ» шелъ плохо, на что Плетневъ неоднократно жаловался и друзьямъ и подписчикамъ. Гоголь, за послъднее время особенно сблизившійся съ Плетневымъ и безконечно ему обязанный, искренно жальль объ этомъ, вдумывался въ причины, съ свойственной ему необыкновенно тонкой погадливостью опредблиль ихъ и нашель способь поправить дбло. Такъ какъ въ это время онъ чрезвычайно дорожилъ каждой удачной мыслію своею, --мнёніе свое онъ р'яшиль выразить не въ простомъ письме, а въ ц'ялой стать в, которая послужить передовой статьею для преобразованнаго журнала. Статья вышла очень интересная: въ ней мы прежде всего находимъ драгоцънное указаніе на отношенія Пушкина къ Гоголю во время возникновенія «Современника», затъмъ, не совсъмъ безпристрастную, но умную оцънку Гогодемъ гр. Соллогуба, Даля, Павлова, Кулиша и др. прозанковъ того времени (подъ молодыми и неопытными подражателями Гоголя, которые сами лишили себя самостоятельности, повидимому, надо разумъть между прочими и автора «Бъдныхъ людей») и, наконецъ, очень важное (хотя тоже одностороннее) интьніе Гоголя о самомъ себть. Послітдній абзаць этой статьи, по всей втьроятности, не предназначался для печати.

Эту статью Гоголь послалъ Плетневу изъ Неаполя 4 декабря 1846 г. в) и очень интересовался тёмъ, какое впечатлёніе произведеть она на Плетнева.

¹) Тихонр. IV, 540-1. Здёсь см. указаніе на несомнённую связь этого цисьма съ рѣчью генералъ-губернатора, изъ второго тона "Мертвыхъ Душъ".

⁸) VI. 295.

Си. "Опыть канвы" стр. LXXIX; Письма III, 220—221. Ср. Тихонр. IV, 544—545.
 16 октября новаго стиля онъ пишеть Плетнову: "Мић трудно писать что-нибудь о литературѣ. Самъ я не вижу, какой стороной она можеть быть близка къ тому дѣлу, которое есть мое крозное джло" (над. Кулиша VI, 270). Ср. о себѣ въ статьѣ о "Современныкѣ". 4) Письмо сестрамъ отъ 19 ноября (VI, 290).

Но въ это время «Современникъ» былъ уже переданъ А. В. Никитенкъ, и статья Гоголя не могла быть напечатана. Въ полномъ видъ она явилась впервые въ изд. Н. С. Тихонравова.

Авторская исповѣдь (стр. 146-169).

Начитавшись въ первой половинъ 1847 г. и печатныхъ и писаныхъ критикъ на свою книгу: «Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями», Гогодь задумаль отвётить своимъ судьямъ и разъяснить публикъ, что онъ вовсе не отказывается отъ писательства, какъ увъряли многіе на основаніи его собственныхъ словъ въ «Завъщания». 11 мая (по н. стилю) Гоголь покинуль Неаполь, въ которомъ прожилъ всю эту зиму, и направился черезъ Геную и Марсель во Франкфурть, гдъ тогда жилъ Жуковскій. Вскоръ по прібадь туда, 10 іюня Гоголь пишеть Плетневу: «Я готовлю теперь небольшую книжечку, въ которой хочу, сколько возможно яснѣе, изобразить повѣсть моего писательства, — то-есть, въ видѣ отвѣта на утвердившееся, неизвѣстно почему, мибніе, что я возгнушался искусствомъ, почель его низкимъ, безполезнымъ, и тому подобное. Въ ней 1) скажу, чъмъ я почитаю искусство, что я хотблъ сдёлать съ даннымъ мнё на долю искусствомъ, развиваль ли я, точно, самого себя изъ данныхъ мнъ матеріаловъ или хитрилъ и хотълъ передомить свое направление, - ясно, сколько возможно ясно, чтобы и не литераторъ могъ видъть, я ли виновенъ въ недъятельности. или Тотъ, Кто располагаеть всёмъ и противъ Кого идти трудно человёку. Мнё чувствуется, что мы здѣсь сойдемся съ тобой душа въ душу относительно дѣла литературы. Молю только Бога, чтобы Онъ даль мнъ силы издожить все просто и правдиво. Оно (т.-е. это сочинение) разрѣшить тогда и тебѣ самому нѣкоторыя недоразуменія насчеть меня, которыя все-таки должны въ тебе оставаться. Покамъсть это да будеть между нами. Книжечка можеть выходомъ своимъ устремить внимание на перечтение «Переписки съ друзьями» въ исправденномъ и пополненномъ изданіи; а потому, пожалуйста, перешли мнѣ немедля статьи, снабженныя вашими замъчаніями для передълки, адрессуя во Франкфурть» (соч. и письма Г-я, изд. Кулиша VI, 405-6). Насколько идея о будущей книжкъ занимала въ это время Гоголя, видно изъ того, что 20 іюня, препровождая черезъ Прокоповича къ Бълинскому свое первое оправдательное письмо (изд. Кулиша VI, 377—9), Гоголь какъ бы невольно проговаривается объ ней Прокоповичу: «По всему видно, — пишеть онъ старому товарищу (Анненковъ и его друзья, СПБ. 1892 г., стр. 513), что мнъ придется сдълать нъкоторыя объясненія на мою книгу, потому что не только Бълинскій, но даже ть люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводять такія странныя заключенія, что просто недоумъваешь».

Черезъ 12 дней послѣ отправки Гоголевскаго письма, 10 же іюня, но по старому стилю, Плетневъ о намѣреніи Гоголя извѣщаетъ кн. Вяземскаго ²):

1) Напечатано: въ немъ.

²⁾ Едва ли можно выразиться въ данномъ случав, что Плотневъ проболиался (Тихонравовъ, IV, 552): во-первыхъ, кн. Вяземский былъ очень близко посвященъ во всё дёла Гоголя относительно его книги: "Выбр. мѣста" (см. письмо Гоголя въ Вяз. отъ 11 июня 1847 г. "Р. Арх." 1866, кн. 6), а во-вторыхъ, задуманная Гоголемъ книжка была тѣсно связана съ работой кн. Вяземскаго, гр. Вісльгорскаго и самого Плетнева надъ "Выбр. мѣстами", почему Гоголь и требовавъ илъ замѣчаній.

«Гоголь написаль еще какую-то книжку, которая, по его словамъ, должна возвратить публику къ чтенію его «Переписки съ друзьями», и потому онъ настоятельно требуеть отъ насъ, чтобы мы ему доставили для просмотру ненапечатанныя мъста его книги»¹).

Ровно черезъ мѣсяцъ послѣ своего перваго письма о готовящейся книжкѣ, Гоголь снова пишеть объ ней Плетневу: «Ожядаю отъ тебя извѣстія о томъ, гдѣ проводишь лѣто и когда къ тебѣ посылать небольшую вещь, которую бы мнѣ хотѣлось напечатать въ видѣ отдѣльной небольшой книжки, о которой я уже тебѣ сказывалъ. Можно ли тебѣ будетъ прислать ее черезъ мѣсяцъ отъ сегодня» ²)?

Плетневъ отвъчаетъ на это письмо 29 іюля (10 августа). Онъ отказывается собрать замъчанія Вяземскаго, Віельгорскаго и Арк. Россети на «Выбранн. мъста», такъ какъ теперь всъ разъъхались, и думаетъ, что Гоголь, ознакомившись съ многочисленными критиками, можетъ и самъ прекрасно исправить свою книгу. «Другую книжку твою, — продолжаетъ онъ, — «Повъсть твоего писательства», можешь ко мнъ прислать, когда только вздумаешь. Я се тотчасъ же и тисну»³).

Но Гоголь не надумался прислать Плетневу «Повѣсть своего писательства» и 24 августа изъ Остенде пишеть ему: «Оставимъ на время все. Поѣду въ Іерусалимъ, помолюсь, и тогда примемся за дѣло, разсмотримъ рукописи, и все обдѣлаемъ сами лично, а не заочно».

Почему Гоголь измѣнилъ свое первоначальное намѣреніе?

Мы не имѣемъ положительныхъ данныхъ для отвѣта на этотъ вопросъ; но не трудно догадаться, что онъ, дописавъ статью, самъ увидалъ, насколько она неудовлетворительна. Онъ хотѣлъ изложить дѣло ясно, сколько возможно ясно, чтобы и не литераторъ могъ убѣдиться, что въ недѣятельности его виновенъ самъ Господь; а между тѣмъ и для литератора вопросъ оставался темнымъ и, помимо нѣсколькихъ и въ то время весьма интересныхъ (а для насъ драгоцѣнныхъ) сообщеній о своихъ отроческихъ мечтахъ, о словахъ Пушкина и др., все остальное было той же апологіей «Выбр. мѣстъ», какую мы находимъ чуть не во всякомъ письмѣ Гоголя за этотъ годъ и съ тѣмъ полусознательнымъ хвастовствомъ и самообольщеніемъ, которое такъ непріятно поразило всѣхъ друзей его въ его несчастной книгѣ. Въ статьѣ оказалось много противорѣчій, которыхъ не могъ не замѣтить и самъ авторъ, рядъ откровенностей, самовосхваленій и самообличеній, подобныхъ тѣмъ, изъ-за которыхъ Гоголь долго боялся заглянуть и въ «Выбр. мѣста». Зачѣмъ же наносить себѣ самому вторую оплеуху?

Плетневъ выказалъ такую готовность «тиснуть» немедленно книжку Гоголя, обманутый ея примърнымъ заглавіемъ, которое онъ самъ же далъ ей на основаніи словъ Гоголя, что здъсь они сойдутся душа въ душу относительно дъла литературы; Плетневъ, очевидно, полагалъ, что это будетъ скоръй повъствованіе, чъмъ разсужденіе, и что здъсь онъ и публика узнаютъ о процессъ творчества художественныхъ произведеній Гоголя, а не «Выбранныхъ мъстъ», на которыя онъ теперь смотрълъ далеко не тъми глазами, какъ въ моменть ихъ выхода.

¹⁾ Соч. Плетнева III, 740. Здёсь, какъ видятъ читатели, двъ неточности: Гоголь еще не *каписал*а, а только пишетъ княжку, и проситъ онъ не текста, а замъчаний; объ онъ объясняются поспъшностью Плетнева, а вторая, повидниому, и тъмъ, что замъчаний еще никто не писалъ.

²) Изд. Кулиша VI, 412.

э) Я. Грота, "Письма Шлетнева къ Гоголю", "Р. Вѣстн." 1890 г. № 11, стр. 53-4.

Итакъ, статъя остадась подъ спудомъ и появидась въ печати только по смерти Гогодя, въ 1855 г. Заглавіе «Авторская исповѣдь» далъ ей С. П. Шевыревъ. Это есть высоко-интересная, но слишкомъ страстная и въ цѣломъ плохо обдуманная исповѣдь автора «Выбр. мѣстъ» и 2-ой части «М. Д.», сообщающая много важнаго, хотя и не вполнѣ достовѣрнаго объ авторѣ «Вечеровъ», «Миргорода», «Ревизора», повѣстей и 1-ой части «М. Д.».

Искусство есть примиреніе съ жизнью (стр. 170—173). 4

Къ концу 1847 г. Гоголь окончательно убъднися въ томъ, что книгу его «Выбранныя мъста изъ переписки съ друзьями» постигла неудача, главнымъ образомъ, по двумъ причинамъ: во-первыхъ «поучать проповъдыю» не его дъло, а, во-вторыхъ, онъ слишкомъ много внесъ въ нее личнаго. Тъмъ не менѣе, высоко цъня свои «дары и способности» (см. письмо къ Шевыреву отъ 12 дек. 1847 г.), Гоголь былъ увъренъ, что и эта его книга потребуетъ переизданія и отъ времени до времени работалъ для ея исправленія и пополненія. Не удовлетворенный своей большой статьей, написанной лѣтомъ 1847 г. (которая впослѣдствіи появилась подъ заглавіемъ «Авторская исповѣдь»), онъ почти черезъ полгода, живя въ Неаполѣ и готовясь къ поѣздкѣ въ lepycaлимъ, придумываетъ, въ формѣ инсьма къ Жуковскому, статью о значеніи поэзіи и препровождаетъ ее по адресу съ такой припиской: «Если письмо это найдешь не безъ достоинства, то прибереги его. Его можно будетъ при второмъ изданіи «Переписки» поставить впереди книги на мъсто «Завѣщанія»

На это письмо Жуковскій отвѣтилъ общирнымъ письмомъ отъ 29 января 1848 г. (изъ Франкфурта на Майнѣ), которое было напечатано въ «Москвитянинѣ» за 1848 г. № 4 подъ заглавіемъ: «О поэтѣ и современномъ его значеніи» (въ 10 изд. Жуковскаго 1901 г. см. стр. 949—953 подъ заглавіемъ «Слова поэта — дѣла поэта»). Гоголь прочелъ его въ Одессѣ въ апрѣлѣ 1848 г. и былъ очень доволенъ его содержаніемъ (изд. Кулиша VI, 458). Черезъ два мѣсяца онъ выразилъ свое мнѣніе объ этой статьѣ самому автору (тамъ же, стр. 468).

Размышленія о Божественной литургія (стр. 177-210).

Гоголь началь обдумывать это сочинение въ началь 1845 г. въ Парижъ, когда онъ жилъ у гр. А. П. Толстого и ежедневно посъщаль церковную службу ¹); тамъ онъ познакомился и сблизился съ кандидатами филол. факультета Московскаго университета Ө. А. Бъляевымъ, который помогалъ ему въ занятияхъ историей греческой литургики ²). Первоначальная редакция «Размышлений» (Гоголь не далъ заглавия своей работъ; такъ ее назвалъ первый издатель Кулишъ) окончена до отъъзда Гоголя въ Св. Землю; вторая, сокращавшая первую, занимала его въ послъдние годы. Вотъ что говоритъ д-ръ Тарасенковъ объ этомъ сочинени ^{*}):

491



^{1) &}quot;Опытъ канвы" стр. LXVIII и слёд. Ср. Тихонр. IV, 589.

²) Тамъ же, стр. 590.

^{3) &}quot;Шослѣдніе дин" и пр. стр. 6.

«Передъ послъдней болъзнью Гоголь окончательно отдълалъ и тщательно переписаль свое завътное сочиненіс, которое было обработываемо имъ въ продолжение почти 20 лътъ; наконецъ, послъ многихъ передълокъ, переписовъ, онъ остался имъ доволенъ, собирался печатать, придумалъ для него формать книги маленькій, въ осьмушку, который очень любиль, хотъль сдълать это сочинение народнымъ, пустить въ продажу по дешевой цънъ и безъ своего имени, единственно ради наученія и пользы всъхъ сословій. Это сочиненіе названо .Титургіею.

Арабески (стр. 211—444).

Объ изданіи «Арабесокъ» см. «Опыть канвы» стр. XXIII ¹).

Язвительную статью Ств. Пчелы объ «Арабескахъ» см. въ Примѣчанія къ повъсти «Портретъ» (т. II).

Скульптура, живопись и музыка. Судя по лирическому, нъсколько вы сокопарному тону этой статьи, можеть-быть, она дъйствительно была набросана въ 1831 году, но передъ изданіемъ несомибнию была переработана ²).

О среднихъ въкахъ. Это вступительная лекція Гоголя въ университетъ, составленная въ августъ 1834 г. и прочтениая имъ въ началъ сентября. Она напечатана въ сентябрской книжкъ «Журн. Мин. Народнаго Просвъщенія» (вышла въ октябръ). Гоголь самъ держалъ ея корректуру, о которой писалъ Серби-

новичу ^э). Глава изъ историческаго романа была напечатана въ альманахъ «Съверные Цвѣты за 1831 годъ», который вышель въ декабрѣ 1830 г. за подписью: 0000). Объ ней поминаетъ Плетневъ въ письмъ къ Пушкину о Гоголѣ 5).

Статья О преподавании всеобщей истории написана, въроятно, въ декабрѣ 1833 г. 6), очевидно, для представленія министру просвѣщенія С. С. Уварову, въ виду желанія Гоголя занять въ Кіевѣ каеедру всеобщей исторіи, 23 декабря Гоголь пишеть Пушкину: «Я ръшился не зъвать и, вмъсто словесныхъ представленій, набросать мои мысли и планъ преподаванія на бумагу» и пр. 7). Статъя Гоголя понравилась С. С. Уварову, и онъ, предложивъ вибсть съ Сербиновичемъ нъсколько поправокъ, изъявилъ согласіе на напечатание ся въ «Журналъ Министерства Нар. Просвъщения», гдъ она и появилась подъ заглавіемъ: «Планъ преподаванія всеобщей исторіи», въ февральской книжкѣ за 1834 г.⁸).

Портретъ. См. томъ II.

Взилядь на составление Малороссии. Эта статья напечатана въ «Журналь Мин. Народн. Просвъщенія» въ апръльской книжкъ за 1834 г. подъ заглавіемъ «Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи. Томъ І, книга І, глава І», а написана

⁸) Письма, I, 323—4.

¹) Ср. Письма. Ред. В. И. Шенрока I, 327, 329, 382 и др. Ср. Тихонр. V, 557-8 (гд* ви. 14 ноября надо читать: 14 декабря).

²) Танъ же, 559.

⁴⁾ Четыре о изъ полной подписи: Николай Гоголь - Яновежій?

⁵) Св. "Опытъ канвы" стр. XIII.

⁸) Тихонр. V, 567. 7) Письма, I, 270.

⁸⁾ Объ поправкахъ см. записку Гоголя къ Сербиновичу безъ числа. Цисьма I, 297.

въ февралѣ или мартѣ того же года 1). Судя по письму Гоголя къ Максимовичу, онъ далъ его въ «Журналъ М-ва» противъ води ²).

Нъсколько словъ о Йушкинъ. Эта статья, можеть быть, и пъйствительно начата въ 1832 г., но дописана и редактирована въ 1834 г.³).

Объ архитектурь нынышняю времени. О стать на эту тему Гоголь, можетъ-быть, и думало въ 1831 году, но написана она никакъ не раньше 1834 г. 4).

.1л - мамунъ. Это — университетская лекція Гоголя, приготовленная имъ нарочно для Пушкина и Жуковскаго и прочтенная въ октябръ⁵).

Жизнь написана лътомъ 1834 г. •).

Шлецерь, Миллерь и Гердерь — одинъ изъ плодовъ усиленнаго занятія Гоголя историей въ 1833 году.

Невский Проспекть. Написана эта повъсть не раньше конца 1833 года или начала 1834 г. Гоголь посылаль ее для прочтенія Пушкину, въроятно, вь конць октября 1834 г., какъ это видно изъ записки къ нему Пушкина⁷): «Прочель съ большимъ удовольствіемъ. Кажется, все можетъ быть пропущено. Съкуцію жаль выпустить: она, мнъ кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось, Богъ вынесеть! Съ Богомъ!» И Пушкинъ, который въ «Современникъ» назвалъ «Невскій Проспекть» самымъ полнымъ изъ произведеній Гогодя, и самъ Гогодь⁸) были высокаго митнія объ этой повъсти.

Сцена «свичния» значительно сокращена при печатании сравнительно съ DVROINCLO 9).

О малороссийскихъ пъсняхъ. Эта статья написана въ мартъ 1834 года. напечатана въ апръльской книжкъ «Журн. Мин. Нар. Просвъщенія» за 1834 г. Объ ней Гоголь писалъ въ Максимовичу 29 мая того же года ¹⁰): «Недавно С. С. (т -е. Серг. Сем. Уваровъ) получилъ отъ Срезневскаго экземпляръ пъсней (sic) и адресовался ко мнъ съ желаніемъ видъть мое мнъніе о нихъ въ «Журн. Просв.», такъ же какъ и о бывшихъ до него изданіяхъ — твоемъ и Цертелева. Что жъ я сдълалъ? Я написалъ статью, только самаго главнаго (sic) позабыль: ничего не сказаль ни о тебь, ни о Срезневскомь, ни о Цертелевѣ» и т. д.

Мысли о иеографии напечатаны въ первый разъ въ № 1 «Литер. Газеты» Дельвига за 1831 годъ съ подписью Г. Яновь и подъ заглавіемъ: Инсколько мыслей о преподавании дътямъ исографии; для «Арабесокъ» она переработана и дополнена¹¹).

Послъдний день Помпеи написанъ въ концъ августа 1834 г.¹²).

Плюннико написань тогда же, когда и первый отрывокь изъ того же романа — «Гетманъ», т.-е. въ 1830 г.

О движении народовъ въ концъ У въка — часть лекцій Гоголя осенью 1834 г.

- ¹) Тихонр. V, 579.
 ²) Письма, I, 298.
 ³) Тихонр. V, 582.

- ⁴) Тамъ же, 586.

⁵) См. Канву, стр. XXIII, Тихонр. V, 587.

6) Tanz me, 589.

- 7) Изд. Фонда VII, 391. Ср. Тихонр. V, 591. ⁸⁾ См. его письмо къ М. П. Балабиной 30 ман 1839 г. Письма I, 608.
- *) Ср. рп. у Тихонр., стр. 600.
- 10) 1, 299. Ср. Тихонр., 602.
 11) Тихонр. V, 603.
 12) Тамъ же, 604.

Записки сумасшедшаго. Психологія сумасшедшихъ интересовала Гоголя, и подъ вліяніемъ читанныхъ имъ въ юности нѣмецкихъ романтиковъ и особенно — послѣ его сближенія съ кн. В. Ө. Одоевскимъ, который въ 1833 г. собирался издать цѣлый рядъ очерковъ на эту тему подъ заглавіемъ Домъ сумасшедшихъ¹).

«Записки сумасшедшаго» написаны, въроятно, незадолго до печатанія «Арабесокъ», въ 1834 г. Въ декабръ этого года Гоголь пишетъ Пушкину²): «Вышла вчера довольно непріятная зацъпа въ цензуръ по поводу «Записокъ сумасшедшаго»; но, слава Богу, сегодня немного получше. По крайней мъръ, я долженъ ограничиться выкидкою лучшихъ мъсть. Ну, да Богъ съ ними! Если бъ не эта задержка, книга моя, можетъ-быть, завтра (бы) вышла».

Въ «Арабескахъ», вромъ этого заглавія, повъсть также называется «Клочки изъ записокъ сумасшедшаго»⁸).

О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 юду. Напечатана бевъ подписи въ І т. «Современника» Пушкина за 1836 г. Сперва Гоголь имълъ въ виду обсаръть наши журналы только за 1835 г., но потомъ рамки статъи немного раздвинулись. Самъ Гоголь говорить, что началъ писать обзоръ, какъ только прочелъ объявленіе объ изданіи «Современника», которое появилось въ концѣ января 1836 г. ⁴). Работалъ надъ нею Гоголь въ февралѣ и мартѣ того же года. Объ ней онъ пишеть Пушкину въ мартѣ: «Возьмите изъ типографіи статью «журнальной литературы» и пр.³). Книжка «Современника» разрѣшена цензурой 31 марта. Статья эта была приписана самому Пушкину, но въ 3 томѣ «Современника» онъ заявилъ, что «мнѣнія, въ ней выраженныя съ такой юношескою живостью и прямодушіемъ», вовсе не тождественны съ его собственнымъ мнѣніемъ. Въ рукописномъ текстѣ ея, нѣсколько болѣе рѣзкомъ, былъ сочувственный отзывъ и о молодомъ критикѣ «Телескопа» — Бѣлинскомъ.

Петербурискія записки 1836 юда. Статья эта написана, въроятно, въ концѣ 1835 года ⁶) и вскорѣ была отдана Пушкину⁷); напечатана же она въ № 6 «Современника», вышедшемъ послѣ смерти Пушкина. Она была подписана тремя звѣздочками. Рукописный тексть ся значительно общирнѣй печатнаго.

Юношескіе опыты (стр. 445—480).

Ганцъ Кюхелыартенъ. Гоголь самъ увърялъ въ заглавіи, что эта пьеса написана въ 1827 году, и, судя по приподнятому тону его писемъ отъ этого времени и особенно по письму къ П. П. Косяровскому отъ 30 октября ⁸), нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что юноша, дъйствительно, набросалъ и отчасти написалъ, въ тайнѣ отъ всѣхъ товарищей, эту идиллическую поэму. Вышла она въ свѣтъ въ началѣ іюня 1829 г. ⁹) и почти немедленно подверглась

3) Такъ ее и цитирустъ "С. Ичела" въ вышеприведенновъ разборъ. Ср. манеру измецкихъ романтиковъ давать въ подобныхъ случаяхъ "Отрывки" или "Клочки".

⁴) Тихонр. V, 650.

⁵) Письма I, 368.

6) Throup. V, 656.

⁷) Тапъ же, 655.

8) Письма. Ред. В. И. Шенрова I, 89-90.

9) См. "Опыть канвы" стр. Х.



¹⁾ Tans me, 611.

²) Письма I, 329.

строгой рецензіи Московскаго Телеграфа, въ то время очень уважаемаго молодежью. Воть эта рецензія полностью.

Ганиз Кожемлартенъ. Идиллія въ картинахъ. Соч. В. Алова (писано въ 1827 году). Спб. въ т. А. Плюшара (?). 1829. 71 стр. in 12. Издателъ сей книжки говорить, что сочинение г-на Алова не было предназна-чено для печати, но что *сажныя для одною автора причины* побудили его перемънить свое намърение. Мы думаемъ, что еще важнъйшія причины имълъ онъ не издавать своей идиллія. Достоянство слъдующихъ пяти стиховъ укажетъ на одну изъ сихъпричинъ:

> Мић лютыя дѣла не новость: Но льявола отрекся я. И остальная жизнь моя ---Заплата малая моя За прежней жизни злую повъсть.

Заплатою такихъ стиховъ должно бы быть сбережение оныхъ подъ спудомъ.

(М. Телеграфъ 1829, III, 515).

Теперь доказано¹), что не эта рецензія Полевого, какъ думалъ Кулишъ, а почти совпавшая съ нею по содержанію рецензія «С. Пчелы», явившаяся только 20 іюдя, заставили юнаго поэта сжечь свою внижку и внезащно убхатьза границу. Черезъ нъсколько мъсяцевъ, въ началъ 1830 г., Сомовъ въ «Съверныхъ цвътахъ» далъ объ Ганцъ Кюхельгартенъ нъсколько болъе благопріятный отзывь ²).

Замъчательны искусство и настойчивость, съ которыми Гоголь въ продолженіе всей жизни сохраниль тайну своего неудачнаго выступленія на литературное поприще.

Италія напечатана еще раньше «Ганца Кюхельгартена», въ марть 1829 г., въ № 12 «Сына Отечества» и «Съвернаго Архива», и служить еще новымь доказательствомъ личныхъ сношеній Гоголя съ Булгаринымъ въ началѣпребыванія поэта въ Петербургѣ⁸).

Дет главы изъ малороссійской повъсти "Страшный кабанъ". Первая. глава этой повъсти: «Учитель» была напечатана въ № 1 «Литературной газеты» бар. Дельвига за 1831 годъ, съ подписью П. Глечикъ (т.-е. полковникъ Глечикъ). Эту главу поминаетъ Плетневъ въ извъстномъ письмъ къ Пушкину отъ 22 февраля 1831 года, въ которомъ онъ выражаеть желаніе подвести Гоголя. подъ благословение Пушкина 4).

Вторая глава, подъ заглавіемъ «Успѣхъ посольства» и безъ всякой подииси, напечатана въ № 17 той же газеты (уже по смерти Дельвига, который скончался 17 января).

Женщина. Эта, статья напечатана въ № 4 «Литературной газеты». 1831 года и также упоминается въ письмъ Плетнева въ Пушкину отъ 22 февра**ля**⁵).

¹) Тихонр. V, 541-2.

²) Онъ призналъ въ авторъ "тадантъ, объщающій въ немъ будущаго поэта" (Тамъ ze. 543).

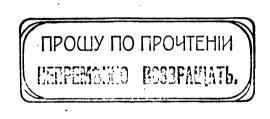
*) См. "Опытъ канвы", стр. XI. Ср. статью Ө. Б. въ "С. Пчелѣ" по поводу "Выбранныхъ... ивсть изъ переписки съ друзьями".

4) См. "Опыть канвы", стр. XIII.

5) См. "Опыть канвы" XIII.

Объ издании исторіи малороссійскихъ козаковъ. Эта статейка напечатана, какъ объявленіе, въ «Сѣверной Пчелѣ» 1834 г. № 24 и перепечатана въ «М. Телеграфѣ» того же года № 3, стр. 523 ¹) и въ «Молвѣ» того же года, стр. 118.

19 марта того же года Гоголь пишеть Погодину²): «Выговоры ваши за объявление тоже имѣлъ честь получить. Это правда: я писалъ его совершенно не раздумавши. Впрочемъ, охота тебѣ вступаться за Бантыша! Вѣдь онъ... замоталъ у многихъ честныхъ людей многие матеріалы и рукописи».



ИЗЪ БИБЛЮТЕКИ А. А. МАСЛЕНИКОВА

Digitized by Google

į

 ¹⁾ Въ выноскъ отнъчено, что объявитель Н. Гоголь есть авторъ "Вечеровъ на хуторъ бдизъ Диканьки".
 2) Инсьма. Ред. Шенрока I, 285.

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

Cmp.

ı

Выбранныя міста изъ переписки съ	
Друзьями:	
Предисловіе	5
I. Завѣщаніе	7
II. :Кенщина въ свъть.	10
III. Значеніе болѣзней	13
IV. О томъ, что такое слово	14
V. Чтеніе русскихъ поэтовъ пе-	
редъ публикою	16
VI. О помощи бѣднымъ	17
VII. Объ Одиссећ, переводимой	
Жуковскимъ	18
VIII. Нѣсколько словъ о нашей	
Церкви и духовенствь	24
IX. О томъ же	25
Х. О лиризыт нашихъ поэтовъ.	26
XI. Споры	35
XII. Христіанинъ идетъ впередъ.	37
	38
XIV. О театрѣ, объ односторон-	
немъ взглядь на театръ и	
	39
XV. Предметы для лирическаго	
поэта въ нынъшнее время.	46
XVI. Сов'яты	48
XVI. Совѣты	49
XVIII. Четыре письма къ разнымъ	
лицамъ по поводу "Мертвыхъ	
Душъ"	51
	60
ХХ. Нужно проъздиться по Россіи.	61
	66
	75
XXIII. Историческій живописець	
	79
XXIV. Чѣмъ можетъ быть жена для	
мужа въ простомъ домаш-	
немъ быту, при нынѣшнемъ	
•••••	85
	50

.

· Cmp.			
ХХУ. Сельскій судъ и расправа . 88			
XXVI. Страхи и ужасы Россіи			
5 XXVII. Близорукому пріятелю 91			
7 XXVIII. Занимающему важное мѣсто. 93			
) – ХХІХ. Чей удѣлъ на землѣ выше, 104			
ХХХ. Напутствіе			
ХХХІ. Въ чемъ же, наконецъ, суще-			
ство русской поэзін и въ чемъ			
ея особенность 106			
XXXII. Свѣтлое Воскресеніе 133			
0 Современникт			
[′] Авторская исповѣдь			
Искусство есть примиреніе съ жизнью 170			
Размышленіе о Божественной литургія:			
Предисловіе			
Вступленіе			
Проскомидія			
Литургія оглашенныхъ			
Литургія вѣрныхъ			
Заключеніе			
Арабески.			
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.			
Скульптура, живопись и музыка 213			
О среднихъ въкахъ			
Глава изъ историческаго романа 224			
О преподавании всеобщей истории . 231			
<i>—</i> -Портреть. (Повѣсть)			
Взглядъ на составление Малороссии. 267			
Нѣсколько словъ о Пушкинѣ 274			
Объ архитектурѣ нынѣшняго времени. 278			
Ал - мамунъ. (Историч. характери-			
стика)			
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.			
Жизнь			
Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ			
Невскій проспекть. (Повъсть) 303			
О малороссійскихъ пѣсняхъ			

оглавленіе.

Cmp.

Мысли о географіи. (Для дътскаго	
возраста)	
Послѣдній день Помпеи	,
Плѣнникъ. (Отрывокъ изъ историче-	
скаго романа)	
О движени народовъ въ концѣ V вѣка. 346	
-Записки сумасшедшаго	
Тарасъ Бульба. Редакція, напечатан-	
ная въ "Миргородъ" 1835 г.) 377	
О движени журнальной литературы	
въ 1834 и 1835 году 422	

Cmp.

Петербургскія записки 1836 года . . 436

Юношескіе опыты:

Ганцъ Кюхельгартенъ. (Идиллія въ
картинахъ) 447
Италія
Двѣ главы изъ малороссійской по-
въсти "Страшный Кабанъ" 468
Женщина
Объ изданіи исторіи малороссій-
скихъ казаковъ

Примѣчанія.

.........

Выбранныя мъста изъ переписки съ	Искусство есть примиреніе съ жизнью. 491
друзьями	Размышленія о Божественной литургін. —
О Современникъ	Арабески
Авторская исповѣдь	Юношескіе опыты

Digitized by Google





.

.







ę

